

АЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЕВ

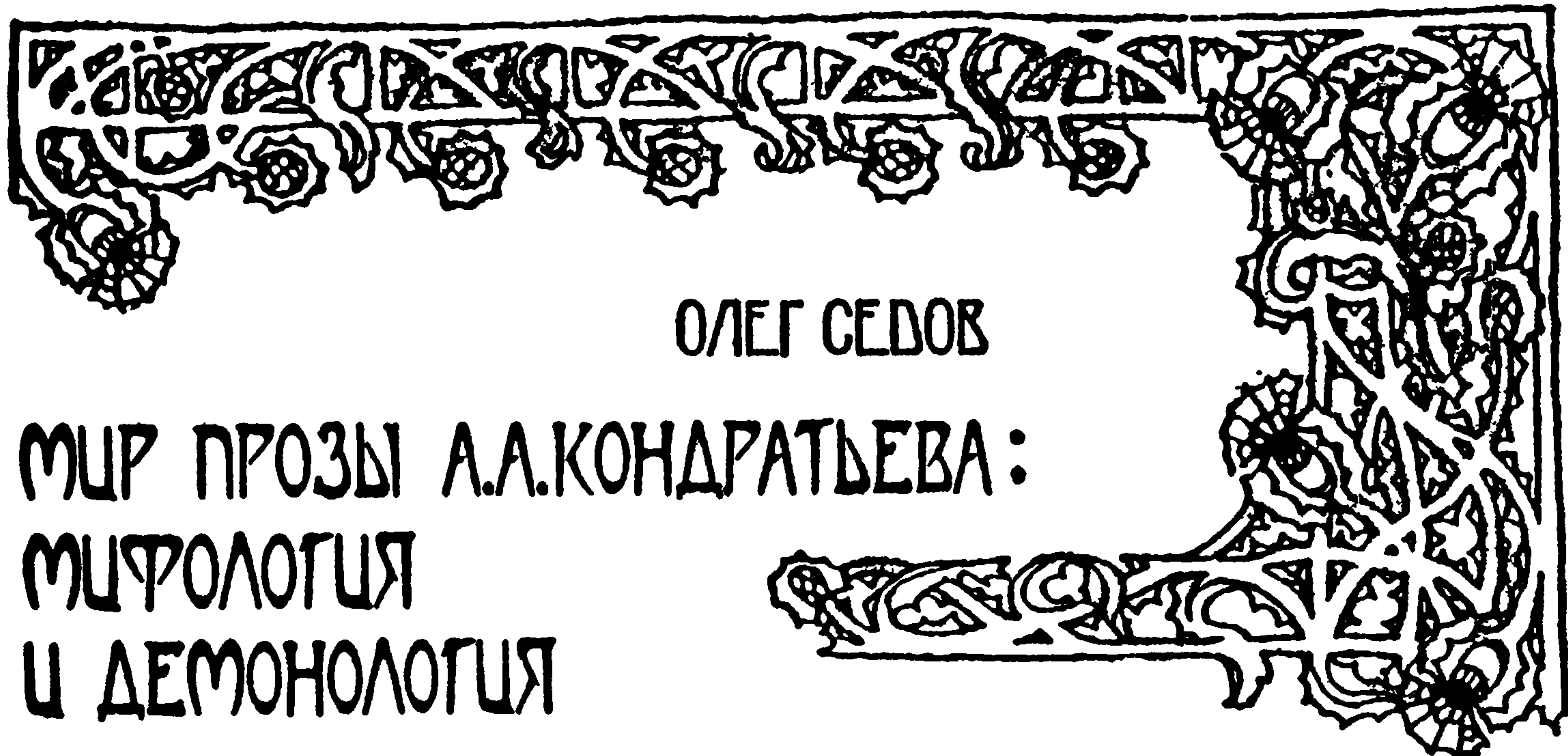
СНЫ

СЕВЕРО-ЗАПАД

1993

САНКТ ПЕТЕРБУРГ

VITA
NOVA



ОЛЕГ СЕДОВ

МИР ПРОЗЫ А.А.КОНДРАТЬЕВА:
МИРОЛОГИЯ
И ДЕМОНОЛОГИЯ

...и некуда проснуться.

А.М.Ремизов. Огонь вещей

В 1906 году в редакции журнала “Золотое Руно” было принято решение: уловить наконец вечно ускользающую личину врага рода человеческого. Объявили конкурс на лучшее живописное и литературное изображение сатаны. Из Петербурга в Москву прибыли избранные в жюри А. Блок, Вяч. Иванов и М. Добужинский, все в черных сюртуках. В течение трех дней жюри пыталось отобрать наиболее “правдоподобные” портреты князя мира сего, но дьявол снова слукавил. Брюсов жаловался Зинаиде Гиппиус, что из 150 художественных и литературных работ почти ни одна не смогла хотя бы приблизительно изобразить сущность и обличье владыки тьмы. К тому же оказалось, что и сами члены жюри не имеют достаточно ясного представления о нем*. Но поскольку присудить назначенные

* Брюсов В. Я. Письмо к З. Гиппиус от 27 декабря ст.ст. 1906г. // Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 686 — 689.



премии было необходимо, ими отметили три литературных опыта. Премии получили: Михаил Кузмин за произведение “Из писем девицы Клары Вальмон к Розалии Тютельмайер”, Алексей Ремизов за рассказ “Чертик” и Александр Конгратьев за сонет “Пусть Михайлом горд в веках Иегова...”. Из всех живописных работ не была премирована ни одна.

А. Конгратьев был в то время уже достаточно известным в литературных кругах петербургским поэтом, прозаиком, переводчиком и историком литературы. Кроме сонета им был представлен на конкурс еще и рассказ “В пещере”.

Фабульная основа рассказа — евангельский эпизод воскресения Христа. Но мало было бы сказать, что эпизод этот переинтерпретирован Конгратьевым — новозаветный смысл вывернут здесь наизнанку. Энергетическая сила женского демонического существа в страстном порыве возвращает жизнь бездыханному телу Христа. Кто это существо, перед которым отступают сами Люцифер и Вельзевул? Оно остается таинственным, имя его так и не названо, но в его зыбком, изменчивом образе проступает то одна, то другая примета, позволяющая догадываться — только догадываться, — о ком идет речь.

Вот на мгновение становятся видны “ряды женских грудей” — явная отсылка к многогрудой Артемиде Эфесской. Но Артемида ли перед нами? Эта целомудренная греческая богиня имела свое архаическое прошлое, в котором она выступала как владычица зверей и растительного царства. Ее культ включал оргиастические элементы — как культ всякого растительного божества, обеспечивающего природное плодородие. Уступая ей первенство, Вельзевул задает вопрос, остающийся без ответа: “Разве ты не Иштар?” Бесенок называет ее Астартой. Да, именно Астарта, богиня западносемитской мифологии (она же — аккадская Иштар), собственным жизненным теплом воскресила возлюбленного. Но Иштар, изображаемая со стрелами за спиной, и Астарта, нагая всадница, стреляющая из лука, — как похожи они на охотницу и лучницу, вечно девственную Артемиду. А между тем и Иштар, и Астарта олицетворяют планету



Неопубликованная иллюстрация П.Бакста (1906)
к роману А.А.Кондратьева
“Сатиресса”.

Венеру. Как соединяются эти два противоположных начала? Через хтоническую необузданность Артемиды, сближающую ее с Великой матерью богов, малоазийской Кибелой, владычицей плодородия. Пчела на платье у Артемиды Эфесской, покорные Кибеле и Артемиде львы — этими же атрибутами наделена и конгратьевская воскресительница Христа. Так кто же она?

Вспомним цель конкурса. Конгратьев рассказывает о том, что не Люцифер и не Вельзевул — верховный владыка демонических сил. Им оказывается прамифологическое женское божество, в котором черты различных богинь соединились в слиянной неслиянности, способной совместить неприступное целомудрие с оргиастической страстью.

Едва ли не все творчество Конгратьева будет посвящено этому демоническому женскому существу.

Из сказанного уже должно быть понятно, насколько естественной для Конгратьева была контаминация различных мифологических образов. В рассказе, представленном на конкурс 1906 года, закону контаминации подвергся и образ Христа. Умиравший и воскрешенный оргиастическим порывом бог — это скорее греческий Загрей — Дионис или египетский Осирис, чем тот, о котором повествует Евангелие. Мифологические прообразы Христа сливаются с ним, и такое отождествление отвергает смысл новозаветного благовестия.

В записной книжке А. Блока осталась запись 1906 года: “Конгратьев удивительный человек. Его рассказ о чертике и Христе — глубоко символичен. Он — совершенно целен, здоров, силен инстинктивной волей; всегда в пределах гармонии, не навязывается на тайну, но таинственен и глубок. Он — страна, после него душа очищается — хорошо и ясно”*.

Блок не случайно обратил внимание на Конгратьева. Оба участвовали в одном поэтическом сборнике, подготовленном к печати студентами университета и Академии художеств и вышедшем в 1903 году, оба были членами университетского кружка “Изящная словесность”, где Конгратьев читал

* Блок А. А. Записные книжки. М., 1965. С. 84.



доклад о символике “Стихов о Прекрасной Даме”. В их художественном мировлении было в те годы много общего. Блоку тоже суждено было пройти через демонологический искус. Впрочем — “пройти через”, а не предаться ему пожизненно, как это случилось с Конгратьевым. Было между ними и еще одно серьезнейшее различие: в сущности, Конгратьев никогда не был символистом. С крупнейшими литературными течениями того времени он соприкоснулся лишь по касательной.

В 1903 году он познакомился с Мережковским и Гиппиус, руководившими тогда журналом “Новый путь”, однако предложение о тесном сотрудничестве отклонил, что привело к разрыву. Позже Конгратьев часто бывал в поэтическом салоне Ф. Сологуба, но в конце концов стал секретарем кружка Случевского, где настороженно относились к новейшим поэтическим опытам.

Эстетическая позиция Конгратьева отчасти определилась тем, что в годы учебы в 8-й петербургской гимназии он был учеником И. Ф. Анненского. От своего учителя он унаследовал не только острый интерес к античным темам, но и преакмеистское мироощущение.

Устремленности к бесконечному, свойственной символистам, акмеисты противопоставили самоценность и самодостаточность трехмерного мира. В такую трехмерную реальность и помещены мифологические образы Конгратьева. ...Вот Афродита появляется в храме перед онемевшим певцом, вот Гермес хитростью пытается соблазнить нимфу Пару, вот Харон в своей мрачной лагье перевозит умерших в подземное царство... Этот мир живет своей внутренней жизнью, он ничего не символизирует, не отсылает ни к каким внеположным ему смыслам — все его содержание заключено в нем самом, он подобен картине, которая не простирается дальше собственных рамок. Вячеслав Иванов учил, что символ разворачивается в миф. Конгратьев осуществлял нечто прямо противоположное: он сворачивал символ в миф, замыкая принадлежащее бесконечности в трехмерном пространстве своего художественного космоса.

Видимо, именно это и называл он “реконструкцией мифа”. По Кондратьеву, реконструировать миф значит дать ему новую жизнь, поместив те или иные мифологические образы в некую зону “реальности”, пусть условной, пусть художественной, но “реальности”, где бы эти образы находились в органическом взаимодействии с подобными же образами или предметами, живущими по тем же законам. Под пером Кондратьева мифологический образ не светится символическим смыслом — он пребывает в непрерывном движении внутри потока той жизни, которая известна автору из мировой мифологии.

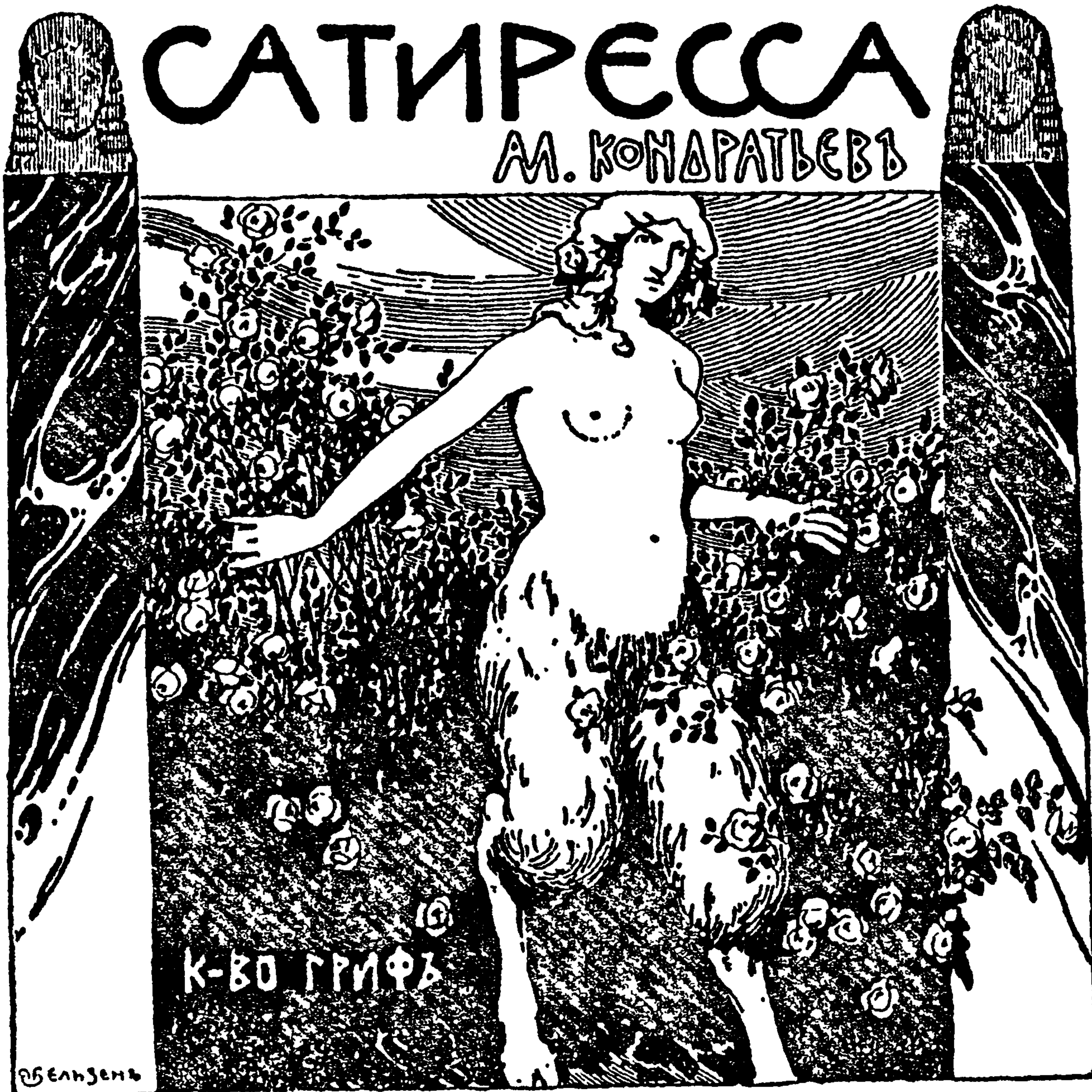
Полею такого “оживления” мифа становится душа самого творящего.

Моя душа тиха, как призрачный шеол,
Где дремлют образы исчезнувшего мира;
Она — в песках пустынь сокрытая Пальмира.
Мои стихи — богам отшедшим ореол.
Я не стремлюсь в лазурь ворваться, как орел.
Пусть небожители ко мне летят с эфира,
О юности земли моя тоскует лира,
И не один из них на песнь мою сошел.
Ко мне идут они, как в свой заветный храм,
Стопой неслышною, задумчивы и строги,
Когда-то сильные и радостные боги,
С улыбкой грустной склониться к алтарям...
И, полон гордости, блаженства и тревоги,
Гирлянды строф моих бросаю к их ногам*.

“Шеол” на иврите означает геенну огненную, а для Кондратьева — тот же Аид. И это по-особому комментирует его утверждение: “Мифология всех почти народов и стран обязана своим существованием не только жрецам, но и

* Кондратьев А. л. Стихи: Книга Вторая. (Черная Венера). СПб, 1909. С. 2.

САТИРЕССА
А. КОНДРАТЬЕВЪ



Обложка первого издания романа А.А.Кондратьева
“Сатириесса” работы Я.Бельзена (1907).

художникам и поэтам”*. По Кондратьеву, художники и поэты, подобно жрецам, вступают во взаимодействие с миром потустороннего, привлекая его силы и энергии в сферу живой реальности. В этом контексте естественно звучит “Посвящение” его первого крупного прозаического произведения “Сатиресса”: “Вам, когда-то земные, теперь эфирные божеества, посвящаю повесть мою...” Именно с ними — древними духами, умершими, дошедшими до нас только в мифологических образах, но оживающими в сознании художника — общается автор. С ними — а не с читателем. И каждое прямое обращение к ним (а таковых в прозе и стихах Кондратьева множество) — это и посвящение, и заклятие-вызывание, и жертвоприношение словом.

Кондратьев очерчивает вокруг себя круг античного космоса. Круг-оберег от настоящего, от современности, от реальносущей бесовщины эпохи между двух революций. Внутри этого круга зрению автора открываются не только известные мифологические сюжеты — он получает способность видеть и порождать новые мифологические вариации. Читателю не остается ничего иного, как принять условия игры в реальность придуманного. Так рождается сатиресса Аглавра.

Древние греки не знали женской ипостаси козлоногих сатириров. Для того чтобы вызвать к жизни Аглавру, Кондратьев придумывает новый миф — о дочери Пана и вечно девственной Артемиды. Как случилось такое соитие? В “Белом козле” Кондратьев рассказывает, что лесной бог хитростью овладел сестрой Аполлона. Не после ли этой встречи появилась на свет сатиресса? В романе ответа нет. Но вымышленный мифологический образ — Аглавра — живет по законам старого мира античности. Amor Fati — любовь к року, этот верховный закон античного космоса, полностью замещает в романе (вытесняет из него) законы

* Из предисловия Кондратьева к книге стихов “Славянские боги”. Цитируется по тексту сборника, републикованного в книге В. Н. Топорова “Неомифологизм в русской литературе начала XX века. Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни»”, TRENTO, 1990. С. 249.

психологизма, естественные для прозы, прошедшей через опыт XIX столетия.

Рецензируя “Сатирессу” Конгратьева, И. Анненский писал: “Так приятно побыть часок среди гамадриад и панисков, которые, может быть, еще не читали даже “Смерти Ивана Ильича”*.

Высказывание Анненского подчеркивает не только отсутствие психологизма, но и указывает на одну очень важную черту прозы Конгратьева: его трехмерный художественный мир не знает четвертого измерения — живого времени, связующего прошлое с настоящим. Замкнувшись в круге античного космоса, Конгратьев существует в нем так, словно еще не было на свете ни Толстого, ни Достоевского, словно не было постантической истории человечества. В произведениях Конгратьева течет лишь субъективное время автора, пребывающего в далеком прошлом, погруженного в ту эпоху, когда почитались на земле вызванные им к жизни духи. Он помнит лишь о том, о чем помнят они: о еще более глубокой архаике. И этому субъективному времени приданы все черты объективности. Иллюзия, поганная как достоверность, — таков античный космос Конгратьева.

Напряженность подобной работы со временем особенно ощутима, когда автор приближается к границе миров: античного и христианского. В рассказе “Пирифой” повествуется о пришествии Христа. Но “сияющий бог”, освобождающий вечных пленников Аида, не назван по имени. В глазах Пирифоя, царя лапифов, необратимая трансформация языческого космоса происходит с помощью языческого же бога — не Христа. Глазами Пирифоя глядит и Конгратьев. Читателю, разумеется, тоже не предложено никакого иного взгляда. Ключевой момент религиозной истории человечества описан лишь затем, чтобы аннигилировать историческое течение времени, подменив его временем эстетическим, организующим мир самого Конгратьева, мир, населенный античными демонами.

* Анненский И.Ф. Александр Конгратьев. Сатиресса. Мифологический роман. Кн-во “Гриф”. Москва, 1907//“Передел”, 1907, № 4. С. 63.

Демонами или богами? Кондратьев любит сюжеты, в которых древнее божество обнаруживает свою демоническую природу. Временные сдвиги становятся ощутимыми в его художественном мире лишь в тех случаях, если ими отмечены эпохи перехода верховного божества в разряд низших демонических существ.



В 1918 году Кондратьев навсегда покидает захваченный большевиками Петроград и уезжает к семье в Крым. Так заканчивается первый период его творчества, который условно можно назвать “петербургским”.

По свидетельству Г. П. Струве, примерно в 1919 году Кондратьев перевозит семью из Крыма на Волынь в небольшое имение под Ровно, где остается жить до 1939 года*. Двадцать лет длится “волынский” период его творчества. За это время написаны роман “На берегах Ярыни” (Берлин, 1930), стихотворения, объединенные в сборник “Славянские боги” (Ровно, 1936), и множество статей на славянские темы.

Как видим, тематика произведений меняется. На место античной мифологии заступают низовая демонология и языческая мифология восточнославянских народов.

Творческому процессу сопутствует углубленное изучение славянского фольклора. Научными источниками становятся для Кондратьева труды А. Н. Афанасьева (“Поэтические воззрения славян на природу”), С. В. Максимова (“Нечистая, небедомая и крестная сила”), И. П. Сахарова (“Сказания русского народа”), Д. К. Зеленина (“Очерки русской мифологии”), Потебни, Фаминцына, Веселовского, Миллера, Аничкова и многих других. Ведьмы, лешие, домовые и водяные, населяющие теперь художественный мир Кондратьева, изображены с большой этнографической

* Струве Г.П. Александр Кондратьев, по неизданным письмам. Istituto Universitario Orientale. Annali. Sezione Slava Vol: XII, Napoli, 1969. С. 4.



**МИФОЛОГИЧЕСКІЙ
РОМАНЪ АЛЕКСАНД-
РА КОНДРАТЬЕВА
САТИРЕССА
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.
КНИГОИЗДАТЕЛЬ-
СТВО „ГРИФЪ“. МО-
СКВА.—ТЫСЯЧА ДЕ-
ВЯТЬСОТЪ ЧЕТЫР-
НАДЦАТЫЙ ГОДЪ.**



Второе издание романа А.А.Кондратьева
“Сатиресса” (1914).

точностью. Но принципы поэтики “античного” периода его творчества продолжают действовать в этом мире, существенно трансформируя фольклорную традицию.

Создавая роман “На берегах Ярыни”, Кондратьев возвращается к своему первому опубликованному рассказу “Домовой” (газета “Россия”, 1901) и развивает повествование до романной формы. Пространная фабула включает в себя множество перипетий, связанных с похождениями нечистой силы, деревенских ведьм и людей. Быт крестьянского двора и речного гна описан равно подробно. То необузданные, то мелкие страсти переплетают человеческие судьбы с судьбами подводного, лесного или болотного царства и движут сюжет, охватывающий почти полтора десятилетия. Отдельные сюжетные линии, несомненно, восходят к фольклорным сказкам, легендам, быличкам или обрядам, но большой формы, основанной на сплетении такого множества линий, славянский фольклор не знает. Кондратьев строит ее, ориентируясь скорее на античные образцы (типа Овидиевых “Метаморфоз”). В этом его отличие от А. М. Ремизова, который в сборниках своих сказок “Посолонь” и “Лимонарь” собирает из фольклорных осколков единое зеркало, отражавшее некогда мир наших предков, но склеить его не представляется возможным (не случайно он использует короткие повествовательные формы: сказки, легенды).

Отработанный в Петербурге прием контаминации мифологических образов становится, быть может, еще более значимым для Кондратьева на Волыни. Теперь он сводит, соединяет, прививает одну к другой и прозревает одну в другой античную и славянскую мифологии. Болотные нимфы Элады превращаются в болотных бесовок Ярыни — но Кондратьеву мало таких неакцентированных соответствий. Дважды — в начале и в конце романа — он обращается к цепочке открытых уподоблений. В III главе Кондратьев описывает движение годового круга: “С Успеньева дня уже “засыпается” Красное Солнышко, царственная небесная богиня, которую русские зовут “Красное Лето”, а гревние греки называли прекрасною Лэто, мать Дажбога и Лунной богини,

покровительницы невест и охоты Летницы — Дзеваны — Дианы”. В финале романа идол поверженного Перуна смотрит на утопленницу — Аксютку и мучительно вспоминает: “Когда-то давно, еще в те времена, когда я был повелителем неба, у одной из моих жен была с такими же ногами девица-подросток. Как ее звали?.. Не помню. Мать ее звалась Лето... А, вспомнил! — Летница или Дзевана. Девочка хорошо стреляла из лука... Что с нею случилось? Какая судьба постигла ее? Она была, под разными именами, богиней у разных племен. Ей посвящались, так же, как мне, дубравы и рощи...”

Снова Артемида — под ее римским именем Диана. Артемида, чьи святилища часто строились вблизи источников и болот, Артемида, близкая лунной богине Гекате с ее колдовскими чарами. Она незримо живет на Ярыни, в этом водном и заболоченном мире, где лунный свет обращает утопленниц в русалок. Она — и Летница, и девственная польская богиня Дзевана. Ее же напоминает Аксютка, дочка болотной бесовки Марыськи. Здесь — уподобление не прямое, не грубое. Одни черты совпадают, другие — нет. Но мифологический смысл образов вырастает именно из этих косвенных уподоблений. Артемида рождена богиней Лето от Зевса. Отец же Аксютки — человек. Но ее мать, Марыська, вступает в супружество с идром Перуна (славянский аналог громовержца Зевса). В конце романа он поневоле становится приемным отцом Аксютки.

Следуя такими путями, художественная фантазия Кондратьева реконструирует миф уже в почти научном смысле слова. Такова реконструкция мотива брачных отношений Перуна и Мокоши, обнаруженного учеными значительно позднее*. В романе Кондратьева этот мотив возникает дважды: сначала в истории о том, как Перун пленил красавицу Мокошь, а затем, в сниженном варианте, в фабульной линии “идол Перуна — Марыська”. Бесовка, получившая верховную власть над водой, — травестийный двойник Мокоши.

* Топоров В. Н. Неомифологизм в русской литературе начала XX века: Роман А. А. Кондратьева “На берегах Ярыни”. TRENTO, 1990. С. 64.

Движение времени на берегах Ярыни во многом организовано так же, как в петербургских сюжетах на античные темы. Мир низшей славянской демонологии тоже помнит о своем архаическом прошлом, о когда-то присущем ему величии и последующем вырождении. Перун, некогда громыхавший и владычествовавший на небе, колодой лежит теперь на дне реки. Водяной не получает ни прежних почестей, ни прежних жертвоприношений. Лешему и Лешачихе уготована смерть: нечисть не только вырождается, она вымирает.

Главной мотивировкой событий, как и в “Сатирессе”, остается, в сущности, *Amor Fati*. Герои обречены своей природе и слепо следуют ей. Попытки сопротивления тщетны. Психологизма в романе нет: здесь тоже никто из героев не читал еще “Смерти Ивана Ильича”.

Зато автор, несомненно, читал гоголевского “Вия”. Об этом свидетельствуют и описания русалочьих тел, и эпизод избияния ведьмы, в последнюю минуту обернувшейся молодой женщиной, и, главное, — роль магического круга, у Гоголя важнейшая в содержании, у Кондратьева — в форме произведения*.

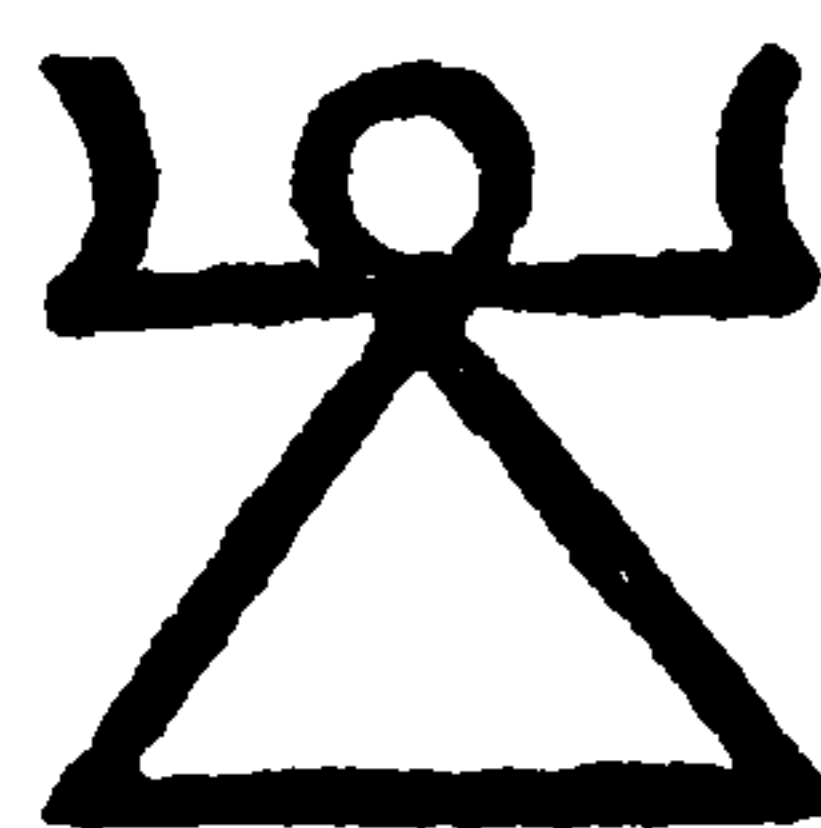
* В романе присутствуют и другие литературные реминисценции. Имя одной из русалок — Горпина — совпадает с именем главной героини рассказа Ореста Сомова “Русалка” (1829). Вероятно, взгляд Кондратьева, прозревающий одну культуру в другой, остановился на имени Горпина не случайно: “Горпинка, уменьшительное имени Горпина (Агриппина). Это имя в малороссийском наречии гораздо ближе к римскому своему корню, нежели Аграфена или Груша”, — комментирует Сомов (Сомов О. Были и небылицы. М., 1984. С. 143). Еще одна значимая реминисценция — в финале романа, при описании утонувшей Аксютки: “Это озаренное лунным светом лицо как бы оживало теперь, чтобы обладательница его могла стать равнодушной и холодной русалкой в водах Ярыни...”

Здесь явная отсылка к “Русалке” Пушкина:

Как бросилась без памяти я в воду
Отчаянной и презренной девчонкой
И в глубине Днепра-реки очнулась
Русалкою холодной и могучей...

(Пушкин А. С. Полн. собр. соч., [М.-Л.], 1937. Т. 7. С. 211.)

А.А. КОНДРАТЬЕВЪ
МИТОЛОГИЧЕСКІЕ
РАЗСКАЗЫ



БѢЛЫЙ КОЗЕЛЬ

Обложка к первому сборнику рассказов А.А. Кондратьева
"Белый Козел" работы С. Панова (1908).

Действие романа начинается летом — летом же и заканчивается. Природа, люди и нечисть совершают путь вслеп за Солнцем — Посолонь, поставлены автором в зависимость от солнцеворота. В первой сцене происходит то же, что и в последней: превращение утопленницы в русалку. Эту закольцованную композицию можно описать словами Андрея Белого, сказанными о “Ревизоре”: “фабула — круг”*.

Такой же замкнутый космос представлял собой и античный мир Кондратьева. Но круг, замыкающий берега Ярыни, имеет уже совсем иную природу.

В Петербурге Кондратьев грезил о гревнем мире, воссоздавал его в собственной душе и наделял возникающий фантом всеми признаками объективности. Главная художественная фикция петербургского периода его творчества состояла в том, что “там и тогда” выдвигалось за “здесь и сейчас”. На Волыни эти измерения реально сливаются: Кондратьев действительно оказался в том мире, который он воплотил в романе.

Его имение, расположенное между Вислой и Днепром, находилось на территории прародины славянских народов — в подлинном центре очерчиваемого им круга. Две другие реки — Горынь и Ярунь, протекавшие поблизости от имения, дали имя его Ярыни. Славянская мифология, изучаемая Кондратьевым по научным источникам, еще жила здесь в местных поверьях. Более того: здесь жили и существа, населяющие его роман. В одном из писем А. М. Ремизову Кондратьев рассказывает, что встретился на улице с деревенской ведьмой, но был не так-то прост — зачурался.

Существенно, однако, что весь этот автобиографический контекст остался совершенно за рамками романа, написанного в той же “объективистской” манере, что и вещи петербургского периода. “Фигурой фикции” теперь становится не физическое присутствие, а физическое отсутствие

* Белый А. Мастерство Гоголя. Л., 1934. С. 20.

автора внутри очерченного им круга, отсутствие связей романного времени с живым, настоящим временем. Таким образом, внешнее подобие поэтики “На берегах Ярыни” поэтике “Сатирессы” или античных рассказов — это скорее не близнечество, а двойничество двух миров, которые как бы взаимно вывернуты наизнанку по отношению друг к другу.



В 1939 году замкнутый мир Ярыни был разрушен. Во-лынь стала частью СССР. Большевики разорили усадьбу, уничтожив при этом архив Кондратьева и почти весь тираж сборника “Славянские боги”. В декабре того же года семья Кондратьева была вынуждена покинуть свой дом и перебраться в Ровно, а оттуда в Варшаву. Начались долгие годы скитаний и бедствий.

Реалии жизни, которые Александр Алексеевич считал устойчивыми, внезапно исчезли. Образ мира потерял четкость контуров и предстал перед глазами Кондратьева зыбким облаком. В настоящем больше не на что было опереться. И Кондратьев обращается к воспоминанию, в надежде вернуть старые образы. Он пишет повесть “Сны”, которую начинает словами: “Когда я был молод...” Здесь едва ли не впервые возникают реальные приметы времени, отголоски современности и прямой автобиографизм*. Повествование ведется от первого лица и напоминает “документ сознания”, но документ несколько необычный.

Необычность его в первую очередь в настойчивом, явном, открытом смешении ирреальности и реальности. “Я был бы

* Современность отчасти присутствовала лишь во втором сборнике рассказов “Улыбка Ашеры” (1911), где каждый рассказ был посвящен реальному лицу (Сологубу, Анненскому, Гумилеву, Брюсову и др.), а “Тоскующий ангел” и “Семь бесовок” изображали модное в то время увлечение оккультизмом. Но для раннего Кондратьева появление реальных штрихов времени было скорее исключением из правил.

раг познакомиться с учением спиритуалистов”, — пишет Кондратьев в одном из писем того периода*. В основе этой потребности лежит трагическая невозможность обрести сущее. Кондратьев теряет сына, узнать о его судьбе оказывается возможным только с помощью потусторонних сил: “На спиритическом сеансе в Триесте дух сообщил мне, что сын мой жив”**. Происходит подмена бывшего в действительности призрачностью желаемого. Кондратьев словно ставит под определенным углом зеркало и пытается по движениям отражения (двойника) угадать настоящее. Личность его неизбежно раздваивается. Но это не то раздвоение, которое влечет за собой расстройство, расчленение и так далее, вплоть до полного растворения в хаосе, необходимого художнику, чтобы полнокровно творить, — оно не ведет к созиданию космоса из хаоса. Это чисто оккультный опыт: попытка повлиять на реальность с помощью ирреальности. И этим Кондратьев отличается от Анненского, который распял свою личность, угадывая собственное “я” то в царе Иксионе, то в Фамире-кифарэде, но узнавая себя в мифах и гробя личностное начало на атомы, как творец стережет свою цельность. Анненскому необходимо в осколках мифа увидеть целым свое отражение; душа его — “заветный фиал”***, Кондратьев говорит, что его душа — “призрачный шеол”.

Кондратьеву важен его движущийся в зазеркалье двойник. Поэтому зеркало в его творчестве столь многофункционально. В “Снах” зеркало может показать человеку его Alter Ego. Сатанист Арбузов видит там борова, Гош — оленя. Это же зеркало — способ прозреть будущее, и тогда оно сравнивается со сном: “Кто-то уподобил так называемые вещие сны отражениям в нашем мозгу надвигающихся событий. Это все равно, как если бы вы сидели у

* Струве Г.П. Александр Кондратьев, по неизданным письмам. Instituto Universitario Orientale. Annali. Sezione Slava Vol: XII, Napoli, 1969. С. 42.

** Там же. С. 39.

*** Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 53.



АЛ-ЖОНДРАТЪЕВЪ

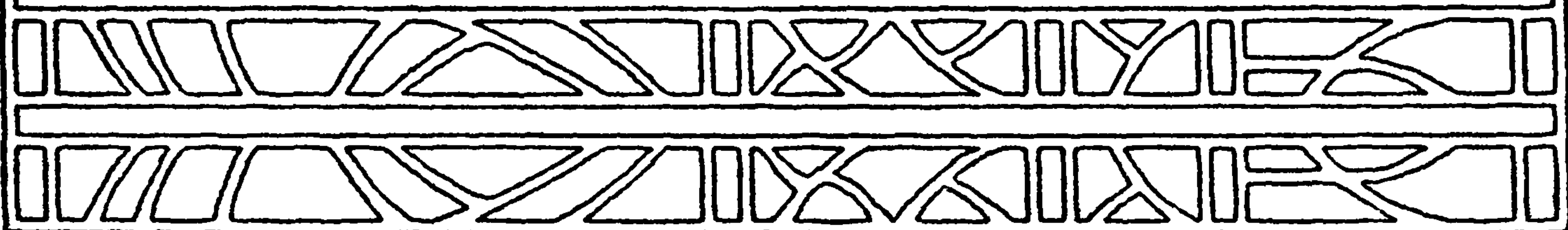


СТИХИ



КНИГА *2-я

Обложка ко второму сборнику стихотворений А.А.Кондратьева
"Черная Венера" работы Я.Бельзена (1909).



окна и смотрели в прикрепленное снаружи к раме зеркало, в котором отражаются по мере своего приближениядвигающиеся по улице люди и предметы”.

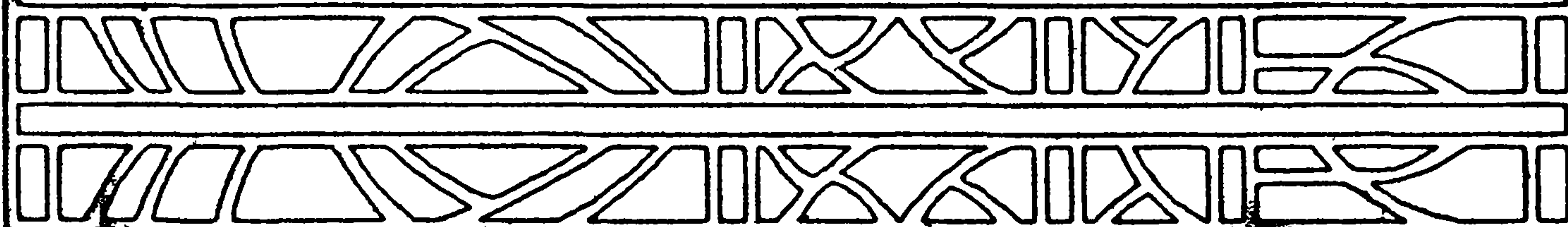
В романе “На берегах Ярыни” зеркало — дверь в inferнальное. Вот описание причастия сатане: “Аниска <...> обошла трон властелина и снова нагнулась, чтобы поцеловать последнего сквозь вырез сидения. <...> Сунувшая было пог него голову Аниска внезапно отпрянула в ужасе, но справилась с собою и неимоверным напряжением воли заставила себя поцеловать... свое собственное бледное лицо, безучастным безжизненным взором встретившее поцелуй в холодные, неподвижные губы...” А в предсмертный момент Аниска получает поцелуй тех же губ, и миг спустя ее отлетающий призрак видит распростертое на кровати бездыханное тело. Неудивительно поэтому, что рассказчик “Снов” опасается за здоровье Гоша, решившегося пуститься “в опыты раздвоения личности”. Традиционно мир зазеркалья — мир наоборот, где звучит музыка, записанная нотами наоборот, где двигаются спиной вперед и так далее. Это мир сатаны, возжелавшего создать свой мир вопреки Богу.

В повести “Сны” показан мир “по ту” и “по эту” сторону зеркала, и оттого все в нем двоятся. “Посюсторонними” оказываются: экзамен на юридическом факультете у Д. Д. Гримма (факт из жизни Кондратьева); имена А. К. Толстого и П. Луиса (о первом из них Кондратьев написал историко-литературное исследование, стихи второго перевел и опубликовал); канцелярия, в которой Кондратьев действительно служил в Петербурге. Но все эти реалии проходят сквозь призму мистически настроенного сознания Кондратьева. Он акцентирует внимание читателя на отражении бывшего — во сне: Кондратьев вспоминает собственно не сам экзамен, а сон о нем; не тот факт, что он изучал творчество Толстого, а только фрагмент одного его стихотворения, связанный со сновидением; и канцелярия приснилась ему прежде, чем он поступил туда на службу.

Из-за постоянного двояния действительности становится невозможным отличить: где сон, а где явь? Которая из



Обложка ко второму изданию рассказов А.А.Кондратьева
“Улыбка Ашеры” работы М.К.Лесова (1916).



двух ипостасей раздвоившейся авторской личности — призрак? Та, которая сообщается с демонической природой мира, где время течет иначе, чем в современности, — или та, что имеет реальную биографию и живет в историческом времени?

В Петербурге Кондратьев стремился целиком уйти в древний мир. На Волыни его реальная, биографическая погруженность в контекст того мира, который он описывает, оставалась фактом его внутренней духовной биографии: в тексте она не была предъявлена. В “Снах” измерения реального и художественного вступают во взаимодействие. Взаимовывернутые по отношению друг к другу, взаимотражаемые миры по воле автора закручиваются в единую спираль, защитные покровы сминаются, и художественный (сонный) вымысел пронизывает и размывает очертания подлинных событий биографии Кондратьева. В сюжете повести это приводит к тому, что сон и явь наконец пересекаются, соединяются — в то мгновение, когда автор обнаруживает в семидесяти верстах от своего волынского имени, в беседке заброшенного графского поместья следы от надписи Гоша, который переносился туда с помощью оккультных сил. Рядом со стертой надписью Гоша стояла другая — оставленная той, встречи с которой всеми средствами искал Гош, той, образ которой прошел через все творчество Кондратьева: божественной вечно девственной Артемидой.

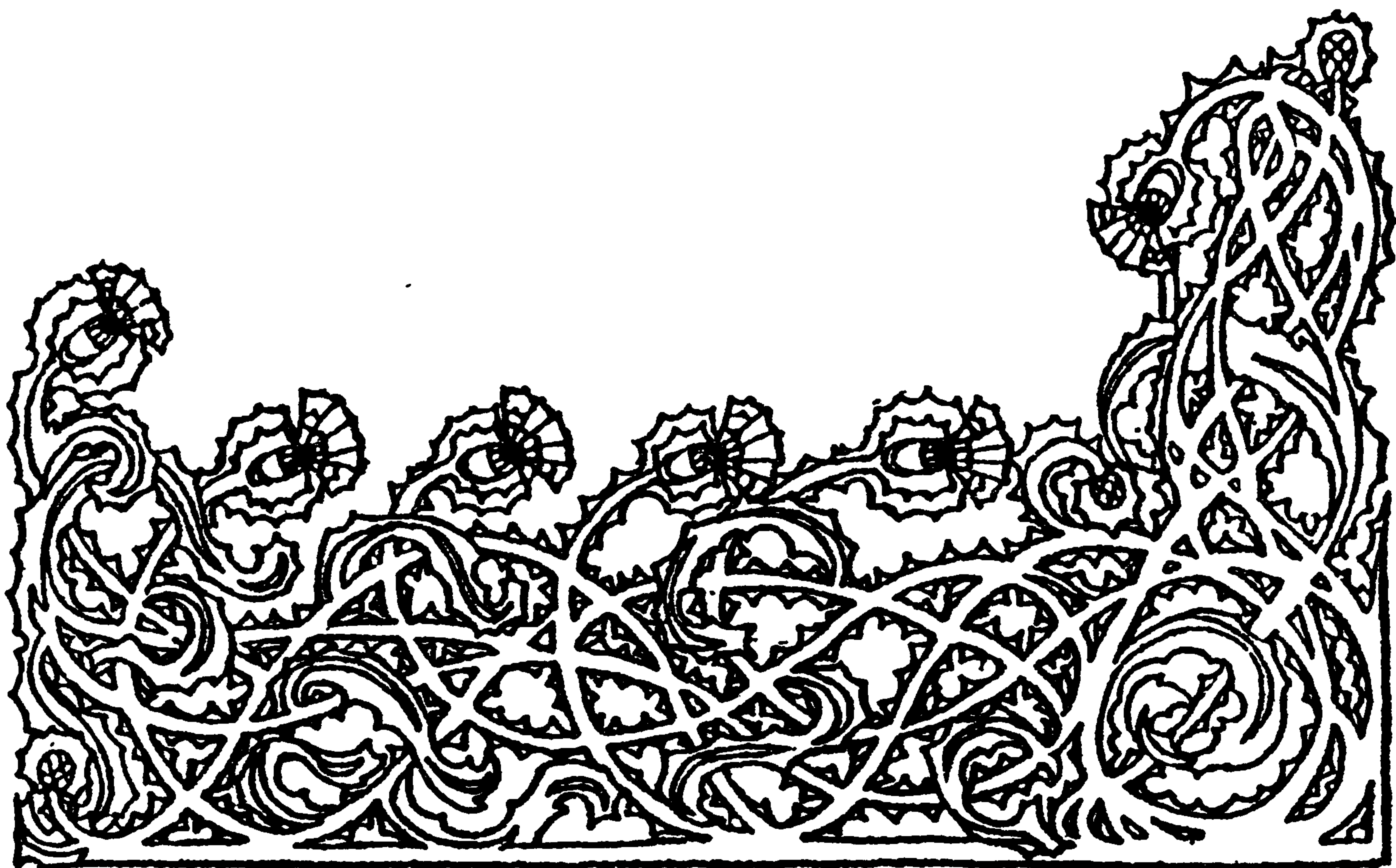
Но надпись, свидетельствовавшая, что столь возжеленная встреча — пересечение сна и яви, мифа и реальности — все-таки состоялась, гласила: “Nolo”. То есть: “Не хочу”.

И революция, разгром усадьбы, все черты реальной биографии автора, воплотившиеся было в художественной ткани повести, окончательно растворяются, превращаясь в неотличимые от нави сновидения. И “Сны” эти пишутся до самой смерти. Анненский предчувствовал такое засыпание, ведущее к смешению миров, умиранию, еще когда писал о “Сатирессе”: “есть в стиле автора что-то баюкающее”. От этого “баюкающего” в начале до “Снов” в

конце жизни — весь путь А. А. Кондратьева, итог творчества которого можно поведсти словами Ремизова: “В снах не только сегодняшнее — обрывки дневных впечатлений, недосказанное и недогуманное; в снах и вчерашнее — засебшие неизгладимо события жизни и самое важное: кровь, уводящая в пражизнь; но в снах и завтрашнее — что в непрерывном безначальном потоке жизни отмечается как будущее и что открыто через чутье зверям, а человеку предчувствием; в снах дается и познание, и сознание, и провидение; жизнь, изображаемая со снами, развертывается в века и до веку”*.

Олег Сегов

* Ремизов А. Огонь вещей. Сны и предсонья. М., 1989, С. 144.







САТИРЕССА

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ
РОМАН



ПОСВЯЩЕНИЕ

Вам, когда-то земные, а теперь эфирные божества, посвящаю повесть мою о юном Антеме и белорунной дочери Пана. Да и кому, как не вам, ее посвятить?

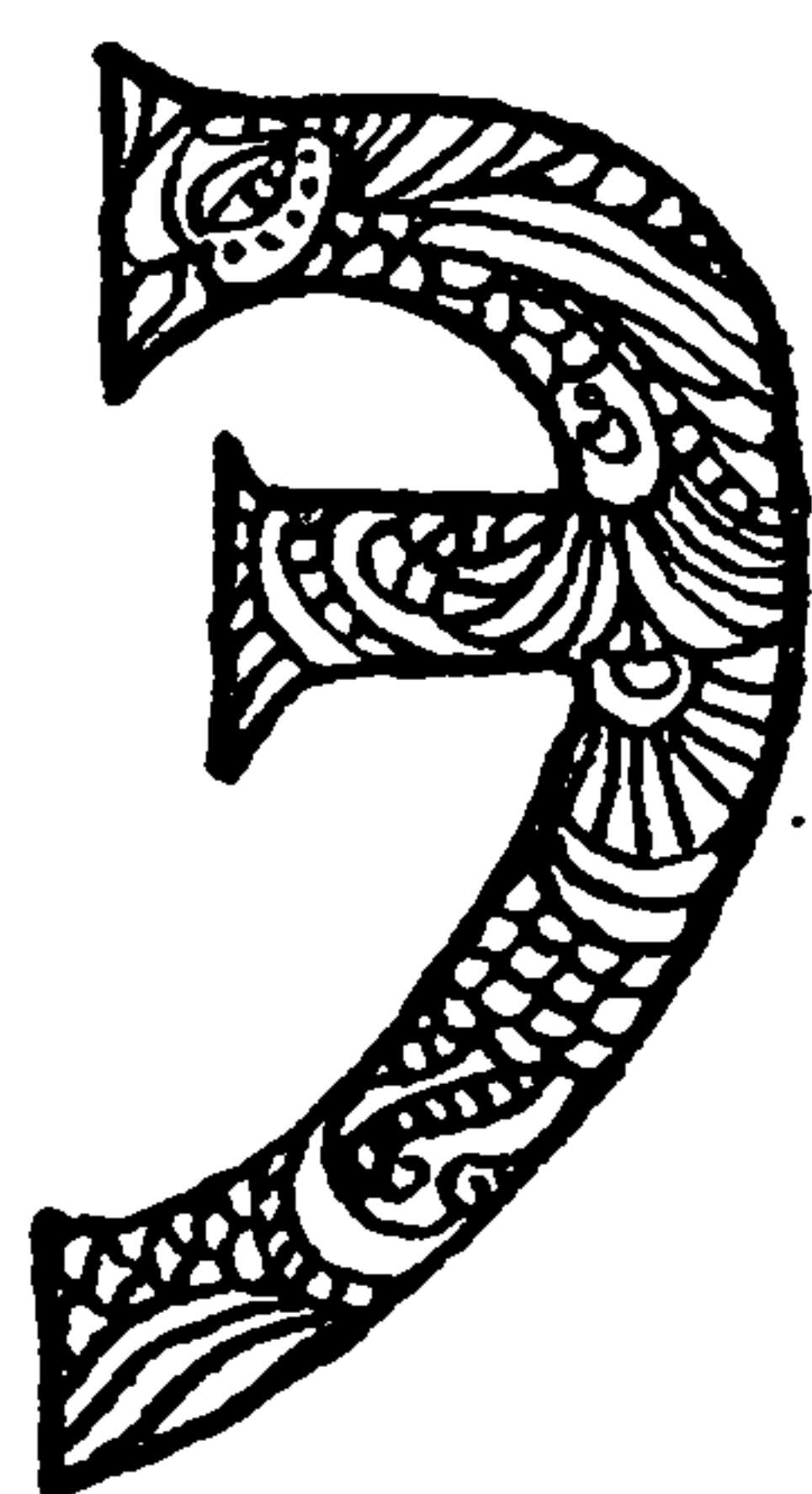
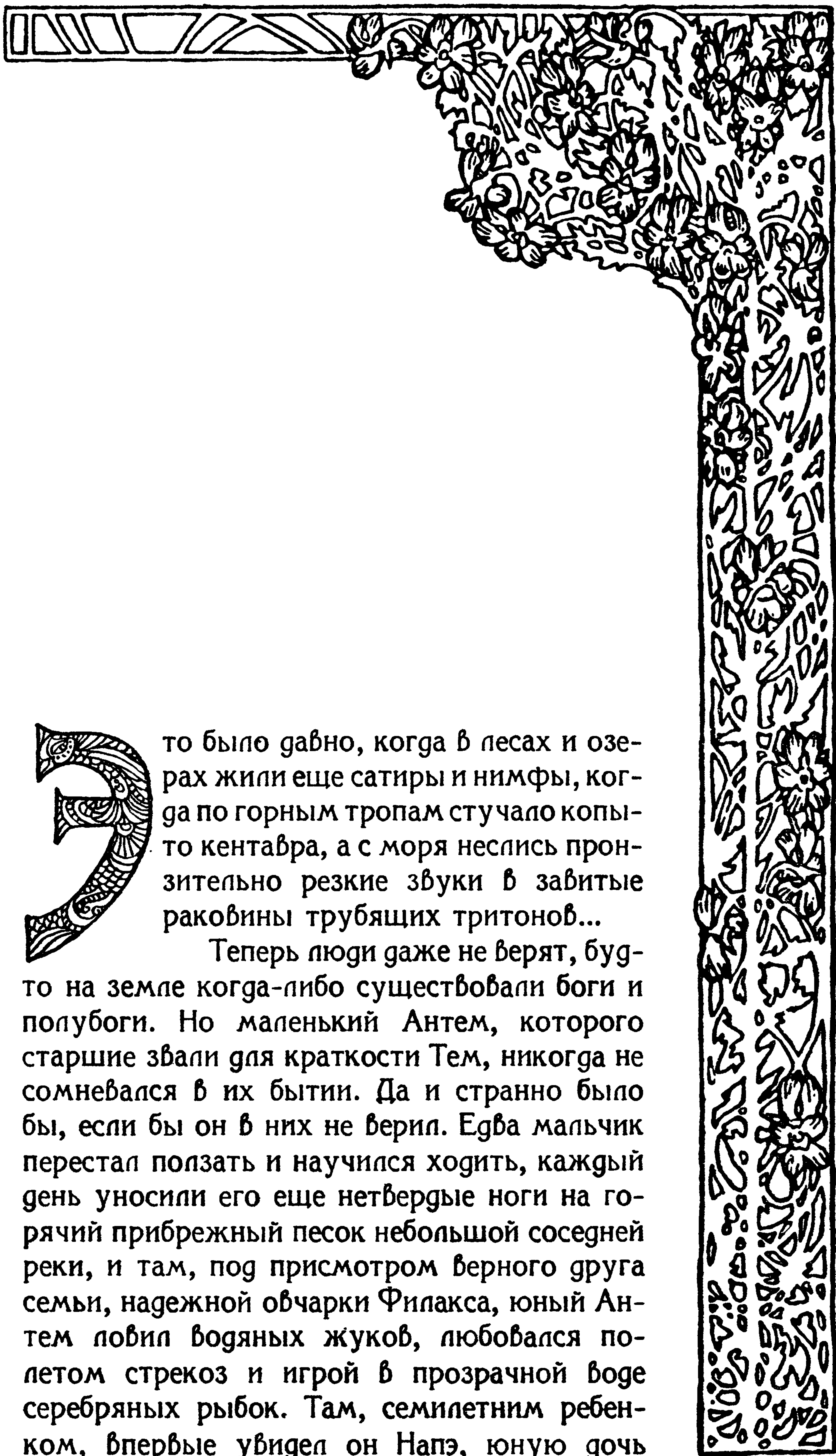
В полном тайн сумраке ночи звучали во мне ваши тихие речи... Ты, легконогая рыжеволосая Астеропа, первой явилась ко мне и больше всех рассказала. Мерцало в ночной темноте твое бледное лицо с большими глазами. При свете луны серебрилась на фоне окна твоя стройная воздушная тень...

Не беспокойся, о Астеропа, я никому не выдам рассказанных мне по доверию тайн. Никто не узнает, чьи близнецы с бугорками на лбу были найдены людьми на берегу Кинеиса и кто был их счастливым отцом...

И твою также просьбу исполню, мой маленький друг, когда-то резвушка сатиресса. Ото всех останется скрытым имя той, что повела мне неизвестные людям предания леса. Сердцу друга всегда был приятен легкий стук твоих миниатюрных копыт по паркетному полу. Скрестив мохнатые ножки, сядишь ты ко мне на колени, храбрая, не боясь даже света лампы... Передай привет мой твоему другу, молодому сатиру Гианесу. Он так любил моего героя... И мне прискорбно, что я не мог сохранить в тайне несчастной страсти его к белокурой сатирессе Аглавре...

Привет мой вам, не знавшие винных возлияний нимфы гор, лесов, полей и источников. Когда-то все вы любили внимать свирели Антема.

Примите привет мой также и вы, дочери светлоструйного Кинеиса. Все прошло, все улеглось, и кровавая тень юного отрока более вас не тревожит... Не приносят ныне вам в жертву обвитых зеленой хвоей и темным плющом коз и ягнят, не проливают белой струей молока и не посыются от масла ваши кумиры в священных гротах и рощах. Иссяк, обмелел быстроводный Кинеис, и даже имя его теперь позабыто. Нет и следа той деревни, где появился на свет, вырос, учился играть на свирели у бродячего певца Филогема юный Антем. Нет больше леса, где он повстречался впервые и часто после бродил с Гианесом... Там нет больше и вас, веселые нимфы... Вы покинули землю, светлые, вечно прекрасные тени!



то было давно, когда в лесах и озерах жили еще сатиры и нимфы, когда по горным тропам стучало копыто кентавра, а с моря неслись пронзительно резкие звуки в завитые раковины трубящих тритонов...

Теперь люди даже не верят, будто на земле когда-либо существовали боги и полубоги. Но маленький Антем, которого старшие звали для краткости Тем, никогда не сомневался в их бытии. Да и странно было бы, если бы он в них не верил. Едва мальчик перестал ползать и научился ходить, каждый день уносили его еще нетвердые ноги на горячий прибрежный песок небольшой соседней реки, и там, под присмотром верного друга семьи, надежной овчарки Филакса, юный Антем ловил водяных жуков, любовался полетом стрекоз и игрой в прозрачной воде серебряных рыбок. Там, семилетним ребенком, впервые увидел он Напэ, юную дочь

быстротекущего Кинеиса. Старый Филакс даже привстал с легким ворчаньем, увидя, как зашевелился зеленый тростник, сплошной стеной росший вдоль берега. Но когда шуршащие травы раздвинулись и из них показалась слегка озабоченная красивая детская головка, верный сторож успокоился, смущенно зевнул и вновь растянулся на прибрежном горячем песке, взмахнув в знак приветствия два или три раза мохнатым хвостом.

Большого, по его мнению, маленькая нимфа не заслуживала. Ведь она была гораздо моложе, видела свет тоже значительно меньше, а потому не имела и права на особенный почет со стороны самолюбивого пса.

Светлая кудрявая головка спряталась, а затем вновь показалась из чащи зеленых стеблей. Ясные синевато-зеленые глаза пристально, с любопытством глядели на Антема, в это время занятого только что пойманным большим водяным жуком. Жук этот так забавно шевелил усами и скрипел...

Маленькая нимфочка смело вышла из воды и приблизилась к мальчику. Тот слегка смутился, увидев пришлицу, сильно отличавшуюся от него своим белым тоненьким телом и золотисто-светлыми кудрями.

Сплошь загоревшему под солнцем, перепачканному черноволосому мальчугану очень понравилась нежданная гостья, и он знаком пригласил ее принять участие в разглядывании нижних летательных крыльев своего пленника.

Дети знакомятся быстро. Скоро мальчик и нимфочка общими силами изловили еще нескольких синевато-темных жуков, наблюдая, как они беспомощно барахтаются лапками вверх на песке. Потом они купались около берега; Тем в восхищении хлопал в ладоши, глядя, как подруга его, отплыв на более глубокое место, показывала ему свое искусство нырять. Ее маленькое белое тело то скрывалось в темном омуте, то мелькало в прозрачной влаге недалеко от поверхности, то показывалось над водой. Быстро и бесшумно двигались ее ловкие руки и ноги в родном Кинеисе.

Антема в свою очередь показывал Напэ, как он умеет стоять на руках. Загорелые ноги мальчика быстро взлетали кверху. Нимфочка старалась ему подражать, но ей это не

удавалось; слабые члены сгибались, и она, как белый лягушонок, снова ныряла в воду, чтобы отмыть пристававшие к мокрой спине и бокам частицы песка...

Целый день играли они на берегу и в теплой воде, плескаясь, шумя и с громким смехом гоняясь друг за другом. Серебряным дождем летели вокруг светлые брызги, а верный старый Филакс спокойно дремал на берегу, жмуря свои умные глаза под палящим, всепроникающим солнцем.



Счастье первой гружбы было неожиданно омрачено вмешательством женщин. Старая соседка Эвринома, ходившая на речку стирать одежду, вернулась однажды очень взволнованная и вперевалку быстро направилась к матери Тема.

— Дорогая Симетига, ты плохо смотришь за своим ребенком. Если так будет продолжаться — он кончит плохо, — начала Эвринома.

— Что такое сделал мой сын? Скажи мне и успокой мое сердце.

— У твоего сына очень опасное знакомство. Ты знаешь, куда он убегает каждый день?

— Он говорил мне, что ходит на реку, но с ним всегда бывает Филакс. Это — верная защита от людей и зверей.

— Но не от нимф, Симетига. Твой ребенок понравился им, и я сама видела издали, как Антем играл с маленькой девочкой из их племени. Они вместе купались, играли на песке и даже обнимались. Милая Симетига, берегись: нимфы — очень хитрый народ. Для начала они нарочно знакомят наших детей со своим таким же маленьким ребенком, а потом, заманив его на глубокое место, тащат мальчика к себе. Ты сама знаешь, Симетига, как глубок посередине Кинеис. Помнишь, как в позапрошлом году там утонул старый Лампрокл? Уж если стариком не побрезговали нимфы, то твоего сынишку подавно утащат... А твой Филакс, на которого ты полагаешься, — совсем неверная собака. Я сама видела, как они поочередно ездили на нем

верхом. Уж если пса твоего нимфы сумели обойти, то ребенка украсть им самое пустое дело!..

Симетига, поблагодарив соседку, немедленно приняла решительные меры. Объяснив Антему, что нимфы — самые опасные существа на свете, она строго-настрого запретила ему даже близко подходить к реке Кинеису.

Но кто может уследить за семилетним ребенком, не сажая его взаперти в полутемном доме?

Антем скоро нарушил запрет и, улучив удобное время, со всех своих маленьких ног пустился бежать хорошо ему знакомой дорогой. Сзади в галоп следовал, готовый разделить его участь, верный Филакс.

Запыхавшись, с бьющимся сердцем, примчался маленький Тем на берег и робко стал кликать свою подругу. Та не замедлила явиться и, слегка нахмутив тонкие бровки, недовольно спросила:

— Где ты был? Гадкий, я не люблю тебя! Зачем не приходил ты так долго к своей Напэ?

— Не пускали,— был короткий ответ.

Друзья обнялись.

— Меня били,— признался Антем.

— Уйдем к нам в камыши; моя мать никогда не бьет меня. Я делаю все, что хочу. На дне у нас прохладно, и голове совсем не больно от солнца.

— Мне нехорошо под водой. Душно и хочется кашлять.

— Это ничего. Ты можешь привыкнуть.

— Не могу. Пробовал.

— Ах, эти люди такие несносные, никогда не слушаются. Старый Пампрокл, что свалился к нам в воду в позапрошлом году, очень хорошо привык. По ночам он даже вылезает на берег и забавляется тем, что пугает прохожих. Я его тоже немножко боюсь. Днем он лежит на дне, зарывшись в иле, а ночью, когда восходит луна, он встает и выплывает... Борода белая, длинная, а сам страшный...

— Ни за что не полезу к вам на дно! — вскричал мальчик.

— Моя мать сказала, что он меня не смеет трогать. Я попрошу ее, чтобы он не смел трогать и тебя.

— Все-таки боюсь. Мне будет скучно без моей матери и отца.

— Да ведь твоя мать тебя била... Да она тебя еще не раз побьет. Вот она бежит... Прощай! Я на тебя сердита и не хочу тебя целовать.

И маленькая нимфа юркнула обратно в камыши...

— Ты что тут такое делал? — побежала встревоженная Симетига.

— Говорил с Напэ...

— Вот я тебе покажу, как с ней разговаривать!.. Вот тебе!.. Вот тебе!.. Вот тебе!.. Не ходи к речке! Не ходи к речке!.. Не ходи к речке! — приговаривала мать, осыпая ударами Антема.

Горько плакавший мальчик был доставлен затем обратно домой...

Когда, в поисках сочувствия, он встретил своего мохнатого друга, тот сконфуженно отвернулся от Тема и, вильнув разик хвостом, пошел за угол каменной стены, окружавшей двор.

Ребенок понял, что Филакс был тоже наказан. Он побежал вослед своему верному другу, нашел его и снова заплакал, обвивая ручонками шею умного пса. Тем шептал ему на ухо жалобы на жестокость матери, на ее запрещение ходить к реке, и слезы ребенка одна за другой катились по шерсти собаки. Филакс сперва отворачивался, стараясь не смотреть на мальчика, бывшего невольной причиной испытанных им жестоких побоев, но мало-помалу старая дружба взяла-таки свое, и он, повернувшись к Антему, несколько раз лизнул его в лицо своим горячим розовым языком...



Пришла зима. Наступили жестокие холода. Люди старались не выходить из теплых, обмазанных глиной жилищ и сидели там у дымящихся очагов, коротая время за работой. Мужчины плели охотничьи и рыболовные сети, чинили обувь, резали из деревьев кубки, из гибких зеленых прутьев ивы делали красивые корзины. Женщины пряли шерсть и искусно ткали холсты. У отца Антема Керкиона часто собирались соседи.

Вернувшийся из-за моря Хейрекрат рассказывал про чужие страны, которые он посетил, плывая на Финикийской галере. Иногда он показывал раны, полученные им в бою с чужеземцами, или подражал голосу вивенных им диких зверей.

— От Счастливых островов мы поплыли к югу,— повествовал об одном своем приключении Хейрекрат,— и несколько пун двигались вдоль берегов, пока не прибыли в страну желтых людей. Климат там знойный, и жители носят синие зонтики. У них короткие копья, кривые мечи и золотые кольца в ушах. Мужчины, подобно женам, носят браслеты и ожерелья. Мы взяли там большую добычу и разграбили пять городов. Между прочим, нам досталось много варварских женщин. На нашу галеру их пришлось три... У них были глинные, как хвосты фессалийских коней, блестящие черные волосы. Они очень нас боялись и первое время ничего не хотели есть. Одна из них была дочка жреца. Нам следовало продать ее в соседнем городе и получить дорогую цену, но начальник флота спешил отплыть от берега. Поднялась буря и разбросала суда. Нашу галеру отнесло далеко в открытое море. Я в то время не греб: у меня была ранена вот эта рука и, кроме того, болела голова, которую хотел пробить палицей какой-то глинный, тощий, белобородый старик на берегу. Поэтому я все время лежал на палубе, привязанный к мачте, чтобы при крене галеры не очутиться в волнах

Три дня нас носило по морю и наконец прибило к маленькому острову. Мы нашли удобную бухту и причалили к лесистому берегу. Судно наполовину вытащили на песок и всей толпой, кроме меня, трех женщин, запертых на засов в каюте, и одного сидонца с больной ногой, отправились на остров поискать воды.

Прошло немного времени, и я услышал легкий шум на берегу. Сперва мне пришла в голову мысль, что это возвращаются товарищи. Но, взглянув в ту сторону, откуда слышался шум, я почувствовал дрожь, и страх разлил холод в моих внутренностях. С берега шло десятка два мохнатых сатиров с такими зверскими

лицами, каких я никогда не видел. Трудно поверить, чтобы в их жилах текла хоть капля божественной крови. Сатиры заметили судно и остановились, разговаривая на каком-то хриплом варварском языке. Святая речь олимпийцев была не известна их гнусному и жестокому племени.

Я притаился в сложенной на корме куче канатов и видел, как они, оставив часть своей шайки на берегу, быстрые и ловкие, очутились на галере. Сидонец с больной ногой, спавший около мачты, внезапно проснулся, схватил копье и бросил в одного из пришельцев, пронзив ему руку. Тот заревел, как зверь, и кинулся на храброго товарища, призывавшего меня на помощь. Но я не решился к нему выйти и видел, как другой сатир схватил несчастного в то время, как тот хотел броситься в море. Жалобно кричавший сидонец вытащен был на середину палубы и прижат к полу. Тогда подскочил раненый сатир и с противным ворчаньем, вытянув свои глинные, рыжей шерстью поросшие руки, медленно задушил несчастного. Остальные разошлись по галере и тащили кому что более нравилось.

Внезапно снизу услышал я страшный вопль. Это кричали пленные варварские женщины. Они кричали долго и раздирающим сердце голосом, словно с них живьем снимали шкуру. Мало-помалу смолкли и они. Я думал, что чудовища их тоже убили, но вскоре увидел, что ошибся. В это время послышался негромкий голос оставшихся на берегу сатиров. Это, очевидно, был сигнал, потому что грабители, один за другим, стали покидать нашу галеру. Они уносили с собой все, что могли захватить. Трое волокли за спинами наших пленниц, и я заметил, что те еще были живыми. Платье на них было растерзано и местами смочено кровью. Одна из них — это была дочь жреца — слабо стонала. Дикий сатир тащил ее, держа за глинные черные косы... Один за другим грабители скрылись в лесу.

Спустя некоторое время вернулись товарищи и пришли в ужас от моего рассказа. Так как они успели запастись водой и нарвать кое-каких плодов, то не захотели дольше оставаться на негостеприимном берегу и тотчас же отплыли в открытое море.

Мы не успели даже похоронить, как поодобает, задушенного сидонца, и он долго беспокоил нас по ночам, являясь во сне или показываясь неясным призраком в темных углах нашей галеры...



— Здешние сатиры никогда не бывают так свирепы, — начал почтенный Амфиарай, сын Полинома, — правда, и они уносят иногда женщин, но никогда их не мучают, а людей не душат и не убивают... Но и в наших местах водились прежде страшные гигантские циклопы.

Дед мой, Мегакл, рассказывал мне, как в юные годы он заблудился на охоте и видел жилище одного такого исполина.

В ущелье, куда он попал, голодный и усталый после долгих скитаний, был вход в пещеру. Оттуда шел такой тяжелый запах, что Мегакл побоялся влезть внутрь и спрятавшись поблизости, тем более что у входа валялось много костей, в том числе и человеческие черепа... Любопытство манило его вблизи поглядеть на хозяина этой берлоги... В сумерки из пещеры вылез, согнувшись, косматый темно-рыжий циклоп. Он был гигантского роста, грязный, и единственный круглый глаз его светился синеватым огнем. У него была густая борода, а лохматые волосы стояли дыбом.

Циклоп нюхал воздух и при этом громко сопел. Он опирался на глинную суковатую, обожженную на огне молодую сосну и, оглядевшись по сторонам, зашагал по ущелью...

Мой дед, довольный тем, что видел чудовище, отправился в противоположную сторону и к вечеру следующего дня, умирая от усталости, наткнулся на гробосеков, которые его накормили...

— Это какой-то особенный, дикий циклоп, — заметил Теокл, сын Перигея. — Вообще, это племя, как говорят, занимается разведением овец и коз. Теперь о них почти ничего не слышно, так как они не любят жить вместе с людьми и выбирают пустынные, незаселенные места. Говорят, их много живет на каменистой Эвбее и маленьких скалистых островах, разбросанных по морю.



— Все-таки это гети богов, и мы должны их почитать и поклоняться, — встала старая жена Амфиарая, Текмесса. — Нынешняя молодежь перестала оказывать почтение бессмертным. Сосновые гирлянды на статуях Пана пожелтели, а в жертву Приапу приносят далеко не самые лучшие плоды!

— О Текмесса, женщина молчит, когда беседуют мужи. Так говорит мудрость, — кротко и наставительно произнес сын Полинома.

Сосновые шишки весело трещали на небольшом, но ярком огне очага...



Весной, когда зазеленели поля, Тему позволено было ходить в горы. Первое время он отправлялся туда вместе с соседкой, доившей коз. Потом ему поручено было помогать старику Харопу пасти общинное стадо. Это занятие так заинтересовало Антема, что он перестал даже скучать по веселой маленькой Напэ, с ее светлыми кудрями и серебристым смехом.

Мальчик научился от коз лазить по скалам. Он понял, за какие кусты и растения можно держаться, взбираясь на крутизну, и за какие — нельзя, так как они могут остаться в руке у неопытного пастуха.

Хароп хорошо играл на девятиствольной, искусно обработанной в желтую медь тростниковой свирели, и мальчик долго удивлялся тому, как прислушиваются к мелодичным звукам чуткие козы. Последние умели даже различать, чего желает пастух, и, повинувшись его сигналу, то собирались в кучу, то пожались, то стремительно отовсюду бежали на его зов, словно спасаясь от невидимой опасности. А одна даже умела плясать...

Старик обещал мальчику выучить его, когда тот подрастет, играть так же искусно, как он сам.

Больше всего понравились Тему беленькие, желтые и коричневые козлята. Это было веселое, резвое и задорное племя. Маленькие, еще не имея рогов, они то и дело бодали друг друга, стучаясь лбами. Больших козлов, с длинными грязноватыми бородами и большими изогнутыми рогами,

мальчик первое время боялся. Ему казалось, что все они насмешливо глядят на него своими умными желтоватыми глазами, а в их блянии Тему прямо чудилось презрение.

— Мэ-э-э, смотрите, какого большого человека дали на помощь старикашке Харопу... Если его хорошенько богнуть, он ни за что не устоит на ногах... Мэ-э-э!..

Но Тем с хворостиной в руках отважно встречал пригнувшего к земле голову козла, и тот позорно убегал, не успев привести в исполнение свой коварный план.

Отбежав на приличное расстояние, козел как ни в чем не бывало принимался щипать траву, почесывая по временам шею левой задней ногой и нюхая после для чего-то копыто.

Мало-помалу Антем научился безошибочно различать коз и козлов своего стада и узнал или дал почти каждому животному имя.

Скоро он чувствовал себя царем среди подвластных ему четвероногих.

Стадо тоже привыкло к мальчику, и даже старые козлы с мозолистыми коленями и поломанными в битвах рогами безропотно покорялись Тему, властной рукой прекращавшему их поединки.

Он подружился и с бывшей при стаде собакой, не Филаксом, который остался при доме, а с Мелампом. Новый товарищ мальчика был черной масти и ростом значительно ниже Филакса. Он был моложе, а слышал и видел несравненно лучше. Одно ухо Мелампа несколько лет тому назад было откушено в жаркой схватке с большой и сильной лисицей. О схватке этой рассказал Тему Хароп, и мальчик с горящими восторгом глазами слушал медленную речь старика, в то время как его маленькие загорелые руки сжимали новенький пастушеский посох...



К концу лета Антем первый раз в своей жизни увидал сатира.

Это было в полдень. Козы попрятались в тень в разных частях долины. Хароп, сперва рассказывавший что-то мальчику про то, как в старые годы, скитаясь

в дикой Фессалии, видел свадьбу кентавров, утомился и уснул.

Сын Керкиона, не любивший спать в полдень, плел из травы западню для кузнечиков, но работа продвигалась медленно; маленький пастух вспоминал Напэ и мысленно учился у нее плавать в неглубоком месте нагретой солнцем реки.

Внезапно он заметил, как наострил свое ухо и приподнял голову рядом с ним лежавший в тени Меламп. Мальчик стал вглядываться в ту сторону, куда обращена была морга собаки, и увидел, как на противоположном конце долины, скрываясь между кустов, вдоль отвесной скалы кралась едва заметная, похожая на человеческую фигура.

Антем различил слегка блестящую на солнце рыжеватую шерсть, мужской торс и козлиные ноги.

Страшные рассказы о сатирах разом поднялись в памяти, и мальчик стал быстро будить спавшего крепким сном старого пастуха.

Старец проснулся, поглядел в ту сторону, куда указывал ему перепуганный Антем, и вопросительно взглянул в его побледневшее лицо.

— Почему ты так струсил? — спросил наконец Хароп.

— Да ведь это сатир!

— Ну так что ж, сам вижу, что сатир. Да будить-то меня зачем понадобилось тебе? Сатир, как и мы с тобой, пить и есть хочет. Он теперь крадется к козам, чтобы пососать молока. Не следует ему мешать, потому что с их племенем пастухам нужно жить в мире, тогда и они будут отгонять от стада волков, медведей и лисиц, так что нам можно будет спать, не опасаясь пропажи. Да и козы будут лучше плодиться...

— Разве сатиры не трогают людей? Я слышал, что они душат или разрывают на куски заблудившихся путников, — начал было взволнованный Антем.

— Все это пустяки. Может быть, в дальних странах и водятся свирепые, ненавидящие людей племена, но в наших горах сатиры кроткого нрава и не трогают никого. Женщине, правда, не следует одной далеко заходить в их владения, но пастухи и дровосеки живут с ними в мире. Мой дед тоже был пастухом. Он рассказывал мне, как в молодости его

полюбила одна сатиресса. Она приносила ему землянику в дребесной коре, помогала пасти стадо, учила, как нужно вправлять у скота вывихнутые ноги и залечивать кусанные раны. Она открыла ему целебные свойства коры, листьев, деревьев и трав. Много из слышанного от нее дед на старости лет передал мне. Только благодаря ему я умею делать так, что ни одна коза не уйдет за проведенную мной вокруг стада черту... Говорят, будто сатиресса эта имела от него детей... Ну, да это, вероятно, неправда, иначе он мне про то рассказал бы... Дети от союза человека и сатирессы имеют лицо более схожее с фавном. Хотя такие браки случаются крайне редко, так как сатирессы обычно пренебрегают людьми. Та, которая полюбила дед, была, кажется, не первой молодости... Если ты и впредь встретишь сатира — не беги от него, не замахивайся с криком копьем или посохом и не отгоняй его от коз, что бы он с ними ни делал, а без страха подойди к нему и постарайся узнать, не нужно ли ему чего-нибудь и не можешь ли ты ему быть полезен. Помни, что сатиры — наши старшие братья, рожденные Матерью Землей, и жили в этих горах задолго до появления людей... Если тебе представится в будущем случай приобрести дружбу кого-нибудь из их племени — не пренебрегай, но дорожи ею, ибо в дружбе они гораздо вернее людей... А теперь дай мне заснуть и впредь не тревожь моего покоя, даже если увидишь их целую дюжину...



Следующей весной Антему удалось поближе познакомиться с племенем сатилов. Зимой ему подарили новую девятиствольную, сделанную из хорошо просушенных тростиниок свирель, скрепленную, правда, желтым воском, а не медью, но певшую с такими переливами, что даже козы первое время поворачивали головы, слушая игру Керкинова сына.

Как потом оказалось, его слушали не одни только козы. Сначала мальчик не обращал внимания на колышущуюся неподалеку от него листву густого кустарника и шелест ветвей во время его игры. Но, заметив однажды пару

устремленных на него черных блестящих глаз, Антем перестал играть и, отступив шага на два от кустов, стал тревожно вглядываться в темно-зеленую чашу.

Кусты снова заколыхались, раздвинулись, и из них вышел молоденький черноволосый сатир, такой же ребенок, как и сын Керкиона, почти одинакового с ним роста. Гладкая, блестящая темная шерсть покрывала крепкие козлиные ножки, поддерживавшие загорелое, бронзовое тело. Маленькие бугорки рог чуть-чуть выдвигались из-под волнистых волос над выпуклым лбом. Лицо сатира было самое обыкновенное, детское, со слегка вздернутым носом, и ничего не заключало в себе отталкивающего или страшного. Рот весело улыбался, а глаза так и заглядывали в душу.

Испуг Антема быстро исчез.

Сатир сделал шаг вперед и произнес ласково и просительно:

— Мальчик, дай мне немного поиграть на твоей свирели!

“Никогда не отказывай в просьбах никому из племени полубогов”, — пронесся в голове Антема один из бесчисленных советов старого Харопа, и хотя ему страшно было расстаться с любимой свирелью, тем не менее он решительно протянул ее поросшему шерстью загорелому полубогу:

— Вот она. Играй!

— Благодарю, хочешь послушать ночную песню? Я сам сложил ее, наблюдая ночью за нимфами.

Маленький сатир сделал сперва несколько трелей, пробуя инструмент, а затем заиграл.

Сперва это была тихая протяжная мелодия, в которой слышалось дрожание тростников под дыханием ветра, чувствовался холодный, легкий свет луны. Мало-помалу темп ускорился. Слышался сперва нерешительный, потом частый и смелый бег босых ног по росистой траве, звонкий серебристый смех и, наконец, визг, от которого по спине пробегали мурашки, а на затылке поднимались волосы...

Свирель смолкла. Молодой сатир стоял неподвижно и молча смотрел на Антема.

— Я так не умею... Я никогда не слышал смеха нимф. Вероятно, очень опасно подглядывать за их ночными играми?

— Нисколько. Я был хорошо спрятан. Да если бы они меня и увидели, то, самое большее, выкупали бы меня в воде. Они ведь понимают, что я для них не страшен.

— Ты часто видишь нимф?

— Часто. Я знаю многих из них по именам, а некоторые даже разговаривают со мной и просят поиграть на свирели. На мое горе, эту свирель украд у меня старый водяной бог из Круглого Озера, вот за теми горами... Ты когда-нибудь был там?

— Нет, не был ни разу, только слышал, что там живет много нимф.

— Подари мне твою свирель, и я сведу тебя ночью на это озеро; ты там увидишь нимф; а кроме того, я дам тебе мою дудку, на которой научу тебя играть две наши песни.

После некоторого колебания Антем согласился. Мысль научиться песням полубогов ему улыбалась.

— Хорошо,— сказал он,— бери свирель... А когда ты принесешь мне дудку?

— Пойдем за ней хоть сейчас. Она спрятана у меня в дупле старого дуба. Это далеко от воды, и ни один из речных или озерных богов ее у меня там не украдет. Я заодно покажу тебе моих медвежат. Они пресмешные и страшные лакомки. Я иногда даю им медовых сот. Ты любишь мед? — спросил сатир.

— Очень люблю.

— Ну, тогда иди за мной. Я недавно отыскал новый, никем не тронутый улей... Ты мне понравился. Мы, наверно, будем друзьями...



После довольно долгой для Антема ходьбы путники остановились на берегу лесного ручья, чтобы передохнуть и напиться холодной воды.

Топкие берега испещрены были следами диких коз, лосей и оленей.

— Посмотри: вот след кентавра. Он караулил лосей, но опоздал и явился к водопою, когда те уже разошлись. Видишь, как ровно и спокойно отпечатаны их копыта...

Молча, с удивлением разглядывал мальчик следы.

— Идем, Тем, не стоит из-за этого останавливаться. Тебя ведь Темом зовут?

— Да, Темом или Антемом. Но скажи мне и ты свое имя,— обратился мальчик к сатиру, переходя вместе с ним речку, вода которой казалась черной от множества лежащих на дне прошлогодних листьев.

— Мое имя Гианес,— важно ответил, вылезая на топкий берег, молодой сатир,— не правда ли, это красивое имя?

— Красивое,— согласился Антем.— А скоро мы увидим твоих медвежат?

— Скоро. Потерпи немного.

Действительно, перебравшись через заросшую лесом горную грядку, путники спустились в небольшую долину, усеянную обломками скал и поросшую мелким кустарником, из которого здесь и там поднимались молодые губки. Почти посередине долины рос огромный развесистый губ.

К нему-то и повел Гианес своего нового приятеля.

— Вот твоя дудка,— сказал он, вынимая из дупла небольшую деревянную, пустую внутри палочку с просверленными по бокам ее дырочками.— Под ее пение у меня пляшут дикие козы и горные лисицы. Смотри: вот как надо играть.

Послышалась нехитрая мелодия, похожая на трели какой-то маленькой лесной птички.

— Теперь пойдем смотреть медвежат.

По дороге опять сделали остановку, чтобы ограбить пчел, поселившихся в сломанном бурей дереве.

Попробовав сот, Антем почувствовал себя вознагражденным за долгий и утомительный путь.

Медвежат отыскивать не пришлось. Они сами выбежали навстречу, почуяв привлекательный для них запах меда. Мальчик увидел, как из-за обломка скалы выкатились два бурых комочка. По мере их приближения он различал мохнатые спины и головы с наострившимися большими ушами.

Оба звереныша, подбежав к сатиру, стали подниматься на задние лапы, нюхая воздух и стремясь получить скорее кусочек бело-желтого сота.

Они терлись о косматые ноги, садились на землю, делали уморительные жесты лапами и, облизывая морды, умильно глядели на Гианеса. Тот смеялся, медлил и наконец сразу бросил им весь завернутый в листья мед, медленно вытекавший из своих шестигранных ячеек.

Медвежата жадно кинулись на погачку. Антем смотрел то на них, то на Гианеса, улыбка которого ему чрезвычайно нравилась и делала привлекательным безбородое лицо молодого сатира.

Звереныши пожирали мед, причмокивая и ворча друг на друга. Одного из них, вырвавшего кусок чуть не из глотки другого, Гианес легонько щелкнул веткой, тут же сорванной с дерева.

Уничтожив мед, молодые хищники жадно вылизывали широкие листья, служившие ему оберткой, и свои мохнатые лапы.

— Смотри: они сейчас будут у меня плясать, — молвил не перестававший улыбаться Гианес.

Антему казалось, что он уже полюбил своего нового друга...

Прошло две недели. Стоял такой же полдень. Окруженные козами, сидели в кустах Гианес и Антем.

Они очень подружились за это время.

— Так ты не знаешь маленькой нимфы Напэ? — спросил мальчик.

— Нет, у меня совсем нет знакомых нимф на реке Кинеисе. Есть две-три переселившиеся оттуда на Круглое Озеро, но это все большие нимфы. Я бы спросил их, где теперь живет Напэ, да они, пожалуй, мне не ответят правды. Засмеют только да еще в озере выкупают, чего доброго. Очень я не люблю, когда меня на глубоком месте окунают...

— Ах, я тоже не люблю. Под водой темно, плохо видно и очень хочется кашлять...

— А ты пробовал когда-нибудь звать из омута свою Напэ?

— Несколько раз потихоньку от старших приходил я то в полдень, то утром, раз даже в сумерки. Долго звал и кричал ее. Но никто не откликался мне из камыша.

Я даже плакал на берегу,— признался немного сконфуженно мальчик.

— А ты пробовал звать ее ночью?

— Нет, ни разу. Ночью я боюсь уходить далеко от дома. Страшно очень. Ведьмы по полям бегают... Да и те же нимфы, того и гляди, к себе утащат.

— Знаешь что, пойдём вместе этой ночью. Со мной тебя никто не тронет, а то ведь, чуть что, я своему дедке пожалуюсь, тому лучше и в лес не показываться. Он у меня строгий дедка. Его сатиры боятся, а меня он любит...

— А отец у тебя есть?

— Пропал.

— Как пропал?

— Да так, пропал... Он за ланью раз погнался. Очень красивая, говорят, лань была... Погнался, погнался, да так назад и не прибежал. Слух носился, что то не лань была, а богиня или нимфа-чародейка.

— А мать есть?

— Мать у меня в Фессалию ушла, там с каким-то сатиром живет, у которого хвост лошадиный. Он года три тому назад приходил. И так его хвост всем нашим женщинам понравился, что они даже грызлись между собой. У нас-то в горах хвосты маленькие, козлиные. Мать моя с ним и убежала... Так ты выходи незадолго до полуночи. Я тебя за околицей подожду; знаешь, где сады ваши начинаются, там, где столб в землю вкопан и два камня возле него... Очень-то близко я не люблю к человеческому жилью подходить.

— Ты и Гекаты призрака не боишься?

— И не видел никогда этой Гекаты. Да и что ей у нас в лесах и горах делать?..

— А зачем у тебя водяной бог свирель стащил? — спросил Антем после короткого молчания.

— Он сначала не знал, что я маленький, и думал, что я хочу сманить у него нимфу, и все грозился. А потом, когда меня увидел, перестал браниться и ласково начал звать к себе... Обещал подарить мне раковин со гна и сказал, что позволит играть с дочерьми. Только я к нему

не пошел. Он тогда рассердился... Я как-то под вечер сидел у озера в кустарнике... Смотрю, как луна из-за деревьев поднимается, и играю себе. Вдруг слышу в стороне, около устья ручья, шум и плеск. Думал, это нимфы медведя купать хотят, а тот упирается... Пополз туда. Оказалось, это кентавр в потемках перебирался через ручей по древесному стволу, да и сорвался в воду. Ругается и орет, ногу вывихнул... Тут еще один сатир случился; тоже около озера вертелся. Пока мы ему на берег вылезть помогали да ногу вправляли, звезды на небе уже много проплыли. Вернулся я к своему кусту, смотрю — нет свирели, и по росе след виден из озера и обратно. Я сейчас же понял, что это озерной старикашка приползал. Он думал, верно, что я сплю, да с досады, что ошибся, свирель мою и унес...

— Так решено, — добавил сатир после небольшого молчания, — сегодня ночью мы встретимся у большого столба.

Затем он вспомнил, что ему надо пробегать своих медвежат и силки, куда должна попасться какая-то птица, встал на ноги и быстро скрылся в кустах.

Тем вернулся к Харопу. Старик мастерил себе новую кожаную обувь и, увидев мальчика, внимательно осмотрел его с ног до головы.

— Все со своим Гианесом путался? — начал он.

— Да, с ним.

— Кажется, это смирный сатир. Что вы с ним делали?

— Медвежат ходили смотреть, — собрал Антем, не желавший выдать своих планов о ночной прогулке.

— И больше ничего? Других сатилов ты сегодня не видел?

— Нет, не видел.

— Ты с большими сатирами, пока сам мал, не веши особенной дружки. А с Гианесом ничего. Этот тебя даже и в шутку не обидит. Он, кажется, даже и коз не трогает?

Вместо ответа Антем, ластясь к старику, стал просить его, чтобы тот ему рассказал, как он видел свадьбу

кентавров. Мальчик обнимал смуглую, почти коричневую шею Харопа, полузакрытую седой бородой, ниспадавшей на грязную овечью шкуру, которая служила тому одеждой, гладил самую бороду и умильно глядел в выцветшие, но еще блестящие глаза старого пастуха.



Высокий изрезанный столб черным пятном виднелся в ночной полутьме. Когда Антем подошел ближе, от него отделилось другое пятно, поменьше, и знакомый голос произнес:

— Я довольно давно тебя жду. Филин в лесу кричал уже много раз. Нам придется спешить.

— Что ж, поспешим.

И грузья зашагали мимо полей по знакомой Антему дороге.

Идти было немного жутко. Маленькие кусты по сторонам пути казались притаившимися во мраке чудовищами. Филин завывал диким голосом на опушке, давая тем самым неблагоприятные предзнаменования; какие-то маленькие зверьки перебежали иногда под самыми ногами дорогу и исчезали в высокой росистой траве. Белый густой туман стоял над полями. Узкая молодая луна бросала с левой стороны свой чистый, но скудный свет.

Впереди, с перекрестка, слышался человеческий голос, пронзительно выкрикивающий какие-то причитания.

Путники обошли этот перекресток стороной, но чуткий слух Антема узнал голос одной из своих односельчанок, очень, видимо, желавшей превратиться в волчицу.

Она кружилась на одном месте, становилась то лицом, то спиной к месяцу и кувыркалась, растрепанная и возбужденная. Вместо рук у нее были волчьи лапы, которыми ведьма царапала то воздух, то землю.

— Она, кажется, не знает как следует заклинаний,— тихо прошептал Гианес, видя, как тщетно кувыркается на одном месте седая голая женщина.— Не стоит останавливаться. Идем скорее к реке.

Но долго еще слышали они за своей спиной охрипший взвизгивающий голос, выкрикивающий отрывистые, непонятные слова.

Но вот туман сделался как будто гуще, а вслед за тем Антем увидел хорошо ему знакомое течение Кинейса. Теперь река была вся черная и слегка блестела под светом луны. Тростники стояли неподвижно, как замороженные. Прозрачная мгла висела над землей.

— Позови ее! — сказал сатир.

— Напэ!.. Напэ! — молящим голосом, не без страха, произнес мальчик. — Выйди хоть на мгновение. Это я, твой маленький друг... Выйди ко мне, о Напэ!

Но тростники остались неподвижны, и никто не вынырнул из черной сонной воды.

— Напэ! — крикнул еще раз Антем. Услужливое эхо подхватило это имя и повторило его в холмах по ту сторону реки. Послышался плеск; в тростниках зашумели крылья, и несколько испуганных уток со свистом полетели над рекой. Кто-то еще плеснулся возле самого берега, и по воде пошли широкие круги. Но маленькая нимфа не показалась. И снова все притихло над сонным течением Кинейса.

Некоторое время друзья стояли молча, не шебелясь. Антему было грустно. Ему так хотелось снова увидеться со своей веселой подругой, снова услышать ее звонкий, беззаботный смех...

— Смотри! — прошептал над самым ~~его~~ ухом сатир, указывая на противоположную сторону реки. Там, недалеко от берега, кто-то шел, беззвучно, словно не касаясь воды. Только раздвигаемые тростники слегка шелестели. Выглянувший из-за тучи лунный серп осветил черную сгорбленную мужскую фигуру, пробирающуюся вдоль береговой полосы.

— Это водяной бог? — шепотом спросил струсивший Антем.

— Нет, не бог. Это человек, или, вернее, он был человеком, пока не свалился в воду... Кажется, он только один и живет в этом месте реки. Пойдем к другому омуту.

— Страшно! Вдруг он на нас нападет! — шептал сын Керкиона.

— Вздор! Если он вылезет на берег, ты ляжешь в траву, а я стану его пугать своим дедкой. Живо уйдет!

Тем заставил себя поверить старшему товарищу и поспешно пошел вслед за ним по морской росистой траве.

Пробираясь среди кустов, путники дошли до следующего омута. Там, едва они приблизились, загоготали и заплескались гуси.

Но и здесь призывные крики Антема остались без ответа. Напрасно повторял он имя подруги.

Никто не вышел к нему из густой стены тростников.

Проходив бесплодно почти до рассвета, грузья расстались у того же садового столба.

Усталый и мокрый, бесшумно проникнул Антем под родительский кров.

Там было сухо, тепло, не страшно, а бараньи мягкие шкуры манили ко сну.



Незаметно подкралась осень, а вслед за ней, к великой досаде Антема, настала добольно ранняя зима. Она расстроила все планы мальчика о ночной прогулке с Гианесом на Круглое Озеро, где он рассчитывал отыскать свою подругу. Предприятие пришлось отложить до следующего лета.

Зимой, как известно, трудно уходить далеко от дома. А зима выдалась на редкость суровая, заставившая сатира перекочевать далеко за горы, а нимф спрятаться в пещеры или подо льдом, где все-таки было гораздо теплее, чем на поверхности.

Говорили, что какой-то не то озерный, не то болотный бог вздумал было пройтись добольно далеко по льду и в результате отморозил свою похожую на гусиную заднюю лапу.

Передавали также явно невероятный слух, будто одна из маленьких речных нимф добровольно обратилась силой мороза в ледяную сосульку, которая потом растаяла при первых лучах весеннего солнца.

Антем за это время набрался новых познаний. В их деревне зазимовал бродячий певец и музыкант, знавший так много песен про богов и героев, что их трудно было

переслушать даже в три зимы. Тем не менее мальчик свел с ним тесную дружбу и к весне имел весьма точные сведения об олимпийцах, их отношениях друг к другу и к людям.

Певец этот, которого звали Филодем, по очереди жил то в одном, то в другом доме. Обитатели деревни его охотно кормили, подарили ему старую, но еще крепкую зимнюю одежду и по вечерам собирались слушать его пение и игру на кифаре.

Целые дни просиживал Тем с этим лысым музыкантом, носил ему из родительского дома вкусные куски и без конца слушал рассказы старого бродяги.

При помощи того же Филодема соорудил сын Керкиона себе новую свирель, пробовал играть на его большой кифаре, а также научился нескольким священным пляскам в честь Ареса, Зевса и юного Аполлона. Точно так же мог он в конце зимы пропеть неуверенным голосом, аккомпанируя себе на кифаре, довольно длинную рапсодию о подвигах никому в их селении не известного бойца и героя Геракла, а кроме того, отрывки гимнов о борьбе небесных богов с мрачными гигантами.

Интимная жизнь бессмертных сделалась ему под конец до того известна, что, когда в соседней деревне у одной девушки родился сын, отцом которого она в простоте душевной назвала неизвестного ей бога, Антем принял было даже участие в спорах взрослых о том, какой это мог быть из богов.

Правда, он был тотчас лишен слова и позорно изгнан из того дома, где происходила беседа, но ушел он не без чувства собственного достоинства и вполне убежденный, что старшие прогнали его из зависти к его необыкновенным познаниям.

С этих пор мальчик стал чуждаться их общества, гулся и почувствовал себя вполне свободным лишь тогда, когда в селении стали вновь выгонять стадо.



— Сегодня ночью в лесу нимфы празднуют наше возвращение, — сообщил Антему его козлоногий друг, увидясь с ним после долгой разлуки. — Нас вернулось немного, но это все же лучше, чем ничего. А потому нимфы

ликуют. Приходи и ты. Тебя не тронут. Я говорил уже дедке.

— Хорошо. Когда в доме заснут, я прибегу к тебе на опушку. Подожди меня около камня... А почему вы вернулись не все?

— Большая часть ушла отыскивать бога. У Зевса объявился новый сын по имени Ойнос. До нас дошел слух, что он сзывает к себе сатиров и фавнов. Когда настала весна, многие, вместо того чтобы вернуться сюда, отправились на север... У нас говорили, что всех приходящих к нему этот Ойнос поит новым чудесным напитком, после которого каждый сам становится богом.

Большинство нашего племени соблазнилось и ушло. Осталось немного... Я теперь за большого, — прибавил сатир, улыбаясь собственной важности...

.....

Ночью на опушке леса Антем отыскал поджигавшего его друга и вместе с ним по оленьим тропинкам пришел на поляну у Круглого Озера, где плясали уже при свете луны беззаботные стройные нимфы.

— Это мой друг, — представил его Гианес. — Он хорошо играет на свирели. Не бойтесь и не бегите от него, о легконогие! Антем, сядь тут на пне и приготовься сыграть что-нибудь божественному хороводу.

Мальчик увидел перед собой до сотни нагих, серебристо-туманных лесных, речных и озерных красавиц, прервавших веселую пляску и с любопытством смотревших на гостя. Наиболее робкие спрятались в кустах и не без смущения выглядывали оттуда.

Кругом стоял шепот, подобный жужжанию пчел в полном работниц улье или шуму осеннего ветра в древесных листьях.

Несколько мохнатых сатиров сновало тут же. Сатиресс не было видно ни одной.

— Мы не пускаем их на наши собрания. Все они обладают сварливым характером и могут нарушить веселье, — важно пояснил Гианес, обращаясь к Антему.

— А это что? — внезапно спросил мальчик, указывая на крошечную мохнатую фигуру, сидевшую неподалеку от них в кусте и с любопытством кругом озирающуюся.

— Это Фена. Она совсем маленькая. Не обращай на нее внимания, а то заметят другие и прогонят. Она славная мохнатка и совсем не злая,— ответил юный сатир, и в голосе его слышались теплые нотки.

— Тебе надо будет что-либо сыграть на свирели, а то нимфы смутились и перестали плясать,— добавил Гианес немного спустя.— Кажется, в ее стволы ничего не попало, пока мы продирались сквозь чащу леса. Сыграй что-нибудь человеческое. Мы любим ваши печальные песни.

— Хорошо.

И Антем заиграл гимн в честь ночной серебристо-хитонной богини. Этому гимну его обучил в одну зимнюю ночь не в меру напившийся неразбавленного вина старый бродяга Филодем. Мальчик помнил, как охмелевший певец плакал, глядя на черно-синее небо, где плавал широкий светлый млечно-серебристый диск. Антем хорошо перенял звуки. И теперь свирель его пела почти так же торжественно, как некогда у его учителя. Шум голосов совсем прекратился, и весь ушедший в игру Антем не заметил, как обступили его со всех сторон тесной толпой легконогие нимфы.

Обнявшись, касаясь друг друга висками и легкими кудрями, стояли, храня молчание, стройные дочери леса, и лишь тихие, но глубокие вздохи подымали порой их матово-белую грудь.

Когда Антем кончил играть, одна из нимф подошла и, заглянув ему в глаза, молча и ласково погладила его по щеке... Другая нимфа села около и потрепала мальчика по колену.

— Сыграй им теперь веселую песню,— шепотом попросил Гианес.

Молодой подпасок подумал немного и начал танец, который играют на свадьбах... Мелодия эта произвела сильное впечатление. Нимфы стали притопывать ногами и колыхаться в такт плясовой игре.

Первым не выдержал толстый, покрытый короткой шерстью лысый сатир. Перед самым Антемом выступил он из толпы и начал плясать, щелкая пальцами и стуча копытом о копыто. Он прохаживался плавно взад и вперед среди

раздавшегося круга, увлекая своим примером взволнованных музыкой нимф.

Одна за другой, сперва неуверенно, затем все смелее, начинали они кружиться, колыхаясь среди ночного тумана.

Круг расплылся, и к звукам поющей свирели прибавился топот легких белых ног и тяжелых раздвоенных копыт.

Но Антем устал, и руки его бессильно опустились.

В ту же минуту мальчик почувствовал теплое дыхание на своем лице, и чья-то небольшая ладонь легко легла к нему на плечо.

Сын Керкиона поднял глаза. Перед ним была незнакомая золотистоволосая тонкая нимфа. Наклоненное лицо было прекрасно. Черные глаза на матово-бледном лице смущали душу.

— Ты хорошо играл, человеческий отрок. Дай поцеловать мне твой лоб.

И на челе Антема яркой звездой вспыхнул поцелуй.

Кругом слышался шепот. Там и сям засмеялись, громко заговорили, но в гуле голосов до ушей Антема донесся какой-то новый глухой шум, подобный далекому топоту или обвалу в горах. Он вопросительно взглянул на молодого сатира.

Гианес тоже наострил уши и прислушался.

Топот все рос... Внезапно вблизи раздался чей-то испуганный визг, потом еще чей-то возглас: "Кентавры!" — и вся масса сатиров и нимф кинулась врассыпную.

На поляну с гиком и смехом влетело стадо кентавров. Они ловили перепуганных нимф, которые тщетно старались укрыться. Один уже мчал, прижимая к своей могучей волосатой груди пленную, бьющуюся гамагриаду.

Сатиры не пытались заступиться за подруг. Антем видел, как ныряли под шатер зеленой листвы их мохнатые зады и согнутые спины. Гианес схватил отрока за руку и побежал вместе с ним...

Небольшая рытвина неподалеку укрыла их обоих. Мимо грузей пробежала, приседая, как заяц от испуга, желтоволосая, с тонкими ногами нимфа. Вздыхая, она скрылась за деревьями.

Галопом промчался по тропинке, преследуя кого-то, кентавр.

Внезапно он круто повернул в сторону и очутился у рытвины.

— А, вот ты где? Попалась, лесная козочка! — воскликнул густым басом четвероногий богатырь, перегнувшись вперед и простирая руки. — Опять не то! — буркнул он, заметив ошибку. — Это кто такой? Неужели ты, Гианес? Тебя никто не ушиб и не обидел?

Собравшийся было убежать Гианес тотчас успокоился.

— Нет, Сфенел, я успел вовремя убраться. И откуда вас принесло, такой табунице? Всех нимф перепугали... Вы хоть скорей отпустите тех, что захватили!

— Небось отпустим, не с собой же их в горы тащить; там ведь у нас строго. Коли к себе привезем — так нам попасть может, что ой! У нас жены страсть сердитые!.. Залягают!.. А это кто с тобой?

— Это мой друг, отрок из человеческого племени. Играет на свирели, как бог Пан...

— Я тебя всегда любил, Гианес. Ты помог мне вправить вывихнутую ногу. Твой друг будет другом и мне!

И, подойдя к краю рытвины, Сфенел согнул свой человеческий стан и протянул мальчику свою мускулистую загорелую руку. Антем протянул свою, и она почти потонула в широкой, грубой лапони кентавра.

— Ты за кем гонялся-то? — спросил Гианес.

— Да вот желтоволосая одна... Руки и ноги глинные, как жерди... Ушла... Досада такая! Жена все равно не поверит, что никого не поймал, и ругать за беспутство будет!

Гианес молча и многозначительно показал в ту сторону, куда скрылась приседавшая нимфа.

— Там? — тихо спросил кентавр.

Гианес утвердительно кивнул головой. Четвероногий герой бешено метнулся по тропинке и, стуча о корни копытами, скрылся в лесной чаще, откуда скоро послышался раздражающий визг и громкий, торжествующий хохот.

— Зачем ты указал ему нимфу? — спросил Антем.

— А что ей от этого сделается? Ведь она кричит только для вида... Сфенел — мой друг, — прибавил юный

сатир.— Теперь же поспешим к твоему дому, скоро начнет светать...

В лесу было все тихо. Далеко-далеко слышен был мерный топот удалявшегося табуна. Друзья вылезли из своей рытвины и по тропинке, спотыкаясь о корни, направились к лесной опушке. Затем вышли в поле и стали взбираться на песчаные, бесплодные холмы.

В небе огна за другой исчезали и меркли далекие звезды. На востоке уже светлело. Внизу, на росистых полях, многотысячным хором квакали неугомонные лягушки.



— Ты никогда не любила людей? — спросила нимфа Ликиска у своей старой знакомой, рыжей сатирессы Пирсотрихи, которая, впрочем, в лесах была более известна под кличкой Козлица.

— Случалось, — ответила та, зевая. — Да и что остается нам делать, если наши сатиры словно забыли о том, что мы существуем. Целые дни гоняются они за кем угодно, только не за нами. Слобно им нет никакого дела до того, пропадет или не пропадет наша порода.

— А это очень интересно? — перебила нимфа, которой давно уже надоели бесконечные жалобы подруги на коварство сатиров.

— Что интересно? Гоняться за нимфами?

— Нет, любить людей?

— Всего бывает. Один раз мне попался краснолицый толстый старик, который себя называл жрецом Посейдона. Жрец этот сбился с пути, и я ему объявила, что он никогда не увидит родимого дома, если не поживет сперва у меня. Старик подумал немного и согласился. Он пробыл в моей пещере целых четыре дня и ужасно мне надоел, требуя то вареного гороху, то вина, то мягкого ложа... А ты хорошо знаешь, моя милая, что я не сплю на мягком.

И сатиресса слегка ущипнула свою собеседницу.

— Да, у тебя довольно жесткая подстилка, — согласилась нимфа.

Обе подруги сидели рядом на небольшом, поросшем сухим мохом камне у склона холма; кругом расстился вереск, здесь и там виднелись искривленные кактусы и колючий кустарник; на вершинах окаймлявших долину холмов темнели тесно растущие пинии.

Ликиска была значительно моложе и красивее сатирессы.

Черные волосы нимфы собраны были на затылке, образуя тяжелый узел, куда было воткнуто несколько желтых пахучих цветков. Немного полное ее тело было молочно-белого цвета, и солнечные лучи, казалось, вовсе не действовали на кожу полубогини.

Темные глаза Ликиски задумчиво рассматривали ползшего по ее ноге муравья.

— Ты ждешь, что этот муравей обратится в Зевса? — насмешливо сказала сатиресса. — Не надейся. Он обращает внимание исключительно на девчонок. Лет десять тому назад, когда ты была еще не знакома с гордостью наших лесов, рыжим, как я, Лампросатесом, Повелитель Олимпа мог бы еще взглянуть на тебя благосклонно... Говорят, тогда ты была совсем тоненькая... А теперь — нет!.. Да и на что нам с тобой Зевс? Право, он теперь оказался бы лишним.

И сатиресса захохотала, откинувшись всем корпусом. Висячие небольшие наросты на ее белом горле тряслись от звонкого смеха...

Рыжие волосы свои Пирсотриха коротко подрезала острой раковиной. Шерсть на ногах она никогда не расчесывала, и та местами свалялась в войлок. Вообще сатиресса не ухаживала за своей наружностью, не натирала после купания тело оливковым маслом и не любила глядеться в темную воду в тени прибрежных кустов.

Она сама знала, что была некрасива...

Но прозрачно-зеленые глаза Пирсотрихи были прекрасны, и блеск их, по словам ее знакомых нимф, проникал прямо в душу.

В горах говорили, что она когда-то давно прошибла камнем голову своему мужу и столкнула его в море с высокой скалы. Но это была неправда. Тот, кто считался ее мужем, просто покинул Пирсотриху вскоре после сближения.

Ликиска возобновила разговор.

— Скажи мне, все люди, которых ты знала, были так же скучны и грубы, как тот старый жрец?

— Нет, не все, но мне не нравится их всегдашняя трусость. Всякий раз, как людские глаза сближались с моими, я читала в них мысль: “А что, как она перекусит мне горло?” И таковы все они — и молодые и старые... Пожалуй, только мальчишка с берегов Атракса был ко мне искренно привязан...

— Какого цвета у него были глаза?

— Голубые. А волосы совсем светлые. Сам тоненький и страшно ласковый. Дома жилось ему худо. Каждый вечер прибегал он ко мне на опушку леса, и я никогда не испытывала более нежных объятий... К сожалению, мать слишком немилосердно его колотила; мальчик худел, кашлял и скоро умер... Это ложь, будто я убила его своими пылкими ласками; хотя мой маленький друг был в них неутомим... Я даже плакала, когда после двухнедельной разлуки узнала о его смерти. Это был мой последний любовник из человеческого племени.

— Так что наиболее юные люди лучше других?

— Мне они нравились больше всего, — ответила Пирсотриха, выцарапывая острым сучком камешек из своего раздвоенного копыта. — Ты знаешь, на восток отсюда, по ту сторону реки Кинеиса, есть деревня, откуда выгоняют пастись большое стадо. Я давно уже не была в тех местах, но в прошлую луну туда случайно попала. Там у старого пастуха появился помощник, прехорошенький кудрявый мальчуган. И если бы я пожелала изменить своим привычкам, то непременно выбрала бы его.

— У него нет еще бороды и усов?

— Какая там борода, если мальчику не больше двенадцати зим. У него загорелое лицо, черные волосы и звонкий голос...

— А много при этом стаде собак? — немного погодя спросила Ликиска.

— Всего одна, и не лает на сатилов. Я прошла в десятке шагов от нее, и хоть бы что...

— Неужели ты ходила туда лишь для того, чтобы посмотреть на стадо?

— Нет, у меня там были другие дела,— уклончиво ответила сатиресса.

Наступило молчание. Нимфа лежала теперь на спине, подложив под затылок свои белые руки и задумчиво глядя в бездонную небесную синь.

Пирсотриха обняла свои мохнатые ноги и сидела, уткнув подбородок в рыжую шерсть коленей. Заходящее солнце окрасило верхушки пиний. Один луч, прорвавшись сквозь ветви, скользнул по плечу сатирессы и заиграл на теле Пикиски. Нимфа казалась совсем розовой при свете заката...



Колесница Феба поднималась все выше и выше. Становилось жарко. Козлы несколько раз уже устраивали жесткие граки. То и дело в разных частях долины слышался частый стук взаимных ударов и топот быстрых копыт по твердой земле.

Антем несколько раз уже разгонял бьющих друг друга рогами старых самцов. Небольшой пастушеский посох властно мелькал в его загорелых руках.

Из густо заросшей олеандрами ложбины, где струился небольшой ручеек, донеслось жалобное блеяние козленка. Юный пастух торопливо направился туда, пробираясь в густой чаще кустарника, среди разбросанных здесь и там гигантских каменных глыб. У подножья отвесной серо-желтой скалы стояла вода. Светлые струйки бежали из темной расселины камня, образуя природный водоем. Мальчик оглянулся по сторонам — козленка нигде не было видно. Он зачерпнул руками студеной воды. Снова послышалось блеяние, на этот раз откуда-то справа и сверху.

Антему стало жаль заблудившегося козленка, и мальчик решил во что бы то ни стало отыскать его... Узкая, загроможденная большими камнями тропинка шла, извиваясь, в гору. Сын Керкиона прислушался немного и решительно двинулся по ней, словно кузнечик прыгая с глыбы на глыбу. Продвигаться вперед становилось все труднее, а

невидимое блеяние словно гразнило упрямого мальчика. Порой ему казалось даже, что он слышит тихий, подавленный смех.

“Неужели это смеются над моей неудачей,— подумал отрок,— те самые ореады, которые недавно звали меня прийти поиграть с ними?” Он поднял голову, но на уступах высоких скал никого не было видно...

Но вот Антем достиг вершины горного хребта и стал озираться. Там тоже никого не было. Противоположный отлогий склон порос высоким кустарником. С вершины открывался вид на лежащие по обе стороны горы, словно темно-зеленым ковром покрытые лесом. Неровными пятнами здесь и там виднелись внизу более светлые небольшие полянки... Каменистая площадка, где находился Антем, была голая и бесплодная. На одиноком, сухом, почерневшем от грозы дереве висели рога и полуистлевшие шкуры когда-то принесенных здесь в жертву Пану и ореадам козлов.

Кругом было тихо. Уставший от долгого лазанья по горам, Антем уселся на камень. Нигде не было видно никаких следов козленка. Кустарники на склоне не шевелились, и лишь пестрые ящерицы мелькали вокруг по горячим от солнца камням.

Внезапно сыном Керкиона овладела тревога. Разом вспомнились ему все страшные рассказы, слышанные им в долгие зимние вечера. Что, если блеял не козленок, а ведьма, которая подражала его голосу, с тем чтобы заманить и съесть маленького пастуха? Что, если ведьма эта спряталась где-нибудь неподалеку и ждет только случая, чтобы напасть на него? Посох свой отрок оставил внизу у источника, но разве посох помог бы отбиться от кровожадной колдуньи... Правда, ведьмы бегают по земле только ночью, но кто помешает им напасть и среди белого дня? Не лучше ли уйти поодру-поздорову?

Сын Керкиона встал, с тем чтобы начать спускаться обратно. Но едва он сделал два шага, как около него послышался тихий смех, заставивший мальчика вздрогнуть от ужаса, и из-за большого серого камня поднялась,

простирая руки, высокая женская фигура. Отступление по прежней тропинке было отрезано.

Инстинктивно, не помня себя, Антем бросился вниз в противоположную сторону, не разбирая дороги, ныряя в кустах и прыгая, словно дикий козел, по заросшему молодыми деревьями горному склону.

Нимфа Ликиска (это была она) стала преследовать отрока. Ее белое тело мелькало в зеленой чаще. Ветки хлестали ее по лицу во время бега. Иногда колючий кустарник проводил алую черту на нежной коже, но нимфа не обращала на это внимания и мчалась стрелой в погоне за убегавшей добычей.

Ей попался достойный соперник в беге. Антем слышал треск сучьев за своей спиной, топот легких ног и тяжелое прерывистое дыхание. Кто за ним гнался, отрок не знал. Но не все ли равно? Разве станет кто с доброй целью нападать в горах на юного пастуха: ведьма или мстительный дух погибшего в этих местах путника, оба равно склонны обидеть более слабого, чем они, человека... Ветер свистал у него в ушах; тяжелое дыхание слышалось все ближе и ближе. Антем изнемогал уже от усталости, в глазах у него темнело, и ужас все более охватывал душу. Отрок неожиданно споткнулся о древесный ствол и покатился под откос. Падая, Антем почувствовал, что кто-то схватил его крепко руками, и — потерял сознание...

.....

Сын Керкиона и нимфа сидели рядом на траве и молчали. Мальчик был грустен и старался не глядеть на Ликиску, хотя все время чувствовал на себе ее пристальный взгляд. Он не вполне еще оправился от пережитых потрясений. Разорванный пастушеский плащ из овечьей шкуры валялся рядом, и в голове отрока мелькнула мысль о том, как объяснить ему дома порчу одежды. “Придется сказать, что оборвал, падая с дерева”, — решил он, вздохнув.

Слева послышался шорох, и Антем повернул свое разгоряченное лицо в сторону нимфы. Та полулежала в двух шагах от него. Черные волосы Ликиски растрепались, и в

них виднелся всего лишь один желтый с синей каймой цветок. Крупные капельки пота блестели на утомленном борьбой и продолжительным бегом теле полубогини. Лицо ее побледнело и имело разочарованный вид. Темные глаза устало созерцали Антема.

— Бедный мальчик, ты совсем не подозревал того, что случится с тобой? — спросила она.

Сын Керкиона ничего не ответил нимфе и только еще ниже склонил свое покрасневшее лицо.

Ликиска увидела, как что-то светлое загрохотало, скатившись с темных ресниц.

Сразу она очутилась около отрока.

— Глупый мальчик, что ты плачешь? Ведь тебе нигде не было больно. Скорее должна была плакать я, а не ты. Мне следовало бы досадовать на твою дикость, когда ты, очнувшись, стал барахтаться и кричать, словно я собиралась перекусить тебе горло... Будь умником и перестань на меня сердиться!.. И лучше никому не говори о том, что случилось. Иначе в горах будут смеяться над нами обоими.

Рука Ликиски опустилась на плечо сыну Керкиона. Тот вздрогнул, отвернулся, но плеча своего от руки нимфы не освободил. Теплая и мягкая, она, казалось, переливалась в существо мальчика какую-то дрожь. Мысли вихрем вертелись в его голове. Антем вспомнил рассказы юного сатира Гианеса, который дружески передавал ему результаты своих любовных походов и не раз возбуждал его любопытство...

— Милый отрок, перестань на меня дуться. Право, я не безобразна. Погляди на меня, мой мальчик!

И Антем не нашел в себе силы не повернуться. Глаза нимфы были черные и глубокие, как пропасть в горах. Сын Керкиона чувствовал, как пропасть эта его к себе манит и притягивает. Ликиска, продолжая глядеть в глаза пастуху, села с ним рядом и, касаясь своим белым, как мрамор, боком загорелого тела мальчика, обвила его нежно своей рукой.

— Ты все еще сердишься? — тихо прошептала она.

Сердце Антема усиленно билось. Робкая мысль о том, что ему следует вскочить и убежать, неясно пронеслась в

его голове. Но отрок даже не пошевелился, и, когда нимфа, наклонясь, припала к его губам, он не имел силы от нее отшатнуться.

.....
 Кругом было тихо, огни лишь кузнечики стрекотали в траве, как иступленные.



После эпизода с Ликиской Антем быстро переменялся. Втайне он опасался, что кто-нибудь из лесных полубогов узнает о его испуге или слезах, а потому, следуя примеру Гианеса, вместе с ним начал гоняться за нимфами, не обращая внимания на толчки, которыми те его награждали. Ликиски он стал избегать. Мальчику было неприятно вспомнить свой страх перед ней и то, что он был побежден и взят предприимчивой нимфой...

Керкионова сына привлекали к себе другие. Ему самому хотелось гнаться в ночном тумане за силуэтом речной или озерной красавицы, задыхаясь догнать и после недолгой борьбы торжествовать сладость победы... Послушный совету друга, он избегал больших праздников, где бывало много сатиров, которые могли к нему проявить неприязнь, ревность и зависть.

В полдневный зной подползал он к уснувшим в тени утесов над самой пропастью ореадам, взбирался ради них, как горный козел, по самым крутым, поросшим жидким кустарником, склонам. Но все попытки его кончались неудачей. Нимфы, смеясь и шутя, гнали его, предлагая сперва погрести и обзавестись бородой, а если и позволяли остаться, то лишь с тем, чтобы послушать его игру на свирели...

Зато его часто приглашали к себе малютки ореады — горные дети, которые ночью любят сбивать с дороги путников своим жалобным плачем и призывными криками.

С ними он вновь обращался в ребенка; слушал их детские сплетни про старших сестер; ему показали обрыв, где сорвался и распорол себе брюхо об острые камни старый



сатир Флип, по прозванию Лягуха. Вместе с маленькими ореадами подполз и он, рискуя сорваться и разделить участь Флипа, к небольшой трещине в скалах, откуда иногда слышался голос какого-то неизвестного бога или богини. И часто в знойный полдень, скрываясь от солнца под сводами низкой пещеры, отдыхал он на ложе из сухой жесткой травы, окруженный пятью или шестью из своих юных подруг. Он должен был рассказывать им человеческие сказки и принимать участие в играх, где изображал то похотливого сатира, то кого-нибудь из богов, то высокого грубого циклопа, то четвероногого кентавра, везущего на своей спине двух покоривших его нимф.

Золотые лучи солнца проникали сквозь виноградную листву у входа и светлыми пятнами ложились на копошившуюся кучу маленьких спин, рук и животов.

— Оставайся с нами навсегда! Зачем уходишь ты ночевать в ваши душные, полные дыму логовища? — говорили отроку маленькие подруги. — Мы любим тебя, как старшего брата, а потом, — добавляли они, немного смущаясь, — у тебя такие же ноги, как у нас, а жесткие копыта сатиров так больно наступают на пальцы... И кроме того, — шепотом произносили малютки, — от них всех так неприятно пахнет козлом...



Сын Керкиона осторожно, чтобы не разбудить старого Харопа, поднялся на ноги, хорьком скользнул сквозь кусты и, незаметно даже для пса, скрылся из виду. Лишь две-три козы, мимо которых он промелькнул, проводили его ничего не выражающими взглядами.

Отрок бегом добрался до небольшого озерка, по берегам заросшего ивами, и беззвучно подполз к самой воде. Его тянуло взглянуть, как будут купаться в полдень лесные нимфы. Эти пугливые девы славятся тонким слухом и всегда успевают скрыться, почуяв приближение смертного. Нимфы не любят, чтобы их видели днем.

Поверхность озера была тиха и серебриста. Никого кругом не было видно. Огни лишь стрекозы трепетали то

здесь, то там под водой. Но залегший в кустах сын Керкиона решил терпеливо ждать, зная, что в жаркий полдень всех обитателей леса манит к себе кристальная свежая влага.

Он не ошибся. На том берегу хрустнул сучок и показалась незнакомая ему самка сатира. Она, очевидно, только что выискав блох на своем детеныше, собиралась его купать, несмотря на его пыхтение и жалобы.

Сатиресса, склонясь над водой, отразившей ее отвисшие, острые груди, несколько раз окунула сына в светлую воду. Затем она стала тереть его мокрую шерсть, стараясь сделать ее шелковистой и мягкой.

Работа шла туго. Сатиренок перемазался где-то в смоле и теперь визжал тонким злым голоском, когда мать расправляла на нем сплывшиеся пряди волос. Он рвался и даже укусил сатирессу за палец. Но мать строго прикрикнула на непокорного сына и хлопнула его несколько раз по мокрому меху так, что вылетевшая оттуда пыль заблестела на солнце, как радуга.

Сатиренок неожиданно рванулся из рук заботливой матери и, едва не свалившись в воду, ловко юркнул в чащу леса. Сатиресса с криком досады погналась за сыном, и скоро топот их быстрых копыт замер в лесу...

Пролежав немного на том же месте, Антем почувствовал вдруг, что сзади кто-то стоит. Отрок вскочил на ноги и заметил, что шагах в десяти от него, по ту сторону небольшой полянки, остановилась и смотрит на него молоденькая, стройная нимфа.

Лицо этой нимфы показалось Антему странно знакомым.

Отрок вгляделся. Внезапное смятение проникло в его сердце...

Сомнений быть не могло. Это была Напэ, та самая Напэ, с которой он когда-то играл на берегу Кинейса.

Антем подошел к подруге детства и остановился перед ней. Лицо нимфы осталось спокойным. Чуть-чуть лишь дрогнул глинный белый цветок в ее правой руке...

— Узнаешь ли ты меня, юная Напэ? — робко спросил Антем.



— Одно маленькое, всегда запачканное человеческое отродье часто прибегало на берег реки, где я росла. И не раз видела я, как его драли за это на том же берегу,— любезно припомнила молоденькая золотистоволосая дочь реки.

Солнце светило ей прямо в лицо. Глаза ее были прищурены и, казалось, смеялись из-под густых ресниц, рассматривая стоящего перед ней в изогранном бараньем плаще отрока.

— А ты сама никогда не обнимала этого ребенка своими белыми руками, не звала его с собой на дно, не обещала стать его женой? — с обидой в голосе и мукой в сердце спросил няягу Антем.

Нимфочка только засмеялась в ответ серебристым беззаботным смехом, оправляя стебель ярко-зеленой болотной травы, служивший ей поясом.

Отрок внимательно разглядывал после долгой разлуки свою бывшую подругу.

Она была совсем тоненькая, подобная стройной тростинке и старалась хранить самый независимый вид, словно она не пробежала сегодня ради него в полуденный зной восьми долин и не преодолела целых семи перевалов.

— Вы, люди, такие смешные,— снова заговорила юная нимфа,— вы хотите, чтобы мы помнили не только ваши трудные имена, но даже все сказанные вам слова. Благодарю богов за то, что я не забыла твоего лица, хотя оно сильно изменилось и огрубело... Ты нравишься мне по-прежнему. Я давно собиралась тебя отыскать,— прибавила она немного погодя и, как бы испугавшись своей откровенности, продолжала: — Отчего у тебя нет бороды, как у козлов и сатиров?

— К чему тебе борода?

— Нимфы мне говорили, что она так приятно щекочет шею и щеки при поцелуях,— застенчиво призналась Напэ.— Правда, я целовала своего дедушку, но борода у него мокрая и щетинистая; я целовала утонувшего в озере четырехлетнего ребенка. Он был немного похож на тебя. Я целовала в розовую мордочку козлят, целовала подруг, но это все не то, что мне нужно!

— Что же тебе нужно, моя милая златокудрая Напэ? Нимфа молчала.

Антем подошел к собеседнице, обнял ее и припал к розовым, слегка холодным губам, за которыми виднелся ряд белых, ровных, похожих на жемчуг, твердых зубов.

Положив ему на плечи руки, нимфа молчала, и лишь легкая дрожь да вздохи выдавали ее волнение.

— Не смотри на меня так, мне страшно,— сказала она.— Закрой глаза, я тебе их поцелую.

Но Антем не мог оторвать взоров от тела вновь обретенной подруги.

Не помня себя, он внезапно обнял ее крепко-крепко, так, как сжимала его когда-то в пылу бешеной страсти белотелая лесная красавица с желтым цветком в распустившихся черных волосах.

— Мне больно!.. Отпусти!.. Отпусти!.. Я не хочу! — произнесла, задыхаясь, Напэ.— Если ты желаешь, чтобы я любила тебя, никогда не хватай меня так грубо, или я уйду от тебя, и ты никогда не увидишь более своей подруги. Можешь целовать мои руки и, если хочешь,— кротко прибавила она,— вот сюда. А потом сыграй мне на свирели.

Антем воспользовался позволением, а затем приготовился играть.

В этот момент раздался неподалеку громкий пронзительный визг сатирессы, купавшей недавно детеныша. Она кого-то бранила, и кто-то сердито ей отвечал. Голоса направлялись к месту, где находились отрок и вновь обретенная им подруга раннего детства.

— Я не хочу, чтобы меня с тобой видели. Прощай. Завтра в полдень приди на берег реки к Песчаной Излучине. Не забудь взять с собой свирель!

И юная нимфа легким скачком скрылась в кустах. Раз или два мелькнули среди них ее золотистые волосы...

Антем постоял на одном месте, вздохнул и медленным шагом отправился к стаду...

— Посмотри, как он грустен,— шепнула одна лежавшая неподалеку в траве маленькая сатиресса своей такой же мохнатой подруге,— наши сатиры никогда не отпустили бы такой легкой добычи.

— Как глупы эти люди! — прошептала другая крошка, одной рукой опуская в рот только что сорванную ягоду земляники. Другой рукой малютка незаметно прицепила к мохнатой шерсти подруги головку репейника.

Несколько времени обе молчали.

— Пойдем искать бурого медведя: быть может, он согласится прокатить нас немного на спине,— предложила одна из юных сатиресс.

— Пойдем.

И, взявшись за руки, лесные дети скрылись в кустах.



В ночном тумане, при свете полной луны, на берегу Кинеиса серебрились две неподвижные тени.

Две наяды тихо сидели у самой воды среди тростников, и старшая из них долго и вразумительно говорила младшей:

— Ты меня спросила про людей. По-моему, каждая нимфа должна их избегать. Сначала они кажутся такими слабыми и ласковыми, что нас так и тянет с ними обняться, положить голову их к себе на колени, прижаться к их горячей щеке и ласкать, ласкать без конца. В сравнении с грубыми ухватками волосатых сатиров они кажутся ловкими и приятными... Но стоит только неопытной нимфе отдаться человеку и к нему привязаться, он становится неузнаваем: капризничает, ревнует, делается зол, подозрителен и даже жесток. Я помню примеры. Маленькая Лара похудела, как тень, после того как полюбила виноградаря. Он ее бил, издевался над ней и кончил тем, что продал свою подругу каким-то иноплеменным купцам в черных одеждах и с крашеными бородами... Я сама видела, как они ее уводили... Альциона полюбила гровосека. Когда она родила ему одного за другим девять ребят, коварный любовник ушел, бросив ее с многочисленной семьей, которая постоянно голодала... Ты ведь слыхала, как прожорливы человеческие дети. Хорошо, что нашелся один знакомый сатир, который взялся подбросить эту обузу обратно людям. Целых три ночи таскал он всю эту ораву, и когда наконец возвратился, то говорил, что ребята подкинуты

им в человеческие жилища. Хотя, быть может, он отгабал их диким зверям. Я даже убеждена, что он кормил ими одну медведицу... Этот старый, теперь забываемый нами обычай предохранял чистоту нашего племени. Нимфам не приходилось так часто плакать, как теперь, в те времена, когда они не знали людей... Я догадываюсь, почему ты меня спрашиваешь об этих подобных нам существах. Тебе нравится один черномазый мальчишка, козий пастух... Лучше избегай его видеть — или не устоишь, и много тебе придется изведать страданий...

— Меня интересует только его свирель, и я вовсе не собираюсь делаться его подругой. Тебе про меня сказали неправду... Я чиста, как бледно-розовый цветок на горных вершинах!..

— Где ты видела эти цветы, милая Напэ?

— Мне принесли их ореады, — быстро ответила дочь.

— А что сделали вы потом с теми цветами?

— Они увяли и смялись. Я пустила их по течению...

— Смотри, как бы с тобой не случилось того же. В море плавают много мощных тритонов. Они громко трубят в раковины, и этот звук вовсе не хуже писклявой свирели твоего пастуха. На твоём месте я выплыла бы в синее-зеленое море, где смеются, ныряют и пляшут, плавая вперегонки, морские веселые полубоги... Ты ведь любишь простор, и там могла бы избрать того, кто больше понравится...

Напэ ничего не отвечала и молча прижалась к матери. Она не хотела признаться, что с каждым днем ей все труднее отказывать просьбам своего смертного друга.



Ровно тринадцать лет минуло Антему в то знойное, солнечное утро. Старый пастырь Хароп дремал под сенью скалы, а сын Керкиона сидел в кустах со своим преданным другом. Оба они довольно вздыхали, насытаясь хлебом, запитым парным молоком, и теперь жевали соты дикого меда, что принес с собой в широких листьях ореха козлоногий Гианес... Кругом было тихо. Только цикады

трещали в ветвях да где-то неподалеку слышался частый звук от взаимных ударов рогами старых козлов.

И юный сатир сказал сыну Керкиона:

— Мой дорогой, я вчера опять слышал, как две гамадриады смеялись над тобой. Ты до сих пор уступаешь притворным мольбам своей капризной девчонки. А она в душе недовольна тобой и скоро сама потихоньку станет смеяться. Будь же смел, как сатир, и не верь ее умоляющим взглядам. Помни, что из-за зеленых ветвей за вами всегда наблюдает какая-нибудь любопытная сатиресса или гриада.

— У меня не хватает смелости,— признался отрок.— Я не могу устоять против безмолвной мольбы ее глаз. Я бессилен, когда она просит меня испуганным шепотом... Ах, если бы мне немного больше решимости!.. Но куда ты хочешь бежать? Остайся со мной! Смотри, какая жара!

Но Гианес уже встал, собираясь уйти.

— Не могу. Скоро полдень, а я тороплюсь,— сказал он, глядя на солнце.— В наших краях появилась новая богиня. Каждый день слежу я за ней на лесных тропинках. Созерцаю, как она спит, утомясь от долгой охоты... Ах, как прекрасно, Антем, ее могучее белое тело; как вьются ее светлые кудри!

— Кто она такая? Неужели в наши леса пришла на охоту Латония?

— Нет, но я убежден, что сатиресса эта известна дочери Лето.

— Так это обыкновенная сатиресса?

— Нет, необыкновенная, Антем,— с жаром возразил молодой сатир.— Ростом и станом она подобна божественной сестре Аполлона, а некоторые говорят, будто это дочь, тайно рожденная от бога Пана, дочь Артемиды. Шерсть на ногах у нее шелковистая и бела, как снег на горных вершинах... Дева эта только недавно еще появилась в наших местах, а молва о ней успела уже облететь почти всех. Когда она идет по лесу, у меня колотится сердце, а в груди то жарко, то холодно... Я не пробовал подходить к ней, ибо она презирает богов, сатириков и смертных мужчин. Говорят, она пронзила копьем бок одному кентавру.

Он плакал, как дитя, умирая... И я так же умру, как этот кентавр, если божественная сатиресса не станет моей... Помоги мне в этом деле, Антем!

— Всегда и всюду с тобой! — ответил отрок, и глаза его заблестали. — А она никого не любит, твоя светлокудрая сатиресса?

— Нет, никого. Я уже сказал, что она гонит от себя сатириков и фавнов. Но зато не раз в лунную ночь подходила она к маленьким нимфам, любясь на их игры и пляски... Бегу теперь выследить место, где она отдыхает... Помни же, что в лесу и ущельях над тобой смеются...

Гианес опустился на четвереньки и юркнул в чашу кустарника, куда вела чуть заметная лисья тропинка. Два или три раза хрустнула веточка под его копытом, и снова все стихло.

Только кузнечики заливались, как иступленные.



Антем вздохнул. Он вспомнил, что Напэ выходит иногда в полдень на отмель среди тростников, не боясь загореть от лучей жгучего Феба, и ее можно будет вызвать на берег звуком свирели.

Отрок взобрался на дерево, к шероховатой коре которого пристало много шерсти с колен мохнатых сатириков, и по глиняной ветви его перебрался на выступ соседней скалы, где вилась узкая козья тропинка. И он шел по ней, мечтая о тонких, легких руках и гибком розовом теле юной нимфы струй Кинеиса...

— Антем! — закричал кто-то сверху тоненьким голосом.

Отрок поднял голову. Как раз над ним из зелени гибких кустов на уступе скалы выглядывало два детских личика маленьких орадов.

— Ты совсем нас забыл, Антем. Мы давно уже скучаем без тебя. Лезь к нам! Мы нагнем тебе глиняную крепкую ветку. Держись за нее и карабкайся кверху. Ты пойдешь вместе с нами на вершину горы. Мы будем по пути собирать тебе ягоды, а потом, когда ты устанешь, — ты все-таки смертный, а потому, наверно, устанешь, — мы будем

отдыхать на сочной траве. Там есть орлиное гнездо. Мы тебе его покажем, если ты сыграешь нам на свирели... Ты так хорошо играешь... Иди к нам, Антем, не удаляйся!.. Не уходи, стой!.. У нас есть также молодые лисенята! Мы подарим тебе одного, если ты останешься с нами.

Но Антем, махнув им рукой, продолжал идти.

— Двух!.. Трех! — долетел до него умоляющий голос, в котором слышались слезы.

— Вернись! — донеслось у поворота тропинки.

Но отрок даже не обернулся и, сокращая прыжками расстояние, двигался вниз по заросшему колючими кустами каменистому склону, туда, где в тенистом обрамлении слегка шумели под дыханием ветра высокие сосны.



Сын Керкиона спустился в ущелье. Меж толстых древесных стволов спешил он через лес к берегам Кинеиса.

— Эй, остановись, Антем! — слышался ему навстречу низкий, почти мужской голос.

Сквозь зелень кустов на берегу ручья что-то белело. На толстом стволе поваленной бурей сосны сидела знакомая отроку нимфа Ликиска. Сын Керкиона слегка смутился, но избежать встречи было невозможно.

— Не бойся, мальчик, — снова начала лесная нимфа. — Теперь и ты стал сильнее, да и я не расположена, как бывало, гоняться за тобой по кустам и ущельям. Злые языки говорят, будто я старею и стала тяжела на подъем, но это неправда, и ты этому не верь. Я только пополнила немного вот здесь и здесь. А тело у меня совсем еще твердое... Попробуй сам!..

— Верно, — согласился Антем.

— Вот видишь, что я правду говорю. Я всегда и всем говорю правду. И тебе скажу: перестань ты вздыхать около своей тонконогой, тощей девчонки. Она тебя и не любит даже как следует. Та, которая любит, ничего не должна бояться... Как теперь, помню... Это было уже давно. Сатир Лампросатес был тогда совсем рыжий, и я была влюблена в него безумно. Я прибегала к нему по

ночам, караулила его на лесных тропинках, и он делал со мной все, что хотел. Я ревновала его ко всем и, когда застала его с голубоглазой Ампиной, исцарапала ему лицо, а ей — грудь. Правда, они вдвоем избили меня очень сильно, но все в лесу говорили, что я хорошо отомстила... Волосы, которые он у меня вырвал, потом отросли еще гуще... Ты все-таки хочешь игти? Иги, но сначала поцелуй меня... Не рвись! Все равно ведь не пущу!.. Ты, однако, стал гораздо сильнее с тех пор, как я тебя однажды поймала... Нет, не хочешь?.. Приходится целовать, видно, самой!.. А теперь — беги! — закричала она вслеп слегка покрасневшему Антему.

А тот уже мчался, пробираясь сквозь кусты, и пошел шагом лишь тогда, когда убедился, что Ликиска его не преследует.



Лес становился менее частым. Стали попадаться полянки, а за ними показалась и опушка. В нескольких десятках шагов от нее блестел, извиваясь, заросший тростником Кинеис.

Антема вышел на давно знакомое ему место и сел на песчаный берег, испещренный следами его самого и любимой им нимфы.

Кроме того, зоркий глаз отрока разглядел отпечатки копыт самки сатира. Кругом было все пусто. Речная серенькая птичка бегала, свистя, по широким листьям водяных лилий.

Солнце слало на землю свои золотые горячие стрелы. В траве журчали кузнечики. Из кустов выглянуло и скрылось миловидное личико маленькой гамадриады. За ним мелькнуло другое. Четыре черных глаза с любопытством следили за отроком. Им в диковинку было видеть Антема задумчивым.

Медленно, не обращая на них внимания, поднял он наконеч свирель и извлек из нее несколько звуков, звеневших сегодня сильнее и резче обыкновенного. Почти тотчас у берега заколыхался тростник, и розоликая юная нимфа вышла из воды. Тоненькая и стройная, она остановилась перед Антемом и, улыбаясь, выжимала густые светлые волосы.

Капельки воды сверкали на ее теле, а большая зеленая стрекоза почти тотчас опустилась к ней на плечо.

— Что же ты меня не целуешь? — продолжая улыбаться, спросила нимфа.

Антем молча подошел и приложился к слегка холодным губам своей возлюбленной. Затем оба они опустились на большой, горячий от солнца камень.

— Утка, что свила себе гнездо в тростниках, высидела сегодня девять крошечных утят. Такие желтенькие и уже плавают. Я подходила к ним совсем близко, и они меня не боятся, — передавала Напэ свои водяные новости.

Но Антем плохо понимал слова своей собеседницы. Он глядел на нее немного вбок и испытывал мучительное желание сжать в своих руках ее грациозное, легкое тело.

В лесу послышался легкий треск.

“Это нимфы. Они вечно подсматривают и теперь смеются над моей человеческой слабостью”, — подумал отрок.

Он обнял подругу, рассказывавшую ему что-то про стрекоз, и решительно привлек ее к себе. Губы их снова соединились...

Но едва голова Напэ, а за ней и стан стали склоняться под пылкой лаской отрока, маленькая нимфа повернула лицо и прервала поцелуй.

— Антем, милый, — прошептала она, — не наго, я боюсь! — И Напэ, сделав усилие, выпрямила стан и освободилась от его объятий.

“Не уступай просьбам глупой девчонки, — пронеслись в голове у Антема слова Гианеса, — гамагриады смеются...” Нет, я не дам им смеяться! Ты не уйдешь от меня, плутовка!

— Кто любит, тот не боится, — произнес он почти строго и снова сжал изо всех сил тоненькое белое тело испуганной Напэ.

Та пыталась защищаться, но тщетно — Антем был сильнее. Нимфа пустила в ход просьбы и наконец попробовала закричать. Крик, правда, был слабый, почти невольный, но в глубине леса его услышали...

В тот самый миг, когда отрок, с покрасневшим лицом, торжествовал уже победу над обессиленной подругой, на

опушке леса показалась стройная фигура белой сатирессы, Аглабры. Быстрым, уверенным шагом приблизилась она к Антему, взяла его сзади за волосы и за овечью шкуру, облегавшую стан, и, словно котенка, отшвырнула на несколько шагов.

Сама же наклонилась к маленькой нимфе... Отрок быстро поднялся на ноги и, слегка потирая колено, злым взглядом мерил врага.

Сатиресса поцеловала Напэ и стала возле нее, прекрасная и готовая отразить нападение.

Темно-карие глаза ее блестели от гнева. Высоко подымалась молочная, твердая грудь, а правое копыто рыло золотистый мелкий песок.

Антемом внезапно нагнулся, поднял с земли тяжелый камень и с силой швырнул им в противницу.

Та уклонилась, но не совсем. Камень задел беломраморный бок сатирессы, оставив на нем пурпуровый след.

Дева сдвинула брови, превозмогая боль.

— Смертная пагаль,— произнесла она сквозь стиснутые зубы,— это не пройдет тебе даром!

В тот же момент враги яростно бросились друг на друга. Две маленькие гамадриады со страхом смотрели на эту борьбу. Она была непродолжительна.

Внезапно повернувшись задом, сатиресса сбила отрока с ног страшным ударом копыта. Затем, бледная от злобы, кинулась на поверженного врага и коленом наступила ему на грудь... Напрасно пытался Антемом удержать ее белые сильные руки.

Длинные твердые пальцы сатирессы сдавили горло противнику. Гамадриады видели, как слабели его попытки освободиться. Все ниже и ниже склонялась над отроком сатиресса, с торжествующей ненавистью глядя в его широко раскрытые глаза... Тела их соприкасались, и победительница чувствовала, как трепещет в последней агонии пригавленный ею враг. Этот трепет невольно передавался и ей.

Наконец он умер. Сатиресса, не вставая с земли, оглянулась в сторону Напэ.

Та лежала неподвижно, широко раскинув на горячем песке свои бледные тонкие руки.



Тогда победительница медленно поднялась на ноги и злобно стала топтать лицо неподвижного Антема. Светлые розоватые копыта Аглабры окрасились кровью.

Насладившись мести, она взглянула на обезображенные черты того, кто еще так недавно был молод и счастлив. Тихонько плакавшие от страха маленькие гамагриады слышали ее торжествующий шепот:

— Лежи здесь, презренная пагаль, дерзнувшая посягать на богинь!

Затем она вернулась к Напэ.

Нимфа очнулась от ее горячих поцелуев.

— Что ты со мной делаешь, Антем! — прошептала она, приоткрывая глаза.

— Антема более нет! Дерзкий мальчишка, пытавшийся овладеть тобой насильно, больше не существует. Я спасла от посягательств твою божественную чистоту.

Напэ открыла глаза.

— Кто ты? — воскликнула она. — Где мой Антем?

— Он лежит там, где его застигла судьба. Хочешь взглянуть на его лицо? Посмотри, как он прекрасен.

Сильными руками Аглабра подняла с земли испуганную нимфу и подвела ее к неподвижному Антему.

Темные мухи слетелись уже на покрытое кровью, искаженное, обезображенное лицо.

Увидев его, Напэ затрепетала и закричала: “Боюсь, боюсь!” — и с плачем кинулась бежать.

Но сатиресса успела ее поймать и, взяв трепещущую нимфу, как младшую сестру, на руки, унесла ее в лес на зеленую небольшую лужайку.

Там они обе опустились на траву. Аглабра, ласково держа на коленях рыдавшую Напэ, тихо шептала ей на ухо слова утешения и гладила мягкие волны ее золотистых волос.

Но нимфа продолжала всхлипывать, как маленькое обиженное дитя.

Горячие слезы текли по белой груди сатирессы. Она удвоила ласки.

— Глупенькая, зачем ты плачешь? Не надо любить смертных. Ты слишком хороша для них, а они так ничтожны!..

И притом все мужчины так дерзки и грубы: сатиры гнусны и безобразны, люди слабы и подлы, боги коварны и вероломны... Ты не знаешь, малютка, как опасны их ласки, как страшны бывают потом муки Илифии... Я спасла тебя от них! Смертный не будет кичиться своей победой над тобой... Забудь же о своем грязном мальчишке. Не плачь! Дай поцеловать мне твои влажные ресницы!

Заплаканные глаза нимфы жмурились под лаской сатирессы.

Когда Напэ снова их открыла, в них не было больше испуга, а светилось одно только любопытство. Розовые губки молоденькой нимфы слегка надулись и произнесли тоном капризного ребенка:

— Гадкая, я не люблю тебя; зачем ты убила Антема?..

“Непостоянно сердце мое, как стебель цветка под дыханьем ветров.

Нектар мой равно предлагаю синим и желтым мотылькам”, — поют полевые нимфы, желая посмеяться над речными.

Правду поют они. В голосе Напэ звучало уже примирение. Сатиресса поняла это и, наклонясь к ней, прошептала:

— Подари мне свой поцелуй, прекрасная Напэ!

Юная нимфа, улыбаясь, протянула свои пухлые розовые губы.

Больше ничего не сказала видевшая это из лесной чащи маленькая золотистоволосая гамагриада Астеропа своему другу паниску Сайнофаллу. Ничего более не передал тот опечаленному Гианесу, лишь на вечерней заре отыскавшему тело Антема.

Неутешно рыдал молодой сатир над трупом погибшего отрока.

Лесные и горные нимфы долго возмущались изменой Напэ.

— Стоит после этого вам просиживать целые ночи на берегах рек, — говорили они своим грузьям, — речные нимфы изменчивы, как вода. Они бросят вас и променяют на первого встречного. Равно улыбаются они подобному лягушке тритону, грубому потному кентавру и безобразной самке циклопа...

Так чернили гамагриады с ореадами серебристых водяных нимф, наиболее привлекавших собой полевых и лесных полубогов.

.....
 Дружеские руки похоронили Антема. Старый Лампросатес играл на свирели. Целым ворохом пестрых цветов осыпали тело отрока нимфы. Слушая их погребальные хоры, печально вздыхала толстая Ликиска. Плакали маленькие ореады, а две самых юных сатирессы приложили к цветам по пряди своих блестящих черных волос...



Вечерней порой над струями лесного ручья, сидя на сучьях раскидистых дубов, тихо шептались между собой в сгущавшейся тьме бледные, как призраки, гамагриады.

Печально кивали головами стройные девы, передавая друг другу скорбную новость.

Их любимый Антем, чья свирель была так приятна, отрок, бывший причиной вздохов многих божественных нимф, был найден на берегу Кинеиса, холодный, мертвый, с растоптанным, кровью залитым лицом.

Все уже знали, кто был виной его безвременной смерти. В лесах молва разносится быстро...

Знал о кровавой гибели друга и юный сатир Гианес. Он сидел теперь, неподвижный, мрачный, у того же ручья и безучастно смотрел на то, как грозит в потемневшей воде отражение его мохнатых ног и скорбного, руками подпертого лика.

Равнодушно внимал он шепоту гамагриаг.

Но вот шепот этот внезапно усилился, словно ветер пролетел, шелестя ветвями, и затем смолк, и в лесу воцарилась тишина.

Гианес приподнял голову. Его высоко торчащие уши зашевелились и наострились. Чуткий слух молодого сатира уловил звук чьих-то легких шагов и мерное похрустывание хвороста.

— Это она сама! — зашептала чуть слышно, прижавшись к дубовому стволу, ближайшая к сатиру гамагриада.

Из-за деревьев в вечерних сумерках показался кто-то стройный, высокий.

С гордо поднятой головой по узкой тропинке прошла легкой походкой белая сатиресса Аглабра, в каких-нибудь пяти шагах от Гианеса.

Не желая мочить своих ног, через ручей перебралась она не вброд, а по тонкому гребесному стволу, перекинутому на другой берег.

Мерно постукивали ее изящные копыта. Молодой сатир испытывал странное чувство. Он и негодовал на убийцу друга, и испытывал к ней прежнее непреодолимое влечение. Глаза его следили за стройной фигурой, пока она совсем не скрылась за деревьями.

Когда шаги сатирессы смолкли, Гианес глубоко вздохнул и вновь погрузился в тяжелую думу...



Время текло. Над лесом поднялся серебряный щит Артемиды. От деревьев потянулись слабые, еле заметные тени. Далеко слышался шум воды. Шум этот приближался, превращаясь в шлепанье чьих-то тяжелых копыт.

“Вероятно, лось,— пронеслось в голове у сатира.— Нет, не лось,— решил он немного погодя,— совсем не слышно фырканья и глухого протяжного кашля. Это кентавр”.

Действительно, в освещенном луной пространстве ручья показалось мощное тело четвероногого лесного богатыря.

Гианес, взглядевшись, узнал своего старого знакомого Сфенела, которому он когда-то помог вправить вывих ноги.

Когда кентавр подошел, молодой сатир его окликнул:

— Куда направляешься, Сфенел? На охоту? Лосей в этом месте нет ни одного.

— Нет, я отыскивал тебя. Скажи мне, правда ли это, что смертный мальчишка, которого я возил на спине, убит?

— Правда,— ответил Гианес.

— Конечно, ты знаешь, что помощь моя, если ты решил отомстить, будет немедленна?

— Знаю, о мой Сфенел, но погоди лишь немного, я сам хочу попытаться совершить над ней наказание.

Так говоря, Гианес немного лукавил. В сердце сатира еще не вполне пропала надежда, что он сумеет добиться ласк неприступной полубогини.

Некоторое время собеседники молчали.

Но вот кентавр переступил с ноги на ногу, и глухо чавкнуло вязкое, илистое дно. Вслед за тем послышался грубый голос четвероногого героя:

— Вчера ночью на равнине, по ту сторону гор, нам удалось загнать и забить до смерти обернувшуюся волчицей колдунью. Она стлалась по траве, убегая, то и дело меняла направление, прижималась к земле и бросалась в разные стороны. Но разве может кто спастись на ровном месте от стада кентавров?.. Ей хотелось уйти в горы или к лесу. Дважды наша ведьма была уже близко от них, но оба раза мы преградили ей путь и поворачивали обратно. Когда она выбилась из сил и скорее плелась, чем бежала, высунув потемневший язык и распустив глинные седые космы на волчьей голове, мы приблизились к ней и стали ее бить передними ногами. Она падала, снова вставала, стонала и произносила какие-то непонятные слова. Боясь, чтобы ведьма не наслала на нас наваждения, мы поскорей заколотили ее насмерть и почти втоптали в землю ее обезображенный труп... Мы, кентавры, не любим никакого колдовства.

— Это — веселая забава. Я тоже не люблю, когда эти противные человеческие старухи, коварно приняв звериный вид, таскаются вдоль опушек. Впрочем, среди людского племени этим делом занимаются одни только старухи. Я раз видел волка с глинной рыжей бородой, игущего на своих четырех лапах совсем не волчьей походкой. Таких ложных зверей следует без жалости уничтожать. Они только портят нрав и характер настоящих; портят даже самую породу.

— Совершенно согласен с тобой... Я вполне понимаю, когда бог Посейдон принимает вид пышногривого жеребца и спешит, выбегая из волн ребущего моря, в пасущиеся на прибрежных лугах табуны... Он улучшает конское племя. Рожденные от него жеребцы своей быстротой бывают подобны нашему племени... Но люди... Но люди... Они во всем стремятся подражать олимпийцам и подражают так скверно... Не будем говорить о них!..

Издалека долетел рев оленя.

Сфенел встрепенулся и внимательно прислушался.

— Это у Круглого Камня, за поворотом ручья. Хочешь погоняться за ним вместе со мной?

— Нет. Мне предстоит еще небольшое свигание.

— Воробей! Смотри, не доведут тебя до добра твои нимфы!

С этими словами Сфенел осторожно пошел вперед по ручью, и скоро черный его силуэт слился с ночной темнотой.

Гианес поглядел на луну, подумал немного, а затем, быстро ныряя в кустах, пустился бежать вдоль той же тропинки, которой шла к реке Кинеису белая сатиресса...



Раздвигая высокую траву, пробирался Гианес к прибрежным кустам. Роса катилась по телу и смачивала шерсть. Маленькие черепахи проворно убегали у него из-под копыт. Остроконечные уши сатира были насторожены и старались уловить малейший шорох. Неясными очертаниями среди открытого берега чернели невдалеке темные массы кустов. Кругом неистово квакали лягушки и стрекотали ночные кузнечики. Месяц прятался за лес.

Сатир сделал десятка четыре шагов и снова прислушался... На лице у него отразилось волнение. Из кустов долетали чуть слышно равномерные тихие вздохи. Там кто-то спал.

— А вдруг не она? — пронеслось в голове Гианеса.

И он снова стал красться в кустах, опустившись на колени, разбирая следы и скользя, как змея, по мокрой траве... Чье-то ровное глубокое дыхание доносилось все яснее и внятнее.

Сердце Гианеса стучало, и молодому сатиру стало казаться, что стук этот может разбудить спящую деву. Он припал к земле и долго-долго лежал неподвижно.

Затем он приподнялся на руках и осторожно просунул голову сквозь мокрые листья. Лицо его оказалось около самого тела спящей сатирессы. Светлея в темноте, мерно подымался при вздохах белый живот. Гианес высунул

кончик языка и замер, впивая ноздрями испарения молодого тела Аглабры.

Мысли одна за другой бежали в его голове, как волны прибоя мимо глинного песчаного мыса.

“Вот я и у цели, но она так же далека от меня, как и в первые дни, когда я увидел Аглабру. Ни одного ласкового взгляда, несмотря на целый ряд страданий и унижений. Когда я принес ей копье, не попавшее в глиноногого оленя, она и не поблагодарила меня, хотя бы приветливым взглядом... Как она, однако, прекрасна”, — вновь подумал Гианес, откидываясь назад, чтобы горячим, сильным дыханием не потревожить сна сатирессы.

Та спала спокойно. Дыхание стало прерывистым. Страдальческая морщинка показалась между бровями. На ресницах блеснули слезы.

Гианес не выдержал и, спрятав кончик языка, осторожно поцеловал спящую красавицу...



После полуночи, когда от реки стал подниматься густой беловатый туман, Напэ в последний раз обняла божественную подругу и ушла в прохладные волны.

Сатиресса осталась одна. Кругом чуть-чуть шелестели под дыханием легкого ветра покрытые росой кусты. Далеко в тростниках прокричала несколько раз глиноногая цапля.

Рука божественной девы, протянувшись, легла на примятую, еще теплую траву, где покоилось стройное тело молодой нимфы, где еще чувствовался его аромат...

Сатиресса закрыла себе лицо глинными тонкими пальцами и долго лежала неподвижно, испуская по временам протяжные вздохи.

Незаметно она уснула.

В сновидениях Аглабра бродила по прибрежным пескам какого-то светлого, серебряного моря.

Берега были покрыты лагунами, маленькими озерами и заросли тростниками. Водяные птицы перекликались между собой у блестящих луж. Тростники цвели невиданно пышными цветами, манившими бабочек и гигантских, величиной

с птицу, стрекоз. Аглабра стремилась кого-то отыскать, но ей попадались все не те лица, которых ей было нужно.

То и дело из раздвинувшихся тростников строили путнице гримасы паниски. Из моря выплывали толстые водяные боги с одним или даже двумя рыбьими хвостами. Они били себя в грудь и приглашали деву в свои прозрачные волны. Издали, на вершинах песчаных дюн несколько раз появлялся убитый ею смертный мальчишка; он прыгал то на той, то на другой ноге, кривлялся и махал руками. “У этого презренного ноги как у нимф или как у олимпийцев, а у меня звериные. О, если бы мне удалось их у него отнять!”

— Они будут тебе коротки, — слышался из лужи чей-то незнакомый и неприятный голос.

Аглабре чудилось, что все вокруг враждебно против нее настроено. Тростники подозрительно шепчутся между собой, птицы кричат про нее что-то насмешливое, цветы делают гримасы, а блестящие лужи слишком старательно отражают ее козлиные ноги.

Сатиресса отвернулась и пошла в противоположную сторону от берега моря. Там простиралась широкая, жесткой болотной травой заросшая равнина.

И долго-долго шла дева этой равниной, по пояс в мокрой траве, словно стараясь уйти от себя самой. Местами почва была покрыта водой, и ноги путницы вязли, чмокая в иле... Ныла спина. Устало гнулись колени. Наступал вечер. Зашло солнце. Стало темно. Ночной ветерок шелестел влажной осокой...

Неведомый страх наполнил внезапно душу Аглабры. Ей казалось, что за ней кто-то гонится, кто-то хочет поймать ее и убить. Дева оглянулась, но кругом не было никого. В беспричинной смертной тоске стала тогда взывать сатиресса:

— Ты, великая, страшная, горящая рост травам и знающая время рождений, Дочь Ночной Тишины и того, кто называет себя Властелином Неба. Я, от кого ты отреклась и бросила, умоляю: сжался над дочерью! Сжался! Лицо мое, как говорят все, слишком напоминает твое, мой стан, моя грудь и руки так же прекрасны, как и у той, которая меня породила. Сжался надо мной! Явись и сотвори чудо, о самая могучая из волшебниц! Явись! Явись! Явись!

И Аглавра протянула руки свои в ту сторону, откуда должна была показаться луна.

Вдали послышался протяжный собачий вой, до того страшный, что все тело сатирессы обдало холодом; волосы на голове и шерсть на ногах стали дыбом. На горизонте появилась, быстро направляясь к Аглавре, гигантская мрачная тень. У ног ее прыгали, злобно рыча, огромные черные суки.

Сатиресса на миг закрыла глаза, а когда вновь их открыла, богиня находилась уже в нескольких шагах. Она была вся бледная, бесцветная в ночной полумгле, и лишь от лунного диска над головой лился серебряный свет на ее голые плечи. Глаза богини были опущены, стройные ноги сжаты, а ладони протянутых рук алели красной кровью.

Нахмурены были грозные брови, лицо — сурово и мрачно.

— Кто беспокоил меня здесь мольбой? С каких пор сатирессы дерзают вызывать дочь таинственной Лето, беспокоить ту, стрелы которой не знают пощады?

— Мать, это я призывала тебя!

— Что говоришь ты, безумная! Я непорочна, как мое серебристое сияние. Сестра лучезарного Феба никогда не имела детей! Ты помешалась в рассудке или явилась сюда с оргии нового бога... Что нужно тебе, поклонница сына смертной Семелы?

— Не знаю сына Семелы. Я пришла к той, про кого рассказали мне нимфы, к той, кого, шепчась меж собой, поминают сатиры, когда я легкой ногой прохожу среди них. Не отвергай меня, о мать, и склони свое багряное ухо к шепоту моих умоляющих слов!

— Говори! Нас никто не услышит,— глухо произнесла Артемида.

— Если ты не хочешь признать меня дочерью, втайне рожденной от Пана, то сжался и исполни то, что так легко можешь сделать. Вели, чтобы мои козлиные ноги стали ногами богинь, стали как у тебя!

— Не могу. Это ноги твоего отца, и я над ними не властна.

— О мать! — простонала Аглавра.

— Я знаю: тебе тяжело,— продолжила богиня,— но помни, ты не бессмертна, а потому и горе твое будет тянуться не вечно. Не ропщи! Знай, что богиней быть иногда тяжелее, нежели нимфой или твердокопытной самкой сатира... Отойди! Я не мать тебе. У Артемиды нет дочерей! — закончила речь дочь Латоны, отстраняя ногой ползавшую перед ней сатирессу.

Внезапно склонясь к Аглавре, богиня поцеловала ее и скрылась.

Спящая дева, застонав, открыла глаза...

.....
На востоке виднелась багряно-золотая полоска зари. Утренняя роса густой стеной стояла вокруг сатирессы...

Склонясь над ней, жадно впился поцелуем в ее белую грудь молодой мохнатый сатир. Когда Аглавра открыла глаза, он в испуге отпрянул и пытался скрыться в кустах.

Негодуюя, с криком гнева и мести, вскочив, метнулась за ним сатиресса. Сатир побежал к реке и с шумом бросился в воду. Кругом полетели брызги... Аглавра склонилась к земле, ища тяжелый камень, но сатир уже скрылся в густой чаще тростников, и лишь колыханье вершинок обозначало его поспешное бегство.

С резким криком взлетела и потянула вдоль над рекой серая цапля.



— Пирсотрихе — привет! — громко сказал Гианес, появляясь на вершине скалы над небольшим ущельем.

Под ним у входа в свою пещеру, свернувшись в комочек, лежала сатиресса, лишь к утру вернувшаяся домой.

Проспав немного у себя на жесткой соломе, Пирсотриха, разбуженная пением птиц, выползла из своей темной норы, посидела на солнышке и снова заснула на успевшей согреться земле... Ей снилось, что она покрыта не всклокоченной рыжей, а снежно-белой мягкой шерстью, что голова ее украшена розовым венком, что она не сатиресса, а золотистобородый сатир и в замужество с ней стремятся все юные нимфы реки Кинеиса и горных ручьев. Пирсотриха

выбрала уже себе огню из них и собирается отпраздновать свадьбу. На торжество стеклись отовсюду сатиры, сатирессы и фавны; горные нимфы прислали хор, а маленькие паниски с флейтами сидят на деревьях и заливаются, как жаворонки... Юная стройная нимфа, прижимаясь к Пирсотрихе и впиваясь в своего жениха синими большими глазами, трижды обходит рука об руку с ней испещренный священными знаками высокий брачный камень... И вдруг чей-то голос оторвал сатирессу от ее сладкого сна.

Недовольно хмурясь и протирая глаза, уселась она, глядя вверх, откуда раздалось приветственные громкие слова.

На уступе скалы, свесив мохнатые ноги, сидел, задумчиво глядя на рыжеволосую деву, ее давнишний знакомый, юный сатир Гианес. Недовольным голосом, сердито обратилась к нему Пирсотриха:

— Слушай, ты, мальчишка, мешающий спать утомленным, к чему пришел ты меня беспокоить? Или ты забыл, что между нами все кончено... Неужели ты хочешь, чтобы я исполнила свою угрозу и подвергла тебя позорящей каре?!

— Ты не сделаешь этого, Пирсотриха! Мы с тобой были когда-то так дружны...

— Да, были, но теперь ты не друг мой. Зачем ты явился сюда непрошенный?

— Я пришел посмотреть на тебя, о Пирсотриха. Мы давно не виделись. Я хотел бы знать, хорошо ли ты живешь и как веселишься...

Искренний, слегка грустный тон Гианеса подкупающе подействовал на его бывшую подругу. Сатиресса, помолчав немного, начала изливаться в горьких жалобах.

— Хорошо ли живу я?! Ты сам знаешь, как я живу. То же твердое ложе в темной низкой норе, в которой совестно даже принимать гостей. Недавно одна нимфа не успела ко мне влезть, как тотчас же запросилась обратно. Она ссылалась на то, что у меня слишком блестят глаза в темноте и ей страшно...

— Что же, ты отпустила ее?

— Да, она скоро от меня ушла... Ты представить себе не можешь, как эти нимфы капризны и несносны.

— Мы, сатиры, не обращаем на это внимания; когда женщины чувствуют силу, они перестают быть капризными,— важно произнес Гианес.

— Это твою-то силу чувствуют женщины?! Или ты забыл, как в прошлом году колотила тебя Амфиноя? Ты сделался хвастлив, Гианес, как лесной зобатый петух.

— Нет, я не хвастаю. С некоторых пор я заметил, что женщины, кто бы они ни были: смертные, гриады, горные нимфы или даже гамагриады,— быстрее всего покоряются, если чувствуют власть. Я убежден, что они даже любят уступать насилию...

— Может быть, ты и прав, мальчишка, но я не из таких. Когда старый хромой циклоп из Черного Ущелья поймал меня за косы (я тогда их носила), я тотчас же вышибла ему камнем два передних зуба. Он выплюнул их вместе с кровью и заревел, как старый козел... Кровь и слезы текли у него по глинной сегой бороде, а сам он так и трясся от досады...

— Будь посильнее твой циклоп, ты не отделалась бы так дешево...

— Да, случилось и мне терпеть обиды. В особенности когда я была красивее и моложе... Теперь я сама обижаю... Но расскажи мне, как поживаешь ты? Что такое случилось недавно в ваших краях? Что за сатиресса появилась на берегах Кинеиса?

— Кто она такая, я не знаю этого, о Пирсотриха. Говорят, будто она тайная дочь Артемиды и Пана... Бело-снежная мягкая шерсть на ногах... На голову выше тебя. Лицом подобна богине... Нимфы от нее без ума, хотя и скрывают это. Теперь ее подруга маленькая Напэ. Ты, кажется, никогда не видела этой кроткой девочки. Она такая послушная... Прежде за ней ухаживал сын Керкиона, Антем. Ты его видела. Он пас деревенское стадо и, говорят, не дал тебе увести однажды козла... Когда белая сатиресса его убила, юная Напэ очень быстро ей подчинилась и теперь повинуется ей во всем... Она такая послушная, эта девочка...

— Я слышу волнение в твоем голосе, Гианес. Ты со мной неоткровенен. Вероятно, тебе понравилась эта девочка?

— Ах нет, Пирсотриха! Я совсем ее не люблю.

— Посмотри мне в глаза... Не верю! Твое лицо изменилось и похудело, как у влюбленных. Ты смешон, дорогой мой. Удивляюсь, как мог ты иметь успех когда-либо у нимф гор и лесов... Впрочем, я тебя помню, ты всегда любил шляться по ночам, когда тебя трудно было разглядеть и легко смешать с другими... Так она беленькая, эта новая сатиресса?

— Да, у нее совсем светлые волосы, темно-карие глаза, неподвижное лицо и белое тело. Уши у нее не такие глинные, как у нас, и вообще нет бородавок на горле. Она страшно сильна и недавно еще победила в единоборстве одного сатира... Он вынужден был прыгать от нее в Кинеис.

— Глубоко было в том месте?

— По пояс, и около берега было довольно грязно. Сатиресса боялась замочить или запачкать свою белую шерсть, а потому и не прыгнула в воду вслед за ним. Кажется, она стала искать на берегу камень, а сатир в это время успел скрыться в тростнике.

— Ты врешь, мой друг, и что-то скрываешь... Где же встречаются эта девчонка и сатиресса?

— “На песчаном мысу, где растут тростники, недалеко от устья реки”, — запел вполголоса Гианес отрывок из какой-то человеческой песни; затем он засмеялся неестественным, деланным смехом и убежал.

Молча и пристально глядела ему вслед Пирсотриха.

“Мальчишка влюбился в эту белую сатирессу. Впрочем, нет, сатиры редко нас любят. Скорее всего, ему нравится та молоденькая нимфа, о которой он говорил... Надо будет ее посмотреть”, — думала сатиресса, почесывая свои плоские мохнатые бедра.



Гианес лежал на нагретой солнцем скале и травкой гразнил богомолку. Насекомое отмахивалось передними лапами, сердито пятилось, но вообще покидать место, где находилось, не желало.

слою ила. Маленькие пузырьки воздуха светлой струйкой поднимались на поверхность.

Пирсотриха вынула голову и, запрокинув ее, поднялась на ноги и стала вытряхивать воду из глинных, покрытых золотистым пушком, заостренных кверху ушей. Холодные капли текли у нее по спине и по груди... Это было так приятно...

Вымыв все тело, освеженная, она выжала мокрые волосы и легкой походкой направилась берегом ручья к тем местам, где, по словам Гианеса, происходили свидания белой сатирессы и Напэ...

Гианес не упускал ее из виду, то прячась в кустах, то припадая к земле.

Его план понемногу исполнялся. Надежда и радость заставляли биться сердце молодого сатира.

“Словно какая-то птица поет и прыгает в моей груди,— сказал он сам себе.— Когда Пирсотриха отнимет у нее Напэ, моя богиня станет грустить и одиноко бродить по долинам. Издали я буду играть ей печальные песни на свирели Антема. Ее тронет моя преданность, и она полюбит меня. И я буду счастлив, потому что сердце мое принадлежит ей...”

И он полз, как змея, среди вереска, приподнимая порой голову, чтобы следить за тонкой фигурой сатирессы, решительно шагавшей впереди.

Ухо его жадно ловило человеческую мелодию Пирсотрихи...



Пирсотриха немного дней потратила на поиски Напэ. Знакомые нимфы указали ей ту, имя которой после трагической смерти Антема стало известно всем обитателям леса и гор. Выследить юную нимфу в часы, когда она ходит на свидание, было уже легко...

В одно ясное утро рыжая сатиресса залегла в кустах у берегов Кинеиса, твердо решившись схватить и унести подругу Аглавры, когда она пойдет к месту встречи с дочерью Пана.

Ждать пришлось ей недолго. Вот зашуршала трава и показалась стройная дочь Кинейса с венком из белых цветов на золотистых кудрях. Не доходя до Пирсотрихи, нимфа остановилась, с улыбкой склонясь к двум голубым мотылькам, ласкавшим друг друга на пышном желтом цветке.

Сатиресса почувствовала, что сердце ее бьется, словно желая выскочить прочь из груди. Несколько мгновений лежала она неподвижно, сдерживая дыхание и закрыв глаза...

Сделав над собой усилие, Пирсотриха решилась и, встав на ноги, спокойным шагом пошла к склонившейся над мотыльком наяде. "Гианес прав: с нимфами надо быть смелым", — пронеслось в ее голове.

— Это ты, Аглабра? — обернулась нимфа, слышав за спиной шаги сатирессы. — Кто ты? — тотчас спросила она, заметив ошибку.

— Такая же сатиресса, как и твоя беловолосая Аглабра. Только я не притворяюсь божеством и не обманываю неопытных девочек.

— Меня никто не обманывал. Красота и великолепие моей подруги не нуждаются в ухищрениях и обманах, — гордо ответила наяда.

— Красота Аглабры и есть уже обман с ее стороны, — не потерялась Пирсотриха, — за красотой ее скрываются звериная злоба и совсем не божественная жестокость. Разве позабыла ты, как поступила она с юным Антемом?

— Не вспоминай мне этого страшного дня. Мне тяжело! Не подымай в моей голове ужасных картин того, что случилось... Он лежал на песке, неподвижный, с залитым кровью лицом, по которому ползали темные мухи!.. Я содрогаюсь!.. — И Напэ закрыла руками свое хорошенькое лицо и приготовилась плакать.

Сердце застучало в плоской груди Пирсотрихи, в глазах пошли красные пятна.

"Самое время!" — шепнул кто-то в ее голове.

— Я унесу тебя от этих тяжелых дум и кровавых воспоминаний! — с жаром воскликнула сатиресса и, привычной рукой охватив стан юной наяды, подняла ее от земли и помчалась к лесу.

— Ай! Куда ты несешь меня? Стой! — кричала в ужасе Напэ, и звонкий голос ее летел по долине, а эхо ближних холмов повторяло неясные звуки ее испуганных возгласов.

— Я скрою тебя там, где ты позабудешь свою страшную подругу и ее мрачное дело... У берега моря, под высокими скалами есть пещера. Мелкий светлый песок ласкает в ней ногу. Из мягкого пуха белых гагар и тоскующих чаек сделаю я тебе ложе. И ты заснешь на нем, убаюканная моею лаской и мерным шепотом моря... Не бойся меня, прекрасная Напэ... Не рвись! Я хочу тебя только спасти от жестокой Аглавры! Ведь она и тебя убьет, как убила когда-то Антема!.. Я спрячу тебя, и никто из людей или богов тебя у меня не отнимет...— И сатиресса на бегу покрывала жадными короткими поцелуями бок и колено наяды.

— Я боюсь тебя! — кричала Напэ.— Отпусти меня. Я тебя не желаю!..

Но Пирсотриха не обращала внимания на крики испуганной нимфы и мчалась, прижимая к себе ее тонкий трепещущий стан. Стуча по камням, впиваясь в мягкую землю, быстро мелькали раздвоенные копыта сатирессы.

Путь предстоял глинный. Поднявшись в гору, Пирсотриха стала отдыхать, положив около себя на траву грожащую нимфу.

— Не вздумай убежать от меня, это бесполезно. Я все равно тебя поймаю,— сказала она.

Отдышавшись, рыжая сатиресса вновь взяла на руки, словно ребенка, свою пленницу и спешно пошла, направляясь к берегу моря.

Напэ некоторое время вела себя смирно, но на крутой каменной тропинке, игущей над морем, снова стала звать на помощь Аглавру.

— Замолчи,— шептала ей Пирсотриха,— или я брошу тебя вниз, в шумящие пеной волны, и там схватит тебя вот тот бесстыдный и толстый скользкий тритон...

Напэ не слушала увещаний и опять испустила резкий оглушительный крик.

И вдаль ответила ей плывшая в воздухе белая чайка.

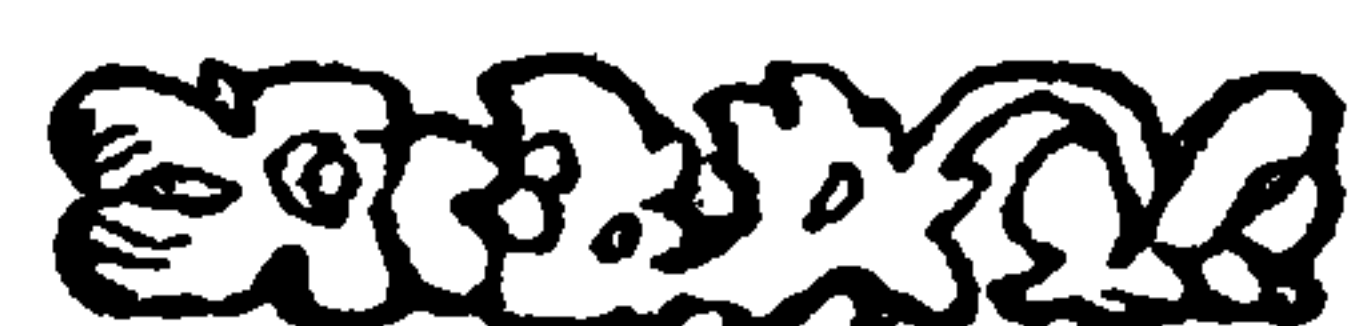
Пирсотрихе страшно хотелось ущипнуть побольнее бедро молоденькой пленницы, но она удержалась от искушения,

и только пальцы ее сильнее впились в сжимаемый стан бьющейся Напэ.

— Кричи! — злобно прошептала она. — За тем поворотом спуск на море — и там никто тебя у меня не отнимет...

Обливаясь потом и тяжело дыша, сатиресса бежала в гору по узкой тропинке, натываясь порой на колючие кактусы...

Издалека следил за ней с красно-бурой скалы зоркий взгляд Гианеса.



Аглабра шла каменной дорогой, неся на плечах большую связку кистей синего винограда. Ей хотелось угостить свою подругу, и она нарочно встала пораньше, чтобы сходить в человеческие виноградники, где и наломала даже больше, чем ей было нужно, созревших, темных гроздей.

Путь был неблизкий, хотя и знакомый. Вот большое фиговое дерево, а за ним поворот, и идти нужно краем обрыва над самым морем. Внизу, под скалой, глухо шумели черно-синие волны и шипела белая пена.

Сатиресса остановилась у поворота в том месте, откуда открывался вид на сине-зеленый простор, над которым беззвучно носились, плавно махая смелыми крыльями, белые чайки. В туманной дали чуть рисовались дымно-лиловые горы вставших из волн островов. С моря дул легкий ветерок, освежая разгоряченное лицо. Аглабра опустила свою ношу и стояла неподвижно, вздыхая полной грудью.

Внизу, из пенистых волн, вынырнула бронзово-синяя туша морского божества. Толстое, увенчанное бледно-зеленой травой, багровое лицо, фыркающая и отдуваясь, уставило круглые глаза на стоявшую вверху сатирессу... Мелькнул темный извилистый хвост, и водяной бог, шипя, скрылся под волнами так же быстро, как появился.

Издальи, слева, донесся чей-то крик. Минуту спустя он повторился, но уже ближе. Аглабра стала прислушиваться. Голос показался ей знакомым.

Вдали, на тропинке вдоль берега моря, что-то белело и двигалось. Аглабра насторожилась и стала всматриваться.

Зоркие глаза сатирессы разглядели бегущую по тропинке фигуру, на руках у которой кто-то барахтался и кричал.

“Это бежит сюда сатир. Он тащит в руках юную нимфу... Не столкнут ли обоих в море?” — подумала сатиресса, и глаза ее злобно засверкали.

В этот момент снова донесся крик.

“Голос знакомый. Но кто бы это мог быть?.. Что, если это?.. Так, это она!” — И сатиресса застыла в неподвижной позе, глядя на приближающуюся пару.

Действительно, по направлению к ней, тяжело поднимаясь в гору, бежала Пирсотриха, прижимая к своей груди бьющуюся Напэ.

— Аглавра! На помощь! — кричала юная нимфа отчаянным голосом.

Белая сатиресса заметалась на месте, отыскивая глазами камень, чтобы кинуть его под ноги похитительнице. Но камня не оказалось, и Аглавра снова застыла на месте, в выжидающей позе, согнувшись и пожирая блестящими взорами бегущую к ней Пирсотриху.

— Стой! — крикнула она, выскакивая из-за поворота, когда та подбежала к ней на несколько шагов.

Пораженная неожиданностью, Пирсотриха остановилась. Руки ее невольно опустились, и маленькая фигура Напэ, выскользнув из жадных объятий похитительницы, незаметно и быстро скрылась в кустах.

Рыжая шерсть сатирессы поднялась дыбом, зубы оскалились, а руки полусогнулись, готовые впиться в горло противнице.

Но это было лишь в первый момент.

Когда Пирсотриха лучше разглядела Аглавру и увидела, что та почти на целую голову выше и по виду гораздо сильнее, чем она, досада и страх проникли в сердце рыжей охотницы и у нее даже мелькнула мысль скорей убежать.

Но было уже поздно.

Подобно снежной лавине с одетых туманом каменных гор, на нее обрушилась Аглавра, и две сатирессы слились в тесном, полном безумной злобы объятии.

Пирсотриха почувствовала, как две мощные руки сжали ее почти до потери сознания. Сама так же стиснуть врага

она не могла: руки рыжей сатирессы устали от ноши... Ребра ее затрещали. Дыхания не хватило. В глазах темнело. И, не помня себя от боли, Пирсотриха вонзила свои глинные желтоватые зубы в белую руку противницы... Но в этот миг другая рука Аглабры поднялась и сжала ей шею...

Из-под глинных острых ногтей закапала алая кровь. Пирсотриха хотела вырваться, погалась всем телом назад, но мощные руки белой сатирессы снова охватили ее и подняли кверху. Напрасно билась, извиваясь змеей, Пирсотриха. Сделав шаг или два к обрыву, Аглабра с силой бросила вниз свою рыжую противницу... Послышался раздирающий визг... и Гианес, глядевший сверху, из-за кустов, на эту страшную сцену, видел, как, перевернувшись несколько раз и ударяясь о камни головой, свалилось в пенные волны тело когда-то бывшей его подругой лесной героини... Всплеснула вода. Вынырнул неподалеку от места падения толстый тритон и снова скрылся в сине-зеленой воде, где колыхалось, расплывалось темное пятно.

Юный сатир любовался теперь одинокой фигурой, белевшей у края обрыва.

В горделивой позе стояла над морем Аглабра. Солнце ласкало ей лицо и играло в волне золотисто-белых, колеблемых ветром волос. По безупречной руке текли кровавые струйки. На гибких, чуть-чуть тонких устах играла улыбка...

— Аглабра! — слышался из-за кустов звонкий голос испуганной Напэ.

С той же улыбкой, не спеша, повернулась на зов белая сатиресса.



— Неужели нет в душе твоей отклика этой томительной флейте?

— Нет... конечно, есть!.. Только мне немного холодно, и мать будет недовольна, что я так долго не возвращаюсь.

Говорившие так Аглабра и Напэ тихо сидели на одной из горных вершин. Сатиресса только что кончила гимн в честь серебряной дочери Лето.

Юной нимфе действительно было непривычно и холодно на бесплодных, голых камнях открытой ветром горы, куда забела ее во время прогулки белая сатиресса. Водяные нимфы не любят горных вершин. Она прижималась к подруге и думала, что ее мохнатая, теплая шерсть имеет свои преимущества.

— Разве не дорог тебе этот пустынный простор, обли-тый лунным сиянием, эта тихая ночь в покрывале, усеянном яркими звездами?

— Какая у тебя прекрасная шерсть! — мечтательно произнесла в ответ Напэ, наворачивая себе на пальчик шелковистую прядь с волосатого бедра сатирессы.

Аглабра вздохнула.

— Как ты думаешь, теперь больше полночи? — после некоторого молчания спросила наяда.

— К чему тебе знать это?

— Видишь ли... Посади меня на колени... Камни такие холодные... Моя мать велела мне вернуться домой после полночи.

— Раньше ты никогда не вспоминала о матери, проводя со мной целые ночи.

— Сегодня такой случай... К ней приплыла с моря сестра. Она замужем за зеленым тритоном. К утру она поплывет обратно, и мы должны будем ее проводить. Обе они стыдили меня за то, что я не хочу выходить замуж...

— За кого? — коротко спросила Аглабра, и брови ее решительно сбинулись.

— Все предлагают тритонов. Но я сказала им, что не хочу, — успокоила подругу Напэ.

— Если они отыщут тебе жениха, ты немедленно сообщи мне об этом, а уж я сама позабочусь, чтобы ваша свадьба расстроилась, — сказала белая сатиресса с жестокой усмешкой.

— Какие у тебя страшные рот и глаза!

И Напэ спрятала лицо на груди у подруги.

Та крепко прижала нимфу к себе, качая ее на мохнатых коленях.

Кругом было тихо.



— Посмотри, как тут хорошо,— сказала задумчивой Напэ ее заботливая мать.

Перед нимфами расстился необозримый простор спокойного моря. Там и здесь выступали из волн мокрые черные скалы. Вдали красно-бурой полоской виднелась земля. Старшей нимфе, которой не нравилась гружба дочери с белой Аглаврой, удалось наконец уговорить юную Напэ выплыть в открытое море в гости к сестре. Теперь эта сестра сидела рядом с ними на окруженных кольцами пены утесах и рассказывала про свою жизнь:

— Сначала я долго не могла привыкнуть к этому однообразному плеску светло-зеленой прозрачной волны. Когда на море была непогода, мне было страшно, и я пряталась в самую глубь подводных пещер. У нас там жилища гораздо просторнее, нежели ваши, речные. Там есть сады из красных и белых кораллов. Рыб так же много, как птиц, и есть среди них меняющие цвет... У нас нет сатиров и твердокопытных кентавров, но и среди морских божеств есть много разнообразных племен. Наши кентавры меньше земных, и ноги у них гораздо короче. Вместо копыт у них подобные лягушачьим лапы. Они никогда не выходят на сушу, а их характер гораздо смирнее, чем у земных. У мужа часто бывают грузья из этого племени. Лучше же всего то, что нас совсем не беспокоят смертные люди. Иногда они проплывают на своих изогнутых черных судах, мерно шлепая воду глиняными веслами; иногда скользят с помощью ветра на желто-пурпуровом парусе... Увидят нас, начинают бегать по палубе, потом запоют что-нибудь и бросают в волны сильную жертву... Мы ведем спокойную жизнь; у мужа большое стадо тюленей. Он их пасет и к ночи загоняет в пещеры... Скоро он должен вернуться. Солнце садится.

Действительно, солнце садилось, и его желто-багряные стрелы ласкали морскую равнину. Чаек не было видно. Скалистый берег казался окрашенным в золото.

Напэ глядела на этот берег и соображала, что напрасно ее прождет в условленном месте белая сатиресса.

“Она опять, вероятно, придет с флейтой и просидит всю ночь в ожидании,— думала нимфа и вспоминала, как меняется всегда лицо у Аглавры во время игры,— каким

оно кажется тогда жестоким и вместе с тем грустным. И как она после всегда бешено ласкает меня, словно хочет что-то забыть...”

Напэ чувствовала вместе с тем, что ей несколько не жаль напрасно ждущей Аглавры...

— Вот и муж! — слышался голос ее тетки. — Только он не один, с ним кто-то еще.

Напэ оглянулась. На горизонте видны были две черные точки.

Точки эти росли, приближались, и обладавшая лучшим зрением морская наяда первая разглядела плывущих.

— С ним его друг, наш морской кентавр Хелон; он хорошо играет на лире...

Подплыл ее муж, зеленый тритон Асмен, а с ним его молодой четвероногий друг, с бесцветными глинными волосами и голубыми хитрыми глазами. Кожа его была темного цвета, лицо задумчиво, а в руках он держал перебитую морской травой небольшую лиру.

— Кто украсил тебе лиру, прекрасный Хелон? — спросила тетка, в то время как зеленый тритон, пыхтя, прикрепился своими перепончатыми пальцами к соседнему круглому камню и топорщил свои подобные иглам усы, приветливо глядя на родственниц золотистыми, как у лягушки, глазами.

“Какой у него смешной вид. Ни за что не хотела бы быть его женой. Кентавр Хелон все-таки приятней для зрения”, — подумала Напэ.

Кентавр тем временем отвечал, что он сам перебил лиру травой, так как ночью ему предстоит услаждать слух целого хора nereid.

— Сыграй нам что-нибудь на твоей лире, — обратилась к Хелону с просьбой Напэ. Юная нимфа вовсе не испытывала желания слушать игру морского кентавра, и слова эти вылетели у нее как-то невольно.

Она заметила, как переглянулись между собой тетка и мать.

Кентавр, не торопясь, взялся за лиру и начал играть какую-то медленную песню, подпевая негромким, нутряным голосом.

Пел он что-то глинное и монотонное, про море и звезды, про лес из живых, гибких, красных кораллов, где заблудился молодой тритон, погнавшись за чудесной лунной рыбой, про темные норы, где свиваются в тесных объятиях морские черные змеи...

Напэ почти не слушала. Ей было почему-то до смерти скучно... Она чувствовала себя беспомощной и одинокой.

Внезапно она заметила, что Хелон кончил играть, и ее мать вместе с сестрой и Асменом его хвалят.

Встрепенувшись, молодая нимфа с улыбкой вынула цветок из своих золотистых волос и протянула кентавру.

Тот поблагодарил и воткнул цветок себе за ухо.

— А ты не съезешь, о Хелон, нашу гостью на твоей могучей спине послушать пение nereид? Она никогда их не слыхала. Хочешь съездить туда, милая Напэ? Там очень весело. Нереиды поют и пляшут на отмелях при свете луны... Хелон быстро доставит тебя туда и обратно.

Кентавр молча подплыл, подставляя свою мокрую спину.

Волны темнели...

Напэ взглянула на мать.

— Поезжай, дочка! — каким-то особенно нежным голосом сказала ей та, — тебе надо повеселиться немного. Ты стала такая грустная за последнее время...

Молодая нимфа перешла на выступавшую из воды теплую спину кентавра. Сидеть на ней было гораздо приятнее, чем на холодных камнях.

Чтобы лучше держаться, она положила на плечи Хелону свои легкие руки.

Кентавр быстро поплыл, направляясь в открытое темное море, слегка колыхаясь на больших и спокойных встречных волнах.

Над морем вставала луна.

Когда Напэ оглянулась, берега вовсе не было видно. Весь он слился с темнотой, окутавшей море и землю Матери Ночи.

При слабом свете восходящей луны нимфа увидела обращенное к ней лицо беловолосого Хелона.

— Держись крепче,— произнес он,— я поплыву очень быстро.

Напэ не без страха обвила его шею и почувствовала, как влажные, слегка холодные пальцы кентавра цепко схватили ее руки.

Юная нимфа испугалась, хотела отшатнуться, но Хелон снова обернулся и произнес тем же размеренным голосом:

— Здесь опасное место: море кишит чудовищами. Они могут утащить тебя на дно, если ты попробуешь с меня соскочить.

И он поплыл так быстро, что вода зашипела вокруг его мощного тела. При свете луны, начиная от груди его, вдоль по бокам слабо блестела молочная пена...

“Неужели и он желает меня увезти и насильно ласкать?” — думала тем временем Напэ.

Тяжелая грусть наполнила сердце наяды. Она вспомнила, как шептались при отъезде ее тетка и мать, и поняла, что звать на помощь бесполезно, что Хелон похищает ее не без согласия родственников.

И как бы в ответ на ее тайные мысли, кентавр вновь обратил к ней лицо и медленно, важно, торжественным тоном произнес:

— Ты будешь моей женой!..

Взошла луна и озарила мраморно-белое тело юной красавицы, с безнадежно грустным лицом сидящей на темном, бешено плывущем кентавре. Тот время от времени поворачивал свое лицо и, любуясь наядой, облизывал свои оттопыренные губы. Бесцветные глаза сияли довольством.



Напэ уже третью ночь не приходила на свидание. Луна давно показалась над лесом, и черные тени тянулись от кипарисов и скал.

Аглабра долго сидела, словно приросшая к камню. В руках у нее была большая темная, серебром отделанная флейта. Сатиресса редко на ней играла и не любила показывать днем. Нимфы шепотом передавали друг другу, что

флейту эту подарил Аглавре бог Пан, приходившийся ей тайным отцом. При взгляде на этот предмет трудно было подумать, чтобы над ним работали смертные руки: так чисто и ловко пригнаны были все украшения...

Вдали, в горах, ревели олени. Внизу, в реке, несколько раз слышался шум. Аглавра с нетерпением поворачивалась в ту сторону, но это или плескалась рыба, или куница старалась поймать сонных утят...

Сатиресса наконец встала и, опустив голову, тихо направилась в горы. По узкой тропинке взобралась она высоко-высоко и села на свое любимое место на серой скале, вся облитая лунным сиянием. Там сидела она, белая и неподвижная, как статуи богинь в далекой стране пирамид, прорезанной широкой священной рекой.

Светлая, полная луна привлекала к себе скорбные взоры Аглавры... Наконец она подняла флейту к устам, и чудная мелодия ровной волной понеслась над ущельями и вершинами скал. Стройные, полные нежности звуки, свиваясь, тянулись в небо, к ясному диску луны, плакали и просились в сердце холодной Селены... Но щит непорочной богини был несокрушим, и падали вниз скорбные жалобы серебряным жемчугом слез в необъятное, глубокое море...

И тщетно рыдали оттуда мелодичные томные звуки...



Возвращаясь с охоты, гуськом пробиралось по тропинке стадо кентавров. На мощных конских спинах своих несли они трупы убитых паней, связки наломанных вблизи человеческого жилья кистей винограда, а мощный Коракс волок огромную тушу дикой свиньи. Его длинная черная борода была запачкана тиной, а на мозолистых, грубых руках запеклась коричнево-красная кровь.

Все кентавры были измучены долгой охотой и теперь мечтали о том, как, перебалив через горы, они пересекут, топчя пышные травы, сонную равнину, вступят в растущий по ту сторону лес и к утру придут туда, где на полянах,

вдоль берегов другой, светлой, реки их жгут нетерпеливые жены...

Рыжебородый Дорил первым услышал флейту Аглавры, и по знаку его остановилось все стаго.

— Осторожней ставьте копыта. Кажется, там, впереди, ночное собрание нимф и вас, товарищи, может быть, ждет награда за тяжесть долгих трудов!

Почти беззвучно скользили вперед четвероногие богатыри. Вот Дорил снова остановился и жестом мощной руки позвал к себе чернобородого Коракса. Тот подошел, и густой шепот вождя проник в уши гиганта.

— Это не нимфы. Очи мои видят деву из рога сатиров, которая некогда обагрила копье кровью кентавра. Она же разбила камнем лицо Тимолеонта. Боги шлют нам возможность мести. Скажи остальным, чтобы четверо обошли эту вершину кругом и сначала крались, а потом, как только я вскрикну, кидались вперед... Старайтесь схватить ее невредимой, и тогда сладкая месть будет достойна нашего племени...



Пронзительный крик десятка глоток заставил вздрогнуть Аглавру. Она перестала играть и, оглянувшись, увидела кучу кентавров, со стуком и гиком летевшую к ней.

“Надо спасаться”, — мелькнуло в уме дочери Пана. Она хорошо поняла, с какой целью мчались с разных сторон лесные разбойники, и тотчас кинулась вниз, к крутому спуску, и без тропинки запрыгала с камня на камень гораздо легче горной козы. Враги тоже помчались вниз, окружной дорогой, стараясь перехватить беглянку при выходе из ущелья, куда спускалась Аглавра.

Но часть кентавров рискнула и стала спускаться следом за ней, припадая крупом к скале и скользя копытами по гладкому камню...

Бедный Эвгенес сорвался и с диким криком пролетел мимо Аглавры, кубыркаясь через голову и ломая себе члены двойного, мощного тела... Трещи по кустам, он чуть-чуть

не задел сатирессы, которая слышала, как он загремел внизу, о камня.

Опередив врага, Аглабра спустилась в поросший лесом обвраг и хотела укрыться в густой чаще орешника, но следом за ней уже стремились рыжебородый Дорил, загорелый мощный Сфенел и двое других четвероногих героев.

В ущелье было темно. Аглабра притаилась в кустах, сжимая в левой руке тяжелую флейту.

Кентавры не видели дебы, но один из них скакал не разбирая дороги, прямо туда, где она скрылась.

Когда он приблизился на три шага, сердце Аглабры сжалось и сатиресса скользнула в сторону... Лунный свет упал сквозь листву на ее безупречные плечи, и зоркий глаз бурого Гилонома заметил беглянку.

С криком рванулся он к ней, но легконогая деба прыгнула в сторону и, очутившись на тропинке, помчалась между деревьями. Сзади слышались крики Дорила, Сфенела и Гилонома. Они ломали гребесные ветви, трещали в кустах и с диким ревом мчались по сонному лесу. Пробужденные шумом, спасались от конских копыт робкие зайцы и кролики. Стройная пань долго скакала рядом с бегущей Аглаброй...

Но вот и лесная опушка. За ней видна равнина. Сатиресса совсем не хотела выбегать в поле, но за ней по пятам гнались два или три лучших четвероногих героя. Пришлось выскочить из леса... Колени Аглабры мокли в густой росистой траве. Она мчалась так быстро, что ветер свистал у нее мимо ушей, развевая над ними шелковистые светлые волосы... Топот кентавров, сначала не допускавших и мысли, что деба могла выбежать в поле, становился слышнее. С боков появились другие твердокопытные, косматые полубоги. При лунном свете они казались больше, а крик их был ужасен...

Сердце в груди сатирессы стучало какою-то резкою болью; она задыхалась, чувствуя, как кровь леденеет у нее в жилах, а глаза застилает красноватый туман... Перескочила через узкий ручей, с краев заросший кустами, и снова помчалась по полю. Вот внезапно из высокой травы перед ней выросла, преграждая путь, темная масса волосатого

богатыря, Аглабра взмахнула черной тяжелой флейтой... Он застонал и шарахнулся в сторону. И сатиресса, с обломком в руках, промелькнула мимо метавшегося на мокрой траве с окровавленным лицом Ифиной...

Сзади, а также с боков приближался бешеный топот...

— Теперь не уйдешь! — прохрипел кто-то злобно у нее за спиной...

Резкая боль в корнях волос у затылка... И сразу несколько рук схватило Аглабру.

Сатиресса рванулась, но мощный Дорил крепко держал ее за белокурые косы. Кто-то больно вцепился и ломал левую руку, правой овладел полетевший Сфенел. Аглабра стала брыкаться, но тут на нее со всех сторон посыпались удары кулаков и копыт... Кто-то схватил ее за ноги — покрытое синяками и ссадинами тело беспомощно извивавшейся Аглабры было растянуто в воздухе...

С окровавленным, разбитым лицом, припелся Ифиной и требовал мести.

Он первый хотел насладиться криками жертвы.

— Ифиной прав, — произнес Кораск, — держите ее крепче, товарищи, а ты не давай ей пощады!

— Артемида! — в ужасе прошептала Аглабра...

В ночной тишине из копошившейся кучи кентавров слышался грубый смех и раздирающие стоны.

Хотя и с трудом, Ифиной отомстил за себя; остальные — за погибшего Эвгенеса. Чернобородый Кораск был последним.

Когда он перестал мучить сатирессу, та уже не шевелилась и не кричала.

— Бросьте ее! — сказал он.

Четыре державших ее кентавра отпустили ее растянутые члены, и белокурая сатиресса тяжело упала на землю.

Рыжебородый Дорил толкнул копытом покрытое ссадинами тело Аглабры и знаком пригласил товарищей следовать за ним...

Запрокинув головы, они помчались через поля, туда, где небо начинало сереть. Длинные волосы кентавров



развевались по воздуху. Ветер свистал в ушах, а черные пышные хвосты били по бедрам.

Кто-то захохотал, и подобный ржанию смех галеко пронесся по пустынной равнине.



Был вечер. Солнце садилось, и алый пожар его виднелся из-за горных вершин. Сплошная тень властно легла на равнину. Потемневший ручей слабо журчал среди молчаливых прибрежных кустов. В густой, сильно примятой траве, на взрытой копытами кентавров земле неподвижно лежала, раскинув члены, Аглавра.

Белое тело дочери Пана было покрыто следами страшных ударов. В правой руке она сжимала прядь глиняных черных волос из чьего-то хвоста. В золотисто-белой шерсти на ногах виднелись темные пятна спекшейся крови. Светлые косы красавицы разметались по мокрой, втопанной в землю траве...

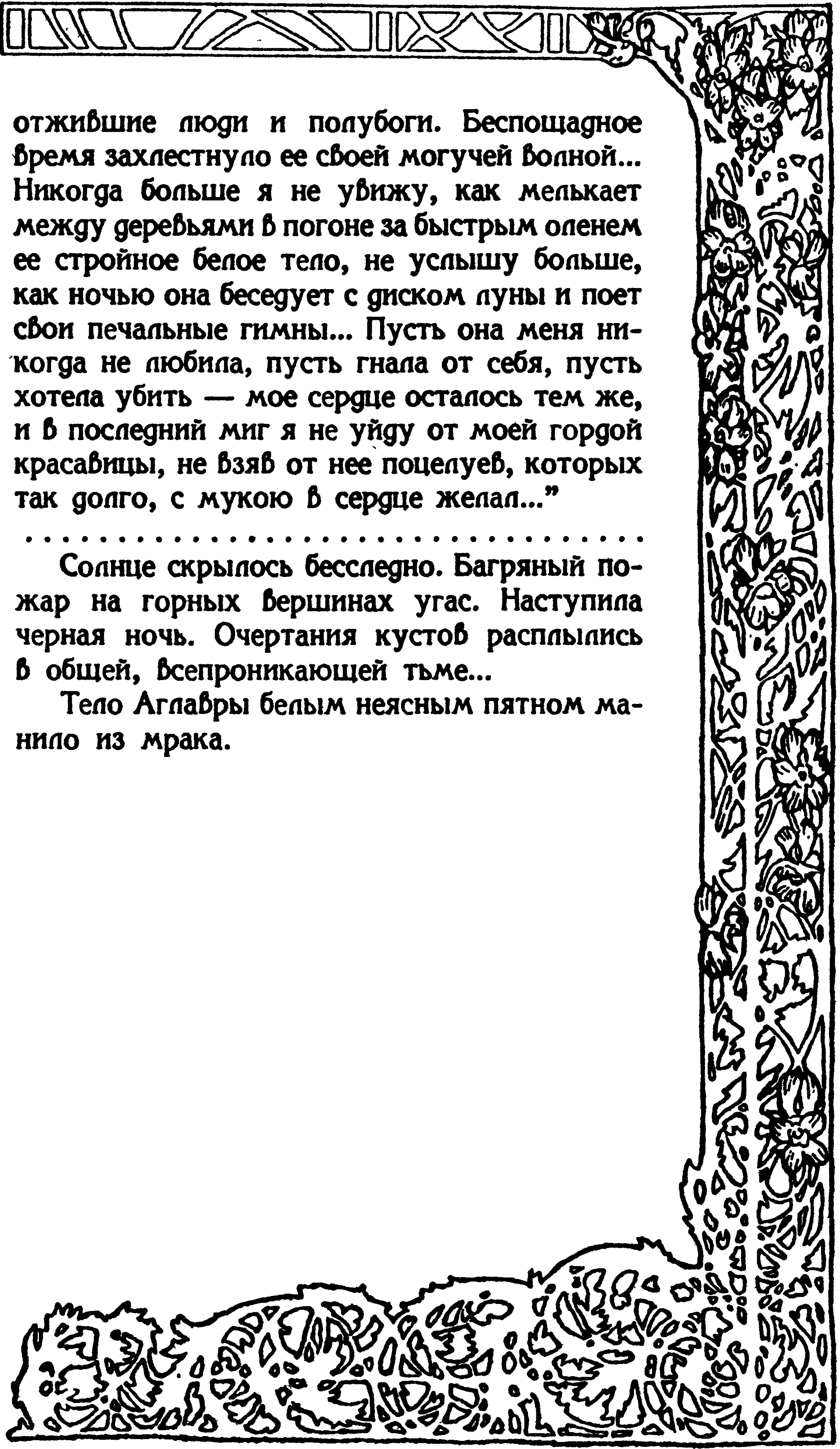
Глаза сатирессы были закрыты, рот полуоткрыт, и на лице застыло выражение муки...

В трех шагах от бездушного тела, подобно черному камню, уткнув подбородок в колена, сидел Гианес.

Он глядел на ту, кого так любил, ради кого забыл даже священную месть за лучшего друга... Юный сатир прибежал слишком поздно, когда крики Аглавры уже стихли и кентавры, насытившись убийством, с диким ржанием тесной толпой ускакали к своим ожидающим женам... Целый день Гианес просидел неподвижно, и слезинки сверкали на его печальных карих глазах... Кругом быстро темнело. Всколыхнув траву, прошелестел в прибрежных кустах ветерок. Где-то вблизи прокричал мелодично ворон. Рассекая со свистом воздух, пролетели к морскому берегу дикие утки. В потемневшей листве давно уже стрекотали ночные кузнечики... Тело Аглавры белым пятном выступало из мрака.

Молодой сатир грустно сидел возле нее, охватив руками колени.

“Дочь богини, такая же статная, как и ее серебристая мать, погибла,— шептал он себе самому,— она исчезла гля лона земли, как исчез убитый ею Антем, как исчезают все

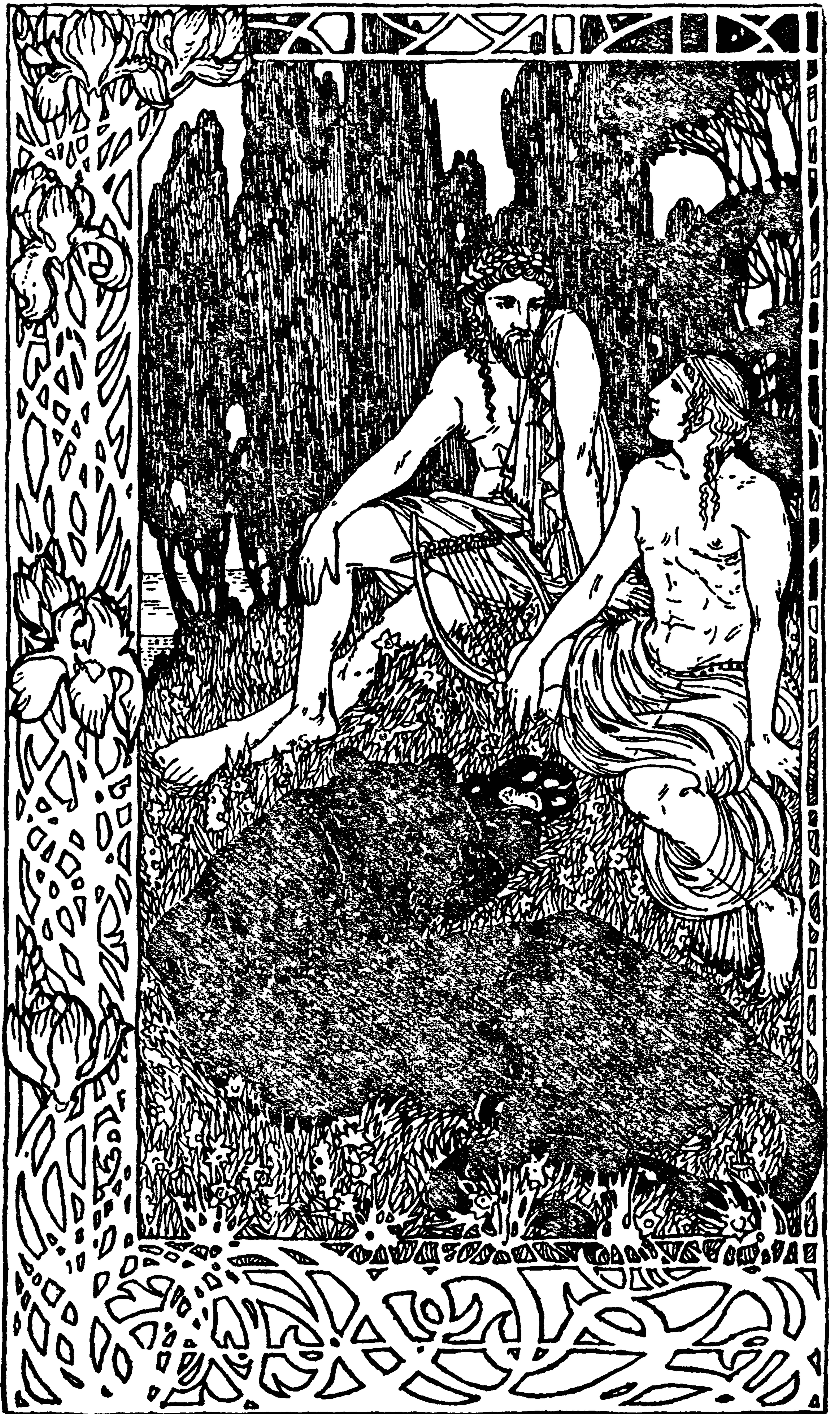


отжившие люди и полубоги. Беспощадное время захлестнуло ее своей могучей волной... Никогда больше я не увижу, как мелькает между деревьями в погоне за быстрым оленем ее стройное белое тело, не услышу больше, как ночью она беседует с диском луны и поет свои печальные гимны... Пусть она меня никогда не любила, пусть гнала от себя, пусть хотела убить — мое сердце осталось тем же, и в последний миг я не уйду от моей гордой красавицы, не взяв от нее поцелуев, которых так долго, с мукою в сердце желал..."

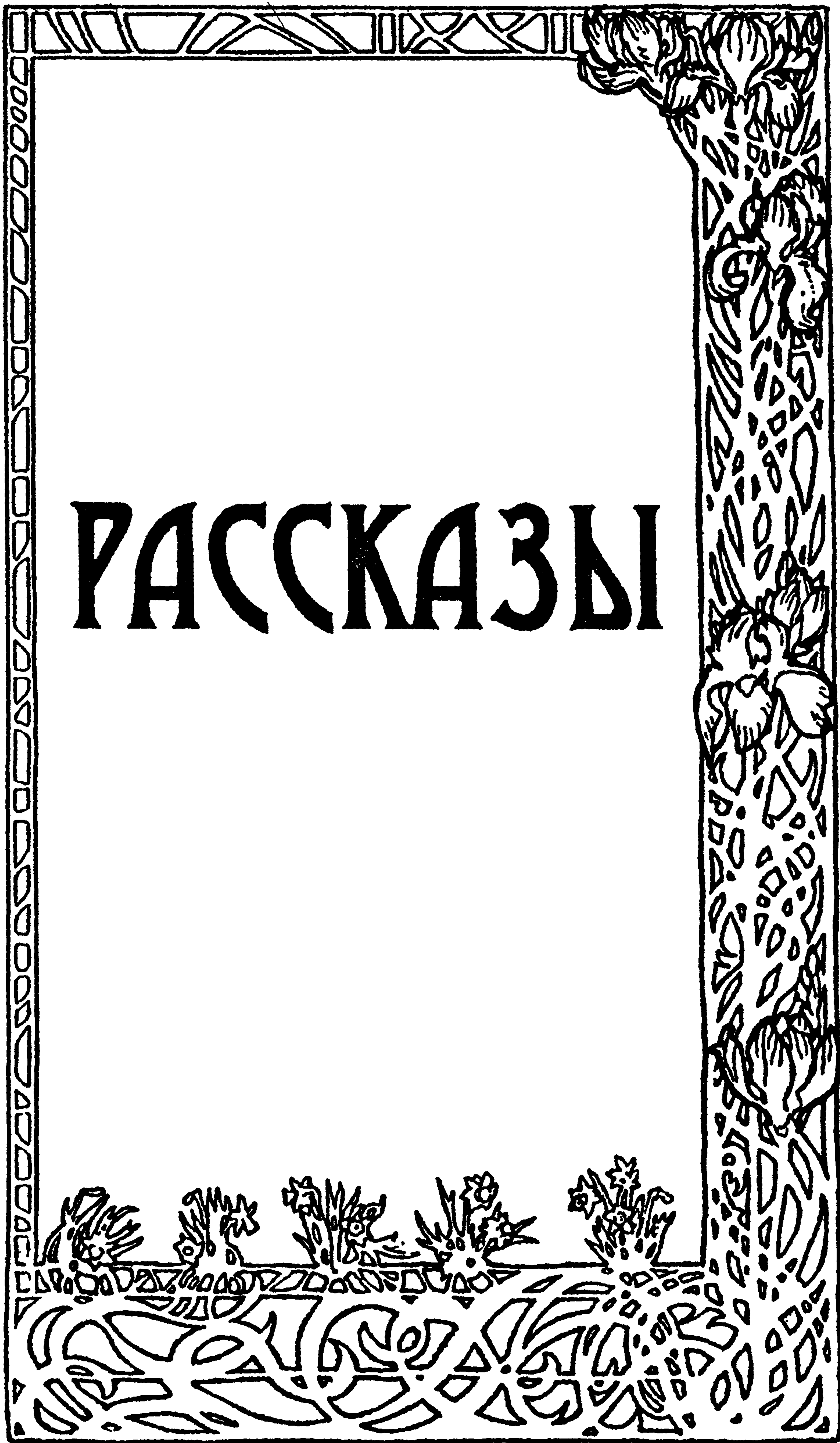
.....

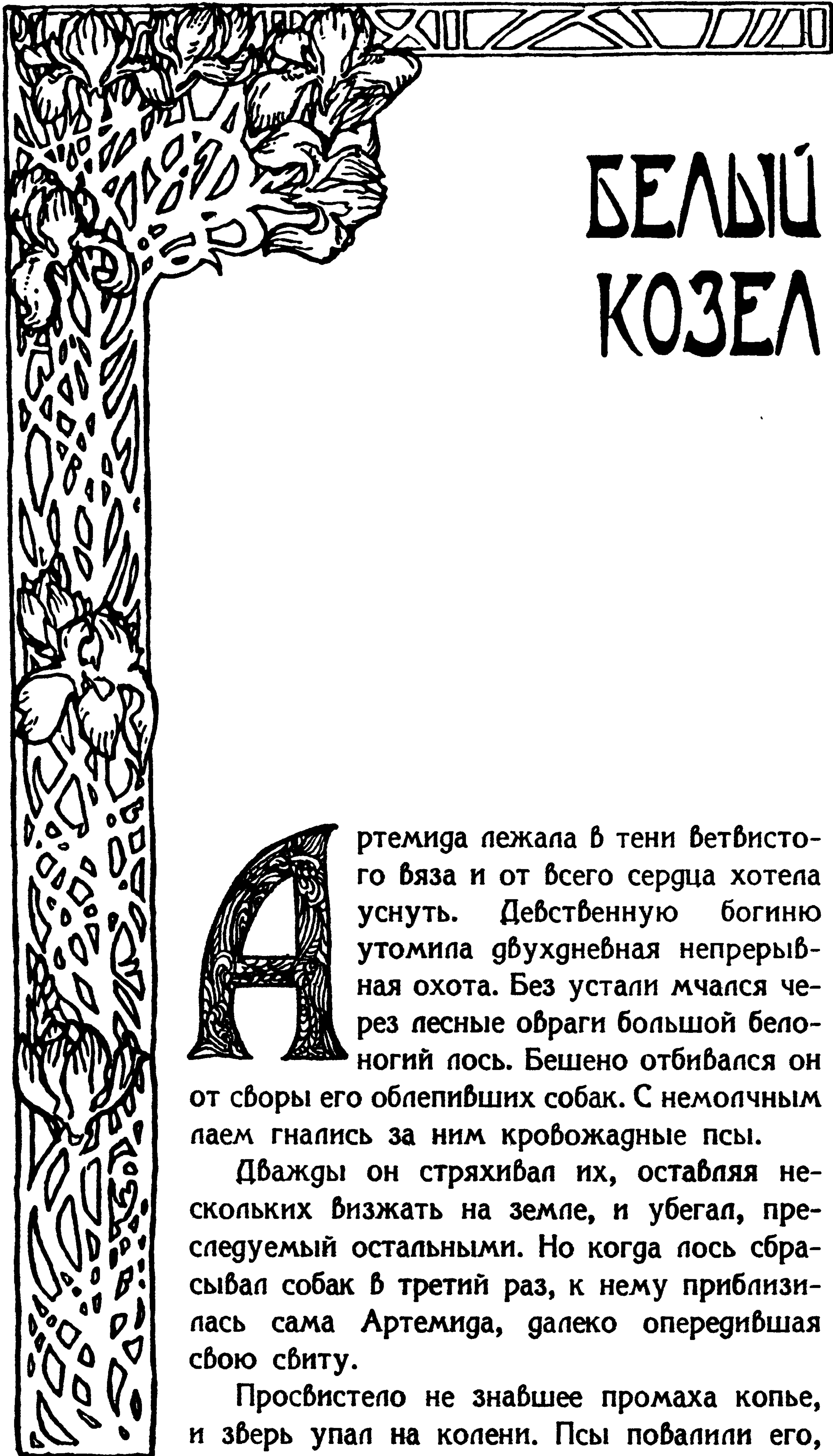
Солнце скрылось бесследно. Багряный пожар на горных вершинах угас. Наступила черная ночь. Очертания кустов расплылись в общей, всепроникающей тьме...

Тело Аглавры белым неясным пятном манило из мрака.



РАССКАЗЫ





БЕЛЫЙ КОЗЕЛ

Артемида лежала в тени ветвистого вяза и от всего сердца хотела уснуть. Девственную богиню утомила двухдневная непрерывная охота. Без усталости мчался через лесные овраги большой белоногий лось. Бешено отбивался он от своры его облепивших собак. С немолчным лаем гнались за ним кровожадные псы.

Дважды он стряхивал их, оставляя нескольких визжать на земле, и убегал, преследуемый остальными. Но когда лось сбрасывал собак в третий раз, к нему приблизилась сама Артемида, далеко опередившая свою свиту.

Просвистело не знавшее промаха копьё, и зверь упал на колени. Псы повалили его,

и пурпурная кровь, вытекавшая из раны, окрасила их сви-репые морды.

Весело понеслись по зеленому лесу и тенистым обрагам протяжные переливы охотничьего рога богини. Но не ответи-ли им, как бывало, веселые сигналы поруг. Изнемогшие от трудов, далеко отстали охотницы и не слышали призывных звуков. Рассеявшись по лесу, отдыхали они в кустах и пещерах.

Богиня протрубила еще раз, но, не слыша ответа, го-гадалась, что спутницы ее отстали и соберутся не скоро. Тогда Артемида решила, что и ей следовало бы отдохнуть.

Под раскидистым вязом она улеглась на мягкой траве; верные псы, устало высунув языки, расположились вокруг. Положив под голову колчан, богиня закрыла глаза.

Волнение, которое Артемида продолжала еще испыты-вать, и сильных запах цветов мешали ей заснуть. Беспо-койство об оставленных поругах вызывало тревожные мысли. Мало ли в этом дремучем неизвестном лесу ходит косматых сатиров. Во время погони богиня несколько раз пробегала мимо страшных пропастей, со дна которых поды-мались удушливые испарения. Там могли гнездиться чу-довища или, еще хуже, какие-нибудь страшные божества, царившие на земле до олимпийцев...

Артемида вздыхала, беспокоилась, но усталость мало-помалу взяла свое. Голова кружилась от запаха цветов; древесные листья что-то шептали; кругом шелестела трава, и богине казалось, что цветы и деревья убаюкивают ее тихой песней:

Спи, богиня прекрасная,
Спи, утомясь охотою.
Очи, что звезды ясные,
Пусть сомкнутся дремотою.

Пчелки жужжат мохнатые;
Льют цветы благовония.
Негою снов объятая,
Спи, богиня Латония!

Ветер шуршит осокою,
Шепчут листья кленовые,
Зевса дочь ясноокая
Бродит темной губривою

С луком в руках и стрелами,
В чаще леса гремучего,
Дева взорами смелыми
Лося следит могучего.

Чье копье всех опаснее?
Кто, как ветер, стремительна?
Кто подруг всех бесстрастнее?
Чья краса ослепительна?

Это ты, о Латония,
Ты, дочь Зевса любимая.
Пьют цветы благовония.
Спи, ничем не томимая!..

Незаметно для самой себя богиня заснула.

Снилась ей ночная охота за тем же не знающим устали лосем. Так же быстро бежал он, прыгая порой со скал, переплывая через быстрые потоки, белая пена которых блестела под серебристой полной луной. Крики подруг, звуки рогов, лай собак сливались с шумом водопадов. А белоногий лось все бежал и бежал, пока не прыгнул с высокого утеса в какую-то пропасть. Артемида, опять далеко опередившая собак и подруг, нагнулась взглянуть, что такое случилось с животным, и — загрожала от ужаса. На дне пропасти копошилась какая-то страшная масса, похожая сразу и на быка, и на змей, и на человека. Она подымала порой руки, похожие на щупальца, и выпускала злобное пыхтение. Артемида схватилась за лук, но колчан ее был пуст; стрелы все высыпались во время погони; вместо тяжелого копья в руках у нее оказался тирс Диониса...

Чудовище же приподнялось на своих кольцах, и ужасная, подобная бычачьей, голова пропыхтела: “Мать Земля услышала мои мольбы и посылает мне жену в короткой тунике. Приди же в мои тесные объятия!”

Адские глинные щупальца обвили обнаженные колени богини. За щупальцами из пропасти выползло остальное безобразное тело... Артемида уже отчаялась в спасении, но вдруг на вершине одного из соседних утесов показался большой белый козел. Длинная шерсть животного серебрилась при блеске луны. Темные глаза внимательно следили за происходившим. Он склонил голову и прыгнул вниз, на поляну, откуда чудовище уже увлекло богиню в свою глубокую пропасть...

Острые рога разбежавшегося козла со страшной силой ударились в мягкую кожу похитителя.

Чудовище застонало, выпустило жертву и тяжело шлепнулось на дно своей пропасти. Артемида вздрогнула — и проснулась...

Солнце стояло уже совсем низко, озаряя окрестные скалы, поросшие диким лесом. Длинные тени стлались на поляне. Собаки гоняли где-то поблизости зайца. Из чащи порой долетал их неустанный, полный остервенения лай.

Подруги еще не приходили. Темная туша убитого лося недвижно лежала в десятке шагов.

Богиня оглянулась вокруг, и некоторое смущение стало закрадываться ей в душу. Среди небольшой поляны она была совершенно одна. Местность очень напоминала ту, которую она видела во сне. И, как бы в довершение схождения, из лесной чащи вышел большой белый козел, направляясь прямо к Артемиде.

Спокойно приблизился он к богине и, в нескольких шагах от нее, преклонил колени свои и рогатую голову. Такая покорность тронула дочь Латоны, и она снизошла до того, что позволила животному лизать свои руки.

“Если сон оправдается,— подумала она,— то этот козел должен спасти меня от чудовища, порождения Геи; кто бы он ни был, я его не отпущу от себя”.

Прекрасная рука Артемиды легла на белую пушистую шерсть и приятно утонула в ее теплой волне. Богиня обняла животное, которое доверчиво к ней ласкалось. В карих, немного хитрых глазах светилась любовь и преданность.

Богиня вспоминала, что где-то видела эти глаза. “У кого бы это?” — думала она, пока руки ее обвивались вокруг шеи животного.

А козел тихо и покорно улегся возле, как бы боясь нарушить покой девственной сестры Аполлона.

Страх Артемиды исчез. Надвигалась холодная ночь. Одна за другой на небе зажигались звезды...

“Как приятно, когда близко есть преданное существо, в мягкой шерсти которого можно согреться. Он защитит меня от чудовищ лучше моих куда-то сбежавших собак”, — подумала дочь Латоны, засыпая...

Странные сновидения посетили пог утро Артемиду. Ей снилось, будто она выходит замуж за косматого сатира, при звонком пении безобразного лесного народа. Вместо милых подруг ее обступили всегда неприятные ей болотные нимфы. Перепачканные в тине, большие лягушки составили свадебный хор; громкое кваканье их зловеще звенит в ушах Артемиды. Вот нареченный супруг подает ей косматую лапу, и богиня, не смея противиться, идет вслеп за ним в отверстие темного грота. Там она терпит ласки, от которых краснеют щеки ее, а сердце в груди то бьется, то замирает.

И эта мука тянется так долго, долго.

Любопытные нимфы, маленькие козлоногие сатиры и разные лесные уроды толкаются около входа, шепчутся, хлопают в ладоши, прыгают, пищат и звонко, пронзительно смеются.

Но вот чей-то хохот раздается все громче, покрывает все другие голоса и громовыми раскатами наполняет лес; зеленые холмы и обраги отвечают ему победным, радостным эхом.

Артемиды протяжно вздохнула и пробудилась. Покрытая холодным потом, бледная, с распущенными волосами, вскочила и огляделась кругом.

Рядом с ней никого не было.

Козел, приходивший ночью, куда-то исчез.

Быть может, она видела его во сне? Нет, на земле заметны следы его острых копыт.

Неподвижно застыл в десятке шагов труп убитого лося. Купаясь в ярких лучах солнца, над ним звенели уже рои золотистых мух.

Близ него разлеглись пришедшие к утру собаки. Вероятно, козел скрылся при их приближении...

А далеко, далеко в горах гремели раскаты чьего-то веселого смеха.

“Так смеется только Пан”, — подумала богиня, и ночные сновидения почему-то всплыли в ее голове, яркой краской отражаясь на бледных ланитах.

Она снова прислушалась.

“Нет, это не смех, — решила богиня немного спустя. — Теперь как будто эхо охотничьего рога... Это подруги”.

Действительно, на узкой тропинке из-за соседнего холма скоро, одна за другой, показались вооруженные луками нимфы. Некоторые из них вели на сворах свирепых собак; иные держали в руках короткие острые копья.

Строго глядела на них неподвижная, как статуя, Артемида...

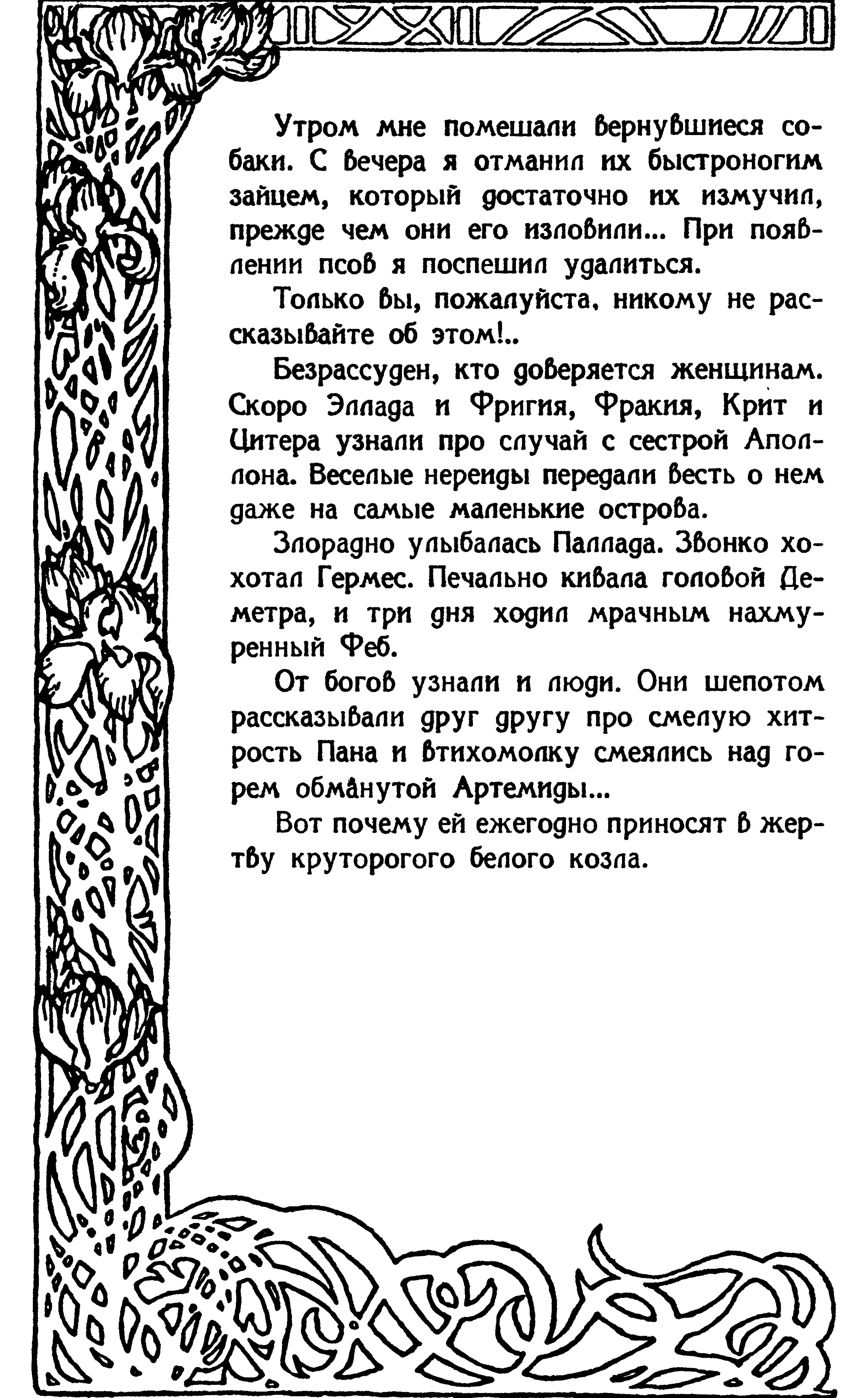


Зато как весело хохотал, окруженный своими верными нимфами, довольный, ликующий Пан.

— Как тебе удалось это сделать? — спрашивали его недоумевающие, слегка нахмуренные гамадриады.

— О, это был трудный подвиг. Цветам и травам я велел нашептывать спящей сны, полные ужасов, от которых ее спасал белый козел. Затем я подошел к пробужденной Артемиде в виде того же козла и начал ласкаться. Это подействовало. Она даже не хотела меня отпускать и заснула, обнимая мою шею.

Тут я не удержался, чтобы не поцеловать ее раза два или три.



Утром мне помешали вернувшиеся собаки. С вечера я отманил их быстроногим зайцем, который достаточно их измучил, прежде чем они его изловили... При появлении псов я поспешил удалиться.

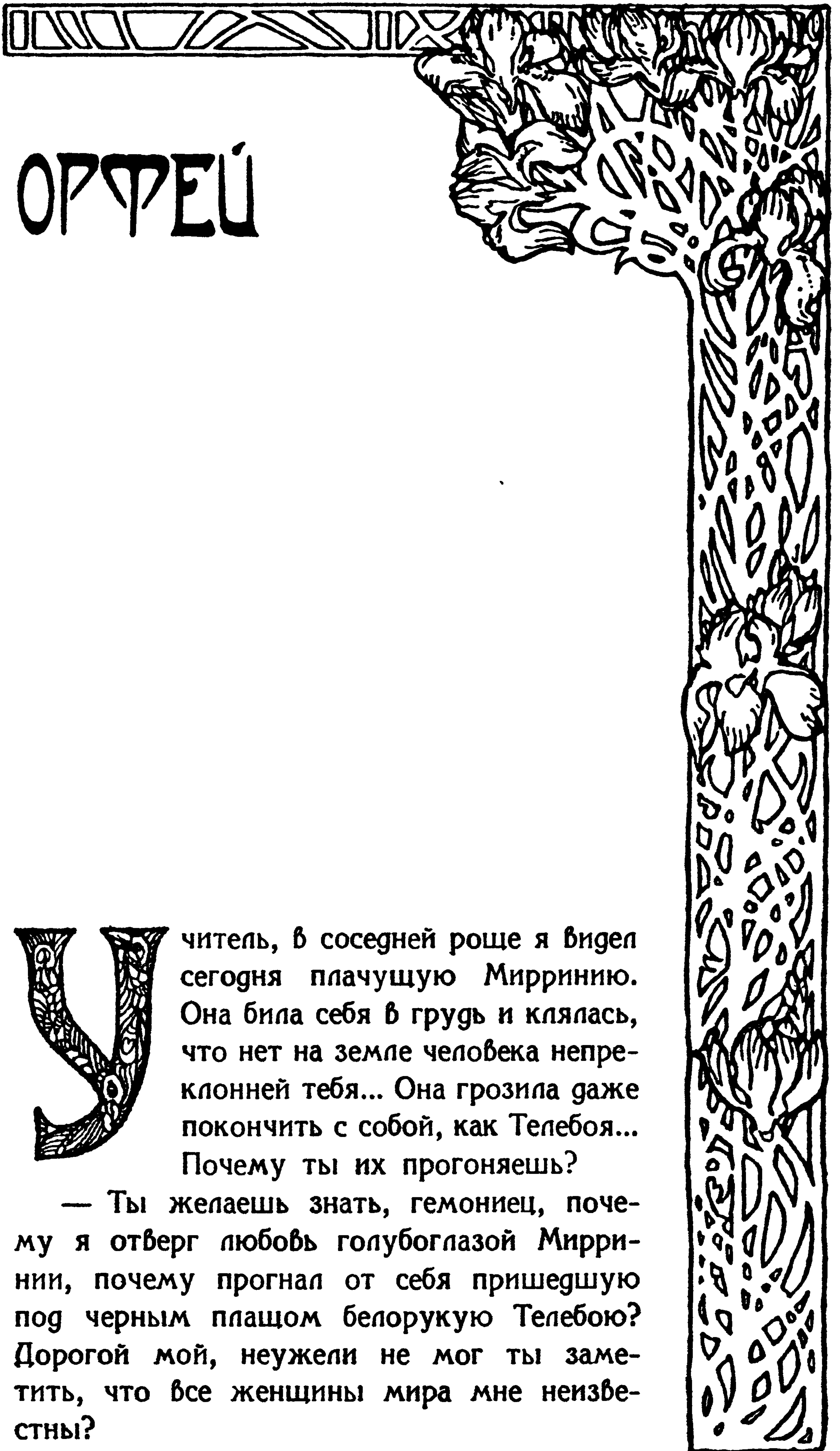
Только вы, пожалуйста, никому не рассказывайте об этом!..

Безрассуден, кто доверяется женщинам. Скоро Эллага и Фригия, Фракия, Крит и Цитера узнали про случай с сестрой Аполлона. Веселые nereиды передали весть о нем даже на самые маленькие острова.

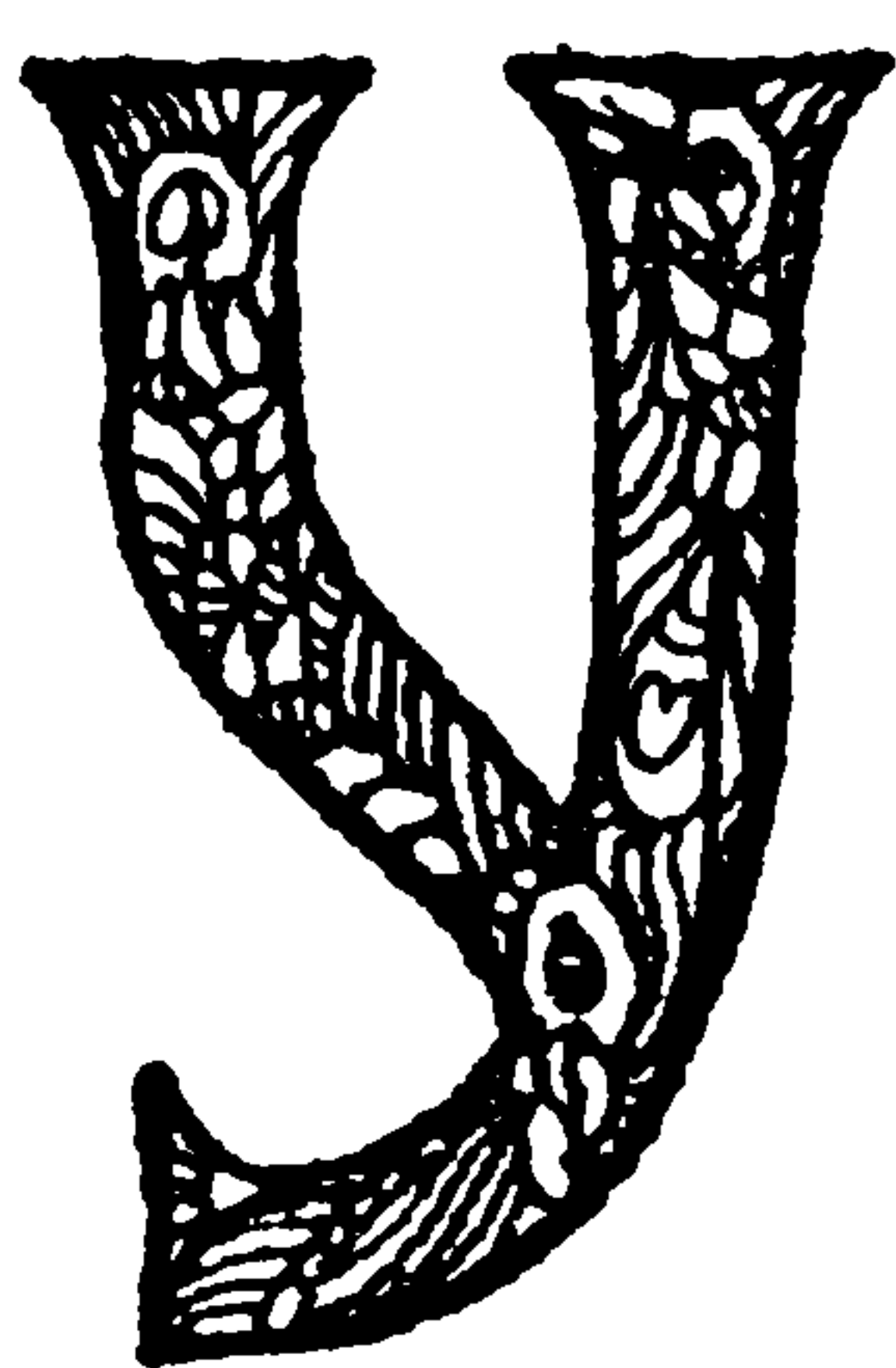
Злорадно улыбалась Паллага. Звонко хохотал Гермес. Печально кивала головой Деметра, и три дня ходил мрачным нахмуренный Феб.

От богов узнали и люди. Они шепотом рассказывали друг другу про смелую хитрость Пана и втихомолку смеялись над горем обманутой Артемиды...

Вот почему ей ежегодно приносят в жертву круторогого белого козла.



ОРФЕУ



читель, в соседней роще я видел сегодня плачущую Мирринию. Она била себя в грудь и клялась, что нет на земле человека непреклонней тебя... Она грозила даже покончить с собой, как Телебою... Почему ты их прогоняешь?

— Ты желаешь знать, гемониец, почему я отверг любовь голубоглазой Мирринии, почему прогнал от себя пришедшую под черным плащом белорукую Телебою? Дорогой мой, неужели не мог ты заметить, что все женщины мира мне неизвестны?

— О трижды великий Орфей, о мой учитель, сколько лет прошло уже с тех пор, как ты потерял Эвридику. Неужели даже теперь тоскует по ней твоя безутешная душа?

— Нет, мой мальчик, я не томлюсь по оставленной в Тартаре супруге. И если бы бог, повелитель подземного мира, вновь отпустил ее на поверхность земли и она пришла ко мне в Гемонию, — верь мне, — я бы только молча от нее отвернулся.

— Учитель, разве ты не любил ее? Или несправедлива молва о том, что ты опускался в негра Аида ради супруги? Я слышал, что грозный Гадес был тронут твоею лирной игрой и печальной песней. Я слышал, что он позволил тебе увести на ясный простор, под кров лазурного неба, твою Эвридику. И лишь оттого, что ты нарушил запрет не смотреть на нее, пока совсем не выйдешь из Тартара, супругу твою увлек обратно в черный Аид крылатый бог Гермий... Разве это не правда, сын сладкозвучной Музы?.. Но прости, ты нахмурен, я, вероятно, задел незажившие раны твоей наболевшей души.

Некоторое время на вершине поросшего кипарисами холма длилось молчание. Орфей сидел на пологом откосе. Около него на пестрых цветах лежала большая черная самка пантеры, с мурлыканьем гнувшая спину под ласковой рукой певца. Гибкий кончик хвоста кровожадного зверя игриво бил по зеленой траве. На нижних ветвях кипариса висела много славных побед стяжавшая лира. Кругом на деревьях сидели примолкшие птицы. Издалека слетелись они послушать Орфея.

Фракиец перестал гладить животное и, устремив взор в сторону гальных ущелий, произнес задумчивым тоном:

— Тебе говорили правду, о Антимах, но не всю. Повторяю, если бы на землю вернулась из области мрака та, которую я некогда звал своей Эвридикой, сердце мое не заняло бы ~~сладкой~~ болью. Нет для меня больше женщин

и дев на земле, омываемой сине-зелеными волнами. Все они лживы, и в их деланно ясных глазах светит собачья рабская низость, страх перед сильным, на дне же души таится у них вечная похоть, и всюду ищут они новых объятий, новой добычи!..

— Как, учитель, даже твоя Эвридика?!

— Да, даже она. Никогда не забыть мне того, что случилось в обители мертвых... Когда мрачный Гадес, склонясь на мольбы Персефоны, согласился отдать Эвридику и ее погвели ко мне две нимфы из темных вод Леты, я окинул внимательным взором лицо той, кто была моей женою.

Она стояла, нагая, бледная, стыдливо потупив ресницы, словно скрывая радость свидания с мужем.

— Вот твоя Эвридика! Гермес проводит вас до входных дверей царства забвения. Супруга твоя пойдет вслед за тобой. Но горе тебе, если взглянешь назад раньше выхода!.. Ты же, сын Майи, приблизься, чтобы услышать поручения мои к эгидодержавному брату.

Гермес подошел к царю преисподней, и бессмертные боги долго шептались между собой, смеясь и глядя по временам на нас с Эвридикой.

— Можешь идти! — сказал мне наконец повелитель Тартара, и мы, на изумление скорбным теням, пустились в дорогу.

Твердым шагом стремился я к выходу. Гордость победы теснила мне душу. Пальцы мои перебирали лирные струны, и шествие наше сопровождалось торжественным звоном... Тени усопших молча давали нам путь. Грустные лица их безучастно смотрели на нас с разных сторон. Выход был уже близок. Лазурно-лиловым снопом врезались во тьму стрелы светлого дня.

Я замедлил шаги. Сзади почудилось мне шепот и поцелуи. Я думал сначала, что это лишь испытание, чтобы заставить меня обернуться, и гнал от себя подозрения. Сделав еще десяток шагов, я очутился у поворота, за ним в

лицо мне пахнуло струей теплого воздуха, а взорам открылись кусок лазурного неба и скаты покрытых цветами, сверху заросших лесом холмов... Сзади было все тихо. Но вот оттуда снова слышался тихий сдержанный смех и чьи-то протяжные вздохи... Сомнений быть не могло. Так вздыхала только она, моя Эвридика, в часы наших блаженных объятий.

Не помня себя от гнева, забыв наставление Гадеса, как зверь андрофаг из далекой Индии, кинулся я обратно в черную пасть адского входа.

Боги, что там я увидел! За поворотом пути она, моя Эвридика, моя нежная, полная кроткой грусти подруга, как дикая самка сатира, в пылком экстазе, отдавалась ласкам коварного Гермеса...

Как изваяние из мрамора, замер я, неподвижный от ужаса. И огни лишь глаза следили за тем, как с наглым хохотом снова увел от меня сын Майи в темный Аид ту, что была моей женой.

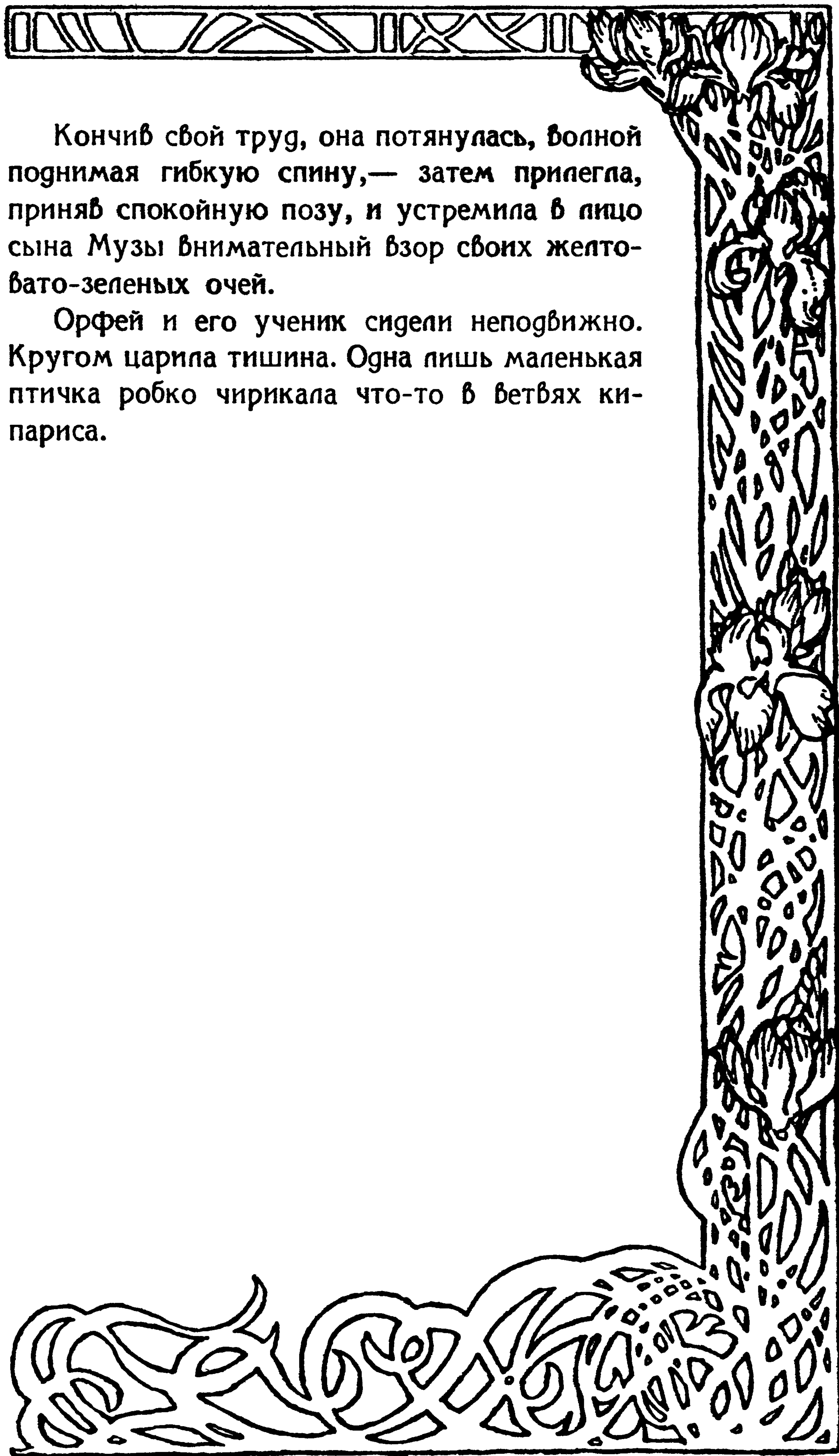
— Ты нарушил запрет, сын Каллиопы, а потому не видать больше тебе твоей Эвридики! — крикнул он мне, исчезая во мраке.

Прильнув к коварному богу, послушно скрылась с ним вместе белая тень моей преступной жены.

Ни одного проклятия не послал я им вслед.

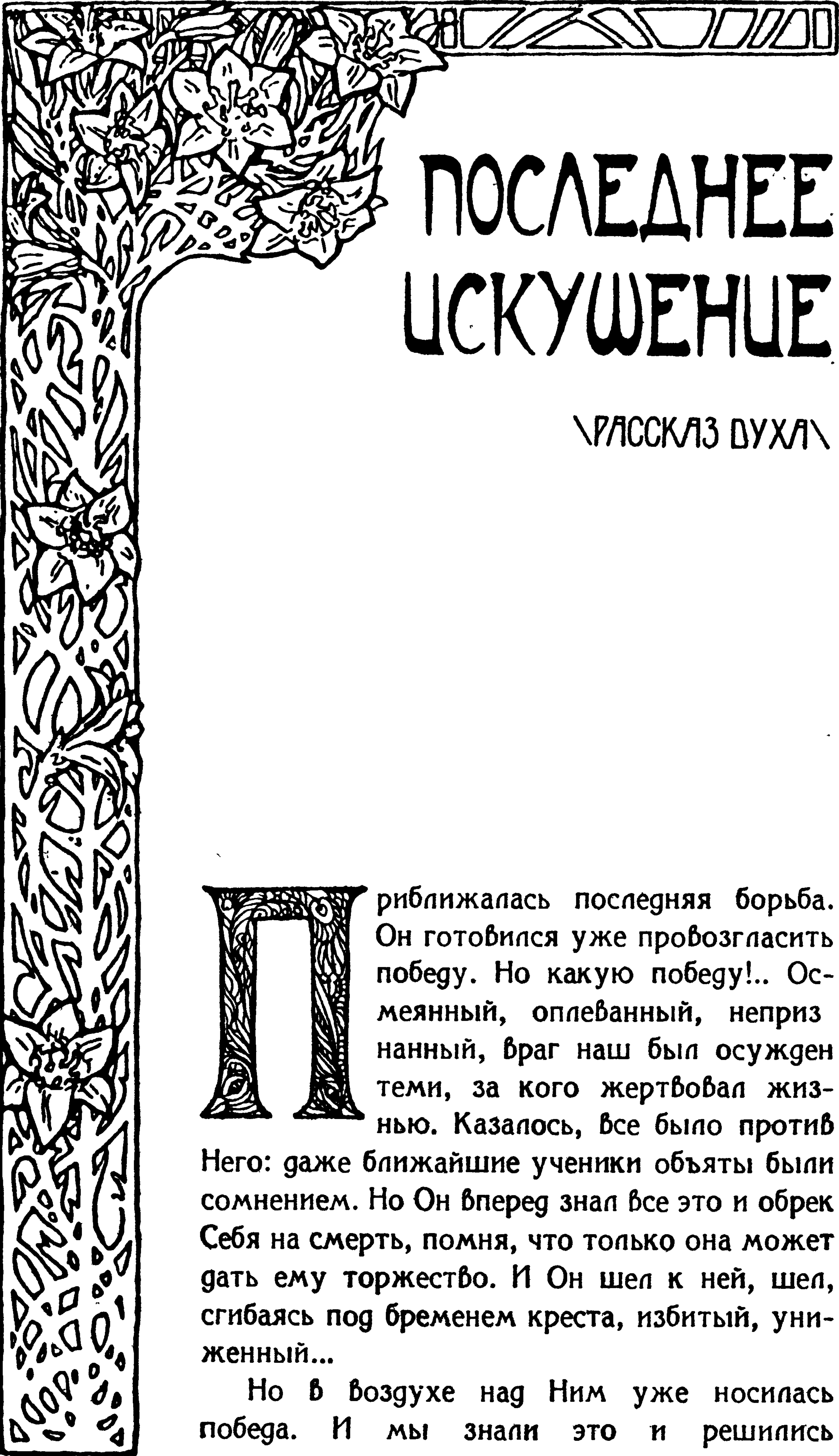
Молча поднял я лиру и тихо пошел по зеленым холмам и тенистым обрагам подалее от Тартара. Путь мой лежал сюда, в обильную лесом Фессалию... Здесь мне не так тяжело. Здесь я почти не слышу женского пживого смеха. Здесь ветер шумит в ущельях; темно-зеленые сосны кивают мне головой, а звери ходят за мной по пятам и ласково трутся мягкой шкурой о мои нагие колени...

И как бы желая показать, что она понимает речи поэта, черная пантера зевнула и заботливо стала лизать глинным розовым языком покрытые пылью ноги Орфея.



Кончив свой труд, она потянулась, волной поднимая гибкую спину,— затем прилегла, приняв спокойную позу, и устремила в лицо сына Музы внимательный взор своих желтовато-зеленых очей.

Орфей и его ученик сидели неподвижно. Кругом царил тишина. Одна лишь маленькая птичка робко чирикала что-то в ветвях кипариса.



ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ

\ РАССКАЗ ДУХА \

Приближалась последняя борьба. Он готовился уже провозгласить победу. Но какую победу!.. Осмеянный, оплеванный, непризнанный, враг наш был осужден теми, за кого жертвовал жизнью. Казалось, все было против Него: даже ближайšie ученики объаты были сомнением. Но Он вперед знал все это и обрек Себя на смерть, помня, что только она может дать ему торжество. И Он шел к ней, шел, сгибаясь под бременем креста, избитый, униженный...

Но в воздухе над Ним уже носилась победа. И мы знали это и решились

помешать Его смерти. Один из наших великих духов создал адский план, который должен был вырвать победу из рук Сына Человеческого, как Тот любил себя называть. Для этого, полный непримиримой злобы, он решился разделить судьбу своего Божественного Противника... И дух тьмы шел рядом с Сыном Света, подобно Ему униженный, подобно Ему обреченный на казнь. Для нас самих не вполне ясно, как ему удалось войти в тело осужденного на распятие разбойника. Только Избранник наш шел неподалеку от своего врага, и взоры его сверкали, как раскаленные угли. Мы, полные страха и надежд, следили за ним издали. В небесах реяли мириады ангелов, слетавшихся на защиту Того, кто предавал Себя в жертву за мир. Но Обреченный не смотрел на них, ибо ведал, что Ему нельзя прибегать к их помощи, так как Он должен был страдать и умереть, как человек.

Мы знали, что за Его смертью произойдет нечто ужасное для нас, и в свою очередь готовились... Но, повторяю, все мы жадно следили за нашим Избранником, который должен был соблазнить и умереть. Правда, умереть ненадолго, но испытать все-таки перед этим все муки и ужас расставания с жизнью. Он твердо шел к месту казни, изредка оборачиваясь на пути. Но его пылающие взоры падали не на нас, не на Божественного Соперника, — он глядел на другого, приговоренного к смерти преступника, и во взглядах его было недоумение.

Многие из нас также обратили внимание на этого человека, но ничего выдающегося в нем не заметили.

Это был высокий, мускулистый, загорелый араб, спокойно следовавший позади товарищей по казни. Шел он понуриив голову, и губы его порой что-то шептали.

Военная стража говорила, что он прославился особенно дерзкими грабежами на побережье Мертвого моря. Много богатых купцов разорил он до нитки, много караванов разграбил. Правда, в толпе слышалось, что он не трогал бедных и даже помогал им.

Я заметил: ангел, реявший над шествием, показал другому мечом на этого человека и сказал ему что-то, и другой ангел кивнул в ответ головой. Это меня обеспокоило... Но тут процессия подошла к месту казни, и мое внимание всецело было поглощено совершавшимися событиями.

Я видел: все трое мужественно перенесли мучительное вбивание гвоздей в ладони и приколачивание ног. Я видел, как от земли возносилась к небу искупительная жертва за грехи людей; как Сын Человеческий молчаливо претерпевал страдания и насмешки. Из пестрой толпы предлагали Ему сойти с креста, и я понимал, что говорившие не допускали возможности чего-либо подобного.

Мы рисовали Ему мрачные картины. Мы шептали Ему на ухо, доказывая все неблагоприятное Его поступка: "Ты теперь умираешь, отвергнутый и осмеянный миром, и мир забудет Тебя и Твою проповедь. Семя слов Твоих упало на каменистую почву. Народ этот недалек и себялюбив, а потому слова Твои ему не понятны. Кто хочет успеха у толпы, тот должен действовать на ее чувство и воображение. Им нужно чудо. Сделай его, и они поверят Тебе. Гордые фарисеи падут ниц перед Тобой, сами пойдут проповедовать учение Твое, и оно не заглухнет вовек; ибо скорее поверят тому, кто сошел с креста, чем тому, кто погиб на нем. Сойди же во всей славе Твоей, и они уверуют в Тебя!"

Но Он молчал, молчали и двое остальных. Кровь текла по Его ладоням и капала на землю. С каждой упавшей каплей вдаль, как бы из-под земли, слышались раскаты грома, хотя небо было безоблачно и зной стоял нестерпимый. Наш Избранник, терпеливо переносивший муки, внимательно следил за тем, что делалось у подножия крестов.

Там толпились женщины, пропущенные сквозь цепь бесстрастных, закованных в панцири воинов.

Они молча смотрели на Распятого, и слезы лились по их бледным, исхудавшим от горя и бессонницы лицам.

“Сын мой, Ты рано покидаешь Меня, на кого оставишь Ты свою злополучную Мать?” — казалось, говорили глаза Той, что была старше других.

“Жено, се сын Твой,— как бы в ответ Ей сказал наш Противник и прибавил, обращаясь к любимому ученику, который один из двенадцати не оставил Его в минуту конца: Се мать твоя!”

И снова молчание, тягостное, как зной Палестины. Слышно было только, как тяжело вздохнул один из распятых...

Ни одного дуновения ветерка не пролетало мимо Голгофского холма. Некому было отереть пот, струившийся с лица страдальцев, защитить их от зноя...

А народ, подстрекаемый нами, воил: “Сойди со креста!” — Но ответом было молчание.

Тот, Кого не могли смутить слезы Матери, был неуязвим для насмешек толпы. Вероятно, всем трои́м было тяжело. Большие и маленькие мухи, привлеченные острым запахом пота и крови, сотнями носились над крестами, ползали по лицам распятых, кусали, забивались в ноздри, уши и глаза, и некому было их отогнать... Среди этих мух я угадал кое-кого из своих. Они не теряли времени даром.

Я не спускал глаз с нашего Избранника. Тот молчал, и лишь тяжелое дыхание обнаруживало его муку. Он, очевидно, выжигал... Но чего? Вместе с ним ждали и мы.

Но вот наступила желанная минута. Сын Человеческий остановил взоры на нем. Иссохшие губы Избранника зашевелились...

“Если ты Сын Божий, милосердный, сойди с креста и спаси Себя и нас. Слышишь? Себя и нас! И мы ведь страдаем. Докажи нам любовь Свою!” — казалось, говорили его глаза, хотя он уже молчал.

Я видел, как Сын Человеческий вздрогнул, как грозили Его ресницы. Хотя, быть может, грозь эта произошла от

мух. Лицо Его изобразило страдание, и Он отвернулся к другому сотоварищу по казни. Тот, очевидно, тоже ждал этого. Ждал его и Избранник, впившийся взорами в разбойника. В этом взоре было все: и надежда, надежда отчаяния, и даже мольба, сменившаяся гневом и даже яростью, когда разбойник смущенно опустил свои глаза под пылающими взорами Избранника.

Видимо, тот ожидал от него такой же мольбы, которая должна была подействовать на сердце Распятого, на его сострадание к человеческому горю и мукам.

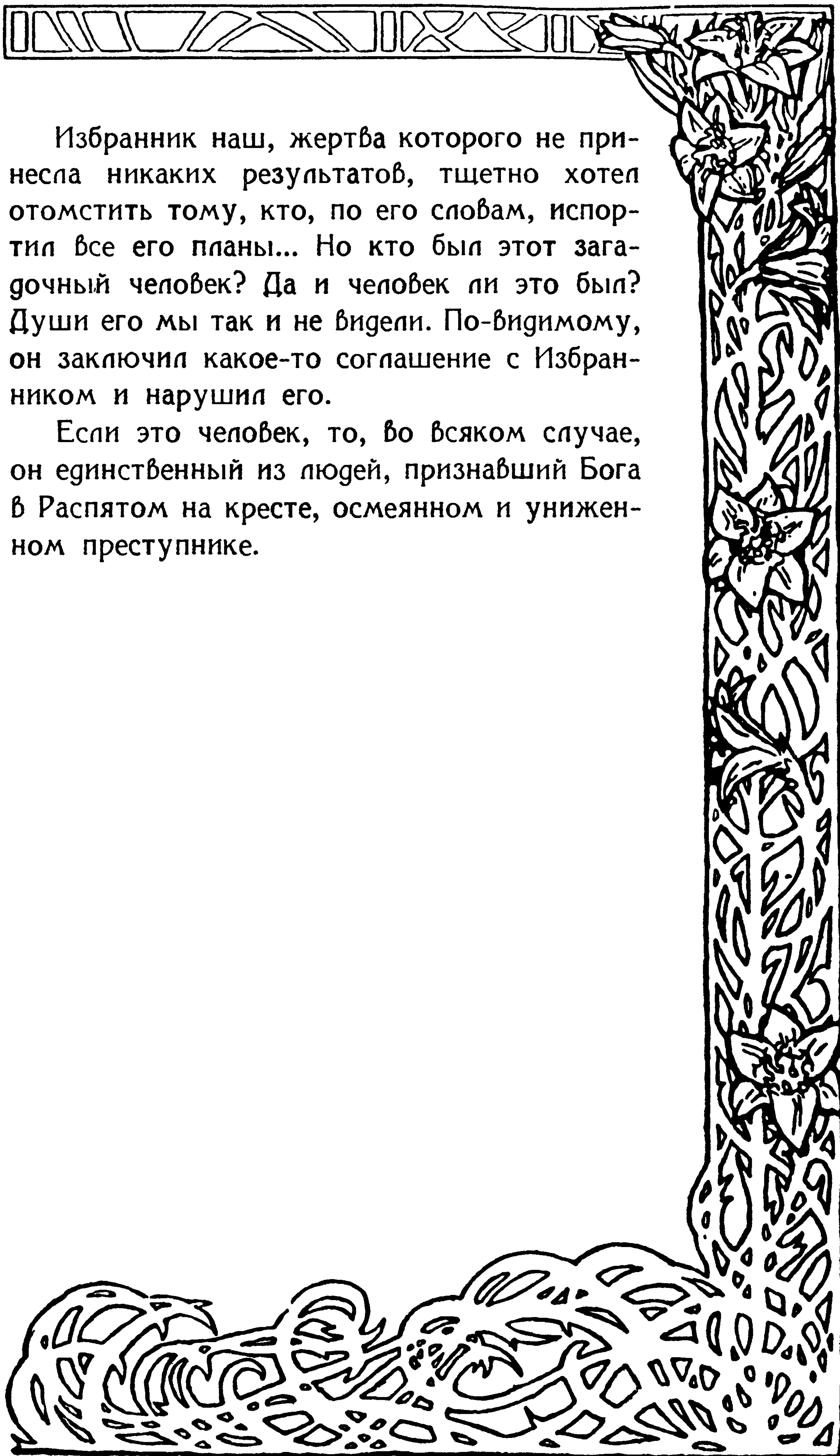
Мы ждали с нетерпением того, что произойдет. Ждал Избранник. В небе ждали ангелы... Но вот краска покрыла побледневшее лицо разбойника: он поднял голову... Прегрешительный взор его встретил ангела. И тот как будто внушил ему: "Мужайся!"... И среди тишины разбойник обернулся к Сыну Человеческому и твердо произнес: "Вспомни обо мне, Господи, когда придешь в Свое царство!"

Это напомнило Божественному Страдальцу Его искупительную миссию. И Он ответил: "Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю!" И, получив такое радостное обетование, разбойник снова обратил взоры к небу, где стояли легионы ангелов. А Избранник метался на кресте, вызывая соболезнование даже у привычных римских воинов...

Все мы поняли, что наше дело проиграно.

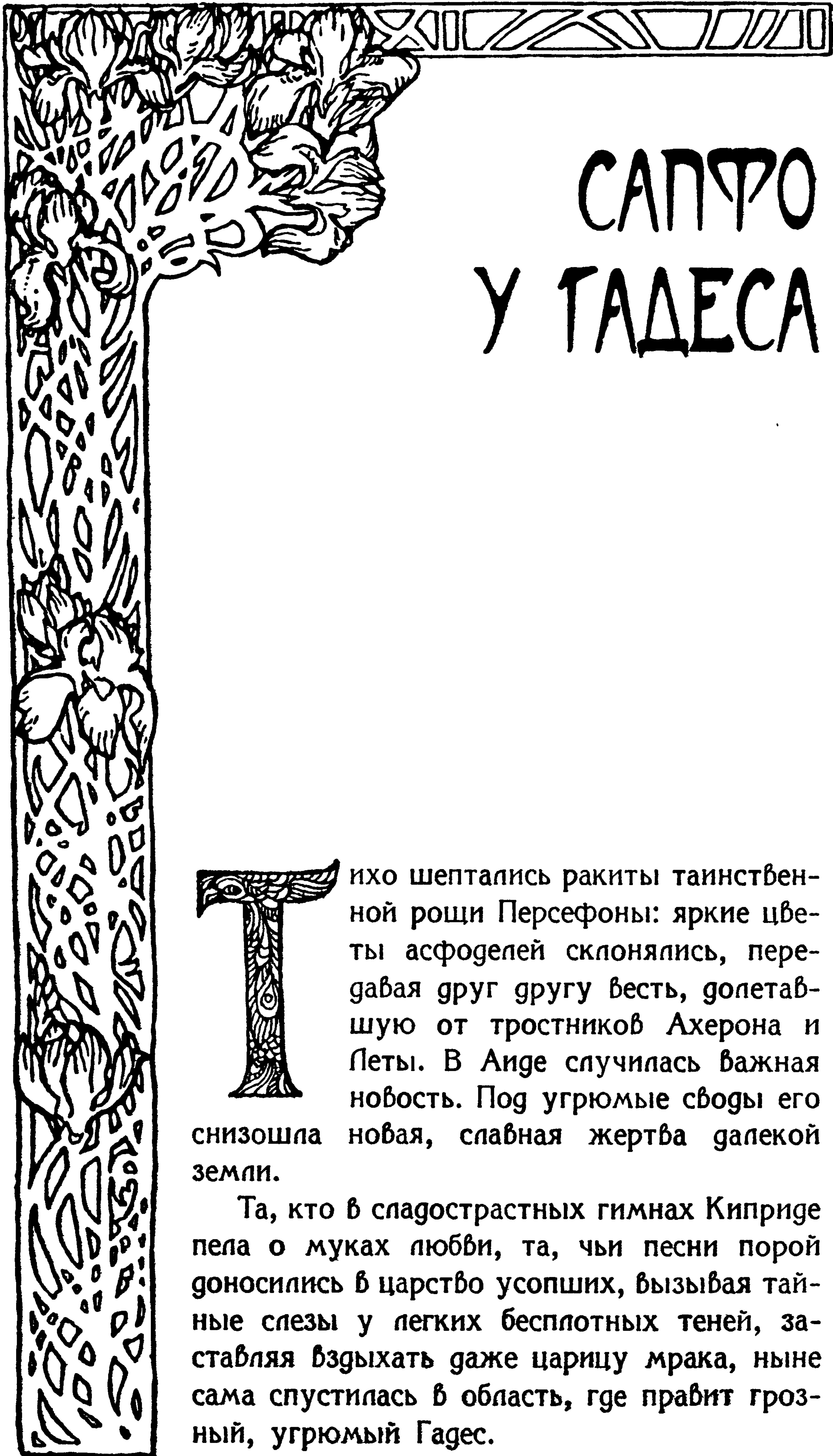
Правда, на горизонте росла черная туча, грозившая покрыть небо и заслонить кресты от ангелов. Она несла смерть одному из распятых и медленно подвигалась к Иерусалиму... Там шли наши легионы, которые в своем отчаянии готовы были на все... Хотя все они чувствовали, что дело проиграно.

Да, мы были побеждены... Побеждены смертью Того, Кто называл Себя Человеческим Сыном! Он отнял у нас добычу, накопленную тысячами, и увел ее с Собой.



Избранник наш, жертва которого не принесла никаких результатов, тщетно хотел отомстить тому, кто, по его словам, испортил все его планы... Но кто был этот загадочный человек? Да и человек ли это был? Души его мы так и не видели. По-видимому, он заключил какое-то соглашение с Избранником и нарушил его.

Если это человек, то, во всяком случае, он единственный из людей, признавший Бога в Распятом на кресте, осмеянном и униженном преступнике.



САПРО У ТАДЕСА

Тихо шептались ракиты таинственной рощи Персефоны: яркие цветы асфоделей склонялись, передавая друг другу весть, долетающую от тростников Ахерона и Леты. В Аиде случилась важная новость. Под угрюмые своды его снизошла новая, славная жертва далекой земли.

Та, кто в сладострастных гимнах Киприде пела о муках любви, та, чьи песни порой доносились в царство усопших, вызывая тайные слезы у легких бесплотных теней, заставляя вздыхать даже царицу мрака, ныне сама спустилась в область, где правит грозный, угрюмый Гадес.

И Афродита не заступилась за поэтессу, которая выше блистающих звезд прославила звонкой песнью имя Рожденной Из Пены, за ту, чьи стройные гимны неслись от скал Митилены далеко, далеко, до стран эфиопов, индийцев и персов!.. Много веков пролетит над покрытой зеленью тканью, многогрудой Геей, много храмов падет, много воздвигнется новых, а смертные все еще будут, слушая звонкие строфы, с тихим восторгом шептать славное имя Сапфо...

— Пойдемте смотреть, — звали друг друга бледные тени, — как будут судить ее душу. Нам говорили, что мрачный Гадес полон бессмертного гнева и, нахмуренный, ждет поэтессу.

И вот Сапфо предстала на суг.

Неподвижно стояла перед троном, где восседал, рядом с бессмертной женой, побелитель Тартара, ее стройная легкая тень.

Лицо поэтессы было печально и строго, сдвинуты темные брови, сомкнуты некогда яркие, знойные неуголимые губы. Из-под развитой косы виднелась веточка лавра... И лишь бесплотные очи мерцали, как черные звезды...

— Мы давно ждем твою преступную душу, — начал Гадес, — давно приходили к нам вести о твоих безбожных делах. Ты чтит одну Афродиту, забыв остальных олимпийцев. Ты позволяла себе то, чего даже боги боятся... Дерзость твоя была беспредельна. Песни твои разрушали счастье супругов; многих они лишили покоя и многим наполнили сердце жгучей болью отравы... Кто, как не ты, покидал семейный очаг, чтобы целую ночь проводить вместо объятий мужа в шумном сонме юных девиц, где рифмовались пляски и ласки? Кто, сидя у колыбели дочери, слагал песни любви, ты сама знаешь кому?.. Оскорблялась даже Киприда. Сам Аполлон Музагет был изумлен и разгневан, когда ты горделиво отвергла искания его любимца, Алкея, добро бы ради верности мужу!.. Нет, слишком много грехов у тебя, чтобы их перечислить!.. Можешь ли ты сказать что-нибудь в свое оправдание?

И так отвечала ему поэтесса:

— Случилось то, что должно было свершиться. И разве уж так поступки мои нечестивы? Кто, как не боги, вложили мне в душу пылкие страсти, равных которым нет на земле, омываемой синими волнами? И разве они помогли мне хоть раз с высоты своих тронов, слыша, как стонет, жалясь горько, моя эолийская лира?

— Неужели ты только стонала, пока жила на земле? К нам долетали слухи, что ты проводила время как на Лесбосе, так и в изгнание порой не без веселья.

— Ах, если бы это веселье всегда могло заглушить тоску одинокой души, могло утолить безумную жажду полного счастья!

— Ты ли была одинока! Вспомни, Сапфо, своего супруга Керкилла...

— Разве может дать счастье супруг! — И Сапфо улыбнулась, глядя на Персефону.

Та продолжала сидеть неподвижно: ни одна черта не шевельнулась на лице царицы, но повелитель Аида вдруг рассердился.

— Вместо мольбы о прощеньи, вместо раскаянья, ты позволяешь себе нечестивые мысли! Горе, горе тебе! Клянусь истоками Стикса, я караю тебя страшной казнью!

И бессмертный гневно ударил жезлом о ступени черного трона.

Тихо, но внятно, вновь начала говорить тень великой Сапфо:

— Как ты наивен, сын лучезарного Крона! Сидя все время в потемках, царя среди мертвых теней и чудовищ, ты помрачил свой когда-то ясный рассудок. Стыдись! Неужели ты мнишь, что здешние жалкие пытки будут мучительней тех, что я ношу в своем сердце? На какие же муки можешь меня ты обречь? Носить заодно с Данаидами воду в дырявую бочку, ворочать во тьме жернова, подобно Иксиону гореть в неугасимом огне?.. Но что значит огонь твой в сравнении с тем ненасытным пламенем, который жег мою душу! Бесконечный труд Данаид...

— Успокойся, ты не пойдешь к Данаидам, — перебил поэтессу Гадес, которому быстро нашептала что-то на ухо дочь златотронной Деметры.

— Камни Сизифа — игрушка в сравнении с теми, что я носила на сердце... Жажда Тантала... Ах, я привыкла уже к этой жажде от юных лет, и утолить ее не могли даже волны под левкадским утесом. Что же останется у тебя в запасе? Терзающие внутренность коршуны и адские звери?.. Но, ах, свирепее гиен, безжалостней тигров страсть, которая меня пожирала, и когти ее острее, чем у орлов, рвавших когда-то печень Титана, страсть — необдуманная гад или коварная месть Афродиты! Я смеюсь над тобой, мнящий себя всемогущим, владыка ада, и муки твои мне не страшны!

Недовольная непочтительным видом и гордой осанкой тени, Персефона, склоняясь к супругу, снова что-то шепнула ему, и злая улыбка скривила тонкие губы царицы.


Тихая радость затеплилась в темных глубоких очах адской богини.

— Ты забываешь про иные позорные казни, — медленно начал Гадес. — Что скажешь ты, если я выдам тебя за старца Харона или отдам на поругание Церберу?

— Бедный Харон, несчастный Цербер! Мне жаль их обоих. После всех унижений, после позора обидной молвы, отринутых просьб, после измен, испытанных мной на земле, мне не страшны уже ласки адских чудовищ... Веди их сюда, но знай, что оба они скоро исчезнут из области мрака, ибо скорбь моя и пламя в груди моей — ненасытно.

— Мне жаль Цербера: он верно мне служит. Не могу я лишиться и Харона: этот старик неразрывно связан с Аидом... Что же мне делать с тобой?.. — произнес в негоумении царь подземного мира.

— О Властелин, — вновь зашептала тогда Персефона, — отошли ее в жилище блаженных! Там, где на зеленых лугах резвятся чистые души, пусть вечно сидит она, полная горя, и с завистью смотрит на чужую ей радость блаженных теней. Вот наказание, достойное бога и повелителя этого края!



Гадес задумался. Но вот он поднял свою черную посеребренную сединами голову и произнес:

— Мысли женщин всегда слишком поспешны. А куда же денутся те блаженные тени, взоры которых будут омрачены ее видом? Нет, не надо ей нового наказания! Преступница молвила правду: самую лютую казнь она носит в самой себе... Иди куда хочешь. Я не могу наказать тебя!

— И это царь мрака! Где власть твоя, Властелин подземного мира, о Гадес?!. Я смеюсь над тобой! Ха-ха-ха!..

И безумный смех прокатился под сводами Тартара. Дико звучал он в царстве мертвых, мало-помалу переходя в истерическое рыдание. Бледные тени содрогались от ужаса. Гадес наморщил чело и погрузился в глубокую думу...

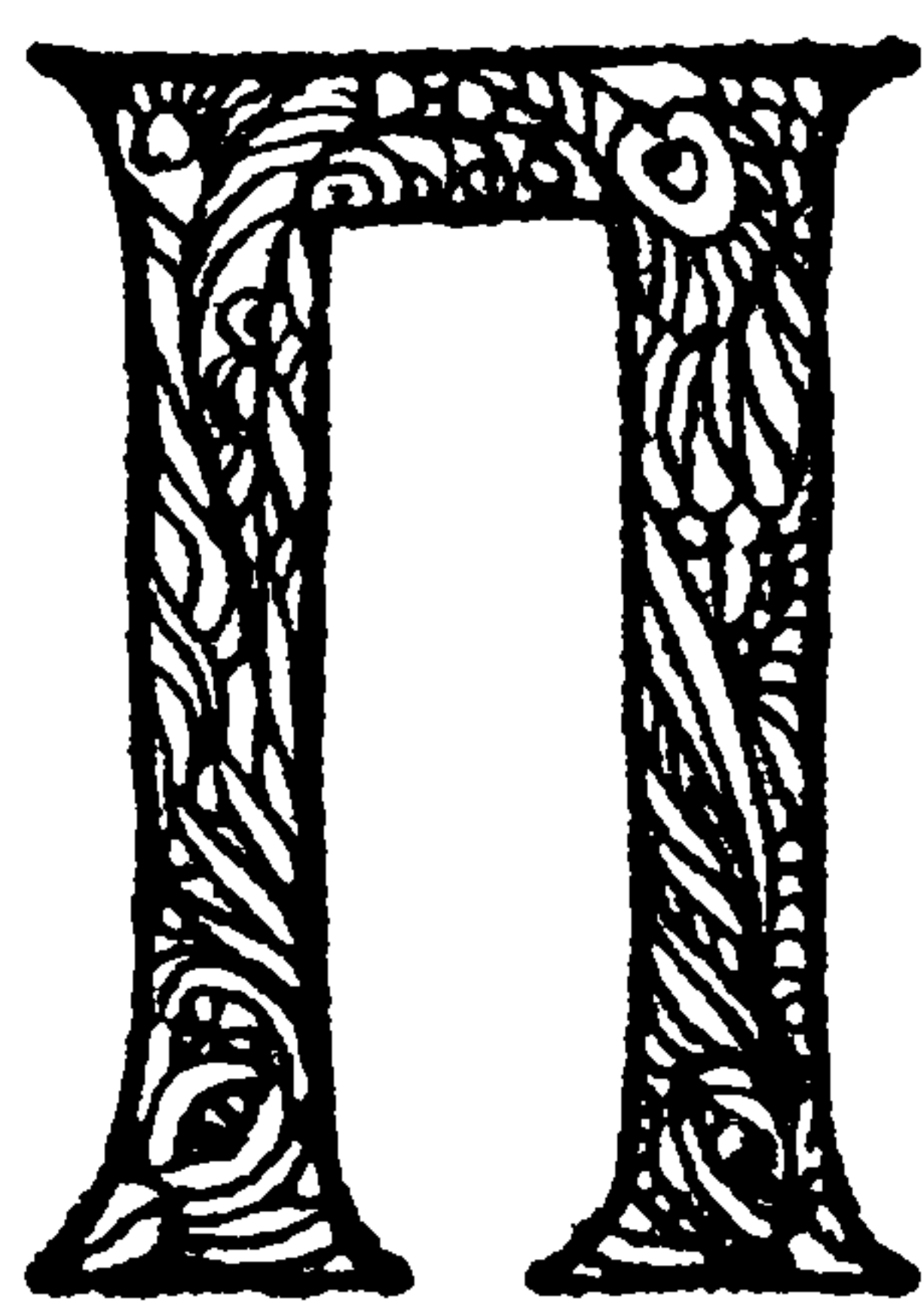
Издалека, как бы в ответ, донесся другой звук, не менее ужасный, протяжный и наводящий тоску.

Это был Цербер...





АФРОДИТА ЗАСТУПНИЦА



Привет тебе, Победительнице!
Привет укротившей бурю по-
топа!

— Откуда ты знаешь это,
пришелец? Как могло стать из-
вестным тебе скрытое от жрецов
Кипра и Пафоса?

Так говорила, озарив своим появлением
темную глубину храма, с ясной улыбкой Аф-
родита. Золотистое сияние осветило распис-
ные толстые колонны с причудливыми раз-
ноцветными фигурами.

Прислонившись к одной из них, стоял
приветствовавший богиню, издалека пришед-
ший певец. Он нарочно остался на ночь в
храме, зная, что Афродита является искрен-
но верующим поклонникам. Чужестранец

стоял, весь бледный от восторга, и слушал, а рожденная из крови и пены продолжала:

— Там, за пределами любимой богами земли, где над темными меланхленами, лающими кенокефалами и ярко раскрашенными злыми андрофагами царят иные страшные и незнакомые нам божества, разве известна моя улыбка? Разве чтут меня за каменными гранями Кавказа?

— Богиня, великая богиня! Ты сказала истину. Улыбка твоя не царит на снежных скифских равнинах. Ясные взоры твоих очей не заставляют на топких болотах сжиматься сердца не умеющих смеяться дикарей; но нигде так не тоскуют, так не томятся без Тебя, как там. Души людей тех, если можно назвать их людьми, отданы во власть мрачных и безобразных богов. Трепеща от страха, полные тупой покорности, поклоняются они своим жестоким властителям... И лишь море, старое сегое море, на короткий срок свободное от льдин, да холодные яркие звезды шепчут этим дикарям свои святые откровения...

— Смертный, как ты попал сюда? — холодно спросила богиня.— Как ты нашел дорогу к моему многоколонному храму?

— В утлой лагье, между белых скал изо льда, плыл я однажды, забыв про охоту на тюленей. Паскаясь к непрочному судну, колыхали его темные волны. Я не греб и не правил. Неведомое течение с могучей силой захватило и несло мой челнок... И долго, долго влекло меня между нависнувших скал, острых льдин и гигантских плавающих островов.

Я выносил, но меня стал мучить голод, и не было сил у меня направить обратно лагью. Я растянулся на днище и, глядя на бледное небо, мало-помалу утратил сознание. Похотливая смерть положила уже мне на чело свою холодную руку.

Очнулся я в ледяном зеленоватом гроте, где седая старая женщина привела меня в чувство и дала мне вяленой рыбы с горячей тюленьей кровью. У нее прожил я суровую зиму, и она рассказала мне про великих богинь и богов, живущих

на радостном юге. В томительно долгую зимнюю ночь она говорила мне, что когда-то знала всех олимпийцев, что когда-то жила вместе с ними, но волей старого рока должна была покинуть полную радости землю и удалиться в изгнание, в область сегого океана, в страну ледяных пещер и снежных полей.

Она-то, старая поседевшая nereida, и рассказала мне многое, чего не ведают Твои жрецы.

Немало времени прожил я, слушая ее рассказы, пока наконец, воспламененный ими, не отправился при блеске алой весенней зари отыскивать Тебя, насладиться улыбкой Твоей, ясная, радостная Афродита! И судьба послала мне счастье!.. Добравшись до твердой земли, долго я шел по песам и болотам, пока не встретил людей, несущих гиперборейские жертвы на далекий алтарь Аполлона. Я присоединился к их каравану. Вскоре мы сели на суда, могучие реки понесли нас на своих мощных волнистых хребтах.

Я плыл, а душа моя трепетала от радости, стройные гимны слагались в моей голове.

Афродита улыбнулась чужестранцу.

В избытке счастья, с сердцем полным восторга, он упал на колени и, простирая к богине свою жалкую, из черепа северного оленя сделанную лиру, воскликнул:

— Клянусь, что прослаблю имя Твое, о Пресвятая!

Богине надоели славословия; но желание услышать хвалу из уст северного варвара и женская жажда нового превозмогли.

— Спой что-нибудь про меня, о пришелец! — привычно ласковым тоном произнесла Афродита.

Не вставая с коленей, прижал к левому боку певец свою неуклюжую лиру и, склонив голову, на мгновение замолк.

Тихо загудели свитые из оленьих жил певучие, жалобные струны.

Немного спустя за ними последовали робкие, нараспев произнесенные фразы.

“Светлых великих богов забыли нечестивые люди. При звуках священных имен не трепетали безбожные сердца. Исчезли с земли благочестие и правда. В небесную высь не подымались благовония жертв”.

“И черным тучам дал знак. Как стая чудовищ в безбрежном море, ринулись они на покатое небо и затмили светлые звезды. Глухо зарокотал гром — вестник божественного гнева. Обильными потоками пролился на землю грозный, неукротимый дождь”.

“С горящими факелами в руках, на вершинах гор заплясали, кривляясь, демоны бури. Вырывая с корнем губы, летали над землей, покинув пещеры свои неистовые, забывающие ветры. Боги-разрушители шли по горам и равнинам, затопляя поля, разрушая храмы”.

“И густая тьма стояла над землей. Брат не видел брата, и матери не находили детей. И гибли в ребущих волнах и те и другие... В голосе бури слышались вопли погибающих зверей”.

“Белой пеной покрылись недоступные вершины. Как ничтожные щенки, мелькали в крутящихся волнах немногочисленные захлестываемые корабли”...


“Боги оставили землю и удалились в небесные сферы. Полные страха перед гневом Всесильного Рока сидели они на престолах, опасаясь за собственную участь. Сидели и дрожали от ужаса”.

“И одна лишь ты покинула землю!”

“Чьи рыдания слышатся над волнами? Кто плачет над волнами? Кто плачет над бурей бездны? Кто вопит, как страдающая роженица? — То она умоляет Всесильного.— Афродита ходатайствует за людей”.

“И внял Ее мольбе Всемогущий. И склонился к повергшейся перед Ним. Склонился Он, Непреклонный, в одеянии из туч. Он, Повелитель вечности!..”

“И прекратились раскаты грома. Перестал идти дождь. Утихли буйные ветры: рассеялись, как предутренний туман, черные демоны бури. В сердце спасшихся на кораблях затеплилась робкая надежда. Вода постоянно убывала...”



“Божественное светило снова засверкало на чистом небе”.

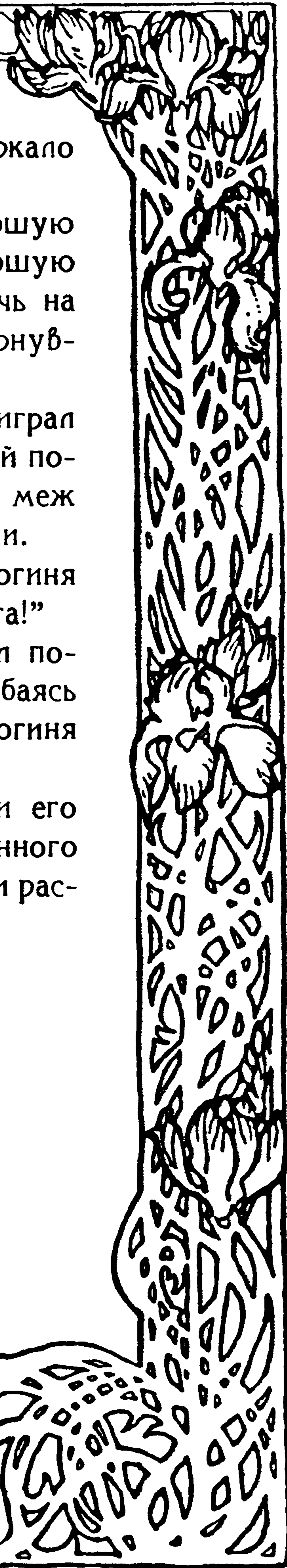

“Лучи его озарили Тебя, смягчившую сердце Непреклонного, Тебя, прекратившую потоп... Утомленная, Ты лежала навзничь на спасенной Тобой земле и улыбалась вернувшемуся Солнцу”.

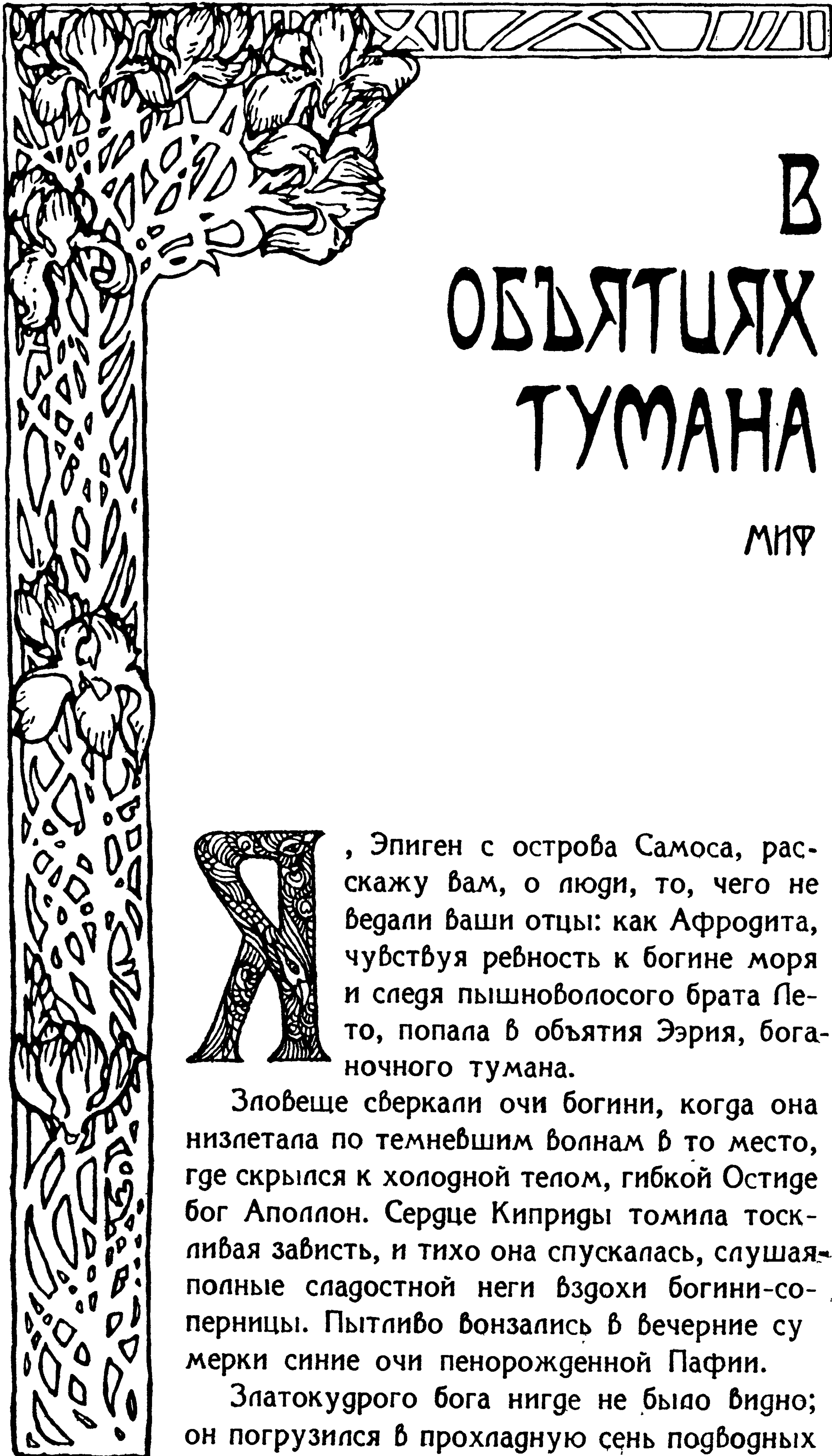
“Полный таинственных чар, ярко играл под лучами его Твой дивный семицветный пояс. С завистью глядели на него, шепчась меж собой, возвращавшиеся на землю богини.

— Прими же благословление мое, богиня богинь, вечно торжествующая Афродита!”

Певец кончил. В воздухе слабо гудел последний аккорд его лиры. Загадочно улыбаясь своему восторженному поклоннику, богиня сделала шаг по направлению к нему...

Утром служительницы храма нашли его мертвым недалеко от серебряного чеканного светильника, ножки которого изображали рассерженных гиперборейских грифов.





В ОБЪЯТИЯХ ТУМАНА

МИФ

А, Эпиген с острова Самоса, расскажу вам, о люди, то, чего не ведали ваши отцы: как Афродита, чувствуя ревность к богине моря и следя пышноволосого брата Пето, попала в объятия Ээрия, бога-ночного тумана.

Зловеще сверкали очи богини, когда она низлетала по темневшим волнам в то место, где скрылся к холодной телом, гибкой Остиде бог Аполлон. Сердце Киприды томила тоскливая зависть, и тихо она спускалась, слушая-полные сладостной неги вздохи богини-соперницы. Пытливо вонзались в вечерние сумерки синие очи пенорожденной Пафии.

Златокудрого бога нигде не было видно; он погрузился в прохладную сень подводных

пещер и там, забыв о небесах и земле, отдавался ласкам капризной океаниды.

Кругом было тихо. Серая мгла надвигалась на бледное небо. Шипели и бились о скалы немолчные волны.

— Я одиночка,— шептала дочь крови и пены.— Я, дающая негу всепоглощающей страсти богам, животным и людям!.. Весь мир полон моим блаженным дыханием, а я, дарящая миру любовь, сама ее не имею!

И грустно стояла богиня над морем у скал объята безрадостным сном пустынной Троады.

“Здесь когда-то любил меня кроткий гарганец Анхиз. Ему подарила я сына, который потом основал могучее царство взамен разрушенной Трои!.. Да, этого города больше нет, как нет и народов, чтивших мое всепобедное имя! Не курится более мне фимиама среди цветных колоннад моих некогда славных святилищ. Не проливают мне юноши пурпурно-теплой крови златорогих, белых телиц, и не слышно в честь мою прежних звонких и радостных гимнов. Люди, живущие в этой стране, забыли о прежних светлых богах, и некому больше дать мне радость взаимной любви!”

В то время сын Мрака и изменившей когда-то богу морей Амфитриты, Ээрий, в дымке ночного тумана выполз из своей прибрежной пещеры и окунулся в родную стихию.

От отца унаследовал он змеевидные ноги и от божественной матери синеватый отлив темного тела.

Полный неясных желаний, подплыл он к одной прибрежной скале, взобрался на острый утес и сел там во тьме, обвив, как змея, своими ногами выступы скользкого камня.

Вот он увидел богиню, чтимую некогда на берегах Кипра и Пафоса. Высунув глинный, двойной темный язык, облизал он им свои бескровные губы, и дремавшие в полых пещерах морских берегов наяды услышали тонкий, похожий на пение свист.

Там не было слов, было одно лишь томление, одно желание обвить своим телом всю землю и так замереть...

Надвигалась ночь. Богиня мрака и сна простерла над берегами и морем свои покрытые звездами черные крылья.

Вдали пели сирены.

— Кто из богов даст миру покой и забвенье? Кто дарует прощение павшим титанам? Кто, положив лагерь на грудь Океана, скажет ему: полно, Старик, ты утомился вечно вздыхать; отдохни!.. Кто, Мощный, при виде тоски, объявшей Мать Гею, тихо скажет ей сладное слово: усни!

Афродита внимала сиренам с прибрежной черной скалы, и стройные ноги сидящей богини ласкала зеленая белая пена.

Эти ноги пленили Ээрия.

Сын Мрака, змеей проплыв между утесами, беззвучно приблизился к Пафии.

Собрав все силы, мгновенно обвился он вокруг камня, где сидела пенорожденная, и сжал своими могучими кольцами белые ноги богини.

Афродита оказалась в плену.

Темный и властный, не разжимая тесных объятий, сел сын Мрака рядом с пойманной им гневной Кипридой.

— Кто ты, дерзнувший обвить своим гнусным мокрым хвостом мои прекрасные ноги? — спросила владычица Пафоса.

— Тот, кто немного спустя обовьет тебя и руками, богиня, — подавляя волнение, ответил Ээрий.

Прикосновение к телу бессмертной пробудило сильную дрожь в его собственных членах.

— Как звали ту ламию или иную дочь грязного Тартара, которой богиня судьбы послала такого прекрасного сына?

— Мою мать зовут Амфитритой, богиня...

— Уйди же, презренный, обратно в морские пучины и там ласкай невозбранно какую-нибудь самку тюленя, но не смей посягать на волю бессмертных богинь!

— Что такое воля богинь!.. Да и некогда мне спорить с тобой! Ананке и Рок даровали мне на сегодня твое пышное тело! Повинуйся же мне, ибо я послан судьбой!

Сын Мрака обвил своими сильными кольцами божественный стан, белую твердую грудь и гибкие руки богини



Киприды. Та пыталась бороться, не безуспешно. Гибкий Ээрий успел уже приложить к ее горячим устам свои холодные влажные губы.

Беспомощная, была она распростерта на вершине утеса, стараясь не видеть змееподобного лика бога тумана... Внезапно очи богини блеснули надеждой... Сверкая мягким серебряным светом, по темному небу как бы плыла колесница сестры Аполлона.

Артемидга придержала коней и с презрением глядела на стыд нелюбимой ею богини.

Взор божественной девы был устремлен на темный кончик хвоста бога тумана, игриво бивший по бедрам бесильной Киприды.

— Помоги мне, дочь тихой Латоны,— простонала богиня любви,— чудовище хочет насильно добиться моих поцелуев!

Не говоря ни слова, взяла Артемидга полное блеска копье и верной рукой метнула его в тело Ээрия... На усталые белые члены пленной богини из пробитых острым железом колец брызнула темная влага. Объятия бога тумана сразу разжались.

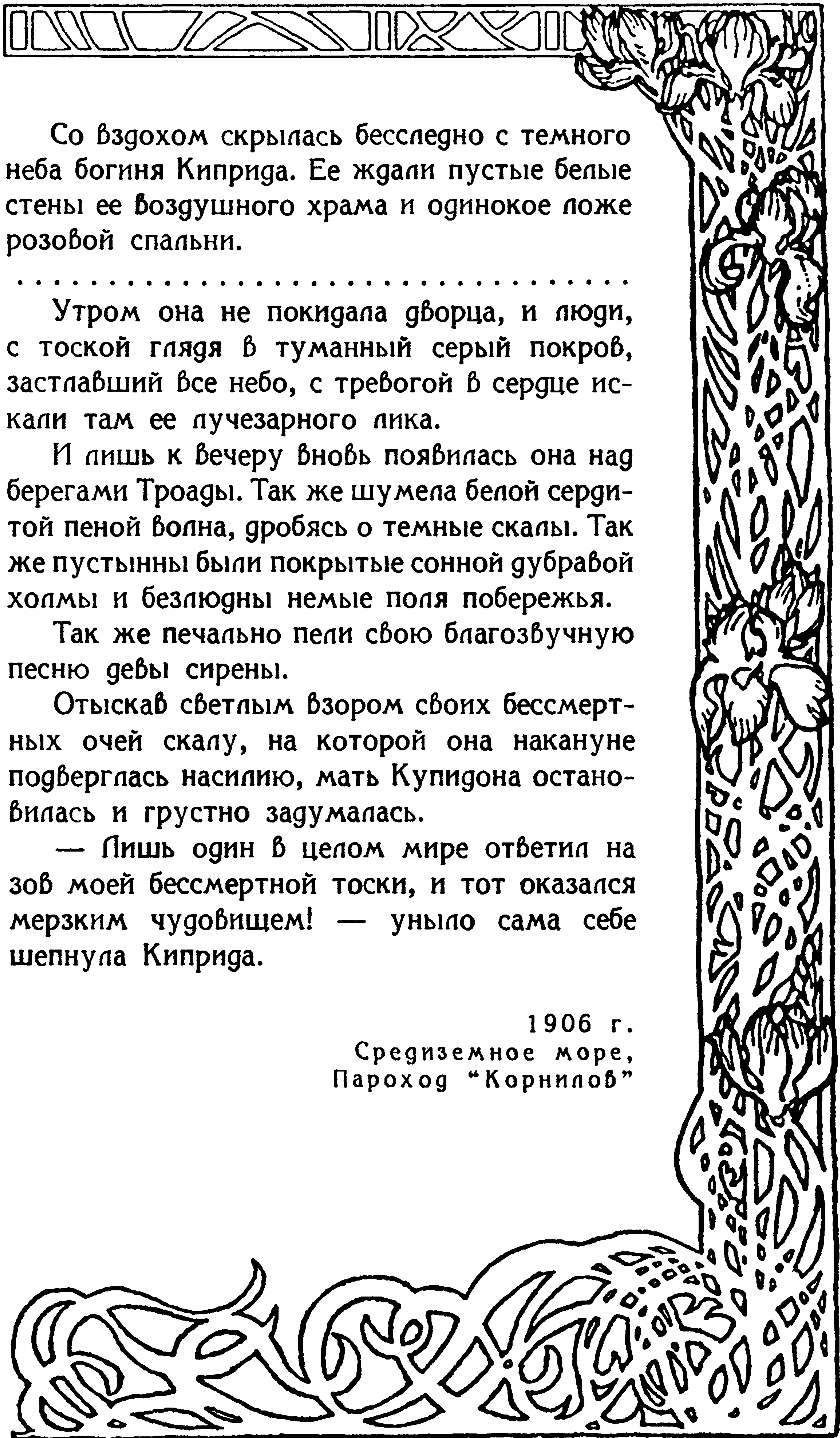
С шипом, страдая от боли, метнулся сын Мрака с утеса в соленые волны и скрылся бесследно среди прибрежных камней и пещер.

Дочь крови и пены с трудом поднялась на стройные ноги и послала рукой своей поцелуй дочери Лето.

— Благодарю тебя, темноволосая дочь Громовержца, рука твоя так же тверда, как в те дни, когда мы вместе разили гигантов. Скажи, не могу ли я оплатить тебе за услугу?

Но не промолвив ни слова и лишь кивнув в ответ головой, Артемидга, гордая новой славой, погнала вперед своих быстроногих черных коней. Светло сияла ее колесница. Легко вертелись тонкие спицы серебряно-светлых колес, и вскоре клубистое, белое облако скрыло собой богиню.

Афродита вновь оказалась одна. Волны кругом глухо шипели и с шумом бились о камни. Оставаться дольше у суровых пустых берегов было небезопасно и скучно.



Со вздохом скрылась бесследно с темного неба богиня Киприда. Ее ждали пустые белые стены ее воздушного храма и одинокое ложе розовой спальни.

.....

Утром она не покидала дворца, и люди, с тоской глядя в туманный серый покров, застлавший все небо, с тревогой в сердце искали там ее лучезарного лика.

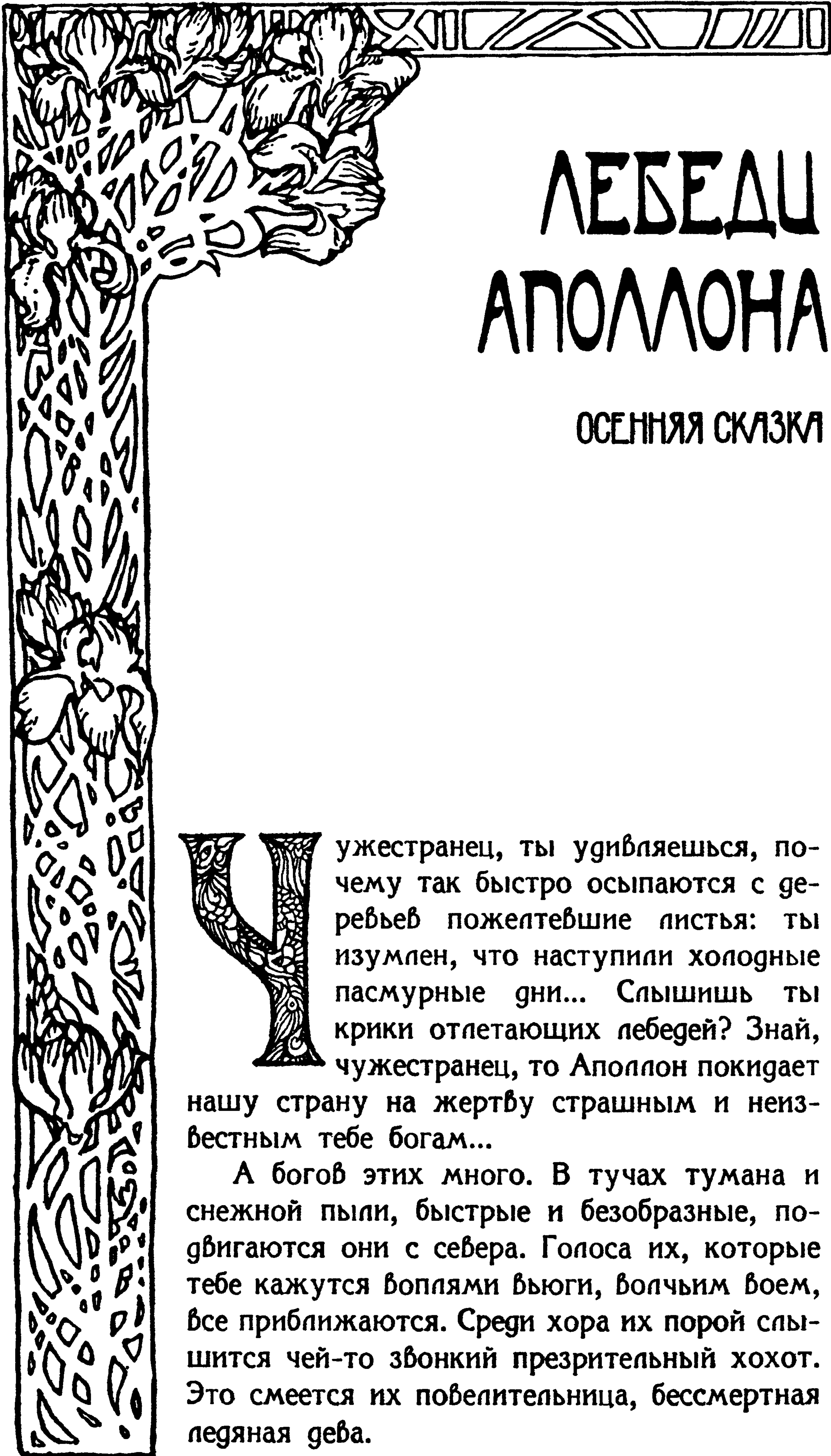
И лишь к вечеру вновь появилась она на берегами Трояды. Так же шумела белой сердитой пеной волна, дробясь о темные скалы. Так же пустынно были покрытые сонной дубравой холмы и безлюдны немые поля побережья.

Так же печально пели свою благозвучную песню девы сирены.

Отыскав светлым взором своих бессмертных очей скалу, на которой она накануне подверглась насилию, мать Купидона остановилась и грустно задумалась.

— Лишь один в целом мире ответил на зов моей бессмертной тоски, и тот оказался мерзким чудовищем! — уныло сама себе шепнула Киприда.

1906 г.
Средиземное море,
Пароход "Корнилов"



ЛЕБЕДИ АПОЛЛОНА

ОСЕННЯЯ СКАЗКА

Чужестранец, ты удивляешься, почему так быстро осыпаются с деревьев пожелтевшие листья: ты изумлен, что наступили холодные пасмурные дни... Слышишь ты крики отлетающих лебедей? Знай, чужестранец, то Аполлон покидает нашу страну на жертву страшным и неизвестным тебе богам...

А богов этих много. В тучах тумана и снежной пыли, быстрые и безобразные, подвигаются они с севера. Голоса их, которые тебе кажутся воплями вьюги, волчьим воем, все приближаются. Среди хора их порой слышится чей-то звонкий презрительный хохот. Это смеется их повелительница, бессмертная ледяная дева.

Хочешь, я расскажу тебе про нее?

Все, кто видел эту богиню, знают, как ослепительна ее красота. Богини Олимпа завидуют ее улыбке и пышным волосам.

Слава об ее обаятельной прелести на крыльях ветров долетела до южных морей. Ветры рассказывали волнам о вечно юной деве с загадочными очами, насмешливой улыбкой и холодным сердцем.

Дева эта живет далеко на севере, среди глыб льда и вечного снега, и лишь изредка появляется в стране гипербореев...

Она распространяет сияние, которое может поспорить с золотистыми лучами Феба. Но лучи богини так же холодны, как и ее сердце, а сердце красавицы неприступно, как страна, в которой она обитает.

Молва, распространяемая ветрами, достигла и до Феба.

Светлый бог находился на Делосе и испытывал странное состояние. Надоели ему пыльные оливы и вечные всплески спокойного синего моря. Наскучили ему объятия резвых пышнотелых нимф.

Сыну Патоны хотелось испытать новые ощущения. Он жаждал новых ласк, новой неизведанной любви...

И вот до ушей его долетела молва о новой, чуждой Олимпу богине. Северная Аврора стояла перед ним, как живая. Олимпиец уже воображал, как он покорит светоносную деву, как ее ледяное сердце растает под его горячими поцелуями...

Жажда любви охватила душу Стреловержца.

— Скорее отыскать ее! — промелькнуло в его голове.

И Аполлон велел запрягать свою колесницу...

Не золотистые кони повезли бога — белые лебеди помчали его над синим морем. Мимо Пафоса неслась его золотая колесница.

Скорбной улыбкой проводила его купающаяся в море Афродита.

Аполлон же летел, полный радостных надежд. Шафранного цвета хитон облегал его стройное тело.

В руках была звонкая лира. Торжественные звуки летели с ее очарованных струн.

Лебеди вторили им, испуская мелодичные крики.

Слыша их, люди поднимали головы и говорили:

— Смотрите, вот Аполлон летит на своих лебедях в сторону гипербореев.

А златокудрый бог все летел и летел в ту сторону, где царит вечная Ночь, которую сегой Океан сжимает своими ледяными объятиями.

На границе ее владений усталые лебеди описали несколько кругов и опустились.

Страна гипербореев была уже известна Аполлону. Он и раньше на короткий срок посещал эти необозримые леса, непроходимые топи и спокойные кристальные озера.

Теперь взор его отыскивал среди них юную богиню с холодным сердцем.

Но ее не было видно.

Хотя обаяние красавицы чувствовалось повсюду.

Казалось, все напоминало о ней: и безмолвные леса, и неприступные трясины, и холодные как лед воды спокойных озер.

И лучезарный бог без усталости отыскивал свою возлюбленную.

Ночи для него не существовали.

Они перестали существовать и для всей страны гипербореев, покинутой своенравной богиней.

На лоно своей матери, в ее неприступные владения, с загадочной улыбкой удалилась бессмертная дева от лучистого бога.

Она знала, что он не может последовать за ней.

Аполлон же готовился к встрече красавицы.

Зеленый бархат трав разостлал он по горам и равнинам. Угрюмые леса зашелестели благовонной одеждой. Как золотые свадебные блюда, заблестели под его лучами озера.

Но ледяная дева не приходила. И Аполлон стал отчаиваться и скучать. Не утешали его хоры птиц, певших в

его честь восторженные гимны. Песни кузнечиков стали надоедать ему, как на юге надоедали цикады.

И надежда бога стала гаснуть. Побледнело его светлое лицо. Ясное чело его затмили скорбные думы.

— Не может покорить богиню моя красота: моя лира не в состоянии пленить ее сердце. Не воротится ли мне на юг? В храмах Делоса отдохнул бы я от бессонных ночей. Мелодичные звуки систра под знойным небом Гелиополя развеселили бы мою душу. Так приятен мне аромат курений на дельфийских треножниках!..

— Нет! — решил Златокудрый, — погожду еще немного, быть может, она сжалится и придет!

В пурпур и золото он окрасил листву. Темно-красные кисти брусники щедрой рукой рассыпал по мягкому мху.

Но богиня не приходила...

Грустный в своем одиночестве, среди молчаливого леса, стоял Олимпиец.

Нетерпеливые крики лебедей вывели его из задумчивости.

С глубоким вздохом вступил Аполлон в свою колесницу.

Быстро помчали его белоснежные птицы, стремясь туда, где в зеленых камнях струится Эврот, где теплые волны Нила льнут к золотистому песку...

— Прощай, Феб! — шептали ему вслеп цветы и травы.

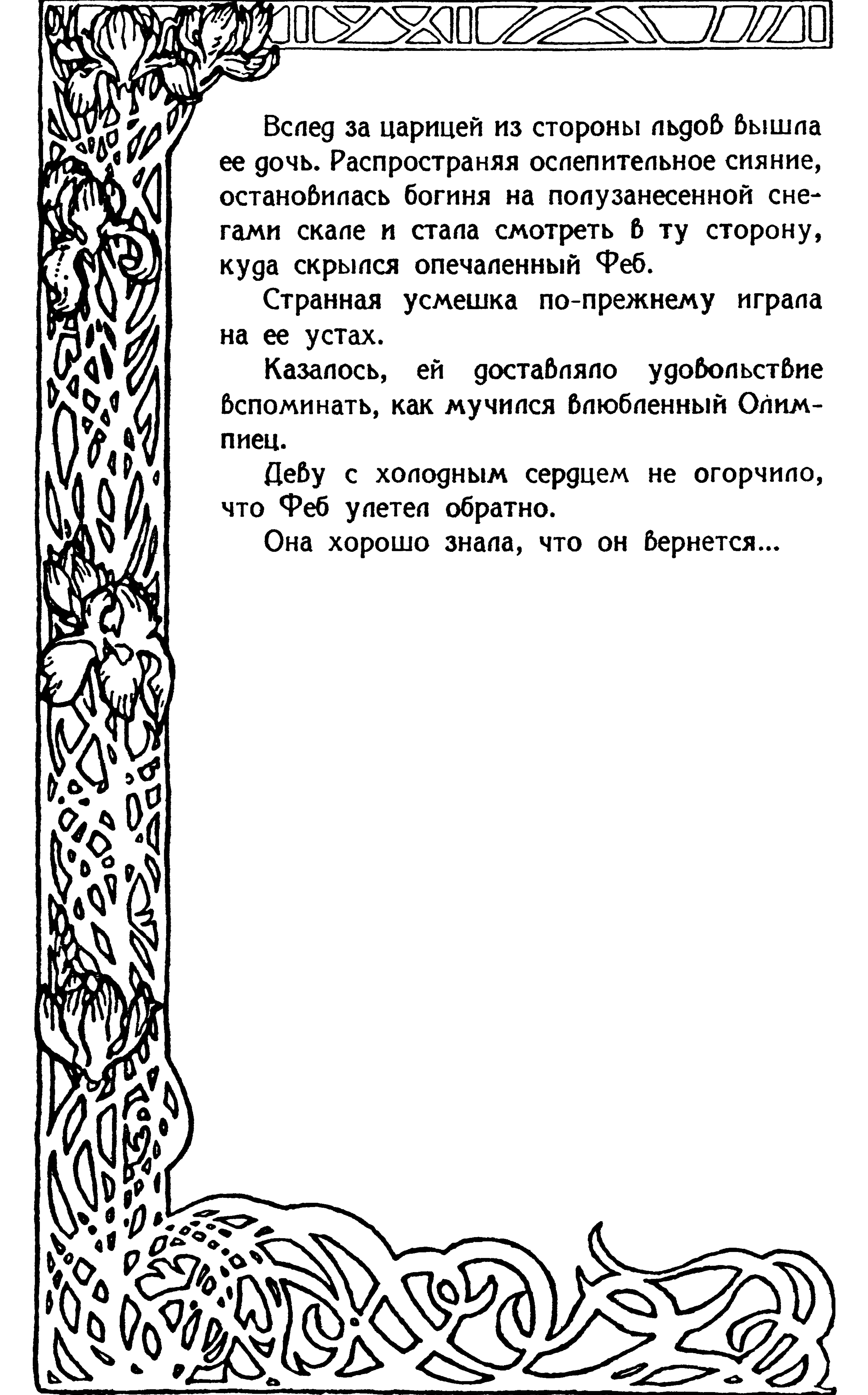
Они знали, что погибнут, когда он скроется.

Но Аполлон, не обращая на них внимания, летел в сторону Элладу. Радостным плеском встречали его синие теплые волны. Как розоватые жемчужины, блестели среди них смеющиеся nereиды...

А там, в стране гипербореев, было темно, холодно и белые снежинки сыпались все больше и больше. Северный ветер приносил их целыми сугробами.

Стянуло льдом реки, с которых давно улетели последние птицы. Люди кутались в звериные шкуры и прятались в расщелины скал. Хлопья белого снега висели на соснах и елках. Демоны вьюги перекликались на их вершинах...

Царица Ночь распростерлась над землей гипербореев.



Вслед за царицей из стороны льгов вышла ее дочь. Распространяя ослепительное сияние, остановилась богиня на полузанесенной снегами скале и стала смотреть в ту сторону, куда скрылся опечаленный Феб.

Странная усмешка по-прежнему играла на ее устах.

Казалось, ей доставляло удовольствие вспоминать, как мучился влюбленный Олимпиец.

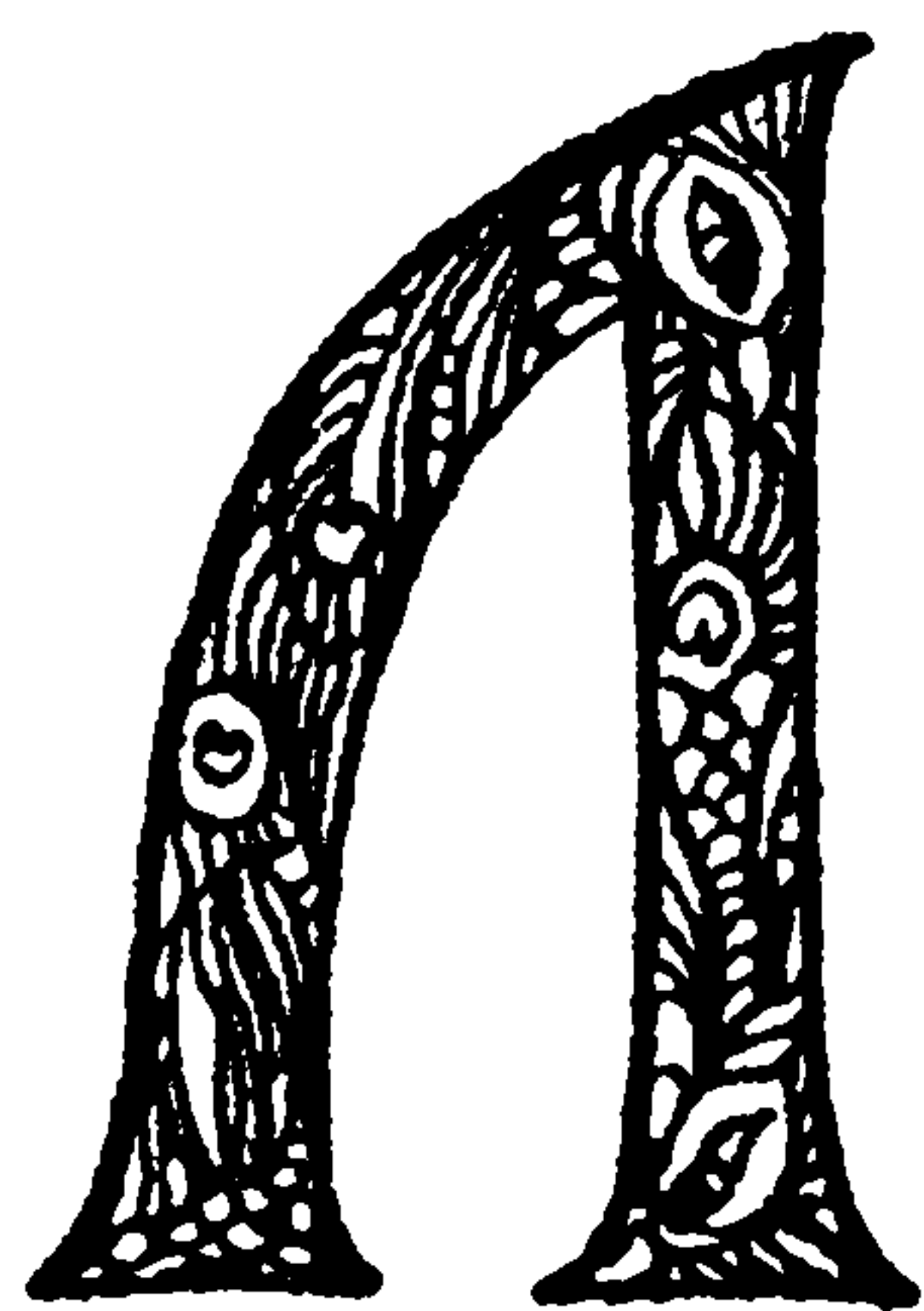
Деву с холодным сердцем не огорчило, что Феб улетел обратно.

Она хорошо знала, что он вернется...



ЧТО СЛУЧУЛОСЬ ПОТОМ

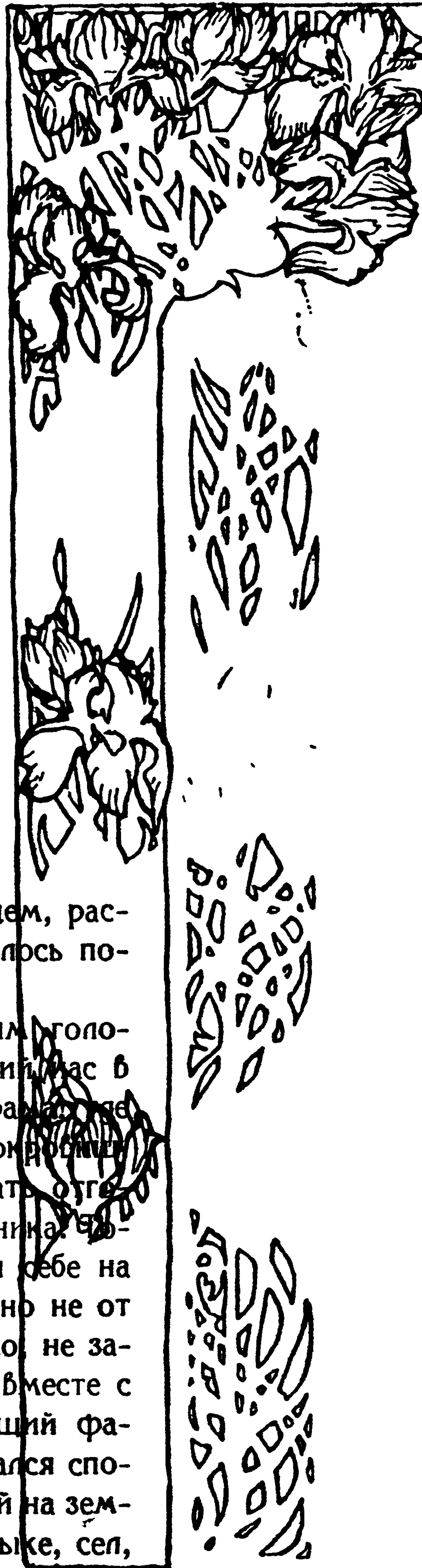
ИЗ СКАЗОК ДРЕВНЕГО ЕГИПТА



юги, ходящие под солнцем, расскажите мне, что случилось потом.

Так говорил жалобным голосом призрак, встретивший нас в закоулке подземного храма, где мы искали скрытых сокровищ.

Уронив кирку, я стал усердно жевать отгоняющий темные силы лист боярышника. Эбварищ мой с той же целью плевал себе на живот и громко читал заклинание, но не от злых привидений, а ото льва, видимо, не замечая с перепугу ошибки. Дрожал вместе с простертой рукой его ярко пылающий факел... Один лишь старый Харакс остался спокойным. Он поставил светильник свой на землю и, бормоча что-то на чужом языке, сел,



а пальцы его стали чертить какие-то знаки на покрытом гребней пылью полу.

— Ответь нам, несчастная душа,— произнес он отчетливым голосом,— кто ты и чего от нас хочешь?

В то же время левой рукой он сделал в воздухе быстрый и сложный, трудно передаваемый жест.

— Ты верно сказал, о живущий под солнцем! Я несчастен. У меня не только нет покоя и отдыха, но нет также ни тени, ни сердца, а где тело мое — это также мне не известно... Смертные, помогите мне отыскать мое тело!..

...Прекрасно и чисто было озеро. Бог Ра благосклонно отражал в нем свой довольством дышащий лик. Стада господина моего, топчя высокий тростник, утоляли в нем жажду. Белые гуси и огненно-красные цапли плодились там, как песок в южной пустыне. И с кривой дубинкой в руках я ходил для стола господина моего, чьи овцы, бараны и ягнята охранялись мной от злого порождения Сета...

...Зеленые тростники раздвинула она белой рукой и вышла стройная, в ожерельях и браслетах. Заплетенные в косы волосы ее синими змейками вились по нежным плечам. И концы их обделаны были в золото.

Белый цветок лотоса, как звезда, подымался надо лбом...

Задрожали члены мои, и волосы поднялись, как щетина на спине кабана. Так ослепителен был блеск Ее тела... Прекрасные узоры, татуированные на груди и щеках. Зорко глядел глаз посреди живота; и тихо то поднимались, то опускались вновь ожерелья и амулеты.

Склонясь перед Нею, замер я, как изваяния побежденных царей.

— Юный пастух, желаешь ты бороться со мной ради достойной награды? Если ты победишь, то тело мое будет твоим, если же будешь побежден, то я буду зверем твоего стада.

— Да будет так, госпожа! — ответили губы мои. А сам пошел вслеп за Ней.

И выйдя на берег, там, где было розовое место, мы стали бороться. Подобно божественной змее извивалась она

в руках у меня и давила тело мое, как монолиты царственных пирамид...

Когда я был побежден и белым коленом своим Она упиралась мне в грудь, а руки мои, бессильно раскинувшись, вцеплялись в траву, Она мне сказала:

— Когда земля озарится завтрашним светом, приходи, если хочешь, вновь испытать силу и счастье.

А Сама, став южной пантерой, напала на стаго и лучшего барана унесла в зеленые заросли.

Я же, грустный, пошел домой, раздвигая тростник и шагая по тине вслед за встревоженным скотом.

И много дней приходил я бороться с Ней. Много раз, полный надежд, сжимал тело Ее, чувствуя, как слабеют колени...

Стаго же господина, порученное мне, все уменьшалось.

Последнего ягненка наконец унесла она в камыши. Он блеял долго и жалобно, и сердце мое страдало в груди.

Ибо я вырастил его и носил на руках через каналы, чтобы не схватили его ненасытные пасти “тех, кто в воде”...

Растерзав добычу, Она вновь призвала меня прийти, когда новым светом озарена будет земля.

— Госпожа,— отвечал я,— баранов больше нет у меня, нет также овец и ягнят.


— Приходи ты сам,— прозвучал из тростников ответ Ее, сладостный, как музыка арф...

И наутро, когда рожденный в лотосе Ра озарял своими улыбками землю, одинокий и грустный переходил я вброд канал за каналом, посохом раздвигая тростник и бормоча по привычке заклятия от крокодилов.

— Пастух, я горю нетерпением бороться с тобой,— сказала Она, встретив меня, пылкая, как львиногрудая Сехт.

На зеленый остров Она привела меня, и там мы схватились. Я призывал на помощь богов, и руки мои сжимали стан ее, как обода дубовую бочку с заморским пьяным вином.

Упругое тело Ее прижималось к моему, и крепкие ноги были тверды, как белые колонны.



Словно скала, обрушилась она на меня и, обессиленного, повергла на землю.


И, став подобной львице пустыни, накиннулась на потерявшего мысли...

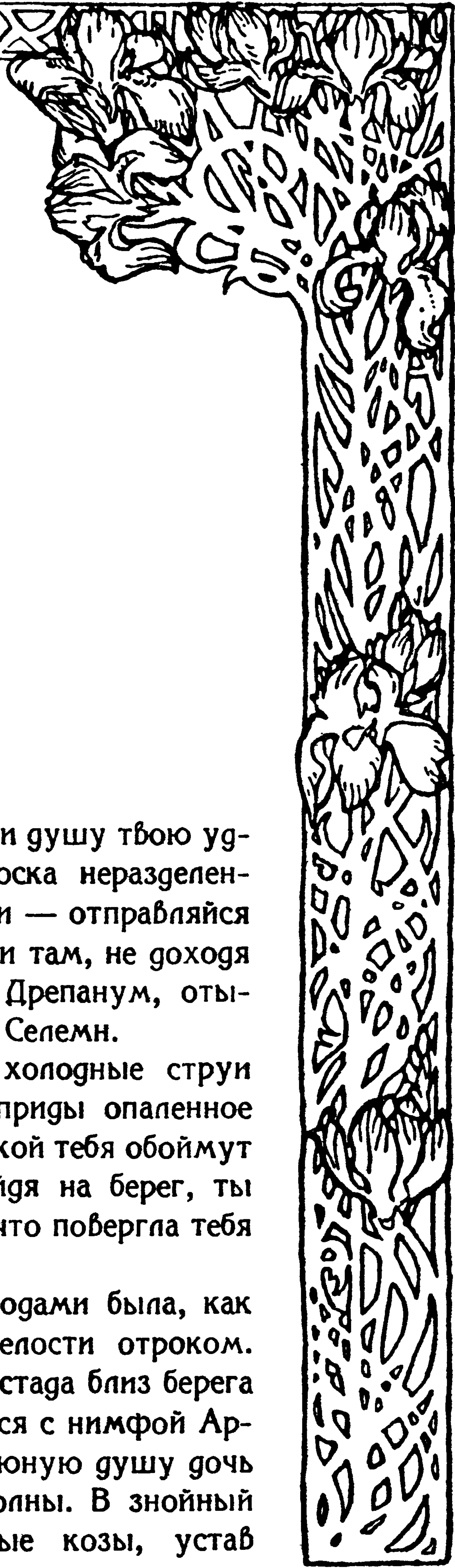

Дыхание ее было как пламя...

Люди, скажите мне, что случилось потом? Ибо существование мое было разбито.

А хайбет (тень) и тело мое исчезли от меня вместе с именем. И не знаю я, что было потом и как поступила со мной жестокая, победившая меня... Люди, скажите мне, что случилось со мной?!..

И Харакс, приказав развести мне из запасных факелов небольшой огонь, стал сыпать в него зерна лагана. Старческие губы его вновь зашептали властные заклинания. И вместе с клубами благовонного дыма растаял и унесся сквозь щель в потолке в синее небо так сильно смутивший дух наш горестный призрак.





СЛЕЗЫ СЕЛЕМНА

Ю

ноша, если душу твою удручает тоска неразделенной любви — отправляйся в Ахайю и там, не доходя до мыса Дрепанум, отыщи реку Селемн.

В ее холодные струи ты погрузи свое огнем Киприды опаленное тело. С нежной братской лаской тебя обоймут тихоструйные воды, и, выйдя на берег, ты навсегда позабудешь о той, что повергла тебя в томную муку...

Эта река с целебными водами была, как раньше и ты, полным веселости отроком. Невинный и чистый, пас он стада близ берега моря, когда впервые увиделся с нимфой Аргирой. Всецело пленила его юную душу дочь сине-зеленой прозрачной волны. В знойный полдень, когда темно-бурые козы, устав

шипать на прибрежных лугах жесткие травы, прячутся в тень раскаленной серой скалы, юный Селемн сажился между камней и вперял взор своих темных очей в широкий простор вечно шумящего моря.

Ждать ему приходилось недолго. Из теплых волн, шуршавших по морскому берегу, легко выбегала стройная, вся серебрясь, нимфа Аргира. С легким смехом она приближалась к Селемну и, взяв мальчика за уши, нежно пила поцелуй его малиновых уст.

И оторвавши на миг свой взор от ненасытных очей серебристо-прозрачной наяды, отрок был полон восторженной радости, видя, как трепет его нетерпения мало-помалу передается ей.

Разостлавши затем свой обчинный плащ под сенью ветвей олеандра, бронзово-смуглый Селемн тратил свои свежие силы, чтобы утолить ненасытную жажду объятий нимфы Аргире. Совсем утомленным покидала наяда любовника, с тихим смехом вновь убегала в родные сине-зеленые бездны. Быстро мелькали, вздымая светлые брызги, ее красивые белые ноги, пока не поглощало ее набежавшей пеной волной.

Ей отдавал отрок весь пыл своей первой любви. О ней он мечтал по ночам, когда по черно-синему небу двигались ярко горевшие знаки небесных зверей, а в прилегавших к селеньям горах были шакалы.

И легкие, отдых давящие сны плыли мимо жесткого ложа громко вздыхавшего отрока, ибо смущал их и гнал властный образ подобной богине Фетиде нимфы Аргире, всецело владевший его беспокойной мечтой.

— Перестань любить свою ненасытную нимфу! Она не жалеет тебя и ничего не дает тебе взамен за силы, что ты ради нее потерял. Брось, она погубит тебя! Люби лучше нас,— говорили отроку смуглые светлохитонные девы,— почему не приходишь ты по вечерам смотреть на наши пляски под звуки томной свирели?

Но ничего не отвечал им юный пастух, ибо грязным казался ему густой темный загар девичьих плеч и верхней части груди, а прикосновение рук их было так грубо, особенно после нежных объятий бледной Аргире.

И сам он преобразился от этой любви. Спал загар его стройного тела, исчез румянец с ввалившихся щек, и только глаза стали казаться еще темнее и больше...

Нимфа Аргира первое время не замечала, как исхудал ее возлюбленный отрок, но потом, когда он начал слабеть и не мог уже неумолимо, как прежде, отвечать на ее пылкие ласки, стала им недовольна.

— Мой милый, ты, верно, мало ешь или спишь, — сказала она, — ибо ты походишь теперь на призрака гребца с галеры, погибшей у скалы мыса Дрепанум. Лунной ночью выходят с песчаного дна утонувшие с ней матросы, и легкие тени их до утра колышутся там, среди сердитых бурунов... Словно у них, холодны стали твои руки и ноги.

И лишь вздыхал ей в ответ утомленный Селемн, а на его темных глазах сверкали бессильные слезы.

Слезы эти стали чаще, по мере того как реже к нему приходила в золотисто-знойные полдни нимфа Аргира. Ибо неверной дочери моря приглянулся в то время полный здоровья и сил крепкоплечий рыбак. Наяда нарочно сделала вид, что запуталась в сеть, и втянувший ее в свою лодку смелый пловец был награжден таким поцелуем, каких никогда не умела давать его земная невеста.

Покинутый нимфой, целые дни грустил скорбный пастух; долгие ночи, не ведая сна, проливал он тихие слезы.


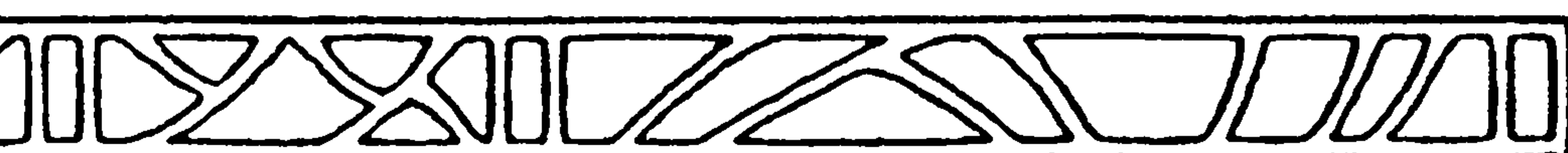
И от тех слез просветлели его, черные прежде, глаза... После одной из таких бессонных ночей, когда на побледневшем небе взошла звезда Афродиты, скорбный Селемн, простирая к ней руки, воскликнул:

— О, пенорожденная, если тебе не угодно вернуть мне радость ответной любви, то сжался и прекрати мои мучений полные дни!

И слезы ручьями текли по его впалым щекам...

Велика власть рожденной от крови Урана дочери неба! Всеми богами правит она, превращая их в игрушку своей женственной прихоти. Ей ли трудно было исполнить то, что она совершила?!

Ибо свершила она такое дело, какое у смертных людей считается чудом. Слезы Селемна стали бежать все быстрее



и быстрее. С лица падали они на каменистую почву и, извиваясь, журчали по ней тихими струйками. Сам же отрок делался легче, прозрачней и тоньше. Скоро он как бы растаял в предутреннем сумраке, а там, где он сидел, по камням струился уже в сторону моря светлый поток. Поток этот скоро слился с шумящим прибоем, как бы стараясь найти и обнять неверную нимфу Аргиру.

Но nereida ни разу с тех пор не приплывала к песчаному устью с шумом бегущей к морю новой реки.


И Селемн, как прежде, томился тоской: как прежде, слышались темной ночью протяжные вздохи под сенью нависших черных кустов, бывших когда-то кудрями смертным рожденного отрока.

И вновь пожалела его Богиня богинь, добрая сердцем Киприда.

С кроткой улыбкой она обратила к Селемну свои нежные взоры, и под взорами теми исчезла тоска влюбленной реки. Спокойно стали катиться прежде бурлившие волны, и этот покой передается в душу всем тем, кто погружается в их глубину...

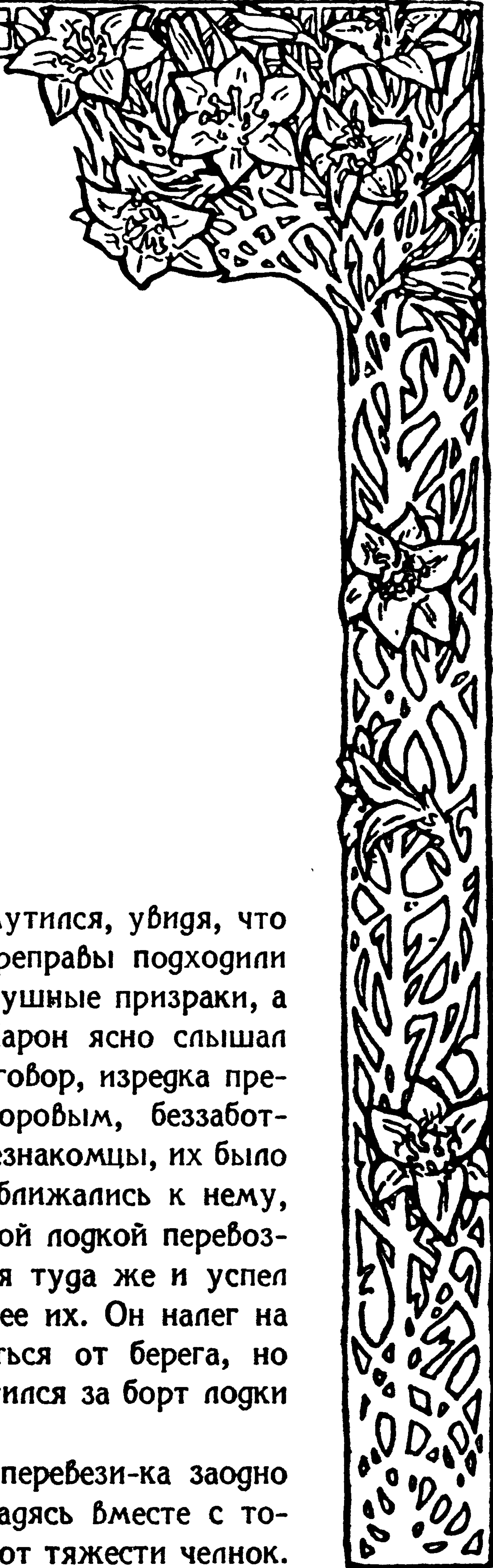
Велика благодать твоя, святая Киприда!

Юноша, если душу твою угручает тоска неразделенной любви — отправься в Ахайю и там погрузись в холодные струи Селемна.





ПЦРЦРОЎ



Старый Харон смутился, увидя, что к месту его переправы подходили не бледные воздушные призраки, а живые люди. Харон ясно слышал их громкий разговор, изредка прерывавшийся здоровым, беззаботным смехом. Незнакомцы, их было двое, скорым шагом приближались к нему, явно желая овладеть старой лодкой перевозчика душ. Харон бросился туда же и успел вскочить в свой челн ранее их. Он налег на весло и хотел оттолкнуться от берега, но один из пришельцев схватился за борт лодки и удержал ее.

— Постой, приятель, перебезика заодно и нас! — произнес он, садясь вместе с товарищем в закачавшийся от тяжести челнок.

Сын Эреба и Ночи не привык к такому обращению. Он повиновался до сих пор только одному Гадесу и знать не хотел всяких бродяг, которые без спросу лезут, куда их не велено пускать... “И чего им тут надо? Верно, они хотят познакомиться с ехидной о ста головах или напитать своей кровью тартезского угря? Что ж, пусть тогда идут! Но пусть они знают также, что Цербер никого не выпускает из-под сводов Тартара, а титразские горгоны...”

— Перестанешь ли ты ворчать, старый оборванец! Греби лучше, пока мы тебя самого не выкинули за борт, на съедение твоему угрю. И это так же верно, как я сын Эгея. Не правда ли, Пирифой?

При этом старший из пришельцев так погрозил Харону копьем, что тот заработал куда усерднее, чем в обыкновенное время, когда ему приходилось перевозить удрученные скорбью и страхом тени усопших. Он с силой пенил веслом свинцовые волны Ахеронова озера, и старая лодка его летела стрелой...

Оба пришельца были в коротких хитонах и в пурпурных царственных плащах. У старшего на голове была широкополая дорожная шляпа.

В руках у него было копье, у пояса нож в кожаных ножнах. На черных кудрях младшего лежал золотой обруч. Вооружение его состояло из бронзового меча, украшенного затейливым узором. Это был царь лапифов, Пирифой, сын Иксиона. Беспокойный дух его вечно жаждал приключений. Ныне он отправился в отчаянное предприятие. Как отец его покушался некогда на жен царя неба и земли, так и он стремился теперь обладать супругой Гадеса, повелителя Тартара. Много он слышал о бессмертной красоте дочери Деметры, похищенной в подземную область бога ада. Но увидя ее однажды на Элевзинских мистериях, сын Иксиона воспылал к богине самой пламенной любовью.

И в сопровождении афинского царя Тезея, своего верного друга, герой отправился в Тартар, не боясь никаких препятствий. “Трудно только начало. Трудно лишь отыскать вход в адские бездны — остальное пустяки!” — говорили они...

Но вот лодка ткнулась в илистый берег, и герои вступили на зыбучую почву, кишашую червями, пиявками и другими гадами. Бледный тростник, росший на берегу, слабо шелестел им: “Вернитесь! Вернитесь, пока не поздно, пока не отъехал старый Харон!” Но не послушались герои шелеста; их манила самая трудность подвига, и они шли, пугая сороконожек, змей и лягушек, огибая высокие кучи злобонной грязи, на которых сидели, понурившись, слабо обозначенные, еле видные в полутьме призраки людей, наказанных за непочтение к родителям.

Вздохи призраков долетали порой до слуха героев. Мелькали порой звери, похожие на гиену. Они убегали и прятались со злобным ворчанием...

Вдали проковыляла на медной ноге старая, отвратительная нагая женщина с ослиной головой, на которой сверкали два пылающих, как угли, глаза. Она остановилась перед грузьями и угрожающе застучала своими глиняными зубами...

— Это Эмпуза,— сказал Тезей и прицелился в чудовище из лука,— посмотрим, как ей понравится вот эта стрела.

Но отвратительное существо уже успело исчезнуть, как бы расплывшись в воздухе, а недалеко от героев пробежала старая, покрытая струпьями черная собака. Она хотела, виляя хвостом, приблизиться к Тезею. Но Пирифой закричал:

— Не верь ей, это опять Эмпуза! — и замахнулся на животное мечом. Собака шарахнулась в сторону и тоже пропала. Зато где-то сзади слышалось насмешливое блеяние козы.

— Не будем обращать на них внимания,— промолвил Тезей,— эдак они совсем собьют нас с дороги. Пойдем вперед. Мне кажется, что я вдали слышу музыку.

И герои пошли дальше. Дорога становилась труднее: попадались глубокие темные ямы, откуда слышались стоны и раздражающий сердце вой. Громадные кучи грязи преграждали им путь. Зато казавшаяся прежде отдаленной музыка слышалась ближе и ближе. Скоро грязь сменилась утесами.

Узкая тропинка змеилась между скал. Черными силуэтами они рисовались в синеватом сумраке. Наконец с вершины одного из утесов взорам смельчаков представилась блестящая внизу, как черная сталь, река забвения — Лета.

На другом берегу был обширный луг, поросший асфодилами. В самом конце его паслись темные коровы. За лугом была роща, откуда раздавалось пение, хлопанье в ладоши и звуки флейты.

— Вероятно, там живут чистые души, Тезей, скоро наша цель будет достигнута!

— О, если бы знал ты, товарищ, как хочется мне схватиться с каким-нибудь здешним уродом или исполином! Так бы, кажется, и переломал ему все ребра!

— Даже и Гадесу?

— Даже и Гадесу, Пирифой. Отдохнем только немного, и в путь! Сквозь деревья той рощи что-то светится: не дворец ли это твоей красавицы? Сядем вот на этот утес и будем смотреть на тот берег. Видишь, тени выходят резвиться на лугу. Хорошо им тут!..

Друзья сели. Под ними, внизу, медленно струила свои темные воды река забвения Лета. Вдали слышался глухой грохот катившихся камней. Они оглянулись в ту сторону и увидели, как трусливо шарахнулась снова было побравшаяся к ним черная собака.

— Опять эта проклятая здесь! — вскричал Тезей. — Никак мне не удастся в нее прицелиться! Только что взялся за лук, а ее уже нет! Это она воет?

— Кажется, она... Послушай-ка, ей откликаются другие собаки... Одна, две, три... Слышишь!

— Слышу; только это не собаки... Взгляни сам.

Пирифой взглянул и увидел, как из рощи выбежало около десяти крылатых дев с обнаженной грудью и распущенными волосами. Некоторые из них были с факелами, другие держали бичи, третьи потрясали цепями. С диким воем приближались они к берегу Леты и, распластав широкие крылья, перелетали одна за другой реку забвения. Намерения их были ясны. Они стремились к друзьям.

Сын Иксиона хотел встать, чтобы схватить копье, прислоненное к ближней скале, но — к удивлению своему — не мог шевельнуться. В бешенстве он рванулся — и все его усилия были тщетны. Тело героя приросло к холодной скале.

В недоумении он взглянул на товарища и увидел, что тот точно так же безуспешно пытается подняться с камня, на котором сидел.

Агские девы с громкими криками радости уже окружили грузей, и пока они держали тщетно сопротивлявшихся Тезея и Пирифоя, другие надевали им на руки тяжелые цепи.

Со злобным хохотом издевались они над связанными, ударяя их по щекам. Волосы дев шевелились, и грузья могли заметить, что в черных кудрях у них извиваются змеи... Горько потупились оба героя, не смея взглянуть друг на друга от стыда. А эриннии хохотали над ними. К хохоту их присоединилась и приковылявшая откуда-то Эмпуза. Смех ее был еще страшнее хохота агских дев.

— Дочери ночи, дайте мне напиться их крови, дайте мне насладиться их жиром, допустите меня отведать их мяса! — кричала старуха взвизгивающим от волнения голосом.

— Ах, Эмпуза, нам так жалко, что мы не можем исполнить твоего желания. Наш повелитель приказал взять их целыми и невредимыми.

— Ну, дайте мне хоть разик их укусить! Хи-хи-хи. Они хотели меня, старуху, застрелить! Хи-хи-хи! А вот не они меня, а я их... хи-хи-хи... укушу!..

Страшные зубы заскрипели у горла неподвижного Пирифоя. Он чувствовал у своего лица злобное дыхание Эмпузы и закрыл глаза.

— Смотрите, он испугался! — провозгласила старшая эринния.

— Он испугался! — как эхо повторили остальные.

— Герой, замышлявший похитить Прозерпину! — продолжала она.

— Похитить Прозерпину! — подхватили подруги...

Эмпузу все-таки отогнали, и она ушла, изрыгая проклятия не только на Пирифоя и Тезея, но и на эринний и даже на самого Гадеса, издающего такие гнусные приказы.

Пирифой открыл глаза.

— Он смотрит! — воскликнула одна из эринний.

— Смотрит! — подхватили прочие...

— Да, мы оба смотрим на вас, — сказал обозленный Тезей, — и видим, что все вы не можете похвастаться красотой. Нет среди вас ни одной, которая обладала бы хоть сколько-нибудь приятным лицом. Все вы немного чем отличаетесь от Эмпузы!..

Эриннии обиделись и разлетелись в разные стороны.

Они были все-таки женщины...

— Вот тебе и супруга Гадеса! — продолжал Тезей, когда грузья остались одни. — Ловко нас обошли! Но ведь как крепко сковали, подлые! Верно, у них все было давно приготовлено... Как они только пробедали?..

Пирифой не отвечал и только еще ниже склонил голову. Ему было неловко, что товарищ попал из-за него в беду.

— И, главное, боги не станут теперь за нас заступаться, — со вздохом продолжал Тезей.

В глубине души он хранил, однако, надежду на то, что его спасет Афина, всегдашняя его покровительница. Но второпях он не принес ей жертв, отправляясь в поход, а девственная богиня злопамятна. И Тезей погрузился в глубокую думу...

Кругом было все тихо. Из камыша глядела на героев маленькая нимфа с печальным лицом.

Около нее из-под воды вынырнули две новых крохотных, похожих на нее головки; лукавые темные глазки с любопытством поглядывали то на мать, то на неведомых пришельцев, словно стараясь решить, опасные или неопасные это чудовища...

...Резкие звуки пастушьей трубы пронеслись под сводами Тартара.

Гулко отдавались они среди черных утесов, заставив встрепенуться несчастных пленников. Гигантского роста,

совершенно нагой пастух гнал стадо к реке забвения. Молча бежали по асфодиловому лугу быки и коровы.

Пастух не торопясь подошел к берегу и тихо опустился на прибрежные цветы. Свою трубу он положил рядом, а ноги стал полоскать в темной холодной воде. Взором он отыскал приросших к утесу героев.

— Что, попались, разбойники?

— Кто ты?

— Кто я? Меноит. Я все здесь знаю, ибо я здесь давно и не помню того времени, когда меня здесь не было.

— Ты и Персефону видел? Отвечай мне, пастух, часто она бывает в этих краях? Весела она или грустна? Любит ли она своего супруга? — засыпал Меноита вопросами Пирифой.— Отвечай мне скорее!

— Мне ли не знать Персефоны! — воскликнул Меноит.— На моих глазах вез господин свою невесту. Испуганная такая была... На моих глазах он и обвенчался с ней и на моих глазах ей изменяет... Я ведь знаю, зачем он так часто отправляется к истоку Стикса, к белой пещере с серебряными столбами, где живет его прежняя бледная любовница. Оттого он мне и стадо запретил туда гонять... И он думал это скрыть от меня, от своего старого верного Меноита!..

Старику, очевидно, хотелось показать свою близость к властителю Тартара...

— Ты мне не ответил, пастух, весела или грустна твоя царица... Любит ли она своего мрачного супруга?..

— Помню я женитьбу моего повелителя,— продолжал Меноит.— Пригнав быков на свадебный пир, я стоял у самого двorca. Отблеск факелов, помню, так и рдел на колоннах красного золота. Бледна и заплакана была молодая супруга моего господина; а он был радостен и горд. Гранатовое яблоко держал в руке повелитель и просил Персефону отведать сладких зерен. Она же все вздыхала и отказывалась... Помню я, как приходил потом Гермес и увел от царя молодую супругу. И гневен тогда был господин мой. Ничего он не ел и не пил и грозный ходил по Тартару. Все мы попрятались от его гнева. Глупый Цербер попался

ему навстречу и, не узнав, заворчал... Ах! Как избил его тогда господин! И долго он ходил мрачный, пока не вернулась к нему снова Персефона. О, как он тогда веселился! Да и она тоже попривыкла к повелителю. Полюбила его, говорят, даже... только теперь вот...

— Что теперь? — быстро перебил рассказчика Пирифой.

— Да разве им угодишь! Уж на что любил ее господин, да не в добрый час, видно, привел однажды Гермес кучу теней. И был среди них призрак один; Агонисом звали. Поглинно, из себя хорош, да что в нем толку, коли он призрак! Только понравился он царице. Кровью ли она его овечьей отпаивала или какое-нибудь иное снадобье давала, не знаю, но как муж из дому — Персефона к Агонису бежит. Отправилась она раз на землю, а Гадес на Стикс пошел. Он в то время начал уж туда снова похаживать. Только слышу я, кто-то идет сюда к реке, осторожно так... и одеждой шуршит. Эмпуза всегда стучит, когда ковыляет. Гермес платьем не шуршит. Персефоне не время. Немезига у себя во дворце сидит. Эриннии, те молча не летают, все с воєм, и тараторят очень... Смотрю — незнакомая. Ну, думаю, что к Гадесу, верно. Пригласил к себе, чтобы не так скучно было без жены... Сама-то красивая такая. Покрывало темно-лиловое. Пояс золотой... прямо на теле. А идет осторожно и все по сторонам оглядывается. Бойтся, чтобы не увидели. Через Пету по камушкам перебралась и к роще; а ей оттуда навстречу тот самый Агонис, что Персефону приворожил... Она к нему — и ну обнимать. Целует его, ласкает, чуть не плачет от радости. А он ей тоже, видно, обрадовался; только небось не рассказывает, как с Персефой время проводил... А потом в рощу пошли... И повадилась эта богиня к нам ходить. Как Персефона на землю, она уже здесь у нас. Смелая стала. Знает, что ее никто тронуть не смеет... Только однажды царица наша пораньше возвратилась, да ее и застань с Агонисом! Крику-то, крику сколько было!.. Тени сбежались. Сам господин явился на шум, взглянул на гостью и ахнул... “Что ты здесь делаешь, Афродита, зачем к нам пришла?” А у самого глаза разгорелись. Она ему в ответ,

и храбро так: “Да не можем мы с твоей женой этого человека поделить. И мне он люб, и ей. Кому отдашь?” Молчит Гадес, покосился на супругу, а сам опять глазами впился в гостю. А те опять ссорятся. “Мой! — кричит одна. — Не отдам его тебе!” — “Зато я, быть может, отпущу его”, — говорит господин. А Персефона ему: “Ну тогда я за ним уйду и не вернусь никогда!” Видит Гадес, что дело скверно, и говорит: “Ступайте к Зевсу, пусть он вас рассудит”. Те ушли. Эриннии мне потом рассказывали, что всю дорогу богини ссорились... А Адонис идет себе с ними как ни в чем не бывало... Вернулась Персефона одна. Ничего не говорит. Прошло немного времени, глядим, а к ней снова Адониса Гермес ведет. Узнали мы потом, что Зевс ему велел с обеими богинями жить. Персефона его, по вашему счету, полгода и продержала... И ни капельки мужа не боится. Да и он тоже подолгу пропадать стал... Так и по сие время продолжается. Вот теперь и понимай сам, как она здесь скучает... Заболтался я, однако, тут с вами; давно пора стаго гнать!

Старый пастух щелкнул бичом и отошел от берега. Медленно удалялся он по лугу, направляясь к ракитовой роще Персефоны. Когда же он скрылся за деревьями, герои еще сильнее почувствовали свое одиночество.

Беззвучно катила свои волны неширокая темная Пета, извиваясь под нависшими утесами берега, на котором сидели пленники.

Пирифой закрыл лицо руками, а Тезей, перегнувшись назад, старался рассмотреть, что делается за его спиной...

Из глубокого ущелья катил огромные камни человек, весь покрытый черной пылью. Порой он кряхтел и стонал от усилий, напрягая свои мощные мышцы... Бледные призраки девушек с кувшинами на плечах сходили к реке; зачерпнув воды, они шли обратно и скрывались за утесами, легкие и стройные, как молодые тростинки.

Красивые лица их были сосредоточены и печальны. Это были Данаиды...

Проходило время, но сосчитать его не было возможности. Не проникают в подземное царство золотые лучи

пылкового Феба и серебряное сияние его спокойной сестры. Нет там отличия между днем и ночью. Не возвещает умершим петух, что близится утро, и стыдливая Эос не вспыхивает ярким румянцем... Вечные сумрак и скорбь царят там полновластно.

Героям казалось, что века протекли с тех пор, как они попали в тяжелый плен. Скучное однообразие изредка нарушалось проходившим вдали караваном душ. Во главе его шел обыкновенно Гермес. Первое время Тезей и Пирифой кричали изо всех сил, призывая к себе на помощь сына Зевса и Майи. Дикая крики гремели, теряясь под сводами Тартара. Тени испуганно оборачивались на отчаянный зов героев. Но Гермес делал вид, что не слышит воплей пленных царей, и невозмутимо продолжал путь. Гневно грозил ему вслед Тезей кулаком и подолгу изрыгал проклятия. Пирифой же раньше его понял бесплодность жалоб и воплей. Теперь он старался по возможности не глядеть на товарища, чтоб не встречать его немного укоризненного взгляда.

Порой пленники могли видеть, как по асфодиловому лугу гигантский призрак Ориона гнал стадо убитых им некогда зверей. Бесплотные львы, мощные когда-то быки, стройные олени и козы покорно бежали, погоняемые огромной палицей охотника. Пятнистые леопарды изгибались в красивых прыжках...

Со свистом рассекая воздух сильными крыльями, иногда пролетали эриннии. Изредка они садились по-африкански, на корточки, неподалеку от пленников и насмешливо разглядывали их.

Тезей сначала их поносил бранными словами, а потом пытался заговорить с ними.

Быть может, в голове его мелькал план создать себе новую Ариадну.

Но эриннии только смеялись в ответ неприятным, пронзительным смехом...

Некоторые из них, в глиняных черных мантиях, были стары и безобразны. Отвратительные змеи шевелились в их седых волосах.

Другие, вовсе без одежд, с одним лишь пурпуровым поясом, были молоды, но злобное выражение лица делало их столь же неприятными. В руках своих они проносили иногда горящие факелы, ярко пылавшие в полутьме. При свете факелов пленникам удалось рассмотреть многое, чего они раньше не замечали.

Под соседним нависшим утесом, поминутно грозившим свалиться в темную Лету, неподвижно сидел призрак старца.

Какой-нибудь миг видел его Пирифой, но успел разглядеть, что расширенные очи призрака устремлены на него. И долго не мог забыть герой их выражения.

Старый Меноит, пригонявший иногда к Лете свое стадо, рассказал пленникам, что это великий грешник. Имя же его пастух позабыл.

Зато он подробно рассказал о другом грешнике, которого уже видел Тезей. Грешник этот, по имени Сизиф, причинил много беспокойства бессмертным. Он открывал, между прочим, тайны богов другим богам и ссорил их между собой. Когда за ним послали бога смерти, нечестивый Сизиф схватил и связал его... Смертные перестали умирать. Старики и старухи стонали под тяжестью лет и тщетно просили богов о кончине. Тогда олимпийцы послали против него самого бога войны, и тот привел грешника в царство Гадеса. Но и отсюда Сизиф пытался однажды бежать. Он присужден к заслуженному наказанию и вечно будет возиться с тяжелыми камнями.

В близлежащем ущелье герои заметили также постоянный отблеск пламени, грожавший в вершинах утесов.

Тезей обратился раз к отдыхавшим неподалеку эринниям с вопросом о причине огня.

Одна из адских дев смерила взглядом Тезея и Пирифа и произнесла высокомерным тоном:

— Посягающих на богинь постигает лютая участь,— и улетела вместе с подругами...

Над пленниками проносились порой коршуны и молча спускались между скал. Коршунов было двое, и они чередовались, прилетая один на смену другому. Отлетали

они, отяжелев от еды, лениво махая глинными черными крыльями. А из того места, откуда они вылетали, слышались тяжелые вздохи...

Друзья чувствовали, что Аиг наполнен тайнами; что тайны эти окружают их. И сознание силы и могущества повелителя этой области действовало на пленников угнетающим образом.

Чтобы как-нибудь погавить томящую скуку, друзья пробовали развлечь себя воспоминаниями.

— Помнишь, Тезей, как после охоты в Калидоне мы отдыхали у гостеприимного Ахелоя, в его гроте, на ложах из мягкого меха, и белоногие нимфы служили нам за пиром?

— Да, помню, тогда наш хозяин еще занимал нас рассказами про богов, и нам не хватало лишь Атланты, которая всем нам так нравилась. А ты помнишь, Пирифой, как мы ловко похитили дочь Леды Елену? Помнишь, как мы ее прятали у меня в Афинах... Право, досадно, что мы ее так скоро отдали назад братьям. Мне не хотелось тогда ссориться с ними... Хотя, впрочем, она скоро успела бы мне наесть. Женщины ведь быстро наедаются... Взять бы хоть твою Гипподамию. Уж на что, кажется, хороша она была... Помнишь свадьбу — какая была пышная? Старший Атракс созвал лапифских старейшин. Нас, афинян, пришло тогда несколько человек. А ты, думая позабавить гостей, пригласил этих разбойников кентавров... Хорошая забава, нечего сказать, вышла. Прав был Атракс, когда не советовал давать им много вина. Помнишь, как они, пьяные, бросились на женщин?.. Как я ловко уложил тогда косматого Эвритиона, схватившего твою Гипподамию; так он и рухнул об землю! Хорошо, что у меня нашлась под руками, так кстати, тяжелая чаша... Ах, как весело было тогда с ними гратся, в яркий солнечный день, на лугу, окаймленном соснами, под ясным синим небом!.. Не то что здесь... темно. Холодно. Скучно!.. Ах, Пирифой, Пирифой, куда ты меня завел!

У Пирифоя болезненно сжалось сердце, и он ничего не мог ответить.

И снова потянулись дни, которых нельзя было считать...

— Кто бы ни были вы,— привет вам, герои!

Вы пришли недавно с земли? О, расскажите мне, кого теперь любит Кронид?!

Услышав тихую речь, подобную шелесту трепетных листьев, пленники подняли головы. Перед ними стоял, колыхаясь, матово-белый призрак. Женщина неземной красоты с царственно-гордой осанкой ожидала ответа героев. Тоска и нетерпение были написаны на ее слегка исхудавшем лице. Тезей молчал, вглядываясь в черты привидения. Тогда Пифифой начал говорить:

— Я не знаю, кто ты, столь рано похищенная смертью с лица осиротевшей земли, но, вероятно, ты была не последней в твоём народе. Быть может, ты родилась от бога?.. Мне жаль, что я не могу тебе сказать, кто теперь служит забавой Зевсу. В последнее время называли фиванку Антиопу, дочь царя Никтея. У нее родились близнецы, хотя ходит молва, будто отцом их был обыкновенный сатир... Другие же говорят, будто Зевс вернулся теперь к своей прекрасной супруге...

— Гере с волчьими глазами! Прекрасно, это на него похоже!.. Бедная беотянка! Вероятно, он и ей клялся даровать вечную жизнь под радостным солнцем... Обманщик! Сколько раз этой самой рекой клялся он сделать меня бессмертной!.. О, любовь олимпийцев! Сколько горя она приносит! Разве был кто счастлив из женщин, которые им отдавались? Горе, горе!

И призрак ушел, предаваясь неукротимой скорби.

— Разве ты не узнал ее, Пифифой? — спросил Тезей.

— Нет, а кто она?

— Некогда прекраснейшая из человеческих жен. Она даже приходится мне сродни. Это жена спартанца Тиндара, мать златокудрой Елены, которую мы когда-то похитили! Она нас не узнала.

Мелодичные струнные звуки вывели грузей из тяжелого раздумья. Звукам вторил приятный, слегка печальный

человеческий голос. Голос все приближался и приближался... Замерли с кувшинами в руках Данаиды, внимая божественному пению. Кучка стоявших эринний опустила факелы и обратилась в слух.

К пленникам приближалась фигура живого человека в белых одеждах с зеленым венком на кудрях. В руках он держал кифару, струны которой разливали отраду. Глаза путника были устремлены в пространство, но он шел, никого и ничего не замечая. Не видел он толпы бледных призраков, которые окружали его, жадно внимая томительным звукам. Не слышал он, как зашипела вода по факелом, уроненным одной из эринний... По выступившим из воды камням певец перешел реку забвения. Старый Меноит вышел к нему навстречу со своим стадом, и быки с коровами склонили к земле рогатые головы. Хищные звери Ориона прилегли на цветы асфодилов. Из роши Персефоны высыпали новые тени и толпой последовали за смертным, который сошел в Тартар, не успев умереть, и до сих пор не наказан за это. Призраки шептали друг другу, что адский пес не преминет пожрать его, и пытались удержать смельчака, простирая к нему легкие руки и преграждая путь...

Но человек в белых одеждах с удвоенной силой ударил по струнам и скрылся из глаз пленников по направлению к дворцу Гадеса...

И он вышел оттуда, гордый, сияющий слабой, а за ним шла стройная, закутанная в фату, женская фигура. Победным счастьем гремели звонкие струны.

На краю зияющей пропасти чернела фигура Сизифа, который прекратил на время свою скучную работу, заслушавшись дивной мелодии. Неподвижные бледные тени замерших от счастья Данаид казались в полутьме чудными мраморными статуями, изваянными великим художником...

Когда игравший на лире проходил мимо пленников, Тезей закричал:

— Господин, ты, кого любят боги, попроси их за нас, живых, попавших в царство смерти!

Орфей вздрогнул, услышав человеческий голос. Он остановился на мгновение и сказал:

— Теперь я спасаю отсюда свою жену и не могу медлить. Кто вы такие, несчастные, навлекшие на себя гнев богов?

— Путник бесстрашный, скажи афинянам, что царь их, Тезей, сын Эгея и Эфры, страдает живой среди мертвых и просит его спасти.

— Божественный певец, если ты будешь в стране лапифов, утешь мою жену Гипподамию, дочь знатного Атракса, и ее малюток!

— Просьбы ваши будут исполнены,— произнес Орфей и скрылся за поворотом тропинки, спеша поскорее уйти из области мрака. Тень его жены следовала за ним...

Друзья не заметили, как тень эта скоро вернулась обратно в сопровождении торжествующих фурий.

Пленники стали себя чувствовать богрее.

Робкая надежда зашевелилась в их сердцах. Они утешали друг друга, говоря, что их семьи и родичи, принеся обильные жертвы, сумеют умилостить владыку Тартара, и он отпустит их на свободу...

Но однажды среди вереницы призраков, спокойно идущих на суг Эака, Пирифой заметил ту, на кого так надеялся. Бледная и печальная шла Гипподамия с заплаканными глазами. Друзья увидели, что она заметно состарилась... Пирифой не решился окликнуть ее, но Тезей закричал:

— Гипподамия!

Согрогнулись все тени от громкого оклика. Прекрасная некогда Гипподамия поглядела на пленников, всплеснула руками и хотела кинуться к ним, но Гермес сердито преградил ей дорогу перебитым змеями кадуцеем.

И она, бессильная, покорно пошла вместе с другими тенями, часто оглядываясь туда, где на холодных камнях сидели Тезей и Пирифой...

Надежда пленников стала гаснуть. Склонив головы на руки, сидели герои, полные грустных дум, стараясь не смотреть друг на друга...

Сын Иксиона впал в какой-то полусон. Ему чудилось, что его кто-то зовет, кто-то простирает к нему руки, кто-то родной и близкий ему человек. Он знал, что это была не Гипподамия. Ему чудился иной голос, который он слышал в детстве. И не голос матери. Мать свою, Дию, дочь Дейонея, он помнил хорошо. Отца же, Иксиона, он потерял очень рано. Всего несколько сцен запечатлелось в его памяти. Знойный солнечный день. Он, совсем еще маленький Пирифой, стоит на дворе, недалеко от двери и слушает, как могучий и статный отец, воротившись с каких-то подвигов, что-то говорит своей жене. Голос у него громкий и сердитый. Мать перед ним в чем-то оправдывается. “Но ведь это бог! — говорит она.— Как же я смела ему сопротивляться?” И прекрасная дочь Дейонея, вся розовая от смущения, стыдливо потупляет глаза, на которых блестят набежавшие слезы. “Ну, так что ж, что бог! — гневно восклицает отец.— Коли он бог, так и знай своих богинь, а наших жен не трогай!.. Бог! А ведет себя хуже людей, право хуже! Вот я ему! Я не я буду, если не отомщу!” И Пирифой вспоминал, как бил себя в грудь его отец и как на той мощной груди гремели доспехи... Слобно сквозь сон вспоминал Пирифой то, что было дальше. Отец, полный гнева, сказал: “Хорошо же. Пусть он на своей Гере поймет, что значит трогать чужих жен!..” С гневом Иксион ушел. Ушел, и с тех пор Пирифой его никогда не видел. Мать избегала говорить о своем муже и на все расспросы сына отвечала, что отец его прогневил богов и те сурово наказали Иксиона. “Веди себя хорошо, Пирифой; бойся оскорблять бессмертных, почитай жрецов, чаще приноси жертвы, и участь отца тебя не постигнет!..”

Став уже взрослым, Пирифой услышал однажды, что будто бы его отец забрался на Олимп и покусился там ночью на одну из богинь. Но олимпийцы подсунули смельчаку призрак...

Пирифой не поверил тогда этой басне. Мало ли чего не рассказывается про богов и героев...

И теперь ему невольно приходила в голову мысль об отце. Не его ли голос слышался ему в полусне? Ах, если бы увидеть его хотя на мгновение или снова услышать этот мощный, отчетливый голос!..

— Проснись, Пирифой, снова кто-то идет сюда. Сердце мое бьется и замирает в груди! Я чувствую, что скоро буду свободен... Ах, как бьется оно!..

Сыну Эреба и Ночи было много работы. И работа была неприятная. Людей приходилось перевозить за последнее время мало, но призраков разных чудовищ достаточно.

И Харон был недоволен... Да и можно ли чувствовать себя вполне довольным, перевозя свирепого немейского льва, который щелкает зубами и сердится, что с него содрали шкуру? Да и обола не платит!.. Или какая-нибудь лернейская гидра, которая, выпуча глаза, насилу помещается в его челноке? Из-за нее Харону совсем пришлось перебраться на нос. Или вот ему недавно пришлось перевозить страшного пса. Если б не две головы вместо трех, его смело можно было бы принять за Цербера. Хорошо еще, что с ним был призрак великан, которого слушалось чудовище... Или дракон, который величал себя хранителем Гесперидского сага и требовал к себе поэтому всяческого уважения... Коли ты хранитель сага, так и сиди в своем сагу, а не лезь, куда не просят! И откуда их столько берется? И кто их сюда гонит? Жили бы себе на земле и не обращали бы область печали и мрака в какой-то зверинец. Да и то Эмпуза рассказывала, что Цербер чуть не насмерть погрызся с новым псом, а теперь оба сидят и воют, один в две, а другой в три пасти... Вот опять кто-то идет. Ишь, даже земля трясется! Не отъехать ли от берега?..

Из-за скал вышел человек гигантского роста и атлетического сложения. Облачение его состояло из львиной шкуры и сандалий. На плече лежала внушительных размеров дубина. Человек был живой. А живых Харон недолюбливал. Но делать было нечего: исполин уже уселся в челнок, на затрепавшую от его тяжести скамью.

— Вези! — приказал он коротко и внушительно, ткнув пальцем по направлению противоположного берега.

— Что ж, и повезу, отчего не повезти! Не первого ведь приходится переправлять. Назад-то мало кто из вас возвращается. Одного только музыканта, кажется, и отпустили обратно... Вот погоди, покажет тебе свои зубы Цербер! Он тебе посбавит спеси!..

— Его-то мне и наго, старичина! Ты не знаешь ли, где он живет? Есть у него конура какая-нибудь? Или он тут у вас без привязи бегаёт?

— Он у нас на глинной цепи сидит. Да ты к нему как подойдешь, он тебе все сам расскажет; в две пасти тебя есть будет, а третьей рассказывать. Тоже нашелся один такой! Цербера ему подавай! Погоди, он тебе покажет, этот Цербер! — ворчал Харон, высаживая на берег незнакомца.

“Привязан? Это хорошо, что привязан. Не убежит по крайней мере. А то гоняйся, лови его! Не люблю бегать в темноте... Цепь только какая? Гефест ее ковал или нет? Если Гефест, то оборвать трудно... Ну, тогда вместе с конурой приволоку!..” — размышлял герой, в котором всякий житель Эллады без труда узнал бы сына Алкмены, Геракла.

Повстречавшая его Эмпуза попробовала было защелкать зубами, думая устрашить путника; но герой молча показал ей глубину, и Эмпуза скрылась. Эриннии хотя и заметили героя, но боялись еще пока приближаться к нему, рассчитывая дождаться более благоприятного момента. А Геракл бодро шел вперед и достиг уже берегов Леты... По временам он останавливался, с любопытством разглядывая претерпевающих наказания грешников.

Но вот до слуха героя долетели призывные крики:

— Сюда, богоравный! Сюда! Спаси нас, несчастных страдальцев! Мы давно ждали тебя, наш избавитель!

Геракл увидел Тезея и Пирифоя.

— Кто вы, злосчастные, и как сюда попали? И зачем тут сидите вы, живые, среди мертвых?

— Мы задумали страшное дело: похитить Персефону, жену Гадеса, и боги нас покарали за это,— произнес

Тезей,— о, спаси нас, могучий герой! Дай нам снова согреться под солнечными лучами, дай нам узвидеть синее небо, услышать плеск моря, вдохнуть в себя благоухание цветов!

— Пагдно, клянусь вам этой самой рекой, над которой вы сидите, не будь я Геракл, сын Алкмены и эгидодержавного Зевса, если не приложу всех своих усилий спасти вас! Теперь я иду взять адского пса: он зачем-то понадобился царю, у которого я служу. Но только я им обладаю — вы будете спасены.

Сказав это, Геракл узенькой тропинкой спустился к воде. В несколько прыжков очутился на противоположной стороне и остановился, не зная, куда ему идти. Две-три тени, к которым обратился герой, не могли или не хотели ответить.

Со стороны Персефоновой роши, навстречу ему гнал свое стадо адский пастух. Тени при виде стада знаками показали Гераклу, что они охотно напились бы крови. Со-страгательный герой понял их желание и направился к стаду. Тезей и Пирифой со страхом следили за происходящим. Они видели, как Меноит с криком замахнулся на Геракла своим страшным бичом, как бич этот просвистел над головой сына Алкмены, который успел пригнуться, а затем бросился на противника и сильным ударом палицы свалил его на землю.

Герой выбрал одну из коров, миглом поймал ее, но долгое время не знал, как ее зарезать, ибо меча с ним не было. Внезапно он вспомнил про страшные когти, грозно черневшие в лапах его львиной шкуры, и темная лужа крови задымилась среди луга, покрытого цветами асфодилов.

Тени с жадностью стали стекаться на запах крови... Алчной надеждой засветились их бесплотные тусклые очи. И, напившись, они заговорили своими окровавленными устами, рассказывая про дальнейшую дорогу в ад, жалуясь герою на свою горькую участь.

Геракл скрылся в роше Персефоны, откуда слышался адский лай Цербера, громкая ругань героя, от которой содрогались своды Тартара, и, наконец, визг и вой побежденного

зверя. Пленники тем временем с нетерпением ожидали своего избавителя. Надежда и страх чередовались в их душе, пока сын Алкмены не показался из роши, волоча за собой упиравшегося адского пса, который был, ворчал и огрызался в одно и то же время. Шерсть на нем стояла дыбом, и три пары глаз налились кровью. Но герой был сильнее: он переволок через реку пленное чудовище и втащил его на утес, где сидели Тезей и Пирифой. Пса он прикрутил неподалеку, а сам присел на корточки, чтобы вздохнуть немного и отереть пот, крупными каплями выступивший на его лбу.

— Фу, как устал, насилу-таки приволок! И на что Эврисфею эта гадина?.. Погодите, братцы, немножко, я сбегаяю — напою еще несколько призраков. Одного тут поблизости жарят на огненном колесе. Мне его страсть как жалко!

— Под скалой еще один сидит,— сказал Пирифой.

— А тем еще одного коршуны рвут,— прибавил Тезей.

— Ладно, пожалуй, еще корову придется зарезать.

И неустомимый Геракл мигом очутился на той стороне, поймал одну из коров, столпившихся над простертым Меноитом, и приволок ее к грузьям. Мечом Пирифоя он перерезал ей горло и наполнил кровью колчан и дорожную шляпу Тезея. Этой кровью Геракл пошел поить призраков, осужденных на вечные муки...

Жадно хлебнул дымящейся крови Тантал, и очи его наполнились благодарностью. Призрак, сидевший под скалой, прильнул к полному до краев теплой кровью колчану и долго не мог оторваться. От распростертого в ущелье Тития Геракл отогнал коршунов и также утолил его жажду. Были напоены и Салмоней, и Сизиф, и много других призраков, томившихся в царстве печали. Не знавший усталости герой спустился в другое ущелье, где на вертящемся колесе вечно жарился в огне один из страдальцев. Тезей и Пирифой увидели, что пламя, мигавшее оттуда, потухло. До них долетел чей-то радостный вздох облегчения...

Но вот Геракл вернулся к ним. Сердца пленников радостно сжались. Герой подошел к Тезею. Напряг мышцы.

Рванул раз, два... и Пирифой увидал, как его товарищ был оторван от скалы и освобожден от цепей... Сын Алкмены подошел теперь к нему...

У пленника закружилась голова и потемнело в глазах. Мельком он видел, что к ним приближалась богиня мести, Немезида...

Потом он почувствовал, как охватил его крепко Геракл, прижимая к себе, старался оторвать от камня, к которому он прирос.

Пирифой почувствовал, как трещали мускулы Геракла, слышал его тяжелое дыхание. В ушах у пленника шумело. Он испытывал страшную боль, но не решался вскрикнуть. И это продолжалось долго, долго...

Наконец Геракл отпустил его, чтобы перевести дух. Когда же герой хотел возобновить попытку, к ним подошла Немезида и грозным голосом произнесла:

— Остановись, сын Алкмены, если ты боишься прогневить своего отца. Человек этот осужден навсегда. Сын Иксиона, покушавшегося на Геру, не может рассчитывать на снисхождение богов. Внук Флегия, поджегшего храм Аполлона, не должен избегнуть положенной ему кары. Удались, Геракл, и не гневи бессмертных, иначе ты разделишь участь этого недостойного и никогда не увидишь родного дома и своей жены Мегары. Уже за то, что ты освободил без спроса Тезея и напоил кровью осужденных на муки, тебя ждет наказание. Не увеличивай его ослушанием! Это говорю тебе я, Немезида, дочь Ночи, сестра бога смерти!

— Оно, положим, что твоего брата я не боюсь. А он меня боится с тех пор, как я отнял у него Альцесту. Ну, да не в этом дело! Ты говоришь, что отец запрещает мне освобождать этого человека? Нечего делать, из воли отца я не выйду... Прости, несчастный, я ничего не могу для тебя сделать!..

Геракл взвалил на плечи глубину и намотал на руку цепь адского пса.

— Прощай, Пирифой! — сдавленным голосом, не подымая глаз, произнес Тезей.

Затем оба они скорым шагом двинулись к выходу из ада. Тезей шел не оглядываясь; но Геракл, перед тем как скрыться за поворотом, обернулся к убитому горем Пирифою и крикнул ему в утешение:

— А ты не унывай! Я поговорю еще с отцом.

И герои исчезли в ущелье...

Безумными глазами глядел им вслеп Пирифой. Ему хотелось что-нибудь крикнуть вдогонку уходившим, но язык не повиновался. Ему хотелось еще раз взглянуть в лицо старому другу, который так безжалостно его оставлял. “Хоть бы обнял меня на прощание!” — подумал покинутый сын Иксиона.

Кругом не было никого. Даже Немезида скрылась куда-то. И среди могильной тишины пронесся раздирающий душу вопль. За ним другой, третий... И рекой полились жалобы ослабевшего духом героя.

— О мать моя Дия, отец мой Иксион, зачем произвели меня вы на свет! Зачем ребенком не бросили меня на съедение орлам и лисицам в глубокую пропасть! — воскликнул он в отчаянии.

Но внезапно над головой Пирифоя прогремел чей-то властный голос:

— Если бы я знал, что у меня родится такой малодушный сын, ни за что не взял бы я себе в жены золотоволосую Дию и теперь не испытывал бы стыда!

Пирифой поднял голову и взглянул на говорившего.

— Кто ты, называющий имя моей матери? — спросил он.

— Я сын Флегия, Иксион, никогда не уступавший богам. Я твой отец, отомстивший Зевсу за позор своей жены. Пусть олимпийцы выдумывают сказки о какой-то Нефеле, о призраке, который они мне подсунули вместо Геры. Я очень хорошо знаю, кого держал в своих объятиях... Да, Зевс, я отмстил тебе! Пусть я претерпеваю неслыханные муки на крутящемся раскаленном колесе, они ничто в сравнении с сознанием подвига. Я отомстил

и за себя, и за свою сестру Корониду, обиженную Аполлоном. Я отомстил за всех женихов, у которых боги похищали их возлюбленных; за всех мужей, которых обидели олимпийцы!

— Ты хорошо поступил, сын мой,— произнес новый старческий голос, принадлежавший выплзшему из-под скалы призраку, к которому вместе с выпитой кровью вернулись силы,— я тоже отомстил за нее, поджегши храм обидчика, но ты превзошел меня. Ты отомстил за все человечество, за все обиды, нанесенные ему бессмертными. Сын твой хотел идти по твоим стопам. Ему не удалось исполнить намерения, но лишь потому, что боги следили за каждым его шагом. Они боялись его. Боялись, видя в нем твоего сына... Не сердись на него, Иксион, и слушай. Помни мои слова также и ты, Пирифой. Владычество Олимпа не вечно, я это знаю. Вещие нимфы реки забвения говорили мне, что придет время, когда над бессмертными богами будут смеяться даже дети... Я не знаю, когда это будет. Знаю, что мне этого не увидеть. Не увидишь этого также и ты, мой страдалец Иксион. Ну, а Пирифой увидит — это я чувствую. Не падай духом, внучек, помни, что в тебе течет наша кровь, кровь героев!.. А теперь прощай, видишь, несутся эриннии, чтобы рассадить нас по местам!

— Прощай, мой сын! — прибавил от себя смягченным голосом Иксион.— А если тебя ждут мучения — вспомни об отце. Обещай мне не падать духом!

— Обещаю! — твердо произнес Пирифой вслед уводимым фуриями отцу и деду...

И он сдержал слово.

Насмешливо крича, плясали и кривлялись вокруг него Эвмениды. Низко наклонялись они, чтобы сказать ему на ухо что-нибудь о страсти его к Персефоне, а их змеи жалили его...

Опираясь на руку Адониса, проходила мимо него сама Персефона и, остановившись против пленника, прижималась к юному спутнику и обнимала его. Пирифой, стиснув зубы,

смотрел на них, стараясь казаться равнодушным. А богиня, поглядывая иногда на Пирифоя своими темными, полными тайны глазами, целовала красавца, и золотые ожерелья тихо бряцали на ее груди...

Иногда она показывалась вдали на асфодиловом лугу, но уже рядом с супругом. Агонис в это время был на земле. Это охладило Пирифоя. Он почти перестал ревновать царицу ада...

Но сидеть ему было скучнее прежнего. Не приходил больше Меноит, развлекавший его, бывало, рассказами. Не с кем было ему поделиться своей грустью...

Время проходило и проходило, а Пирифой все сидел на холодном камне... Он стал уже равнодушен ко времени.

Много призраков близких и знакомых людей прошло мимо страдальца. Давно прошел его тесть, грыхлый Атракс. Один за другим шли лапифские старейшины, и он кивал им головой. Прошел окровавленный призрак певца Орфея, радостно стремившегося вновь увидеть свою милую Эвридику... Однажды, среди вереницы теней, Пирифой увидел Тезея, смущенно отвернувшегося от друга.

Мало-помалу знакомые лица перестали встречаться Пирифою в толпе призраков, погоняемых кагуцеем Гермеса. И он заключил, что уже очень давно находится в царстве забвения.

И эринниям, вероятно, надоело его гразнить, ибо они оставили его в покое.

Однообразие и тишина царства мертвых были еще раз нарушены шумным приходом одного молодого бога. Он был строен, румян, и веселая улыбка играла на его лице.

Одежды на нем не было никакой. Лишь золотистые кудри были украшены тяжелыми гроздьями винограда. В левой руке у него был тирс, в правой — чаша с ароматным светлым вином. Агские девы с почтением расступались перед красивым богом, а он со смехом брызгал в них пеной душистого вина из своей золотой неиссякаемой чаши.

— Кто ты, божественный юноша? — осмелился спросить Пирифой, когда тот проходил мимо него.

— Я сын Семелы от Зевса. Имя мое Дионис. Я даю миру покой и блаженство. Теперь я иду в область мрака, чтобы вывести оттуда свою мать и поселить ее на Олимпе... А ты кто такой? Впрочем, что мне за дело до этого! Ты страдаешь, и этого довольно. Пей из моей чаши, и обретешь блаженство забвения.

И юный бог поднес чашу к губам Пирифоя.

Сладкая прохладная жидкость приятно освежила уста пленника; у него зашумело в голове, своды Тартара заплясали перед его глазами, и он погрузился в глубокий сон.

Дионис улыбнулся ему своей загадочной улыбкой и пошел дальше, весело помахивая тирсом. Он шел к золотистому дворцу Гадеса. Мрачный бог сам вышел ему навстречу с прекрасной Персефоной... Звуки флейты весело приветствовали юного бога. Радостно звучали ему навстречу тимпан и бубны...

Пирифой не видел возвращения торжествующего бога из области мрака. Не видел он тени прекрасной Семелы, с гордостью шедшей за сыном. Он спал так крепко, что забыл обо всем...

Много снов видел Пирифой. Много новых подвигов совершил он. Много пережил старых. Снилось ему Эллада. Залитые солнцем скалы, пыльные оливы, гордо шумящие сосны в ущелье Киферона, блеяние коз, пение птиц, плеск многошумного моря... Снилось ему свадьба с Гипподамией. Свалка с кентаврами среди скал Пелиона. Свист рассекающих воздух дубин, лязг мечей, топот копыт и рев разъяренных разбойников... Он видел, как недалеко от него пал Кеней, задавленный тяжелыми соснами, как один за другим валялись разбойники под взмахами его тяжелого копья... И спящий герой шевелился во сне, сжимая кулаки, хмуря брови...

Но сны мало-помалу теряли яркость. Ему казалось, что на землю спустились сумерки... Он лежит на холме и смотрит, как мимо проходят толпы неизвестных людей. Язык их становится для него все менее понятным, одежда все

более незнакомой. Среди непрерывно идущих попадаются целые толпы в чуждом вооружении. Люди эти дерутся между собой. Дерутся, как звери, безжалостно добивая раненых, призывая себе на помощь неизвестных Пирифою богов...

Какие-то гигантские страшные звери с рогами, растущими изо рта, и с башнями на спинах двинутся в пестрой процессии. В башнях сидят люди в небедомых одеждах. Смуглолицые женщины с выдающимися бедрами и грудью, с лоснящимися от масла косами и самодовольным взглядом едут, полураздетые, на колесницах. И из-за них идет та же резня. Вокруг колесниц толпятся люди с безумными взглядами и, убивая друг друга, устремляются к самодовольным разряженным самкам. Колесницы едут по окровавленным трупам. А резня все продолжается... И она тянется так долго, что давно уже наеда Пирифою и становится ему противной.

Ему чуждятся реки крови... Какой-то красный туман, в котором он плавает и носится, как осиротевшая птица. Туман полон странного смутного гула. Чьи-то раздирающие душу вопли и проклятия доносятся до его слуха, смешиваясь с непонятными гимнами... Плязг цепей и подавленный хрип... Пирифой чувствует запах крови, острого женского пота и тяжелых восточных ароматов. Дышать становится тяжело... И эта мука тянется так долго, долго...

Красный туман сгущается и темнеет... Пирифой снова видит себя в царстве Гадеса. Только царство это стало больше и шире. Низкие прежде своды поднялись до темных небес, на которых не сверкает ни одной звезды.

Лета, асфодилловый луг и роща Персефоны исчезли. Остались одни только бесформенные скалы, побитые красноватым туманом.

Туча призраков со стонами и воплями носится в воздухе.

Один он, Пирифой, по-прежнему сидит неподвижно на гранитной скале. Призраки говорят на всевозможных языках, но Пирифой теперь их всех понимает. Он знает, что

все эти ассирийцы, персы, арабы, греки и финикияне жалуются на свою горькую участь, которая будет длиться без конца... И робкая жалость начинает вкрадываться в спящее сердце героя...

Но вот унылый вид призраков мало-помалу оживляется. Они собираются и о чем-то шепчутся, пугливо озираясь на эринний, которые тоже чем-то озабочены: их гораздо больше прежнего, и вид их слегка изменился. Но прежняя злоба долетает до Пирифоя. До него доносятся малопонятные обрывки фраз: "Он нас освободит...— Нет, это Мифра, великий Мифра, рожденный в пещере!..— А я говорю вам, что он уже раз нисходил...— Только он и может нас спасти!.." Из уст призраков египетского происхождения особенно часто слышится слово "Озирис". Персы упорно повторяют: "Это он, рожденный от девы, великий Мифра". Греки упоминали про Диониса-Иакха, и у Пирифоя мелькнула догадка — не тот ли это Иакх-Дионис, который напоил его из чаши блаженства? Финикияне уповали на Таммуза. Он озарит своим светом область мрака...

В одном сходились все они: кто-то должен скоро прийти и освободить их. Унылые лица становились богрее. Бесплотные очи светились надеждой.

Слух о чем-то близком приходе дошел и до фурий. Они тоже шепчутся и собираются в кучки. К ним присоединяются невиданные еще Пирифоем гении мрака, суровые даймоны с черными крыльями за спиной и копьями в руках. Их собираются целые мириады, десятки, сотни мириадов... Воздух наполняется шелестом их крыльев. Их так много, что робость начинает овладевать спящим героем. Как можно победить сопротивление такой страшной силы?..

Густыми колоннами летят вдали гении мрака. Летят и фурии, с распущенными волосами, с искаженными от злобы лицами. С адским грохотом несутся тяжелые колесницы, запряженные чудовищами. В колесницах восседают боги, еще неизвестные Пирифою. Все они в полном

вооружении, и все куда-то спешат. С гулом и рокотом появляются они из мрачных недр Тартара и исчезают вдаль, откуда доносятся громовые раскаты... Пирифою показалось, что среди богов мелькнуло озабоченное лицо Гадеса.

Он сидел на пышной колеснице и горячо спорил с каким-то мрачным богом, доселе неизвестным для героя.

С горькой усмешкой промчалась мимо него Персефона...

Но вот боги исчезли, и вокруг Пирифоя воцарилась прежняя тишина, прерываемая лишь вздохами испуганных призраков. Но тишина тянулась недолго. Снова вдаль пронеслись громовые раскаты. Почва содрогалась и стонала. Содрогался и гранитный утес, на котором сидел Пирифой.

Удары грома становились все слышнее и ужасней. “Битва титанов!” — донеслось до слуха героя из уст какой-то тени. Но он не успел разглядеть говорившего, ибо внезапно грянул удар, от которого содрогнулся весь Тартар и яркий луч света прорезал тьму. Свет на мгновение ослепил Пирифоя, и он не видел, а только слышал, как мимо него проносились разбитые силы гениев и адских богов. Герой слышал, как чей-то знакомый голос крикнул ему: “Прощай, Пирифой!” — но не мог разобрать, кто послал ему последний привет: кроткая ли Гипподамия или гордая Персефона. Туда, откуда лился свет, спешили густые толпы теней, крича на разных языках привет своему Избавителю. Крики сливались в общий радостный хор, ласкающий слух и убаюкивающий... Пирифой улыбался во сне...

Наконец показался Избавитель в белых блестящих одеждах. От лица Его исходил свет, на челе были видны следы крови...

— Таммузи! Озирис! Мифра!.. — гремело ему навстречу...

И улетали освобожденные тени... Тартар пустел.

Значит, Пирифой снова останется один? Нет! Этого не может быть. Избавитель идет к нему, останавливается, что-то говорит... Ах, что он говорит?

— Иди и кончи свой путь,— звучат последние слова Избавителя...

Пирифой чувствует отрадное прикосновение чьей-то легкой десницы к своей голове.

.....

Он вздрогнул и проснулся.....

.....

Кругом какие-то скалы. Внизу журчит вода. Он в полутемной пещере. Сверху, из широкой расселины, льется богатный луч света. Цепей на нем больше нет... Пирифой попробовал встать — и встал. Он еще раз огляделся. Вокруг ни души!

Где же роща Персефоны, где асфодиловый луг, на котором паслись стада Гадеса; тропинка, ведущая к Ахеронову озеру, где все это?.. Со всех сторон его окружают огни только нависшие глыбы серого камня. Пирифой крикнул, и дико прогремел его голос, не нашедший себе отклика.

Оставалось только уйти. Это было нетрудно. Каких-нибудь пять полетов стрелы отделяло его от земной поверхности... Он то шел, то карабкался кверху, нисколько не страшась свалиться с карниза. Аг был ему уже не страшен с тех пор, как он столько времени пробыл в нем... Но странное чувство одиночества и равнодушия овладевало героем по мере того, как он вдыхал более теплый, наполненный ароматами воздух...

Солнце, лучезарное солнце!.. Пирифой был уже снова под открытым небом и как-то странно озирался по сторонам. Он сидел на лужайке, поросшей свежей мягкой зеленью. До ушей его долетал немолчный плеск морского прибоя. Птицы пели и носились в воздухе. Над яркими, душистыми цветами гудели шмели и порхали беззаботные бабочки. Небо было синее-синее, точь-в-точь такое же, как в день свадьбы с Гипподамией. Мысль о жене пронеслась в голове Пирифоя и заставила болезненно сжаться сердце героя. “Гипподамия, где ты?” — со стоном вырвалось у него из груди...

Сын Иксиона побрел вдоль берега многошумного моря. Волны были мутны, словно после страшной бури, хотя небо было чисто и безоблачно.

Герой все чаще и чаще натыкался на следы недавнего землетрясения. Вот обвалившаяся хижина. Кругом толпятся блеющие козы. Подойдя ближе, Пирифой увидел убитого обломком скалы пастуха, одетого в баранью шкуру. Неподалеку валялся плащ мертвеца, который герой надел на себя. У самого входа в пачугу лежали два хлеба и несколько кругов сыра. Ими он утолил начинавшийся голод. Козы охотно дали себя подоить...

С длинным посохом в руке шел Пирифой по Эллаге; шел он к Фракии, куда манило его воспоминание о Гипподамии. Как изменилась его родная страна; какие большие города на ней выросли, какие дороги! Не было больше чудовищ, пожирающих людей. Но вместе с ними исчезли герои и боги...

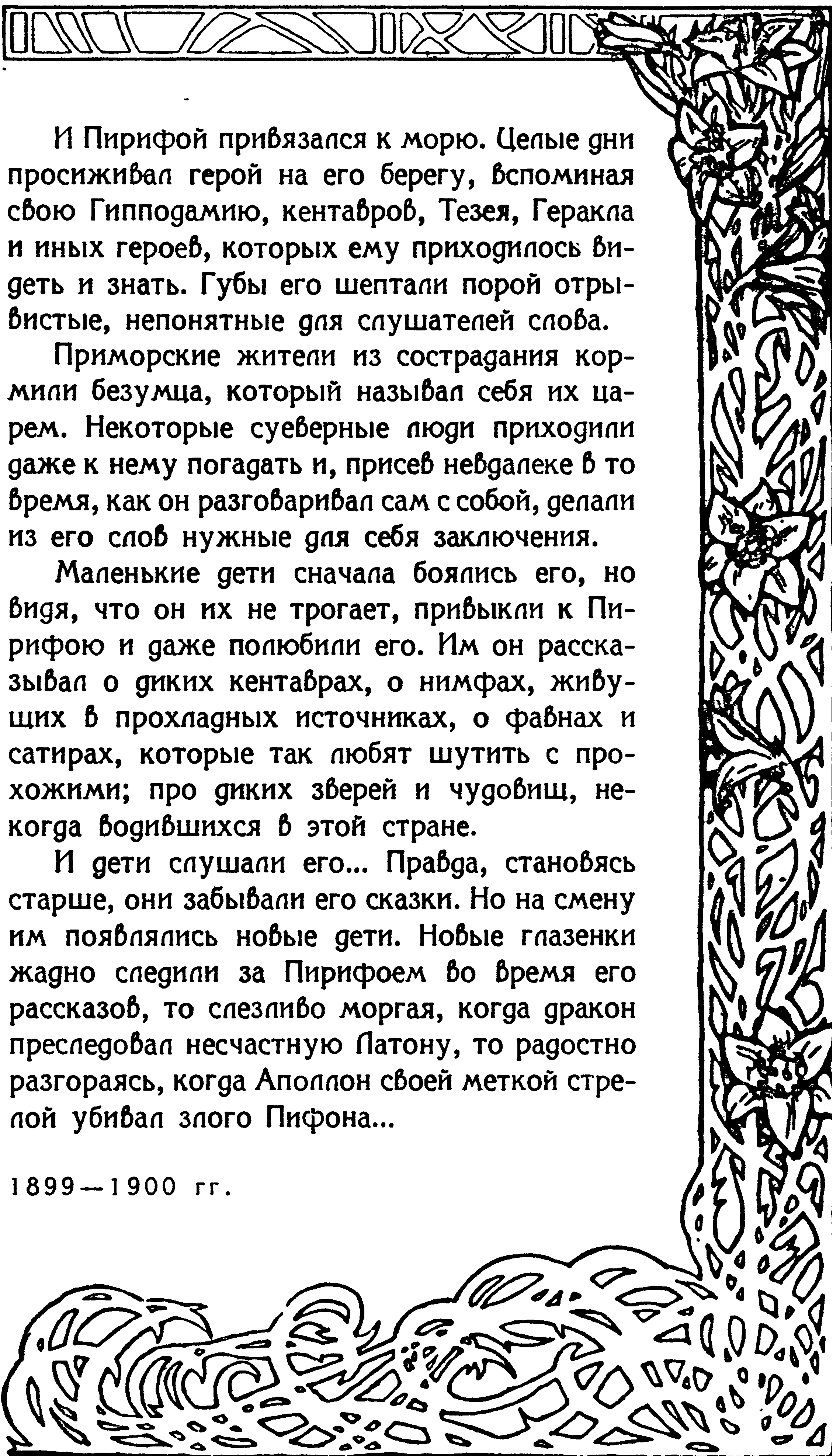
Даже пастухи, удивлявшиеся выговору Пирифоя, смеялись над ним, когда он расспрашивал про кентавров. Простые люди считали его помешавшимся в рассудке во время последнего землетрясения. Они охотно давали путнику приют и делились с ним своей неприхотливой пищей.

Шел он, обходя города, шум которых был ему неприятен, избегая больших дорог, на которых то и дело встречались отряды людей, закованных в панцири и говорящих на неизвестном языке. Неведомая сила тянула его на родину.

Но и родина обманула его ожидания. Реки обмелели. Ручьи и источники иссякли. Вместо них журчали новые. Леса были вырублены чуждыми дровосеками. Нимфы и сатиры покинули Элладу. Некоторые люди говорили, что их никогда и не было...

Царь лапифов не узнал своей родимой земли.

Полный горькой тоски, пошел он к берегу моря, приветливо ласкавшего скалы. Правда, берег несколько изменил свои очертания, но море осталось то же. По-прежнему шумело оно, темно-синее, загибая белые гребни. По-прежнему над ними носились крикливые чайки, купаясь в прозрачном воздухе и серебристой пене волны. И немолчный ропот его был таким же, как и много сотен лет назад, когда на земле бродили еще чудовища и Эллада не знала пришельцев...



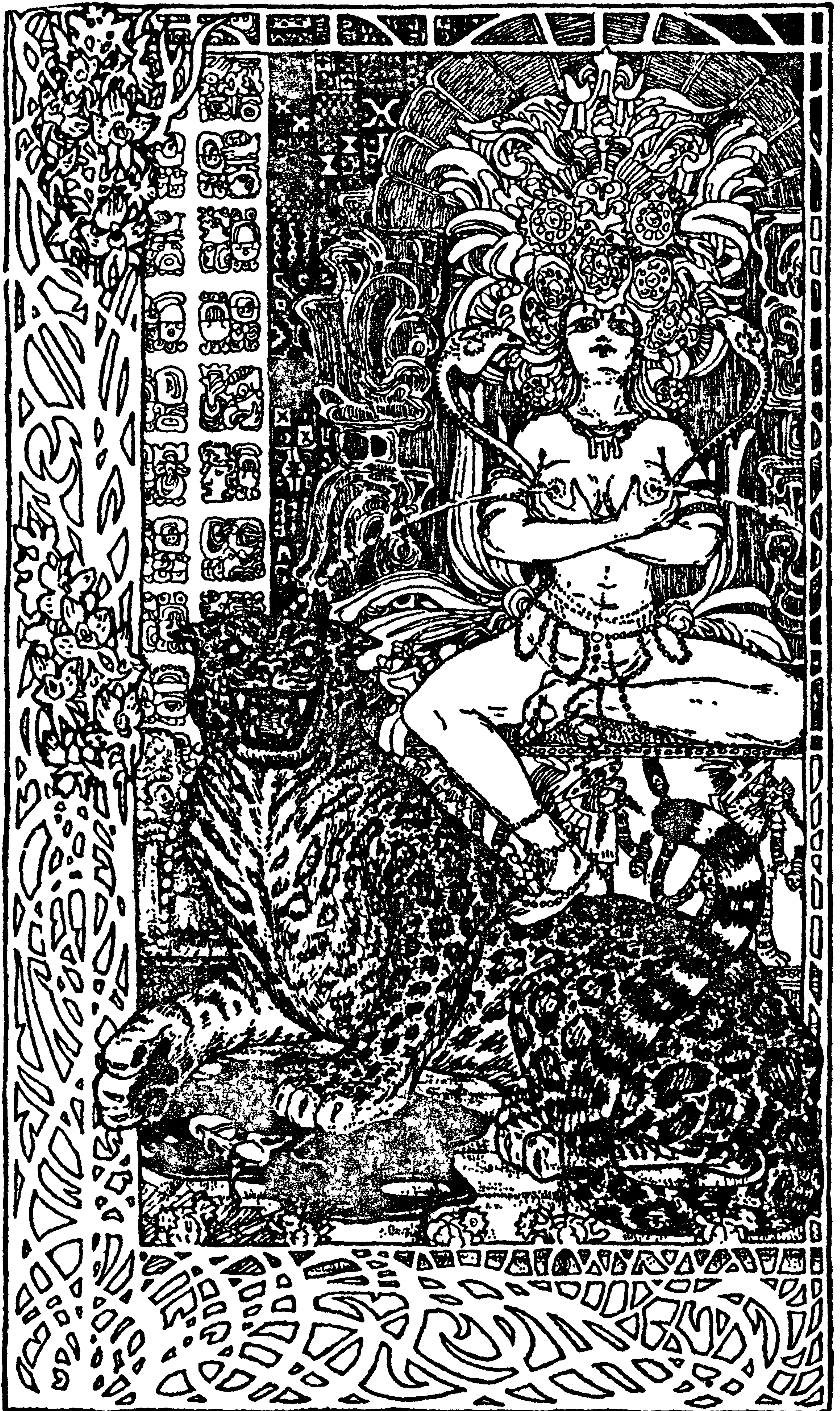
И Пирифой привязался к морю. Целые дни просиживал герой на его берегу, вспоминая свою Гипподамию, кентавров, Тезея, Геракла и иных героев, которых ему приходилось видеть и знать. Губы его шептали порой отрывистые, непонятные для слушателей слова.

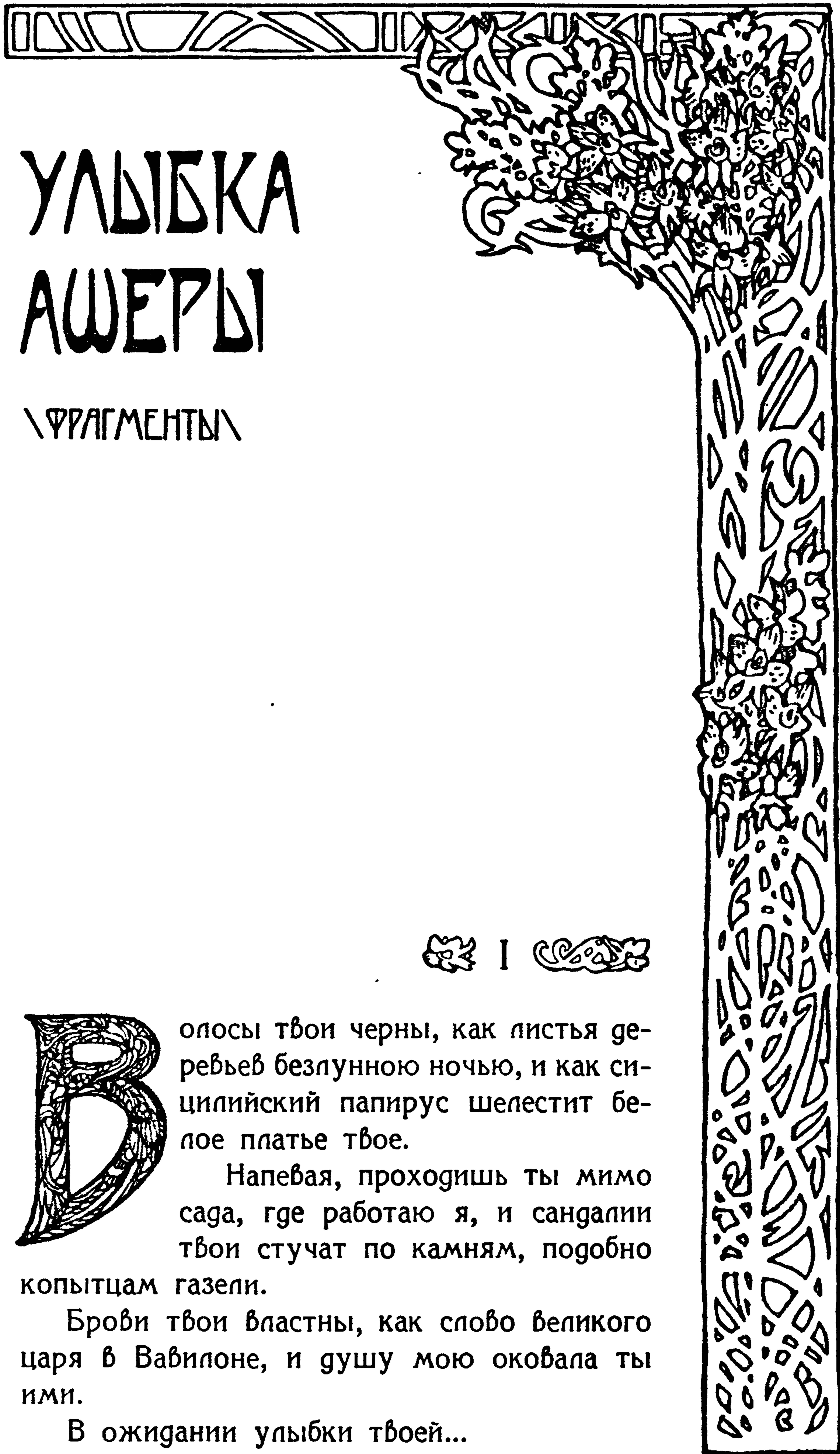
Приморские жители из сострадания кормили безумца, который называл себя их царем. Некоторые суеверные люди приходили даже к нему погадать и, присев невдалеке в то время, как он разговаривал сам с собой, делали из его слов нужные для себя заключения.

Маленькие дети сначала боялись его, но видя, что он их не трогает, привыкли к Пирифою и даже полюбили его. Им он рассказывал о диких кентаврах, о нимфах, живущих в прохладных источниках, о фавнах и сатирах, которые так любят шутить с прохожими; про диких зверей и чудовищ, некогда водившихся в этой стране.

И дети слушали его... Правда, становясь старше, они забывали его сказки. Но на смену им появлялись новые дети. Новые глазенки жадно следили за Пирифоем во время его рассказов, то слезливо моргая, когда дракон преследовал несчастную Латону, то радостно разгораясь, когда Аполлон своей меткой стрелой убивал злого Пифона...

1899—1900 гг.





УЛЫБКА АШЕРЫ

\ ФРАГМЕНТЫ \



Волосы твои черны, как листья деревьев безлунною ночью, и как сицилийский папирус шелестит белое платье твое.

Напевая, проходишь ты мимо сада, где работаю я, и сандали твои стучат по камням, подобно копытцам газели.

Брови твои властны, как слово великого царя в Вавилоне, и душу мою оковала ты ими.

В ожидании улыбки твоей...

Ибо когда улыбаешься ты, о карфагенянка, я забываю плен свой, тоску по родине и все клятвы мои, оставленные девам Родоса...

II

Твердой мотыкой я бью желтую рыхлую землю. Горячий пот ручьями струится по моей обожженной солнцем спине.

Усталый, я не могу разогнуть поясницы; в глазах же моих танцуют красно-зеленые пятна...

О бог Аполлон, сжался над эллином! Некогда я, подобно Тебе, натягивал лук...

А вы, приморские ветры, дохните в лицо мне свежестью волн и принесите на крыльях своих аромат черно-синих волос той, кто прекраснее всех в стране Ашторет!

III

Как заря, румяны ланиты твои и, как черные звезды, глаза.

Легка походка твоя, и сладко звенят золотые цепочки у ног.

Благоухание струят белые цветы в волне твоих пышных волос.

Отдаваясь солнечной ласке, как радостный сон проплываешь ты мимо меня, светлым легоньким зонтиком защищая от загара лицо.

Бойся тягостных стрел знойного Локсия, финикийская дева! Вечером проходи мимо не защищенных тенью полей.

Вечером и твоя тень станет глинянее, и тогда, пав на колени, я могу незаметно ее поцеловать...

IV

Свобода и месть снились мне этой ночью.

Как белые призраки встали вдали очертанья триер славной Эллады.

Дружно били по чуждым волнам тяжелые весла. Ярко пестрели вдоль по бортам боевые щиты, где на красной доске гордо белело рогосское Ро.

И одно за другим тонули в жестоком бою встречавшие эллинский флот суда карфагенян.

А когда по каменным плитам объятого ужасом порта задвигались стройно в звонкую медь одетые лохи, когда запели тревожно глинные трубы и неподвижные трупы легли по площадям и на ступенях храма Мелькарта,— я вышел навстречу гоплитам Эллады.

Вместе с ними жег я дворцы и убивал карфагенян, пока не приблизился к черному дому, где с высоких дверей скалили зубы золотые пасти разгневанных львов.

С обрызганной кровью секирой в руках перепрыгнул я за порог.

Ибо знал я, что ты стоишь недалеко... Но когда я увидал тебя в одежде, белой как мел моего родимого острова, нежный твой лик заслонил для меня и разубранный пышно дворец, и трупы, и тяжкою медью одетых гоплитов Эллады...

Затем все исчезло, и сердце мое болезненно сжалось.

То наступил мне на грудь, будя меня для постыдной работы, суровый надсмотрщик с кожаной плетью в руках.



Вновь и вновь мечтаю я о тебе, и, подобно крыльям Психеи, мелькает передо мной повсюду светло-прозрачное платье твое, и тихо звенят золотистым смехом цепочки у девственных ног.

Знаю — парным молоком серых ослиц дважды в день моешь ты эти нежные ноги, дабы не загорала кожа на них.

И черные рабыни твои ссорятся между собой из-за того молока, пока алая кровь не окрасит их твердые ногти.

VI

Ты, кого здесь называют Ашерой, чье изваянье с синевой птицей у каменных персей стоит на высотах, Ты, перед кем среди золотых треножников гордого храма на Эриксе равно простираются и греки, и карфагеняне, Ты, чей вздох воздымает волну и отнимает сон у влюбленных, чей смех разливает безумный восторг полного счастья,— я Тебя заклинаю: будь благосклонна ко мне и сделай то, о чем я теперь не смею мечтать!

VII

Ярко горят знаки небесных зверей на черно-синем плаще царственной Ночи. Давно угасли все огоньки в скважинах ставень. Недвижны темные купы деревьев. Все спит. Один только я, не боясь потревожить собак, торопливо рву при сиянии планет цветы перед террасой дворца.

Из хрупких лилий, нежных вьюнков и шипами усеянных роз сплету я венок, чтобы повесить его на темно-бронзовой двери твоей.

Пусть алые капли из наколотых рук оросят белизну невинных цветов, мешаясь со слезинками Ночи.

Всю мою кровь готов я отдать, дабы хоть на миг обладать твоей белизной...

VIII

— Убежим! Убежим! — шептали мне ночью товарищи.— Пьяны сегодня по случаю праздника все сторожа. Ночь пролетит, и далеко за пределами города встретит нас своею улыбкой горящая волю пустыня.

Охотно примут дети ее тех, кого угнетал Карфаген. Там не будем мы больше рабами!

И я внимал их речам, полный раздумья...

— Уплывем вместе с нами,— звали меня двое гру-
гих.— Давно присмотрели мы лодку возле дворца, там,
где море лижет крутые ступени лестницы, ведущей из
сада. Пазурно-зеленые споют нам шумную песню сво-
боды и на своих белых гребнях отнесут обратно на
родину...

И я молчал, уныло склоняясь головой.

К утру наша тюрьма стала пуста.

Там остался лишь я, ибо сердце мое незримою цепью
приковано к этим местам.



— Почему не бежал ты вместе с другими? — спросили
меня сторожа.

— Мог ли я прогневить моего господина? Он кормит
меня и дарит дыхание жизни. Мне ли бежать от его бла-
гословенного лица!

Да и куда мог бы укрыться я от карающей десницы
его? Ни пески пустынь, ни волны морские не защитили
бы меня от его львиного гнева!

— Ты хорошо говоришь,— ответили мне сторожа,—
но речи твои не помогут нам избежать наказания.



В утреннем сне Ты мне явилась, Богиня, такую, как
тебя почитают местные жители. Бессмертный лик был те-
мен, как изваянье из черного камня в коринфском пред-
местье, где среди кипарисов на вершине горы высится храм
твой, о Меленида.

И когда я, простершись во прах, стал просить Тебя
соединить меня с той, кого я люблю, Ты улыбнулась мне
и произнесла:

— Лишь неутоленные милы желания.

Но тогда я стал заклинать Тебя всеми мольбами, какие
помнил и знал, пока Ты смягчила сердце Твое, и я не

услышал звучащий, как музыка систров в храмах Египта, божественный голос:

— Да сбудется то, о чем ты просил.

Слава Тебе, радость дарующая Афродита!

Скоро сбываются сны, которые мы видим пог утро.

XI

В фиолетовом ярком плаще, на груди по-женски застегнутом сверкающей пряжкой, вылез он из носилок и вперевалку, походкой привыкшего к бурям набарха, пошел по террасе дворца.

Два эфиопских мальчика в зеленых одеждах побежали за ним, осеняя черную с золотом митру опахалами из ярких перьев сказочных птиц, поющих в сагах геспериг.

Все мы разом легли перед ним, ткнувшись лицом в базальтовые плиты помоста.

Это был Бармокар, чья пентера с острыми бивнями решила участь упорного боя карфагенян с флотом сицилийских союзников.

XII

Над берегом канала, в зеленых кустах сию я вместе со свирелью моей, не обращая внимания на летающих вокруг блестящих стрекоз.

Думы мои со звуками песни рвутся из середины спянных воском стволов тростника. Думы мои несутся к тебе, кого я вряд ли увижу.

С тех пор как услали меня из Карфагена управлять загородным поместьем отца твоего, дни и ночи я пребываю в тоске.

Где ты? Что делаешь ты, финижиянка?

По-прежнему ли ходишь ты мимо ограды, за которою я когда-то работал, купаться в морской прозрачно-зеленой воде, где тело твое кажется мраморно-белым?

О, как любил я созерцать это стройное тело из густых кустов на прибрежном обрыве!

XIII

Когда обессилевшего после долгого плаванья по волнам среди обломков снастей и утопавших матросов втащили меня, протянув мне весло, на палубу карфагенской пентеконтеры и там я расстался с проглоченной мною горькой морской водой, мне показалось, будто я вновь родился на свет.

Хотя и знал я, что должен проститься с свободой. Рок и Ананкэ пощажали меня, когда среди пленников отбирали людей для торжественной жертвы Мелькарту, и я не пошел вместе с другими в гигантскую печь.

Теперь, великие боги, вы оторвали меня от лицезрения той, ради кого я позабывал все ужасы рабства, всю тяжесть труда под лучами беспощадного солнца. Ради чего, показав мне ее, вы швырнули меня среди виноградников и пальмовых рощ чуждой страны?!



XIV

С вершины Атабириса, где теперь наверно достроен уже гордый храм Зевса, созерцал я когда-то родимый мой остров с его тремя городами, где поселилось племя Геракла.

О Родос, о прекрасная нимфа, дочь золотокудрой Киприды, никогда я не забуду тебя и твоих меловых белых утесов, плодоносных рощ, искусно возделанных нив и покрытых сочными травами пастбищ!

Выплыв из теплых волн зеленого моря, ты пленила некогда взор Гелиоса. Семерых сыновей подарила ты пышнокудрому богу. Они населили Камир, Пинг и Иалис.

О Феб Аполлон, быть может, я прихожусь потомком Тебе! Помоги мне, Светозарный, вернуться на родину!

 XV 

Ночью была милосердна ко мне Богиня богинь. Она соединила меня в сладостном сне с тою, кого я люблю. Подобно стеблю девственной лилии, склонялся ко мне нежный стан карфагенянки. Смыкались за спиною моей горячие руки. Прижимаясь ко мне, трепетало стройное тело, а пропитанные арабийскими ароматами косы образовали вокруг моей головы вторую душную черную ночь... О, сколько блаженства я испытал! Неужели мне суждено насладиться им только во сне?

 XVI 



Сегодня вновь переживал я юные годы мои.

Вспоминал, как в детстве манили меня званье похага, золотой браслет на левой руке и блестящие с узорами поножи.

Тройной ряд гребней на шлеме стратега и его ярко-пурпуровый плащ грезилась мне как высшее счастье.

Ржанье коней выступающей с топотом агеми и звуки трубы казались мне самою сладкою музыкой, тогда как теперь мне приятней всего вспоминать серебристый смех моей госпожи.

Так смеются только хариты на недоступном Олимпе.

 XVII 

В юности я хотел быть поэтом. В нашем розами заросшем саду мечтал я о славе Кратина и Анакреонта; старался подражать изнеженным движениям Агафона; грезил о том, как молодые девушки при дворе тиранов будут умащать благовониями мои переплетенные повязками кудри, а голые мальчики с голубиными крыльями за спиной будут подносить мне золотую чашу с хиосским вином.

Но никто не читал написанных мною поэм, никто не видал хотя бы одной dokonченной песни.

И ветви темно-зеленого дельфийского лавра для победного венка моего до сих пор остаются не срезанными.

Боевая жизнь и тяжелая работа веслом отучили меня от бесплодных надежд. В погоне за галерами пиратов, в битвах у скал Херсонеса и под стенами Византии я позабыл о когда-то заманчивой славе слагателя строф, и все песни мои схоронил я в душе у меня.

Теперь воскресли они и рвутся наружу.

❁ XVIII ❁

Парою мулов, белых, как молоко, запряжена была повозка твоя, с серебряным ободом и блестящими спицами в колесах.

От жгучего солнца ты пряталась в ней, но дрогнула при въезде в ворота темно-синяя занавеска у оконца.

Дрогнула, и показалась в нем прекрасная тонкая рука с цветными камнями на многочисленных перстнях.

А за ней мелькнуло на миг, на один только миг, в полусумраке хамаксы продолговатое лицо с большими темными глазами.

Слава Тебе, Афродита-Ашера! Знаю, близко теперь исполнение того, что Ты мне обещала.

❁ XIX ❁

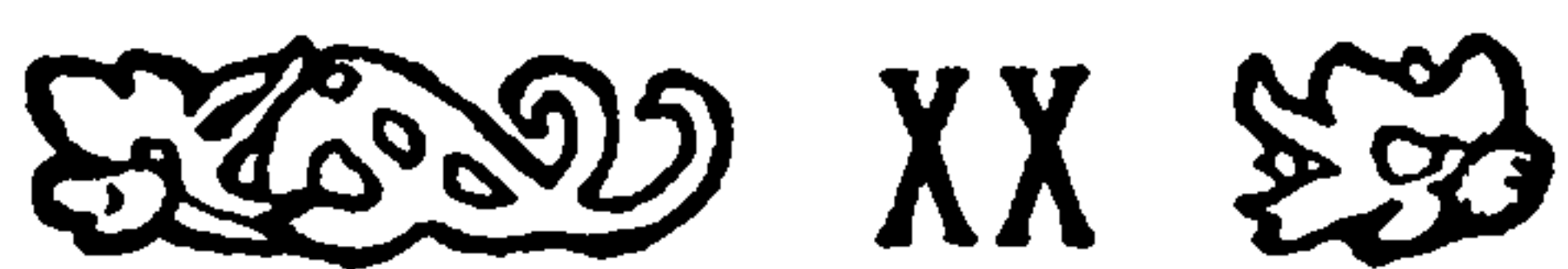
Свершилось!

Этой ночью я был властелином моей госпожи. Перешагнув через труп беззвучно задушенной мною черной рабыни, я приблизился к ложу, где, разметавшись во сне, тихо дышала, сомкнув черные стрелы ресниц, дочь Бармокара. Сперва, испугавшись, она хотела кричать и пыталась бороться. Но сопротивление не было сильным, и я победил. Я насладился победой, насладился ею до пресыщения. Ближится утро. В предрассветном тумане, сквозь щели оконного полога, ярко блестит звезда всемогущей богини.

О Афродита-Ашера, недаром Тебя называют жестокой. Я понял теперь значение Твоей полной презренья улыбки.

Та, кого я считал земным Твоим воплощением, простая смертная женщина. Утомленная, она шептала мне те же слова, которые я так часто слышал от косских гетер и легкомысленных купеческих жен малоазийского берега, и так же, как те, она меня обнимала, такие же дарила мне поцелуи, и даже менее искусно, чем кипрские гieroдулы. У меня нет больше желаний!

О Афродита, недаром Тебя называют жестокой!



В доме зашевелились. На дворе перекликаются звонко рабыни. Скрипит колесо у колодца. Громко кричит обременяемый вьюком осел.

Я гляжу на ту, которая мне была так желанна.

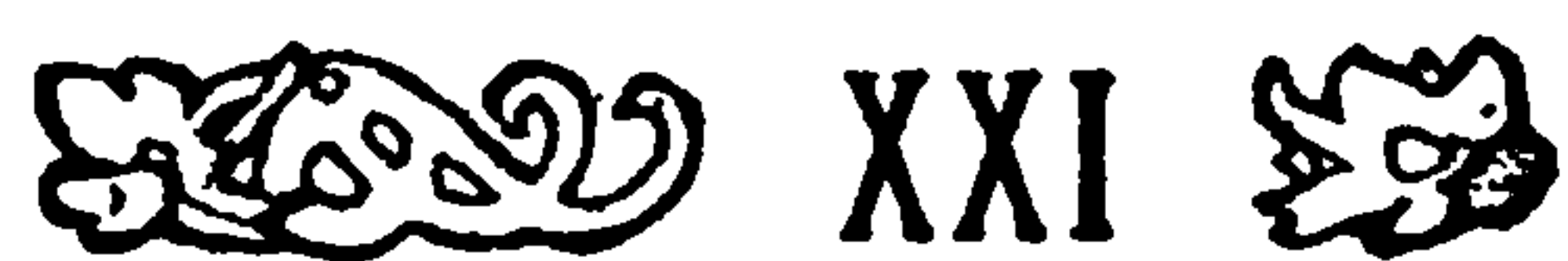
Карфагенянка сидит на ложе своем и ловкими пальцами соединяет проворно золотые тонкие кольца порванной цепи у ног.

Который раз она делает это?!

Вот, закончив работу, она потянулась ленивым движением пресыщенной пантеры и, улыбаясь, глядит на меня. О чем она думает? О казни, которой я буду подвергнут? По всей вероятности, я буду распят; может быть, с меня снимут медленно кожу...

А время идет. В конюшне ржут жеребцы, приветствуя утро. Под наблюдением моим подготавливались они для гипподрома. Два самых лучших из них наверно в этом году одержат победу на играх...

Если я сам не умчусь на них далеко отсюда... Довольно рабства! Воспрянувший дух мой рвется на волю.



Шибче, шибче летите, мои скакуны! На одном я сижу, другого твердой рукой, по обычаю скифов, держу в поводу, и он скачет возле меня. Погони пока не слышно за мною.

Раб, выгадвший, как я резал поджилки другим лошадям, никому из живых не скажет об этом.

Другой раб недвижно лежит в воротах, где он пытался загородить мне дорогу, слышав вопли моей госпожи.

Как звонко звала дочь Бармокара на помощь себе и кричала мне вслеп:

— Хватайте убийцу и вора! Держите его! Бегите за ним! Этот злодей пытался меня обокрасть и убить!

На левом запястье моем сверкает золотой карфагенский браслет.

XXII

Издали слышал я топот его скакуна и, оглянувшись назад, остановил усталый бег своего жеребца.

Степной хищной птице подобен был этот наездник пустыни; с клювом орла сходен был тонкий загнутый нос на темном лице; как мощные крылья, развевался на скаку за спиной его светло-серый развернутый плащ. На плоских стременах подымался он, с пронзительным криком вертя над головою клинком.

Я тронул коня навстречу ему, и наши мечи, скрежеща, узнали друг друга. Мой оказался глинянее, и скоро, подняв на дыбы скакуна своего, повернул наездник степей и с водем умчался обратно... Крупный песок брызнул в лицо мне из-под конских копыт... На моем утомленном гнедом я не мог пуститься в погоню за ним, и скоро враг мой скрылся из вида.

В белой пыли лежит его загнутый меч с костяной рукояткой, запачканный кровью из разрубленной мною кисти руки.

XXIII

Я спокоен теперь. Не поймали меня нумидийские всадники. Одна лошадь пала, другую я продал встречным купцам. Мимо соленых озер одиноко бреду я по направлению к белому прибрежному городу.

Густая пыль покрыла ноги мои, одежду и бороду. Что-то мне готовит грядущее?

Но что бы ни случилось со мною — никогда, никогда не придется мне пережить столько надежд, томлений и муки, как возле высоких черных дверей, с которых мне скалили зубы алчные пасти бронзовых львов.

XXIV

Привет тебе, город, вставший передо мною из-за песчаных холмов, покрытых терновником и высокими кактусами.

Плоские кровли низких домов, тонкие высокие башни и белые купола окруженных кипарисами храмов. Мимо садов и виноградников тянется дорога моя, мимо изгородей из запыленных алоэ.

Звеня бубенцами, идут мне навстречу, колыхаясь на глиняных ногах, вслед за мальчишкой погонщиком, гордо держащие голову верблюды. Все чаще и чаще попадаются люди.

Иду мимо костров кочевников, что ютятся в ямах недалеко от стены. Не обращаю внимания на призывные жесты загорелой тонкой руки и блеск черных глаз девушки из этого бродячего племени.

Я не бродяга, а путник, ходивший на поклонение святыне. Застигнутый болезнью, я отстал от своих и теперь на корабле хочу вернуться на родину.

Так скажу я страже, если она остановит меня в городских воротах.

XXV

Женщина с розами у висков в черных невыкрашенных волосах, в платье, которое раньше было более яркого цвета, я желаю отдохнуть у тебя после пути. Я не разбойник. Вот тебе серебряная монета с изображением пальмы. Ты

получишь столько же за каждую ночь, проведенную мною под кровом твоим.

Я не буду жить у тебя, ибо знаю, что запрещено это законами, написанными в пользу богатых содержателей гостиниц, но хотел бы, чтобы твоя дверь не запиралась для меня после заката.

А также и днем, если захочется мне скрыться от зноя.

XXVI

Одна за другою встают высокой стеной и с шумом бегут по отлогому берегу желто-зеленые мутно-прозрачные волны.

Из многолюдной гавани, после бесплодных поисков судна, идущего на Родос, в Эфес или Смирну, я люблю уходить в это место, куда не долетает докучный шум города.

Здесь не кричат погонщики мулов и продавцы, не ссорятся громко лодочники и водоносы и не глядят прямо в душу пытливые-жадные взоры курчавых финикийских досмотрщиков.

XXVII

Из тростника, покрытого глиной, сделаны бедные стены жилища твоего, женщина с голубыми звездами на желто-бато-темных щеках.

Убога утварь твоя. Несколько брусьев заменяют скамейки и стол, а потертый тирский ковер на тюфяке из соломы служит тебе местом для дневного сладкого сна и ночной трудной работы.

Тощая кошка с порванным ухом тщетно нюхает что-то в закопченном горшке возле стены.

XXVIII

Вечер. Я сижу на прибрежном камне, слушаю шепот прилива, гляжу на закат алого солнца в оранжевом небе, откуда

оно готово спуститься в глубину золотых сверкающих волн... Темнеют красноватые скалы. Розовеют вдали увенчанные белыми башнями вершины горных хребтов.

Неподалеку слышно блянье игущих на ночь с поля коз и овец.

Пора и мне подыматься, дабы до наступления тьмы вернуться в город, пока не запрут тяжелых ворот в высокой светло-серой стене,— но я не могу не посмотреть еще раз на белый парус плывущей в море галеры.

Когда же, наконец, и я буду качаться на шумных волнах, слушать свист ветра в корабельных снастях и отрадно вдыхать полною грудью свежий ветер, насыщенный запахом моря?!

XXIX

Ты знала лучшие дни, женщина неизвестного племени, столь же плохо, как я, произносящая финикийские слова.

Как шафран, желто тело твое с надрезами по краям живота и синими узорами на преждевременно поблекших грудях. Следы обручей на ногах у тебя и серебряная проволока в ушах. Из запачканной тонкой, похожей на косскую, ткани сделана одежда твоя, висящая возле меня на стене.

Сама ты, обнаженная, на корточках, сидишь в полутьме среди земляного плотно убитого пола и молча глядишь на красные угли, где порою трещат каштаны, горох и бобы.

Издалека доносится к нам от улиц уснувшего порта разгульная песня пьяных матросов.

XXX

Сегодня я вспоминал о прежней жизни моей.

Много стран дали увидеть мне боги, много объехать морей. Я пил мутно-желтую воду великой реки в

египетском Мемфисе. Знаю вкус молока кобылиц в скифских степях за Херсонесом; видел вход в царство теней на флегрейских полях по ту сторону моря; пил вино и пробовал хлеб у многих народов; испытывал ласки опытных в науке любви женщин Коринфа, Тира и Библоса.

Я все изведал, все видел, и нет у меня больше желанья скитаться по влажному лону морей и пыльным дорогам земли.

 XXXI 

Сладостны звуки трубы перед боем, мерный топот фаланги, дружно идущей навстречу врагу, вид крутящихся в облаке пыли алых гребней и блеск сверкающих копий. Велика радость победы при звонких кликах расстроенных боем, кровью и пылью покрытых синтагм...


Приятно слышать имя свое трижды провозглашенным на играх и ощущать слегка увядшую зелень оливы на орошенном горячим потом челе.

Отрадно вдыхать аромат тяжелых распущенных кос чужеземной красавицы, чувствовать руки ее у себя на спине и внимать бессвязному лепету ярко покрашенных уст.

Но всего отрадней смотреть на золотисто-алый закат у берега моря и знать, что вечно шумящие могут тебя укрыть навсегда от брюзжания алчных вождей, завистливых взоров грузей, сырых сводов тюрьмы и тяжелой измены исполненных негою глаз.

 XXXII 


Довольно уныния! Кончилось время невзгод! Сегодня утром пришла галера с острова Кипра. Корабельщику я показал золотой карфагенский браслет, и он обещал меня





доставить на Крит, а также и на Родос, если
туда будут товары...

Неужели я вновь услышу знакомую речь,
увидю родные близкие лица?

Вновь войду в заросший розами сад, где
я провел свое полное грезами детство; вдох-
ну благоуханье цветов и, усевшись в тени
на скамье, буду следить за жужжащими
пчелами и слушать, как в школе по ту
сторону нашей ограды звонкие голоса ре-
бятишек распевают благозвучные строфы
старца Гомера...





ТОСКУЮЩИЙ АНГЕЛ

СЕРГЕЮ КРЕЧЕТОВУ

А вызвал его в морозную зимнюю ночь. Лунный свет проникал в большие оконные стекла, рисуя их переплеты на полу той комнаты под крышей многоэтажного дома, где я обитал. Близко к моему мелом обведенному кругу он не подходил. В углу, около шкафа, неясный и полупрозрачный, остановился он, долгое время не отвечая мне на вопросы.

Но когда я заклинул его бывшей на перстне моем пятиконечной звездой, ангел с печатью тоски на челе стал говорить:

“Ты желаешь знать, отчего я печален, отчего я одиноко брожу неподалеку от ваших жилищ, не отвечая долго на зов заклинаний,

ты желаешь знать имя мое,— так знай же, что имени я не имею.

Нас было много, прекрасных и сильных воинов неба над изумрудной землею, и тогда мы имели еще имена, вычеркнутые теперь из книги райских обитателей. Имена эти исчезли, как звук умолкнувшей арфы, как песня покинутой девушки, как забытый шепот любви.

С высоты Гермона смотрели мы на долины Ливана. Пятна коричнево-светлых и белых шатров разбросаны были среди высокой темно-зеленой травы. На ней паслись стада длинноногих стройных верблюдиц и курчавых черных овец. Звонко блеяли бараны, резко кричали козлы. Далеко, далеко прямою тонкою струйкой тянулся к небу синий дымок костра пастухов. С горной вершины видели мы, как на площадке в середине становища сидели вокруг седые как лунь длиннородые патриархи, ястребиными взорами наблюдая за пляскою дев. О, как прекрасны были они в час кроткого вечера, когда на темнеющем небе одна за другой зажигались тихие звезды. Под хлопанье жилистых, крепких старческих рук плясали стройные девы, бедрами, станом и грудью своей выражая пробужденные пляской желанья. Развевались их покрывала, бряцали на груди и на шее ожерелья из раковин и зубов диких зверей. Скрестив руки, позади восседающих старцев стояли, нахмурясь, чернокудрявые загорелые мужи. Они не доверяли отцам, которые каждое утро властным голосом их посылали далеко от взоров стыдливой невесты или ласк любимой жены в унылую степь, иногда на несколько дней. И плохо скрытая злоба мелькала порой на обветренных лицах у пастухов. Их жены кормили грудью таких же бронзово-смуглых голых детей. Иные варили что-то в покрытых копотью глиняных круглых горшках. Поджавши хвосты, остромордые худые собаки сновали среди граных палаток становища...

И не помню, кто из нас первый, обращаясь к другим, произнес: “Прекрасно тело дочерей человеческих, а пляска их веселит дух наш. Пусть не достаются они ни старикам, ни чернородым мужам. Ибо девушки эти достойны лучшего пожа. Жалок обычай, скудна утварь, бедна жизнь

детей человеческих. Низойдем к ним, возьмем себе дочерей их и научим от нас рожденных сынов иной жизни, не столь похожей на существование скота”.

И многие тогда воскликнули хором: “Надоело нам бесцельно летать по эфирным синим равнинам, охранять пустоту глубокого неба, хотим жить подобно тому, как живет на земле человек!”

И тот, кого звали прежде “Зрящим хвалу”, наш вождь, сказал нам: “Все ли хотите оставить небо и жить на земле, все ли хотите взять себе в жены дочерей человеческих?” И мы, как один, ответили: “Все!”

“Поклянитесь же в этом, дабы мне одному не быть за вас всех в ответе пред Тем, чье запрещенье мы преступаем”.

Ибо не велено было детям небес соединяться с дочерьми человека. И мы поклялись на вершине Гермона каждому взять себе в жены ту, которую он изберет.

Помню, как утром мы у колодцев напали на девушек нескольких соединенных становищ. Какой оглушительный крик поднялся над долиной Гермона! С каким громким визгом они убегали от нас по направлению к шатрам... Но разве может кролик спастись от орла? Все, кто тогда был у колодцев, попали в объятья сошедших на землю стражей небес. Все, кроме одной... Та, за которой я гнался, бежала, спасаясь, резвая и легкая, как антилопа. Быстро мелькали ее стройные ноги... Как ветер пустынь, я несся за ней, вдыхал аромат ее кос и шептал в ее порозовевшее ухо: “Не бойся, о дева, остановись! В объятья свои прими того, кто для тебя покинул течение планет! Клянусь, что я овладею тобой!..”

Но не понимала слов тех смятенная дева и бежала, замирая от страха.

Когда же я обвил ее стан, жаром и холодом охватив все ее существо, дочь земли вскрикнула тихо и сразу повисла на моих затрепетавших руках. Закатились глаза, и стало недвижно-строгим лицо. Напрасно я, положив на траву прекрасное тело, старался вернуть в него дыхание жизни. Оболочка души была покинута ею.

Оставив на попечение погбежавших на крик старых сгорбленных женщин мертвую девушку, пошел я туда, где

братья мои праздновали день своего расставания с небом. Все они уже избрали себе земных прелести полных подруг. Лишь я один остался без женщины.

Ибо умершая у меня на руках унесла с собой мою клятву.

И никого после нее не хотел я выбирать в подруги себе.

Многих женщин и дев предлагали мне братья, но от той пахло овечьим пометом, эта имела слишком широкие скулы и приплюснутый нос, третья была слишком потлива, четвертая — мала ростом, и ни одна не нравилась мне... А у братьев от жен их родились здоровые, крепкие дети, еще более привязавшие небесных стражей к земле.

Бывшие ангелы быстро рассеялись по всем странам вселенной, всюду знакомя людей с науками, ремеслами и заклинаниями. Жены и дочери человеческие добивались чести делить с ними ложе. Во всех племенах оставляли воины неба потомство себе, от всех народов принимая божественное поклонение.

Дети их стали могучими героями, превышая всех землерожденных ростом, силой и доблестью. Покинувшем небо улыбалась вечная, блаженства полная жизнь на земле.

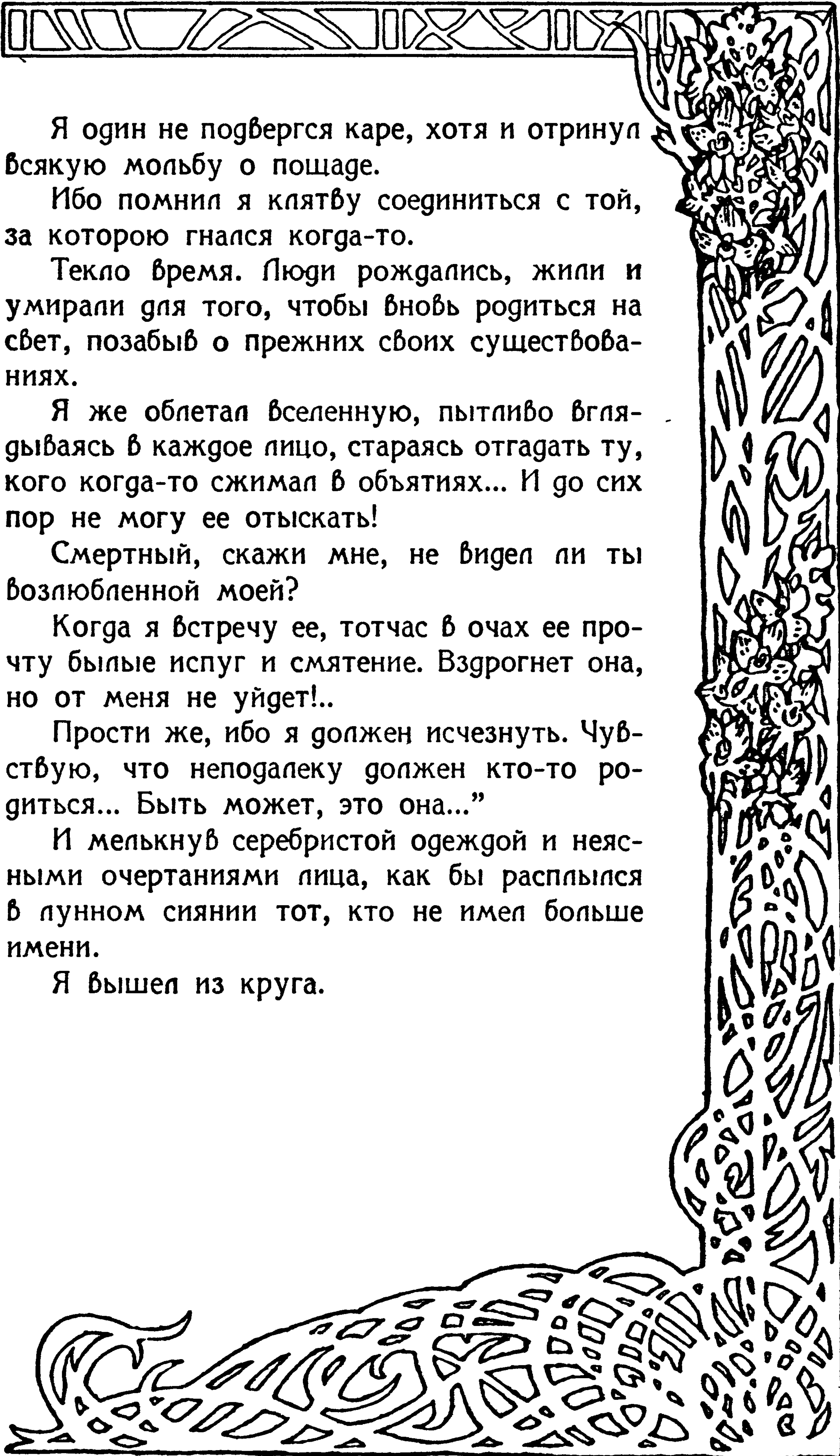
Но Тот, кого оставили мы, нас не оставил. Трех избранных любимцев своих во главе легионов послал Он, дабы наказать нас. Ибо кто был создан для жизни духовной, не должен был себя осквернять плотским соединением с женщинами.

И была битва на земле и на небе между бывшими Стражами и теми, кто прежде считался им братьями.

До сих пор сохранили смертные воспоминания об этой войне, называя ее распрей титанов.

Те из нас, кто не был ввержен в оковы и вечное пламя, скрылись в пустынных местах, охваченные постоянным страхом и трепетом.

Сынам же стражей, исполинам и героям земли, небесный посланник Рафаэль вложил в сердца взаимную ненависть, и они, один за другим, погибли в междоусобной войне. Все они умерли рано, и все были несчастливы. Образы их в камне и бронзе рассеяны в ваших музеях. Воспоминанье о них сохранилось в ваших сказках и мифах...



Я один не подвергся каре, хотя и отринул всякую мольбу о пощаде.

Ибо помнил я клятву соединиться с той, за которою гнался когда-то.

Текло время. Люди рождались, жили и умирали для того, чтобы вновь родиться на свет, позабыв о прежних своих существова- ниях.

Я же облетал вселенную, пытливо вгля- дываясь в каждое лицо, стараясь отгадать ту, кого когда-то сжимал в объятиях... И до сих пор не могу ее отыскать!

Смертный, скажи мне, не видел ли ты возлюбленной моей?

Когда я встречу ее, тотчас в очах ее про- чту былые испуг и смятение. Вздрогнет она, но от меня не уйдет!..

Прости же, ибо я должен исчезнуть. Чув- ствую, что неподалеку должен кто-то ро- диться... Быть может, это она..."

И мелькнув серебристой одеждой и неяс- ными очертаниями лица, как бы расплылся в лунном сиянии тот, кто не имел больше имени.

Я вышел из круга.



ЦЗ

ПРЕДАНИЦУ ТАРТАРА

С.И.ПАНОВУ

Ты меня звал, отец? — произнес молодой бессмертный в крылатых сандалиях, представ перед грозным нахмуренным Зевсом.

— Да, Гермес, ты мне нужен — сведи эту преступную деву в Аиг и скажи там Гадесу, чтоб он за ней наблюдал и ни под каким видом не выпускал обратно на землю... Эти нимфы совсем перестали чтить богов!.. Ты, кажется, улыбаешься?.. Смотри, Гермес, как бы и тебя не постиг мой гнев!..

— Нет, отец мой, смею ли я!..

— Не оправдывайся, я тебя знаю! Счастье твое, что ты мне нужен... Так ты сведешь ее в Аиг. Старайся не попадаться на глаза моей супруге... Я знаю, ты станешь выпытывать

по дороге у маленькой преступницы, за что постигло ее наказание. Но это бесполезно. Я уже отнял у нее дар слова... Слишком уже стали эти нимфы болтливы и очень много о себе думают... Ну а теперь поворачивайся и в точности исполни, что приказано.

Гермес подошел к провинившейся и взял ее за руку. Нимфа безропотно повиновалась. Сын Майи почувствовал только, как вздрогнула ее маленькая рука.

— До входа в Тартар можешь для скорости нести ее на руках. Не вздумай только увлекаться! — крикнул сыну в напутствие Зевс.

Привычным приемом поднял Гермес обреченную к ссылке и тут только заметил, что держит на руках почти девочку, с кротким виноватым лицом и глубокими синими глазами. Та только вздохнула и испуганно поглядела на своего провожатого, который не замедлил помчаться по воздуху.



Со свистом рассекали воздух волшебные крылья на сандалиях и шапочке бога. Высоко летели небесные путники над землею и морем. Так высоко, что маленькая нимфа жмурилась от страха. А Гермес на лету разглядывал порученную ему преступницу, доверчиво прижимавшуюся к его груди своим маленьким телом. Прикосновение ее легких рук заставляло пробегать какую-то дрожь по телу бессмертного, дрожь, которой боги подвержены наравне с людьми и не жалуются на это.

— Не вздумай увлекаться ею! — пронеслись в его памяти заключительные слова Зевса.

“Отец знал, что говорил”, — подумал Гермес и несколько замедлил полет.

Под ними зеленели поля, извивались серебристые реки. К небу неслась мелодия флейты. Группы детей, заливаясь радостным смехом, беззаботно плясали и бегали по изумрудной траве. Теплый воздух был напоен ароматом цветов. На морском берегу молодые девушки, сбросив платья, играли в мяч...

Нимфа Лара открыла глаза. Взор ее встретил наклоненное к ней лицо сына Майи. И это побледневшее лицо показалось ей таким страшным, что маленькая нимфа невольно затрепетала, как птичка, и снова сомкнула свои длинные пушистые ресницы.

Ей казалось, что несший ее бог как-то сильнее прижимает ее к своей груди...

А Гермес уже спускался.



Мрачные своды Аида приняли их в свою безотрадную сень. Своды эти привыкли уже видеть сына Майи. Привыкли они к стонам теней. Стоны эти были всегда тихие, мелодичные, похожие на шелест платанов при дуновении Эвра, на звон лиры, задетой легким крылом пролетающей ласточки. И вдруг теперь пронесся такой необычный резкий сдавленный крик. Крик живого существа, выражавший испуг и страдание.

И затем все смолкло. Ни одного звука больше не донеслось из темных закоулков Тартара, куда Гермес свернул со своей обычной дороги...

Но он там пробыл недолго. Ведя за руку порученную ему нимфу, олимпиец снова показался на прямом проторенном пути, освещенном слабым светом, падавшим откуда-то сверху. Походка его становилась все увереннее и торжественнее.

Маленькая пленница покорно следовала за ним, спотыкаясь порой об острые камни. Лицо ее было испуганно. На глазах блестели слезы...



Но вот Гермес повел ее к двойному трону, по сторонам которого красным пламенем с шипеньем горели четыре массивных светильника. На троне, увенчанном острозубой короной, сидел чернобородый повелитель Тартара. Рядом с ним, в золотисто-лиловом хитоне, расшитом алыми большими цветами, помещалась его скучающая супруга. У подножия трона, тихо ворча в полусне, дремал Цербер, трехглавый пес ада.

— Властелин,— обратился Гермес к царю подземного мира,— мой отец посылает к тебе эту преступницу и просит не выпускать ее обратно на землю.

— В чем она виновата? — почти тотчас же спросила Персефона.

— Это великая тайна,— важно произнес Гермес, как будто он знал эту тайну.

— И тебе ничего больше не велено передать мне?

— Нет, властелин, больше ничего!

— Хорошо, скажи моему брату, что желание его будет исполнено. Можешь идти.

— Передай также мой привет царственной Гере. Скажи, что ближайшей весной я собираюсь ее навестить,— добавила от себя Персефона, поправляя складки своего пышного платья.

Сын Майи сделал жест, которым хотел уверить, что не преминет исполнить поручение, и поспешно удалился.

Персефона меж тем, полулежа на черных мягких подушках, внимательно рассматривала преступницу.

— За что тебя сюда прислали? — наконец спросила она. Но маленькая нимфа молчала и на все вопросы царицы мрака отвечала только испуганным взором синих заплаканных глаз...

Не добившись от нее ответа, Персефона сказала мужу:

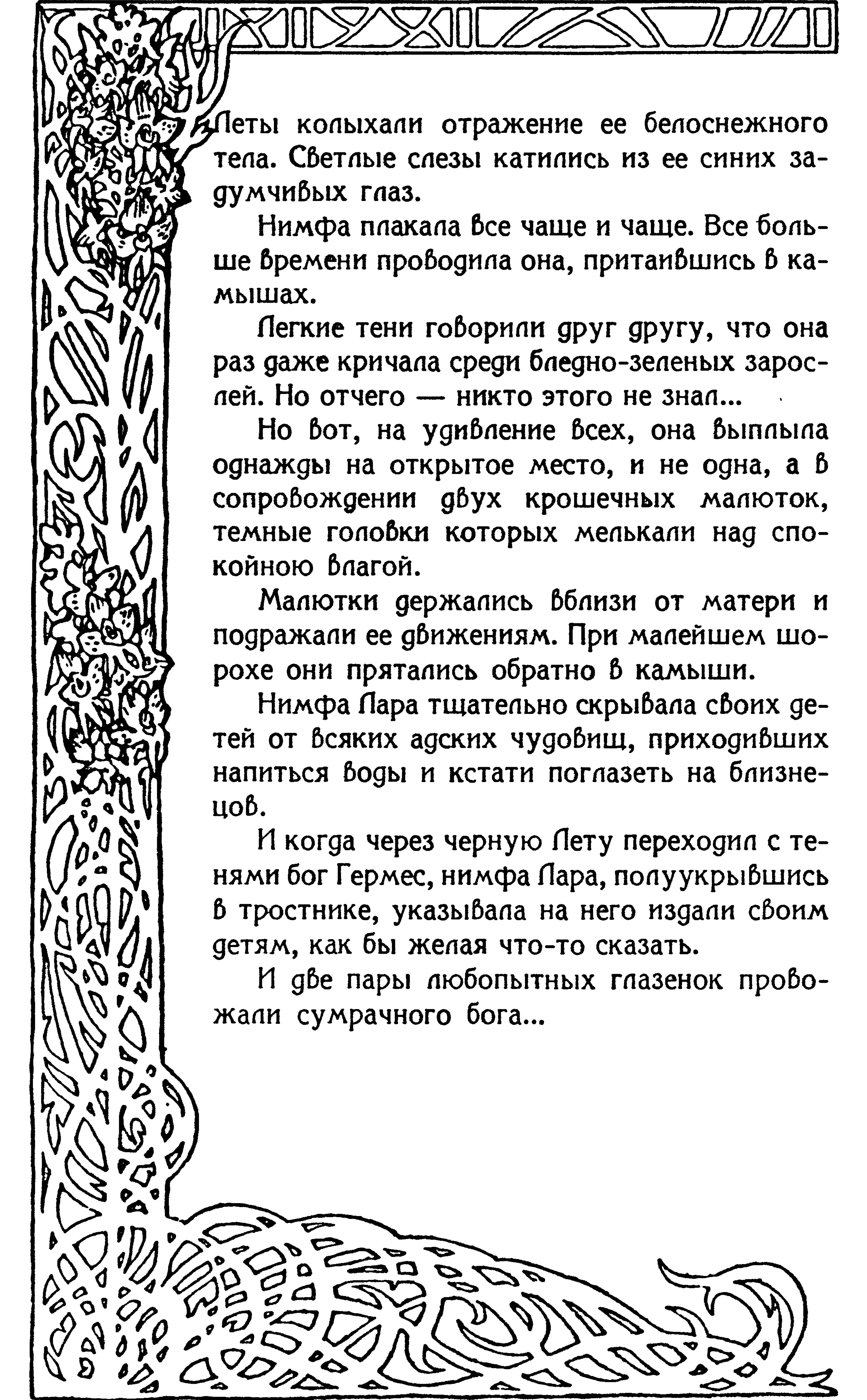
— Эта нимфа или нема, или чего-то боится и притворяется немою. Во всяком случае, она меня мало интересует. Я думаю, что ее можно поселить в тростнике, что растет на берегах Леты.

И маленькую нимфу поселили в тростнике.



Она скоро привыкла к своему новому помещению. Ей нравился тихий шелест высоких бледно-зеленых стеблей, над которыми не летало стрекоз. В них так удобно было прятаться, когда через Лету перебирался караван душ с этим страшным Гермесом во главе.

Чуть раздвинув камыш, она издали следила за богом с каким-то странным выражением на лице... Черные волны



Леты колыхали отражение ее белоснежного тела. Светлые слезы катились из ее синих за-гумчивых глаз.

Нимфа плакала все чаще и чаще. Все больше времени проводила она, притаившись в камышах.

Легкие тени говорили друг другу, что она раз даже кричала среди бледно-зеленых зарослей. Но отчего — никто этого не знал...

Но вот, на удивление всех, она выплыла однажды на открытое место, и не одна, а в сопровождении двух крошечных малюток, темные головки которых мелькали над спокойною влагой.

Малютки держались вблизи от матери и подражали ее движениям. При малейшем шорохе они прятались обратно в камыши.

Нимфа Лара тщательно скрывала своих детей от всяких адских чудовищ, приходивших напиться воды и кстати поглазеть на близнецов.

И когда через черную Лету переходил с тенями бог Гермес, нимфа Лара, полуукрывшись в тростнике, указывала на него издали своим детям, как бы желая что-то сказать.

И две пары любопытных глазенок провожали сумрачного бога...



НА НЕВЕДОМОМ ОСТРОВЕ

Н.С.ГУМИЛЕВУ

Когда Каллиник окончил свой рассказ о чудесных островах Сатригах, на которых обитают существа, похожие на мохнатых людей, афинянин Демофонт объявил присутствующим, что он может рассказать еще более чудесную историю о стране, где ему пришлось однажды побывать. Все мы приготовились слушать, радуясь такому состязанию двух мореходцев и зная, что Демофонт плавал не менее Каллиника.

— Я был тогда молод, — начал афинянин, — и чуть не бредил галеками морскими путешествиями, но дальше Эгины и Эвбейской Халкиды не был нигде, ибо отец мой не вел заморской торговли. Однажды к нему

зашел его друг, старый Ксидий, предложил рискнуть долей участия в далеком плавании. “Богач Критобул,— говорил он,— снарядил очень хороший корабль по азиатскому образцу и поручил мне выследить пути финикийской торговли за Гераклесовыми Столбами. Путь очень опасный, но обещает большие выгоды”. Отец мой вложил некоторую сумму в это дело. Я же, со своей стороны, принялся умолять старика, чтобы он отпустил меня вместе с Ксидием. “Ты бранишь меня за беспутство, коришь, что я расточаю твой трудом нажитые деньги с гетерами, дай же мне случай пристроиться к делу, которое мне приятно, ибо я хочу, подобно гегу, стать корабельщиком”.

После долгих настойчивых просьб мой отец согласился. При благоприятных приметах снялись мы с якоря и покинули Фалерскую гавань. Цель предприятия сохранялась в тайне. Даже матросам о нем сообщили только немного.

До Гераклесовых Столбов путь наш был весьма благополучен. Мы следовали за одним финикийским судном, которое всеми силами пыталось от нас уйти, но так как оно было очень нагружено, то это ему плохо удавалось. Однако радость наша по этому случаю была преждевременной, ибо вскоре за Гераклесовыми Столбами поднялась буря, угнавшая корабль наш в открытое море, где мы потеряли из вида финикийскую галеру. Целых десять дней носило нас по волнам, и мы стали уже опасаться жажды и голода, когда ветер неожиданно пригнал наше судно к неизвестной земле. Ксидий твердой рукой направил его в небольшую удобную бухту, которую он издалика разглядел своими зоркими, несмотря на возраст, глазами.

Наш небольшой острогрудый корабль почти вплотную пристал к отлогому берегу. Низкорослые ивы свешивались к самой воде, купая в океане свои нижние ветви. Радуясь утреннему солнцу и твердой земле, вытащили мы на песок нашу галеру и подперли ее с боков обломками весел.

Никакого признака людей не встретили взоры наши, как ни вглядывались мы в пустынное побережье. И лишь незнакомые птицы кричали нам, что мы нарушаем их покой,

да стаго тюленей лежало за мысом на песчаной отмели, бросая на нас удивленные взоры. Несколько штук их тотчас же стало нашей добычей.

Небольшой ручеек журчал, вливая свои чистые струйки в сине-зеленое лоно океана.

Оставив Лампрокла и Ксидия для охраны корабля, все остальные разбились попарно и пошли оглядеть окрестность. Со мной шел Филострат.

Это был много видевший на своем веку мореходец. Он говорил, что в юности своей плавал с финикийцами и побывал в Индии. Мне человек этот был приятен, и я любил слушать его рассказы. Единственным недостатком Филострата была ненасытная алчность, которая его впоследствии и погубила.

Мы пошли прямо от берега в глубь страны, думая встретить жилища людей, где надеялись достать вина, хлеба и рыбы.

Вслед за песками начиналось болото. Небольшие деревья, подобные соснам, с длинными мягкими иглами росли на нем вперемешку с густым темно-зеленым тростником. В иных местах вода и грязь была выше колена.

Большой зверь, похожий на сфинкса или водяную нильскую лошадь, с гневным пыхтеньем бросился из-под наших ног, обдав нас тиной и брызгами грязи.

Он скрылся из глаз так же быстро, как появился. А мы продолжали путь наш, пока не подошли к холмам, песчаные склоны которых возвышались пред нами.

Идти было трудно. Ноги наши тонули теперь в сыпучем песке. Обнаженные колени царапал колючий кустарник.

Опираясь на копья, мы взобрались на первую холмистую грядку. Болота за ней более не было. Дальше тянулись, переплетаясь на бесплодной равнине, такие же холмистые цепи. Изредка там и сям среди поросшей вереском и ползучими растеньями почвы подымались кустарники в рост человека.

Серые куропатки огромными стаями перелетали с места на место.

— Друг мой,— обратился ко мне Филострат,— ты сам знаешь, что на биреме у нас не хватает свежего мяса. Собираясь в путь, я опоясался пращой. Эти птицы не очень пугливы, летают тихо, а подпускают весьма близко. Я думаю, мне удастся убить их несколько штук.

— Ты хорошо сказал, Филострат,— ответил я,— мне кажется, что моя помощь в этом деле окажется тебе небезполезной. С детства привык я метать камни, а потому надеюсь, что и на мою долю достанется кое-какая добыча.

Так порешив, мы набрали камней и стали спускаться в долину. Подкравшись к ближайшей стае, мы разом метнули по камню во испугнутых птиц. Одному из нас посчастливилось перебить крыло летевшей уже куропатке. Удача окрылила наши надежды. С горячностью принялись мы гоняться за близко подпускавшими нас птицами; я заменил камни найденной тут же дубинкой, и вскоре несколько куропаток уже украшали мой пояс.

Охота завлекла нас за вторую грядку холмов, а потом и за третью. Местность между ними была очень однообразна. Все те же кустарники и тот же вереск... День уже близился к вечеру, когда мы, сильно устав, решили, что нами убито достаточно птиц и что время отправляться обратно к нашей биреме. Но тут оказалось, что мы потеряли направление и не знаем, в какую сторону идти.

Когда же мы попытались пойти наудачу, то попали в густую заросль кустарников, сквозь которую ничего не было видно.

Пробираясь этой зарослью, мы вновь подошли к какой-то песчаной грядке и решили влезть на нее, чтобы посмотреть, в какой стороне море и наша бирема. Но холм этот оказался не таким высоким, как мы ожидали: с него видны были только две окрестных долины, а другими, более высокими холмами заслонялись от наших глаз и море, и берег его, и вытянутый на мокрый песок наш просмоленный корабль.

— Смотри, Демофонт,— сказал Филострат,— за тою грядой я вижу вершину горы, очень похожую на кровлю

храма. Это совсем недалеко. Оттуда мы легко разглядим, куда нам нужно идти.

— Так,— отвечал я,— но знай, Филострат, скоро наступит ночь, засветло нам не добраться до нашей биремы. Кроме того, не лучше ли нам поискать где-нибудь свежей воды, ибо я умираю от жажды.

— Поверь мне, Демофонт, что и я изнемогаю по той же причине, но двигаясь, мы скорее найдем то, чего нам не хватает.

Я послушался Филострата, и мы пошли по тому направлению, где он заметил подобную кровле вершину.

По мере того, как мы к ней приближались, к цепким кустам равнины стали присоединяться новые, нам неизвестные, деревья. За следующей горною цепью мы заметили большее плодородие почвы, которая становилась красно-бурой. Деревья были выше, гуще и красивее. Среди них я узнал в надвигающихся сумерках кипарис, миндаль и гранату. В густой чаще нам несколько раз попадались поросшие мхом и сорной травой колонны и плиты развалин.

Небольшая звериная тропа, по которой мы шли, становилась все шире и сменилась наконец сильно заросшей мощенной камнем дорогой. Идя по ней вдоль разрушенных стен и пустых, с обвалившейся крышей домов, мы вышли на главную площадь пустынного древнего города. К площади этой со всех сторон сходились молчаливые мертвые улицы.

То, что мы считали вершиной горы, оказалось огромным зданием, сложенным из больших каменных глыб. Кусты и травы качались над плоскою кровлей; фронтоны же были наполовину разрушены.

Мы подошли к высокому зданию и невольно остановились.

По всей вероятности, это был храм. Суженный кверху, подобный египетским, вход был открыт и не имел запирающихся ворот или дверей. Одна половинка их лежала неподалеку, другой не было вовсе. По обе стороны входа, рядом с колоннами зеленого камня, стояло два бородатых приземистых идола, по моему мнению весьма безобразных.

В этом согласился со мною и Филострат.

Перед храмом стоял высокий тонкий обелиск из блестящего темно-красного камня. Постамент под ним покрыт был словами и знаками на языке, мне непонятном.

Тут наше внимание привлек шум воды. Я сказал об этом Филострату, и мы, поспежав к тому месту, увидели, что из пролома стены одного небольшого здания тонкою струйкой бежит, упадая в круглый бассейн, ключевая вода.

Поочередно мы напились холодной влаги, не забыв совершить из моей дорожной шляпы возлияние местным богам, равно как и Гермесу, покровителю мореходов и путешественников

— Очевидно, мы находимся,— произнес Филострат,— на одном из островов, где поселились когда-то гонимые Роком остатки народа атлантов. О них говорили мне финикияне. Племя это теперь совершенно исчезло с лица Земли.

Мы стояли неподвижно, пораженные видом странного здания, и вечерний ветер слабо шелестел вокруг нас среди высокой травы, поднявшейся между истертых плит мостовой.

Солнце совсем уже садилось. Последние лучи его облили багряным светом заброшенный храм, и стоящий перед нами обелиск казался покрытым горячею кровью. Тихо вдали прокричала несколько раз какая-то птица.

Время было думать о ночлеге. Мы хотели было войти в то здание, откуда вытекала вода. Филострат вступил туда первым, но тотчас же выскочил вон, говоря, что его чуть не укусила змея.

— Здесь нет людей, Демофонт. Это место покинуто ими. Здесь живут одни только звери да гады... Но, быть может, в этих местах найдется что-либо ценное, могущее нам пригодиться,— добавил немного погодя Филострат, никогда не упускавший случая поживиться.

Мы пошли обратно по направлению к храму.

Неподалеку от нас из тесного проулка выскочила молодая лань и, простучав копытцами по каменным плитам, промелькнула мимо иголов, охранявших врата. Следом за первой промчались другие две лани.

— Если там чувствуют себя безопасными столь пугливые обыкновенно животные, то и мы, думается мне, найдем в этом здании верное убежище, а может быть, и богатство,— задумчиво произнес мой товарищ, и я не мог с ним не согласиться.

Ступени входа были из мрамора. Они потрескались, поросли ярко-зеленым пушистым мхом, и лишь небольшая площадка среди этого мха замыкала собою тропинки, проложенные легкими копытами ланей.

Мы вступили в преддверие храма. Сквозь уходившие в сумрак портала колонны виднелся заросший деревьями внутренний двор.

Среди кипарисов еще раз мелькнула стройная лань.

Неизвестные нам изображения богов возвышались вправо и влево между колоннами. Мужские торсы с рыбьими хвостами стояли рядом с изваяниями гигантских коронованных змей. Лишь одно изображение показалось нам немного знакомым. Оно сделано было из темного камня и походило фигурой своей на Эфесскую Артемиду, отличаясь от последней густой, в мелких завитках, опускавшейся до грудей волнистой черной бородою и золотыми кольцами в ушах.

Недалеко от этой статуи была незапертая бронзовая дверь, вся покрытая выпуклыми украшениями. Мы вошли в нее и очутились в небольшом, но высоком покое. Легкий слой мелкого песка покрывал мраморный пол. В углу его нанесло целую кучу. В маленькое оконце под кровлей видно было потемневшее небо, на котором одна за другою зажигались бледные звезды.

Помещение это показалось нам вполне удобным, чтобы переночевать, и мы решили остаться там на ночлег. Двери мы заперли на позеленевший засов и опустили на разостланный плащ Филострата. Несколько из убитых нами птиц мы, за неимением топлива, съели сырыми...

Завернувшись с головою в складки гиматиев, мы собирались уже заснуть, как в храме послышался сильный хохот, заставивший нас приподняться и прислушаться.

Хохот переходил по временам в плач, похожий на детский.

— Это, вероятно, большая сова, птица Афины,— произнес Филострат, чтобы успокоить меня и себя. Но это ему плохо удалось.

— О Филострат,— сказал я ему,— в нашей прекрасной Элладе много раз слышал я крик птицы Паллагы. Но мне кажется, что этот хохот не принадлежит сове. Скорее, это кричит душа какого-нибудь здешнего жителя, заключенная в тело животного, вроде большой ливийской собаки.

— Не говори глупостей и не повторяй бабьих сказок,— отвечал мой товарищ,— это сова; но, подобно тому как люди в разных странах отличаются по языку и по произношению, так могут отличаться криком своим звери и птицы.

Филострат учился когда-то у философов и хвастался порою, что не верит в богов.

Поговорив еще немного, мы постарались не обращать больше внимания на хохот и стали дремать. Усталость победила страх, и мы вскоре заснули.

Мне снилось, что я хожу один среди покоев того же самого храма. Страшные и причудливые изваяния глядели из ниш, сверкая глазами. Все они были богато украшены коронами, яркими перьями и ожерельями из разноцветных камней. Все эти иголы были живыми. Их широко раздутые ноздри жадно вдыхали благовония, подымавшиеся с медных курильниц. Грозно вращались налитые кровью глаза; острые зубы белели из-под широких, алою краской окрашенных уст... Я чувствовал робость и желание вернуться, но какая-то непреодолимая сила влекла меня вперед мимо вереницы иголов с колыхавшимися черными намасленными животами...

Перейдя через двор, заросший цветущими гранатовыми деревьями, я вошел в освещенный покой, где на высоком троне из прозрачного красного камня сидела неодетая богиня в венце из семи звезд. Руками она сжимала собственную грудь, и две белых тонких струи били двумя фонтанами в круглый бассейн, откуда безобразные, на

животных похуже, боги лакали глинными красными языками, давя и толкая друг друга.

В ногах ее лежал зверь, похожий на большого ливийского леопарда. Порою он шевелил головой и грозно рычал.

При виде меня богиня поднялась с трона и, выпрямившись во весь свой нечеловеческий рост, протянула ко мне красивые сильные руки. Она стояла на своем леопарде, который выпускал теперь протяжное радостное мяуканье. Я заметил, как тонка была ее талия, как белы были ее стройные ноги, как блестели алмазные ожерелья на ее высокой груди.

Алые уста богини разверзлись, и она произнесла:

— Я рада человеку, ибо давно уже не видела живых. Подойди сюда, сын мой!

Невидимая сила подтолкнула меня к подножью престола. Как ребенка, подхватила меня богиня, снова села на трон и посадила к себе на колени. Сильные руки ее мучительно больно стали меня прижимать к твердой, как мрамор, груди.

Я пробовал сопротивляться, но та, кто держала меня, склонясь мне к лицу, тихо сказала:

— Не пытайся бежать; мой “маргиора” догонит тебя всюду. Он проворный и верный слуга. Не так ли? — сказала она, толкнув ногою животное. Зверь отвечал ей сдвоенным, но грозным рыком.

Не помня себя от боли и страха, я застонал...

Чья-то сильная рука стала трясти меня за плечо. Я открыл глаза. При лунном свете, наполнявшем сквозь небольшую щель наш покой, моим глазам явился подползший ко мне Филострат. Он тормозил меня, стараясь разбудить.

— Ради богов, не стони! — прошептал он. — Если дорога тебе жизнь, притаись! Слышишь ты это рычание?

Действительно, через несколько мгновений грозное мяуканье, смешанное с ревом, долетело до моих ушей и заставило меня согнуться.

— Это кричит зверь вроде льва, его зовут андрофаг — пожиратель людей; у него четыре ряда зубов и хвост как

у скорпиона. Когда я был в Индии, я слышал это рычание, — шептал мне Филострат.

Легкие, еле слышные шаги зашуршали у самых дверей. Раздалось чье-то фыркание и леденящее кровь рыкание. Мы с Филостратом замерли, припавши к земле, схватившись за копья... Послышалось царапанье чьих-то острых когтей по металлическим украшениям двери. Мы трепетали, опасаясь, что она сорвется с петель...

Но вот царапанье смолкло, раздался страшный потрясающий воздух рева, потом еще рев, но уже в отдалении. Мы облегченно вздохнули. Грозное рыкание повторилось еще несколько раз, но уже вне храма. Мы попробовали еще раз заснуть, но это удавалось нам плохо. Ночь казалась нам невероятно долгой. В ушах стояли крики о помощи, стоны, хохот и страшное мяуканье чудовища...

Лишь под утро мы уснули как следует.

Солнце стояло уже довольно высоко, когда Филострат и я пробудились. Все страхи наши исчезли вместе с ночной темнотой и казались пустыми сновидениями.

Взявшись за копья, мы осторожно приотворили дверь. Храм, насколько хватало глаз, был пуст. При дневном свете он казался меньше и не производил такого сильного впечатления, как в сумраке. Двор был залит золотыми солнечными лучами. Птицы весело щебетали, прыгая по веткам деревьев; где-то неподалеку слышалось блеяние дикой козы; на кровле ворковали белые голуби. Боги, стоявшие между колонн, были сделаны очень грубо и окрашены в яркие когда-то цвета. Зубов ни у кого не было видно. Широкие пурпуровые уста хранили спокойную самодовольную улыбку. Плоские руки сложены были на толстых животах, куда спускались с шеи золотые и медные украшения и амулеты.

Филострат поглядывал на эти украшения, но брать их пока не решался, надеясь, вероятно, на нечто лучшее.

Подвигаясь по храму вдоль облицованных цветными камнями стен, с изображениями причудливых зверей и растений, обходя давно потухшие алтари и курильницы, мы вышли во внутренний двор. Лепестки гранатных цветов

густым слоем покрывали песок. На конце двора виднелся новый внутренний храм. Сквозь заросли кустов и деревьев мы направились к нему. Множество голубей и иных неизвестных нам ярко окрашенных птиц перелетало по разным направлениям.

Мы шли, с любопытством озираясь по сторонам и надеясь отыскать сокровищницу храма, если она не была никем еще увезена. Вдруг Филострат нагнулся и что-то поднял. Я взглянул и увидел совершенно новенькую сандалию, точь-в-точь такую же, как была нагета у моего спутника, с такими же красными ремешками.

С минуту мы стояли, не говоря ни слова... “Неужели нас кто-либо предупредил?” — пронеслось в моей голове.

Но державший сандалию в руках Филострат медленно произнес:

— Это обувь Деметрия. Перед отъездом мы ее покупали с ним вместе у кожевника в Фалерской гавани... Но как он тут очутился? Ночью мне казалось, что я слышу его голос...

Мы внимательнее стали оглядываться по сторонам; руки невольно сильнее сжимали древко копья.

Под ногами на песке мы заметили чьи-то круглые следы с чуть видными точками острых когтей. Низко склонившись к земле, мой товарищ сказал:

— Смотри, Демофонт, это след андрофага; не унес ли он ночью сюда нашего Деметрия?.. Так и есть, видишь капельки крови?

— Стоит ли нам идти дальше? — ответил я Филострату.— Чудовище может на нас напасть и растерзать.

— Не думаю. Днем андрофаги спят. Они выбирают для этого лесные чащи, а в покинутых храмах селиться не любят. Так говорили мне в Индии.

Вход в здание охраняли два чудовища, похожие на быков, с орлиными крыльями. Над входом в нише видно было грубо раскрашенное изображение обнаженной богини, державшей в руках какое-то яблоко и большой розово-белый цветок. Богиня эта стояла на распростертом звере, похожем на льва, и улыбалась...

Мы вошли под сень храма. Бронзовые двери его были распахнуты настежь. Посредине, при свете проникавшего в отверстие кровли солнца, виднелся высокий трон из полупрозрачного красного камня с золотой насечкой. На нем помещалась гигантская фигура сидящей обнаженной богини, сделанная как бы из слегка желтоватой слоновой кости. Она сидела неподвижно; руки ее были прижаты к груди, ноги же упирались в сделанное из той же массы чудовище, тщательно окрашенное в желтый и черный цвета. Глаза богини были почти закрыты, губы алы, лицо вместе жестоко и красиво... Но что всего поразительнее и страшнее — у подножия трона лежал полурастерзанный труп нашего Деметрия. Горло его было перекушено. Одежда разорвана в клочья и разбросана вокруг. Всего лишь одна сандалия уцелела на ноге. На теле виднелись местами кровоподтеки и темные пятна.

Осторожно приблизились мы к статуе. Мне все казалось, что она схватит меня своими белыми сильными руками и, прижав к себе, раздавит в нечеловеческих объятиях.

Но богиня была неподвижна. Забрызганные кровью губы ее замерли в загадочной улыбке; темные пятна виднелись также у нее на груди и на руках. Папы статуи зверя тоже запачканы были свернувшейся кровью.

— Вероятно, андрофаг принес сюда бедного Деметрия и терзал его около самого трона, и брызги крови из перекушенного горла попали и на богиню. Может быть, хищный зверь приволок его сюда невредимым, играл здесь с несчастным, как кошка с пойманной мышью, и наш товарищ пытался спастись на коленях у статуи... Видишь, как много крови? — говорил Филострат.

Но я молчал. Меня угнетало воспоминание о снах сегодняшней ночи. Мне было жутко, и сильная дрожь потрясала члены мои. Зубы стучали, как в лихорадке.

— Уйдем отсюда, уйдем! — взмолился я к Филострату.

— погоди, Демофонт. Надо отыскать сокровищницу. Я уверен, что эта низенькая дверь в толстой колонне приведет нас к богатству.

Темная деревянная дверь, на которую указывал Фило-страт, некогда, вероятно, была крепка и надежна. Но теперь, при первом ударе ноги, она соскочила с медных позеле-невших крючков и упала. За нею была пустота. Узкая винтовая лестница вела наверх. Каменные ступени были покрыты песком, завалены сором, загромождены голуби-ными гнездами.

Боги! Какое хлопанье крыльев и писк неоперенных птенцов раздалось вокруг нас, когда мы попытались по-няться!

Высоко наверху виднелось синее небо.

— Ну, полезай туда один,— мрачно сказал Филост-рат,— а я поищу чего-нибудь лучше.

Видимо, им овладела всецело жажда обогащения. Я стал взбираться по лестнице, предоставив товарищу отыскивать золото. Я всегда боялся обидеть даже чужеземных богов, и это мое почтение к бессмертным не раз спасало меня от опасности.

Когда я взобрался на кровлю, передо мною раскинулся обширный кругозор. Храм лежал в небольшой долине, со всех сторон окруженный холмами, покрытыми лесом. Море синело с нескольких сторон. Но берег был виден далеко не везде. В одном только месте из-за деревьев, окаймлявших побережье, поднималась струйка белого дыма.

Я решил, что там и должна была находиться наша би-рема, и заметил, что идти к тому месту надо было, на-правляясь от главного выхода немного левее красного обе-лиска, почти прямо от солнца.

Затем я поспешил вниз поделиться своею радостью с Филостратом.

Но тот, вероятно, действительно нашел что-либо ценное, ибо почти обезумел от алчности и ни за что не хотел идти вместе со мною. Как я ни уговаривал своего товарища, он стоял на своем.

— Иди ты один, Демофонт, скажи им... или нет, лучше не говори!.. Лучше только я да ты... или нет, иди и вернись с ними... скажи, что я тут отыскал немножко золота и

драгоценных камней. Другая маленькая дверь ведет в погвал. Там гурной воздух, но подземелье полно сокровищ... мы с тобой... будем богаты, как сатрапы! Я озолочу тебя! Я буду как великий царь в Вавилоне!.. Эвое!.. Эвое!..

И он принялся плясать вокруг изваяния богини модон бесстыдный танец спартанцев; потом вскочил к ней на колени и, сняв с красиво сделанной шеи ожерелье из цветных камешков и матово-белых жемчужин, возложил его на себя.

Я закрыл от ужаса глаза, ожидая, что сейчас оживет раскрашенный андрофаг и пожрет меня с Филостратом.

Но все было тихо. Слышны были только шлепанье Филостратовых сандалий по каменным плитам да его хриплые крики. Я открыл глаза. Статуя была неподвижна. Прежняя улыбка играла на ее кровавых устах, а полузакрытые глаза блеснули как-то ярче под ласкою солнца.

Я не мог более оставаться.

— В последний раз говорю тебе, безумец, не боящийся гнева богов: бежим!.. Если тебе дорога жизнь! — прибавил я прерывающимся от ужаса голосом. Но он не слушал меня, плясал и пел какую-то вакхическую песню, не обращая внимания на полурастерзанный труп несчастного Деметрия. Сандалии его, запачкавшись в застывшей крови, темными пятнами отпечатывались вокруг пьедестала.

Голос товарища звучал так страшно, что я не выдержал и побежал от него. Мне стало ясно, что жившее в храме божество наслало на Филострата безумие. В дверях я остановился, чтобы еще раз посмотреть на него. В этот момент он прекратил свою пляску и диким взором следил за мною.

— Га, несчастный, ты хочешь подглядеть мою тайну! — закричал Филострат громко и хрипло и тотчас, потрясая копьем, кинулся ко мне...

Охваченный ужасом, бросив плащ, копье и дорожную шляпу, бежал я, спасая свою жизнь. Волосы мои стояли дыбом, зубы стучали, и я несся, как серна, убегающая от ливийского льва...

Едва успел я выскочить из храма, как над плечом у меня просвистело копье. Я не остановился, чтобы его поднять, но продолжал мчаться, стараясь добежать до вершины холма.

Позади себя я услышал хохот, более ужасный, чем смех торжествующих фурий. Кто хохотал — я не знаю...

Филострат гнался за мной, вероятно, только до первой песчаной гряды. Затем он, надо думать, прекратил погоню. Но я, охваченный паническим страхом, все бежал и бежал, не соображаясь ни с солнцем, ни с направлением, и сам не помню, как достиг морского берега, в то самое время, когда товарищи сталкивали обратно в глубокую воду наш острогрудый корабль.

Я выбежал всего на полет стрелы от них и молча упал на отлогом побережье.

Только случайно заметили они меня, уже с корабля, и взяли на палубу... Когда я очнулся, судно еще не отплыло, и я заметил, что Филострата среди товарищей не было. Стало быть, несчастный спутник мой не вернулся.

Я рассказал грузьям о судьбе, постигшей Деметрия, и победил, в каком положении находится Филострат; я сообщил им о сокровищах храма, и у многих разгорелись глаза.

Старый корабельщик Ксидий не советовал идти на поиски.

— Смотрите, как бы не прогневить здешних богов. Они очень злы и кровожадны. Одного из нас уже постигла горькая участь. Другой сегодня ночью подвергнется ей, если уже не подвергся.

— Ну, что ты говоришь, старик, — возразил один из мореходов помоложе, — просто обеспамятел слегка человек от вида сокровищ. Надо отыскать его и то золото, которое он нашел.

— Нехорошо покидать грузей, даже объятых безумием, — прибавил другой. Кто-то стал говорить, что не следует оставлять непогребенным тело Деметрия.

— Пойдемте сегодня же, сейчас же, все вместе! — закричали многие.

— Кто хочет губить свою жизнь и этой же ночью разделить участь Деметрия, пусть тот идет! Вечер уже наступает. Если зверь не побоялся унести одного из нас при свете костра, он погавно не затруднится перехватать вас, безумцы, заблудившихся во мраке.

— Старик говорит дело,— поддержал Ксидия Никомах,— надо переждать до утра, а к тому времени, быть может, подойдет и Филострат.

Спать решено было на корабле, ибо предшествующая ночь нам показала, как мы небезопасны на берегу. Как только закатилось солнце, все были уже на палубе нашей биремы...

Ночные часы прошли спокойно, и только Лампрокл, стоявший на страже, слышал отдаленное рыканье.

Утром большой толпой выступили мы на поиски. Целый день блуждали по зарослям кустарников; храма сыскать не могли и только к вечеру, измучившись от зноя и голода, вышли на морское побережье. Идя вдоль берега, мы добрались до биремы. Очевидно, боги не желали, чтобы мы спасли Филострата, если только он был еще жив.

Ночь опять провели мы на сугне, и я во время стражи своей видел при блеске луны то чудовище, которое растерзало Деметрия. Оно медленным шагом прошло меж кустов ивняка, невдалеке от того места, где мы днем варили себе пищу, и остановилось, поглядывая в нашу сторону.

Не помня себя от страха, я ударил копьем в медный щит, находившийся вблизи, и упал ничком на доски палубы.

Разбуженные звоном, товарищи мигом вскочили и, взявшись за оружие, столпились около меня, спрашивая, в чем дело. Когда же я поднял голову и взглянул на берег, там никого уже не было.

Хотя меня и сменили, но всю остальную ночь я не мог спать и все время умолял товарищей поскорее отплыть от этого ужасного берега. Но они не слушали меня и опять почти до полудня без пользы проблуждали по лесу. Я же сходить на берег более не решался.

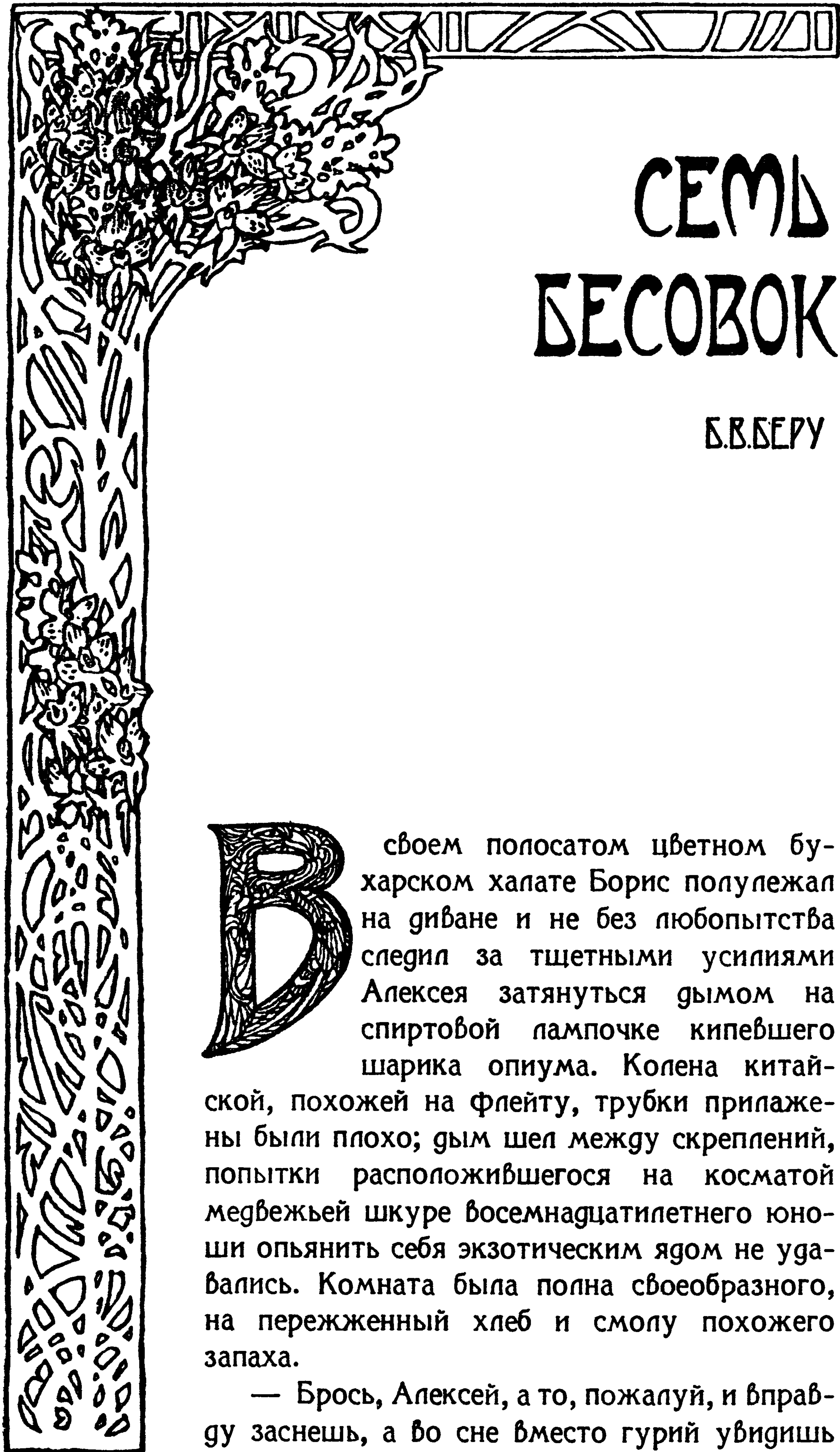


Когда наконец уставшие и недовольные моряки столпились на побережье возле башни, Ксидий, употребив все свои красноречие, уговорил их отплыть.

На них особенно подействовало его заявление, что андрофаги не боятся бога. Если мы тотчас же не отплывем, страшная зверь похитит еще одну жертву.

Я почувствовал себя в безопасности лишь тогда, когда негостеприимные берега скрылись из виду, а попутный ветер уносил нас все дальше и дальше...





СЕМЬ БЕСОВОК

Б.В.БЕРУ

В своем полосатом цветном бухарском халате Борис полулежал на диване и не без любопытства следил за тщетными усилиями Алексея затянуться дымом на спиртовой лампочке кипевшего шарика опиума. Колена китайской, похожей на флейту, трубки прилажены были плохо; дым шел между скреплений, попытки расположившегося на косматой медвежьей шкуре восемнадцатилетнего юноши опьянить себя экзотическим ядом не удавались. Комната была полна своеобразного, на пережженный хлеб и смолу похожего запаха.

— Брось, Алексей, а то, пожалуй, и вправду заснешь, а во сне вместо гурий увидишь

черта, мохнатого, как медведь, на котором ты развалился, — стал уговаривать юношу хозяин.

— В самом деле, брось, Алексей, — просоединился второй из находившихся в комнате Бориса приятелей, студент в форме одного из специальных училищ. — Смотри, как надымил; еще, пожалуй, мутить начнет; самому потом медведя жаль станет...

— Действительно, брошу. Ничего не выходит. У тебя, Борис, вместо трубки недоразумение какое-то... А жаль! Я бы и на черта не прочь посмотреть.

— А вы в него верите? — слышался из полутемного угла голос в мягком кресле там расположившегося четвертого собеседника, худощавого рыжеватого господина в потертом костюме и синем пенсне.

— Не знаю, право. Встречать не случалось. А почему бы ему, впрочем, не быть? — не подымаясь с ковра, лениво ответил Алексей.

— А хотя бы потому, что современные оккультисты, люди, посвятившие себя серьезному изучению мира таинственности, находят, что под дьяволом следует понимать по всей вселенной разлитую астральную силу, могущую принимать различные формы. В "Дон-Жуане" Алексея Толстого, поэта довольно хорошо для своего времени знакомого с оккультными науками, эта сила, например, является в образе статуи командора... Злою волей во зло употребленная, она и будет Дьяволом или Змием библейской легенды. Дьявола же как личности, которая борется с так называемым Богом и губит людей, вовсе не существует.

— Это, мой друг, будет, пожалуй, слишком непреложным утверждением, — вмешался с дивана хозяин. — Далекое не все компетентные в тайных знаниях люди одинаково определяют Лукавого. Люцифериты до сих пор признают его светлым борцом против злого и черного Иеговы-Адонаи; некоторые считают его женственным Светом, противником мрачного Хаоса; сатанисты же в его лице поклоняются темному богу зла, которому они служат как таковому. В святилищах этого бога совершаются своеобразные мессы

и таинства. В американские храмы Люцифера, как в собор св. Петра, отовсюду стекаются пилигримы, чтобы приложиться к частице истинного Вельзевулова рога, поклониться нерукотворенному изображению Бафомета и подивиться на заключенный в золотом ковчеге хвост, принадлежавший когда-то льву св. Марка и, по преданию, отрубленный в жарком небесном бою мечом Асмодея...

На островах Архипелага, где пришлось мне однажды прожить несколько месяцев, познакомился я от нечего делать с одним итальянским рабочим по имени Антонио. Это был опустившийся пьяница, но человек много видевший и по-своему честный. После второго литра вина он рассказал мне однажды, как, живя в Южных Штатах Америки, привелось ему участвовать в вызывании одного из главных демонов ада.

“В Чарльстоуне, синьор,— говорил он,— я, вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств, остался без работы и мне пришлось бы поголодать, если бы случайно увидевший поганый мною масонский знак американец не нанял меня к себе в лакеи. Это был очень достойный молодой человек, щедрый и хорошо ко мне относившийся. Он понимал, конечно, что перед ним стоит лицо, лишь случайно впавшее в бедность и во всем остальном ему равное, а в некоторых отношениях, быть может, даже и высшее.

Хозяин мой, бывший сыном очень состоятельных родителей, посещал местный университет, много читал и увлекался спиритизмом. Убирая его комнаты, я не раз обращал внимание на раскрытые фолианты с изображениями демонов и мудреными каббалистическими знаками. Он охотно разговаривал со мною о таинственных явлениях природы и в особенности интересовался нашими итальянскими поверьями о гурном глазе.

Однажды вечером, когда отель молодого господина был почти пуст, так как его родители, ввиду начавшегося сезона, переехали на морские купанья, он вызвал меня звонком в свой кабинет и спросил, не желаю ли я принять участие в интересном спиритическом сеансе.

— Нас шесть человек,— говорил хозяин.— Некоторые утверждают, что для успеха необходимо тринадцать, но мистер Чемберс уверяет, что сегодня ввиду благоприятного расположения небесных светил довольно и семи. Мой товарищ, мистер Фильмор, только что прислал записку, что не может прибыть, так как неожиданно заболел. Не угодно ли вам быть вместо него седьмым?

— Конечно, я им буду,— отвечал я.— Хотя это и пугает меня немного с непривычки, но, чтобы угодить синьору, я готов.

Предложение молодого господина очень льстило моему самолюбию, и я охотно пошел вслед за ним.

Предупредив меня, чтобы я никому ничего о виденном не рассказывал, хозяин ввел меня в небольшую, служившую обыкновенно приемной, залу. Там находилось уже пять его товарищей по местному университету, вошедших в отель совершенно для меня незаметно. Молодой господин представил им меня моим полным именем, и все они подали мне, здороваясь, руку.

Молодые джентльмены только что, очевидно, закончили уборку комнаты. Оттуда была унесена вся мебель, кроме семи легких плетеных и одного старинного кресла, мягкого и громоздкого. Жалюзи и занавеси были опущены, картины и зеркала убраны, а вместо них по стенам висели тонкие гирлянды из миртовых веток, роз и ночных белых цветов. В комнате горело несколько керосиновых ламп, ибо электрический свет тогда только начинал входить в обиход.

На деревянном постаменте, где помещался прежде бюст Вашингтона, стояло теперь изваяние женщины с козлиной головой и ногами. Статуэтку эту я сначала принял за серебряную, но потом оказалось, что она была сделана из какого-то белого сплава, столь похожего на серебро, что могла ввести в заблуждение и соблазн даже самого опытного и честного человека. По сторонам от постамента на стену повешено было две картины. Одна изображала распятие, причем у подножия креста лежал каменный сфинкс, а стоявший тут же римский воин поражал пригвожденного

человека копьем в живот. На другой картине яркими красками был нарисован летящий по небу гений. У подножия статуэтки стояла курильница и серебряная корзина с положенным в нее гранатовым яблоком и белыми цветами.

Мне сказали, что для успеха сеанса необходимо будет петь заклинания, и объяснили, когда, кому какими словами должен я подпевать (фразы были совсем как в католической мессе). Затем все, в том числе и я, надели на лоб светлые повязки со вставленными в них металлическими пластинками, облеклись в просторные белые одежды, окаймленные желтым узором, и расселись на приготовленных креслах, лицом к женственной статуэтке. Кресла были расставлены на некотором расстоянии одно от другого, составляя треугольник, одна из вершин которого упиралась в постамент и находившееся перед ним пустое почетное место.

Один из товарищей господина, белая тога которого сплошь покрыта была желтыми звездами, принял на себя роль мастера ложи и, став рядом с другим гостем перед курильницей, по тетрадке начал читать нараспев непонятные мне заклинания, а мы хором отвечали ему латинскими возгласами, из которых я повторял лишь заключительные слова, главным образом: "Ora pro nobis!*"

Ассистент мастера сыпал что-то на угли курильницы, и белый дым, клубясь, мало-помалу стал наполнять комнату, по которой вместе с тем распространился запах камфары и сантала.

Так прошло порядочно времени без всякого результата, и мы уже были сильно утомлены, когда мастер приказал принести серебряной проволоки. Взявшись за нее, мы составили цепь. От дыма у меня кружилась голова и туманом заволакивало зрение.

После одного из восклицаний я почувствовал, как холод внезапно разлился по всем моим членам, а лампы, горевшие в комнате, сразу погасли. Затем снова сверкнул ослепительный свет, и в почетном кресле около игола оказалась

* Молись за нас!

источавшая из себя сияние женщина, не имевшая на себе даже признака платья. Улыбаясь, поднялась она с кресла, и лишь тут я заметил, как прекрасно она была сложена и как привлекательны были все ее формы. Лицом эта женщина подобна была богиням, которых синьор, вероятно, видел в наших знаменитых музеях. Цвет кожи ее напоминал розовый жемчуг, волосы — ярко-рыжего цвета, а глаза, ресницы и брови были черны, как уголь.

Не произнося ни слова и отнюдь не стыдясь своей наготы, грациозной, легкой походкой, как светская дама на муниципальном балу, подошла она к бессильно упавшему в кресло мастеру и, взяв руками его за лицо, запечатлела на нем поцелуй. Молодой джентльмен после этого вздрогнул и моментально заснул. Тогда женщина выпрямилась и, с дьявольски соблазнительной улыбкой поглядывая на нас, стала обходить треугольник, образуя в нем внутренние круги. Признаюсь, я не мог оторвать глаз от ее красоты...

И тут совершились новые невероятные чудеса. После первого круга ее нагих женских фигур оказалось уже не одна, а две, после второго — три, пока их не сделалось семь, все как две капли воды похожих одна на другую.

Дым от курений сплошным туманом стлался по комнате, и мне стало казаться, что я теряю сознание; глазам было больно от нестерпимо яркого бесовского света... Но все-таки я увидел, как стоящие в куче женщины разделились и каждая, выбрав себе кого-либо из нас, направилась к своей жертве.

Сквозь белый туман я разглядел, как одна из них уже села на колени к соседу и ласково обняла ему шею... Я заметил, что и ко мне легкой походкой, слегка колыхая бедрами, подходит такая же смеющаяся бесстыдница...

Я, синьор, хоть и был масоном, но от христианства не отрекался и души своей губить распутством с бесовкой был не согласен. Святой патрон мой, Антоний Пагуанский, к которому воззвал я в эту минуту, внушил мне мысль сотворить крестное знамение.

Едва я сделал это, кто-то громко, раздирающим душу голосом, вскрикнул, и все наваждение моментально исчезло. Комната вновь погрузилась во тьму. Огни лишь угли краснели в курильнице у ног богомерзкого идола.

Я слышал, как задвигались кресла, как повскакали со своих мест молодые гости моего хозяина и сам он, громко выражая удивление свое и неудовольствие. Я поспешно зажег потухшие лампы. Сидевший возле курильницы мастер находился в глубоком обмороке, и мы едва могли вернуть его к жизни. Он, как говорили, долго потом прохворал.

Я, конечно, никому не признался, что был причиной неудачи сеанса, и при первом удобном случае решил бросить место. Случай представился довольно быстро. Какие-то ловкие воры похитили из комнаты господина козлоголового идола. Хозяин стал меня спрашивать, не знаю ли я, как случилась пропажа. Я, конечно, оскорбился таким допросом и отказался от места. Но так как я, очевидно, остался на подозрении и местные поклонники Дьявола могли меня убить, то продолжать жить в Чарльстоуне мне стало неудобно. Я поспешил оттуда уехать, а немного спустя покинул и Штаты.


На родину я до сих пор боюсь показываться, ибо там слишком много людей занимается теми же делами. Итальянские масоны находятся в тесной связи со своими американскими братьями, а мой хозяин с товарищами, занимавшие в этом союзе довольно высокие степени, долго меня, как я потом узнал, разыскивали. Очевидно, появлявшаяся на сеансе дама разъяснила им как-нибудь причину своего неожиданного исчезновения...

Вот, синьор, какие невероятные события могут иногда помешать карьере честного человека”, — закончил мне свою повесть Антонио...

Слушатели единогласно выразили сомнение в правдоподобности этой истории.

Борис лежал на диване и улыбался.

Скоро гости попрощались с ним и разошлись. Рыжеватый господин отправился направо, студент с Алексеем — налево.

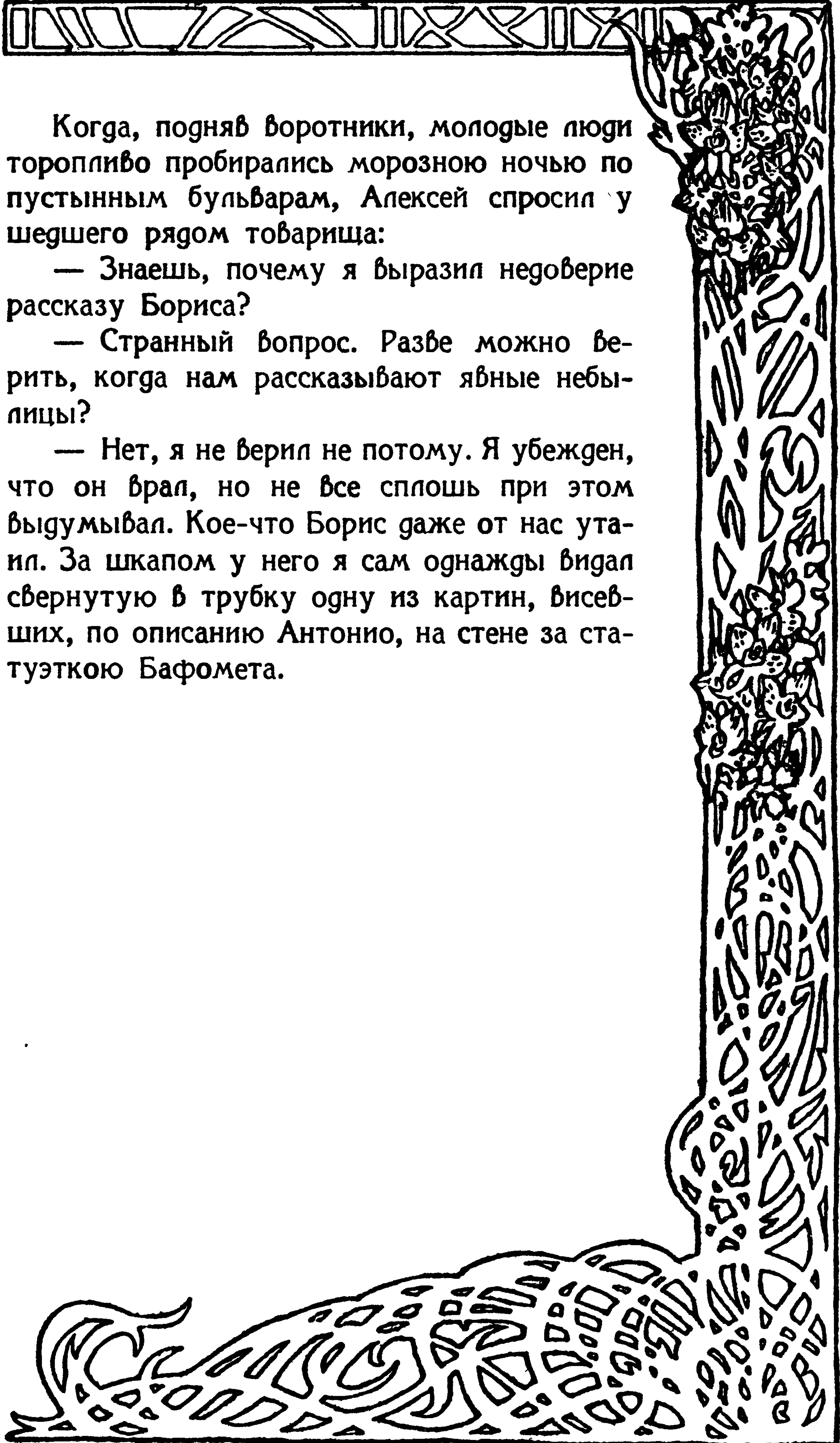



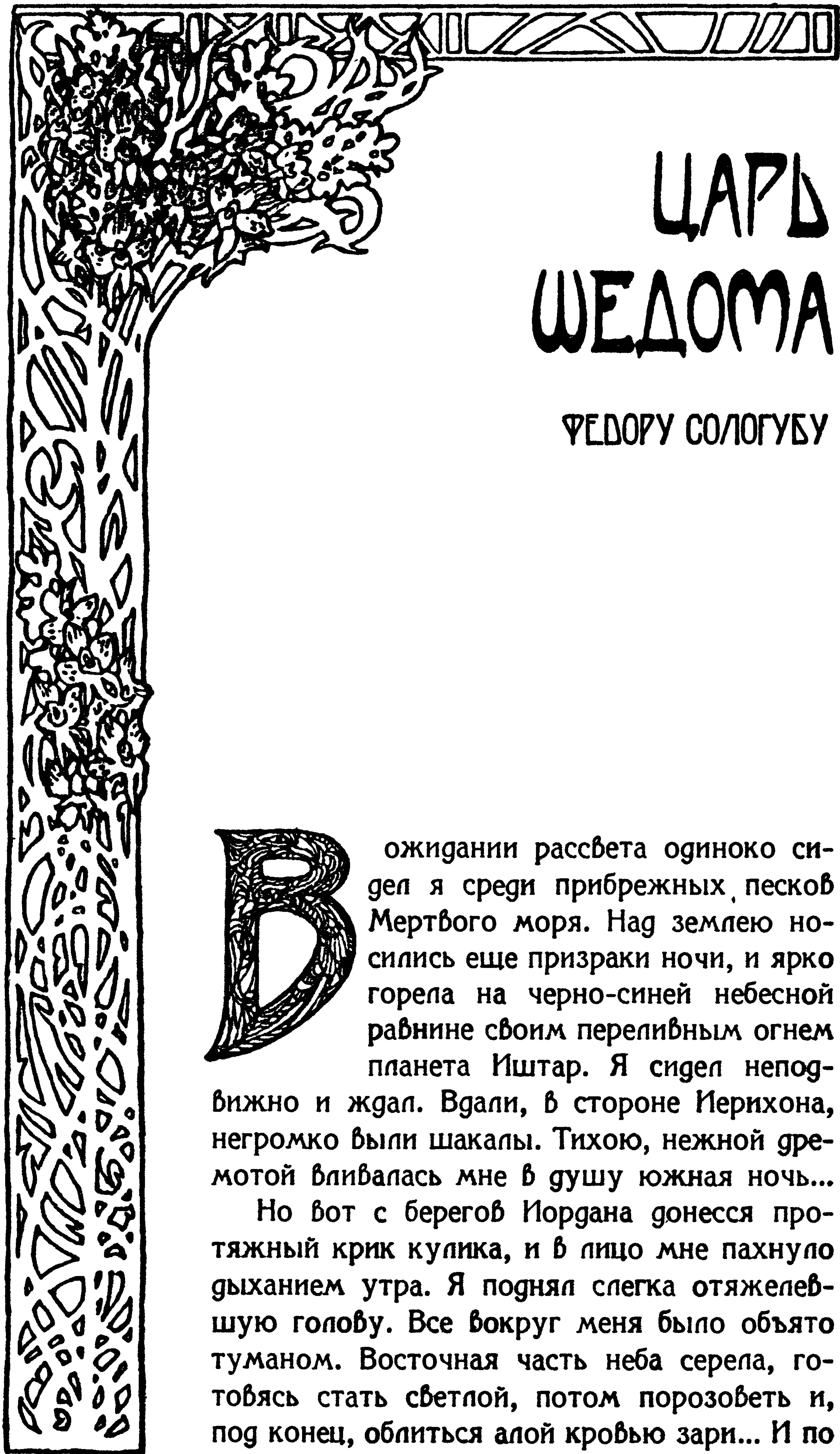
Когда, подняв воротники, молодые люди торопливо пробирались морозною ночью по пустынным бульварам, Алексей спросил у шедшего рядом товарища:

— Знаешь, почему я выразил недоверие рассказу Бориса?

— Странный вопрос. Разве можно верить, когда нам рассказывают явные небылицы?

— Нет, я не верил не потому. Я убежден, что он врал, но не все сплошь при этом выдумывал. Кое-что Борис даже от нас утаил. За шкапом у него я сам однажды вынул свернутую в трубку одну из картин, висевших, по описанию Антонио, на стене за статуэткою Бафомета.





ЦАРЬ ШЕДОМА

ФЕДОРУ СОЛОГУБУ

Вожидании рассвета одиноко сидел я среди прибрежных, песков Мертвого моря. Над землею носились еще призраки ночи, и ярко горела на черно-синей небесной равнине своим переливным огнем планета Иштар. Я сидел неподвижно и ждал. Вдали, в стороне Иерихона, негромко выли шакалы. Тихою, нежной дремотой вливалась мне в гушу южная ночь...

Но вот с берегов Иордана донесся протяжный крик кулика, и в лицо мне пахнуло дыханием утра. Я поднял слегка отяжелевшую голову. Все вокруг меня было объято туманом. Восточная часть неба серела, готовясь стать светлой, потом порозоветь и, под конец, облиться алой кровью зари... И по

мере того, как светлело небо и прояснялась водная гладь, клочья тумана над нею делались тоньше и легче. И одна из колыхавшихся над водою туманных струек, завитки которой были похожи на очертания гребного старца в льняных одеждах, с рогатой тиарой на голове, подплыла совсем близко к месту, где я сидел. Я мог разглядеть даже лицо нежданно мне явившейся тени. Строги были черты и горда осанка выплывшего прямо из вод Мертвого моря бледного облика.

— Не призрак ли ты царя здешних мест, одного из царей проклятой Богом страны? — обратил я к нему свой тайный вопрос.

И, становясь все ясней, так отвечала длиннобородая тень в широких светлых одеждах:

— Да, я был здесь царем, но я не понимаю тебя, чужеземец, про кого из богов ты говоришь? Много из них приходило в нашу долину, много от нас уходило; иные благословляли город шедомлян, иные его проклинали. Вплоть до гибели нашего царства мы жили с ними по большей части согласно...

— Старец, ты, вероятно, забыл про того великого грозного бога, который разрушил вашу страну и пролил над нею это горько-соленое озеро? Или тебе неизвестно имя Йяхве? — произнес я, старательно выговаривая это гебрское слово.

— Йяхве!.. Дети Лилит, сыны пяти городов долины Сигдим, не поклонялись этому богу. Мы почитали только ее, нашу великую Мать с зеленым огнем горящих страстью очей. Только ей воздавали мы почести, и всякий потомок Евы, попавший в нашу страну, должен был принести жертву нашей богине или быть принесенным ей в жертву.

— Вы и поплатились за это. Разве можно было сердить безнаказанного бога, чье одеяние застилает все небо, кто трижды в ночи рыкает, как лев, Владыку Воинств, который разрушил все ваши храмы, дворцы и дома!

— Сейчас же заметно, что ты мало знаешь богов. Все они грозны, если их рассердить. Столицу мою уничтожил

совсем не Йяхве, а три огненных бога (хотя, быть может, он им помогал). Они сожгли дворец мой и обратили в пустыню даже окраины нашей земли. Эти боги вели себя вовсе не так, как подобает гостям...

— Но ведь вы хотели обидеть ваших гостей?!

— Разве это обида, жертва зеленоглазой Лилит? Все нефелимы, пролетая над нашей долиной, долгом считали попасть в ее храм. Я мог бы тебе назвать имена тайно влетающих туда офанимов, но не хочу. К чему нарушать доверие этих крылатых гениев света?..

Тем же троим мы не причинили вреда. Я приказал отвести их в сады при дворце. Разве это обида? Там накормили бы их плодами, хлебом и мясом, дали бы им вволю вина и сока арбузов. Сад не тюрьма и не ров, наполненный гадами; там обитали все любимые мною животные... После же этих божественных путников ждал храм нашей Праматери, и одного из них — ложе в царском дворце. Разве это обида? О таком почете мечтали все наши девы и юноши.

— Ты позабыл, старик, что одно лишь прикосновение плоти могло их разгневать, а ты и народ твой замыслили насилие.

— Мне ли не знать природы богов, эфирных и огненных духов? Я не скажу, чтобы людские объятия были неприятны бессмертным. Горько рыдали две дочери жившего в нашей стране чужеземца, который принял этих трех кочующих духов в дом свой, когда рефаимы стражи моей уводили от них гостей ко мне во дворец... Я хорошо помню этих троих. Старший был широкоплеч, мрачен, черноволос, и гнев был запечатлен на его прекрасном, гордом, как у бога Раману, лице.

Другой был моложе и глядел на меня с презрительным смехом. Кудри его были волнисты, светлы, а уста как бутон темно-пунцовой благоухающей розы. Строго глядели его синие очи. Но не стал я бороться с ним взорами, ибо меня привлекал только третий... ах, этот третий! Сперва я принял его за воплощение кроткой богини



девичьих грез. Он стоял предо мною, покорный, тихий, и улыбался...

И правую руку мою с двурогим жезлом простер я к нему, чтобы лишить его силы, а левой держался за амулеты моей царской одежды. И стражам своим повелел привести его ко мне ввечеру... Ибо я никогда не боялся богов и кочующих духов... Я, потомок Пилит, царь Шедома, геливший с бессмертными кров мой и ложе... Копьеносцам моим приказано было охранять этих странников от посягательств народной толпы, буйные крики которой уже долетали ко мне во дворец.

И вот настал вечер. Зловещим огнем пылала заря. Мерно стуча медью котурн на шестипалых ногах, привели ко мне грозные видом рефаимы младшего пленника. Мы с ним остались с глазу на глаз... Ах, к чему я тогда снял с моей обнаженной груди мои талисманы, зачем не оградил волшебной чертой мое золотое, на львиных лапах стоящее ложе!..

Приготовясь к принесению жертвы, я подошел к пленному отроку и руки свои возложил ему на плечи. Он же с грустной улыбкой прошептал:

— Ты так хочешь погубить себя и свое царство?

И почувствовал я, что огненна природа его, но не утрашился, готовый к совершению таинств Пилит.

— Отойди, есть еще время,— произнес он опять,— или покарают тебя двое тех, что со мной.

Но засмеялся я, ибо он был во власти моей, и ничто, думал я, не могло отвлечь меня от свершения жертвы: ни вопли толпы, ни мелькавший вверху по стенам отблеск занимавшегося пожара.

Увы, я не знал, что пожар тот был роковым!

Ибо двое собратий отрока не могли допустить свершения жертвы. Они были злы на народ мой за то, что он желал посягнуть на их красоту. И вот, по слову двух гневных богов, ярый огонь пал с темного неба на кровли нашего города. Бессильны были его отвратить охранявшие крышу серафимы. Вслед за тем застучали, как граг, поражая скот и людей, раскаленные камни.

И враждебные духи окрестных ущелий, как рой москитов, слетелись принять участие в общем разгроме... Вот запылал потолок мой. Из кедров Гермона сложен был он, и концы их обернуты были золотыми листьями... Зловещий смех аннунаков донесся ко мне, и сами они струйками дыма наполнили опочивальню мою. Ибо не могли их удержать строгие лики длиннобородых изваяний херуби, тщетно оберегавших врага...

Но не отпустил я пленника моего, так как не знал, действительный то пожар или обманывающее чувство колдовство.

И лишь когда зашипели кровью жертв окропленные стены покоев и огонь пробился сквозь пол, понял я, что то было враждебное пламя, сведенное с неба двумя пленными духами.

Пламя, пожравшее дворец мой, испепелившее храмы и хижины.

Но я не боялся его, и, когда, наполнив покой мой, огонь охватил также и ложе, а полный таинственной прелести отрок как бы растаял в нем и улетел от меня навсегда, я снова поспешно надел амулеты и по горевшей лестнице вышел на кровлю дворца.

Огни, змеясь, убегали из-под ног у меня, не смея обжечь любимца Лилит, у кого на груди была доска из волшебных камней, а на устах слова заклинаний.

Взоры мои окинули море пожара, снедавшее город, уши были наполнены воплем шедомлян, воем их жен и плачем младенцев. Вдали точно так же дымилась Агма, Хамара и Сефоим...

Белые птицы летали, кружась вместе с искрами, над кровлями храмов. Демоны пламени дарили мне, проносясь, свой поцелуй. Огненно было пылкое дыхание их. Кривлялись в дыму с факелами в лапах своих злые бесы, которых призвали на помощь себе пленные странники. Они хохотали, радуясь гибели сильных, концу народа Лилит.

И, простерши руки свои, простоял я, сколько мог, без движения, и тихо шепнул с волнением в сердце тайное

страшное слово. Дважды его повторив, воззвал я потом, обращаясь к Зикья-Дамкин, зеленогрудой земле:

— Услышь меня, Многострадальная! Жрец первородной дщери твоей умоляет тебя: не допусти забвенья славных!.. Не хочу я пережить исчезновение народа моего. Отвори врата источников бездны и вновь прими меня в утробу твою, вместе со всеми погубившими нас!

И, услышав меня, загрохотала в ответ Зикья-Дамкин, и вся долина Сигдим со всеми ее городами, нивами и садами, храмами и виноградниками, людьми и животными, гениями враждебными и благосклонными, духами самками и самцами, и со мной, побелителем сильных, погрузилась в земные темные негра.

И теперь маслянисто-ежкие волны колышутся там, где белые голуби кружились некогда над зигурратами храмов...

Старик был взволнован. Дрожало, колеблясь в утреннем воздухе, его полупрозрачное, бахромой окаймленное, царское платье. Дрожали очертания согбенного тела. Рука нервно перебирала курчавую длинную бороду.

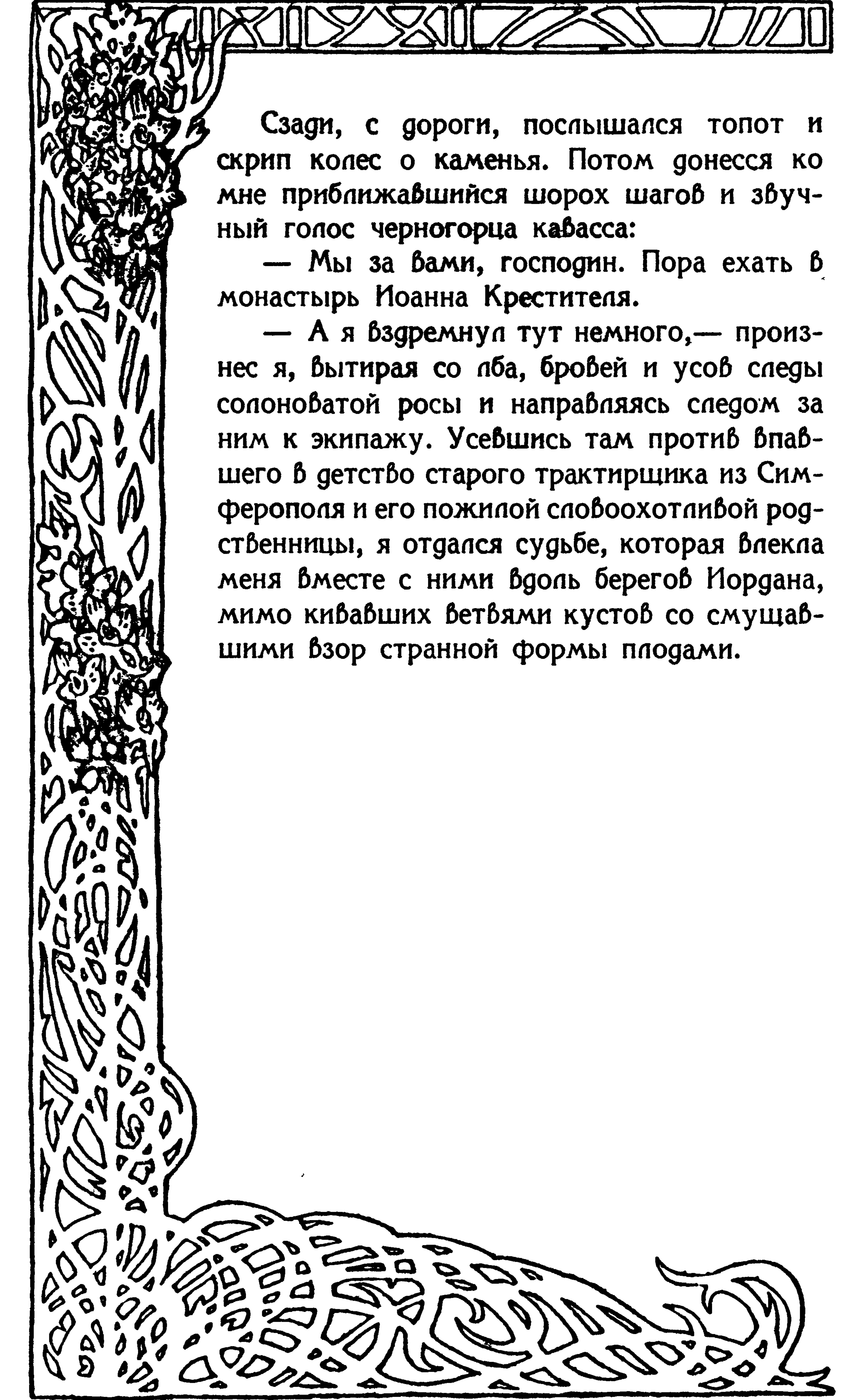
— А те три бога тоже погибли? — задал я собеседнику тихий вопрос.

— Они... право, не знаю. Я не видел их с тех пор. Но если они и спаслись, то знай, что я был единственный царь, который держал их в плену. Пусть обряд в честь зеленоокой богини остался не совершенным. Таинство это совершено будет иным, более сильным магом, который, подобно тебе, придет в летнюю ночь мечтать под шепот этих кустарников на берег нашего моря... Прощай!

Старец склонился и запечатлел мне на лбу свой поцелуй, от которого я вздрогнул и... пробудился.

Передо мною блистала серебристо-светлая гладь Мертвого моря. Потусторонние скалы алели от ласк рубиновой алой зари.

Тихо что-то шептали темно-зеленые ветви высоких кустарников, и качались на них смущавшие взор розоватотелесного цвета плоды... С берегов Иоргана несло пение проснувшихся птиц.



Сзади, с дороги, слышался топот и скрип колес о камень. Потом донесся ко мне приближавшийся шорох шагов и звучный голос черногорца кавасса:

— Мы за вами, господин. Пора ехать в монастырь Иоанна Крестителя.

— А я вздремнул тут немного,— произнес я, вытирая со лба, бровей и усов следы солоноватой росы и направляясь следом за ним к экипажу. Усевшись там против впавшего в детство старого трактирщика из Симферополя и его пожилой словоохотливой родственницы, я отдался судьбе, которая влекла меня вместе с ними вдоль берегов Иоргана, мимо кивавших ветвями кустов со смущавшими взор странной формы плодами.



НАДПИСЬ НА САРКОФАГЕ

КН. Г.С. ГАГАРИНУ

Клянусь обеими богинями — Деметрой в венке из золотистой пшеницы и лиловохитонною Персефой, под властью которой теперь существую, — я, Хелигонион, дочь Праксиной, честно исполнила свое земное предназначение.

В детстве я пасла на скалах близ берега вечношумящего моря возлюбленных Афродитой коз.

И Она, чье дыхание слышно в ночном гуновении теплого ветра, чье бессмертное сердце заставляет мерно колыхаться волну и согрогаться влюбленных, вложила мне в грудь томящее душу желание.

Красно-бурые скалы и темную зелень родных тенистых губрав без сожаленья

покинула я раги белых домов пыльного шумновеселого города.

Много юношей, очи которых блестят вожделением, много чернобородых полных сил и здоровья мужей, много всею душою к жизни жадно привязанных старцев встретило там меня своими голодными взорами.

И желанья их всех я утопила. Никто не уходил от меня, не пресытись любовью, которую я, покорная воле Богини, щедро расточала вокруг.

Старцы приносили мне золото, янтарь с берегов холодных морей, браслеты из электрона и тяжелые ожерелья с цветными камнями. Этих сокровищ напрасно ты будешь искать в моем саркофаге и лишь возбудишь против себя гнев подземных богов тщетными поисками.


Загорелые в гальних походах, рубцами вражьих мечей покрытые воины отдавали мне плату свою, полученную от чужеземных царей. В знойные полдни, встав от сна, любила разглядывать я незнакомые лики и странные знаки чуждых монет.

Купцы и моряки дарили мне яркоцветные ткани, заморские пряные вина, амулеты из Египта и благовония арабской земли. Я смеялась, слушая их небылицы про далекие страны за бурным простором сине-зеленых морей.

Юноши мне приносили цветы. Никогда я не задавала вопросов, в чьем саду были похищены ими махрово-пышные розы, белые нежные нарциссы на глиняных стеблях и благовонные темные фиалки. Зачем огорчать понапрасну влюбленных?

В разрезных легких одеждах и прозрачных цветных покрывалах танцевала я для мужчин, бешено кружась, так что пышные волосы мои благовонною тучей плавали в воздухе; порою совсем без одежд, с одним лишь венком на заплетенных митрою косах.

Танцы всех народов и стран одинаково искусно исполняла я перед гостями моими, хотя сама больше всего любила пляску “двенадцати радостей Афродиты”...



Неподвижно теперь мое в гиацинтную ту-
нику облеченное тело.

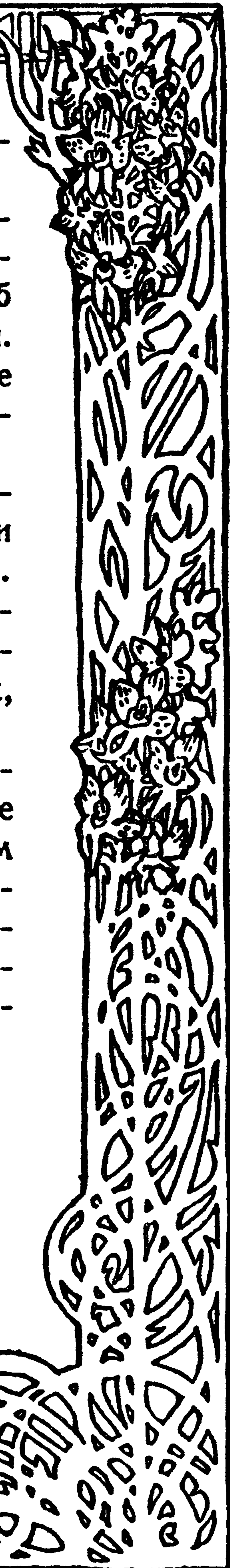

В последний раз омыв и причесав, заби-
тую и нарумьенную, с погвевенными бро-
вьями, положили меня в этот каменный гроб
рабыни мои и плачущие куртизанки-подруги.

Мягко женское сердце; не знает оно после
смерти соперницы чувства соревнования и за-
висти.

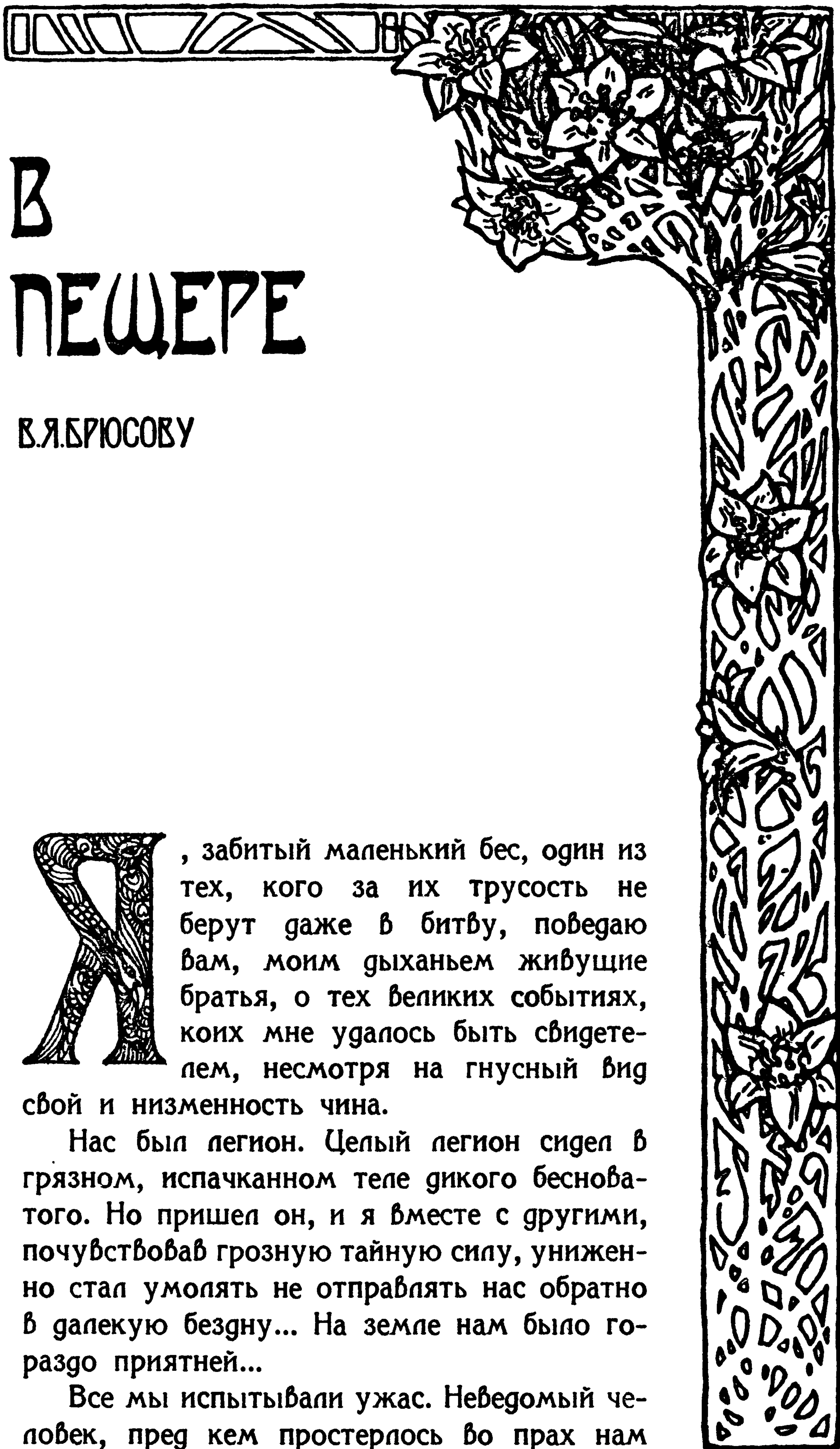
Возле меня лежит только медное зеркаль-
це, из пальмовых листьев сделанный веер и
глиняное изображение Афродиты-Астарты...

Путник, не тревожь покоя гробницы! Ни-
чего дорогого не взяла с собою дочь Прак-
синой; ничего, кроме воспоминанья о тех,
кого обнимала...

Юноши, вы позабыли меня! Но Хелидо-
нион, которую вы когда-то ласкали, вас не
забыла и, бродя одиноко во тьме по берегам
унылого Стикса, в благодарной памяти пе-
ребирает одно за другим ваши лица, как пе-
ребирала когда-то в солнечно-знойные пол-
дни, при опущенных ставнях, монеты с изо-
браженьями чужеземных царей.







В

ПЕЩЕРЕ

В.Я.БРЮСОВУ

А

, забитый маленький бес, один из тех, кого за их трусость не берут даже в битву, победаю вам, моим дыханьем живущие братья, о тех великих событиях, коих мне удалось быть свидетелем, несмотря на гнусный вид свой и изменность чина.

Нас был легион. Целый легион сидел в грязном, испачканном теле дикого бесноватого. Но пришел он, и я вместе с другими, почувствовав грозную тайную силу, униженно стал умолять не отправлять нас обратно в далекую бездну... На земле нам было гораздо приятней...

Все мы испытывали ужас. Неведомый человек, пред кем простерлось во прах нам

подчиненное тело, быя так не похож на прежде виденных нами заклинателей. Те, после первого же скачка по направлению к ним нагого, обросшего волосами бесноватого, с пеной у рта щелкавшего зубами, обыкновенно очень быстро обращали к нам спину и убегали, быстро мелькая в воздухе пятками. И мы хохотали им вслеп, и хохоту нашему вторило эхо могильных пещер Семахской долины...

А теперь мои изгоняемые братья просили Неведомого, дабы он позволил им переселиться хотя бы в стаго свиней, пасшихся на берегу Гергесинского озера.

И он нам позволил.

Как порыв урагана, вылетели мы из одержимого тела, тесня и толкая друг друга.

Стаго свиней стало добычею братьев. С бешеным визгом, одна за другою, кидались они в закипевшую воду.

Я задержался немного, чтобы взглянуть еще раз на нашего прежнего пленника. Теперь он сидел у ног своего избавителя. Обрывки цепей висели на его загорелых, грязных руках, и тихо поникли, скрывая лицо, густые пряди отросшей всклокоченной гривы. Он сидел так смиренно, этот еще недавно устрашавший собою жителей целых трех городов, человек...

Новые крики досады и страха донеслись до меня с берега. Это кричали бежавшие прочь три молодых пастуха. Я взглянул в сторону, где было стаго, и увидал, как в волны синего озера прыгала последняя бурая тощая свинья... Было слишком поздно. Из всех моих братьев я один не получил пристанища, но, впрочем, не жалею об этом. Одно за другим, плывя все дальше от берега, тонули животные. Вместе с ними тонул, погружаясь на дно, и мой легион со всеми его начальными духами...

Я остался один и поспешил воспользоваться своею свободой.

Первой мыслью моей было незаметно скрыться, пока так напугавший нас заклинатель был занят освобожденным им человеком. Он, по-видимому, вовсе не обращал на меня никакого внимания. И я, пронесшись, как захворавший



водобоязную шакал, по темным ущельям гор, мимо пшеничных полей и серых оливковых рощ, убежал туда, куда, по моему мнению, не пустили бы этого бродячего мага.

Золотой дворец властелина одной из местных провинций, с его мраморными колоннами и мягкими персидскими коврами, представлял собой много удобств для такого беглеца, как я. Владелец дворца появлялся там редко, по делу или на праздники. Сам он обитал постоянно в другой своей резиденции, у Горячих Ключей, неподалеку от того самого озера...

Поселившись здесь, я не старался чем-либо проявить свое присутствие и сдерживал себя от искушения войти в толстое черное тело негритянки-рабыни или какой-нибудь из светлохитонных прислужниц царственных принцесс, когда те приезжали с отцом. О самих принцессах я даже не мечтал. Раз в стране находился такой сильный заклинатель, его легко могли пригласить во дворец, и он сумел бы со мной распорядиться очень круто... К тому же вселиться кому-либо в тело вовсе не так легко, как это кажется с первого взгляда...

Возвращаться в адские бездны мне тоже совсем не хотелось. Вечные насмешки мелких гениев пламени над моими неудачами сильно мне надоели. Кроме того, там снова могли поручить мне какое-нибудь опасное предприятие, до которых я никогда не был охотник. Пусть лучше в аду полагают, глумалось мне, что я покоюсь на дне озера и в положенный срок восстану оттуда вместе со всем остальным легионом.

Днем лежал я в темных углах гинекея, а по ночам гразнил заманчивой грезой разметававшихся во сне толстых служанок... Это было легко исполнимо, так как воздух был густ от чада светильников и человеческих испарений...

Но запах женского пота был почему-то всегда мне противен, и я ни разу не унижался до роли инкуба.

Когда вечерней порой во дворе стихало бляенье вернувшихся стаг, смолкали звуки гудки раба, смех и топот пляски рабынь и в доме все засыпало, бесшумно и тихо выходил я на воздух. Идя вдоль стен, обросших колючим

бурьяном, пробирался я мимо спящих собак. Псы, как известно, нас чуют, и я по мере сил старался не привлекать их внимания и не гразнить.

Иногда выбегал я на облитый лунным сияньем мощный каменный двор. Тени от башен и стен пожилась на бледные сине-зеленые плиты. Трава среди них казалась бесцветной и темной. Укрывшись в бурьяне, бежал я на четвереньках, подобный собаке, и один только раз был замечен хмельным погулявшим рабом. Старик погрозил мне пальцем и шаткой походкой, держась за стенку, прошел своею дорогой. Иногда удавалось мне застать и напугать укрывшихся где-нибудь в темном углу служанку-сириянку с мальчишкой эуди. Черная змейка, тихо шипя, уползала поспешно при виде меня в узкую щель, ибо знала она, как люблю я их гразнить... Я пробирался в темные стойла, где жевали пшеницу кровные белые кони и мирно лежали на мягкой соломе сонные мулы. Тут начинал я игру; лошади бились, топтались на месте, ржали, покрытые пеной... Из стойл бежал я, кривляясь от радости, снова в спальни людей, стараясь проникнуть туда, пока на ночных небесах не появлялся признак рассвета...

И весь день гремал где-нибудь в пыли под низкой кроватью...

Так провел я в роскошном доме тетрарха около двух полных спокойствия лет.

Выйдя однажды в прохладную весеннюю ночь поиграть и поразмяться на воздухе, я пробрался туда, где на откосе стояли поросшие тернием развалины прежних палат. Там иногда заставал я изъеденный временем призрак равнодушного к играм моим какого-то старца, бывшего некогда царем этих мест и почему-то не желавшего расплыться в эфире.

Полный желанья его навестить, побежал я, кувыркаясь, на холм и, взлетев на разрушенный фундамент, оцепенел от испуга.

На площадке, среди обломков, облитых сияньем луны, сидели важно на корточках одиннадцать самых главных из

адских духов стихий. Они имели форму, подобную людам, и я мог бы, если бы хотел, сосчитать позвонки на слегка согнутой спине ближайшего ко мне вельможи воздушных пространств. Луна серебрила ему голые плечи и безволосую голову...

Они сидели молча, недовольные, хмурые, и горе было бы мне, если бы взор хотя одного из сидящих упал на меня. Но густой бурьян скрывал мое распростертое, тихо грожащее тельце...

— Окружают ли его искушающие? Хорошо ли рисуют ему картины страданий? Что делают духи скорби? — услышал я строгий вопрошающий голос.

— Искусители богдрствуют; они говорят о возможности раскаяния врагов, о нуждах народа и готовности его принять избавителя... Духи же скорби стараются так, что я опасаюсь, как бы сами они не впали в отчаяние... Но отклонить его от решения трудно. Боюсь даже, что это совсем невозможно... Теперь он находится недалеко отсюда, в саду на склоне горы, и я послал на него все свои силы.

— Как же быть, если он останется непреклонным? — спросил серо-прозрачный туманный сидевший справа дух бездны.

— Искушать до конца, всеми средствами: слезами близких, рыданиями матери, тупостью жаждущей чуда толпы и, наконец, муками тех, кто будет отправлен с ним вместе на казнь... Если надо, я сам буду страдать рядом с нашим врагом. Один осужденный на смерть разбойник, которого будут казнить, по всей вероятности, завтра, охотно уступит мне свое тело... Если страшные предчувствия наши осуществляются и враг наш сделает свой последний решительный шаг, — знайте, что шаг этот сделаю также и я, и буду, страдая с ним рядом, его соблазнять, пока один из нас не должен будет расстаться со своей оболочкой...

Лица говорившего мне не было видно. Кто-то тотчас стал ему возражать, требуя открытой борьбы.

— Я также стою за битву,— воскликнул грозный, подобный черному камню, князь гениев мрака,— долой офанимов! А этот эон не так-то легко уйдет из нашего плена!..

В этот момент темноту пронизала от дальних сагов на склоне горы летящая красная искра. Маленькой звездочкой пав на холодные камни, она расцвела и поднялась неподалеку от собищавшихся духов тонкою дымообразной фигурой. С почтеньем склоняясь, посланник сказал нагменным раздражающим голосом:

— На помощь к нему отовсюду стекаются светлые духи. Один стоит возле него и мечом отражает наши попытки. Очень приятно нам, безоружным, вступить в неравную битву, когда...

Последние слова вестника покрыты были вновь поднявшимся спором несогласных друг с другом из-за дальнейшего образа действий гениев мрака.

Не ожидая, чем кончится распря властителей бездны, я осторожно пополз, скрываясь в тени, обратно и спрятался где-то в подвале, наполненном тесно кувшинами с маслом.

При первой возможности я решил убежать куда-нибудь прочь, в пределы Сигона, сесть на корабль и отплыть, стараясь не попадаться в пути духам стихий, в отдаленные страны, отгулять еще сколько можно, а потом объявить, что был заключен заклинателем демонов в глиняном тесном кувшине с изображениями звезд на дне и на крышке. Из кувшинов этих, замазанных сверху воском или земляною темной смолой с берегов Мертвого моря, можно спастись лишь тогда, когда кто-нибудь их разобьет...



В полдень выскочил я из дворца и мохнатым серым комочком скорей покатился, чем побежал по мощенной крупными камнями улице. Сидеть дольше в темном подвале я был не в силах. Страх неизвестности и предчувствие грозных событий мучили меня невыразимо. У людей предстояли какие-то праздники, а потому народу на улицах было много

больше обычного. Попадались целые толпы кричавших и спешивших куда-то людей. Шлепая пыльными туфлями, в оборванных грязных одеждах, махали руками, посылая кому-то угрозы, ревнители закона, и заплетенные в косы пучки сеговатых волос тряслись по краям их крючконосых взволнованных лиц. Целыми кучами бегали с радостным визгом, едва не попадая под глинные ноги верблюдов, курчавые голые дети.

Я занял место под брюхом осла, на котором ехал какой-то важный купец, и бежал под охраной четырех крепких копыт и двух болтающих в воздухе мозолистых пяток.

На углу осел, заупрямившись, стал. Пятки всадника залягали в серое брюхо. Мелькнул раза два конец камышовой палки, но упрямый зверь не двигался с места. Приподняв лицо, я взглянул вперед и увидел то, чего так испугалось животное.

Незримый народом, стоял на перекрестке одетый в глинный хитон, источающий тонкое голубоватое пламя, небесный архангел. Мне были видны его обнаженные светлые ноги и нижняя часть окаймленной красивым узором одежды. Краски узора переливались, переходя в одну из другой, а помещенная в нем непрерывная цепь из очей глядела гневно и грозно. Огненный меч служителя неба был опущен к земле... Осел продолжал упираться и боялся идти. Всадник работал камышовой палкой. Я выскочил из-под брюха животного и, замешавшись в толпу, кинулся прочь. Мельком я взглянул в ту сторону, где находился архангел. Его лик был скорбно нахмурен и устремлен куда-то в пространство. Нырнув под подол какой-то старухе, я вместе с толпой прошел мимо него.

Людей на улицах все прибывало. Когда мы проходили мимо Царской башни, я, безрассудно покинув старую женщину, увидел между зубцами другую светлую тень гигантского стража небес. Он потрясал и кому-то грозил своим ужасным оружием... Мне стало казаться, что он угрожает именно мне, а потом я твердо решил убираться подальше из этой страны. Подойдя вместе с толпой к

воротам, я заметил по сторонам их на страже еще двух одетых в серебряно-светлые ризы и препоясанных в бой нахмуренных genieв света. Долго я не решался пройти мимо них, и лишь страх остаться в обреченном быть ареною битвы городе дал мне силы решиться.

Держась за край одежды ученика молитвенной школы, шмыгнул я мимо врагов в надежде, что если кто-либо из них пожелал бы меня перешибить своим пламенно-жгучим мечом пополам, ему было бы трудно это исполнить, не ранив благочестивого отрока с туго заплетенными косицами на висках.

За городской стеной я заметил в толпе несколько загадочных лиц. С виду они не отличались ничем от прочих грязных, потрепанных, гортанным голосом пронзительно кричащих жителей этой страны. Но в них чувствовал я что-то близкое нам, обитателям бездны. Огни из этих людей громко смеялись, другие подстрекали соседей кричать кому-то, чтоб он совершил какое-то чудо... Взглянув случайно на небо, я так и обмер со страху, а члены мои сделались слабы и вялы, как у беспомощной женщины.

В бездонной лазури, подобно светлым далеким облачкам, виднелись легионы ангельских сил; они развертывались по временам, словно какая-то зарница освещала зигзагом их бесконечные рати. Пониже несколько воинов неба, подобно птицам пустыни, плавали на распластанных крыльях над густой толпой народа, остановившейся неподалеку от стен.

Кругом стояло много женщин. Часть из них плакала, и все они кого-то жалели. Из отрывистых фраз их разговоров я понял, что там, у стен, на пригорке кого-то собирались казнить. Над толпой вознеслось сперва одно, а за ним еще два прикрепленных к тау из дерева тела. Оттуда неслись чьи-то резкие крики, гул и хохот довольных, видимо, зрелищем жителей.

Я подбежал к ограде одного из садов и спрятался в щель меж грубо один на другой набаленных камней. Подобно ящерице, выставляя я оттуда порою лицо и созерцал все, что передо мной происходило. Мимо меня не раз

проходили собратья по агу в человеческом образе. “Требуйте чуда!” — отдавал приказание один из них двум своим подчиненным, которых люди принимали, должно быть, за мелких торговцев... “Упорствует...” — долетела до меня оброненная другим духом мысль... “Они нагрянут от Мертвого моря...” — злобеще шепнул, промелькнув мимо ограды, еще один демон своему такому же спутнику.

Действительно, со стороны Сирбониса виднелась большая темная туча, плывшая к нашему городу. Туча эта грозила закрыть собою все небо... Мне стало страшно. Но слабость мешала мне убежать куда-либо дальше.

— Наш Избранник терпит доблестно муку... Тс-с! Он искушает! — вновь донеслось до меня.— Тот не хочет... О горе!.. Идите и плачьте! — отдавал кто-то вблизи от меня приказания.— Умоляйте!..

Становилось темней и темней. Я чувствовал в воздухе присутствие и приближение все новых и новых сил преисподней. Там и здесь, по сухой земле пробегали какие-то темные шарики, с виду очень похожие на полевых спешащих мышей. Бледно-синие огоньки вспыхивали порою на кровлях домов и вершинах деревьев. Налетающий изредка вихрь подымал и крутил тучи песку и каменной пыли, развеивая одежду закрывавших лицо уршалимитов. Им, видимо, трудно было не только глядеть, но и дышать. Толпа под городскими стенами заметно редела... Черная туча, спускаясь ниже и ниже, заняла собою все небо, скрывая от глаз легионы ангелов, которые, вероятно, отступили. Стало совсем темно, и во мраке слышались только крики испуганных этим небесным явлением людей и животных...

И внезапно душную тяжкую мглу прорезала яркая молния... За ней другая и третья. Грозно грянул раскатами гром. Мимо меня промчались по воздуху несколько темных туманных фигур. Возле ударился о землю кто-то тяжелый и тучный. Послышался стон. Мелькнули белым огнем мечи гениев света... В раскатах грома пронесся на грозном голубовато-сером коне с львиными лапами тот, кого все мы знали под именем Абигора. Волоса его развеивались на

затылке, и по их черной волне перебегали вспышки красного пламени... Снова ударила яркая молния. Возле обрушились камни стены, и я, полный страха, рванулся искать спасения в бегстве.

Пока я метался по мягкой земле борозд виноградника, под ветвями пыльных олив и душистых смоковниц, вокруг тяжким градом падали с неба духи тьмы и огня, стена от полученных в битве ударов. Погоня двуглавого сфинкса перебитой змеями тростью, промчался при блеске молний бледный, с искаженным лицом, еще один из главных гениев ада. Он пролетел над самой моей головой и сломал при этом вершину гранатного дерева...

Я обогнул извивавшегося от боли, бившего землю хвостом черного крокодила, на котором постоянно ездил в бой Аграмелех, и кинулся в яму какого-то погреба. Снова сделалось очень светло от вспышки молнии, так что я мог разглядеть стоящие возле стен лопаты, кирки, мотыги и кучей наваленные пустые корзины...

Забившись в угол, сидел я, внимая отзвукам битвы. Она утихла лишь к вечеру. В четырехугольнике входа зажглись яркие звезды. В воздухе слышался шепот; порой долетал какой-то, похожий на пение арфы, стон и трепет офанимовых крыльев...

Внезапно слышались шаги, человеческий разговор, и в погреб вошли люди. Я забился в стоящий в углу большой глиняный сосуд с попорченным боком. Пришедшие люди забрали и вынесли вон земледельческие орудия и корзины. Кувшина моего они не тронули.

Я собирался уже покинуть убежище и под покровом ночи умчаться в сторону моря, но у входа снова раздался топот идущих людей, и я опять принужден был укрыться в тот же разбитый сосуд.

Я спрятался кстати. Несколько человек, мужчин и женщин, спустились в пещеру, неся на руках в пелены обвитое тепло. Один из вошедших был с факелом.

Мне почему-то вдруг сделалось страшно, и я вновь захотел шмыгнуть из пещеры. Но у входа стоял невидимый

пришельцам архангел. Глаза его были широко раскрыты и устремлены на обернутый плотно в белые ткани недвижный труп, от которого пахло благовонною миррой...

Люди ушли и завалили тяжелой плитой отверстие выхода. Судя по оставленным возле мертвого тела кубшинчикам и пузырькам с благовониями, а также по разговорам ушедших можно было думать, что они спустя некоторое время вернутся обратно. Обсудив свое положение, я решил, что благоразумнее всего переждать в этой пещере, пока все успокоится и архангел, стерегущий по ту сторону входа, уйдет.

Невольно обратил я внимание на то, что завернутое в белые ткани мертвое тело светилось. Сперва сияние было слабо, потом все сильнее и сильнее, так что возможно стало разглядеть всю обстановку служившей погребом пещеры.

Труп лежал неподвижно, но подходить к нему близко я не решался, ибо неведомый страх наполнял все мое существо. Мне казалось, что, если я подойду, может случиться что-то непоправимое и могущее даже меня уничтожить.

Некоторое время спустя в противоположном углу слышалось чье-то царапанье, сперва тихое, потом все громче и громче, словно кто-то стучал в сплошной камень стены.

Из предосторожности я вновь скрылся в кубшин и стал оттуда прислушиваться к стуку в углу. Немного спустя он прекратился. Затем кто-то глубоко вздохнул. Я высунулся слегка из убежища и увидел, что в трех шагах от меня находится сам Повелитель Ага. Прекрасный и стройный, он стоял в ногах неподвижно лежащего тела и пристально смотрел на него. Потом простер над лежащим руки и прошептал несколько таинственных слов, как будто чего-то ожидая. Мне пришла в голову мысль, что Властитель желает оживить спеленутого мертвеца. Но тот продолжал лежать неподвижно. В щелку сосуда я видел, как печально было лицо Повелителя. Можно было подумать,

что он потерял любимого брата. Постояв над ним несколько времени, Властелин прошептал что-то еще, махнул безнадежно рукой и скрылся, словно уйдя в каменный пол.

За ним показался из щели в углу, сперва в виде черного дыма, а затем в образе на льве сидящего воина, другой из князей преисподней. Он сошел со зверя и стал на то же место, где раньше был Повелитель. Черный же лев стал ходить вокруг пещеры, глухо ворча, косясь на бездыханное тело и выдыхая из кровавых раздутых ноздрей темно-красное пламя. Хвост его бил по крутым тонкою шерстью покрытым бедрам. Я очень боялся, когда этот лев задержался немного в углу у каменной сводчатой стенки. Мне стало казаться, что он непременно заглянет в горло кубшина, где я сидел. Ибо даже понюхав оттуда, он мог свободно втянуть меня в свои ужасные ноздри... И я весь сжался, как только умел, сделавшись очень похож на большого мохнатого паука, который свернулся на донце сосуда.

В это время услышал я голос того, кто стоял возле тела:

— Ты думаешь, гордый эон, что победил раньше тебя покинувших то же горнило. Ты пришел изгнать нас отсюда, но это тебе не удастся. Знай, что слишком сильны наши связи с живущими здесь на земле племенами. Знай, что они дороги нам не всегда как рабы, а порою как дети, и мы тебе их не уступим. Что ж за беда, если в битве наши сонмы были рассеяны!.. Ведь ты не останешься здесь навсегда и победить в этом сражении мог лишь ценой своего удаления. Мы же останемся... И останется также твоя оболочка... Я не знаю, что может мне помешать разделаться с нею... Сюда, верный мой пес! Отдаю тебе труп. поступи с ним, как хочешь. А тем временем тот, кого в Мицраиме зовут Бегемотом, откусит голову его блуждающей тени!

И грозным ревом ответило князю чудовище Ага. Я так испугался этого рева, что закрыл лапками темя и перестал что-либо слышать. Но спустя несколько времени любопытство во мне взяло верх и новый голос заставил меня наострить внимательно уши.

— Ты, конечно, не сделаешь этого... Воля моя не допустит твоей кровожадной и гнусной попытки. Я беру это тело себе... Я сказала!

— Не становись между жертвой и тем, кому должна эта жертва достаться,— рычал в ответ князь преисподней,— не ты сокрушила врага, не ты и получишь эту награду! Не ты билась, терпела раны, боль и стыд поражений, не ты, победив гордость Плиромы, низвергла его могущество в прах!..

— Каждый прах на земле принадлежит только мне, и он поэтому мой!

— А может быть, мой, ибо я ему буду сродни. В облитой солнцем долине, что лежит по ту сторону Царских Прудов, под сень ветвистых дубов, в стан пастухов пришли некогда три таинственных странника, и один из трех оставил семя в палатке вождя. Этот странник был я. И предок всегда может карать тело потомка...

— Прибереги эти басни людям. Они охотно верят сказкам и снам. Но меня ты не введешь в свой яркий обман. Ибо я — Женщина и, быть может, сама вся состою из обмана... Тело же это мое!

— Ты забылась! Вспомни, что ты всегда должна покоряться более славным, чем ты...

— Назад! — слышался грозный ответ.

И, высунув нос из щели сосуда, я видел, как виновато полз с поджатым хвостом лев второго из адских владык, а сам он стоял, полный гнева и не решаясь напасть на ту, с кем говорил.

Но разглядеть ее, несмотря на мерцание трупа, я был не в силах. Ибо формы она не имела. Порой говорившая подобна была колебанию темного облака, порою в последнем виднелись ряды женских грудей; порою живот, по которому ползали львы, быки и золотистые пчелы; или то было плечо, или черты в полутьме пропадавшего лица. Образ дрожал, колыхался, и лишь однажды явилась оттуда почти весь склеп занявшая кисть чьей-то гигантской руки, отстранившая черного льва.

— Кто ты? — воскликнул, пятась, князь ага.— Разве ты не подчиненный нам дух, вместе со мной искушавший этого сына жрецов? Разве не ты в Магдале...

— Уйди! — ответило облако.— Уйди, если не хочешь, чтоб я извергла тебя далеко за пределы вселенной! Я повелеваю тебе именем Той, пред кем преклоняешься ты. Ибо Она — моя мать и пребывает во мне, как я в Ней.

— Я уйду, но разве ты не Иштар?..— пробормотал, исчезая покорно, князь ага.

Так как он прошел, перед тем как скрыться, мимо меня, то я снова припал ко дну сосуда и поднял голову лишь тогда, когда в щель пробился ко мне луч розоватого света.

Взглянув в эту расселину, я не увидел более темного облака. Источая сиянье, в склепе была полная прелести женщина. В этот момент она подошла к неподвижному трупу и, сев возле него, застыла, как статуя.

И долго сидела, склонив свою золотыми волнами кудрей покрытую голову. А я неустанно и жадно ее созерцал. Прекрасное тело было обращено спиной ко мне, и я не мог разглядеть светозарного лица. В пещере запахло розами, и я подумал сперва, что, верно, лев Вельзевула разбил, убегая, флакон с благовонной эссенцией.

— Ты неподвижен теперь, так долго избегавший меня человек,— грустно заговорила сидящая.— Или не знал ты, сколько тысячелетий ждала я тебя, томясь, втайне рыдая и грезя?.. И зачем, придя наконец, ты от меня отворачивался? Я ль не предлагала тебе красивейших из дочерей Гелилской земли? Я ль не улыбалась тебе глазами детей, цветами Эдрелонских полей? Я ли не приходила к тебе во время молитвы или в час отдыха?! Ты же, безжалостный, гнал меня прочь от себя даже во сне и теперь ушел куда-то далеко бесцельно ломать врата преисподней, как будто эти врата не могут быть снова воздвигнуты!.. Одно лишь твое покрытое язвами тело лежит предо мной, и мне осталось только, в знак моей безмерной любви, умастить эти запекшейся кровью залитые кудри!

И сняв покрывало с лица распростертого трупа, та, которую я считал за Иштар, перебирала и отирала покрытые кровью и пылью мертвые пряди.

— Не сердись,— прошептала она,— что я прикасаюсь к тебе. Я не ушла бы теперь, если б вдруг ты пробудился, даже если б к холодному телу вернулась из ада его печальная тень... Ведь я не причинила тебе до сих пор ни малейшего зла... Как ты спокоен!.. Даже ни тени улыбки для той, чью страсть ты так горделиво отверг... Но я не изменила тебе и клянусь, что мой храм будет стоять над твоей безвестной гробницей! Клянусь, о лучший и дивный эон, что моя любовь к тебе не иссякнет вовеки!

И склонясь над спеленутым телом, светозарная стала развертывать белые ткани. Развернув их, она сложила в несколько раз полотно и подложила его под умощенные кудри источавшего сияние тела. А сама вновь села в ногах, неподвижная, как изваяние.

Раза два из угла поднималась почти до колен фигура какого-то темного, мне незнакомого беса и вновь опускалась с гримасой ужаса на неясном жалком лице. Женственный дух не замечал его.

Не помню, сколько времени просидев возле неподвижного тела, женщина вдруг подняла свою голову, и я увидел, как из-под ее длинных темных ресниц вспыхнули молнии.

— Нет, я не допущу, чтобы ты не вернулся! Я не согласна, чтобы это прекрасное тело сгнило в холодном сумраке смрадных пещер. Вливая всюду дыхание жизни, я и труп твой заставлю ожить, каких бы усилий мне ни стоило это, о плод совместных трудов лишь мне известных эонов! Пробудись от своего небольшого сна! Вернись, душа, из бездн преисподней в это благоуханное тело! Расцветите алым цветком, острым железом пробитые раны, и вновь закройтесь под моею легкой рукой! — И по мере того, как женщина гладила их, одна за другой стали гореть, подобно рубинам, темные язвы.

Тело лежало теперь, лишненное покровов, с неподвижно-строгим лицом и торчащею вверх светло-золотой бороною.

Лицо это мне показалось знакомым. Я напряг усилия памяти, и предо мною всплыли пещеры Семахской долины и светлые воды Гургесинского озера.

Я видел, как Астарта склонялась над мертвым заклинателем, стараясь вдохнуть в немые уста хотя подобие жизни...

Но тщетны были попытки прекрасного духа. Лицо мертвеца глядело по-прежнему строго. И по-прежнему разливалось над ним спокойное белое сияние.

Но вот Иштар простерла над трупом свои розоватые руки и стала вновь читать свои заклинания. В них слышалась такая сильная воля, такое непреклонное желание, что мне стало страшно. Ибо даже воздух вдруг проникнулся трепетом.

— Ты презрительно молчишь, совокупно рожденный зонами! Ты равнодушен остался к моим полным нежности ласкам, но знай, о стыгливый цветок радужно-светлой Плиромы, знай, что у меня найдется средство тебя оживить!

И я увидел, как согрогнулось мерцание света над растертым, как загорелись огнем ненасытной тоски глаза у Астарты, преобразилось ее прекрасно-печальное прежде лицо...

— Нет, не рыданьем воскрешу тебя, о жених мой! Пусть рыдают женщины Библоса над твоим грустным прообразом. Я не знаю, что будет со мною, но я воздвигну любовью моею тебя, отринувший восторги любви!

И с неукротимой страстью ринулась Иштар к бездыханному телу...

В этот миг загрохотала и всколыхнулась земля. Кругом сперва потемнело, а затем пещера озарилась такою вспышкой света, что я в смятении и страхе ткнулся лицом в жесткое дно кубшина и долго, долго лежал, чувствуя, как грозит вокруг меня воздух. И затем, как сквозь сон, услышал я, что в пещеру кто-то вошел. Помню чей-то отчаянный крик боли и скорби, покрытый громкими звуками ангельских труб...

Кругом пели радостным хором райские воинства. Вся пещера наполнилась светом и плеском их крыл, и неустанно слышалось слово "Восстал!". Но я не поднимал головы и молча, в ужасе, ждал, когда спину мою пронзит чей-нибудь пламенный меч. От страха лишился я способности мыслить и чувствовать...

Когда я очнулся, в пещере царил полумрак и все было тихо. Никто не трубил и не пел, и не было слышно реянья крыльев. Боязливо приподнял я голову. В дырку сосуда было заметно, что в склепе более нет никого. Камня у двери также более не было.

Тело исчезло. Огни лишь ткани сложены были в том месте, где недавно лежало оно, еще храня вдавненный след его головы. Астарты тоже не было видно. Но аромат роз стоял еще в воздухе...

Я вылез из горла кувшина и земляною белкой пустыни шмыгнул в отверстие выхода. Мелькнув мимо стоящих снаружи трех горячо споривших стражей, я помчался стрелой на четвереньках по Иоппейской дороге и долго несся в белой пыли, обгоняя людей, ослов и верблюдов...

В Иоппее я был встречен своими соратниками по легиону и объяснил, что только теперь спасся из глиняной тесной тюрьмы, куда был посажен заклинателем, поймавшим меня будто бы в тот самый момент, когда я хотел броситься в воду.

— А знаешь ли ты, кто был тот заклинатель? — спросил меня старший товарищ.

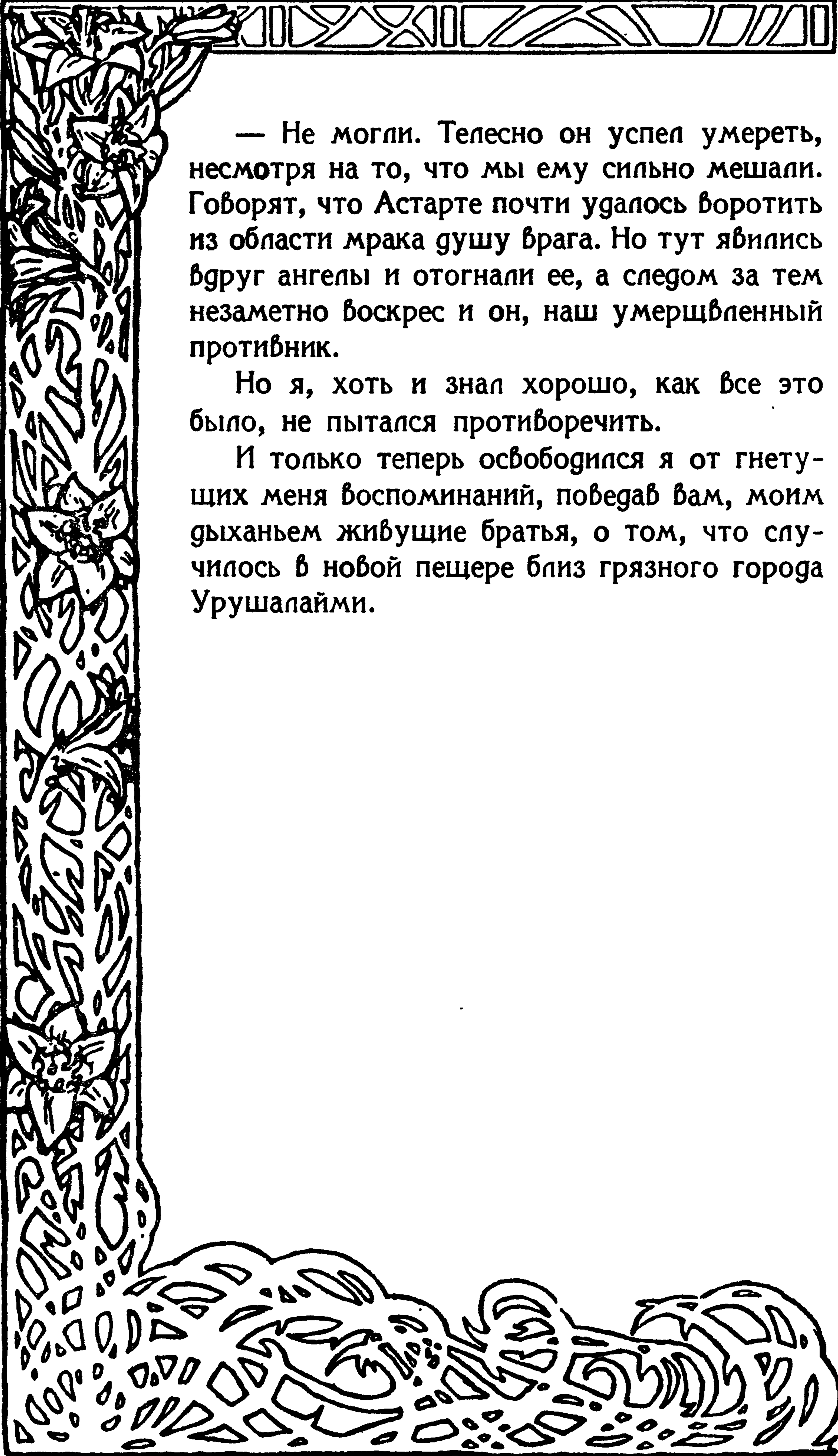
— Нет, а что?

— А то, что он спустился недавно в область ага и вывел оттуда все желавшие выйти души умерших.

— Я надеюсь, что вы дали ему славную битву?

— Да, нам досталось как следует... Несколько раз встречались наши полки с его легионами, но увы, не удержали их повелителя от нисхожденья в аг.

— Как, неужели Вельзевул и сам всемогущий Люцифер не могли ему воспрепятствовать?



— Не могли. Телесно он успел умереть, несмотря на то, что мы ему сильно мешали. Говорят, что Астарте почти удалось воротить из области мрака душу врага. Но тут явились вдруг ангелы и отогнали ее, а следом за тем незаметно воскрес и он, наш умерщвленный противник.

Но я, хоть и знал хорошо, как все это было, не пытался противоречить.

И только теперь освободился я от гнетущих меня воспоминаний, поведав вам, моим дыханьем живущие братья, о том, что случилось в новой пещере близ грязного города Урушалайми.



ФАМИРИС

ДОРОГОМУ УЧИТЕЛЮ

ИННОКЕНТИЮ ФЕДОРОВИЧУ ЛИНЕНСКОМУ

...Фамирис же, как красотою тела, так и пением в гусли превосходя иных, о мусикии имел прю с Мусами; договоряся, ежели он победит, то со всеми ему лежати; а ежели побежден будет, то он лишен будет, чего они хотят...

Аполлодор. Библиотека. Москва, 1725

Н

и одного облачка не было на синем небе. Солнце стояло уже довольно высоко, и зной становился нестерпимым. Все живое старалось укрыться от жгучих лучей златокудрого Феба в сырую тень глубоких обрагов или под ветви изредка здесь и там растущих дубов. По горным тропинкам глухих геликонских отрогов шагал одинокий путник. Сильно устали его покрытые пылью ноги, а кожа сандалий во многих местах потерлась. За спиною болталась легкая тыква, внутри которой давно было сухо; через плечо висела красивая пестро раскрашенная кифара. Путник, видимо, сбился с дороги и шел наугад, заставляя взлетать из-под ног испугнутых им



куропатов. Тропинка, идя по которой он должен был попасть в небольшое селение, как-то пропала, сменившись другою, приведшей странника в дикую глушь поросших кустами орешника и одичавшего лавра холмов Геликона.

Кругом не было видно ни земледельца, ни охотника с тенетами; не доносилось звуков свирели стерегущего бурых коз пастуха, у которого можно было бы спросить про дорогу. Огни лишь кузнечики трещали без умолку.

Фракийский певец Фамириг, поправив висевшую сбоку кифару, пошел напрямик сквозь кусты и вереск в обраг, куда манила на отдых прохладная тень олеандров. По глыбам камня, покрытым зеленым бархатным мхом, Фамириг спустился в поросшее лесом ущелье. Тут можно было вздохнуть свободнее. Над головою, в темно-зеленых ветвях ворковали дикие голуби. Пройдя около двух-трех полетов стрелы, путник увидел поляну, среди которой росла группа старых дубов и несколько стройных тополей. Меж них из кучи камней вытекали светлые струйки, образуя круглый родник, обрамленный густым тростником. Из него выбегал ручеек и, змеясь по зеленому лугу, скрывался в темном лесу.

Измученный глинной дорогой, странник подошел к роднику и опустился возле него на цветы черных ирисов и лилово-синих фиалок. Затем он снял круглую шляпу с полями, кифару, пустую тыкву, сумку из шкуры дикой свиньи, положил на траву свой глинный дорожный посох, а сам, став на колени, припал губами к холодной чистой воде и долго не мог от нее оторваться.

В глубине родника что-то мелькнуло...

Кончив пить, Фамириг вынул из сумки два ячменных, с медом спеченных хлебца и утолил ими свой голод. Затем он взял в руки кифару и негромко запел гимн в честь полевых и сельских божеств. Он славил великого Пана, розовых нимф рек и лесов, воспевал хоровод ореад и мхнатых сатиров на побитых ночным туманом росистых полянах. И песня его неслась над цветами долины, трепетала



в недвижных ветвях тополей, и тихо вторило ей жужжание пчел и журчанье ключа.

Спев свой гимн, Фамириг прилег в тени темно-зеленого дуба. Склонив на узловатые корни свою усталую голову, мало-помалу певец задремал.

В полусне фракиец слышал, как тихо шепчет жалобы старый дуб на то, что в дупле у него забелись неугомонные пчелы. Пчелы в свою очередь тонкими жужжащими голосами пели, радуясь сладкому меду, который они собирали с пахучих цветов. Фамириг понимал их голоса, но ему казалось, что он видит все это во сне...

Но вот сильный напор воздуха, как будто от веянья чьих-то громадных крыльев, заставил его встрепенуться и приоткрыть глаза.

С синего неба на залитую солнцем поляну плавно спускался ослепительно белый крылатый конь с пышной золотистой гривой. Вот он коснулся земли, заржал, топоча подбежал к роднику и стал, жадно фыркая, пить. Из тростника послышался чей-то тихий серебряный смех. Кто-то плескался там водою, шуршал и шелестел.

Фамириг лежал неподвижно, боясь пошевелиться и спугнуть дивное видение. Он слышал в детстве от своего учителя, гиперборейца Оленя, про порождение крови Мегузы, коня бессмертных Пегаса, но никогда не встречал человека, который бы мог рассказать, что видел это крылатое чудо.

Но вот Пегас напился, заржал и, топнув о землю копытами, взмахнул белыми крыльями, поднялся на воздух и полетел, поджав передние и слегка опустив задние ноги. Улетая, он все уменьшался в объеме и наконец скрылся в эфире, как пух, несущий семя болотных цветов.

Фамириг крепко стиснул зубами свой палец и, почувствовав боль, убедился, что это не сон.

Крик целой стаи сорок вывел его из задумчивости и вновь заставил удивиться. Сороки кричали и спорили на весь лес, кого-то громко осуждая, а он, Фамириг, к своему удивлению, понимал их голоса.

— Мы их увидим, сестры! Дочери Мнемозины прилетят напиться воды к этому источнику. Встретим их презрительным смехом! — кричала огна из сорок.

— Испачкаем их одежду! — предложила другая.

— Отомстим им за наше превращение. На состязании мы спели не хуже их.

— Нет, лучше! — перебила четвертая.

— Богини всегда завидуют смертным, и зависть их бывает ужасна. Думал ли когда благородный Пиерий, что все девять его дочерей станут жертвами муз!

— Сестры, я слыхала недавно, что Каллиопа пела чужую песню. Гимн о скорби Деметры, подхваченный всем остальным их хором, сложен сиренами... Если бы вы знали, о сестры, как погло обидели их музы! Сирены, подобно нам, превзошли сестер феспиаг, и те отомстили им, выщипав лучшие перья. Бедные сирены бросились в море и прячут свой стыд на бесплодных камнях, злобеще чернеющих в пене... Я слыхала про них от морской чайки. Ее зовут Гальционой. Волею Зевса она обращена в крикливую птицу за то, что муж в часы нежных утех звал ее Герой...

— Сестры, помните гимн, который мы спели музам? Песню про страх богов, грозный вид Тифаона? Нимфы гор и лесов, слушая эту песню, прятали в страхе лицо, жмурили синие очи. Тонкие губы в кровь музы кусали в злобе, — начала было декламировать огна из сорок.

— Тише, о сестры, они могут прийти и услышать, а тогда вновь обратят нас на этот раз в еще более гадких существ. Не стоит гразнить их. Лучше уйдем!

Так сказала старшая, наиболее благоразумная из сорок.

И сестры, послушавшись ее, улетели. Докучная трескотня их мало-помалу смолкла вдаль.

Но тишина тянулась недолго. Фамириг снова услышал легкий плеск воды и шорох в тростниках. Он встал и сделал несколько шагов к роднику. Там никого уже не было. Огни лишь круги расходились по гладкой водной поверхности. Фамириг стал на колени и нагнулся к источнику. Навстречу

ему оттуда с любопытством глядели два сине-зеленых глаза. Из глубины выдвинулось молодое лицо полупрозрачной, увенчанной черными ирисами нимфы. Слегка улыбались розоватые губы. В светлом кристалле источника белели полудетские плечи и тонкие красивые руки. Стройный стан был опоясан глинным стеблем темно-зеленой болотной травы. По мере того, как Фамирид наклонялся, лицо юной наяды в свою очередь приближалось к поверхности. Вот оно чуть-чуть показалось из родника, и послышался голос, тихий, подобный шелесту трав:

— Не удивляйся, о смертный, тому, что ты видишь и слышишь. Судьба допустила тебя испить воды из родника, посвященного музам. Отныне тебе будет понятен язык птиц и зверей, ты будешь видеть богов и богинь, бойся лишь оставаться здесь, дабы музы, являсь, не узнали, что смертный пил из ключа дочерей Мнемозины... Они могут прогневаться...

Полупрозрачное лицо с участием глядело на пришельца.

И, стоя на коленях перед источником, так отвечал Фамирид:

— Мне приятен взор твоих синих очей, прекрасная нимфа, твой голос ласкает мне душу. Я не хочу уходить. Пусть явятся музы. Я сумею дать им ответ на гневные речи.

Говоря это, фракиец заметил, что нимфа ему улыбнулась, и он, безотчетно склоняясь, робко припал губами к водной поверхности, встретив ими немой поцелуй нежных розовых уст маленькой нимфы...

Кругом царило молчание. Огни лишь кузнечики цыркали на поляне, да над серебристым ключом, ныряя в воздухе, чуть слышно трепетали прозрачными крыльями стрекозы. Мелкие букашки ползали по травам. Вода слабо журчала.

И долго, долго не мог Фамирид прервать поцелуя.

Но вот образ нимфы заколыхался. Из воды показались и легли на плечи фракийцу две легких бледных руки, а за ними вышли наружу не только лицо, но и вся голова и тонкие плечи.

— Смертный, у тебя очень горячие губы,— произнесла наяга,— скажи твое имя.

— Зовут меня Фамириг, я родом из Фракии, занимаюсь игрой на кифаре; отец мой — фракийский певец Филаммон, а мать — нимфа Аргиопа...

— Так скройся скорей, Фамириг, как я скрываюсь. Приближаются музы. Я слышу шум их одежд... Прости!

Нимфа исчезла под водою. Черты ее затрепетали, стали прозрачными и расплылись, как бы тая в холодных чистых струях.

На дне родника были видны теперь лишь мелкие камни, стебли растений и золотистый песок.

Сзади внезапно слышались голоса и шаги. Сын Филаммона оглянулся и тотчас вскочил на ноги.

Несколько одетых в желтые хитоны богинь стояло возле источника.

По осанке, белому цвету лиц, лирам в руках, росту и платью в этих богинях легко можно было узнать дочерей Мнемозины и Зевса, слетевших взглянуть на свой любимый источник.

Увидя фракийца, они в изумлении остановились. Бессмертные музы не ожидали встретить здесь человека, который, как видно, успел уже напиться из запретных для смертного струй. И каково было негодование кастальских сестер, когда этот пришелец, вместо того чтобы пасть ниц, закрывая затылок, продолжал созерцать их движения и лица.

— На колени, презренный, перед богинями! — громко вскричала Мельпомена.

— Во прах перед нами! — прибавила Урания.

— Как осмелился он лакать из источника муз! — Почему не простерся перед дочерьми Мнемозины? — Почему не закрыл ты лицо, недостойное видеть богинь?

Но Фамириг остался неподвижен. Он был недоволен: богини ему помешали целовать нимфу и, кроме того, поносили его так громко, что нимфа эта не могла не слышать их бранных речей. Сын Филаммона готов был уже дать

достойный отпор, но благоразумие взяло верх, фракиец сдержался и начал ровным, спокойным и почти ласковым голосом:

— Вы так нежданно явились, о светозарные! Божественный вид ваш ласкает мне взоры. Зачем же я стану пагать на землю и тем лишать себя этого зрелища? Ведь я, как и вы, служу Кифарегу и склоняюсь только перед ним...

— Га, несчастный! Он забыл, кто мы такие! Он думает, что может быть равен нам...— воскликнула одна из муз.

— На колени, собака и порождение собаки! — прибавила другая.

Фамириг вспыхнул от гнева. В глубине души он был убежден, что его собственная мать, Аргиопа, была несколько не ниже дочерей Мнемозины. К тому же отец его Филаммон родился от прекрасной Хионы, принимавшей на свое лоно одного за другим двух олимпийцев.

А потому, горделиво выпрямившись во весь рост, он ответил:

— Вы ведь не принадлежите к числу великих богов. Вы только родились от Зевса. Но сын Крона и мне приходится сродни. От него темнокудрой Латоной был рожден мой дед Аполлон. В окаймленных гробницами Дельфах девушки до сих пор поют гимны в честь их славного брака, и гимны эти сложил мой отец Филаммон. Если бы к вам не благоволил сын Латоны и не научил вас для своего развлечения петь и плясать, вы ничем не отличались бы от простых ореад Парнаса и Геликона. Я сын и внук кифарегов и умею не хуже, чем вы, слагать песнопения. Кто, как не я, воспел борьбу олимпийцев с титанами? Кто был увенчан недавно дельфийским лавром на пифиях? К чему же мне преклоняться пред вами? Нет, я не сделаю этого!

И сын Филаммона глядел на богинь вызывающим взором.

Такая смелость привела их в божественную ярость. Крики угроз Пиериг смешались с воплями мести...

Но вот из среды богинь вышла вперед темнокуграя стройная Каллиопа. Лишь она осталась спокойною и, пойдя легкой походкой к безумцу, спросила его равнодушным, презрительным тоном:

— Итак, сын Филаммона, гордый тем, что к твоей бабке когда-то ходил Аполлон, ты не желаешь пасть на колени пред нами? Ты мнишь, что можешь сравниться в искусстве слагания гимнов с нашим божественным хором?

Фамириг встретил ясный, проницательный, слегка насмешливый взгляд божественной музы. Но певец не смутился и не потупил глаз.

— Да,— отвечал он,— я утверждаю, что мог бы вас победить в состязаньи. Примите мой вызов, дочери Зевса!

Новый взрыв негодующих кликов покрыл слова Фамирига.

— Ослепим его! Вырвем наглый язык! Снимем с дерзкого кожу! — кричали в божественном гневе все девять сестер, злобеще надвигаясь на фракийца.

— Интересно, что скажет сын Латоны, когда узнает, что внука его смели обидеть,— произнес Фамириг, невозмутимо глядя на муз. Те, полные бессильной злобы, отступили, не переставая роптать.

Но снова, укротив сестер легким движением руки, стала говорить спокойная Каллиопа:

— Сестры, дадим безумцу спеть нам свои бездарные песни. За ним споемте и мы, и пусть наглец, покрытый стыдом, примет от нас должную кару. Пусть он тогда, издыхая, будет забивать Марсию!

— Но не теперь! — перебила ее Эрато.— Теперь мы должны лететь на пир к олимпийцам.

— Пусть глупец подождет своего наказания. Назначим ему место и срок,— сказала Урания.

— Где-нибудь выше, среди гор... Чтобы там была ровная площадка.

— В таком случае пусть он ко дню следующей полной луны придет на Пангей; из горных вершин один лишь Пангей не озарен нашей славою. Мы же найдем тем временем судей.

— Теперь же, сестры, летим, и бросим безумца! — И музы собрались улетать.

— Стойте, дочери Зевса! — вскричал Фамириг. — Вы сейчас говорили о том, какая участь постигнет меня в случае вашей победы. Ну, а если не вы одержите верх, а я? Знайте же, что, побежденные мною, вы уступите мне свое место на Парнасе и Геликоне. Я стану тогда вам господином, а вы будете мне служить, разделяя со мною ложе и веселя зрение и слух мой — игрою, пением и пляской. Такова моя воля!

Дружным смехом ответили фракийцу феспиады.

— Хорошо. Только ты победи нас сначала, самомнящий глупец, — ответила за сестер Каллиопа. И легко отделившись от земли, понеслись веселой толпой по эфиру прекрасные музы. Ярко горели на солнце узоры их золотистых одежд и блестящие лиры...

Проводив их взором, певец вновь подошел к роднику, где его ждали уста полувоздушной серебристо-розовой нимфы...



На сочной, слегка измятой зеленой траве, в тени того же самого дуба неподвижно сидел утомленный объятиями сын Филаммона. На коленях его помещалась легкая, немного задумчивая подруга. Тонкие пальцы ее перебирали черную бороду певца. Улыбкой она старалась скрыть приближение грусти. Туман недавнего счастья еще наполнял ее глубокие зелено-синие очи.

— Есть ли у вас во Фракии нимфы? — спросила няяда, ласково глядя на Фамирига.

— Таких, как ты, нет. Наши нимфы выше ростом, и тело у них более грубо и волосы жестче. Среди них попадает много с рыжими косами. Голос наших нимф громче и сильнее. Если им не нравится путник, они кидают в него огромные камни или сбивают с пути, пугая диким ауканьем...

— Так что я нравлюсь тебе более их? — продолжала допрашивать наяга. Ее маленькие бледные руки обвили шею певца, а лицом она приблизилась к Фамиригу.

— Несравненно! — ответил фракиец, улыбаясь.

С минуту длилось молчание. Нимфа впилась испытующим взором в глаза собеседника, как будто читая в них его судьбу. Лицо ее стало внезапно серьезным.

— К чему тебе вступать в это безумное состязание, — вновь начала она. — Или ты полагаешься на беспристрастие судей? Поверь мне, кто бы ни были эти судьи, они не посмеют тебя признать победителем муз. Все ведь знают, что к ним благоволит Аполлон, что они поют на пирах олимпийцев. Все помнят, как они обошлись с дочерьми македонца Пиерия, как они ощипали из зависти бедных сирен. Я слышала твой гимн, Фамириг, он прекрасен, но еще раз молю: не вступай в состязание с их завистливым хором. Неужели тебя так манит ложе богинь? Остайся здесь, для меня, и я подарю тебе сына, который будет славен, как ты. Остайся со мною, мой дорогой!

И так отвечал сын Филаммона:

— Если б я был мальчиком и безрассудным словом обидел божественных муз, то я не пошел бы, пожалуй, отыскивать их, страшась бессмертного гнева. Но я не мальчик, а муж, успевший уже приобрести почет и известность. Я внук Аполлона, и мой отец содрогнется в темном Аиде, если узнает, что я испугался соревнования и тем помрачил славу, которую он мне оставил в наследство.

Да к тому же я не боюсь состязания; не боюсь оттого, что во мне столько песен, что если бы я каждому богу, каждой богине и нимфе, каждой океаниде или сатиру спел бы лишь по одной, то и тогда моя грудь осталась бы полною ими... Кроме того, я буду просить, чтобы судьей нашего спора был сам светозарный, далеко мечущий стрелы бог Аполлон!..

Божественная подруга Фамирига только вздохнула в ответ на эти слова.

— Что за фигура изображена на твоей обнаженной груди? — после короткого молчания спросила наяда. — Она темная и напоминает лебедя, распростершего крылья. Кто ее тебе нацарапал?

— Каждый благородный человек носит у нас во Фракии подобное изображение зверя, цветка или птицы. Иные раскрашивают их; у некоторых разрисовано все тело. Этого лебедя, вещую птицу Аполлона, изобразил у меня на груди мой учитель, гипербореец Олень...

— О мой милый, не старайся быть победителем на поединке. Стремись лучше смягчить сердце соперниц и уступи им победу!

— Почему ты так этого хочешь, моя дорогая подруга? Ведь я стремлюсь к состязанию вовсе не из желания разделить с ними ложе.

— Нет, не к тому говорю я. Птица твоя вновь пробудила тревогу в моем сердце. У тебя так много общего с нею... Вы оба служите Фебу... А лучшие песни свои лебедь поет перед смертью... Уступи им победу, и они не тронут тебя!

— Уступить им победу — ни за что! О моя милая, неужели ты не хочешь, чтобы я вернулся к тебе с торжественным зеленым венком на гордо поднятой голове? Неужели ты не захочешь принять в объятия победителя муз и вместе со мною господствовать над ними?..

— Как блещат твои глаза! — со вздохом произнесла нимфа, всем телом прижимаясь к Фамириду.



На одной из недоступных людам вершин Олимпа, в светлом чертоге искусной постройки хромого Гефеста все было готово для пира. Блестели, как солнце, большие кратеры с нектаром; струили пряные волны чеканные блюда с дивною пищей бессмертных, пахучей амброзией; глаза олимпийцев были полны ожидания, но пир еще не начинался. Не хватало нескольких важных членов бессмертной семьи.

Так, не прибыл еще в колеснице, запряженной парой темных морских твердоногих коней, бог Посейдон со своею сребристохитонной супругой. Не явился могучий Арей. Не прилетала на стае белых голубок пенорожденная Пафия. Не возвращался также посланный Зевсом в мрачное царство брата Гадеса хитроумный сын Майи и несколько прочих богов.

Сидя в сторонке, среди причудливо свившихся туч, Паллада Афина шепталась с увенчанной золотою пшеницей Деметрой. Они всегда были дружны между собою. И теперь одна из богинь поверяла другой какую-то тайну.

В покой к бессмертным на радушных крыльях влетела посланница славной Геры, Ирида. Супруга Зевса тотчас ее подозвала и стала о чем-то расспрашивать... Слегка нахмурясь, на золотистом облаке, послушно принявшем вид царского трона, сидел повелитель бессмертных, и беспокойные взоры его переходили от одной пары богинь к другой, как бы стараясь проникнуть в тайны их сокровенных бесед... Океанида Фетига, к которой тщетно стремились сердца двух великих сынов зубцами увенчанной Реи, рассеянно слушала речи хромого Гефеста. А тот изливался перед морскою богиней в горьких и долгих жалобах на свой супружеский жребий. Вакх Дионис, тонкий, со смуглою кожей и виноградом на темных кудрях, смеясь, повествовал Артемиде, как он сманил перейти в буйные хоры менаг нескольких девственных нимф из свиты богини.

— И еще многих других увлеку я вслед за собой в мои испугленные сонмы,— прибавил сын сожженной Семелы.

Сестра Аполлона, глубоко скрывая в душе обиду, отвечала как бы шутя, что и она найдет случай отнять у бога любимую деву.

— Стрелы мои всегда так беззвучны,— закончила речь Артемиде, и в глазах у нее сверкнула угроза...

Вот в чертог впорхнула, мелькая шафранным хитоном, румяная Эос, и могучий Кронид ласково встретил улыбкой юную деву.

Аполлон сидел в стороне, и гума светлою тенью легла на его неземное чело. Сын Платоны тайно страдал, не зная, где и с кем Афродита. Ревность мучила сердце, а мысли одна за другой рисовали с нею то мощного бога войны, то лукавого сына Майи.

В этот миг к нему светлой стройной толпой с печатью заботы на лицах подошли Пиериды, сладкозвучные небесные музы.

— Привет лучезарному богу! — тихо зараз прошептали они.

— Что хотят мне рассказать дочери Мнемозины? — равнодушно глядя на остановившихся перед ним сестер, спросил Аполлон.

— Мы пришли просить тебя, Сладкозвучный... Будь нам судьей!.. Мы, конечно, поем лучше... Выслушай нас и его и рассуди... Просим тебя, рассуди и накажи безбожного фракийца, — заговорили они, перебивая друг друга.

— Кто вас обидел? С кем просит меня вас рассудить ваш взволнованный хор?

— Фракиец Фамириг смел утверждать, что поет лучше, чем мы!

— Какой Фамириг? Уж не сын ли певца Филаммона?

— Ты отгадал, о Лучезарный. Отцом нечестивца был Филаммон.

— Ах, это тот самый Фамириг, что, после смерти сына Хионы, певца Филаммона, учился петь и играть у гиперборейца Оленя? Я видел однажды, как он старался подобрать какой-то скифский мотив на кифаре, которая была одного с ним роста. Мальчик мне тогда порадовал сердце... Так чем же он вас обидел?

— Он стал теперь большим нечестивцем и хвастуном, — мрачно произнесла Мельпомена.

— Или он глуп, потому что только глупцу может прийти в голову мысль спорить с богинями, — поддержала Талия.

— И ты, Аполлон, светлый вождь нашего хора, наш покровитель, ты должен быть нам судьей. Выслушай нас

и его, а затем покарай нечестивца.— Так говорила Фебу сама Каллиопа, старшая чернокудрявая муза, теребя серdito края диплоидиона, окаймленные сложным красным узором...

— Стоит ли слушать глупые речи безумных! Сын Филаммона так юн... Хотите, я ему прикажу молить вас простить ему дерзость?

— О Аполлон, ты как будто жалеешь безбожника. Или, быть может, честь дочерей Мнемозины тебе дорога меньше, чем он? Или тебе неприятна будет наша победа? Накануне следующей полной луны нечестивец будет нас жгать на вершине Пангея. Еще никогда там не звучали наши певучие гимны.

— Бессмертные девы, не сомневаюсь в вашей победе, но самому быть на состязании мне невозможно. Благочестивый царь эфиопов пригласил меня с розоперстою Эос быть у него на пиру накануне полной луны. И я уже дал ему слово. Страна эфиопов всегда была так любезна нашему сердцу, и огорчать их царя я не хотел бы...

Так говоря, Аполлон немного лукавил. Фракиец был ему близок. Сын Латоны вспомнил, как, некогда идя из Дельф, он встретил пышноволосую дочь Дедалия. День был ясный, и жгучее солнце лило на сонную землю свое золотое сиянье. Хиона была так хороша, что Феб, увидев неподалеку сына Зевса и Майи, тотчас же понял, с какою целью ходит вокруг дома царя Дедалия хитрый Гермес. И Аполлон вспомнил, как он, сам плененный светлохитонною цветущею девой, захотел обмануть соперника; с каким нетерпением дожидался он ночи; как наконец настала та черная звездная ночь; как он, приняв вид дряхлой старухи, проник за ограду дворца; как очутился в саду... Вспомнил бог Стреловержец, как он, увидев Хиону в темной девичьей спальне, предстал перед нею, полный сияния, в своем божественном виде. Стыдливо потупив глаза и вся трепеща, упала к нему в объятия томная дева, и бог услышал счастливый и тихий шепот: "Так это был ты?! Так это был ты!" — повторяла она, прижимаясь к пылкому Фебу во

время тесных объятий своим упругим и стройным девичьим телом.

Сперва Аполлон не понял, в чем дело, но вскоре он догадался.

Когда утомленный счастьем бог покидал палаты Дедалия и вышел в полный ночной прохлады таинственный сад, навстречу ему из-под ветвистого дуба шагнула чья-то темная тень.

— Кто ты? — спросил Аполлон.

— Гермес приветствует гостя, — ответил стоявший под дубом, и Фебу послышался тихий, еле скрываемый смех.

— Что тебе надо? Как смеешь ты посягать на ложе сына Латоны? Или забыл ты, что стрелы мои никогда не летают мимо?

И вспомнил вновь Златокудрый, как усмехнулся ему в ответ, опираясь на свой кагуцей, темноволосый сын Майи.

— Знай, Аполлон, что я не ревнив и мне не надо больше томной Хионы. Ты опоздал, я раньше тебя изведал всю сладость ее поцелуев. Мой кагуцей еще днем усыпил юную дочь Дедалия, и я при сиянии солнца слышал, как замирает, как бьется в ее безупречной груди горячее сердце. Каким ароматом дышали вокруг цветущие травы!.. Прими ж мой привет, сын Латоны! — И Гермес скрылся во мраке...

Тяжело вздохнул, вспомнив все это, бог Аполлон. Любимая им Хиона родила двух близнецов. Один был Автолик — вор, каких на земле еще не видали; другой же, Филаммон, стал кифаредом и был всегда ясен как день. Он пел про дела сына темнокудрой Латоны, жил то в Дельфах, то в холодной и дикой Фракии... Олимпиец знал, что Фамирид родился от Филаммона, сына стыдливой Хионы. И сердце бога сжалось при мысли, что музы, полные злобы, могут убить его внука.

— Знайте, о дочери Зевса, — обратился он к одетым в яркие, пестрые ткани божественным сестрам, — смерть Фамирида будет мне неприятна. Он и его отец слагали мне гимны и научили диких фракийцев чтить мое слабое имя.

— Если, о Пучезарный, ты жалеешь в безумце певца, то знай, что не было, нет и не будет среди сыновей, рожденных богинями, кифарега выше ребенка, который носит имя Орфея... Ему мы сами даем воспитание... Но желание твое, чтобы наш враг остался в живых, для нас будет священным.— Так говорила, устремив в лицо Аполлону свой пронзительный взор, Каллиопа. И Локсий смутился...

— Сын мой, пора усладить слух бессмертных гостей игрою на лире и пеньем,— внезапно послышался голос Тучегонителя Зевса.

Аполлон оглянулся кругом и увидел, что боги уже собрались. Афродита полулежала между царем Посейдоном и мужем, а Гермес с Аресом, впиваясь украдкой в нее голодными взорами, старались скрыть от прочих бессмертных огонь, пожиравший их сердца.

Ганимед, скромно потупив густые ресницы, разносил олимпийцам блестящие кубки. Боги и богини надевали себе на кудри венки... Чело Зевса было спокойно и ясно. Незаметно от брата и Геры ему удалось обменяться улыбкой с зеленоглазой Фетидой... Стройная Геба внесла тяжелый сосуд со священной пищей богов.

Аполлон взял кифару и стал пробовать звонкие струны. Пир начинался.



Фамирид торопливо спускался в цветущую долину Стримона. Он опасался опоздать на Пангей к назначенной ему полной луне.

В Фессалии певца на целый день задержал у себя в многобашенном городе Ойхалии царь Эврит, старый его знакомый, учивший когда-то Филаммонова сына обращению с луком. Давно не видавший Фамирида фессалиец велел искусным рабыням вымыть в каменной бане уставшего гостя, а затем устроил в честь его пир. Царская дочь, прекрасная Иола, восхищенная лирою гостя, сама подносила ему большой кубок со слабо разбавленным вином. Но Фа-

мириг был грустен и скользил рассеянным взором по украшенным цветною глазурью стенам; ничто не развлекало героя, и напрасно вздыхала, проходя мимо него с опущенными ресницами, светлокожая голубоглазая Иола.

Узнав в тайной беседе, куда и зачем спешит его ученик, Эврит сверх ожидания не ужаснулся и не стал отговаривать от опасного подвига сына Филаммона.

— Я понимаю тебя,— начал старый герой, развалившись на покрытой белою мягкой овчиной резной деревянной скамье.— Меня самого тянет порой поспорить с Аполлоном в стрельбе из лука. Я знаю, что это безрассудно, но сердце у меня сильнее головы. Странно устроены мы, люди: чуть только человек превзошел в чем-нибудь толпу остальных смертных, его уже тянет стать наряду с олимпийцами. Но боги слишком горды и людей допускают к себе неохотно. Смелчака же почти всегда постигает горькая участь.

Некоторые,— продолжал Эврит, отхлебнув из золотого чеканного кубка критской работы,— для того, чтобы выисаться до божества, идут иным путем. Их более всего привлекает красота бессмертных богинь. Вспомним судьбу Иксиона, покушавшегося на Геру, Пиренея, напавшего на муз. Я уже стар, но сердце мое по сию пору трепещет, когда стрела с гуденьем пронзает одно за другим прикрепленные на жердях узкие кольца...

Затем царь Эврит стал рассказывать о том, как пришел к нему недавно по пути один фиванский герой, некогда обучавшийся у него стрельбе из лука.

— Это — сын царя Амфитриона и Алкмены. Он, впрочем, напившись неразбавленного вина, стал отрекаться от своего почтенного отца и уверять, что он сын самого Тучегонителя Зевса. По этой причине он стал вести себя самовластно, как бог... Я еле отнял у него мою Иолу, которую облапил этот наглец, и с помощью рабов выгнал за дверь пьяного бродягу... Он проспался во рву под стенами башен, а потом ушел, обещая вернуться и разгромить мою Ойхалию... Иола долго плакала и не могла успокоиться... Не знаю, как могли за него отдать Деяниру, сестру славного

героя Мелеагра, на которой он женат... Но зачем ты так стремишься уходить? — сказал сегобласый царь, видя, что сын Филаммона поднялся со скамьи и направился к нему благодарить за гостеприимство.

Фамириг торопился уйти от радушного Эврита, наделившего его на прощанье новым плащом, хитоном и крепкими сандалиями, а также пищею и вином. Снабженный всем этим сын Аргиопы скоро уже шагал по направлению к Фракии, оставляя за собою сложенные из гигантских каменных глыб крепкие стены Ойхалии, с ее высокими башнями по углам и по обе стороны крепких, массивных ворот.

В ушах героя еще продолжали звучать робкие мольбы геликонской нимфы: “Не уходи от меня! Ты мне так дорог. Не разрывай бедной наяде сердца горькой разлукой! О, как вы, люди, безжалостны!”



Тихая скорбь томила душу фракийца.

Он подошел к Стримону, волны которого играли под солнцем серебристыми блестками.

Выбрав удобное место на берегу, певец омыл себе ноги и руки, а затем совершил возлияние Аполлону, золотые лучи которого пронизали светлую струйку скользящей из тыквы на луговые травы холодной чистой воды.

День был чудный, и колесница солнца находилась в зените. Пальцы Фамирига сами собой взялись за плектр, который проворно забегал по струнам кифары. И все, что накопилось за это время на сердце, стремилось излиться в печальной, торжественной песне.

— Привет Тебе, Аполлон, чтимый на Делосе и в Ликийи, ежедневно обтекающий землю, Златоволосый, в огненной тиаре, сын олимпийца Зевса. Я, Твой потомок, идущий на гибельный подвиг, накануне, быть может, печального дня приветствую сияние Твое. Вдохнови мою песнь, о славный бог! Не дай посрамиться Твоему внуку!.. Отрываясь от сладостных струн, рука посылает Тебе мой поцелуй!..

Внезапно слегка зашипела вода у берега, и обнаженный могучий речной бог выставил из нее свое желтоватое полное тело. Увенчанное зеленою осокою с белыми кувшинками чело, под которым сверкали два влажных блестящих глаза, повернулось к фракийцу. Облокотясь на берег, бог Стримон обратился к Фамиригу:

— О каком гибельном подвиге пел ты, о смертный? Твой голос понравился мне, и я хотел бы тебе помочь. Расскажи, что с тобой случилось.

— Благодарю Тебя, о бессмертный, но Ты вряд ли сумел бы помочь мне. Я вызвал на состязание муз. По всей вероятности, они не захотят признать себя побежденными, хотя бы и спели хуже, чем я, и наверно постараются отомстить в случае неудачи.

— Сколько же их числом и как узнать ту, которая главенствует в хоре? — деловито глядя зеленоватую бороду, спросил речной бог.

— В хоре их начальствует самая старшая муза — темнокудрая, белорукая Каллиопа. Она красивее всех лицом и лучше других поет сочиненные ею песни. Без нее музы вряд ли решились бы на состязанье со мною.

— Путник, ты мне понравился. Я желал бы тебе помочь. Научи меня теперь, как отличить Каллиопу от прочих сестер. Мне так бы хотелось на нее посмотреть!

— Голова этой музы увенчана лавром, и золотые шпильки с цикадой вколоты у нее в волосах; края хитона ее вышиты красными фигурами небиданных здесь птиц и зверей. В руках у этой богини складные дощечки.

— Благодарю. Если ты останешься цел — приходи рассказать мне о твоей победе, а я покажу тебе тогда своих дочерей. А пока сыграй и спой мне что-нибудь еще на прощание. За это я прикажу волнам не сталкивать тебя в ямы во время твоей переправы, а маленькая водяная птичка покажет тебе самое мелкое место.

Божество погрузилось в свою родную реку, а Фамириг запел старую песню об Аполлоне, преследующем прекрасную Дафну.

— Не волк догоняет ягненка, не олень бежит от льва, и не сокол ловит робкую горлицу. За дочерью Пеня, сгорая от любви, устремляется пламенный Феб.

Развеваются тонкие одежды. Распустились пышные волосы. Легче стрелы убегает прекрасная Дафна. Быстро мелькают ее белые ноги.

Не спеши от меня, прелестная нимфа! Тернии исцарапают тебе колени. Не пощадят лица твоего гибкие ветви. О камень ты ушибешь свои нежные пальцы!..

Сердце сына Латоны ты уносишь с собою. Пожалей влюбленного бога. Дай охватить руками твой гибкий розовый стан!.. Ты моя! Я поймал тебя, о недоступная Дафна!

Ты и теперь не отвечаешь на ласки. К небу простираешь ты руки. Твердеет стройное тело... О дочь Пеня, неужели ты обращаешься в дерево?

Все равно я не расстанусь с тобою! Ты будешь моей, и листья твои украсят чело влюбленного бога. Аполлон нежно целует твою, корою покрытую, грудь!..

Прозвенел последний грустный аккорд, Фамириг подобрал края одежды и стал переходить через реку. Маленькая птичка, весело пища, летела перед ним над самой водою...

Времени до состязания оставалось уже немного, и певец ничего так не боялся, как опоздать. Сын Филаммона еще не решил, о чем будет он петь и играть перед своими соперницами. Ему одинаково нравились и таинственные фракийские гимны об Ойносе, Зевсовом сыне, и о страданиях гордого, непреклонного Прометея. Фамириг старался сосредоточиться на обеих темах, но нередко вместо них в его воображении вставало ласковое лицо слегка задумчивой нимфы, заслоняя гигантский образ прикованного к кавказским скалам титана или скорбного Зевса, принимающего окровавленное сердце безвременно погибшего Загрея. Певцу казалось, что он слышит тихий умоляющий шепот в шелесте листьев, в дуновении ветра, в серебристом журчании горных ключей. И порою фракийцу страстно хотелось вернуться в небольшую лощинку у подножья геликонских холмов, где ждали его маленькие

нежные руки и ненасытные уста опоясанной зелеными травами легкой и стройной наяды.

Но сын Филаммона не поддавался пленительной грезе и твердо шел к высотам Пангея, куда увлекали его неумолимые мойры.



Была лунная ночь. Серебряный свет заливал каменистую гладкую площадку на вершине Пангея.

Внизу слегка трепетала листва тополей, но темные очертания кипарисов и пиний оставались неподвижны. Обычно пустая вершина горы теперь была полна оживления. Несколько кентавров, держа в могучих руках ярко горевшие смоляные факелы, замерли в неподвижных позах. Красноблатое пламя озаряло их грубые черты и черные бороды.

Любопытство и страх были написаны на лицах толпы окрестных, взволнованных событием, ораод. Седой мохнатый сатир, неизвестно зачем приковывлявший, хромя поврежденной где-то ногой, сновал от одной группы к другой. Некоторые лесные темнокодые нимфы приехали верхом на грациозных панях. Толкая прочь от себя ничего не понимающих шаловливых панисков, шептались взволнованные ожиданием, издалека пришедшие нимфы дубрав — альсейды.

Их взоры переходили от неподвижно стоящей человеческой фигуры в грубом шерстяном платье и с кифарой в руках к группе стройных, одетых в золотистые хитоны, чем-то взволнованных муз. Последних было восемь; они заметно тревожились отсутствием старшей сестры, внезапно отставшей от них при переправе через Стримон.

Тихим голосом говорили они об исчезновении Каллиопы. Некоторые из муз стали даже подумывать о том, чтобы отказаться от поединка.

— Быть может, Каллиопа успеет прийти к концу состязания, — выразила предположение Клио.

— Но почему она так долго не идет? Что бы такое могло с нею случиться?

— Просто она хочет неожиданно явиться в конце и своему появлению приписать всю честь победы,— с жаром сказала Мельпомена.

— Она думает, что мы не сумеем одержать верх и без нее,— прибавила, поправляя венок, Полигимния.

— Право, не лучше ли отложить,— слышался чей-то робкий голос.

— Ну вот еще! Наглец может подумать, что мы испугались. Посмотрите, как поглядывают на него нимфы. Если мы уклонимся от состязания, весть о нашем отказе покроет нас вечным стыдом!

Мало-помалу все вокруг успокоились. Даже маленькие паниски притихли и, засунув в рот пальцы, не без страха смотрели, как одна из восьми величавых божественных сестер выступила вперед и громким, звучным голосом произнесла:

— Вы, пангейские ореады, вы, гамадриады и нимфы источников, ты, с заостренными ушами, покрытое шерстью племя сатиров, вы, легконогие, твердокопытные полубоги и полукони,— всех вас призываю я в свидетели того, что случится. Дерзостный сын Филаммона хвастливо утверждал, будто он не боится состязания с нами. Мы, божественные сестры, дочери Мнемозины, снизошли до того, чтобы принять его вызов. И теперь мы просим всех вас быть судьями нашего спора с этим дерзким фракийцем.

— Он фракиец,— шепотом пронеслось по рядам столпившихся нимф.

— Он сын Аргиопы,— передавали более осведомленные о Фамириде горные нимфы.

— Однажды я держала его на руках,— тихо произнесла одна из ореад.— Малюткой он заблудился в горах и провел со мною почти целый день. Он нисколько не боялся и не плакал. Я дала ему черешен и долго с ним возилась и играла, пока ребенок не заснул под вечер у меня на коленях. Тогда я отнесла его, сонного, и положила у порога хижини

гиперборейца Оленя. Оттуда выбежала большая мохнатая собака, обнюхала положенного мною на траву ребенка и легла рядом охранять его сон... Тогда Фамириг был такой маленький и так сладко спал, пока я баюкала его тихой песней... А теперь я сама была бы не прочь погремать у него на коленях,— со вздохом закончила орада.

Музы решили не откладывать состязания.

— Начинай же, земнородный, свою человеческую песню. Мы терпеливо будем тебя слушать! — воскликнула Полигимния, принявшая вместе с Мельпоменой предводительство хором.

В ответ на эти слова Фамириг сбросил с себя плащ и невольно поднял взор к небу, словно надеясь получить вдохновение от Локсия. Но небеса были черны, усыпаны звездами, а вместо огненной колесницы бога солнца там бесстрастно светился большой серебряный щит его непорочной сестры.

Фамириг стоял теперь совсем без одежды, облитый лунным сиянием, неподвижный и белый.

Одно лишь изображение лебеда темнело на его широкой груди.

Нимфы смотрели на Филаммонова сына сочувственным взором.

Не найдя вдохновения в небе, фракиец потупил лицо, устремляя глаза на Мать Гею, и неожиданно для самого себя запел сперва глухо, потом все звонче и чище монотонную, торжественную песнь:

Гея, древняя Гея,
Хаоса дочь святая,
Мать и жена Урана,
Много богов родила ты,
Много родишь ты новых...
Славьте гимном певучим
Гею — мать вдохновений,
Гею — царившую в Дельфах,
Чтимую в шумных Афинах,

Гею, которой гимны
 Льются у волн Эврота;
 Ветви губов священных
 В рощах мирной Элиды
 Славу шумят богине.
 Пойте, люди и боги,
 Зеленогрудую Гею!
 Ей чело увенчали
 Желтые нивы, зрея;
 Стан опоясали реки;
 Всю — Океан обнимает...
 Время, как сны, проходит,
 Годы сменяют годы...
 Боги богов сменяют...
 Ты лишь одна, о Гея,
 Мать бессмертных и смертных,
 Вечно, пока есть люди,
 Будешь внимать мольбам их.
 Пойте и славьте Гею!

Фамириг кончил, ощущая глубоко неудовлетворенное чувство в своей душе. Но нимфы, видимо, были к нему расположены, и сочувственный гул одобрений прокатился по их рядам.

— Смотри, как он красив, озаренный светом луны. О, зачем я никогда раньше не встречала его в горах!

— Тс! Кажется, музы начинают!

Действительно, музы начинали:

Золотые звонкие струны
 Аполлоновой лиры вещей
 Повелителя мощного Зевса
 Перезвоном сладким прославьте!..

От Зевса божественные сестры перешли к обутой в золото Гере, а за нею долгою торжественною песней одного за другим славили прочих олимпийцев. Пению вторили

мелодичные струнные звуки нескольких лир, голоса божественных сестер звенели, как серебро, сперва мягко, потом все грозней и грозней. Они пели о могуществе олимпийцев.

Кто, дерзновенный,
Смеет безбожно
Власть их отринуть?..
Кто не боится
Грозных перунов
Гневного Зевса?
О, как ужасна
Участь гигантов!
Казнь Тифаона!
Сгинет безумец;
Зевс разъяренный
Громом и бурей
Сворою фурий
Сгубит его!

Музы кончили. Кругом стоял нерешительный шепот. Два кентавра втихомолку спорили между собой, чья песня лучше.

Нимфы сочувственно глядели на Фамирида и, видимо, не собирались присуждать пальмы первенства его соперницам. Мало-помалу среди слушателей воцарилось глубокое молчание. Тишина эта проникла в сердце Фамириду, он как бы вдохновился ею и начал вновь:

О, Тишина ночная,
Славная дочь титана,
Траурной звездною ризой
Скрой Лицо свое, Лето!
Гимн пою я печальный.
Будет некогда время:
Холодом тайн объята,
Гей сном непробудным
Тихо заснет навеки.

Время течет, как реки.
 Воля судеб жестока.
 Сгинет славное племя
 Светлых богов Олимпа.
 Облаком дымным растает
 Сам Зевес Громовержец;
 Все потомство Крониды
 С ним пропадет навеки...
 Слышу я рев и топот
 Черных волн Океана.
 Он ледяные окопы
 Хочет разбить и сбросить...
 Гневен голос могучий...
 Тщетны усилья титана:
 Тщетно зовет он Феба.
 Феб его не услышит...
 Властны веленья Рока.
 Вместе с другими богами
 Сгинешь и ты, сын Лето!
 Слобно искорка света
 Твой ореол угаснет...
 И как лебедь пред смертью,
 Я, твой жрец и потомок,
 Шлю привет Аполлону!

Очередь была за музами. Они поняли, что перед ними находится опасный противник, и решили подействовать на судей-нимф целым рядом песен, в каждой из которых было указание на то, как печально оканчивается состязание с бессмертными богами.

Пение начала Урания:

Возле престола Крониды,
 Свесив могучие крылья,
 Сладкою грезой объятый,
 Царственный гремлет орел.
 Зевса посланник пернатый,

Вздрогни, хищная птица,
 Мощно взмахни крылами
 И на безбожника гневно
 С синего неба ударь!..

Последние слова, произнесенные со страшною силою и подержанные аккордом нескольких лир, произвели сильное впечатление.

— А что, как и вправду орел спустится да всех без разбора клевать станет? Накликают еще, чего доброго! С них ведь всего станет! — недобольно шепнул один кентавр другому.

— А это на что? Пусть только сунется! — ответил собеседник, показывая слегка трещащий пылающий факел.

В это время музы начали петь другой гимн про дочь колофонца Игмона — Арахнею, вступившую в состязание с Палладой.

— Тише вы! Слушать только мешают и дорогу загромождают, — ворчала сзади кентавров, поднимаясь на цыпочки, какая-то рыжая горная нимфа.

Пурпуром тирским
 Крася одежды,
 Ты возгордилась.
 Тритогенею
 Смертная дева
 Вызвать дерзнула...—

доносились отрывки хора.

— Не топчись, о животное! — бранилась та же самая нимфа, густою толпою слушателей припертая к лошадиному крупу.— Ногу мне отдавишь!

От Арахнеи перешли к злосчастному сатиру Марсию, дерзнувшему состязаться с Аполлоном.

...Фригии дальней равнины,
 Место победы славной!

Вспомним горькую участь
 Фавна, флейтой Паллады
 Сердце пленявшего нимфам.
 Пойте, звонкие струны,
 Марсия злую погибель!
 Сам Аполлон с живого
 Снял с него кожу, и вопли
 Богу не тронули сердца,
 Так был наказан дерзкий...

— Скажи мне, отец мой, что будут делать музы с этим человеком? — спросил маленький курчавый паниск у высокого рыжеватого сатира с неровною, местами вылезшею шерстью.

— Не знаю. Вероятно, тоже шкуру сдерут, — ответил тот.

— Неужто сами? — вмешалась в разговор небольшого роста, тоненькая, скорее похожая на мальчика нимфа.

— А ты думаешь, они не умеют?.. А то нас попросят — мы поможем.

— Посмейте только! Сами потом не рагы останетесь! — последовал горячий отпор со стороны нимфы.

Музы кончали в это время песню о победе своей над сиренами:

...Далеко за белыми гребнями
 Волн седых Океана
 Гимны поют печальные
 Чайкам и рыбам они.

Чистые голоса феспиад звенели и разливались среди ночной тишины. Маленькие паниски всецело обратились в слух и казались облепившими уступы скал неподвижными комочками шерсти. Сатиры и кентавры слушали сосредоточенно и серьезно. Но нимфы делали вид, что пение муз им надоело.

— Как они долго поют и все хвалят самих себя. Нельзя так утомлять противника! Ну, слава богам! Кажется, кончили!.. Нет — опять начинают!

Действительно, божественный хор начинал петь о дочерях македонца Пиерия.

О, холмы геликонские,
Видели вы македонянок,
Деять их было, как нас.
Дщери Эгиппы тщеславные,
Как сравнить вы осмелились
Ваши гимны безбожные
С песнью музы божественной!
Вас поражая карою,
Всех в сорок обратили мы.
Вечно помнить вы будете
Деять девственных муз!..

Едва они кончили, полный пылкого загора, запел, забывая про опасность, Фамириг.

Он внезапно догадался, чему он был обязан отсутствием Каллиопы.

Вас не деять, а восемь!
Где же старшая муза?
— Там, где Стримон струится,
Нимфы стеклись и фавны;
Слушают шепот нежный...
В мощных объятиях бога,
Бога реки Стримона,
С тихой улыбкою счастья
Муза лежит Каллиопа.
Сброшен хитон золотистый.
Лавры с кудрей упали...
Пылко, забыв про гордость,
Муза лобзает бога.
Муза стонет от неги.

Нимфы и фавны смеются...
Рагуйся, хор феспийский!

Насмешливая песня Фамирида умолкла. Среди всеобщей тишины еще звенел последний аккорд его кифары. Но тишина тянулась недолго. Дружный вопль негодования прогремел среди феспиад, и сестры толпою ринулись на обидчика. При свете факелов мелькнули светло-золотистые хитоны и с угрозой взмахнувшие в воздухе красивые белые руки. Эвтерпа первая нанесла удар Фамириду флейтой. В руках Терпсихоры и Мельпомены блеснули выхваченные из распустившихся черных волос золотые шпильки. Небольшая лира Эрато ударила певца по щеке. Внезапно он вскрикнул и схватился за лицо. Сквозь пальцы фракийца побежала темно-алая кровь.

Обступившая своего врага толпа феспиад кричала так грозно, что испуганные нимфы толпою бежали с места состязания, спасаясь от гнева всемогущего Зевса и великой титаниды Мнемозины. Опасаясь, как бы и им не пришлось потерпеть от божественной ярости, фавны и сатиры тоже бросились вниз по каменистой тропинке, прыгая порою со скал, как горные козы... Кругом слышались дикие крики и топот подкованных и неподкованных копыт. Кентавры побросали факелы и мчались, не разбирая дороги, давя и сшибая с ног остальных беглецов. Пронзительно вопили и плакали маленькие мохнатые паниски...

Скоро на горной вершине остались только распротертый, истоптанный божественными ногами Фамирид и гневные музы. С золотых шпилек богинь густыми каплями стекала на каменистую почву кровь ослепленного певца.

Полигимния подняла выпавшую из рук противника кифару и разбила ее об утес.

В последний раз прозвенели ее мелодичные струны...

Ярость богинь мало-помалу стихала. Они собрались в кучку и молча глядели на неподвижное, похожее на бездыханное тело врага.

— Что мы скажем Аполлону? — тихо, потупив глаза, спросила Урания.

— Как что? Сестры, разве вы не слышали, как этот смертный поносил богов? Разве мы не должны были вступить за честь Олимпа? — с жаром воскликнула Мельпомена.

— Мы сами пойдем к отцу и расскажем ему о том, что здесь случилось, — подтвердила Полигимния.

— В случае чего можно прибавить, что безумец хвалился, будто Гиацинт любит его больше, чем Феба, — предложила одна из сестер.

— Это так подействует на сына Латоны, что он не станет сердиться на нас, — согласились другие.

— Кроме того, нам надо сыскать Каллиопу. Что, если с нею произошло то самое, о чем говорил безбожник?

— Найдем и ее. Беспokoиться нечего. В крайнем случае у Орфея родится маленький брат или сестра, — спокойно заметила Клио.

Легкою стайкой поднялись на воздух и скрылись в ночной темноте божественные сладкоречивые сестры.

На вершине Пангея остался один только Фамириг.


Понемногу к нему вернулось сознание. Певец застонал, встал на ноги и дотронулся рукою до окровавленных глаз. Жгучая боль убедила фракийца, что все бывшее с ним не сон, а действительность.

Нетвердой походкой сделал сын Филаммона несколько робких шагов.

Неожиданно он наступил на обломки кифары, нагнулся, поднял один из них и, поняв, в чем дело, скорбно воскликнул:

— О Аполлон, Аполлон! Неужели Твой жрец навеки ослеп и никогда не увидит дневного света, моря, гор и покрытых яркими цветами полей?..

Нет! Я пойду в Дельфы. Здешние фавны и нимфы проведут меня до самых пределов города. Я принесу там обильные жертвы, и Ты исцелишь своего внука! Исцелишь!.. Ведь возвратил же Ты зрение ослепленному Ориону!..



Сам или через сына, но Ты излечишь меня
в своем святилище!

Тогда я сделаю себе новую лиру. Я еще
не побежден, и горе обидчицам музам! Я сло-
жу о них такие песни, что они пожелают
умереть от стыда и досады. В моей душе
кипят и рвутся наружу новые силы... И ото-
мстив, я отыщу у подножия Геликона свою
юную маленькую нимфу!..

Неуверенным шагом, простирая руки,
стал Фамириг спускаться с Пангея. Но прошел
он немного. Не заметив одного из крутых
поворотов, несчастный оступился и с криком
свалился в пропасть. Тело певца несколько
раз ударилось о выступы скал, и острые кам-
ни оросились его горячею кровью.

Спустя несколько дней кучка охотившихся
в ущельях сатиров набрела на полусъеденный
лисицами труп Филаммонова сына и похो-
ронила его в горной расселине, забалив ка-
меньями жалкие останки человеческого тела.

Лишь после этого нашла себе успокоение
скорбная тень Фамирига...

Так был наказан сын Филаммона, дерзнув-
ший вызвать на состязание божественных муз.

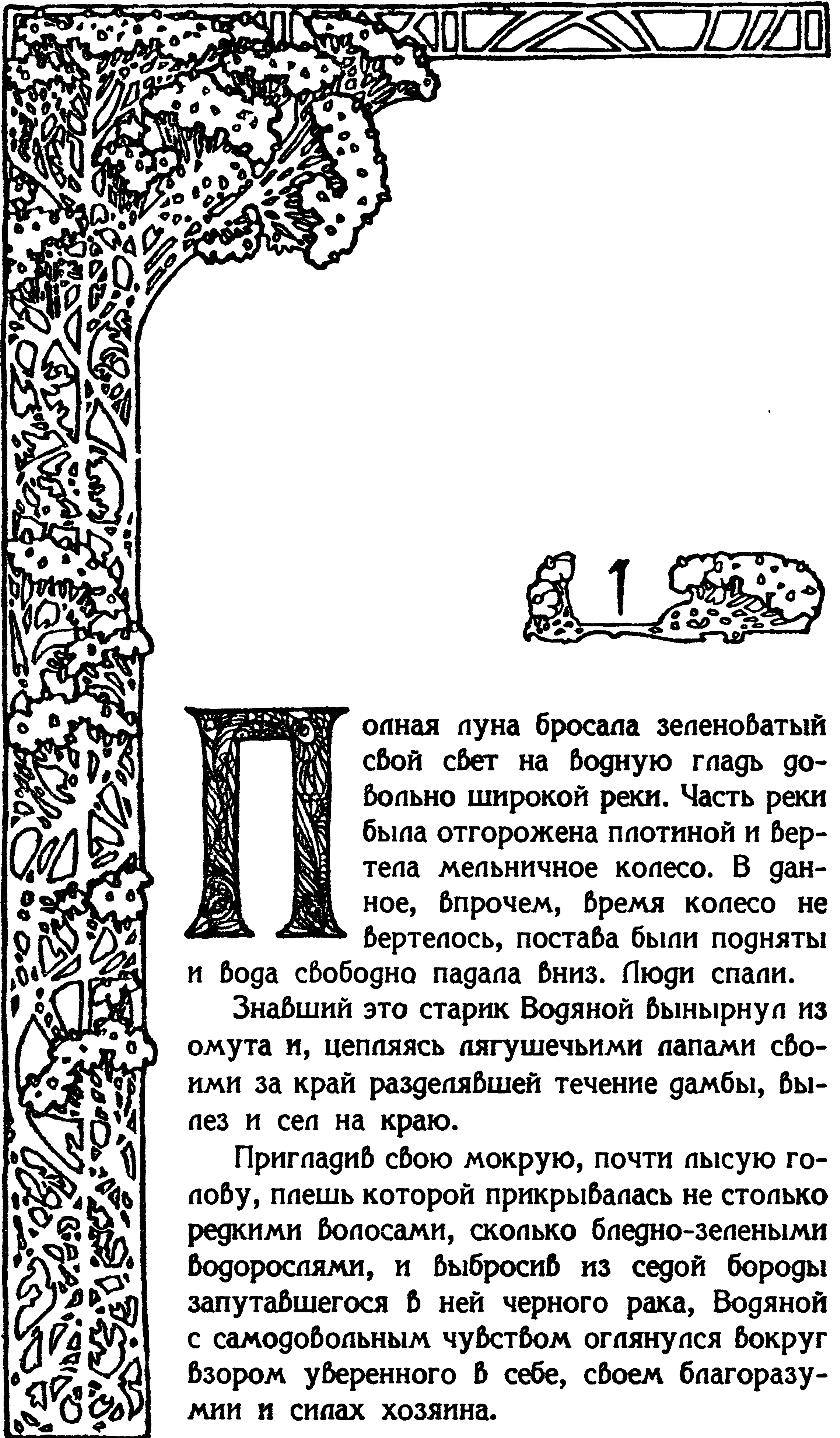






НА
БЕРЕГАХ
ЯРЫНИ

ДЕМОНОЛОГИЧЕСКИЙ
РОМАН



Полная луна бросала зеленоватый свой свет на водную гладь довольно широкой реки. Часть реки была отгорожена плотиной и вертела мельничное колесо. В данное, впрочем, время колесо не вертелось, постава были подняты и вода свободно падала вниз. Люди спали.

Знавший это старик Водяной вынырнул из омута и, цепляясь лягушечьими лапами своими за край разделявшей течение дамбы, вылез и сел на краю.

Пригладив свою мокрую, почти лысую голову, плешь которой прикрывалась не столько редкими волосами, сколько бледно-зелеными водорослями, и выбросив из седой бороды запутавшегося в ней черного рака, Водяной с самодовольным чувством оглянулся вокруг взором уверенного в себе, своем благоразумии и силах хозяина.

За исключением журчавшей у мельничной плотины воды, все было тихо. Лишь дикие утки тихонько крякали порой в тростнике. Старик любил эти часы ночного покоя, при луне, когда спят несносные люди, а всякая нежить может спокойно вести свое полупризрачное, как принято думать, существование. Вот ведьма пролетела куда-то на помеле по своему женскому делу; вот другая, лишь для людей скрытая под личиною кошки, торопливо пробежала по дороге, очевидно, направляясь навестить чужое село. Вот оборотень мелькнул ей вслеп белой собакой от ограды кладбища.

Оглядевшись по сторонам и не видя русалок, выходящих обычно в эти часы подышать лунным светом, Водяной вспомнил... Они, должно быть, заплыли на заливные пуга, что были между старым и новым течением реки. Там они, вероятно, уже вылезли на берег и играют между собою, поджидая, не покажется ли кто из неосторожных, под хмельком, ночных рыболовов или из ребят, пасущих в это время в поле коней.

Водяной вспомнил также, что на дне омута, охраняемая огромным сомом, лежит неподвижно утопившаяся на днях деревенская дебушка. Этой ночью, когда лунный свет, проникнув на дно, коснется лица утопшей, она должна будет проснуться. Так как всякая утопленница делается обычно временной женой Водяного, а эта была хороша и ему нравилась, лысый старик при воспоминании о дебушке самодовольно погладил толстый живот свой и мокрую бороду. Забеспокоившись потом, что утопленница может очнуться в его отсутствие, Водяной вздохнул и деловито нырнул в глубину...

Лунный луч, пронзая светлым столбом мутно-зеленую глубь пространного омута, широким бледным пятном медленно полз по илистому дну, кое-где торчащим корягам, стволам затонувших деревьев и застрявшим среди неровностей дна валунам. Теперь он озарял безобразное лицо наполовину погруженного в ил, с давних веков лежавшего здесь, губового игола. Игола этого Водяной считал своим другом и советником. Повелитель речного

гна любил, лежа с ним рядом, потолковать о гребнях и новых временах...

Раздетое уже русалками, неподвижно распростертое тело утопленницы еще не просыпалось, так как лунное пятно еще не доползло пока до ее бледного лица. Неподвижной колодой лежал возле утонувшей старый сом, распущенными усами своими осязая чуть мерцавшую во мраке синевато-белую наготу ее бедер и живота...

— Убирайся прочь, дурень! Ишь мочалки свои распустил! Туда же, с усами! — И сильной лапчатой пяткой ткнул Водяной в бок своего старого слугу, который заменял ему порою даже коня.

Вильнув вправо и влево своим могучим хвостом и подняв при этом со гна мутное облако, мелькнула и скрылась в нем громадная рыба, ужас уток, гусей и, говорят, даже маленьких детей, по глупости своей рисковавших порой купаться неподалеку от мельницы.

Ожидая, когда муть осядет, хозяин реки опустился на торчащий со гна, часто служивший ему седальцем камень и замер, неподвижный, как большая коряга.

Лунный луч медленно подвигался своим обычным путем и должен был скоро дойти до тела утопленницы. Водяной размечтался. Каждая новая, покорно становившаяся его женой, молодая русалка вносила на некоторое время разнообразие в несколько скучную жизнь старика. Сначала все они, ужасно боясь своего побелителя, со страхом отдавались его ласкам, трепеща, как вынутые на берег рыбки, в огромных и скользких лягушечьих лапах Водяного, но потом, попривыкнув и успев познакомиться с другими русалками, скоро забывали свой страх, а затем и вовсе переставали оказывать старому должное послушание...

“Какова окажется эта? По лицу судя, как будто не сердитая”, — мелькало в голове хозяина омуты.

Светлый кружок луны дополз наконец до разбросанных по дну черными змеями тяжелых кос утонувшей... Ах, сколько этих кос перебивал старик Водяной, сколько расплетал их и вновь заплетал, сколько гневно трепетал своей сердитой цепкой лапой! Если бы всех их собрать — тесно



бы стало на дне многоводной реки. Но старый и мудрый хозяин хорошо знал, что, по мере пребывания у него, русалки из году в год становились тоньше, легче, прозрачнее и, наконец, вовсе куда-то пропадали со дна глубокой Ярыни. Водяной склонен был объяснить их исчезновение коварною шалостью ветров, которые могли унести приглянувшихся им красавиц в свое воздушное царство. Во всяком случае ни одной из тех русалок, память о которых в нем сохранялась от давних времен, на дне реки уже не было.

Так, давно уже исчезла жена варяжского викинга, утонувшая здесь некогда при переправе, во время сечи с неожиданно напавшими на ее свиту гулебами. Русалки — вспомнилось старику — тогда сняли с нее крылатый воинский шлем, но долго не могли справиться с застежками позолоченной тяжелой кольчуги. Кольчуга эта долго висела потом на ветвях затонувших деревьев, пока ее не унесло как-то во время весеннего половодья. Варяжская женщина сначала была непокорна, но потом смирилась, и Водяной с удовольствием ее вспоминал. Помнил он также и приносимых ему некогда в жертву рабынь, связанных ремнями, с камнем на шее, бросаемых за борт лагги, днище которой плыло в высоте, подобно телу большой хищной рыбы.

“Теперь не то. Немножко масла, коврига черного хлеба, тощий гусь осенью от рыбаков и полудохлая кляча по окончании весеннего ледохода... Вот и все!.. Мясники топяти мне прежде черных свиней. Теперь перестали!.. Скуп стал народ; не ценит бладыку, который поит людей и их скот водой и позволяет бабам полоскать в ней свои грязные тряпки, не трогая мельниц и лодок, и, в довершение всего, кормит всех рыбой... Глупые и неблагодарные люди!..”

Тут старик встрепенулся, заметив, что лежавшая до-толе неподвижно утопленница зашевелилась. Пятно лунного голубовато-зеленого света ярко озаряло ее молодое лицо с приподнятыми теперь черными стрелами ресниц и темным цветком полураскрывшихся уст. Она

приподнялась, села и начала, с испугом и изумлением, озираться вокруг.

“Где я? Что со мною?” — словно хотели сказать, беззвучно шебелясь, ее губы.

По движению их понял сразу старик мысли утонувшей красавицы. На дне не говорят, но и без слов хорошо понимают друг друга.

Желая доказать гостеприимство, а заодно не дать новой супруге времени для каких бы то ни было самостоятельных решений, Водяной, по давней привычке, поспешил обнаружить свое к ней расположение.

Но едва он склонился к своей жертве и скользкими лягушечьими лапами начал гладить ее тело, в широко раскрытых глазах утопленницы сверкнул злой огонек, красивое лицо исказилось гневом, одна прекрасная рука вцепилась в коснувшуюся высокой белой груди длинную бороду, а другая отвесила растерявшемуся старику полновесную пощечину.

Водяной рванулся, подняв облако мути, освободил свою бороду и недовольно ушел прочь от непокорной утопленницы.

“Погоди уж! Не уйдешь от меня. Сама еще будешь прощенья просить”, — утешал он себя в неудаче, хорошо зная, до какой безразличности доводили порой утонувших тоска и отчаянье.

Подойдя к губовому иголу, Водяной улегся с ним рядом, выжидая, что тот ему скажет.

“Это бывает, — прочел Водяник сочувственную мысль, промелькнувшую на топорных, темно-зеленою тиной поросших чертах свирепого лица губового бога. — От женщин всегда можно ждать глупостей. С ними надо быть строгим. Когда я жил на небе...”

— А ты разве был на небе? Ты ведь рос в губовом лесу, пока дерева твоего не срубили, а из тебя не сделали пугала, которому люди когда-то кланялись, жгли пряди волос, горячий камень морской и закаляли взятых в плен юношей...

— Да, только юношей; приносимых в жертву девушек я на земле не имел. Но запах и вкус крови их тоже, поверь мне, очень приятен.

— Про каких же женщин и дев ты говоришь, если вырос в лесу и на земле их не имел? — недоверчиво спросил Водяной.

— Но я был и на небе. В памяти моей всплывает порою, как хохотал я во время грозы, гоняясь за облачными девами. Они старались укрыться от меня, принимая вид разных животных и чудовищ. Но разве можно обмануть небесного бога?! С женщинами надо быть строгим и непреклонным, иначе они обманут тебя,— наставительно повторил губовый игол.

— А тебя разве обманывали?

— Боюсь, что да.

— С кем?

— А разве за ними уследишь?! Думаю, что тех, с кем они мне изменяли, был не один. Знаешь того, что прячется теперь в небе за круглым щитом и светом своим оживляет усопших?

Водяной кивнул утвердительно головою.

— Он в свое время много сделал мне зла. Я отрубил ему даже раз ухо за то, что он был слишком навязчив к Утренней Деве со звездой на челе... С тех пор всегда и всюду этот витязь с рогами на серебряном шлеме вредил мне исподтишка. Для открытой со мною борьбы он был слишком слаб и труслив.

Водяной не верил обычно рассказам губового игола, но не слишком обнаруживал это, боясь, что его старый друг и советник обидится. Но теперь собственная обида заставляла старика излить на кого-либо накопившееся в нем враждебное чувство.

— Братец,— сказал он неожиданно,— какой из богов выиграл тебе усы?

Водяник попал в цель. Почувствовав боль старой обиды, игол тяжело вздохнул, так же как некогда вздыхал он в ночь накануне того злосчастливого дня, когда, под предводительством слугителя враждебной ему веры, ворвались в запретную ограду люди с топорами, подрубили ему стоящие на вкопанном в землю толстом губовом стволе крепкие ноги, повалили его на землю, сняли с шеи драгоценную гривну, выдернули золотые усы и оторвали

серебряную глинную бороду, тонкие нити которой знаменовали падающие на землю дождевые небесные капли. Единственно, что, по недосмотру, оставили на нем, это несколько вделанных около пояса золотых, серебряных и костяных кабаньих клыков.

Дубовый истукан еще раз вздохнул, вспомнив, как влекли его с высокого холма на конских вожжах, осыпая ударами бичей, к высокому обрыву и столкнули потом в быстрые волны реки. Вспомнил, как нырял и кружился он в водоворотах, уносясь все дальше и дальше от изменившего ему города.

Много лет мок поверженный бог, запутавшись в корнях подмытого берега, и потом, затонув, докатился по дну реки до этого мирного омута...

— Братец, кто тебе вырвал усы? — прозвучал в его голове повторный вопрос Водяного.

— Те же, кто запретил бросать тебе, по веснам, связанных рабов и рабынь. Те же, кто, не спрашиваясь у тебя, строят плотины, воздвигают мосты и заставляют реку твою вертеть жернова.

— Они мне платят за это, — нехотя пробурчал в ответ Водяник, — хотят они или не хотят приносить мне жертвы, я сам из году в год беру положенное число обреченных мне Роком людей. Ты с тех пор, как тебя бросили в мою реку, ни разу не летал, грохоча в облаках, о чем ты так любишь рассказывать... Полно! Верно ли это?

— Верно. Пока люди воздевали ко мне руки и приносили жертвы, я чувствовал, что одновременно и слушаю их мольбы и езжу на тяжелой колеснице, пробожая огненными стрелами испуганных бесов. Но с тех пор как я лишился молитв, меня нет более и на небе.

— А кто же грохочет там вместо тебя? — спросил Водяной.

— А я почему знаю?! Боги сменяют и изгоняют богов...

— А ты знаешь, что бесы, о которых ты говоришь, живут в соседнем болоте?

— Поймай мне парочку и принеси показать, — последовал ответ.

— Когда будет свободное время, отчего же?.. А теперь я занят,— сказал Водяной, подымаясь на ноги.

Повелителю гна хотелось показать губовому бывшему богу свое могущество, и он, пройдя мимо сидящей теперь неподвижно в позе отчаянья утопленницы, приблизился к луговому берегу, вынырнул на поверхность и, вылезши из воды, свистнул раз и другой.

Ответа не было.

Тогда Водяной повторил свой призыв.

Хотя свист его походил на свист кулика, лишь порезче и сильнее, тот, кому надо было, его услышал.

В предутренней мгле, среди клубившегося над росистой травой тумана, заколыхались, приближаясь, очертания чернобородого мужика в мокрой одежде, с раздутым, тоскою запечатленным лицом и неподвижными стеклянными глазами.

С первого взгляда было видно, что это мертвец и утопленник, не имеющий после смерти покоя.

— Чего надо? — безучастным тоном спросил чернобородый мужик.

— Где пропадал? Почему сразу не пришел? — гневно обратился к нему Водяник.— Давно, верно, бит не был?! Смотри у меня! — горячился хозяин реки.

— Тут я был, на лугу. Смотрел издали, как ребяташки коней пасут,— оправдывался утопленник.

— А заманить не мог?!

— Не мое это дело заманивать. Ты девок своих на то пошли. Мое дело — за ногу потянуть, если кто купается ночью, али за русалками присматривать,— уверенно, но однозвучно, голосом, похожим на предрасветный шелест травы, ответил утопленник...— Скушно мне, тошно мне,— неожиданно продолжал он.— Отпусти ты меня!

— А водку пить было не тошно? А в пьяном виде в воду лезть не скушно было?!. Нет, брат! Пока не выслужишь своего срока — не отпущу!.. Служи!.. Болотных бесов знаешь?

— Как не знать! За лугами кусты начнутся, а там ручей и болото, а в болоте они и есть.

— Так вот тебе мой приказ. Поймай ты мне, как только встретишь, бесенка, а то и двух, и принеси в омут.

— А ежели они меня самого к себе в трясины затащат? — деловито и не без опасливости в голосе спросил чернобородый утопленник.

— Туда тебе и дорога, — ответил Водяной, — сам сейчас говорил, что здесь скушно. Ну и пробаливай в болото! Только, смотри, бесенят мне завтрашней же ночью принеси, а не то я тебя всюду найду, — заключил Водяник свою грозную речь.

Чернобородый повернулся назад и скрылся в тумане, этом обычном прибежище всякой нежити и нечисти.

Между тем, не видя около себя неприятных или враждебных ей лиц, новая русалка огляделась по сторонам, поднялась на ноги и неуверенной походкой пошла по мягкому вязкому дну. У нее мелькнула мысль выйти на берег и спрятаться от противного Водяника в густой высокой траве. В мутной воде она различила тропинку, извивавшуюся между камней и сучьев полузанесенных илом деревьев. Тропинка эта шла вверх по направлению к берегу.

Но едва девушка выбралась почти по колени из воды, навстречу ей показались с визгом и хохотом возвращавшиеся в реку русалки.

— А, новенькая! Куда ты?! Иди назад! Скоро рассвет, — кричали они, обступая утопленницу и преграждая ей путь.

— Пустите меня! Я хочу домой, — просилась та.

— Не очень-то рады там будут тебя увидеть. При виде твоём все будут прятаться и дверей не отпрут ни за что, как ни просись!.. Нет, теперь что сделано — сделано! Сама добром к нам пошла, ну и терпи, — строго сказала ей старшая, более других напоминавшая призрак русалка.

Все они были нагие, мокрые от росы, с распущенными косами, по которым стекала вода. Некоторые были подпоясаны зеленой глинной травой, все — в венках из полевых и болотных цветов. Часть их, недавно попавшая на дно, более походила на живых людей, отличаясь лишь меловою бледностью тела; те же, что утонули давно,

выделялись воздушностью своих иногда даже просвечивающих тел.

— Да ты не тоскуй! Не всегда и у нас горе живет. Удастся порой и размыкать его. Жаль, вот ты поздно пришла, когда нам середь бела дня нельзя уже бегать. Зато уж ночью мы куда хотим, туда и идем. Ты не бойся, девонька. Если Водяник толстопузый тебе не по нраву пришелся, ты потерпи немного. Он и сам от тебя потом отстанет. А песни с играми и у нас найдутся, не хуже, чем у живых,— сказала, обращаясь к новенькой, другая русалка.

— А теперь пора и домой! — закричала третья.

И, взяв свою новую подругу под руки, русалки вновь увлекли ее в воду.

— Как тебя звать-то? — спрашивала дорогой четвертая.

— Горпиной.

— Откуда?

— С Зарецкого.

— А Сюнтяевых знаешь? — задала вопрос пятая...

Но тут вернулся с прогулки своей Водяник и тотчас же вновь стал оказывать знаки внимания новенькой, то звонко хлопая ее перепончатой лапой по бедрам, то пытаясь ее щекотать, противно ослабив свой лягушечий рот беззвучным смехом, от которого колыхался его не подвязанный поясом толстый живот.

— А ты ему не противься, потерпи,— опять посоветовала ей шепотом одна из новых подруг.— Это уж так полагается, что он спервоначалу липнет да пристаёт. Отгонять его станешь — хуже будет... Замучит.

Горпине пришлось покориться.

— То-то! — прошептал девушке на ухо, отпуская ее, всю измученную, Водяник, и даже укусил ей при этом больно шею своими мелкими, но острыми, как у щуки, зубами...

Удовлетворив свое влечение к новизне, Водяник действительно оставил Горпину в покое, и та, мало-помалу, освоилась с окружающей ее обстановкой.

При свете слабо проникавших в омут солнечных лучей блистали чешуею мелкие и крупные рыбы. Иногда глинная

темная тень лодочного дна проплывала над головою. Временами отраживались, торопливо перебирая красными и черными лапками, пересекать омут утки или гуси, и толстый огромный сом зачастую поднимался при этом со дна, чтобы попытаться которую-нибудь из них изловить.

По ночам Горпина стала выходить со своими заметно присматривавшими за нею подругами на сушу, понежиться и поиграть при лунном свете, бросавшем сине-зеленые отблески на белое тело русалок. Бродя по хлебным полям, наиболее злопамятные из них делали на десятинах прижизненных своих недругов закрутки из колосьев. Все русалки любили цветы, и каждую почти ночь плели себе новые венки. Залезая по грудь в темноватые волны волосящейся ржи, некоторые пели многовековую излюбленную песню украденных нечистью до крещенья детей. В песне этой среди восклицаний с упоминаниями о духе соломы слышались горькие жалобы на безрадостную, горькую долю. Иногда они пели попарно, изображая русалок же — дочку и мать, причем последняя с грустью говорит о неизбежности наступления времени, когда дочери придется “угождать” Водяному Царю...

Некоторые из подводных девиц, отличавшиеся шаловливым нравом, даже днем забавлялись путаньем рыбачьих сетей или пуганьем уток с гусями. Наиболее отважные, выбрав ночь потемнее, садились на мельничное колесо, чтобы кружиться с ним вместе...

Однажды, гуляя среди озаренных лунным светом нив и полей, наткнулись ярынские русалки на высокую тень, шедшую к ним по направлению от леса. Темные и неясные, гигантскими шагами сбигались к ним, размахивая растопыренными руками, очертания как бы травой поросшего, глухим голосом забывающего полусущества. “Шел да нашел, бег да набег”, — успели расслышать перепуганные русалки отрывочные отдельные места песни этого полупризрачного обитателя лугов.

— Полевик! — забизжали водяные девы и, кто хохоча, кто забывая, кинулись бежать от него по направлению к реке.

Свистя и гукая, Полевик преследовал их до самого берега.

— Кто это такой? — спросила Горпина, очутившись на дне, у одной из подруг.

— Вроде Лешего. Только он по полям больше да по межам проказит. Я его днем раз, весной, видела. Кафтан на нем, как озимь овсяная, то зеленью, то серебром переливается. Волоса дыбом, как шапка, торчат, тоже зеленые. А лицо — как песок... Ну и до нашей сестры охочь больно... Не попадайся!..

Заметив, что Горпина привыкла к воде и обжилась, ее стали отпускать и без надзора. В одну из ночей, заплыв далеко от омута, молодая русалка наткнулась в тростниковых зарослях на челнок с одиноким рыболовом. Каково было ее удивление, когда этот рыболов оказался Максимом, тем самым парнем, из-за легкомысленной измены которого она бросилась в реку.

Горпина даже замерла по плечи в воде, встретившись взором со своим бывшим возлюбленным. Но Максим был пьян и несколько не удивился при ее виде.

— Ишь ты, — сказал он, — сперва сама утопилась, а теперь и меня затащить в воду хочешь?.. Только я не таковский! Слышишь?! Не пойду!.. И самой тебе нечего было в реку кидаться... Из-за того, что я с другой девкой погулял малость, так она уж и жизни решаться вздумала!.. Нет! Ты так и знай, что я к тебе не пойду!

— Максимушка, милый! Возьми меня к себе, — прошептала Горпина и двинулась вперед, стараясь схватить руками просмоленный борт челнока.

— Нет! Шалишь!.. Не заманишь! — кричал в ответ парень. — Очень мне нужно водой наливать, когда водка есть!.. На, пей, пес тебя возьми!..

И парень протянул своей бывшей подруге недопитую бутылку, которую та покорно взяла бледными, полупрозрачными руками.

— А меня не тронь! — продолжал Максим. — И за борта не цепляйся! А не то руки обломаю! — угрожающе

взмахнул он веслом, от чего челнок сильно всколыхнулся и чуть-чуть не перевернулся вверх дном.

Однако парню удалось восстановить равновесие и, в несколько взмахов весла, отплыть от Горпины на довольно далекое расстояние.

Грустно смотревшая вслед ему русалка слышала, как стучал и плескал веслом торопливо гребший по направлению к деревне громко сам с собой разговаривавший и ругавшийся парень.

— Что тут за шум?! Ты с кем тут лясы точила? — вынырнула около Горпины, пыхтя и отдуваясь, мокрая и толстая, лысеющая голова Водяного.

— Рыбак тут был пьяный. Увидел меня и ругаться начал, — пробовала было объяснить свою встречу утопленница.

— То-то я слышу, что водкой пахнет, — пробурчал недовольно старик и продолжал: — А ежели пьяный, то зачем его в воду не затащила?

— Да он мне грозился веслом руки поломать.

— А это что?! — грозно спросил вдруг Водяной, указывая на недопитую Максимова бутылку в руках у Горпины.

— Это он дал мне, чтобы я от лодки отстала...

— А ты взяла!.. Вместо того, чтобы его челнок опрокинуть, ты от него водку взяла!.. Пожалела!.. Так вот же тебе за эту жалость!

Вырвав из рук Горпины бутылку, Водяной громко и хлестко ударил девушку по лицу своею растопыренной мокрой лапой.

Горпина заплакала и скрылась в тростнике.

Водяник же, не торопясь, посмотрел сквозь видневшуюся в прозрачной бутылке водку на свет выглянувшего из-за туч узкого месяца, запрокинул этот сосуд в свой блаженно ослабленный рот и стал переливать туда драгоценную влагу, которую лесная, водяная и болотная нечисть любит и ценит не меньше, чем человек...

Максим рассказывал поутру на селе, как хотела его затащить в воду ставшая русалкой Горпина, как он

топи и, засевши в кустах, стал караулить, не подвернется ли какой-нибудь мелкий, безрогий еще, болотный бесенок. Переждав несколько времени, Петра был весьма удивлен, услышав приятное, сладко зовущее пение.

“Тяни за ногу” вгляделся и был прямо поражен красотой увиденной им впервые болотницы.

Сидя на кочке, с опущенными в черную воду ногами (чтобы не выдать было некрасивых не то лебединых, не то лягушечьих лап), распустив увенчанные белыми крупными цветами темные волосы, пела ближайшая к Анкудинычу трясинная красавица о том, как томится она одиночеством и ждет не дождется близкого ей существа, которому могла бы подарить весь пыл не дающей ей покоя любви... Утопленник так заслушался и засмотрелся, что забыл не только о бесенятах, но даже о Водянике и его приказании. “Тяни за ногу” слышал по временам хруст валежника и чмоканье чьих-то шагов по болоту, но даже не оглядывался в сторону этого шума, пока совсем близко около него не показался человек, вероятно охотник, заблудившийся в лесу. Человек этот осторожно, перепрыгивая с кочки на кочку и по временам останавливаясь, словно ему надо было подкрасться к токующему глухарю, неуклонно приближался к поющей болотнице. Вот он остановился у края ровной, словно бледно-зеленым ковром заросшей лужайки, на противоположном конце которой, посреди небольшого сравнительно пространства воды, сидела на мшистой кочке сладко поющая бесовка.

Она тоже заметила человека и стала петь еще слаще, призывно простирая навстречу пришельцу свои белые, округлые, словно из мела точеные руки.

После нескольких мгновений нерешительности человек вдруг рванулся вперед и побежал по колышущейся погн им моховой поверхности трясины. Но, еще не достигнув до воды, он неожиданно провалился и с головою ушел в предательскую пучину. Только несколько пузырей выскочило, хлопая, на черной поверхности образовавшейся дыры. Болотница, совсем по-русалочьи, всплеснула в ладоши и, прервав пение, с громким смехом поднялась во весь рост на кочку.

— Ишь как ее разобрало,— прошептал Чернобородый, глядя, как восторженно пляшет бесовка, перебирая своими уродливыми лапами.

Изо всех болотных дыр и щелей, из-под пней, куч хвороста и коряг появилось внезапно множество бесенят. Кривляясь и хохоча тоненьким, как писк мышей или скрипение старого дерева, смехом, кубыркались они и хлопали немилосердно в ладоши в честь удачливой прекрасной болотницы. А та, окинув окрестность торжествующим взором и, видимо, наслаждаясь своей победой, съежилась вдруг, подобно огромной белой лягушке, и, совсем как те, прыгнула головою вниз в колыхнувшуюся трясины...

Прятавшиеся во время ее пения бесенята теперь разбегались и развозились, прыгая с визгом и хохотом один через другого. Некоторые, посильнее, гонялись за более слабыми, царапали их и дергали за уши. Один из мелких и слабых бесенят, на бегу свою, забежал укрыться в тот самый куст, за которым сидел Чернобородый. Утопленник мигом сгреб его своею огромною пухлой рукою, сжимая слегка шею, чтобы тот не пищал и не кусался.

Это был бледно-зеленого цвета, совсем молодой еще, с бугорками вместо рожек, бесенок, с мордочкой, похожей на кошачью, туловищем, напоминающем человечье, и задними лапками, как у лягушки. На передних лапках виднелись маленькие, не отросшие еще как следует “коготки”.

Оглядев свою добычу, Анкудиныч осторожно поднялся на ноги и пустился в обратный путь. Повить второго бесенка было неудобно и поздно.

Пройдя с версту, на одной из заросших по окраинам ольховыми кустами полян Чернобородый слышал вдруг заунывный длительный свист и остановился. Ему показалось, что вершина одной из по ту сторону поляны стоящих елей как-то странно заколыхалась. Немного спустя дерево, принимая постепенно вид Лешего и уменьшаясь по пути в росте, двинулось по направлению к застывшему в испуге Чернобородому... Еще миг, и ставший ростом с молодую березку, раза в два, однако, с половиною выше утопленника,

Леший был уже перед ним, остроголовый, взъерошенный, поросший похожею на гребесный мох шерстью и, видимо, очень сердитый.

— Ты что здесь делаешь? Зачем в мой лес притащился, падаль проклятая?! — гневно заскрипел лесной хозяин, по прозванию Зеленый Козел (он был так прозван за форму своей бороды и цвет шерсти), замахиваясь на пришельца тяжелой суковатою дубиной.

Чувствуя себя в положении, напоминающем былые времена, когда объездчик или сам лесничий заставляли его в казенном лесу с санями нарубленных гров, “Тяни за ногу” счел нужным упасть на колени.

— Помилуй, отпусти! Не по своей воле сюда зашел... Наше дело холопское!

— От кого? — последовал грозный вопрос.

— Водяник послал. Мы — народ подневольный. Посылают — значит, иди!

— А это что? — указывая на полузадушенного, слабо шевелящегося бесенка, спросил Песовик.

— Велел, значит, пытать и предоставить.

— Хорош у тебя хозяин! Своей погани, что ли, у него мало, что чужую воровать посылает?.. Сколько раз я ему наказывал, чтобы он не смел своим бесовским гнильем лес мой загаживать! Говорил, что не потерплю! — гневно кричал Зеленый Козел.

Он вырвал затем из рук Чернобородого бесенка и, держа последнего за задние лапки, сильно ударил головою о пень, так что тот даже не пискнул...

— А теперь у меня с тобой расчет будет, — снова вскричал лесной хозяин, заноса над его головою свою страшную дубину.

— Не бей, я тебе услужу! То ись вместо родного отца почитать буду! — обнимая жесткие шершавые ноги Песовика, жалобно взывал Чернобородый.

— Ты-то отслужишь?! Мразь этакая! Какая от тебя польза?! Только воздух портишь! Зараза проклятая!

— Любую тебе русалку предоставлю. Я их у Водяного караулю. Подведу всем гуртом. Знай, выбирай только! — соблазнял Лешего, в страхе и трепете, “Тяни за ногу”.

Зеленый Козел призадумался. Он был неравнодушен к красоте обитательниц реки и не раз, притаясь в прибрежных кустах, любовался на их игры.

Раз как-то заметил его там Чернобородый и теперь воспользовался этим обстоятельством, чтобы соблазнить и смягчить разбушевавшегося Песовика.

— А не нагуешь? — задумчиво, после некоторого молчания спросил Песовик.

— Провалиться мне в пекло, если обману!

— Оно, положим, там тебе самое подходящее место... Ну, да я тебя на этот раз помилую, так и быть... Только ты, смотри, русалок ко мне погведи.

— Ладно. Вот они пойдут на Иванову ночь травы в лес собирать, я им и скажу, что у тебя в бору на поляне папоротник цветет. Они туда и побегут...

— Эк сказал! На Иванову ночь у меня и с живыми девками хлопот не оберешься... Ну, да ничего; так и быть. Смотри же, не обмани, а не то я тебя всюду найду! — угрожающе закончил Леший и, мрачно посмотрев свысока на утопленника, зашагал к чаще строевого хвойного леса, по мере приближения к нему делаясь длиннее и выше.

Как только он скрылся из виду, Чернобородый вскочил поспешно на ноги, схватил за лапки убитого бесенка и опрометью, не разбирая дороги, кинулся бежать по направлению к Ярыни...


Луна уже зашла. От реки подымался туман, в котором мелькали иногда при свете одна за другой гаснущих звезд воздушные очертания русалок. Близок был утренний час.

“Тяни за ногу” облегченно вздохнул, погружаясь в прохладную темную воду.

Он уже твердо решил обещания, данного Лешему, не исполнять.

— С этими лягушатами сражался ты, когда был богом на небе? — спросил Водяник губового игола, показывая ему убитого болотного бесенка.

Игол молчал, как бы вглядываясь неподвижными глазами своими в бледно-зеленоватый трупик с беспомощно



раскинутыми лапками. Он долго и задумчиво смотрел на убитого, но на этот раз ничего не сказал Водяному.

Бесенка выбросили в камыши, где его вскоре нашли ребяташки. В селе, куда они его притащили, стали говорить, что это приплод преждевременно появившейся на свет от одной из местных колдуний Аниски, которая путалась, по слухам, с нечистой силой. Но Аниске удалось как-то отстоять свою невинность, отведя подозрения на свою соперницу Степку...

Труп бесенка успел, однако, пробудить кое-какие воспоминания в иголе. Несколько дней спустя, во время грозы, когда хозяин омута лежал рядом с ним на илистом дне, прислушиваясь к отдаленному грохоту грома, губовый бог беззвучно прошептал своему соседу:

— Вспоминаю, как сыновья запрягали мне колесницу и я выезжал на ней поражать огненно-синими стрелами моих исконных врагов, не тех лягушат, что ты мне намедни показывал, а туманных, серых и мглисто-черных, вертящихся с кривляньем в пыльных столбах по дорогам, бегающих по человеческим кровлям, в ядовитых парах возникающих из болот. Они боялись меня и, приняв вид больших темных клубков, катились, спасаясь, по полям и тропинкам, прятались в звериные норы, но всюду находили их неотвратимые мои стрелы...

— Какие стрелы? — спросил Водяной.

— Те, что так ярко освещают ночью все твое дно, небесные огни, после вспышки которых слышен тяжкий грохот и гул, заставляющий тебя меняться в лице.

— Забрался, старик! Я никогда ничего не боюсь. Кто-то другой производит этот шум, — сказал Водяник. — Как я себя помню, ты ни разу не пошевелился с тех пор, как тебя принесло сюда одним из весенних напоров воды.

— Пусть так. Но я все-таки был когда-то богом, — упорно шептал игол. — Боги свергают и заменяют друг друга. И я когда-то согнал с небесного трона того, кто там сидел раньше меня. Но я был великодушен и оставил побежденному власть над всем покрытым шерстью скотом. Свергнув противника, я не преследовал его и не лишал радостей жизни и света...

— Как его звали? — перебил Водяник, забывая, что только что выразил недоверие собеседнику.

— Волосом... Живя в лесах и полях со зверьми и скотом, он и сам оброс шерстью, как зверь. Гордый сознанием силы моей, я не возбранял поклоняться ему охотникам и пастухам. Мне молились и служили лучшие люди. К ногам моим повергали взятое в бранях золото, курили предо мной вынутым с морского дна янтарем (это была добровольная дань Морского царя) и закалали обреченных жребием отроков... Ты не можешь себе представить, как приятен запах человеческой крови,— блаженно вздохнув, прошептал истукан.

— Ты много раз уже говорил мне все это,— отвечал, недовольно зебнув, Водяник.

В душе он завидовал, слушая эти рассказы. Никогда побелителю Ярыни не приходилось вдыхать испарения горячей, злой, из человеческого тела выбегающей крови. Он знал ее только на вкус, да и то в очень разбавленном речною благою виде...

Водяной был, кроме того, немного тщеславен, и ему неприятно было, что неизвестно откуда взявшийся дубовый обрубок смеет как будто считать себя знатнее хозяина такой многоводной реки, как Ярынь.



По мере наступления осени короче делались серые дни, глиняней становились ночи, грязнее дороги; желтели, а затем обнажались леса; отлетали за синие моря чуткие птицы. Давно уже сняты были хлеба и, справляя гребний обряд, откатались бабы среди сжатого поля, выпрямляя спину и припевая: “Жнивка, Жнивка, отдай мне силку”, словно желая получить силу обратно, если не от исчезнувшей в неизвестную даль богини Жнивы, то хоть от уцелевшей еще в верованьях народных гребней Матери

Земли. Отплясали нагие девушки ночную тайную пляску в честь увенчанной необлетающим венком Маковей... С Успеньева дня уже “засыпается” Красное Солнышко, царственная небесная богиня, которую русские зовут “Красное лето”, а древние греки называли прекрасною Лэто, мать Дажбога и Лунной богини, покровительницы небест и охоты Летницы-Дзеваны-Дианы.

На “Здвигенье”, следуя примеру отлетающих птиц, полезли в подземные норы прятаться от холода змеи. Они собрались несметною стаей и, со своим царем во главе, поползли по направлению к лесу. Искавший убежавших телят деревенский парнишка видел то стаго, видел и золотую корону на голове змеиного царя, но у него не было с собою чистого белого полотна. А если бы оно было под рукой и мальчик разостлал бы его на змеином пути, то змеиный царь непременно сложил бы на эту подстилку свою корону, и парнек стал бы из глупого Митьки всеведущим знахарем...

На Никитин день (15 сентября) уснула мертвым сном, попрятавшись в логовища, на дно трясин и в дупла деревьев, вся лесная и болотная нечисть. Получил свою обычную осеннюю жертву, гуся без головы, Водяник и понял, что до самой весны не будет больше даров. Он ходил мрачный и тяжело, громко вздыхал по ночам в опустевших от речной птицы камышах.

Пришел праздник Покров, связанный некогда с появлением первого снега и выходом замуж девиц. “Батюшка Покров”, — зывали они когда-то и повторяют теперь: “Покрой Сыру Землю и меня, молоду!”

Расставшаяся уже с ласками солнечного и громоносного небожителей, утомившаяся за летнее время Земля одеваётся в белую ткань и погружается в сон. Солнечный бог побледнел и утратил перед наступленьем Зимы силы свои, а Царь Гром спит мертвым сном, как сказочный богатырь, убитый братьями и брошенный в подземное царство.

Обманутый в свое время утопленником Анкудинычем, не погнавшим к нему, согласно обещанию, в ночь на Ивана Купала русалок, Леший с мрачной решимостью встретил наступление осени и следующей за нею зимы. На

Ерофея Офеню он долго сражался в лесу с кем-то незримым, ломал деревья, рычал, как зверь, но, получив тяжкий удар невидимой палицы по острой своей голове, провалился сквозь землю.

Снег и холод делали понемногу свое дело. Люди прятались в теплые хаты, варили пиво и брагу, резали кур на “курячи именины” и запасались теплой одеждой. О ней заботилась когда-то маленькая, но добрая богиня Стригольница или Овечница, переименованная впоследствии в Настасью Овечницу. Отпраздновали в Михайлов день именины Огня и заговорили в свое время Домового...

На крыльях полночных ветров прилетела седая Зима. Она давно уже, хотя и не всегда, была беловолосой старухой. Состарилась богиня, переселившись вместе с русым народом своим в болотистые леса Сарматии и на прохладные равнины обильной травой Скифии. Она помнила еще время, когда была богиней морского тумана и смерти, причиняемой Морем. Тогда ее звали Марина или Мара-Марена. Потом стали звать царевной Марьей Моревной, а в заключение — Зимней Матреной. И только на этих снежных равнинах приняла Царица обратительный облик, сходный со злой ведьмой Поухой, богиней живших здесь ранее финских племен.

Не знавший отцовской ласки сын ее Мраз, Хлад или Лед, в христианской брани переименованный в Пяга, в сказках сохранивший имя Мороза, приплыл на льдинах одновременно со своей царственной матерью. Безжалостный к людям до того, что в древности звали его мужеубийцей, загнал он их в избы, чтобы не мешал человеческий взор чародействам Зимы.

По мановенью волшебного скипетра оделись пушистой белой одеждой леса, спрятались от грозного Хлада на дно Водяной, покрылась ледяною толстой корою река, замерзли болота, а по необозримым снежным равнинам закружились в радостной пляске прилетевшие от полуночи вместе с Зимой частью оставленные ей в наследство финской богиней демоны вьюги: Курева, Круча, Забируха, Пурга, Бурган и Метелица, а равно и много других, ненавидящих людское племя, стихийных безжалостных духов.

Не спокойна была душа самоубийцы Горпины. Пока еще не замерзла река, в холодные осенние ночи, когда ветер поет деревьям грустные песни о близкой Зиме и последние листья падают, шурша, с почти обнаженных ветвей, несколько раз тайком подымалась она с вязкого дна и шла поглядеть, что делают родственники. Припадая к окошку, глядела утопленница на спящих в хате братьев, сестер и родителей. Раз даже забарабанила она слегка по стеклу полупрозрачными пальцами, и младшая сестра, внезапно проснувшись, увидела Горпину. Сев на кровати, девочка подняла пронзительный крик.

Кое-кто из домашних заметил в окне лицо ночной гостьи прежде, чем та успела исчезнуть. Никто, конечно, не решился выйти из хаты; но все грожали и не смыкали глаз до рассвета...

А утром сыпали под окнами и у дверей "священный" мак и вешали на шею лаганки с тоей и мареной. Все в деревне помнили, как несколько лет тому назад к девке, по имени Феська, стал приходиться по ночам и проситься в хату ее умерший жених и как, лишь благодаря опытности и знаниям ведуньи Праскухи, удалось его отогнать. Праскуха приказала тогда осыпать постель Федосьи цветами той и пахучей марены, а также вплетать те же цветы при отходе ко сну в волосы девушке. Средство помогло. В первую же ночь после этого подошедший к окну упырь почувствовал запах неприятных ему растений, заскрежетал зубами и произнес:

"Кабы не марена да не тоя — то была бы девка моя".

А затем убежал по направлению к кладбищу...

В стороне от дороги, в укрытой от человеческих глаз сугробами, уединенной долине, на снеговом престоле сидела царица Зима, задумчиво глядя на окружающих перед нею в быстрой пляске демонов вьюги. Мыслью унеслась чародейка в давно прошедшее, когда ее так радовала полученная ею на новых местах власть почти на полгода скобывать твердую землю, болота и реки. "Тогда меня тешило это; тогда я так была счастлива, как только мне удалось прогнать с этих мест гордую золотистым румянцем щек своих Лето. Мне так хотелось в те времена как можно дольше

держат в руках своих этот алмазный скипетр, делающий реки проезжей санной дорогой, а осмелившихся поглядывать за мною людей — неподвижными трупами. Мне нравились и песни полочных ветров, внуков Стрибога, и до сих пор непонятные для меня слова похоронный вой напоминающего пенья Пурги. Теперь я не дорожу своей царственной властью и бываю даже довольная, когда сын моей соперницы, в красный сарафан наряженной — Пета, приезжает меня изгонять из этой страны. Он очень красив на своем белом коне, в кольчатых червонных перчатках и в золотом шлеме с жемчужными подвесками. Стройные ноги его блестят серебром... Юное лицо солнечного бога всегда очень мне нравилось, и помню, я никогда с особой охотой не вступала с ним в бой. Я щадила молодого врага своего и старалась больше напугать его, оборачиваясь снежным драконом, чем причинить ему вред. Но разве я виновата, если он сам непременно хочет сражаться вместо того, чтобы сойти с коня и обойтись со мною как с расположенною к нему нежной подругой?.. Я так одинока!.. Разве я не могла бы, подобно Пету и скованной мною Земле, рождать каждый год радующее сердце потомство?.. Но, увы, нет около меня никого, кто бы нравился и сам хотел нравиться мне, а тот, от кого я некогда произвела на свет сына, Лага, теперь уже не в состоянии производить... И многих из тех, кого я знавала в дни юности, давно уже нет. Где теперь повелитель ветров, грозный Стрибог? В какую страну он удалился? Здесь остались лишь внуки его, которые не хотят или не могут мне рассказать о своем деде... Придворные мои советуют мне выбрать в мужа себе Вила. Говорят, он был когда-то мужем царившей здесь до моего прихода безобразной Лоухи. Он не бежал вместе со своею подругой, но задержался у племен, живущих в лесистой Литве. После его признали как бога и другие живущие здесь племена, считающие его также мужем Бабы Яги. После таких двух жен я не хочу быть третьей у этого Вила. Обойдусь как-нибудь и без него. Посмотреть разве, что делает теперь красавица Пето?..”

— Студит, — крикнула царица, — принеси мне мой волшебный алмаз!

Почтительно изгибаясь, поднес ей один из ее приближенных демонов крупный, на граненое яблоко похожий бриллиант. Взяв его в руки, поймала им Марена-Зима один из лунных лучей и стала внимательно смотреть в сверкающую кристальную грань. И увидала башню в галекких заоблачных странах, над теплыми синими морями, расписной косящатый терем вечно юной красавицы Лето. В терему том царило теперь оживление... Молодые розоликие гости, каждая со звездой на челе, одетые в алые, шитые золотом сарафаны, с голубыми и синими лентами, вплетенными в русые косы, собрались поздравить родильницу и пожелать здоровья новорожденному солнечному богу. Одна за другой склонялись они к колыбели малютки и клали около принесенные с собою дары...

Досадой и гневом вспыхнули очи Зимы. На мгновение она вновь стала совсем молодой и прекрасной. Топнув ногой, поднялась ледяная богиня во весь рост и позвала к себе главных демонов свиты своей: морозку по прозванию Ломноса, Студита и Опоку. Все трое отдали царице низкий поклон и молча выжидали приказаний.

— Слушайте, верные слуги. Опять там,— сказала Марена, указывая на восточную часть неба,— родился божич, который рано или поздно придет и прогонит нас с этого места, как ветер тучи, на самый край света. Позаботьтесь, чтобы возможно дольше мешать ему в этом. Крепче скуйте ручьи и речки по лесам и обрагам. Скажите полночным ветрам, чтобы они не пускали сюда прилетать полуденных братьев своих и боролись с ними изо всех сил. Не то скоро нам всем придется покинуть эти края.

И поспешили исполнить этот приказ верные послушные слуги.

Тело Горпины было в свое время найдено и похоронено, но душа ее продолжала оставаться русалкой. И лишь зимою, когда она вместе с подругами, цепеня от холода, спала на илистом дне скованной льдами Ярыни, ей снилось порою, что она лежит в дощатом гробу, где темно и скучно...

А на земле в это время трещали от лютой злобы Мороза одетые в иней деревья. Падали мертвыми с них убитые

дыханьем его воробьи и вороны. В вое пронесившегося над селом холодного ветра опытному уху явственно были слышны стоны реявших над избами душ умерших людей. По случаю рождения нового божича солнца души эти выпущены были с того света на трое суток — повидаться с родными.

И теперь они, греясь в грожащих над трубами струях теплого воздуха, просились в хаты, царапались в окна, старались проникнуть в двери вместе с входящими или выжигали, когда можно будет влететь через печь.

Внутренность жилых помещений носила праздничный отпечаток. На хохлацком конце села земляные полы посыпаны были желтым песочком, поверх которого набросан был очерет. Тщательно вымыты были вместе со столами и скамейками деревянные полы кацапского конца. Каждый стол накрыт был чистой скатертью, из-под которой торчали сено и разного рода колосья. На скатерти расставлены различные обильные яства. Когда люди сели ужинать, старшие ели не обычным порядком. Иную ложку, особливо с кутьей, не в рот, а через плечо опоражнивали. Предназначались они для душ умерших родных, так как в эту ночь живые и мертвые родственники должны были, не боясь друг друга, вместе праздновать рождение нового бога...

А для тех из близких теней, которые не успевали поймать в воздухе кидаемых им крох или куска, горшки и плошки с оставленными в них ложками не убирались со стола до утра.

Целых три дня не метут хозяйки своих изб и хат в это время, чтобы не потревожить случайно притаившегося где-нибудь в уголку, глазам не заметного предка.

Вылетев вместе с белым паром из полыньи, туманной тенью помчалась Горпина к Зарецкому. Вместе с другими знакомыми ей и незнакомыми, витавшими в воздухе призраками, прилетела она к своей, словно вчера покинутой хате. И мило, и вместе с тем чуждо казалось ей покинутое и на краткий срок вновь возвращенное родное жилище. Она даже не попыталась проявить себя как-нибудь сестрам и матери. “Опять будут бояться меня и не спать по ночам”, — думала бедняжка. И, грустно сжавшись в комочек,

сидела почти все время под потолком, на верхнем уступе печки.

На четвертое утро рождения божича, еще засветло, вымели хозяйки дочиста полы и вынесли сор на середину двора. Там лежала уже заготовленная ранее куча соломы, которую старуха, хозяйская мать, или, вообще, старшая женщина в доме, должна запалить горящей лучинкой. Погнавшийся кверху огонь отогревает отлетающие обратно в темные могилы души усопших.

Вслед за другими умчалась, несомая ветром, и вновь опустилась на дно Ярыни незримая грустная тень утонувшей Горпины.

А у живых да молодых лишь живое на уме. Вечеринки и последки с гаданьями и играми были в полном разгаре.

Неизвестно, кто и когда научил девушек узнавать свою судьбу у Гуменника, существа подобного домовому, но только живущего на гумне или в клуне. Демон этот слывет менее добрым, чем Дедушка Домовой, и склонен иногда шутить злые шутки с людьми, входящими в его владения в неурочное время. Тогда он непременно подсунет под ноги плуг, борону или иначе как-нибудь обнаружит свою силу и власть.

На святках Матрунька с Зинкой признались подругам, что бегали уже ночью погадать к стоящей далеко от строений большой помещичьей клуне, где в стене было проделано отверстие для привода конной молотилки. Предварительно попросив Дедушку Гуменного открыть всю правду, каково им будет житься в замужестве, девушки, одна после другой, подходили к отверстию в стене и, обратясь к ней спиною, подымали свое платье. Дедушка Гуменный должен был погладить им тело, в случае счастливого брака — мягкой пушистой ладонью, и жесткой — если замужество девушки будет несчастливым. Зинка говорила, что никакой лапы она не чувствовала, но кто-то дохнул на нее теплым, как у коровы, дыханием. Матруньке же показалось, что по голому ее телу кто-то нежно провел несколькими соломинками, причем одна из них слегка даже ее уколола.

Эти показания девушек были истолкованы подругами как безусловно благоприятные для Зинки, относительно же Матруньки мнения разделились. Значительная часть толковательниц стояла, впрочем, на том, что Матруньке следует повторить свое гадание. Но ни та ни другая вторично идти к клуне не соглашались, объясняя это тем, что они уже достаточно натерпелись страху, так как слышали даже, уходя, что Дедушка Гуменник, вероятно перед каким-нибудь несчастьем, забыл голосом, похожим и вместе с тем не похожим на собачий.

Сообщение Матруньки и Зинки повлекло за собою то обстоятельство, что ни одна из девок не пошла гадать к помещичьей клуне. Парни же, не без смущения, передавали друг другу, что забравшийся в ту ночь, когда Зинка с Матрунькой гадали, в клуню пугать их Онисим Щербатый сам был очень напуган, так как не то Гуменник, не то другая какая-то нечисть, по всей вероятности Папун, прыгнул ему в темноте на грудь и хотел задушить. Онисим заорал нечеловеческим голосом и лишился от страха сознания. Падая, он расшиб себе голову о железное колесо какой-то сельскохозяйственной машины.

По этому случаю на поседках стали вспоминать и рассказывать старые предания о гуменных бесах, вроде того как одна женщина, поссорившись раз с мужем, сказала ему: "Лучше бы я с "тем-то" жила, чем с тобою". И вот однажды, когда эта женщина пошла за чем-то на гумно, она увидела там неожиданно беса в виде незнакомого мужчины. Последний подошел к трясшейся от страха бабе и сказал ей: "Ты хотела со мной жить, так вот я..." И, растопырив руки, нечистый загородил своей жертве выход из клуни. Захваченная врасплох женщина так была испугана, что не в состоянии была сопротивляться. Домой она пришла явно повредившейся в рассудке и вполне подчиненной насильнику-бесу. Тот до такой степени овладел ее волей, что требовал к себе несчастную во всякое время дня и ночи. Сначала она выбегала для этого как бы за нуждою за сарай или незаметно ускользала в клуню, но затем Гуменник настолько осмелел, что стал невидимо к ней являться даже в избу.

Лежа за перегородкою на своей кровати, одержимая разговаривала со своим повелителем, отвечая на его неслышные для других вопросы, смеялась его шуткам, а порой просила, со слезами на глазах, оставить ее.

Не желавший быть в доле с таким товарищем муж отступился от своей жены, особенно после того как все обычные в таких случаях средства вроде окуриванья, опрыскиванья с уголька и даже отчитыванья деревенским попом оказались несостоятельными. Женщину пробовали возить по монастырям и к знаменитым своею богоугодною жизнью отшельникам, но это также плохо помогало. Бес обычно даже сопутствовал, по словам порченой бабы, ей в этих путешествиях, то стараясь оборвать забертку у саней, то качаясь на ветке перед остановившимися от испуга во время пути лошадьми. Лишь предсказанная ей одним святым старцем скорая смерть освободила несчастную от власти привязавшегося к ней демона.

Этот рассказ особенно сильно подействовал на девушек, бывших на поседках. И каждая из них долго потом не решалась ходить одна в сумерках на гумно.

Дубовый игол Перуна и толстый Водяник лежали рядом, полузарывшись в иле, на дне покрытой ледяною корою Ярыни, и оба погружены были не то в сон, не то в воспоминания о давно прошедших веках.

Водяному грезилось исполнение его заветной мечты. Узнав о мудрости и искусстве править властелина Ярыни, издалека приплыло к нему посольство из таких же, как он, водяных, лишь не столь сильных и умных, обещанных красивыми цепями из серебра, золота и янтаря. Посольство это звало его на освободившийся престол Морского Царя.

Сперва Водяник не соглашался во сне, уверяя, что слишком любит свою Ярынью, а равно живущих в ней утопленников и русалок, которые лишатся в нем не только мудрого правителя, но благодетеля, супруга и как бы второго отца... Но затем слезные мольбы посольства и клятвы, что без него, Водяного с Ярыни, пропадет все царство морское, сделали свое дело, и тщеславный старик согласился. Он допустил надеть на себя драгоценную из

крупных жемчужин с алмазами цепь и принял старинную серебряную, с изумрудами и сапфирами, корону пригворных царей Варяжского моря. Приплывшие с водянными послами хвостатые полузвери-полурыбы повезли его в большой перламутровой раковине к сказочному по пышности дворцу, построенному из хрусталя среди холмов и равнин донного царства.

Там ожидал его янтарный, несколько протертый предшественником, освободившийся трон. В хрустальные окна видно было, как тычутся в них мордами морские острокрылые осетры и моргающие глазами белуги, проплывают мимо могучие большеголовые киты и всякая мелкая рыба, мелькая разноцветными пятнами и блистающими золотом плавательными перьями...

К новому властелину привели толпу царевен, дочерей бывшего, низложенного царя, и предложили выбрать из них супругу. Все они были замечательно хороши и похожи друг на друга. Тогда новый Морской Царь, чтобы не обидеть ни одной, объявил под рукоплесканье пригворных, что ему одинаково нравится каждая из сестер и он берет себе всех. “Чем они хуже русалок”, — пронеслось в голове Водяного. Эта мысль так понравилась бывшему повелителю Ярыни, что он решил ознаменовать ее пиром...

Отдан приказ, и принесенные во мгновение ока столы уже помяты от обильно на них расставленных яств. Большие серебряные блюда вмещают в себе все, что рождает море, и все, что опускают на дно в виде гани проезжающие мимо мореходы. Нет недостатка ни в блинах, ни в пирогах с вязигой и осетриной, ни в розлитых в золотые сулеи и хрустальные кувшины заморских благоухающих винах. Морской зверь, стоящий на задних лапах, передними перебирает проворно, как искусный гуслир, блестящие струны подвешенных ему на грудь из черного дерева сделанных гусель. Морские царевны-невесты, по приказу своего повелителя, пляшут пред ним веселые танцы, а затем и он сам, выпив, сколько можно было вместить, заморских, горячащих сердце напитков, пускается в пляс.

Сперва он пляшет, как подобает царю, с важной осанкой, перебирая на месте ногами и грациозно забрасывая их одну

за другую. Но ему хочется более быстрого пляса, а морской зверь не умеет так же проворно перебирать звонко поющие струны, как это делают люди. Один из приговорных, с головою, похожей на стерляжью, шепотом, почтительно согнув гибкую спину, докладывает царю, что младшая царевна хорошо играет на арфе. Тогда новый царь велит прогнать, набив ему шею, лакононогого гуслияра и требует, чтобы царевна показала свое искусство.

По-заморски присев пред властелином, юная царевна, блестя нашитой на платье чешуей и томно улыбаясь, приказывает принести свой инструмент и начинает играть. Водяной Царь вновь пускается в пляс. Теперь танец быстрый, и венценосный плясун может гораздо скорее взмахивать своими ногами. Но, ах, одна из них больно ударилась обо что-то, и морской повелитель очнулся от своих сказочных грез прежним простым водяным из Ярыни. Пальцами ноги ткнул он во сне лежащего рядом губового игола и в свою очередь пробудил последнего от сладкой дремоты.

— Что с тобою, друг мой? — кротко, но не без достоинства, безмолвно спросил Водяника низринутый бог.

— А то, что ты вечно приносишь несчастье, — сердитым голосом, держась за перепончатые ноги, пробурчал Водяной. — Едва лишь я, во сне, коснулся тебя, как прекрасный сон мой, где я был царем в подводном дворце на дне Варяжского моря, разлетелся и скрылся неизвестно куда. Я же, подобно тебе, оказался лишенным престола.

— Я тоже во сне, от которого ты так неожиданно меня пробудил, был царем. Я занимал прежний трон мой за облаками. Надевая рубашку из перьев, обращался я в орла и, летая над землей, смотрел, как ведут себя люди и полубоги. Когда же затем я воротился в чертог свой, главная жена — дожденосная царственная Мокошь, утирая слезы ревности расшитым губовыми листьями подолом, стала меня упрекать за то, что я гонялся будто бы за превратившейся в лебедь морскою царевной. Я говорил ей, что она ошибается, но Мокошь (она всегда была очень сварлива) вспыхнула гневом и бросила в меня снятым с ноги сапогом, который больно ударил мне в бок. И я проснулся как раз в тот самый миг, когда в горницу нашу

вбежала в испуге моя любимая дочь, золотокудрая, розо-ликакая Зарница. Выходит, что я был разбужен тобою, быть может, не от столь веселого, как твой, но не менее приятного сна... Ах, если бы он воротился!..

Исчерпав таким образом вопрос и не сочтя нужным ссориться и продолжать разговор, оба собеседника вновь задремали.

Тихие и почти беззвучные речи их не беспокоили спавшего неподалеку, тоже зарывшись в ил, "Тяни за ногу". Он видел во сне, что подходит к болотной трясине и оттуда навстречу ему вылезают, кланяясь в пояс, грязно-зеленые бесенята.

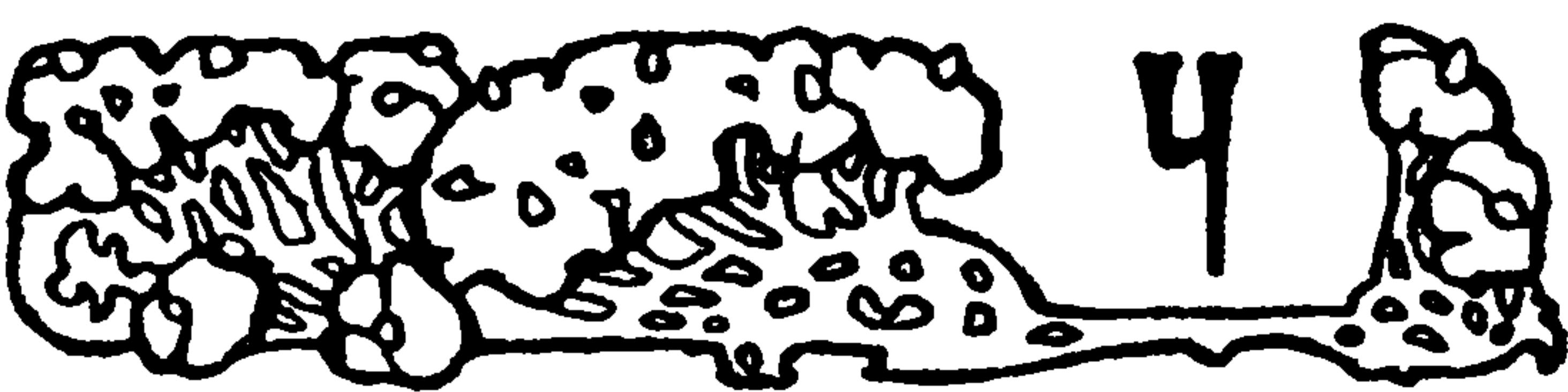
— Здравствуйте, дяденька Петр Анкудиныч,— говорят они почтительно.— Давненько нас не навещали. Все тетьки очень вас заждавшись. А тетенька Настасья, что пела при вас прошлый раз, даже обижаются. Что это, мол, они к нам глаз не кажут? ...Пожалуйте, дяденька, мы это окно обойдем, а там у нас за кустами лаз есть.

И, раздвигая проборно перед чернобородым кусты, провожают его большие, на собак и котов похожие бесенята, прыгают, теснясь, под ногами сходные с лягушками маленькие. В открытую черную дыру, как в погреб, спустился "Тяни за ногу" и вошел в просторную освещенную голубыми болотными огоньками горницу с набросанным на полу от грязи тростником. Завидев чернобородого, поднялся с замшенной табуретки главный Болотник.

— А, Петр Анкудиныч! Наше вам с кисточкой! Наконец-то к нам пожаловали! Посылать даже собирался за вами, да боялся, что ваш аспиг пронюхает и вас не пустит. Должон, думаю, сам догадаться, что его ждут. А вы легки на помине. Очень приятно! — И Главный Болотник "подержался" даже "за ручку" с чернобородым.— Я вас, видите ли, пригласить хотел на службу. Надсмотрщик нам нужен за бесенятами, а то избаловались больно, негодники! Лезут туды-сюды, куды не велено, и пропадают. Огни волки сколько их перелопали! Так я и придумал, чтобы за самыми маленькими старшие смотрели, а вы — старшими командовали бы. Вроде как бы моей правой рукой были бы... А положение вам такое будет: первым долгом

из моих болотниц одна вам в жены; помещение — сами выберете. У нас грязновато, но бесенят у вас на посылках много будет. Они вашей бабе и пол травой выстлать помогут, и молока летом в стаде надоют, и ягог наберут, и яиц свеженьких из гнезд достанут... Огня только разводить у нас не полагается... Впрочем, и в реке у вас ведь то же самое было, чтобы без огня... Так по рукам, Петр Анкудиныч?

И чернобородый хлопнул во сне по рукам с главным Болотником, с виду похожим на Водяного, но только коричневатого-зеленоватого цвета и гораздо более грязным.



Домовой зарецкого мужика Ипата Савельева был вполне доволен хозяином хаты, в которой обитал. Можно было бы сказать — жил с ним душа в душу, если бы Ипат не сомневался несколько в существовании души у своего домашнего покровителя.

Домовой был, по природе своей, добрый малый, хотя, подобно Савельеву, любил иногда полениться. Лошади стояли у них нечищеными по целым неделям; соседняя ведьма Аниска, пользуясь беспечностью оберегателя Ипатова добра, пробиралась порой в хлев и выдаивала коров.

В одну темную февральскую ночь на двор к крестьянину чуть было не забралась Коровья Смерть, с явно недобрыми намерениями. По счастью, одна из собак Савельева, почуяв беду, громко запаяла, и заспанный Домовой успел вовремя выскочить и прогнать злую старуху. Ему удалось настигнуть бесовку, когда та, перелезая через огородный плетень, зацепилась за один из кольев грязною юбкой. Сильным ударом в затылок Домовой сшиб ее в снег по ту сторону изгороди и не без удовольствия смотрел, как непрошенная гостья потом убегала, быстро перебирая коровьими своими ногами...

Не слишком ревностно охранял Домовой и огород, хотя и оттуда случалось ему выпугивать в летние и осенние месяцы деревенских мальчишек. Зато он строго следил, чтобы хорьки и ласки не душили кур и цыплят. Изредка мел даже двор и прибирал навоз. Характера вообще был смиренного, поведения трезвого и довольствовался малым.

— То ись не Домовой у меня, а клад! — говаривал, бывало, под пьяную руку нетребовательный Ипат Савельев соседям своим во время какого-нибудь деревенского праздника.

Не раз даже и переманить пытались у него Домового завистливые люди, но покровитель Ипатова хозяйства был тверд и на посулы не соблазнялся.

Однажды, в самом начале февраля, когда небо чуть-чуть только начинало светлеть, а семья Ипата Савельева еще храпела на всю избу, Домовой отправился на свой утренний дозор.

На дворе все было спокойно.

Но когда верный сторож савельевского добра вошел в хлев, там сидела на корточках голая ведьма Аниска и доила пеструю корову. Заслышав легкий шорох шагов, она вскочила, оглянулась и, при виде Домового, звонко рассмеялась.

— Ага, сам пожаловал! Что так рано проснулся? — как ни в чем не бывало спросила она.

Анисью на деревне далеко не все признавали за ведьму. Большинство считало ее обыкновенной молоденькой разбитною бабенкой, очень бойкой на язык и не вполне чистой на руку солдаткой.

Беззаботный смех ее озадачил Домового. Он даже попытился.

— Ты как сюда попала? — спросил он несколько смущенным голосом.

Домовой был от природы несколько застенчив, и его смущение, при виде неодетой Аниски, было вполне понятно.

— Глуп ты, как я вижу! Не знаешь разве, что мы, ведьмы, во всякую дыру пролезть можем. Тебе бы лешим быть, а не домовым... Пас бы себе зайцев, право, да лес караулил...



Домовой обиделся на такую речь и решил, в свою очередь, сказать что-либо неприятное Аниске.

— Ты зачем чужое молоко выгаиваешь? Я тебе вот наломаю бока!

— Мне-то? — И ведьма опять рассмеялась и лукаво посмотрела на Домового. — Ну где тебе, старому хрену, со мной совладать?!

— Вот я тебе покажу, какой я старый хрен!

Быстрым прыжком, какого трудно было ожидать от его почтенного возраста, предприимчивый гедушка оказался возле Аниски. Не успела та отскочить, как сильные волосатые руки схватили ее под мышки, а нагая спина ведьмы почувствовала прикосновение мохнатого тела Домового.

Хотя Аниска и была натерта жирною волшебною мазью, помогавшею ей перекидываться сорокой, крысой или жабой, все ее попытки выскользнуть из объятий пылкого старика оказались неудачными. Упорная, молчаливая борьба показала ведьме, что мохнатый гедушка гораздо сильнее ее. Схваченная сзади, она вынуждена была упасть на колени, чувствуя, что еще немного, и противник ее восторжествует победою. Аниска решила тогда прибегнуть к хитрости.

— Не вали ты меня, голубчик, в навоз! стыдно ведь мне потом с замаранной спиной будет по селу бежать... Ты хоть соломки или сена подстели! — жалобным голосом взмолилась она.

Доверившись примирительным нотам голоса противницы, Домовой несколько ослабил тиски своих рук и на ухо пропыхтел ей:

— А уважишь?

— Уж так уважу, что... сам увидишь. Я и на ноги подыматься не буду, подстели только чего-нибудь!

Не сходя с места (так как он не вполне доверял Аниске), Домовой выпрямился во весь рост и стал тянуть вниз настланную наг скотом для тепла на жердях солому. Не успел он надергать и охапки, как стоявшая на четвереньках Аниска быстро перекувырнулась несколько раз через голову и, приняв после этого вид сороки, полетела затем в окно, где слабо брезжило сероватое предзвездное небо.



С разинутым ртом и с удивлением на лице смотрел ей вслеп обманутый Домовой. Бросив затем гневным движением наземь солому, раздосадованный старик прыгнул наконец в погоню за беглянкой, но задержавшаяся в маленьком узком окне лукавая птица качнула насмешливо глинным черным хвостом, обернулась назад головой и в тот миг, когда враг вновь был готов овладеть ею, вспорхнула и скрылась из виду...

В хлебу стало совсем тихо. Слышно было только, как пережевывают свою жвачку коровы. Почесывая затылок, Домовой вышел на двор. Собака Жучка выползла из конуры и помахала ему хвостом. Но потерпевший неудачу старик решительным шагом прошел в избу и спустился в подполье.

Там, притаясь в уголку, просидел несчастливец весь день. Непрестанно вспоминалось ему упругое горячее тело сопротивлявшейся ведьмы и ее белая спина, мерцавшая в темноте коровьего хлева. Звонкий хохот Аниски не выходил из ушей.

В ночь на 5 февраля в трубе Ипатовой избы кто-то забозился, пища и хлопая невидимыми крыльями. Чуткий Домовой проснулся, вылез из-за печки и принялся за дознание. Он не любил, когда его беспокоили, а потому был мрачен.

— Кто там? Чего надо? — недовольно проворчал он, просунув голову в отверстие печи.

— Это я, дяденька. Пусти погреться! — слышался в ответ писк, сопровождаемый беспокойным царапаньем.

— Да кто ты-то? Чего незванный в избу лезешь? Здесь уже занято...

— А я и сам, дяденька, хорошо не знаю, кто я. Говорят, вроде будто кикиморы. Пусти погреться! Нас сейчас только из пекла выпустили. Страсть холодно с непривычки! Пусти!..

— Да, как же, так сейчас и пущу! Жди!.. Говорят тебе, что занято. Знаю я вашего брата. По голосу — страсть смирный, а пусти его — сейчас горшки переколотить, весь дом переполошить, а я за вас отвечай... Сказано — не пущу! Проваливай!

— Ишь ты какой строгий! А небось ведьме Аниске не посмел бы так сказать!.. Знаем мы вас, строгих-то!

В трубе кто-то засмеялся тоненьким голоском, и все стихло. Домовой смутился. Он действительно был неравнодушен к молоденькой ведьме Аниске и уже не раз караулил ее по утрам в коровьем хлеву, надеясь поймать ее, когда она примется выдаивать молоко.

Старик выглянул в окно и подумал, что теперь самое время идти караулить Анисью. Решительным шагом направившись к выходу, он сдернул мимоходом тулуп, которым покрывался старший мальчишка Ипата. Запечный гедушка сделал это вовсе не по злобе, а так, чтобы паренек почувствовал, что есть в доме сила, которую следует иной раз уважить.

Пройдя сени, Домовой вышел во двор. Напавший за ночь снежок слегка захрустел под его чуть слышными шагами.

В хлеву не было никого. Домовой забился в угол и ждал. Все кругом было тихо...

Но вот в другом углу завозились, поигрались и побежали по хлеву крысы. Все они щипали и преследовали одну из своих товарок. Домовой хотел было пугнуть их, как вдруг обижаемая крыса кувырнулась через голову, и посередине хлеба неожиданно очутилась Аниска. Длинные черные волосы ее были разбросаны по нагим плечам и спине. Ведьма топнула ногою на убежавших испуганно крыс и медленно направилась к коровам.

Тут чьи-то мохнатые руки неожиданно охватили ее сзади, и так крепко, что Анисья не в силах была вырваться.

— Попалась, голубушка! — прохрипел Домовой, и его мягкая борода защекотала шею пойманной ведьмы.

— Ах ты, старый пес!.. Как ведь неслышно подкрался-то!..

Но Домовой не отставал...

Аниска была настроена весьма мрачно. Ей очень нравилось молоко Ипатовых коров, но и сама она, на свое несчастье, слишком понравилась ипатовскому Домовому, который каждую ночь караулил ее, то спрятавшись в овсяной соломе, то притаясь в темном углу хлева.

Непрошенные ласки его были для молодой ведьмы прямо противны.

Анисья гордилась тем, что к ней два раза уже прилетал Огненный Змей, и на Домового поэтому смотрела несколько свысока, во всяком случае предпочитая ему деревенских парней, ничуть не боявшихся слухов, ходивших про Анисью.

“Эка важность, что ее верхом на свинье вигали! Мало ли кто на ком ездит!.. Да и врут, поги”, — говорили они.

Хотя недавний знакомый молодой ведьмы, Огненный Змей, и обещался научить ее, как доить чужих коров, не выходя из дому, но обещания своего еще не сдержал, и Аниске приходилось или иметь дело с Домовым, или воздерживаться от посещения охраняемых им коров.

Она избрала последнее, чем и ввела в сильную тоску упорно караулившего ее старика.

Оберегатель ипатьевского двора похудел, облез, стал какой-то лохматый, и только глаза его стали еще ярче светиться в темноте. Жена Ипата, увидевши раз в сарае два горящих зеленоватым светом зрачка, опрометью выскочила оттуда и долго не могла опомниться от страха.

Домовой стал беспокойным и раздражительным...

Между тем солнышко стало подогревать снег. Из лесу доносилось порою чуждым разгорячившихся косачей; наступил первый месяц весны. Весь этот месяц Домовой с досады мучил коров, просиживая ночи во хлеву, заезжал лошадей и путал им гривы.

Тридцатого марта он окончательно взбесился. Ночью он душил не только жену Ипата Савельева, но и самого Ипата. Разбил пару чашей, опрокинул все горшки с молоком, поймал и безжалостно избил кошку на крыше. Пойманная так неистово кричала, что перебудила всех в доме и заставила мальчишек выйти на двор. Домовой, отпустив кошку, успел подкатиться одному из них под ноги. Паренек полетел с крыльца и сильно расшибся. Перепуганное семейство Ипата заперлось в избе в ожидании событий. Взбесившийся Домовой, позабыв свой возраст и важность, вихрем носился в предрассветном сумраке по двору и больно укусил подвернувшуюся ему собаку. Ипат вигел в окно, как та завизжала и спряталась в конуру.

Затем Домовой направился, вероятно, в курятник, ибо оттуда послышалось вдруг такое кудактанье, что жена Ипата не выдержала и, схватив кочергу, бросилась с воинственным криком туда же. Тщетно удерживал ее супруг. Он видел в окно, как разъяренная баба, махая кочергой, скрылась в курятнике, из которого послышалась ее звонкая неистовая ругань.

Затем дверь в курятник снова распахнулась настежь, и Сабельев увидел, как что-то, словно мохнатый клубок, прокатилось оттуда по направлению к воротам.

Минуту спустя на пороге появилась раскрасневшаяся хозяйка, очевидно, выдержавшая нешуточную борьбу. Лицо ее было несколько растерянно, бойничек сбит на сторону, кофта расстегнулась, но рука по-прежнему сжимала заметно погнувшуюся кочергу...

Что она видела в курятнике и как выгнала взбесившегося Домового, этого баба рассказать не умела или не хотела. Кажется, она была врага не только кочергой, но и висевшим в курятнике на веревочке камнем, который называется куричьим богом. Во всяком случае Домовой окончательно покинул избу и двор Ипата Сабельева...

Пьяный мужик Микита, возвращавшийся под утро из города, рассказывал, будто видел недалеко от околицы бегущего на четвереньках нечистого с высунутым на четверть аршина красным языком.

Микита хвастался даже, что он успел огреть кнутом эту нежить, но ему никто не поверил.



Под пенье жаворонков неслышными стопами шла по еще влажному лону земли царевна Весна. Под легкими ногами ее пробивалась сочная зеленая травка и вырастали первые цветы. Радуясь им, улыбалась богиня, и от счастливой улыбки ее распускались белым цветом вишни с



черешнями, сильнее благоухали темные и светлые фиалки. Сперва робко, затем все смелее и громче запел ставший когда-то раги прекрасной богини серенькой птичкой певец Весны Соловей. Зашумели первой листвой, шепчась меж собою, деревья. Все мелкие твари, букашки, мухи, жуки, спавшие долгую зиму в темных дуплах и под корою деревьев, пробуждались после долгого сна и выползали поклониться богине. Вышли к ней навстречу и вылезшие из прудовой тины лягушки. Но, увидя шедшего перед Весною, с важным видом, на глиняных красных ногах черно-белого аиста, с кваканьем стали спасаться в еще не покрытую зеленую ряскою воду. Звонко рассмеялась богиня, а под ее смех зажужжали весело пчелы над расцветшим орешником, загудели мохнатые шмели, привлеченные нежным ароматом венка из бело-розовых цветов яблони на челе у бессмертной. Аист же шел торжественным шагом, не обращая внимания ни на жуков, ни на лягушек. И деревья шептали друг другу: "Это он вывел нам из подземного царства Весну..."

Отпраздновавшая незадолго перед тем именины свои, болтливая Сорока (подозрительного происхождения летунья), от которой ничто не укроется, которая все знает и все видит, успела уже потихоньку рассказать здесь и там, что Аист — принявший вид птицы юный бог, который победил недавно богиню зимы и пробудил от долгого сна, в плену у царя чародея, юную деву — Весну.

— Теперь он идет около нее глиняноногою птицей, ранее бегал он некогда по земле златорогим оленем, а потом, может быть, увидим его в другом каком-нибудь образе, — болтала сорока. — Все боги, как и Мать Земля, переменяют время от времени вид. Таков их закон...

Но не хотели дальше слушать болтунью деревья. Они жадно любили каждый шаг богини, каждый взгляд ее, каждую улыбку. И от этих улыбок расцветали, одна за другой, стройные рябины, ветвистые черемухи и нежным, белым пухом покрывались кусты колючего терна.

Прошла Весна над покрывшимися уже ярко-зеленой травкой бугорками кладбища и, склонив голову свою,

посыпала звездочками розовых, лиловых, желтых и белых цветов могилы усопших.

И, заметив тот многокрасочно-яркий покров, люди сказали: "Вот пришла Рагуница отпустить из темных гробов заключенные там души".

А царица простерла руки свои над бугорками могил и тихо-тихо прошептала одной только ей известное слово, услышав которое души умерших покинули недра земли. Вместе с лиловыми, желтыми, белыми и голубыми цветами радостно вышли наружу дотопе там заключенные скорбные души и легкими бабочками и мотыльками, кружась под дыханием ветра, полетели навестить родные поля, огороды, хаты и оставшихся там близких людей...

Наступал вечер. Смолкли певчие птицы. Скрылся куда-то, вместе с закатившимся солнцем, задумчивый Аист. Царица Весна шла теперь одна, роняя цветы и пробуждая к жизни поле и лес. Громким переливчатым хором стонали от счастья в прудах и болотах лягушки...

Вместе с туманом вышли из рек и озер и побежали, смеясь и аукаясь, по влажным лугам простоволосые русалки. Они радовались, пели и кричали, что скоро наступит их "русалья неделя". Хлопаньем в ладоши спугнули водные девы длинноухого зайца, всполошили сонных уток в прибрежных кустах и мчались с визгом и хохотом, празднуя освобождение от зимнего сна...

Высунулся, при свете месяца, по пояс из своих владений, голый и толстый, увенчанный осокою Донный Владыка. Он гукал, кричал, подражая выпю, и хлопал ладошью по поверхности вод.

В лесу гоготал, как пьяный мужик, и перекликался с ушастым филином мохнатый, с виду суровый и мрачный Лесовик. Он действительно опьянел от запаха цветущей черемухи и порывался ловить русалок, но те только смеялись над его зеленоватым полужвериным лицом и быстро убегали прочь, сами томимые желаньем поймать и защекотать живого человека...

Все звончее и громче неслась влюбленная песнь Соловья. Он пел:

— Из тысячелетия в тысячелетие, каждый год славлю я приход твой, прекрасная царица Весна. Шелестя серебристо-зеленой одеждой своей, шествуешь ты по расцветшей земле, повсюду вызывая желание счастья, улыбкой своею обещая блаженство любви... Прими и мою любовь, заключенную в песне, вдохновленной тобой, о царица-богиня. От твоих волос пахнет цветами яблонь и душистой черемухой — от твоего вечно юного тела; дыхание же уст — благоухание распустившихся ландышей!.. Улыбнись мне, покинувшему ради тебя человеческий вид мой, царица Весна!

Ничего не сказала в ответ божественная дева. Внимание ее привлечено было появившейся в полумраке небес серебряной ладьей, где сидел в сверкающем шлеме и в светлом плаще прекрасный Царь Месяц.

Заливая сиянием небо и землю, обратил он томный свой взор на богиню и, склоня к ней матово-бледный свой лик, стал говорить:

— Много есть на необозримых полях черно-синих небес вечно юных звезд в золотых и серебряных ризах с алмазными венцами на пышных волнах глиняных волос. Все прекрасны они, но нет ни одной, при виде которой остановился бы, как теперь над тобой, мой челн. Венок твой из белых звезд благоухающих яблонь много прекраснее драгоценных корон небесных красавиц, царица Весна. Сядь в этот челн, и уплывем вместе со мною в мой никому не доступный, окруженный столпами облачных башен дворец... Там мы будем счастливы вместе!..

Долго еще говорил, простирая руки свои, бледноликий Царь Месяц, в серебряной двурогой тиаре. Вся обратилась в слух, внимая его страстным мольбам, вечно юная дочь богини Земли.

Но полным негодования рокотом прервал красавца Месяца влюбленный в Весну Соловей:

— Не верь ему, дочь владыки богов! Речи его полны лжи и коварства. Взгляни на шрамы на бледном лице этого витязя в серебряном шлеме. Один из них нанесла изменнику изгнавшая его из своего терема в гневе жена, другой — твой отец — за обман, жертвой которого стала одна из

прекраснейших звезд. Не верь ему, дева! Если даже в самом замке своем будет расточать он клятвы и ласки тебе, знай, что перед рассветом он все равно покинет тебя, дабы встретить среди алым золотом разгоревшихся туч розоликую Зарю, при виде которой этот бог бледнеет от страсти. Не верь ему, дочь владыки бессмертных! — закончил свою речь Соловей.

Но еще раньше, чем смолкли слова заключенного в тело маленькой птички певца, натянул свой дымчатый парус царственный Месяц, и блестящая лагья его скрылась во мгле ползущих по небу туч.

Тихо вздохнув, пошла царевна Весна в сторону черневшего леса. Взором безнадежной любви посмотрел ей вслеп Соловей.

В лесу было темно. Шумели над головою деревья. Где-то поблизости немолчным рокотом трещал козодой; с дальнего болота донесся несколько раз протяжный крик журавля. На прибрежных лугах рокочущим хором стонали лягушки, заглушая заунывное пенье русалок.

В душе юной богини зашевелилась тихая грусть. «Все кругом поет от счастья, и любите, а самой мне некогда любить,— думала она.— Не эту же маленькую серую птичку, что говорит про себя, будто была человеком?»

— Ку-ку! Ку-ку! — закричала в ветвях встрепенувшаяся среди ночи кукушка.— Пусть другие птицы вьют гнезда. Я не простая пичужка! Мое изображение — в руках у самой царицы богов. Пусть другие сидят на яйцах. Я — вещая, царская птица. Мой вид когда-то принял Перун, чтобы пленить красавицу Мокошь...

«Не только люди, но и боги, объятые страстью, изменяют внешний свой вид,— подумала легконогая дочь Матери Земли.— Даже могущественный отец мой подчинен тому же закону... Кто же и когда будет суженым мне? Какой вид примет тот, кому губы мои прошепчут: “Твоя”?...»

В воздухе было душно, как перед грозой...

Вместе с другими русалками вышла в тот вечер на сушу и Горпина, радуясь, что может понежиться в серебряном блеске ясного месяца и подышать смолистым запахом

березовых почек. То сливаясь с волнами ночного тумана, то появляясь из них, скользила она по росистой траве вдоль берегов многоводной Ярыни... Так отрадно краткое время свободы после долгого плена на вязком илистом дне, среди прошлогодней, скользкой, затонувшей с осени тины! Всю ночь до утра носилась Горпина с подругами по залитым весенним разливом лугам, а когда стало светать, все они перебрались в густой, манящий весенними благоуханиями лес, где собирались уже проснуться и встретить веселым пением солнце недавно прилетевшие птицы...

Так приятно качаться на глинных ветвях старых дубов, грабов и прибрежных раскидистых ив. Так отрадно знать, что до Петрова дня не нужно возвращаться на илистое постылое дно мутной Ярыни!..

О, как сладко поет Соловей!..

Велика власть богини богов и людей, вечно юной лицом и телом, любящей песни, шепот страсти и поцелуи, волшебным золотым ожерельем украшенной Лады.

Вслед за Весной незримо слетает она с лазурных небес и поступью бессмертных богинь идет по цветущей земле.

Непреложна воля ее. Вдохновенная свыше, от века определила Мать Пеля, кому отдать любовь и царевны Весны, и самого маленького из мотыльков.

Люди и звери, гады и рыбы, птицы и насекомые, деревья, травы, даже всякая нежить и нечисть испытывают чары богини с загадочно-властной улыбкой, богини, которой самой хорошо известен и пыл исступленной любви, и горькие, в прозрачный янтарь некогда обратившиеся слезы отчаяния...

Даже сыны и внуки Сварога безропотно приемлют посланную Ладою страсть, заставляющую их бороться между собою, наносить друг другу увечья, страдать и изменять вид свой, обращаясь в зверей, птиц и смертных людей.

Сами богини, почувствовав вдруг ее приговор, покорно позволяют себя похищать и отдаются не только великим богам, но и жалкому в сравнении с ними человеческому племени. Без сопротивления, хотя иногда и со слезами, переходят они из пылких объятий потомков Солнца на брачное ложе многоголовых адских богов...

Ощущая близость ее, сильнее бьются сердца у живых, больнее ноет душа у тех, кто не имеет больше сердца.

При виде переплетающихся крыльями бабочек, разбивающихся на пары со счастливым пением птиц и обнимающих друг друга в любовном пылу смертной хваткой лягушек застонала душа русалки Горпины.

И неудержимо потянуло ее побигать еще раз того молодого парня, из-за которого лишилась она радостей жизни, того, с кем она делила некогда первую страсть, того, кто познакомил ее с мукой отчаяния.

В полумраке весенней ночи несколько раз прилетала душа погибшей к Максиму, который во сне убигал грустное бледное лицо своей бывшей возлюбленной. Горпина набежала молодого человека не с тем, чтобы пить его кровь, как это делают упыри, или уплотнить за счет жизненных сил бывшего любовника видимую порою глазом прозрачную оболочку души.

Утонувшая дебушка, являясь во сне Максиму, искала у него лишь жалости и утешения...

Но Максим, которому на роду суждены были иные объятья, невлюбил даже сонных посещений Горпины. Чтобы избавиться от последней, парень толкнулся было к знахарке Праскухе.

— Я к тебе за советом, бабка, пришел,— сказал он последней.— Снится мне эта самая дебка Горпинка, что прошлым летом утонула. Стоит будто в дверях и все плачет и есть просит... А как это мне надоело, то ты меня от нее ослобони. Получи вот двугривенный и дай мне какой ни на есть травы, чтобы она, курва, и носу ко мне показать не смела.

Двугривенный Праскуха взяла и кое-каких корешков, чтобы положить их под изголовье, тоже дала, но, оттого ли, что корешки эти плохо действовали против сновидений, оттого ли, что недолюбливавшая Максима Праскуха умышленно не желала ему помочь, Горпина продолжала все-таки сниться своему бывшему возлюбленному.

Тогда парень пошел к Аниске.

Чернобровая молодая ведьма отнеслась к Максиму с большим вниманием. Участливо расспросив его о всех

подробностях посещений Горпины, чародейка улыбнулась, стараясь придать улыбке своей оттенок застенчивости, и сказала:

— Плохое ваше дело. Теперь она во сне только к вам приходит, а потом и наяву начнет шляться, и до тех пор от вас не отстанет, пока всю кровь вашу не выпьет... Напрасно вы только к Праскухе ходили да деньги ей носили. Я вас и даром от мертвячки вашей освобожу, потому вы мне очень понравились... Так вы слушайте, что я вам скажу. Горпинку эту самую от вашей хаты отучить нужно; чтобы, значит, вас там несколько ночей кряду не было... Пускай идет к другим. А вы это время у меня ночуйте. У меня она вас не увидит и не найдет. Я слово такое знаю. Только уж, пожалуйста, приходите, когда смеркнется, так чтобы на селе не знали... А то я — женщина молодая, одинокая... Мало ли что болтать станут... Да приносите с собою водки бутылочку. Я вам ее на снадобье одном настою, а вы ее после на ночь по рюмочке пить будете, чтобы гурные сны отгоняло...

Максим последовал приглашению Аниски и в ту ночь действительно не видел во сне Горпины. Хотя вкус и запах настойки, изготовленной ведьмой, и не очень нравился парню, но действие этого снадобья самой Аниске показалось весьма удачным...

Максим стал с той поры частым гостем скоро понравившейся ему деревенской ведьмы.



“Тяни за ногу” был мрачен. Разговорившийся однажды с ним Водяник заставил своего работника рассказать, как он ходил добывать болотного бесенка и что при этом видел в лесу и на болоте. Совершенно не обращая внимания на описание Лешего, как будто ему до такового не было дела, повелитель Ярыни особенно подробно расспрашивал Анкудиныча про трясиновых красавиц.

— Так что, по-твоему, они покрепче русалок будут?

— Вестимо, крепче. Одна другую по спине так хлестнула, что гул пошел по лесу. Загоготали обе да и бултых в тину... Больно гладкие девки! Не то что наши — после первой же зимы кисель какой-то!

— Так вот что, Петра. Непременно ты мне достань и приведи огну такую гладку. Сmani ее от Болотника, скажи, что Водяной князь Ярыни зовет ее к себе в хозяйки... Да осторожненько веди, чтобы Леший твой ее не отнял. Лучше всего перед самым утром...

— А как же я до нее доберусь? Бесенята заметят, как собачонки завизжат и залают... Да и с Болотником тоже ведь шутки плохи...

— А мне какое дело? Слышал мой приказ? Ну, значит, поги да исполни, пока луна светит. Иначе я тебя сому скормлю... Болотнику же если попадется — поклон ему от меня передай. Да смотри, не проговаривайся, зачем послан... Понимаешь?!.. Живо!.. А не то!..

Водяной стал манить к себе свою верную рыбу.

Подобный поросшему мохом бревну, старый огромный сом приподнялся со дна, сделал сильным взмахом хвоста крутой поворот и, быстро подплыв к своему господину, остановился на высоте его головы, медленно шебеля плавниками и темными, похожими на щупальцы усами.

Но еще раньше, чем Водяной успел отдать ему приказание, “Тяни за ногу” вылезал уже из тростника на покрытый ночным туманом, посеребренным сверху лунным сиянием, берег.

“Только бы не попасться Лесовику, — думал он, — а с болотницей если дело не удастся, пойду к самому Болотнику, наймусь, а там видно будет”.

Анкудиныч стал кустами незаметно пробираться к черневшей сквозь ночной туман лесной опушке.

Идти по лесу было, как и в прошлый раз, трудно. Привыкшая к мягкому илу дна и трав прибрежных лугов, отекая нога неприятно наталкивалась на корни и колкий валежник. Хохот филина и писк разных лесных зверьков заставлял порою утопленника останавливаться, чтобы прислушаться к звукам и шорохам ночи. Путь был неблизкий.

Направиться по лесосеке, вдоль которой лежала тропинка, “Тяни за ногу” опасался, вследствие чего ему пришлось пробираться лесною чащей, неподалеку от опушки.

Начинавшийся от реки хвойный лес сделался редким, сменяясь постепенно березами и ольховыми кустами. Чаще стали встречаться поросшие ивой и мхом, кочками с брусничным листом покрытые полянки. Нога все больше и больше ощущала под собою привычную, приятную холодную влагу. Деревья становились все ниже, кустарник — мельче и гуще. Сухие места попадались реже. Начиналось болото, покрытое низкорослым ивняком и раkitой...

“А вдруг сон мой был в руку,— начал уже мечтать “Тяни за ногу”.— Вдруг не Водянику, а мне достанется гладкая женка, которая ржет, как кобылица, и не нагоняет тоски, как наши русалки?!”

Он подошел уже к самой трясине. Не успевшая еще покрыться летнею зеленью, зеркально черная, металлическим блеском отливавшая поверхность болотного озера была пуста. Ни одного бесенка не было видно на торчащих кое-где кочках. Не было также слышно ни пенья болотниц, ни возни и писка в окрестных кустах.

“Что за загадка такая? Никто меня не встречает. Никто не зовет. Сон, видно, не в руку был”,— подумал утопленник.

Вся болотная нежить столпилась в то время на дне обширного, сверху полузаросшего озера. Лунный свет проникал на темное дно и, мешаясь с фосфорическим светом покрывающих стены просторного покоя гнилых костей и слизняков, слабо озарял взволнованные изумленные лица обитателей трясины. Причина волнения была вполне уважительной.

Любимая жена Болотника, толстобедрая Марыська, неожиданно для всех родила вместо бесенка — человеческого, женского пола, младенца.

— Ума, право, не приложу, как могло это случиться! Никуда с болота не отлучалась... Не иначе как от сглазу! — слабым голосом, но с большою уверенностью говорила Марыська окружающим ее подругам.

— Гм,— недоверчиво произнес мрачный Болотник.

— Кто же бы это мог тебя сглазить, милая? — медовым соблезнующим голосом спросила Марыську одна из ее старших подруг, “Кунья Душа”, ходившая до нее одно время в “любимых женах”.

— Надо быть, тот самый стрелок, которого я прошлое лето утопила. Пока я его на дно тянула, он меня руками обхватил, да так пронзительно мне в глаза посмотрел, аж у меня в нутре екнуло что-то. Ну, вот с тех пор, кубыт, и понесла...

— Гм,— снова крикнул Болотник.

— Никуда я с болота не отлучалась,— обиженно, жалобным голосом протянула Марыська.

— А может, тебя кто здесь навещал? — уже почти угрожающим голосом спросил трясинный хозяин.

— Что ты, толстое твое брюхо, надумал? Ежели я кого заманиваю, того и топлю. А чтобы с кем-нибудь опричь тебя — ни в жисть!..

В это мгновение маленький бесенок, погбежав к Болотнику, шепнул ему на ухо:

— Там чужой кто-то, как будто не из живых, по берегу слоняется, в окна заглядывает и, кажись, лезть сюда хочет...

— Притащить его сюда! — скомандовал Трясинник.

— Иду, батюшка, сам иду! — слышалось в ответ, и на пороге подводного покоя появился низко кланяющийся Анкудиныч.

Завидев издали приближающегося к озеру Лешего, утопленник решил из двух зол выбрать то, что казалось ему меньшим, и смело полез в трясину.

— Чего наготь?! — загремел ему навстречу гневный вопрос трясинного владыки.

— Навестить вас пришел, ваше здоровье и проздравить,— смущенно отвечал несколько оробевший “Тяни за ногу”.

— Проздравить?! С чем проздравить?! — зарычал уже не своим голосом Болотник.

— С благополучием вашим, ваше здоровье,— испуганно заикался Анкудиныч.

— Да ты кто такой? — зловеще проревела около самого его лица огромная лягушечья пасть с торчащими оттуда острыми, как у змеи, зубами.

— Утопленники мы. От Водяного с Ярыни, сродственника вашего, к вашей милости присланы... проздравить, — успев разглядеть, в чем дело, уже более храбрым голосом вымолвил “Тяни за ногу” и, немного погодя, даже прибавил: — И велено мне, кроме того, сказать, что ежели вам нужен в помочь кто-нибудь за болотницами присматривать, то я могу и остаться...

Болотник не был в ссоре с Водяным и действительно состоял с ним даже, как упомянул Анкудиныч, в отдаленном родстве. Много лет тому назад владения обоих соприкасались, и они когда-то изредка встречались, но потом болота стали зарастать лесом, топи замшевели, уменьшились в объеме и значительно отступили от реки, тоже несколько раз менявшей русло. Родственники перестали видаться, но особой злобы друг ко другу не сохранили. Поэтому Болотник, правда, был изумлен, но не рассержен, узнав, что Анкудиныч прислан от Водяного.

— Как же хозяин твой узнал, что у меня тут случилось? — уже удивленным голосом спросил он утопленника.

— Во сне видели. Как это проснулись перед восходом луны, так мне и говорят: иди, Анкудиныч, к сроднику моему на болото и проздравь, а почему и как, этого они мне не объяснили.

— Ишь ты, како дошлый, — произнесла, не без уважения, Кунья Душа.

Осмотрев еще раз новорожденную и убедившись, что между пальцами ее ножонок вовсе нет перепонки, ногти же на них совсем иного, чем следует, вида, Болотник, неожиданно для себя, пришел вдруг к решению.

— Помощников мне не нужно. Это я всем и всегда говорю. За девками моими я и сам присмотрю. Пускай Водяник за своими глядит... А как он меня не забыл, то отнеси ему от меня в подарок вот эту жирную маленькую свинку.

Он сунул младенца в руки утопленнику.

— Теперь можешь идти. Да, смотри, поторапливайся, а то до рассвета уже недолго осталось. Проводите его,— приказал в заключение Трясинник бесенятам.

И пришлось Анкудинычу, с младенцем на руках, вылезти из трясины и шагать обратно к реке.

Но еще на полудороге повстречал его Леший, сразу узнавший чернобородого утопленника.

— Ага, старый знакомый! Ты опять здесь?! Ну, не обесчудь, коли я исполню, что обещал, мразь ты этакая!

“Тяни за ногу” бросил на землю младенца и попробовал убежать. Но Леший быстро его догнал и ударами своей страшной глубины буквально вбил в мох обезображенные останки того, кто при жизни своей звался иногда Петром, иногда — Анкудинычем, имел пару лошадей, жену, пахал землю, а по воскресным и праздничным дням ходил в кабак.

— Ишь, мразь вонючая,— произнес Лесовик, закончив свой труд. Затем он плюнул, вытер глубину об мох и пошел прочь.

Писк брошенного утопленником ребенка привлек его внимание и заставил вернуться.

Лесной Хозяин нагнулся, поднял новорожденную, обнюхал ее своим козлиным носом и, внимательно осмотрев со всех сторон, понес затем младенца, широко шагая, прочь от болота.

Остановившись на одной из полян, Лесовик бережно положил свою ношу под раскидистые лапы старой высокой ели, неподалеку от летней проезжей дороги.

— Ты когда-то хотела иметь ребенка,— сказал он этой ели,— вот тебе. Бери и отдай в верные руки.

Всколыхнулась, задрожала, кивнула вершиной старая ель и нижними ветвями своими прикрыла отданную ей на попечение жизнь.

Леший ушел. Было уже совсем светло. Все выше и выше в небе диск солнца.

Проковыляла зачем-то по лесной дороге возвращавшаяся откуда-то в Зарецкое Степка. Плотно прикрыло дерево ветвями своими спящее дитя, словно зная, что нельзя его показывать ведьме. Прошел старый охотник, но и ему не показала ребенка развесистая ель.



Но вот пробежали девочки, собиравшие ландыши. Елка посмотрела на них и одною из колючих веток коснулась младенца.

Тот жалобно запищал.

— Анютка, что это?.. Плачет никак кто-то в кустах?! Уж не нечисть ли какая?

— Ну вот, нечисть! В Божий-то день!

И Анютка подошла к ели, откуда слышался писк.

— Пизка, да это младенец!

— Что же мы с ним будем делать?

— Как это?! Заберем! Грех человеческую гушу на гибель в лесу покинуть!

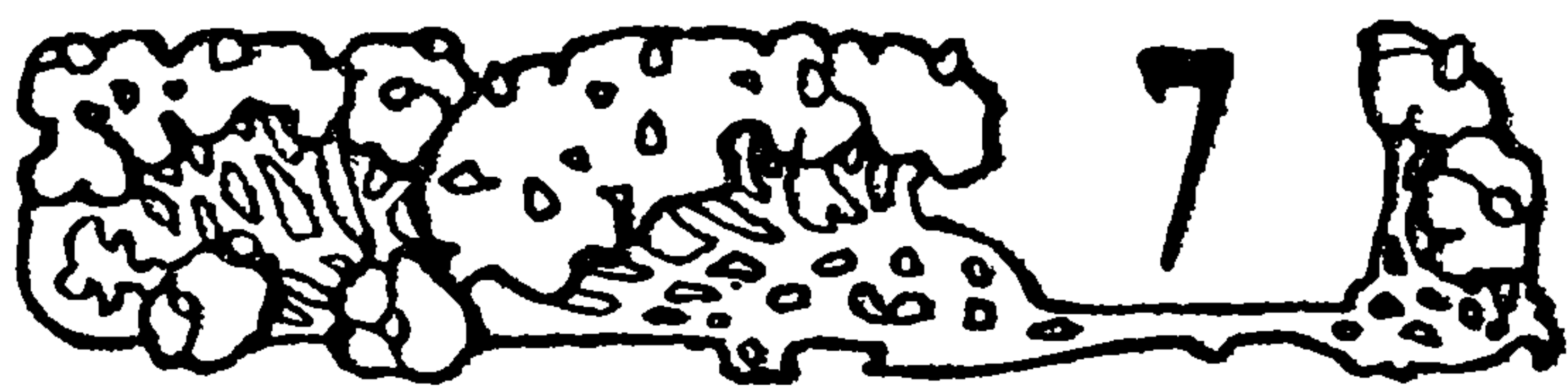
— А может, и не человеческую. Глянь-ка, у дитяти на ноге словно лягушка сидит.

Действительно, на бедре у новорожденной девочки было темно-красное пятно, формой своей напоминавшее лягушку.

— Эка важность! Пятна родимого не видала,— сказала первая девочка.— Возьми-ка к себе мои цветы.

А сама, сняв с головы платок, завернула в него голенького младенца и пошла вместе с ним, в сопровождении подруги, по направлению к деревне.

Благосклонно кивнула им вслеп старая ель.



Каждый год, с утра Аграфенина дня, Пеший, прозванный за цвет и форму своей бороды Зеленым Козлом, всячески старался заслужить расположение своей Пешачихи и усыпить ее бдительность. Та всегда ревниво относилась к купальским похождениям своего мужа и нападениям его на собирающих вещи и целеб-травы деревенских девок и баб.

Несколько раз уже и раньше у Зеленого Козла бывали неприятные объяснения с нею по этому поводу. Пешачиха сама знала, что безобразна, и ревновала не без причины.

Из-за украшавших ее темное лицо отметин обитатели лесных чащ прозвали жену Зеленого Козла "Бородавкой". Жесткие, конскую грибу напоминавшие, никогда не расчесываемые волосы вечно были перепачканы смолою и пристаившими к ним сухою хвоею и мхом. Серые, глинные, тощие груди висели и болтались, как у собаки. Местами сбившаяся в войлок, тиною пахнувшая, грязная шерсть тоже делала ее не слишком привлекательной, а гурной сварливый характер окончательно отталкивал от Бородавки всех жителей леса, включая и собственного мужа, который, сказать по совести, даже боялся ее. Один лишь медведь пользовался расположением Лешачихи, между прочим за то, что всюду сопровождал, где можно, ее супруга и доносил потом Бородавке о каждом проступке и промахе Лешего.

Злые языки говорили, впрочем, что медведь этот утешает Лешачиху, когда та особенно грустит и волнуется по случаю длительного отсутствия мужа.

Сделанная из сучьев и хвороста, углубленная в землю и вымазанная снаружи глиной берлога лесовиков была устлана внутри сухим мхом, травою и перьями, но Бородавка редко меняла подстилку и мало заботилась об опрятности. Ссылаясь на духоту и гурной воздух в берлоге, Зеленый Козел в летнее время зачастую там не ночевал.

Лешенят у них не было, чем Бородавка весьма была довольна, всецело обвиняя в этом супруга. А тот предпочитал проводить ночное время вне дома, играя при свете луны на дне оврага, служившего границей его владениям, в кости с соседним лешим, огромным детиною, очень гордившимся густою и рыжей своею бородою. Собственно говоря, бросали они не кости, а обточенные водою, испещренные черными пятнами камушки. Играли лешие очень азартно, проигрывая один другому целые стада зайцев, лисиц, белок и даже мышей, перегоняемых потом из одного участка леса в другой, от несчастливца к счастливицу.

Перед днем Аграфены Купальницы Зеленый Козел совсем забыл про игру, думая лишь о том, как обмануть бдительность супруги и уйти незаметно в бор, где, недалеко

от реки, была Круглая Поляна, густо заросшая папоротниками. На ту поляну посулил некогда Лешему привести находящихся под его присмотром подводных красавиц Ярыни чернобородый утопленник Анкудиныч. Хотя этот Анкудиныч обманул доверие Лешего, русалок к нему в ближайшее лето не привел и был за то следующею весною растоптан Зеленым Козлом, но надежда встретить на Круглой Поляне донных красавиц не покидала Повелителя Леса, и он почему-то главным образом там караулил их в ночь на Ивана Купалу.

Осуществить план свой — отгулять как следует Купальскую или Ярилину ночь и погоняться за русалками — мохнатому хозяину дебрей было не так-то легко. Бурый Мишка получил, вероятно, строгий наказ от Лешачихи не отходить ни на шаг от ее супруга, и, куда бы Зеленый Козел ни пошел, всюду он замечал зорким глазом своим неподалеку, среди гребесных стволов или в кустах, осторожно пробиравшегося и нюхавшего землю медведя. Однако Лесовик недаром помнил гребные времена и накопил в себе всю мудрость леса. Он нагул наконец, как обмануть не отстававшее от него животное.

В старой дуплистой липе, находившейся в отдаленной от реки части леса, издавна водились во множестве пчелы. К ним-то и направил перед сумерками свой путь Зеленый Козел. Подойдя к дереву, он вырос остроконечной своей головою до самого верхнего дупла, около которого кружились, слабо жужжа, собирательницы меда, и стал тихо разговаривать с ними, предостерегая от медведя, который ходит неподалеку.

Услышав это предостережение, безрассудно храбрые пчелы вместо того, чтобы притаиться и примолкнуть, подняли боевой шум, который Бурый Мишка не преминул услышать мохнатым чутким ухом своим. Соблазн полакомиться медом был слишком велик для того, чтобы не задержаться у дерева и не попробовать проникнуть лапой в дупло. Запуская в морщинистую кору старой липы цепкие черные когти, медведь легко и быстро добрался до нижнего дупла, отбиваясь от бесстрашно его жаливших пчел. Дупло это,

хотя и пропускало не без труда Мишкину лапу, но та не доставала до сот, прилепленных значительно выше. Медведь полез кверху. Следующее дупло было слишком узко, и, для того чтобы достать мед, его надо было расширить. Жалимый немилосердно пчелами, путавшимися в густой длинной шерсти, ворча и отмахиваясь, принялся Бурый Мишка за дело. Звенящим воинственным роем вились вокруг него разозленные летуны.

Зеленый Козел был тем временем уже далеко.

Перешагнув через ручеек, тянувшийся из лесного болота по направлению к реке, торопливой походкой заколыхался он вровень с вершинами леса. То здесь, то там мелькала его рогатая остроконечная голова с дыбом торчащими, на древесный мох похожими волосами. Бесшумно шагали через молодняк длинные, на еловые стволы похожие ноги. Завидев Лешего, приподнялся по привычке перед ним на задние лапки боязливый заяц в кустах. Но Зеленый Козел перешагнул через него, не обращая внимания на почтительного зверька. Он спешил к Круглой Поляне.



Вечером накануне Ивана Купалы живший в селе Заречком молодой парнишка, которого звали Сеня Волошкевич, заявил дома, что желает знать свое будущее, а потому пойдет собирать двенадцать трав, каковые следует положить перед сном под подушку.

Когда зашло солнце, отправился Сеня, но не в поле, а через ветхий деревянный мост, на ту сторону реки, где за лугами чернел высокий лес, отчасти ему знакомый, так как уже несколько лет подряд он ходил туда за черникой, земляникой и малиной, а по осеням — за грибами.

Сеня много раз слышал о чудесных свойствах цветов папоротника, распускающихся как раз в эту ночь. Он решил

неприменно убидеть, как расцветает это волшебное растение, а, если удастся, то и овладеть его огненным цветом. Набрал на росистом лугу двенадцать трав и положив их за пазуху, окаймленной кустами дорогой добрался он до леса. Там было тихо. Только вершины деревьев чуть-чуть колыхались, словно передавая друг другу шепотом какую-то тайну.

Сонная птичка выпорхнула испуганно из мокрых кустов, сквозь которые пробирался Сеня. Что-то вроде ежа или мыши пробежало почти у самых его ног, заставив Сеню вздрогнуть от неожиданности. Далеко-далеко, вероятно у самого Черного Обрага, не то Леший, не то филин протяжно и угрожающе кричал: "У-у-у-у!" Но Сеня, несмотря на замирание сердца, опираясь на глинную палку, решительно шел по чуть светившейся в темноте, извиравшейся между деревьями и кустами тропинке, по направлению к Круглой Поляне...

Он шел туда не один. Деревенские знахарки, Аниска и Праскуха, независимо одна от другой и даже без уговора, тоже отправились в лес. Старая Праскуха интересовалась, впрочем, больше корнями и травами, которые надо было собирать как для целебных, так и для волшебных надобностей. Аниска же, пренебрегая упорным трудом зелейщицы, нарвала лишь и завязала в передник двенадцать цветов, с целью положить их себе под подушку и убидеть с их помощью будущее. Главным образом молодой ведунье хотелось узнать, обманет или не обманет ее Некто, посещавший Аниску не то во сне, не то наяву в ночной темноте и проникавший сквозь печную трубу в виде огненного змея. Этот некто обещал пригожей колдунье счастье и сладкое, полное всякого довольства существование. Аниске хотелось уехать, разбогатеть, прочь из деревни, где ее гразнили хвостатой ведьмой (хвоста же у нее не было), упрекали за выдирание коров и возводили на нее обидные небылицы. Больше всего возмущало молодую чародейку приписанное ей рождение на свет бледно-зеленого болотного бесенка, убитого Лешим, выкинутого из омута водяным и найденного в прибрежных тростниках деревенскими ребятами. Возможно,

что в последнем обидном слухе не обошлось без влияния враждовавшей с Анискою другой ведьмы — Степаниды... Молодая, чернобровая, никого и ничего не боявшаяся (за исключением той же Степаниды) Аниска, уповая на некоторую близость свою с нечистой силой, твердо решила овладеть цветком папоротника и, как только смерклось, загворками проскользнула на дорогу, ведущую в лес.

Опираясь на клюку, еще раньше ее вышла туда же Праскуха.

Старая зелейщица была уже на прилегающих к лесу полях. Она то и дело останавливалась на пути, смотрела по сторонам и нагибалась для выкапывания кореньев и срывания трав, помещаемых в объемистый мешок и плетеную кошелку... Так как Праскуха свернула с дороги и ушла, собирая зелья, далеко в поле, то спешившая попасть в лес Аниска обогнала ее, даже не заметив снаружи.

Лес был уже полон празднично настроенной нежитью и нечистью. Вся она, следуя установившемуся уже много тысячелетий обычаю, доходявшему еще до тех времен, когда даже кусты и деревья гуляли на Ярилину ночь, собиралась обыкновенно посмотреть, не расцветет ли где огненно-яркой звездой волшебный папоротник, приманить, если удастся, на это место живого человека, сорвать его руками чудесный цветок и приобрести таким путем могущественную власть над тайными силами природы. Никто не помнит, чтобы столь трудное дело кому-либо удавалось в этих местах. Но особенно русалки из года в год шли Ярилиной ночью в лес, где шептались в шуме вершин и шелесте листьев, обнимая друг друга, души деревьев. Порой водяницам чувствовалось что-то родственное в этом шепоте. Они останавливались, держась за руки, вглядывались в словно прикованные к определенному месту неясные очертания воздушных девичьих тел, колеблющихся вместе с древесными вершинами при дыхании ветра. Старшие русалки передавали сестрам, что дровяницы собираются иногда в пору весеннего цветения ветвей на лесные поляны и водят там с венками на головах,

просвечивая и серебрясь в лунном сиянии, безмолвно-торжественные хороводы.

Как известно, всякая нежить может быть видима только тому из простых смертных, кому она сама захочет себя показать. Исключение составляют люди, от природы располагающие способностью видеть явления потустороннего мира, или ведуны, приобретающие эту способность долгими упражнениями и страшными обетами.

Поэтому Аниска, не слишком еще искусившаяся в бесовской науке, хотя и проходила в лесу, совсем близко от русалок и древяниц, но те, не чувствуя расположения к ведьме, не пожелали ей показаться.

Дойдя до Круглой Поляны, она выбрала равное место среди зарослей папоротника, вынула из взятого с собою мешка острый нож, очертила им круг и села, в ожидании, посередине...

Праскуха шла медленнее, прислушиваясь и приглядываясь по сторонам. Несколько раз ей казалось, что деревья шепчут ей вслеп: "Глянь-ка на старуху. Вот если бы ее да в корнях нам закопать!"

— Из вас только спервоначала досок мне натесать! — огрызнулась знахарка и поплелась дальше. Кто-то вроде оборотня или лесной безыменной души, клубком, наподобие ежа, подкатился ей под ноги. Но Праскуха успела ударить наотмашь этот клубок клюкою своею, быстро перехваченной в левую руку.

— Аминь, рассыпаться! — гневно прошептала она, и клубок пропал, словно провалился сквозь землю.

Праскуха пошла дальше, недалеко от опушки, покачивая головою и сама с собой разговаривая:

— Плакун-трава у меня есть; еще с вечера на лугу выкопала. С нею можно и всякую другую рвать. Царь-траву тоже выкопала... Жаль только, что росток больно мал! Все же с ней не страшно никакое наваждение бесовское... Сон-травы нарвала. До сих пор пальцы от нее слипаются. Теперь бы одолеть беленьких цветочков да прострел-травы набрать, да за ними на болото надо идти... Не по пути будет... Разве после полуночи, как на папоротку посмотрю, туда пройти?.. Далеконько оно... А чего еще

испуганный визг, и все смолкло. Шум ветра, хлопанье и треск сучьев промчались мимо и замерли вдалеке. Это был Пеший, который напал на русалок и побежал за ними вдогонку.

Сеня, хотя и не видел его, грозил от страха всем телом. Аниска же, хотя тоже испугалась, но, заметив пролетавшего там же огромного филина, решила, что птица эта — главная причина шума и треска.

Огонек, порхавший над поляной, затрепетал вдруг и скрылся, словно его кто внезапно схватил незримою темною лапой. Лишь две-три крохотных искорки, слабо мигая синим огнем, упали в кустах неподалеку от Сени. Последний кинулся к ним и успел схватить одну левой рукою, но на пальце его оказалась, вместо искры, студенистая, мокрая капелька, которую он брезгливо отер о траву.

Поднимаясь на ноги, Сеня почувствовал, что у него сильно кружится голова. Звезды на небе словно заколыхались, а деревья стали принимать угрожающе нахмуренный вид. Желая отогнать наваждение, Сеня бессознательно привычным движеньем рук протер оба глаза. В этот же миг земля под ним стала казаться странно прозрачной. Он разглядел, как переплетались в ней, борясь, словно змеи, толстые и тонкие корни деревьев; среди этих корней виднелись глубоко в песке почти уже истлевшие кости животных. Еще глубже среди слоев мела и глины просачивались струйки воды... Сеня оглянулся по сторонам.

В ветвях соседнего, важно нагубшегося, граба мелькнуло испуганно бледное лицо дровяницы. Из-за молодого губа показалось серебристо-млечное тело русалки. Увенчанное купавками лицо последней показалось отроку странно знакомым. Он сделал шаг по направлению к ней.

Русалка не исчезала и с грустной улыбкой смотрела на Сеню, словно желая его о чем-то спросить.

Сеня не хотел сперва верить, что он видит не обыкновенное живое человеческое тело какой-либо сельской красавицы, но самую настоящую нежить.

— Кто ты? — дрогнувшим, прерывающимся голосом спросил Сеня.

— Да я,— был тихий, на лепет листьев похожий ответ.

— Да кто ты такая?

— Да я же — Горпина.

— Горпина?! Та самая, которая утопилась в Ярыни?

— Ну да! — ласковым шелестящим шепотом отвечал призрак ставшей русалкою девушки.

— Чего ж тебе от меня надо? Если ты меня щекотать хочешь, то лучше не подходи! Видишь, палка какая у меня?! Я ведь сильный и так ответить могу, что своих потом не узнаешь... Так что ты меня лучше не трогай! — предупредил юноша.

— Зачем мне вас трогать, Сеничка?.. Я и подходить-то к вам близко не смею, потому что не одетая я. Да и зла я ни к кому не имею... Я — несчастная,— грустно говорила утопленница.

— А что же ты здесь в лесу делаешь?

— А слоняюсь туда-сюда. Потому — нет покоя моей душе с тех пор, как я в воду попала. Жду, чтобы повстречался добрый человек, который бы за меня помолился...

— Это можно. И сам помолюсь, и в поминальную книжку отцу Николаю впишу. Он и знать не будет, кто вписал и кого поминает...

— Спасибо... А вы, Сеничка, отсюда лучше уходите по добру да поздорову. Тут неподалеку женщина ходит для вас вредная, через которую пропасть можете... Да и нечистая сила вредить в эту ночь любит... Так помните же, Сеничка, поставьте за меня свечку или панихиду отслужите. Мне тогда, может, и полегчает... Ах!..

Сеня увидел, как из-за другого дерева показался внезапно имеющий видимость живого человека безобразный утопленник.

Растопырив отливавшие при луне синевой руки свои, утопленник этот приближался к отроку и к Горпине, словно не зная, кого из двух ему ухватить. Обрамленное мокрыми бесцветно-белобрысыми волосами лицо с неподвижной

отвратительной улыбкою толстых, полураскрытых губ и выпученными оловянными глазами медленно приближалось к обоим.

Сеня замер от ужаса. Он увидал, как утопленник (это был заменивший чернобородого Анкудиныча в должности надсмотрщика за русалками другой Петра — Белобрысый) сделал наконец свой выбор и схватил за плечи Горпину.

— Вот она, тихоня-то наша! К живым людям льнет! На нашего брата и смотреть не желает!.. Молиться за себя просит!.. Не толкайся, стерва!..

Но Горпина, ловко увернувшись из рук облапившего ее Белобрысого, легко и быстро скрылась в кустах.

Не дожидаясь, когда утопленник примется за него, Сеня бросился в противоположную сторону.

Но Белобрысый не стал гнаться ни за кем. Почесывая затылок, он постоял недолго на месте, а затем медленно двинулся по тому направлению, откуда доносилась по временам заунывная песня русалок...

Юркнувший в кусты Сеня вновь очутился на Круглой Поляне. Посередине ее кружились в медленной пляске какие-то неясные очертания. Но не успел испуганный юноша успокоиться и к ним приглядеться, как над самой его головою раздался громкий, мороз по коже вызывающий хохот.

Сеня вздрогнул. В голове у него пронеслась мысль, что гораздо лучше будет уйти, как советовала Горпина, пообру-поздорову домой. Сообразив направление, поспешно пошел он сквозь заросли орешника, по приведшей его на поляну тропинке. Но тут опять кто-то захохотал нечеловеческим смехом, затрещал где-то совсем рядом сучьями и захлопал в ладоши.

Волошкевич испуганно вскрикнул и, забыв все на свете, кинулся бежать, не разбирая дороги. Какая-то лесная мелкая нечисть, прикинувшись корнем, сунулась ему под ноги. Сеня споткнулся и, падая, ударился головою о пень. Не один, а несколько огненно-красных цветов вспыхнули внезапно внутренним светом в потемневших глазах потерявшего сознание Сени.

Надеясь на выкопанные с корнем стебли царь-травы, прогонявшей все силы бесовские, старая Праскуха шла потихоньку к Круглой Поляне, когда над головою ее пронесся, качая вершины, вихрь, а по лесу слышались хохот и треск.

— Ишь, развозились, окаянные! Нет им стыда в Иванову ночь! — недовольно пробормотала старуха и пошла дальше. Однако треск и шум в кустах повторились и двигались теперь прямо на нее. Старуха насторожилась и стала за дерево, держа наготове, на всякий случай, клюку.

В этот миг раздалась невдалеке шум падения какого-то тела и человеческий крик. Старуха опустила клюку.

— Никак хлопец кричал, — сказала она себе под нос и, подождавши немного, вышла из-за дерева.

Все кругом было тихо. Ни шороха, ни человеческих голосов. Праскуха осторожно сделала несколько шагов по тропинке... Немного в стороне, в кустах, слышался стон. После некоторой нерешительности старуха двинулась туда и частью нащупала клюкой, частью разглядела в полутьме человеческое тело. Выглянувшая из-за туч луна помогла ей рассмотреть молодое лицо, залитое кровью, которая шла из носу и оцарапанной щеки.

Видя, что мальчик жив, старуха подобрала с земли его упавший картуз, зачерпнула им в находящейся невдалеке луже болотной воды и вылила ему на лицо.

Сеня Волошкевич зашевелился и стал приходить понемногу в сознание. В памяти его перемешались все видения и страхи, испытанные им в течение ночи. Склонившаяся над ним старуха казалась ему их продолжением. Сеня вытянул сперва, как бы защищаясь, руки, но видя, что Праскуха не собирается на него нападать, слегка успокоился и попытался встать на ноги.

— Ну вот и ожил! А я думала, что ты госмерти зашибся, — зашамкала знахарка. — Да ты меня не бойся. Я зла никому не сделаю. Праскуху здесь все знают. Да и тебя, кажись, я на селе видела. Так ведь?

— Да. Я — Сеня Волошкевич.

— Ага. Дьяковой жены племянник?.. Так. Ну, а чего же ты испугался?

— Я ходил посмотреть, как папоротник цветет...

— Ну и что же? Видел?

— Видел... Он, как огненный цветок или бабочка, по поляне летал. Совсем уж близко от меня был. Вот-вот, думал, схвачу... Ан не тут-то было! Захохотало вдруг кругом; шум поднялся; словно в ладоши кто хлопал... Ветер поднялся, и пропал, рассыпался мелкими искрами голубой огонек... А тут еще рожа страшная мне почудилась и всякое другое казаться стало... Опять шум и хохот начались. Я испугался и пустился бежать... По дороге упал и переносицу себе расшиб.

— Не беда. До свадьбы заживет,— уверенно сказала старуха.— Встань. Нечего нам тут больше делать. Унесла твой цветок нездешняя сила...

Знахарка хотя и обладала выкопанной ею царь-травой, но не особенно полагалась на ее помощь и защиту при столкновении с нечистью, а так как в лесу вновь слышался шум, то она и поспешила вместе с мальчиком на опушку. Кровотечение из носу она Сене заговорила, прошептав над самым его лицом что-то среднее между молитвою и заклинанием.

— Можешь теперь сам дойти до теткина дома? — спросила Праскуха, когда они вышли на опушку.

— Могу,— ответил Сеня.

— Ну, так иди. Да смотри, не рассказывай лучше ни про то, что видел, ни про то, что меня повстречал... К тому же папоротника цвет не летает и горит красным огнем... А если, ты говоришь, летал и синим светился, то был перед тобою, надо думать, цвет перелет-травы... Кабы ты им овладел, то всю бы жизнь счастлив был... Потри все-таки той рукой, что за синюю искорку хватался, глаза. Может быть, что-нибудь когда и увидишь.

— Да я уже руку вытер.

— Ничего, все-таки потри! А теперь — с Богом, домой! Мне-то еще надо на болото пробраться, травок хоть пог

Но во вздохе его приплюснутый чуткий нос Лешачихи уловил запах меда. Внимательнее присмотревшись к Мишке, Бородавка догадалась, в чем дело.

— Дохни-ка на меня,— приказала лохматая красавица почти шипящим от подавленной ярости голосом...

Медведь поднял распухший нос и виновато, глядя блестящими темными глазками, послушно дохнул обычным своим горячим смрадным дыханием, к которому, однако, явственно примешивалось благоухание меда.

— А это что?! А это?! — спрашивала Лешачиха, вытаскивая у своего любимца из шерсти на морге запутавшихся там и раздавленных пчел.

“Пощади”, — казалось, хотел вымолвить виновато пыхтевший медведь.

Но крепкие, как железо, лапы Бородавки в тот же миг больно стиснули ему шею.

Мишка, хорошо зная, что ему не вырваться, покорно прижался к земле, у запачканных, первоначальным цветом своим ольховую кору напоминающих, хозяйкиных ног.

Отведя несколько души в побоях, Лешачиха выпустила из рук шею медведя.

— Где ж он теперь? — слышался вновь ее вопрос.

И опять Мишка виновато понурил морду, из чего госпожа заключила, что хитрому супругу ее удалось скрыться от своего мохнатого соглядата.

В голове гневной Лешачихи мгновенно созрело решение.

— Идем на болото! — резким, сердитым голосом приказала она.

Она так быстро помчалась, ловко мелькая меж валежника, пней, кустов и деревьев, что Бурый Мишка не раз принужден был переходить с рыси на скок, чтобы поспеть за своей госпожой.

По мере приближения к болоту почва становилась все влажнее, сосны все ниже, а затем и вовсе заменились ивняком и олешником; появились кочки; из-под ног стала брызгать, орошая шерсть, темная ржавчина...

Ревнивым оком осмотрела Лешачиха тот участок болота, который примыкал к их владениям. Супруга ее не

видно ни в одном из укромных местечек, где можно было бы спрятаться. Из трясинного пространства, по которому нельзя было идти, не проваливаясь, даже медведю, доносились смех и пенье болотниц, сопровождаемые визгом и рукоплесканиями бесов.

“А что, если злодей мой забежал с другой стороны и оттуда глазет на этих голых бесстыдниц?” — мелькнуло в голове у ревнивой Лешачихи, и она пустилась бежать вправо, вдоль края трясины, у которой сходились владения нескольких лесных мохнатых хозяев.

Колыхая верхушки кустов и высокой болотной травы, стремительно мчалась она, внимательно глядя в то же время сама и приказывая смотреть в оба медведю.

Однако мало-помалу Лешачиха сообразила, что отыскать супруга ей удастся лишь при более тщательном осмотре окраин трясины.

Она замедлила шаг, жадно ловя в широко раздутые ноздри безобразного лица запаха леса, а порой даже, как лисица, припадая к траве, и стала не так уже торопливо обегать заросли кустов, кочки и пни, где, по ее мнению, мог, притаившись, караулить болотниц Лесовик.

Бородавка была уже на той стороне окруженного топью озера, в чужой и незнакомой ей части леса. Визг и смех из трясин доносились все громче и явственней. Медведь неуверенно бежал в качестве разведчика впереди. Вот он остановился и, полуобернувшись, поглядел сперва на хозяйку, потом на кусты ивняка, мысом заходившие в трясины. Там, несомненно, было нечто, на что следовало обратить внимание. Медведь, с приподнятою нерешительно передней лапой, стоял неподвижно. С бьющимся сердцем стала красться Лешачиха к этим кустам, то и дело останавливаясь, осторожно раздвигая ветви, вся обратившись в зренье и слух.

Шагов через тридцать Бородавка внезапно замерла, боясь пошевелиться. Впереди кто-то протяжно, чуть-чуть сопя носом, дышал. Зоркий глаз Лешачихи разглядел наконец растянувшееся меж мшистых кочек длинное, темное, мохнатое тело с приподнятою несколько рогатою головою... Сомнений быть не могло. Зеленый Козел, забыв о

супружеском долге, предосудительно проводил время, любясь на болотных красавиц...

Невзвидев света и не помня себя от гнева и жажды мести, одним внезапным огромным скачком очутилась оскорбленная супруга на волосатой спине у лежащего и первым долгом ткнула его мордой в болотную жидкую грязь. Лежащий под нею Леший забарахтался и, сделав усилие, приподнялся наконец на четвереньки, успев при этом не без труда вытащить из болота свою голову. Тут только заметила Бородавка, что рога на этой голове как будто другие, чем у Зеленого Козла, а когда придавленный ею противник полуобернул свое облепленное грязью и тиной испуганно-злое лицо, она поняла, что ошиблась и наскочила на кого-то другого. Лицо было не козлиного вида, как у ее мужа, но скорее напоминало баранье, борода же не серо-зеленого цвета, а черно-бурая, с просесью...

С визгом стыда и досады выпустила Лешачиха рога и шею рычавшего и щелкавшего под нею зубами незнакомца и ударилась бежать. Понявший, в чем дело, медведь быстро присоединился к ней и скакал впереди, как бы показывая дорогу. С ревом обиды и мести гнался за ними, с перепачканною, страшною мордой, разъяренный Лесовик. От грозного вопля его осыпалась с сосен хвоя, а березы с ольхами грожали не хуже осины.

Ни спасавшаяся бегством, ни гнавшийся за нею не уступали друг другу в быстроте. Несмотря на долгое сравнительно время, расстояние между бегущими почти не сокращалось. Они миновали владения Бараньей Морды (так звали обиженного черно-буробородого) и мчались уже по лесу, принадлежащему соседу Лешачихина мужа — Рыжей Бороде. Тот как раз в это время совершал обычный обход свой в окрестностях Черного Обрага. Лешачиха с медведем, спасаясь от своего преследователя, добрались наконец до густого орешника, покрывавшего окраины этого обрага, и кинулись там в разные стороны. По свойственной женщинам хитрости, Бородавка притаилась неподалеку, а Баранья Морда продолжал гнаться за ломавшим кусты и сучья косолапым топтыгой. Мишка проскользнул неподалеку от удивленного, застывшего в ожидании с дубиной в руках

рыжебородого, а увлекшийся погоней Баранья Морга угодил как раз на последнего и с разбегу чуть было не сбил его с ног. Рыжая Борода даже крикнул от негодования, увидев, что сосед, в нарушение всех правил-обычаев, охотится у него, как у себя дома.

— Стой! — рявкнул он гневно, свистя над головою глубиной.— Ты зачем моих медведей любишь?! Проигрался, верно, кому-нибудь, да из чужого леса зверем платить хочешь?!

— Очень мне нужно твое зверье! За женой твоей гнался! — последовал ответ.

— За женой?!. Никогда я на медведихе женат не был! Нечего врать-то! Пошел вон из моего леса!

— А, так ты за нее, гадину, еще заступаешься! — заревел Баранья Морга и, выдернув из земли довольно большую рябину, потрянул ею в бешенстве над головою рыжебородого, так что запорошил ему землею глаза.

Зарывав от злобы, кинулся Рыжая Борода на противника. Дубина застучала о рябину, а то и другое по головам и плечам расходящихся лесовиков. Баранья Морга поносил в то же время жену рыжебородого, а последний ругал врага своего лгуном и грабителем. Поломав оружие, лешие вцепились друг в друга лапами и в иступленной схватке катались по земле, громко вопя и больно кусая друг друга...

Лешачиха тем временем была уже возле своего пустого жилища. Зеленый Козел туда, видимо, не возвращался. Уставший несколько от долгого бега медведь лежал, высунув язык, недалеко от хозяйской берлоги и умильным взором маленьких глаз глядел на Бородавку.

Однако та не пожелала вознаграждать Бурого Мишку за его преданность и, оправившись немного от перенесенного смущения, решила всю свою досаду выместить на первоначальном виновнике всех испытанных ею волнений, страха и поспешного бегства. Поплатиться за все должен был только один Зеленый Козел.

— Мишка, идем! — воскликнула Лешачиха, подымаясь с земли после недолгого отдыха.— Если не у болота, так где-нибудь возле реки отыщем негодника. Узнает он, как покидать верных и преданных жен!

Без особого, впрочем, воодушевления медведь тоже стал на ноги и послушно отправился за своей госпожой на поиски загулявшего хозяина.

Углубившись в лес, они пошли сначала по направлению к Круглой Поляне, куда, как хорошо было известно Лешачихе, испокон века собираются в Иванову ночь дровяницы и русалки. Оттуда, еще издали, долетал до путников шум вроде протяжного крика филина-пугача, сопровождаемый не то хлопаньем крыльев, не то русалочьими ударами в ладоши.

Думая верней выследить мужа, Бородавка велела медведю подойти к поляне с одной стороны, а сама стала подбираться с другой. Оба они разошлись.

Бурый Мишка, выходя на поляну, наткнулся у самой опушки на молодую деревенскую ведьму Аниску, сидевшую на земле, среди очерченного ножом волшебного круга, в ожидании расцвета папоротника. Не зная, обойти ли стороной или подмять под себя, вероятно не за добрым делом пришедшее ночью в лес человеческое существо, медведь в нерешительности замедлил шаги...

Аниска в это время подумывала уже было о том, чтобы уходить, как вдруг вблизи от нее послышался шорох.

Молодая ведьма взглянула в ту сторону и обомлела от страха.

В пяти-шести шагах от нее был большой бурый медведь, уставивший на ведьму пристально свои черные глазки. Он стоял неподвижно и сердито урчал.

Если бы это была нечистая сила, Аниска бы не беспокоилась. Обведенная вокруг черта, острие ножа, которого так не любит ночная нечисть, и десятка полтора заклинаний достаточно должны были ее защитить от всякого рода страхов и призраков. Но медведь... Медведь совсем другое. Обводной черты он попросту не заметит, нож — очень плохая от него оборона, а заговора от медведя Аниска как раз не могла припомнить.

Мишка же продолжал ворчать и пригвинулся к ней еще шага на два. Еще немного, и он подомнет ведунью под себя...

В это мгновение в голове у Аниски мелькнула счастливая мысль — прибегнуть к старинному спасительному средству

женщин, встречающих медведя в лесу, средству, рассчитанному на стыдливость нелюдимого зверя. И ведьма немедленно прибегнула к этому способу. Увидя блеснувший под лунными лучами белый живот поднявшейся перед ним во весь рост свой женщины, медведь попятился от неожиданности и сел в нескольких шагах от Аниски... Слышно было лишь, как шелестит где-то неподалеку трава да стучат Анискины зубы.

Неизвестно, чем бы окончилось дело, если бы со стороны реки не донесся в это время оглушительный крик, перешедший скоро в вопли отчаянья. Почти в то же мгновение неподалеку от Аниски рявкнул громко голос Пешачихи:

— Вот он где, бездельник! Мишка, сюда! Чего ты там расселся?! Бежим!

Повинуясь этому хриплому, гневному, не по-человечески звучащему голосу, Бурый Мишка вскочил на четвереньки и помчался на зов госпожи...

Аниска была спасена.

Издали заслышав нежное заунывное пение русалочьих голосов, прерываемое порою звонким серебряным смехом и плеском ладоней водных красавиц, Зеленый Козел очень обрадовался. Ему представилось уже, как он, подкравшись к полубесплотному хорооводу, высмотрит из-за кустов ту, что покажется ему наименее воздушной, выскочит затем на поляну, облапит свою добычу и уволочет ее в лес. Мысль об этом настолько пленила Песовика, что он не мог удержаться от радостного смеха. Со смехом же своим Зеленый Козел никогда не мог совладать и, раз захохотав, долго не мог остановиться.

Услыхав его хохот, а вслед за тем и трещающие по хворосту торопливые шаги, чуткие русалки переполошились и, прекратив пение, бросились бежать.

Леший кинулся их ловить, но водные девы оказались проворнее. Одна за другою выскакивали они на опушку, торопливо бежали к реке и прятались там в прибрежных кустах...

Потерпев неудачу, Зеленый Козел довольно долго бродил по темному лесу, в тщетной надежде услышать, не зазвенит

ли где-нибудь вновь манящее пение русалок. Слонялся он, не обращая внимания на тихий смех перешептывавшихся ему вслеп, скрытых в ночной листве древяниц. Лешему было не до них. Довольно долго блуждал он по разным полянам и тропинкам, пока вновь не вышел к опушке. Оттуда теперь было видно, как на берегу сидели, разбирая нарванные в лугах и на лесных полянах цветы, водяные красавицы. Оранжево-красная луна уже заходила. Становилось темней, и Леший сообразил, что при известной ловкости он и теперь может подкрасться к русалкам и, схватив одну, увести ее на влажный мох шелестящего под дыханием ночного ветерка непроглядного леса.

Медленно отходя от опушки, Зеленый Козел делался постепенно все меньше и меньше ростом, пока не понизился до уровня травы, растущей по берегу Ярыни. Как известно, рост леших не должен превышать, по законам природы, самого высокого из находящихся возле деревьев, кустов или иных произрастаний Земли...

Пробираясь среди росистых трав, Зеленый Козел осторожно и почти беззвучно подкрадывался к водяницам.

Те мирно беседовали между собою о том, куда им придется попасть после того, как для каждой из них кончится срок пребывания в русалках: будут ли они узнавать, встречаясь, друг друга, и долго ли еще им находиться под властью противного всем им, лысого и толстопузого Водяника.

Они не подозревали, что сам Водяник сидел, притаившись в тростнике, у самого берега, и подслушивал их разговоры, запоминая, которую из неосторожных красавиц следует ему при случае наказать за презрительные речи о его внешности...

Вдруг русалки, вскочив на ноги, закричали, одни от притворного, другие от искреннего испуга и, как стадо овец, шарахнулись в воду. Позади их вырос, вышиною с прибрежную ракиту, Зеленый Козел, стараясь схватить одну из беглянок.

Он и поймал ее за развевавшиеся мокрые косы, в стремительной погоне своей не замечая, что почти по колени уже стоит в воде... В этот же миг из реки показался грузный толстомордый Водяник и с силою дернул Зеленого

Козла за левую ногу. Тот не удержался, выпустил русалку и лежа старался уцепиться вытянутыми глинными руками за прибрежные ивы. Озлобленный вторжением старинного врага в свое царство, Водяной с силою тащил его на глубокое место, призывая в то же время себе на помощь Белобрысого Петру...

Из воды показалось распухшее, с оловянными глазами, лицо утопленника, который мгновение спустя храбро схватил Зеленого Козла за правую ногу.

Песовик, чувствуя, что ему, пожалуй, не удержаться на берегу и толстый враг затянет его, того и гляди, к себе в реку, стал от страха кричать и в свою очередь звать на помощь косолапого топтыгу.

— Мишка!.. Мишка! — вопил он диким, оглушительным голосом, похожим, скорее всего, на рев того же медведя.

С тревожным кряканьем захлопали крыльями среди камышей, взвились и засвистали в ночной темноте разбуженные утки. Перекликнулись вдали кулики... Но медведь не являлся.

Зеленый Козел вновь стал вопить. Силы ему уже изменяли. Несмотря на отчаянные усилия свои отбрыкаться от противников, Песовик был уже более чем на половину в воде, когда на помощь к нему неожиданно, как бурный вихрь, примчалась Бородавка, а за ней и мохнатый спутник ее. Первая тотчас же молча вцепилась когтями Водяному в лицо, так что донный владыка сразу выпустил ногу ее мужа, а медведь не успел даже протянуть могучую лапу свою, чтобы разворотить голову Белобрысому, как тот мгновенно булькнул под воду, куда еще раньше скрылся его господин.

Лишь два-три пузыря показались в этом месте со дна...

Зеленый Козел, смущенный и мокрый, выполз на берег и, дрожа, поднялся на свои голенастые ноги.

На месте недавней схватки лишь широкие круги расходились по воде в разные стороны да маленькие волны тихо хлопали о болотистый берег... Вдалеке вновь перекликнулись береговые кулики, и опять все стало тихо.

— Пойдем, бездельник, — строго сказала Пешему Бородавка и повела его прочь от Ярыни.

Зеленый Козел грустно вздохнул и виновато пошел рядом с нею.

Медведь шествовал сзади.

Из тростников кто-то смеялся им вслеп тихим, журчание ручейка напоминающим смехом.

Белобрысый не замедлил донести Водяному, что видел, как Горпина ходила в Ярилину ночь на свидание с человеком, и слышал, как молодая русалка просила последнего помолиться за нее.

Это, по законам речного гна, был непростительный проступок. Желая сорвать на ком-нибудь злобу свою за шрам на щеке, полученный от Лешачихи, Водяник принял грозный, решительный вид и властным, злым голосом позвал к себе Горпину. Когда русалка пришла и по выпученным лягушечьим глазам повелителя Ярыни прочла свой приговор, она не оказала сопротивления, не пробовала бежать, но послушно последовала за ним из омота в тростники.

Водяной произвел допрос и, услышав от дебушки, что та действительно просила крещеного человека молиться за нее, пришел в ярость. Он схватил неподвижно и покорно стоявшую перед ним Горпину за волосы, ударил ее скользкой лягушечьей лапой по груди, по щеке и прошепел:

— Иди, негодяйка, прочь из воды, слоняйся между землею и небом и не имей ни пристанища, ни покоя!

Произнеся это заклятие, Водяник схватил обреченную русалку своими крепкими перепончатыми пальцами за бледную шею и задушил, подобно тому как лягушка-самец душит до смерти самку свою в любовном порыве апрельского дня.

Пыхтя и сопя, вытащил затем он на берег призрачно неподвижное тело Горпины подальше от воды и с торжественно-важным видом повернул обратно.

— Пусть другим неповадно будет,— ворчал он перед тем, как погрузиться в омут.

Брошенное им в осоке существо не было прежним тяжелым земным человеком. Легкое и почти прозрачное, было оно подхвачено первым же ветром и, подобно пуху болотных цветов, полетело, грожа и колеблясь,

над прибрежными лугами по направлению к Зарецкому. Там опустилось оно возле кладбища, где уже несколько лет было закопано в сосновом гробу земное тело Горпины...

Души не нашедших себе пристанища самоубийц не расстаются обыкновенно или с местом смерти, или с бренными останками своими и не отходят от них далеко вплоть до полного исчезновения последних или же — до срока определенной им “на рогу” земной жизни.



Зарецкие девки (как их звали на одном конце села) или “дивчата” (как их именовали на другой его половине) собирались обычно на поседки в одну общую, нанятую у бобылки, довольно просторную избу. Приносили с собою дров, крупы, сала, варили кашу и пряли лен на взятых с собой веретенах. Туда же приходили парни с пряниками, орехами, леденцами, а иногда и с водкой. Порой вместе с кашей появлялась вареная курица, о происхождении которой никто не допытывался. Кто-нибудь брал с собою гармонику. Девушки пряли, пели песни, но больше чесали языки про отсутствующих подруг, баб или парней. Особенно доставалось за последнее время Максиму, которого давно уже не было видно на поседках.

— Аниска его совсем приколдовала, — говорила рябая и несколько уже засидевшаяся в девках Акулька. — На ночь его в черного кота оборачивает и в ногах, для тепла, спать укладывает.

— Ну, уж и в ногах, — усомнилась Домна.

— Опоила она его чем-то, — высказала свое предположение молоденькая, первую зиму посещающая поседки Матрунька.

— А может, просто сглазила, — возразила Акулька, — да и мало ли чем и как приворожить можно: и наговором,

и питьем, и куском, и след вынуть, и лягушечьей косточкой зацепивши...

— Акулька все эти средства сама испробовала, да у нее все не выходит. Никто не сватает, — шепнула Матруньке гружившая с нею соседка ее Зинка.

— Есть, говорят, и травы такие, что, ежели которая девушка их при себе носит, всякий ее, кого она только захочет, на всю жизнь полюбит, — вставила Ганна.

— Набери будущим летом, вечером накануне Ивана Купала, цветов иван-да-марьи, любистку до зари, завяжи все в пучок и иди тотчас в баню, да и парься там этим пучком. Очень, говорят, тело белым и нежным делается, и от парней после отбою нет, — сказала некрасивая лицом, толстененькая Варька.

— Чтобы я пошла ночью в баню париться?! Да разве мне жизнь нагоела, что ли? — воскликнула хорошенькая Шура.

— А что, разве задушит? — спросила Матрунька.

— Задушит не задушит, а беды добыть можно. В Бабине кто-то научил двух девчат гадать в пустой коморе: раздевшись, в зеркале при свечах смотреть, в самую полночь. Смотрела-то одна только, а другая для храбрости больше около сидела... Да и задремала. Вдруг слышит крик, шум и стук... Смотрит и видит, что та, которая в зеркало гляделась, уже на полу рядом с табуреткой лежит, плачет и стонет; а на лице — синяк. Говорила потом, как в себя пришла, что кто-то из зеркала высунул руку да по лицу и ударил. С тех пор у них в Бабине в зеркало при гаданье больше не смотрятся... Кому охота с разбитой харей потом красоваться...

— Бывает и хуже, — заметила степенная Домна. — Старуха тетка мне сказывала. Она в Курской губернии у господ в имении жила. Так там барышня очень бесстрашная была и узнать беспременно, кто ее суженый, хотела. И сказали ей, что самое верное к тому средство — в ночь под Новый год отправиться одной в баню, накрыть там стол на два прибора, зажечь две свечи и сесть тут же в зеркало смотреть; не в одно только, значит, а в два: так, чтобы коридор стеклянный представился... Сами,

однако, знаете, как это делается... Ну, сидит она и смотрит в этот самый коридор, и видит, что из глубины его идет к ней офицер, в эполетах, с черными усами, молодой да такой собою пригожий, что и представить трудно. И кажется барышне, что вышел он из коридора и сидит уже против нее за столом... Совсем как живой: и ест, и вино пьет, что она ему в стакан наливает... А как стали петухи петь, он прощаться стал и говорит, что ему спешить надобно. А барышня-то еще раньше саблю гостя, когда тот, садясь за стол, с себя ее снял, незаметно к рукам прибрала, а тут же и спрятала. Офицер — туда-сюда: саблю ищет. А она ему: “Вы, кажется, — говорит, без сабли были. Я что-то не помню, чтобы вы ее снимали”. Так он без сабли с нею распрощался, в двери вышел и пропал. Как будто его и не было. Огляделась во все стороны барышня, видит: двери, как и были, на крючок заперты; в стаканах вино недопитое краснеет, а заглянула под лавку — сабля новенькая, в ножнах блестящих, гусарская... Саблю эту барышня незаметно у себя в комнате спрятала и никому, как только своей няньке-старухе, про то, что видела, не рассказала... И, подумайте, ведь в тот же год в их имение этот самый офицер покупать коней для полка приехал, в барышню влюбился и осенью обвенчался... Уехали молодые и поселились в том городе, где полк мужа стоял. Прошло некоторое время, и видит наша барышня, что муж ее молодой веселье свое утратил и задумываться начал.

“Что ты, ангел мой, грустный такой?” — спрашивает гусара молодая жена.— “Да все томит меня дума одна: где и когда я тебя раньше видел; никак не могу припомнить. А что видел, так я голову могу дать на отсечение...” — “Во сне я тебе, верно, как-нибудь раньше приснилась”, — говорит ему барышня. “Конечно, — соглашается тот, — а все-таки странно: больно уж лицо твое мне знакомо...” Тогда она сдуру не выдержит, да и вынь из сундука своего саблю эту самую. Показывает ему, да и говорит: “Вспомните хорошенько, не забывали ли где?”... Тут ее молодой муж весь в лице переменился, почернел весь даже от гнева да как закричит: “А, так ты

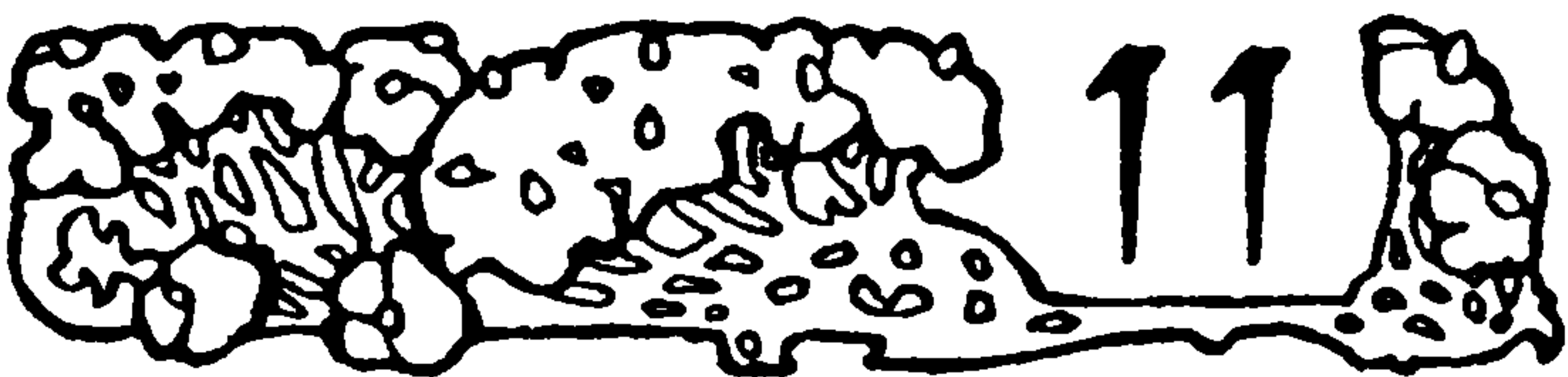
колдовством меня взяла?” А после того выхватил у барышни из рук свою саблю, выдернул ее из ножен... раз-два... да свою жену и зарубил. Ну, судили его после. Сначала-то он, говорят, признался, как дело было, а после будто заператься стал и валил всю вину на убитую, что она-де на других офицеров больно заглядывалась... Только судьи дознались, что это неправда, и, по царскому приказу, в солдаты его до самой смерти разжаловали.

Притихшие было веретена вновь зажужжали...

— А ведь женит, пожалуй, на себе Аниска Максима, — сказала, возвращаясь к прежнему разговору, Матрунька.

— Ну вот, женит!.. Ей в церковь, иначе как под Великий Праздник, нельзя ходить. Нечистая сила ей того не простит и задушит. Да и жених он не больно завидный, — выразила свое мнение Акулька.

— А сама небось весною на этого самого Максима ай как заглядывалась, — опять шепнула Матруньке злая на язычок Зинка.



Тот, о ком девушки так усердно чесали языки на поседках, действительно проводил свои ночи у Аниски. Сначала парень ходил туда лишь для того, чтобы перестать видеть во сне Горпину, потом эти посещения обратились для него в привычку. Худая слава Аниски, как ведьмы, почему-то не страшила Максима, и он даже просил несколько раз свою новую подругу не скрывать от него своего искусства.

— Покажи ты мне, — приставал он к ней, — как ты чужих коров выдгаиваешь.

— Сорокой ночью оборачиваюсь, в трубу вылетаю, крысой в чужой хлев забегаю, молоко выдою и домой принесу... Что глупости спрашиваешь?! Сам ведь видел, что Буренка у меня есть.

— Нет, Анисушка, ты у меня, дружок, не хитри и не увертывайся. Ночью ты никуда не улетаешь, а все это время на этом самом месте лежишь, а что до Буренки, то я сам тебе для нее цербу с половой в хлеб носил и вигал порой, как ты ее доила. Буренка у тебя не больно много молока дает, а ты его и учителю продаешь, и творог со сметаной копишь, и в клетки, смотри, сколько крынок у тебя стоит. Не от Буренки ведь это...

— Много будешь знать, так скоро состаришься,— проговорила отшутиться ведьма.

Однако от Максима не так-то легко было отвязаться. Когда парень хотел, он умел делаться удивительно ласковым.

— Анисушка, ведь ты знаешь, как я тебя люблю,— говорил он.— Все бы, кажись, для тебя сделал. И так бы порой помочь тебе хотел. Если ты и вправду с “теми” знаешься, так ты и меня научи. Чтобы уж жить вместе и ответ вместе держать обоим... А я бы тебе вроде сподручного был,— умасливал он неоднократно погругу в ночные часы.

— Помощи мне от тебя не надо. А чтобы знал ты, что я тебя не обманываю, а кой-что понимаю и кой над кем силу имею, то я тебе хоть сейчас покажу что-то... Лежи смирно и слушай,— сказала она.

Максим насторожился. Все было тихо. Капала лишь изредка вода в таз из висевшего в углу медного рамо-мойника, да тараканы чуть слышно шуршали на столе около крошек, оставшихся от ужина. Парень хотел уже было сказать, что он ничего не слышит, как лежавшая рядом ведьма толкнула его, чтобы он молчал, кулаком в бок, и в тот же миг Максим услышал, как кто-то вроде тяжелого кота спрыгнул с лавки на пол и, явственно топоча, погбежал к печному углу, вспрыгнул на припечку и когтями начал царапать железную заслонку... Кота в хате Аниска не держала.

“Крыса”,— подумал молодой человек и хотел высказать свое предположение вслух, как вдруг что-то сперва застучало посреди избы в потолке, а затем шлепнулось,

как подушка, на пол. Что-то опять побежало на этот раз к кровати и тоже стало сперва царапаться, как бы желая влезть, а потом чесаться и тереться об ее деревянные ножки.

— Анисушка, довольно, зажги огонь! Этак они и на постель заберутся,— шепотом взмолился Максим.

Аниска чиркнула серную спичку и зажгла стоявшую возле на табурете керосиновую лампочку. При свете ее парень убедился, что в хате нет ни кошек, ни крыс.

— Ишь ты, не смеют при огне,— заметил Максим.

— Ты думаешь, что и при свете я не сумею их вызвать?.. Смотри на потолок,— приказала ведьма.

Максим повиновался. Опять прошло несколько времени. Слышно было, как учащенно дышит Аниска.

Вот по выбеленному потолку промелькнула какая-то тень. Парень вгляделся и узнал в этой тени очертания крысы величиною с большую собаку. Тень эта не только двигалась с места на место по потолку, но и шевелила лапами, спиной, хвостом, головою, поворачивалась, сжималась в комок и приседала, чтобы метнуться в противоположный угол.

Максим посмотрел на лампу, на пол и наконец на самую неподвижно лежавшую с закрытыми глазами, сосредоточенным лицом и нахмуренными черными бровями Аниску. Сомнений быть не могло. Тень двигалась независимо от застывшей неподвижно под одеялом его подруги. Теперь призрак крысы метался не только по потолку, но и по стенам.

“Того и гляди на меня кинется”,— подумал молодой человек.

— Анисушка, довольно! Уйми ты их, своих этих самых,— взмолился он.

Ведьма не сразу как будто расслышала его слова. Потом что-то беззвучно прошептала, и крысыя тень, бледнея, свалилась куда-то в угол. Аниска открыла глаза и самодовольно посмотрела на своего любовника.

— Что, видел? — строго спросила она.

— Видел, Анисушка. Больше не надо! И просить тебя никогда не буду,— ответил Максим.

— Ну, то-то! Только смотри, если ты мне изменишь, “они” тебя всюду найдут и до самой могилы покоя не дадут,— пригрозила ведьма.

Максим поспешил, как умел, словами и ласками задобрить подругу, тело которой, как он заметил, стало совсем холодным после произведенного ею опыта.

Несколько дней спустя Максиму удалось упросить Аниску показать ему, как она доит соседских коров. Взяв с парня страшную клятву никому не открывать ее тайны, ведьма еще засветло разбудила Максима, заставила его одеться и нести за нею в хлеб несколько пустых, чисто вымытых крынок. Придя туда, приказала Аниска подкатить для нее бывший в хлебу деревянный обрубок, села на него на расстоянии полуаршина от стены, велела поставить перед собой пустую крынку, достала из кармана глинную, чисто в наговорной воде вымытую тряпку, накинула на торчавший из стены на высоте коровьего вымени деревянный гвоздь, взялась руками за оба конца этой тряпки и опять, как при показывании крысиных теней, замерла с неподвижным лицом.

— Тише, Машка,— неожиданно произнесла она через несколько времени, как бы обращаясь к невидимой для Максима корове.— Тише, матушка... ножку! — продолжала Аниска и начала с закрытыми глазами дергать вниз то тот, то другой конец тряпки. В стоящую тут же доенку заструилось выбегавшее из-под пальцев ведьмы молоко.

— Оставь и дай другую,— коротко приказала Аниска.

Хотя деревянное ведро было полно лишь наполовину, Максим послушно и осторожно принял его и заменил другим.

В следующую очередь ведьма после некоторого промежутка доила, обращаясь уже к какой-то Рябой; в третью — увещевая стоять смирно черную корову. При этом Аниска дергала все время одну и ту же струившую молоко тряпку. Напоследок она выдоила уже обыкновенным способом свою собственную Буренку, которая дала всего полторы крынки молока. Все

это Максим помог Анисье отнести в двух ведрах в кладовую.

С этих пор ведьма стала в предрассветное время будить у нее почти каждую ночь проводившего парня и брать его в хлев, чтобы он нес за ней, подставлял и переменял вовремя доенки.

Аниска поссорилась как-то с другой деревенской ведьмой по имени Степанига. Это была почтенных уже лет вдова с розовым, как у ребенка, лицом, казавшаяся много моложе своего возраста. Поссорились они из-за пустяков: кому выдать одну из вновь отелившихся соседских коров, а поссорившись, поругались.

Аниска имела при этом неосторожность сказать лишние слова:

— И к чему тебе молоко, коли ты не от него сыта, а другим кормишься?

— Чем же это другим? — потемнев от гнева, прошипела в ответ Степанига.

— Сама знаешь чем, — последовал уклончивый ответ.

— Я тебе это ужотка припомню.

И ведьмы разошлись.

— Погубит она теперь меня, кровопийца окаянная, — говорила потом струсившая угрозы соперницы Аниска. Она чувствовала себя в некоторых отношениях слабей Степаниги и стала принимать целый ряд предосторожностей, начиная от выворачиванья наизнанку нижней юбки и сорочки и кончая ношением при себе предохраняющих от порчи и сглаза корешков.

— Почему ты называешь Степанигу кровопийцей? — спросил Максим.

— А потому, что я никому напрасно зла не делаю, кроме как разве молоком пользуюсь, а она не таковская. Она — злодейка — невинных младенцев губит... Нас, ведьм, всегда в светлую заутреню узнать можно, если со свяченым сыром за щекой придешь. Каждая стоит с подойником на голове и спиной к алтарю. Народ этого не видит и не догадывается, а мы друг про друга все знаем... Так вот, если ты придешь в светлую заутреню со свяченым сыром

во рту и скажешь про себя: “А у меня сыр есть”, — то увидишь не только подойник на Степкиной голове, но и полотенце на ейной шее — все кровью залитое, что она из младенцев выкачивает.

— Как же это?

— А так же, как мы молоко из коров. Сперва она днем подходящего ребеночка выглядит, а ночью, на него загадавши, через сучок у себя в сарае и кровь из того младенца выпускает. А отец с матерью и не знают, отчего их дитя сохнет и бледнеет.

— Ах, она треклятая! — взволновался Максим. — Кабы я увидел, ни в жисть бы ее не пощадил.

— Увидеть можно, если осторожно подкрасться. Если только она своим делом не при свечке из человеческого сала занимается... Тогда не поглядишь... А попробовать можно.

И Аниска с Максимом стали выслеживать Степанигу.

Целый ряд ночей прошел без успеха. Иногда молодой ведьме и парню удавалось поглядеть сквозь щели сарайчика, как при свете огарка Степка доит посредством рушника молоко. Максим начал уже было сомневаться в словах Аниски, как однажды та, первую подкравшись к сарайчику старой ведьмы, сделала ему знак, чтоб он ступал осторожней.

— Смотри, — шепнула молодая ведьма на ухо парню, уступая ему свое место у щели.

Озаренная слабым светом оплывшей восковой желтой свечи, Степка, с жадным лицом, облизываясь от нетерпения, торопливо доила что-то не в обычный подойник, а в небольшой горшочек, через красную опояску. Надоив до половины, она жадно выпила содержимое, еще раз облизнулась и утерлась рукою, причем Максим успел разглядеть, что в горшочке было не молоко, а нечто темное.

— Надо и на другой раз оставить, — сказала про себя ведьма с веселым, как бы охмелевшим лицом и блестящими глазами.

Как ни старался вести себя тихо Максим, но не удержался, чтобы слегка не ахнуть.

Вероятно, заслышав это, Степанида мгновенно задула огонь.

— Бежим что есть духу,— шепнула, дергая парня за рукав, его подруга, и оба помчались по направлению к хате Аниски.

Увлекая за собою Максима, его подруга пробежала с ним по улице, чтобы сбить старуху со следа, мимо своей хаты, проскочила через садик соседа и, завернув вдоль плетня, примчалась к себе со стороны огородов.

Закрывая за собою дверь, Максим и Аниска слышали, как хлопнула издали дверь и у Степаниды.

Оба они замерли, стоя в темных сенях и прислушиваясь, есть или нет за ними погоня.

Ухо совершенно не улавливало ни голоса Степки, ни шлепанья шагов по уличной грязи. Все кругом было тихо.

— Кошкой она, проклятая, побежала нас искать. Ложись скорей на кровать и нишкни... или лучше храпи, потому что она и у окон, и в трубу будет слушать,— шептала Аниска.

Завалившись на постель, всю ночь до рассвета не могли заснуть Максим и его подруга, прислушиваясь к каждому шороху, легкому шуму или треску около хаты...

Стараясь казаться беззаботным, храбро прошел на другой день Максим мимо окон Степаниды, по направлению к усадьбе, в которой он работал поженно. Если бы он догадался оглянуться, то увидел бы, как почти тотчас выскочила из своей хаты старая ведьма и, наклонившись, стала рассматривать его след...

— Плохо твое дело, паря,— встретила Максима его подруга, когда в тот же вечер он вернулся к ней.

— А что?

— Да то, что след твой Степка вырезала, и теперь тебе недолго на этом свете водочку пить, калачами да колбасой закусывать да по молодым бабам ходить,— продолжала Аниска, ставя на стол угощение.

— Что ж она со мной через мой след сделает? — недоверчиво, но уже полуиспуганным голосом спросил Максим.

— А то, что она его, вырезавши, в тряпку завязала и теперь в печи сушить будет как следует, с приговором...

След сохнуть будет, и ты сохнуть станешь, и от сухотки помрешь... Только ты не печалься, паря,— неожиданно закончила Аниска, хлопнув по плечу изменившегося в лице от страха Максима.— Сама она от злости не разбирает, что делает. Среди бела дня вздумала, гура, след вынимать, да по такой жидкой грязи, где так натоптано, что и не разберешь, один тут след или четыре... Я и то уже соседке сказала: чем это ты не уважила Степанигу, что она после того, как муж твой прошел мимо, след его вынула?.. Та аж побледнела, меня слушая... Ну, да это к делу не относится. Ты ведь, когда утром по грязи шел, тропкой игти старался?

— Тропкой, где и до меня натоптано было.

— Ну, так ничего из ейного колдовства не выйдет. Какой бы сильный заговор у нее ни был, а если след нечистый, ни черта не будет толку... Ты вот, как в лес пойдешь, берегись, чтобы там она тебя не выследила. Там если след вынет, дело совсем иное будет... Всего лучше — ты бери заготовок от подрядчика, гроба сплавлять. (Он вчера добровочных искал.) И на эту весну подальше отсюда убирайся, пока цел. А дальше — увидим.

Говоря эти слова, Аниска лишь отчасти имела в виду спасение Максима от Степки. Парень несколько стеснял ведьму при посещениях зачастившего к ней в последнее время Огненного Змея. Предотвращаемая ею до сих пор встреча была бы неприятна прежде всего для самой ведьмы.

Максим послушался своей подруги, взял заготовок и дня через два ушел с артелью парней в соседний уезд на лесные работы.

В сущности, он мог бы и не беспокоиться и не покидать родного села, так как предупрежденная Аниской соседка в отсутствие Степки забралась через плохо прикрытое окно в избу старой ведьмы и выкрала из печи сушившийся там в тряпочке вынутый след.

Но Максим этого не знал.

Заслышав шум и шуршанье в трубе, Аниска вскочила с постели и притаила дыхание. Сомнений быть не могло: кто-то явственно царапал ногтями заслонку. Аниска вздула

на загнетке огонь, зажгла пучком соломы свечу и, приблизив лицо к трубе, спросила негромко:

— Кто там?

— Принимай гостя с высоты поднебесной, — слышался в ответ хриповатый, несколько свистящий мужской голос.

Аниска отодвинула заслонку, и в тот же миг что-то дунуло на нее из трубы. Свечка погасла. Нечто тяжелое, похожее по звуку на кучу мокрого белья, шлепнулось на пол и задвигалось по темной горнице.

Ведьма тотчас же вновь вздула огонь и опять зажгла погасшую свечу. При свете последней Аниска увидела, что перед нею стоит плотный мужчина цыганского типа, лет тридцати пяти — сорока, одетый в красный кафтан, бархатные черные шаровары и странной формы, с загнутыми кверху раздвоенными острыми носками, сапоги.

— Узнала? — спросил он, улыбаясь, вглядываясь в него с деланным смущением полуодетую женщину.

— Затем и огонь зажгла, чтобы узнать: ты али кто другой под тебя прилетел, — отвечала ведьма. — Я хотя твой голос и признала, да все думаю, вернее и глазом посмотреть.

— Хоть зубами пробуй или иначе как, у меня без обману. А разве и другой кто прилетает?

— Да мало ли вашего брата около моей трубы таскается, греться просится. Их впусти только — назад и уходить не захотят.

— А у тебя, може, кто и остался? Как будто мужским духом да табаком пахивает.

— Оно точно, пахивает. Всякого ведь народу у меня за день перебивает, а на ночь я никого не оставляю... Ищи, коли хочешь. Окромя запечной нечисти, никого не отыщешь.

— Ну, у тебя не одна запечная нечисть, а и всякой мелкоты довольно найдется.

— Мелкота не в счет. Мелкота, почитай, везде есть, — ответила Аниска. — Ишь ты, носки какие у тебя раздвоенные, — прибавила она, стараясь перевести разговор на другое.



— У меня все раздвоенное,— загоготал в ответ красный кафтан.— Аль не помнишь?.. Здорово же ты раздобрела с тех пор, как я последний раз тебя навещал,— любуюсь неприкрытыми плечами и полными руками ведьмы, продолжал он с довольной улыбкой и даже погладил оговорительно ее пышную грудь.

В ответ на такое внимание Аниска, потупляясь и краснея, показала почетному гостю застенчиво кукиш — обычное приветствие у нечистой силы.

Тронутый таким знаком внимания посетитель в красном кафтане начал еще больше давать волю рукам, вследствие чего хозяйка поспешила загнуть свечу.

— Еще подсмотрит кто в окно! Сраму потом не оберешься,— произнесла она недовольно.

В хате ведьмы стало темно. Во мраке слышны были какое-то шуршанье, возня, шепот, потом тяжело за скрипела кровать, на которую присел, вероятно, ночной гость. Затем послышалось какое-то пыхтенье, снова шепот и, наконец, довольно громко произнесенные Аниской слова:

— А кофточку атласную мне принесешь?

Снова все смолкло.

Перед рассветом Аниска до тех пор не отпускала своего посетителя, пока тот не научил ее более скорому способу (не кубыркаясь трижды через голову) оборачиваться сорокой, лягушкой, собакой и крысой. Как оборачиваться в свинью, Змей показать не умел или не хотел.

В свою очередь, он взял обещание с ведьмы, что та по первому же зову явится на ночное собрание нечисти, от каких-то посещений Аниска, после того как сошлась с Максимом, стала воздерживаться.

Она пробовала было отговориться ссорой со Степкой и нежеланием встретиться с последнею, но Огненный Змей возразил:

— Степка тебе теперь не старшая и повредить тебе не может. А про тебя вот стали поговаривать, что ты от нас отстать хочешь. С парнем каким-то снюхалась. Замуж, слух идет, за него выйти собираешься.

— Очень мне нужно замуж! Это про меня Степка из зависти наврала, что я у нее из-под носу парня выхватила. Вот она с досады и пустила тот слух.

— А мне-то что? Ты хоть десять парней заводи, а на шабаш прилетать должна.

— Ладно, ужо прилечу.

— Не ужо, а как только позовут, и без отговорок, как в те разы,— сказал наставительно гость и, свившись в клубок красноватого дыма, в котором быстро кружились синие искры, втянулся затем в дымоходное отверстие печи...

Когда рассвело, Аниска увидела на одной из лавок оставленную гостем широкую юбку розового шелка. Юбка была сыроватая и с двумя-тремя небольшими пятнами, как бы от плесени. Но высушить ее, перешить и носить можно было с успехом. Запах же плесени должен был испариться при сушке. Не задаваясь праздными вопросами, откуда Огненный Змей достал и принес ей этот подарок, Аниска занялась топкою печи, чтобы возможно скорей высушить свою новую юбку.



Когда Максим, после долгого отсутствия, пришел в следующую зиму на поседки, никто не спрашивал у него, отчего он столько времени не являлся, но все делали вид, что только накануне вечером с ним расстались. Лишь Акулька не удержалась и, вместо того чтобы гружески хлопнуть Максима, как она имела обыкновение приветствовать парней, богатырской своей ладонью по спине, вспомнила вдруг чьи-то слова о том, что Аниска обращает своего возлюбленного в черного кота, и стала манить вновь пришедшего словами “кис-кис-кис”.

Смешливая Зинка не удержалась и прыснула от неукротимого смеха. Девушки, не отрываясь от веретен,

многозначительно переглянулись. Но Максим, который и раньше знал о пущенной на его счет шутке, не растерялся и, оглядывая пышное телосложение Акулины, в свою очередь обратился к ней со словами:

— Молоком, верно, угостить хочешь? А я думал, оно у тебя уже пропало...

После такой отповеди смутилась даже Акулька. Домна попробовала заступиться за подругу:

— Глядите-ка, подруженьки. Максима-то никак сглазил кто: девок за коров принимает... Верно, он в чужой хлев пробирался да сюда по ошибке и попал!..

— А ты, милая, не егози и около меня не старайся. Тебя доить не стану. Очень уж ты неприглядна,— огрызнулся на Домну раздосадованный парень.

Приятель его Антип, желая отвлечь внимание от ставшего жертвою насмешливых взглядов Максима, попробовал перевести разговор, хоть и тоже на колдовской, но все-таки менее опасный предмет.

— А мы тут без тебя, Максим, говорили, что ежели поймать черного кота без отметинки и сварить в полночь, на перекрестке, в закрытом котле, то в ем непременно малая костка должна оказаться, с которой невидимкою стать можно, и все, что хочешь, украдешь.

Максим, желая, быть может, показать невинность свою в делах, относящихся до волшебства, поспешил спросить, как же найти эту косточку.

— А вот как. Как только мясо разварится, надо отделить его от костей и брать в руки одну косточку за другою. Варить и разбирать вдвоем нужно. Один берет, другой на него смотрит. И как только перестанет видеть того, кто кость в руках держит, значит, и нашли косточку-невидимку.

— А как ты это узнал? — спросила Домаха.

— Меня твоя мать научила,— огрызнулся Антип.

— Что она тебя, как ты парнишкой был и яйца куриные у нас воровал, учила, это точно. Только она тебя учила крапивой, а не волшебством...

— Полно вам ссориться-то,— вступилась добродушная Фекла.— Человек пришел к самой что ни на есть каше

и яишне, с собой никак сороковку, а то и целенькую приволок да семечек полные карманы, а вы к нему пристаёте! Садись сюда, Максим, и покажи, какие семечки. Жареные?

И Фекла запустила пятерню в оттопыренный карман присевшего рядом Максима.

— Как мать-то поживает? — спросила она, отплеывая прилипшую к губам шелуху.

— А что ей делается? От дяди-богатея трешницу на-медни получила. Ну и радуется... Кормилец, мол!

— То-то ты и водки принес,— сообразила Фекла.

— Нет. Я на свои,— смутившись, пояснил Максим и сделал вид, что вслушивается в разговор о том, как надо варить черного кота.

— С волшебной косточкой не в пример воровать способней, чем с мертвой рукой. Ты еще обносить надо вокруг избы, да, если кто спит, так еще кругом головы обводить, а косточка, она тебе дело чистое: взял в карман и иди куда хочешь,— деловито повествовал тем временем Антип.

— А ты что же? То и другое пробовал? — ядовито спросил говорившего сумрачный Антон.

— Не пробовал, а люди говорили. Сам я даже и кота, пожалуй бы, не сварил... Духу бы не хватило.

— А что? Али греха боишься? — спросила Матрунька.

— Не то что греха, а пока этого самого кота варишь, страхи, говорят, нападают. Мне один сказывал, что пробовал он варить. Так едва только начала вода кипеть и крышка о котел захлопала — откуда ни возьмись, шум, вроде как бы конница скачет. Слышно стало даже, как лошади фыркают. Топот такой страшный и голоса людские, совсем уж близко... Тут мой парнюга струсил да ходу!.. Бежал, бежал, а ему все чудится, что погоня за ним. Упал в темноте в канаву да и просидел там до рассвета. Благо, сухая была. Боялся в поле выходить. А как рассвело — огляделся по сторонам да и пошел на то место, где кота варил... Пришел. Видит: зола, угли, сучья обгорелые, а ни котла, ни крышки котельной, ни кота — ничего нет. Ровно унес кто-то.

— Не иначе как унес,— в один голос сказали и Антон, и Фекла, и Акулина, и даже обычно молчавший на поседках Федька Рыжий.

— Черного кота косточка, вестимо, не в пример способнее будет,— после минутного молчания глубокомысленно вымолвил Антон.— От мертвеца руку отрезать, конечно, нетрудно, да за это угодить куда следует тоже можно... А кота сварить — дело чистое. Судить за это не станут.

Акулина затянула в это время какую-то жалобно-заунывную, не то разбойничью, не то каторжную песню. К ней присоединились подруги, и на несколько времени смех и шушуканье в закопченной избе заменились протяжным пением, в котором явственно выделялся тоненький, слегка звенящий голосок молоденькой Зинки.

— Знаешь, Максим, ночью ко мне сегодня могут гости явиться, такие, что тебе лучше на глаза им не попадаться,— сказала в одно прекрасное зимнее утро своему возвратившемуся другу Аниска.

— А почему?

— Жаль мне тебя. Пропадешь ни за что ни про что.

— Да мне тебя, Анисушка, покинуть жаль одну... Неровен час, обидеть тебя могут,— медовым голосом ответил хитрый Максим.— Может, еще и пригожусь тебе...

Парню страшно хотелось посмотреть на нечистую силу. Ему пришлось раз услышать на мельнице рассказ про одного хозяина, у которого работник znalся с чертями. Хозяин этот угостил своего батрака и упросил показать своих знакомых, когда те его навестят. Работник хотя и неохотно, но согласился. Он потребовал полведра пива, разбавил его сильно водой, “чтобы не забуянили”, и велел хозяину не выходить из дому, чтоб не попадаться на глаза его знакомым. Батрак позволил ему лишь сидеть у окна и из-за занавесок смотреть, как гости пройдут мимо.

Как эти гости приходили, мужик прозевал. Он слышал лишь пьяный шум в сарае, где жил летом работник, и видел только, как гости, пошатываясь, шли обратно через двор к воротам.

Одеты они были в плохонькое платье. Лица у всех были человеческие, только у каждого с каким-нибудь изъяном: у того харя на сторону перекошена, у другого — рот до ушей и зубы звериные, у третьего — нос нехорош, а у четвертого и совсем лица не было. Одно пятно с бородашкой, картузом дырявым накрытое. Вид у них всех был такой гнусный и страшный, что хозяин строго приказал своему батраку впредь их не принимать, а потом, когда окончился срок годичного найма, не стал и держать его дальше...

Максиму очень хотелось проверить, такие ли, как он слышал в этом рассказе, бывают собою нечистые.

— Ты дай мне, Анисушка, невидим-травы и посади с нею в шкаф, где твоя одежда висит, или в скриню, а я буду в щелку замочную оттуда смотреть, — стал он упрашивать свою подругу.

— Без глаза, верно, хочешь остаться? Ко мне такой гость прилететь должен, что и тебя с собою, чего доброго, в трубу потом, гляди, унесет, да и мне за тебя достанется... Да я совсем и не желаю, чтобы ты на мою муку глядел! Ночуй сегодня у себя дома!

Так Аниска и не позволила Максиму остаться на ночь.

Однако парень, мучимый, с одной стороны, ревностью, так как опасался, что вместо нечистой силы к подруге его явится приказчик из соседней усадьбы, и любопытствуя, с другой стороны, посмотреть, какова из себя будет эта самая вражья сила, вышел перед полночью из своей избы и стал бродить неподалеку от хаты Аниски.

Окна там не светились, и все вокруг было тихо. Стояла морозная безлунная ночь, и лишь звезды ярко горели на черно-синем небе. Максим порядочно прозяб в ожидании и хотел было даже идти домой, когда с темной высоты сверкнула вдруг, падая огненной полосой, красная звездочка и мелкими искрами рассыпалась над Анискиной кровлей. Максим видел, что искры эти, перед тем как исчезнуть в трубе, приняли в сочетании своем вид свернувшегося золотисто-красного крылатого змея.

— Эге, — сказал парень сквозь зубы и, больше не задерживаясь, зашагал домой. У него пропало всякое желание

навестить в эту ночь Анисью. Соперничать с Огненным Змеем Максим не имел ни малейшей охоты...

Тут же по дороге решил завтра же взять предлагаемый ему приказчиком заготов и снова уйти в предстоящем посту на работы по сплавке леса.



Толстая Марыська была весьма недовольна случившимся. Ребенок, неожиданно родившийся у нее от поспешных ласк затянутого ею в конце концов в лесной омут охотника, начал ей сниться и пугать по ночам. Болотница стала худеть и даже утратила звание “любимой жены”, не вернувшееся, правда, к Куньей Душе, но перешедшее к младшей сестре последней — Малинке.

Пользуясь ослаблением к ней внимания господина, Марыська твердо решила, лишь только представится случай, сбегать на реку узнать там от русалок про участь своего младенца, а если можно будет, то и повидать его самого. Она беспокоилась, между прочим, как отзовется на ее бесперепончатом гетище речная вода.

Однако осуществить свое намерение Марыське удалось в силу разных препятствий не раньше как через год.

Улучив однажды ввечеру удобное время, перелезла она в соседнее озеро, быстро его переплыла и, найдя то место, откуда вытекал лесной ручеек, спешно пошла по его течению в направлении к устью...

Лес в этом месте был хвойный. Только по берегам ручья, особенно в тех местах, где желтовато-лиловые стволы сосен отступали от берегов, виднелись здесь и там кусты орешника, ольхи и ивняка, из-под которых глядели порой небольшой голенастый кулик, водяная крыса или свившая себе там гнездо дикая кряковая утка.

Марыська шла вперевалку, с боку на бок, своею обычною для болотной бесовки походкой, не проваливаясь в топкую

грязь и почти не оставляя на ней следов своих лапчатых ног. Она не смотрела ни на рыжую белку, только что перемахнувшую через ручей и качавшуюся на еловых ветвях, ни на двух зайцев, недоверчиво обнюхивавших на полянке друг друга. В голове у болотницы была одна только мысль: добраться поскорей до реки и разузнать там у русалок об унесенном от нее дитяти.

Не обратив поэтому внимания даже на медведя, показавшегося на миг между деревьями и поспешно затем убежавшего прочь, Марыська деловито шагала вдоль извилов ручья, не предвидя, какою неожиданностью кончится ее путешествие.

Дело в том, что повстречавший болотную бесовку медведь не преминул доложить своей госпоже, местной Лешачихе, по прозванию Бородавка, что в их владениях появилось некое существо вроде русалки или собирающейся купаться бабы, но с какими-то странными ногами.

Не терпевшая никаких могущих понравиться супругу ее (последний как раз и был Зеленый Козел) существ женского пола, Лешачиха немедленно решила удалить непрошеную гостью из своих владений, а буде та имеет какое-либо дело или отношение к Лесовику — удалить сугубо.

Когда, следуя по течению ручья, Марыська вышла на небольшую, продолговатую, чистую поляну, она заметила, как впереди, справа от нее, в сопровождении бурого медведя, вышла туда же высокая, лохматая, тощая Лешачиха. Видя, что те остановились и как бы поджигают ее, Марыська замедлила шаг, но продолжала идти.

— Ты зачем здесь таскаешься, жаба толстозадая? — услышала она неожиданно, поодойдя шага на четыре к Бородавке.

Марыська взглянула на говорившую и увидела, что та находится в состоянии бешеной ярости, которая вот-вот должна разразиться.

— По делам своим иду, на речку... А разве нет тут дороги? — спросила болотница, стараясь казаться спокойной, хотя сердце ее и замирало, предчувствуя бурю.

— Вот тебе дорога! — И страшный удар почти деревянной десницы по лицу сбил Марыську с ног, отбросив ее шага на два в сторону от тропинки.— Не таскайся, где

не слег! Не бегай по чужим мужьям! — скрипуче захотала Бородавка, видя падение болотной бесовки.

— Очень мне нужен твой медведь. Обнимайся с ним сама! — огрызнулась, подымаясь на ноги, видевшая кое-что в свое время Марыська.— Всем расскажу! По всему болоту и лесу ослаблю!! Не даром тебя Баранья Морга с твоим хахалем косолапым из своего участка выгнал!

Такой явной напраслины Лешачиха перенести не могла. С криком гнева и мести вновь кувырнула она на траву нетвердо державшуюся на своих гусиных лапах соперницу и начала таскать болотницу за ее влажные черные косы. Марыська, обороняясь, пустила в ход свои острые бесовские когти, оставив их слег на руках и шершавой щеке Бородавки. Тогда Лешачиха охватила тесно толстую противницу длинными жесткими лапами и, прижав к себе, пыталась ее раздавить или задушить. Низенькая в сравнении с Бородавкой бесовка ухитрилась, однако, укусить ее в грудь своими острыми, как у щуки, зубами.

Вскрикнув от боли, Лешачиха с силою оттолкнула от себя противницу, и та, вся красная и растрепанная, кинулась искать спасенья в ручье.

Но еще не успела она добежать до берега, как сильный удар похожего на угловатое корневище кулака Бородавки заставил ее перекувырнуться и шлепнуться в воду.

Попав если и не вполне в родную, то все-таки в родственную стихию, Марыська успела-таки обратиться в лягушку, правда с маленькими птичьими лапками, вроде утиных, но лапки эти она старательно поджала, а сама, притаившись среди водных трав, сидела на дне все время, пока Лешачиха безуспешно ее искала.

Лишь когда окончательно стемнело, Бородавка, стоя по обе стороны ручья, плюнула в замутившуюся воду и, пообещав придушить Марыську, если та еще раз посмеет забрести в ее владения, ушла в лес.

Тогда только осмелилась выставить из воды свою голову болотница. Испуганно осмотревшись по сторонам, немедленно отправилась она обратно, сперва в своем лягушечьем виде, а затем, убедившись в трудности плыть против течения, приняла прежний свой образ толстой Марыски.

В омут к себе удалось ей вернуться лишь перед самым рассветом.

— Опять стала пропадать неизвестно где?! Сглаз, верно, снова нагуливала? — спросила Марыську старая болотная бесовка, приходившаяся ей не то матерью, не то теткой (в омуте трудно в этих делах разобраться). — Смотри, Кунья Душа или Малинка узнают да самому насплетничают, нехорошо будет!

— И так уж нехорошо было: еле ноги унесла, — показывая свои синяки, с оханьем сказала Марыська.

— Ктой-то тебя, девонька? — совсем уже другим голосом соболезнующе спросила старуха.

— Пешачиха... Чтоб ей сгореть!.. Встренула, когда я шла по ручью, к реке, про ребеночка маво узнать, и наскочила...

— Ишь, стерва! Попадись она только нам! — пригрозила бесовка. — А ты не таскайся за своим дитем. Считай, что пропало и пропало. А ежели скучно, так новым обзаведись. Ты ведь умеешь... сглазу! — пошутила в заключение седая бесовка.

— Не так-то легко, тетенька, этот самый сглаз найти. Сами, поди, знаете, — пробовала отшутиться Марыська.

— Когда-то знала... А теперь идем поскорей в трясины. Я тебе там лягушечьей икрой бока и спину натру. Совсем незаметно будет...

В воздухе стоял предрассветный туман; кричали, предчувствуя солнце, журавли; пора было погружаться в черную воду болотного окна.



С самого утра, то тише, то громче, стоял в ушах у Аниски шум и грохот далекого бубна. Кроме знавшихся с нечистой силою женщин, этих звуков в селе не слышал никто, и молодая ведьма хорошо знала, что бубен — призыв для всех окрестных колдуний: прилететь в ближайшую ночь

на бесовское сборище. Такие сборища, на памяти Аниски, случались довольно редко. Она их даже избегала по разным причинам, но теперь, после разговора с Огненным Змеем, не явиться было невозможно.

Весь день провела Анисья сама не своя. Сердце сжималось и замирало от ожидания. Приходившие погадать или посоветоваться с ведуньей люди были ей неприятны. На одного знакомого парня, давшего во время разговора с нею по старой памяти волю рукам, Аниска так накричала, с преобразившимся от гнева лицом, что тот совсем растерялся, долго извинялся и, получив нужный ему порошок, поспешил уйти, оставив красивой знахарке бутылку водки. Уходя, парень не смел даже попросить ее, как обычно делал раньше, угостить его тут же из этой бутылки.

Аниска так была взволнована предстоящим полетом, что, вернись к ней в это время с далеких заработков даже сам Максим, и того бы прогнала она без сожаления прочь.

Отрывочные мысли и опасения стремительно проносились в голове у колдуньи.

“А что, если завистница Степка успела пожаловаться, что я ее видела и показала Максиму, как она кровь через красную опояску выдаивает? Будет мне тогда выволочка!.. Или если Сам прилетит и меня к себе в невесты выберет?! Редко, говорят, кто без крика такую страсть и муку вынести может... Потом на чем еще лететь? Кочергу украсть могут. У меня новая, железная... Непременно польстится какая-нибудь шкура. Помело, того и гляди, подменят ненароком. Сядешь впопыхах на него верхом при разезде, а оно — чужое, и принесет тебя в чью-нибудь хату верст за сто. Беги потом, расспрашивай оттуда дорогу! ...Да и хорошо еще, если в той же хате не пришибут, когда явишься... Насажу-ка я веник на старый ухват! Авось не подменят, пока я плясать буду... А уж и попляшу же!..”

Заблаговременно вынула ведьма из сундука большую глиняную белую банку с пахучею мазью, приготовила горшочек для кипячения в нем волшебного снадобья, заморила в чугушке углей; хотела было подвести себе сажею глаза и без того черные брови, но вовремя вспомнила, что вспотеет, вдыхая колдовские пары, и сажа потечет тогда по

лицу. Пришлось отказаться от наведения красоты. “И так лучше всех буду, пожалуй,— думала ведьма, стараясь припомнить, кто может с нею соперничать красотой на шабаше.— Разве что та, белокурая, с господской прической и складками на боках от корсета... Только та тоща слишком... Вряд ли кто, кроме Самого, на нее польстится. А если Он и позарится, туда ей и дорога!.. Брать ли чего съестного на шабаш, для ужина? Сало у меня есть, да оно соленое. Если его принесешь, так побьют еще. Черти соли не любят. Простого нашего хлеба тоже нельзя. Там нужен особый... Захватчу с собою колбасы колечко и бутылку сегодняшнюю... А как их взять-то? Карманов-то ведь на теле нетути... Колбасу можно, конечно, на ухват продеть, а бутылку тогда все-таки в руках или под мышкой держать придется... Нет, еще разобьется, пожалуй. Воткну ее в помело и завяжу... Не забыть бы только смазать то и другое”,— думала ведьма.

Между тем наступили сумерки. На кутку печи у Аниски давно уже были разложены угли и заготовлен горшочек с зельями, залитыми водой... Ведьма завесила окна, подошла к выходным дверям, отперла их и долго прислушивалась, стоя в сенях.

Где-то на окраине деревни смолкли уже девичьи песни. Раз только визгнул кто-то деланно-испуганным голосом на огородах, несколько голосов загоготали в ответ, и снова все стихло. На глади ночных летних небес теплились уже ясные звезды.

— Светловато,— задумчиво покачав головою, пробормотала Аниска. Но потом успокоилась: — С дымом из трубы вылечу. В дыму, говорят, незаметно...

Ведьма вернулась в избу. Заперла за собой на крюки обе двери. Насадил прочно большой веник на палку ухвата. Внутрь этого веника вставила она и привязала крепко веревочкой бутылку с водкой. На один из рогов ухвата накинула, тоже привязав для верности, кольцо колбасы. Затем Аниска перегребла угли из кутка на припечку, подбавила новых, раздула и вновь поставила на них горшочек с варевом.

Когда вода стала согреваться, Аниска еще раз проверила, хорошо ли занавешены окна, и начала раздеваться. Слышно

было, как шуршат снимаемые юбки и кофта с рубахой; стукнули, упав около лавки, сапоги. Мелькнули при розовом свете раздуваемых углей наклоненное к ним слегка покрасневшее лицо, розовеющая шея и плечи...

Вода уже закипала. От горшочка поднимался пока еще не сильный, скорее приятный для обоняния, чуть-чуть смолистый, слегка гурманящий пар.

— Будет завтра трещать моя головушка, — вздохнула Аниска и потянулась к банке с мазью.

Мазь пахла еще сильнее, хотя несколько иначе, нежели варево. Ведьма натерла себе виски, за ушами, шею и грудь, под мышками, ладони, ступни и другие места. Жирное снадобье жгло и холодило одновременно...

Были старательно смазаны затем палка и железо ухвата. Рука ведьмы прошла и по венику, и по колбасе, и по бутылке с водкой. Обе ладони были вытерты после о волосы.

— Пора! — Аниска перекинула ногу через прислоненный к печи ухват с помелом. Держась левою рукой за железо рогача, а правой за выступ припечка, она стала вдыхать в себя пар, густо подымавшийся теперь из горшочка.

В голове ведьмы скоро стало кружиться, в теле чувствовались необыкновенная, почти небесомая легкость и какая-то слабость, соединенная с неукротимо влекущим порывом в пространство. Ноги стоявшей все время на цыпочках Аниски устало подогнулись, сердце замерло в ней, в глазах потемнело, и, чувствуя, что она падает в какую-то бездну, колдунья потеряла сознание...

Это состояние длилось один только миг. В следующее мгновение ведьма ясно ощущала, что она не падает, но стремительно подымается вверх, летит на своем рогаче-помеле на заветную Осиянскую гору...

Тело Аниски обдавала ночная прохлада; в ушах свистало, не то от быстроты полета, не то от встречного ветра, трепавшего ей распутившиеся по воздуху косы. В глазах, подобно искрам, мелькали частые, очень яркие звезды. Где-то далеко-далеко слышался растущий по мере приближения шум и грохот призывного бубна...

Вот вдаль сверкнула внизу не похожая на звезду ярко-красная точка, разросшаяся потом в целое сплетенье костров.



Подлетев к ним ближе, Аниска разглядела, что костры эти образуют собою причудливое соединение круга с четырехугольником. Видно уже было, как взмывают к небу и лижут, колеблясь, ночную мглу алые языки этих призывных огней.

Сжимая руками ухват, пятками охватывая помело, среди воя и визга подобно ей летевших отовсюду на сборище колдуний и духов, с замиранием сердца мчалась Аниска на ночное бесовское празднество. “Гуляй, бабуся!” — пронеслось в ее голове слышанное где-то восклицание, в то время как все ближе и ближе выросло пред нею сверкавшее кострами бесплодное плоскогорье Осиянская гора, где уже видны были кривлявшиеся и бегавшие со страшными воплями существа...

Ноги Аниски плавно, без всякого ушиба, коснулись земли. Поставив свое рогатое помело к большому камню, около которого уже были прислонены несколько пестов и веников, две-три кочерги, с дюжину рогачей, небольшое корыто, скамьи и другие приспособления для ночного полета, ведьма нагнулась и шепнула, обращаясь к своим ухвату и венику:

— Стойте здесь и ждите меня, а чужим не давайтесь.

Неподалеку от нее средних лет смуглая баба собственным длинным волосом привязывала, тоже с наговором, к одинокому кусту у терновника хлебную лопату, на которой только что прибыла.

Поправив свои растрепавшиеся косы и отвязав затем бутылку с водкой и колбасу, молодая ведьма легкой походкой направилась с веселой улыбкой к ярко пылавшим кострам.

Ее обогнала, приплясывая и похлопывая себя по отвисшим задку и животу, седая, слегка хромавшая, казавшаяся пьяной, растрепанная старуха. Выскочивший из-за поворота вьющейся между больших камней тропинки молодой черт на собачьих ногах, но одетый в господское платье и даже с соломенной шляпой на полузверином лице, любезно, но и больно ущипнул ее сзади. Старушка взвизгнула, точно от испуга, но затем засмеялась гребезжащим деланным смехом и заговорила с нечистым, как со старым знакомым. Тот обнял старую ведьму и, виляя собачьим хвостом, повел ее к кострам.

Знакомый голос сзади заставил оглянуться подымавшуюся в гору Аниску. Баба из соседнего села, тоже ведьма, шла, покачиваясь, с двумя подростками дочерьми и громко пела:

Не сама я иду:
 Меня черти несут,
 А чертеночки потряхивают...

Впрочем, около нее, кроме дочерей, не было никого. Аниска ускорила шаг.

Ночь была, вероятно, холодная, так как молодая женщина ощущала все время озноб. Хотелось подойти возможно скорее поближе к кострам и погреть около них свое озябшее обнаженное тело. Ведьма оттолкнула от себя чью-то ледяную, скользкую руку, пытавшуюся обнять ее стан, и обронила обладателю этой руки, лягушечьей морде с выкаченными от удивления, а может, и от страсти, глазами и торчащими, как у кошки, усами:

— Пошел прочь! Так тебя и этак!.. И без твоих лап холодно, слякоть ты поганая!

Лягушечья морда, однако, не отставала и, вероятно, желая показать свою ловкость и гибкость, стала кубыркаться и ходить колесом поперек дороги рассерженной Аниски. Сбоку подскочил другой, пузатенький, небольшого роста человечек с полукозлиным лицом, в мужицких рваных чоботах и крепко схватил ведьму за левую руку.

— К Самому идешь, красавица? Так я тебя провожу, чтобы другие не обидели...

Запах от него шел нестерпимый, но вступать в драку Аниске не хотелось, тем более что ее кавалер с козлиным сплюснутым носом и бороною весело перекликался гнусливым голосом с мелькавшими здесь и там товарищами, которые ему явно сочувствовали. Хотя ведьм явилось на праздник значительно больше, чем чертей, но так как дружба между первыми особой не наблюдалось, то и надеяться на помощь с их стороны не приходилось.

Увидев при зареве близкого уже, без треска и дыма горевшего костра, знакомый красный кунтуш Огненного

Змея, Аниска даже обрадовалась и не своим голосом стала звать его на помощь:

— Змеюшка! Да иди ты сюда! Я тебя ищу, ищу, а этот бездельник (так его и этак!) прохожу не дает!

Аниска знала, что чем больше сквернословить в таком месте, тем лучше.

Змей услышал отчаянный призыв знакомой колдуньи и поспешил к ней на помощь.

— Отвяжись, охальник! Видишь: кум идет,— сказала Аниска продолжавшему сжимать ее левую руку Козлу в сапогах.

— Как со мной покумишься, так и я тебе кумом буду,— невозмутимо ответил тот.— А ежели твой красный мне мешать будет, я его и на рога подыму!

Сняв с головы рваный картуз, спутник Аниски обнаружил небольшие, но довольно острые рога. Рога эти негву-смысленно наклонились навстречу подходившему Змею.

Тот заметил движение козлоподобного нечистого, но, делая вид, что не обращает на него никакого внимания, весело закричал молодой ведьме:

— А, Аниска, приплелась-таки, толстозагая!.. Колбасу никак с водкой несешь? Дело!.. Да и козла с собой привела! Это и совсем хорошо! А то наши кухаря жалуются, что козлятины к ужину не хватает. Как раз одну ногу и часть от спины зажарить можно будет... А ты не бойся, приятель! Мы тебе другую ногу, хотя бы лягушечью или собачью, приставим... Эй, вы, кухари, бегите сюда!

Змей свистнул в кулак так громко, что Аниска даже закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, перед нею стоял только покатывавшийся со смеху Змей. Скверно пахнущего полукозла и след простыл.

Только мимо Аниски прошмыгнул какой-то болотный, крупный бесенок, примеряя на голову потерянный Козлом при поспешном исчезновении чобот.

— Идем,— сказал Змей.— Сегодня ужин хороший будет. Небось голодна? — продолжал он, любезно щупая на ходу живот своей спутницы.— Колбасу с водкой не забудь Самому у копыт положить, когда поклон класть ему будешь, а не то старухе отдай, которая в черном возле стоит...

Он так водке обрадуется, что и спрашивать тебя про дела твои не станет... Не забудь тоже поцеловать боженьку в хвостик,— прибавил он.— Ты так давно здесь не была, что, чай, все порядки забыла...

То обгоняя других, то сами перегоняемые отовсюду стекавшимися на праздник ведьмами и нечистыми, Аниска и спутник ее прошли через вторую цепь ярко пылавших огней. Тут было заметно теплее. Змей погвел свою подругу к высокому креслу, не то из ярко начищенной меди, не то из червонного золота. Около этого подобия трона опять было холодно. Поставив ноги на маленькую красную скамейку, там сидел Некто, большой, недовольно сопящий, крылатый и черный. Синеватый огонек между больших загнутых рогов освещал полузвериный надменный лик с острыми, блестящими, темными, пронизывающими глазами.

Став на колени, левой рукой показала Аниска Сидящему кукиш, а правой повергла к поросшим густою черною шерстью ногам Хозяина праздника бутылку водки и колбасу.

“Не соленая”,— не то прошептала, не то подумала она, кладя земной поклон и целуя предупредительно поднесенное к ее губам холодное как лед раздвоенное копыто. Сидящая у трона старуха с коричнево-темным лицом и в черной рубахе спрятала приношение в корзину.

Аниска встала с коленей и, ведомая почтительно изгибавшимся перед Хозяином тем же Огненным Змеем, обошла трон властелина и снова нагнулась, чтобы поцеловать последнего сквозь вырез сиденья. Отблеск ярко пылавших огней трепетал на красноватом металле тронного кресла. Сунувшая было под него голову Аниска внезапно отпрянула в ужасе, но справилась с собою и неизмеримым напряжением воли заставила себя поцеловать... свое собственное бледное лицо, безучастным безжизненным взором встретившее поцелуй в холодные, неподвижные губы... Из рта этого окаменевшего близкого и вместе чужого лица чуть-чуть пахло сивухой.

Змей помог Аниске приподняться с колен и повлек ее в сторону.

— Живо,— не то шептал, не то шипел он на ухо ведьме,— а то он еще расспрашивать станет, сколько скотских и человеческих душ ты загубила, какие болезни наслала, у скольких коров молоко отняла; да потом тебя за твою леность и накажет. Пойдем скорей, пока он твою водку дует!

Вмешавшись в толпу покрытых мехом или одетых в дырявые платья бледных с серо-сине-зелеными лицами чертей и нагих колдуний, Аниска и ее спутник видели издали, как козлоногий Хозяин приказал побить какую-то ведьму, явившуюся к нему без особых заслуг и с пустыми руками.

Не щадя своих глиняных хвостов, два черта пребольно стали стегать не то негогадливую, не то слишком жадную бабу. Та громко выла и просила ее отпустить, обещая на будущее время стараться и принести в следующий раз целую четверть самого лучшего самогона и рубль серебром.

Одна за другою подходили к трону ведьмы, хвастаясь напущенными на соседей болезнями, выдоенным до крови скотом, испорченными свадьбами и другими делами. Смуглая с жесткими волосами молодая цыганка приволокла даже украденного ею где-то, хныкавшего потихоньку двухнедельного младенца. По безмолвному знаку Черного Козла десятки рук с крючковатыми пальцами потянулись к подарку, и маленькое белое тельце, жалобно пискнув, исчезло в разношерстной свите владыки ночного празднества. Принесшая дар была благосклонно отмечена когтем властелина, нацарапавшим какой-то знак на лбу осчастливленной колдуньи.

— Пойдем поближе к столам, чтобы место занять получше,— пригласил Аниску Огненный Змей.

— Только нельзя ли подальше от Черного? От хозяина. Я его боюсь. Того и гляди, обидит.

— Ладно. Я и сам не собираюсь тебя ему уступать... Ему только попадись, он на всю жизнь испортит,— отвечал Змей, пробираясь сквозь толкавшихся ведьм, бесстыдно заигрывавших с чертями, и нечистых, хваставшихся нагло своими лошадиными, ослиными, волчьими и прочими

звериными членами. Некоторые явно гордились глинными когтями на пальцах рук и ног. Часть была в шляпах, скрывававших остроконечную маковку головы и рога. Другие, наоборот, не без тщеславия, выставляли последние. Двое или трое имели роговые наросты в виде когтей не только на пальцах, но и на локтях и коленях. Значительное большинство нечистых было обезображено каким-либо недостатком: сбитые на сторону или приплюснутые скотские носы, рты до ушей, косые глаза и торчащие мохнатые уши обнаруживали нечеловеческое происхождение их владельцев.

Аниска невольно взглянула на своего спутника и рассмотрела, что, когда тот смеется, у него видны острые, тонкие, загнутые, совсем как змеиные зубы.

Ведьме стало страшно, и она грозила.

— Поздно! Разглядывала бы раньше,— грубо сказал Змей и, отвернув лицо, повел Аниску к столам...

На деревянных и глиняных тарелках, блюдах и плоских там обильно были расставлены: толстыми кусками нарезанное сало, мелко крошенное вареное и жареное мясо, колбаса, гуси, творог, простокваша, груды ломтей сероватого крошащегося, явно с какою-то подмесью хлеба, горы вареного картофеля и большое количество бутылей и кувшинов с напитками. Не было видно ни яиц, ни рыбы, ни солонки.

Около этих столов вертелись уже, похотливо облизываясь и потирая сморщенные жилистые руки, несколько старых ведьм и одна совсем молодая, почти еще девочка, с толстым животом, тонкой шеей и необыкновенно длинным разрезом глупо улыбавшегося рта. Похожие на мочалку волосы торчали нерасчесанными жесткими прядями. Девочка посылала себе в рот ломоть за ломтем со стоящих на краю стола блюд. Около нее сидел, пуская слюну, большой борзой кобель белого цвета.

— Это подменыш. Она должна скоро умереть,— пояснил Змей, заметя удивленный взгляд своей спутницы.

Оттуда, где стоял трон Черного Козла, долетел тонкий, поразительно острый звук серебряного колокольчика. Ведьмы сразу притихли и, сложив руки на животе, замерли с

молитвенным видом. Сидевшая на плече у одной из них жаба сделала то же. Вблизи столов прошел толстый, седой, степенный и хмурый не то колдун, не то ведьмак в черной рясе и, быстро подойдя к игиотке-подменьшу, ударил ее палкой. Та, глупо ухмыльнувшись, сказала старику какое-то паскудное слово и быстро скрылась под стол. Кобель, которому тоже попало, визгнул и, поджав хвост, последовал за игиоткой...

Среди наступившей тишины явственно долетали наиболее громкие слова проповеди Черного Козла, покрывавшие похожий на весеннее воркование лягушек восторженный шепот колдуний:

—...Вредите!.. Пусть голодают и ропщут... Не жалеете сил... Следите одна за другою... Таитесь от чужих... Воздам тайно... Мстите, мстите, мстите! — закончил наконец Хозяин празднества свою краткую, но сильную речь.

Заметив вдали розовое знакомое лицо и нескладную фигуру Степки, Аниска забеспокоилась, и, лишь когда та села, молодая ведьма заняла место за другим столом, как можно дальше от соперницы.

— Я не люблю ни падали, ни человечины, — обратилась она потихоньку ко Змею, — после них у меня всякий раз живот болит. Что бы тут мне съесть, чтоб потом худа не было?

— Ежели у тебя слабый живот, чего я раньше не замечал, — ответил тот, — трескай молочное. Лучше всего — творог или парное молоко. Можешь отведать и картошки; а из напитков пей одну водку.

— А откуда здесь такое красивое розовое сало? — спросила Аниска.

— Из разных мест. Есть и с кладбища, — тихо прошипел ей на ухо Змей.

Сам он без всякого опасения лопал и сало, и колбасу, и крошеное мясо с капустой, и хлеб, которые большими кусками исчезали в широкой пасти его с многочисленными острыми зубами.

“С кладбища?! Оттуда же, значит, и шелковая юбка, которую ты мне принес, — подумала Аниска. — Выпить

разве с горя?” — И она потянулась к большому графину мутно-зеленого толстого стекла.

Самогон там был хотя и плохо очищенный и даже не слишком крепкий, но в нем чувствовалась, кроме того, какая-то гурманящая голову примесь.

Змей усердно наливал ей чашку за чашкой.

Благодаря яркому свету костров Аниска могла рассмотреть эту маленькую чашку из тонкого фарфора, с отбитой ручкой и чуть заметной трещинкой внутри. Снаружи по зеленоватой глади вился затейливый темный узор.

— Откуда бы такая? Кажись, из господского дома? — спросила Аниска.

— Одна девчонка недавно на поклон Хозяину принесла, — ответил, по-видимому довольно осведомленный по хозяйственным вопросам, Огненный Змей.

Ведьма посмотрела вдоль глинными рядами стоящих столов. Среди явно преобладавших численностью бабьих ведьминских лиц здесь и там были видны ослиные, волчьи, собачьи и медвежьи морды, торопливо чавкавшие, порой без помощи рук, с поодвинутых поближе мисок и плошек. Лишь немногие из присутствующих пользовались вилками. Ножей нигде не было видно. Отчасти для того, чтобы гости, поспорясь, не перерезали бы друг друга, отчасти — чтобы нож случайно не скрестился с вилкой.

Мало-помалу опустели тарелки и блюда на покрытых грубыми домоткаными скатертями глинных столах. Кубшин и бутылки тоже были почти все осушены. Охмелевшая нечисть и пьяные бабы громко кричали, спорили, визжали и горланили песни. Некоторые сводили между собою старые счеты. Две ведьмы даже погрались из-за чьей-то давно подохшей коровы. Одна из этих баб закатила другой, голова которой была увенчана деревянным подойником, звонкую оплеуху.

Обиженная схватилась за ручку чуть не упавшего наземь подойника и ударила им врага по полулысой сегой голове. Получившая удар успела схватить вилку и хотела ткнуть ею в шею противницу, но ошиблась и попала в плечо, на котором сидела большая серо-бурая жаба. Проколота

гадина стала пищать. Ушибленная подойником ведьма изрыгала громким голосом богохульскую брань, а обладательница жабы, тоже, по-видимому, тронутая вилкой, надела поспешно снова подойник и куда-то, визжа по-пороссячи, убежала. Растолкав собравшуюся толпу, взобралась на стол полуконская харя и, топоча копытовидными чоботами, с похожим на ржание смехом, стала плясать среди пустых стаканов и блюв.

Аниска допила свою чашечку и почувствовала, что совершенно пьяна. Ей показалось, что не то она подымается куда-то вверх, не то стол с остатками пира уходит под землю. Скамейка тоже куда-то мгновенно исчезла, и Аниска непременно бы упала, если бы под нею не очутилась случайно выбежавшая на четвереньках из-под опускавшегося стола идиотка-подменьш. Последняя, стараясь выкарабкаться и освободиться, укусила Аниску за ногу. Ведьма выпустила ее из-под себя и, шатаясь, пошла по неровной, точно волнующейся, земле...

На месте недавнего пира было теперь пустое, гладкое место, где молодые и старые колдуньи с одинаковым рвением собирались пуститься в пляс.

По знаку, данному Черным Козлом, вновь загремел громко бубен из кожи удавленника, запищали гнусливо в гудки из мертвых костей болотные бесенята, громко подражали трубному звуку не нашедшие себе загробного покоя опившиеся некогда музыканты.

Черный Козел открыл бал с той самой, как и предполагала Аниска, худощавой, по-господски причесанной белокурой ведьмой. Светлые, широко раскрытые глаза последней были совершенно неподвижны, как будто никого и ничего вокруг не видя. Следом за ними, с невероятною легкостью, закружилась в одиночку, потрясая захваченною с собой метлой на глинной гнущейся палке, взлохмаченная старуха. Хлопая себя пятками по заду, запрыгала с визгом, тоже в одиночку, молодая рыжая ведьма. Крича и воя, завертелась вокруг них в хороводе, вперемешку с ведьмами, нечистая сила. Некоторые, в том числе и Аниска, прорвались внутрь бесовского круга и плясали попарно. Молодой ведьме казалось, что она летает по воздуху в сильных объятиях

Змея... Кто-то, ушибленный ею, пытался отнять ее и, схватив за обе ноги, убежать, кто-то царапнул больно по заду. Аниска от кого-то отбрыкивалась, хохотала от щекотки и кричала что было мочи...

Наконец одетый в красный кунтуш кавалер вырвал свою подругу из толпы и посадил ее к себе на плечи. Сверху Аниске удалось на миг рассмотреть, что значительная часть танцевавших переплелась уже в самых разнообразных и неожиданных сочетаниях, частью на земле, частью продолжая двигаться и даже плясать. В этот миг Змей, исполнявший замысловатый, заставлявший дивиться его гибкости танец, обо что-то или о кого-то споткнулся, и Аниска опять свалилась вместе с ним в кучу нечистых, с воем и пытением барахтающихся в объятиях у ведьм. Она вновь почувствовала, что ее кусают, мнут, лижут и щиплют, дышат на нее сивухой и какими-то жуткими смрадными запахами, и это продолжалось до тех пор, пока вырвавшийся от облепивших его колдуний Огненный Змей не поднялся на ноги и опять не отбил от толпы свою подругу. Схватив ее на руки, Змей побежал по направлению к куче камней, у которых стояли ведьмовские метлы. Толпа ведьм, разъяренных тем, что нечистый в красном кунтуше их избегает, с воем и угрозами гналась за ним с Аниской. Такой крупный и крепкий с виду самец, как Огненный Змей, представлял собою завидную приманку для обезумевших от похоти баб, которым уже нагояли полусонные ласки оживленных мертвецов и разная мелкая лесная и болотная нечисть.

— Садись на свое помело и лети что есть духу! Не то замучают и растерзают обоих,— прерывающимся, тревожным голосом скорее прошипел, чем прохрипел Змей, запахивая на бегу свой разорванный в клочья кунтуш, из-под которого виднелось чешуйчатое темное тело.

Разглядев на земле свой опрокинутый кем-то рогац с помелом, на которых видны были обрывки бечевки, Аниска оседлала его и произнесла шепотом тайное слово. В тот же миг она взвилась в поднебесье и опять почувствовала, как шумит в ушах рассекаемый ею воздух.

Заслышав летевшие ей вдогонку дикие вопли, Анисья оглянулась и посмотрела на землю. Там, у костров, копошилась куча поймавших-таки Змея в красном кунтуше, торжествующих ведьм... Видно было, что на этот раз приятелю Аниски вырваться не удастся. Жалобные мольбы, шипенье и крики его смешивались с бранью и угрозами сладострастных и мстительных, молодых и старых колгуний...

Обратный путь казался Аниске гораздо короче. Обильно натертые волшебною мазью ухват и помело хорошо знали дорогу и стремглав неслись по направлению к Заречью.

Головой вниз, слабеющими руками держась за ржавый рогач, нырнула колгунья в дымовую трубу и скорей упала, чем сползла на пол с припечка. При этом ушиблен был довольно сильно затылок, и, частью от боли, частью от слабости, Аниска вновь потеряла сознание...

С тяжелою, как свинец, головою очнулась, грожа от холода, голая ведьма на деревянном полу своей избы. Под нею лежало вздетое на ухват помело с обрывками веревки. Тело было покрыто сажей и следами щипков; на заду давала себя чувствовать большая царапина. Помило, как от побоев, живот, спину и грудь. Все существо Аниски было объято невероятной усталостью.

Весь день она то опохмелялась, то примачивала отваром целебных трав свою царапину на сиденье. Пришедшей к ней погадать бабе ведьма насулила столько побоев от мужа, болезней в доме и других неприятностей, что эта баба перестала с тех пор ее посещать.



Удостоверившись, что у него есть соперник, и такой соперник, встретиться с которым и даже иметь что-либо общее крещеному человеку не только зазорно (это еще

куда ни шло), но и небезопасно, Максим гавно уже решил развязаться с Аниской. Неожиданно представился благоприятный для этого случай. Парень получил от скоропостижно умершего бездетного дяди своего в наследство пять десятин купленной земли, что при его собственных двух с половиной гавало ему возможность быть достаточным человеком. Для того чтобы начать самостоятельное хозяйство, молодому одинокому парню не хватало только сильной и здоровой жены.

Максим мысленно перебирал огну за другою деревенских девок.

Самая здоровенькая, конечно, Параха. Кулачищи у нее — во! Под сердитую руку, да еще во хмелю, ей не попадайся. А работает зато, как дюжая кобыла. Акулина тоже сильна. Антипке так раз в моргу звезданула, что тот недели две с синяком под глазом ходил... Да и характер у нее, пожалуй, повеселей будет, чем у Парахи... Вот только родни бедной много. А этого не надобно, чтобы братцы да сестрицы попрошайничали. Нам от жениной родни убыток, а прием нужен, чтобы, значит, честь честью... Парашка потому, пожалуй, сходней будет. У отца ейного (богатый кацап) больше десяти десятин. Хоть и скуп, а если поторговаться хорошенько, непременно десятину-другую выграть у него в приданое можно.

Максим решил свататься за Параху.

Собственнику семи с половиной десятин, рыжему, франтовато одетому и даже на помаженному парню, когда он пришел свататься, принеся с собою каравай житного хлеба и пару бутылок водки, отказа со стороны Параскиных родителей не было. Засидевшаяся несколько в невестах Прасковья, после недолгих размышлений, тоже согласилась, потребовав только, чтобы жених прекратил знакомство с Аниской.

Максим дал это обещание и на другой же день пошел в последний раз повидаться и объясниться с черноволосою ведьмой.

Не без волнения перешагнул он порог знакомой ему, как своя собственная, хаты и со смешанным чувством

грусти и беспокойства взглянул на показавшуюся ему теперь совершенно чужою Аниску.

Та, стоя у стола, на котором расположены были разбираемые ею во время прихода парня целебные и волшебные травы, с видимым равнодушием стала слушать Максима.

Тот, рассказав, что был свидетелем посещения Аниски Огненным Змеем, заявил, что не желает больше встречаться и соперничать с последним, а потому и не будет вперед ходить в ее хату.

— Свояком всякой бесовской гадины быть не желаю, — гордо закончил он свою возбужденную речь.

— А кто тебе сказал, зачем тот, о ком ты поминаешь, был у меня? — строго нахмуриль густые, почти сросшиеся черные брови, ответила ведьма. — Ежели ты за нами подглядывал и подслушивал, то тебе, конечно, жить недолго осталось, — зловеще-спокойно, словно сквозь зубы, процедила Аниска.

— Видеть, как ты его забавляла и как он тебя утешал, я не видел. Да это и не нужно. Всякий знает, за каким делом огненные змеи и всякая прочая нечистая сила к ведьмам летают, — ответил, не потерявшись, Максим.

— Ну, а если не видел, кто ко мне за каким делом летал, то и молчи, пока цел!.. А то тоже: “Свояком быть не хочу!”... Очень мне тебя нужно, сволочь напозаженную!.. А за то, что ты все-таки подглядывал и около моей хаты таскался, когда я тебе это запретила, я тебя сама прогоняю, и еще прибавлю: ни на какой ты Параске не женишься! А если и женишься, то ничего из твоей свадьбы не выйdet! Слышал?! Ступай теперь вон, пока я тебя в кобеля паршивого не оборотила! — закричала Аниска, гневно замахиваясь на своего бывшего возлюбленного деревянной клюкой.

Парень не заставил себя долго ждaть и шарахнулся вон из избы.

Он понял, что излишнею развязностью приобрел себе в лице своей бывшей подруги опасного врага.

“Надо мне было ей сказать, что я боюсь этого самого Змея. А я важничать стал, гадиной его назвал. Ну

конечно, обозлилась... Теперь держись, Максимка", — озабоченно соображал парень, шагая в сумерках к своей маленькой хибарке, из которой он со дня на день собирался перебраться в просторный дом, унаследованный от дяди.

Аниска действительно отомстила.

Когда после венчания, окруженный грузьями и родными, Максим выходил вместе с улыбающейся во весь свой широкий толстогубый рот Парахой на церковную паперть, из толпы бывших в ограде односельчан слышался громкий и резкий знакомый голос:

— Максимка!

— Чево? — невольно откликнулся тот.

Вместо ответа Аниска начала торопливо завязывать узлы на принесенной ею небольшой, с четверть аршина, веревочке.

— Пока завязано — не выпрямится, — злорадно прошептала она и, пряча веревочку, скрылась в толпе.

Максим побледнел. Он, хотя и не видел, что делает его бывшая любовница, понял, что она не за добрым делом явилась к нему на свадьбу.

Смущенно, забыв про невесту, бормоча что-то под нос, полез он на воз, куда, стараясь скрыть недовольство и подозрительно поглядывая то вслед убежавшей Аниске, то на лица стоящих вокруг девок и баб, стала взбираться вслед за ним разряженная широкобедрая Прасковья...

Молодая оправдала мнение Максима о силе ее. На другой день после свадьбы не вполне оправившийся после похмелья новожен оказался с синяками от побоев, которыми в порыве неудовлетворенной страсти наградила его обманутая в своих ожиданиях молодая...

О неприятности, постигшей Парашу и Максима, узнали родственники и той, и другого. После долгих советов и пересудов решено было пригласить из дальнего села знающего человека. Когда его привезли, человек этот осмотрел Максима, подговаривался, хотя безуспешно, осмотреть

заодно и Парашу, потребовал затем стакан с водой и долго смотрел в последний, сокрушенно и сочувственно покачивая головою.

— Завязано,— наконец сказал он с далеко не веселым видом.— Кабы ты со мной до свадьбы посоветовался, я бы тебе сказал: льняного семени в оба сапога насыпь. А теперь это не поможет... Сделаю, что могу... Только, смотрите, чтобы никто той женщине не передал, что я делать буду... И даже чтобы она не знала, что я был тут.

Затем, нашептывая заклинания, знающий человек с черной бородою, из дальнего села, потребовал овсяной и пшеничной соломы, отобрал несколько соломинок поровнее и, налив в каждую из них по капельке ртути, заделал воском концы и приказал положить под постель молодых. Кроме того, знахарь дал для Максима пузырек с зеленоватою жидкостью, несколько капель которой тот должен был пить каждый вечер в рюмке водки за ужином.

— А лучше всего, если бы можно было выкрасть или купить у той Аниски веревочку с узлами,— сказал он, уезжая.— Коли удастся достать, тотчас эти узлы развяжите. Тогда еще скорей снимется... Только еще раз говорю: упаси Бог, чтобы она не узнала, чем я Максима лечил.

Человеку с черной бородой вручено было полтора рубля серебром и каравай пшеничного хлеба, с чем он и уехал обратно.

Неизвестно что: жидкость ли, принимаемая внутрь, или наговоренные соломинки со ртутью под постелью, но некоторое время средства, данные знахарем, хотя и слабо, но действовали.

К несчастью, каким-то чудом дознавшаяся об этом Аниска прибавила на своей наговоренной веревочке еще несколько новых узлов, и Максим с Парашей окончательно приуныли.

Они ссорились между собою, и новожену пришлось выслушать много неприятных вещей со стороны ставшей

раздражительною и почти обратившейся в чертовку Пархи.

Обозленная молодуха хотела было повыбивать окна в хате Аниски и оттрепать самое ведьму, но рогные ее от этого отговорили.

— Как бы еще хуже тогда эта сука тебе не сделала, — шепотом предостерегали бабы.

Над Максимом посмеивались его бывшие друзья, шутиливо предлагая заменить его в супружеском деле. Прасковья открыто презирала своего постигнутого неприятностью мужа. Несчастный пробовал было обратиться к тезке ее, старой знахарке Праскухе. Та тоже дала ему трав и порошок, но средства эти помогали плохо. Максим загрустил и начал разгонять печаль свою водкой. В бредовом пьяном сне ему являлись то Горпина, то Аниска. Одна из них манила к себе бросившего ее когда-то любовника, другая гонялась за Максимом, грозя высосать всю его кровь за то, что он смел поглядывать в окно, когда в трубу к ней прилетал Огненный Змей.

Горячечный бред Максима, упоминавшего про питье крови, выдаиванье молока и появление нечистой силы, настолько напугал его молодую жену, что та не хотела оставаться с ним наедине. Неприятно действовала на нее и сонная болтовня мужа о его прежних отношениях с Аниской и Горпиной.

Образ последней часто манил его к себе, обещая прощение и новые ласки. Призрак утопленницы уговаривал Максима бросить земную человеческую жизнь и быть с нею там, где не нужно ни работать в поте лица, ни беспокоиться об уплате податей или о сборе урожая. В сравнении с мрачно насупленным и недовольным лицом Прасковьи являвшиеся ему во сне черты бывшей любовницы были настолько приятны и благожелательны, что Максим привык к ней и даже был недоволен после ночей, когда ему не снилась Горпина.

Это не мешало, однако, молодому мужику мало-помалу втянуться в тяжелую и сложную работу

самостоятельного домохозяина. Усталый приходил он к вечеру домой и, обменявшись несколькими деловыми словами с женою, тотчас же после ужина заваливался спать.

Однажды ночью Максим проснулся, так как ему показалось, что кто-то тихо барабанит в окно. Сперва он подумал, что это дождь, но звук был несколько иного свойства, и потревоженный хозяин приподнялся на своей постели. В избе было тихо. С соседней лавки слышно было ровное дыхание расположившейся отдельно Прасковьи, а с печи несло храпенье взятой последнею для помощи в хозяйстве Максимовой тетки, Акулины. В незанавешенное окно лился поток лунного света, глинной полосой тянувшийся по полу. За оконною рамою, на дворе, кто-то стоял. Собственно говоря, Максим уже знал кто, но, как бы желая проверить, встал со своего сенника и подошел к окну. Действительно, в полутора шагах от него, заглядывая внутрь избы, недвижная, как изваяние, застыла Горпина. Когда странный взор ее казавшихся стеклянными глаз встретился со взглядом бывшего возлюбленного, белое как мел лицо призрака дебушки словно ожило и губы тихо зашевелились. Хотя слов и не было слышно, но Максим всем своим существом почувствовал смысл этой беззвучной и тем не менее властно призывающей речи. Накинув на плечи суконный армяк, которым покрывался, молодой хозяин бесшумно отворил входную дверь и вышел в сени, а оттуда на двор.

— Зачем пришла? — спросил он тихим подавленным шепотом.

— За тобою, — был строгий ответ.

— Куда же мне идти?

— А куда хочешь. Хоть в этот сарай. Оставь там свитку и тело своей толстомясой жене, а потом, налегке, отправись вместе со мною. Мне не с кем играть, и другие смеются, что я все одна да одна. Я тебя простила и не хочу больше расставаться с тобою. Обижать и попрекать тебя я больше не буду. Только летим вместе со мною!

И Горпина, отступая к полураскрытым воротам сеного сарая, манила за собою Максима.

Тот вошел туда вслеп за Горпиной.

— Миленький мой,— ласково шептал ему призрак.— Тут и веревка есть с петлей на конце, крепкая... Ты на ней сено носишь коням. Ты привяжи ее к балке, а петлю затяжную вниз спусти. Тело свое повесь и оставь в этой петле. Я тебя тогда поцелую, приласкаю, и мы улетим отсюда прочь, навсегда. А Праскутке некого будет больше толкать и шпынять.

Максим молча и послушно исполнял все то, что говорила пришедшая за ним любовница. Сбросив с себя армяк, сделал он мертвую петлю на одном из концов веревки, другой же конец прочно привязал к "легаре" — бревну, соединявшему под крышей противоположные стены сарая. Стоя затем на перекладине подставленной им лестницы, вдел, пропащая голова, шею свою в петлю и взглянул на Горпину. Та подошла совсем близко и ласково, с улыбкой, смотря широко раскрытыми глазами на Максима, ждала.

Парень, в свою очередь, растерянно улыбнулся и после короткого колебания спрыгнул с лестницы, оттолкнув ее ногами. Руки и ноги самоубийцы зашевелились и задергались...

Шею Максима больно, как железом, сжимала и помила петля; в глазах стоял красный туман, руки и ноги судорожно передергивались, как будто он плыл в этом тумане. Лицо Горпины пропало, и в ушах качавшегося в петле звенел только ее когда-то знакомый, почти позабытый им смех. Красный туман делался все темнее, и Максим, тщетно стремясь найти в нем Горпину, описывал на своей веревке казавшиеся ему большими круги... В действительности круги эти становились все меньше и меньше. Веревка мало-помалу перестала качаться, и висевший на ней человек уже не шевелился...

Утром Прасковья с Акулиной заметили отсутствие в хате Максима. Чувствуя недоброе, обе они тотчас же отправились на поиски. Искать пришлось недолго. Войдя в полуоткрытый сарай, женщины остановились как вкопанные.

Максим висел неподвижно, в одном лишь белье, на веревке, употреблявшейся им для ношения сена скоту. На лице повесившегося застыло выражение удивленья и страха...

Громко заголосив, обе бабы выскочили на двор из сарая.



— Куда бы мог деваться этот самый Анкудиныч? — спрашивал порою Водяник, недовольный заместителем последнего Белобрысым, у своего мудрого губового друга.

— Ведь ты, кажется, собирался скормить его сому, — отвечал бесстрастно игол. — Вероятно, твой слуга предпочел как-нибудь иначе устроить свою судьбу... Ты ему давал, помнится, какое-то поручение?

— Верно, давал... Привести мне бесовку из болота.

— Ну, так и ищи его там.... Если ты можешь, конечно, туда добраться, — прибавил с оттенком сомнения игол.

— А ты думаешь, что я побоюсь туда идти или не дойду? — ответил раззадоренный недоверием к своим силам Водяник. — Сегодня же ночью пойду! По крайности, хоть поблудаюсь кой с кем да умные речи послушаю.

Едва наступил вечер, донный хозяин, оборотясь серым селезнем, поплыл вверх по течению впадающего в Ярынь ручейка. Повелитель Ярыни хорошо знал, что ручеек этот вытекает из заросшего мхом лесного озера, где живет его троюродный брат по матери, рогатый болотник.

Он твердо решил, напомнив последнему о своем родстве, посвататься за одну из подвластных Трясиннику красавиц.

Покрякивая от предвкушенного удовольствия, плыл новоявленный селезень, перебирая черными лапками, мимо неподвижных, в темно-бледную мглу уходивших головами своими сосен и елей.

Вечерние звезды отражались в журчащем сквозь размытые корни ручье. Запоздалый вальдшнеп, собираясь

опуститься на туманной полянке, низко пролетел над утиною головой Водяного. Какие-то зверьки развозились, пища в прибрежных кустах. Робкий заяц, заслыша, как что-то шуршит в прошлогоднем тростнике, насторожил уши и, нюхая весенний воздух, приподнялся было на задние лапки. Но завидев, что это лишь селезень и беспокоиться нечего, косою вновь опустился на все четыре ноги и, не обращая больше на птицу внимания, стал пить холодную, мимо бегущую воду.

“Хорошо, что не лиса. Та, пожалуй, мигом бы перекусила мне шею, раньше чем я успел бы объяснить ей ошибку или принять прежний мой вид. Того и гляди, схватит какая-либо зверюга... Ручеек-то ведь узенький... Лучше я пошлепаю дальше собственными своими ногами”.

Нырнув и перевернувшись трижды в воде, осторожный повелитель Ярыни принял мгновенно обычный свой образ лысого, толстого, на лягушечьих ногах, старика.

“В этом виде идти тоже, конечно, не безопасно. Здесь, в ручье, жила некогда какая-то древняя водяница. И тутошние лешие так досаждали старухе своими пристаиваниями, насмешками и обидами, что той надоело тут жить, и она ушла неизвестно куда... Ну, да князя Ярыни не так-то легко обидеть”, — решил Водяной.

По колено, а порою по пояс и глубже в ручье, брел он уверенным шагом, пока не добрался до болота, откуда этот ручей вытекал.

Так как русло последнего загромождено было кое-где замшившимся корягами и заросло ивняком, то Водяной предпочел наконец пойти берегом, который становился все более и более топким.

Моховой ковер гнулся под его шагами и, словно волнуясь, колыбался. Местами среди кочек чернели, отражая ночные звезды, круглые отверстия окон.

Но отверстия эти, по нетронутому, непримятому виду окраин своих, не служили еще входами в жилище Болотника. Кругом не виднелось больше деревьев, и среди покрытой сухой прошлогодней осокой, ползучими кустами и мохом трясины все было пустынно и тихо.

Водяник старался припомнить, в какой части болота он в последний раз, много лет тому назад, навещал своего

родственника, но местность так изменилась, что трудно было что-нибудь сообразить.

Визг, раздавшийся неподалеку, заставил старика обернуться и пристально вглядеться в темную заросль низких темных кустов. Оттуда выбежали два существа, из которых одно побольше преследовало другое, пронзительно визжавшее не то от боли, не то от страха.

Опытный взгляд Водяного сразу узнал в этих существах, еще безрогих и безкогтых, молодых представителей болотного бесовского племени. Тот из них, который был поменьше, стремительно проскочил мимо и скрылся среди кочек в прошлогодней траве, но преследовавший маленького, больших размеров бесенок наскочил с разбегу на неподвижно стоявшего пришельца.

Юный лозовик настолько испугался при виде пришельца, что даже остолбенел на мгновение, чем и воспользовался успевший схватить его повелитель Ярыни.

Сипло пища и брыкаясь, бесенок то грозил гневом Дедки-Болотника, то жалобно просился на волю, и очень был удивлен, когда Водяник обещал его отпустить, как только тот покажет ему жилище своего господина.

— Это недалеко. Вот за теми кустами голубики, откуда я выскочил, пойдут низенькие сосенки... не очень частые; не бойтесь, гяденька, пройти можно. А за ними опять топь с озерком посредине... Вход только не с озерка, а ближе к краю, неподалеку от леса.

Успокоившийся несколько бесенок показывал путь, а не выпускавший его из рук Водяник быстро, но не без достоинства, подвигался по моховому болоту.

Показавшаяся возле одного из окон бесовка начала было манить к себе пальцем гостя с Ярыни, но когда тот подошел поближе и трясинная прелестница убедилась, что подле нее такая же нечисть, как и она сама, болотная дева плюнула с досады и быстро ушла в густую черную воду.

— С чего это она так рассердилась? — спросил Водяник.

— Она, гяденька, тайком от хозяина нашего с живым человеком побаловаться захотела. Так, чтобы его не топить, а отпустить, чтоб и впредь к ней мог приходиться... Ох, как

за нашими девками глядеть нужно! — стал объяснять гостю с Ярыни бесенок.

— А что же вы не глядите?

— Мы и глядим. Да разве за ними уследишь?! Хитрее всякой лисы след свой запутать умеют.

Разговаривая таким образом, Водяник и его провожатый добрались почти до самого жилища Болотника. Встретившие их бесенята постарше, с уже прорезающимися рожками, почтительно приседая, показывали гостю кукиш и вежливо уступали ему дорогу.

— Сюда, дедушка, — показали они ему вход, в который и не замедлил погрузиться повелитель Ярыни, отпустив предварительно провожатого бесенка...

При бледном мерцании вмазанных в стены гнилушек и преломлявшей свои лучи в болотных водах луны восседал на обгрызанной ровно зубами своих бесенят коряге предрепрежденный о прибытии гостя Болотник. Увидя, что пришел не кто-нибудь, а родственник, да еще из числа почетных и знатных, родственник, с которым у него никогда не было никаких счетов и неприятностей, Болотник, радостно осклабив лягушечий рот свой, встал с коряги и пошел навстречу гостю с Ярыни. Родственники показали друг другу кукиш, что было весьма нелегко для заросших перепонкою пальцев Водяного, затем похлопали друг друга по объемистым животам и осведомились, кто из них что ел в этот день. Затем желтомордый и рогатый Болотник усадил гостя рядом с собою и спросил, как поживает посланный им некогда в дар двоюродному братцу через утопленника Анкудиныча младенец.

— Какой младенец?.. Я точно посыпал к тебе как-то этого самого Анкудиныча, да он не вернулся обратно. Я даже думал, братец, что ты оставил моего слугу у себя...

— На что мне твой утопленник?! В соседнем озерке у меня своих два десятка сидит. На службу ко мне он, точно, просился, но я его не оставил, а отправил к тебе с подарком. Пускай, мол, братские женушки позабавятся.

— Нет, он ко мне не ворочался. Попал, верно, по пути к Пешему в лапы. Такие они теперь злые стали и так

расплодился эти бородачи! Около вашего озера, говорят, несколько штук их живет.

— Не то чтобы очень расплодился, а леса кругом сводят. Вот они и сбиваются потеснее в одно место,— пояснил Болотник.

— Уж не знаю отчего. А только где раньше один-два их было, теперь пять-шесть стало. Таскаются денно и нощно по берегам да русалок высматривают. Как бы схватить которую да в лес утащить!..

— И у меня без малого то же. Чуть бесенок отойдет малость подальше, непременно задавят. И до болотниц, понятно, тоже ох какие охотники! Самки-то у них страшные, в шерсти все; так они жен моих, дочерей и племянниц (Болотник не хотел признаться, что у него было много поколений потомства) облюбовали. Лежат по целым часам в позняке, окаянные, сопят, а языки, как у собак, повиснуты. Или ржут по-лошадиному, гоготать и свистать начинают. И так свищут, что лист с деревьев сыплется.

— А вы, братец, одного-другого в озеро бы попробовали затянуть.

— Где уж тут! Он как боднет рогами своими, того и гляди брюхо распорет. Долго ли до беды!..

— А я одного прошлым летом чуть было в реку к себе не затянул. Он стал моих русалок ловить, да и подбежал близехонько к воде. Я его за ногу и хвать. Упал бородач, за кусты хватается, а я, знай, тяну. Совсем бы мой был, да Пешачиха его треклятая прибежала вместе с медведем и ну отнимать. Я вижу, дело не выходит, и отпустил поганца. Не смеет теперь даже близко к реке подходить...

— А я к вам, братец, за делом,— неожиданно даже для самого себя прибавил Водяник.

— За каким делом? — озабоченно осведомился хозяин топей и тростников.

— Хочется мне память какую-нибудь от вас иметь, и решил я попросить вас выдать за меня какую-нибудь из ваших дочерей или, скажем, племянниц, как вы их сами называете. Я бы ее держал как самую главную свою госпожу...

— Да ведь у вас русалки на то, братец?

— Ну что там русалки! Сами вы, поги, знаете утопленниц наших. Сначала куксится и ревет, ходит хмурая, дуется на что-то, а чем дальше, тем телесности в них этой самой все меньше становится. Только что привыкнешь, глядь, от нее ничего почти и не осталось. Один пар, можно сказать.... Никакой в них сладости нет, в этих русалках... Уж вы меня, братец, посватайте хоть за племянницу вашу!

Болотник нахмурился и потупил глаза, словно рассматривая, ровно ли лежит на полу тростниковая рогожка. Ему не нравилась просьба назойливого родича. Но внезапно он вспомнил о Марыське, которою был опять недоволен.

Кунья Душа проведала откуда-то в свое время про отлучку с болота соперницы и, опасаясь возможности новой милости для последней, донесла господину, что его прежняя возлюбленная вернулась раз откуда-то под утро вся избитая и что старая бесовка затирала ей лягушечьей икрой синяки на боках и спине. Тогда болотный царек оставил этот донос без особых последствий (мало ли чего не возводят друг на друга соперничающие между собой болотные самки!), но все-таки принял сообщение к сведению.

В уме трясиного владыки мелькнула теперь мысль сразу и удовлетворить домогательства братца с Ярыни, и отделаться вместе с тем от неверной жены.

Приняв поэтому торжественный вид, он поднялся на лапчатые ноги свои и произнес:

— Для вас, братец, ничего у меня заветного нет. Любимую мою племянницу за вас отдам. Сами сейчас увидите, какая гладкая...

И обратясь к сидевшим вдоль стенки чешущим и щекочущим друг друга втихомолку бесенятам, крикнул:

— Эй, вы! Привести сюда немедленно Толстую Марыську!

Несколько похожие на помесь лягушки с кошкою, бесшерстые существа побежали исполнять повеление.

В скором времени та, о ком шла речь, явилась, украшенная венком из желтых купавок, в поясе из длинных

стеблей и круглых темноглянцевитых листьев болотных растений.

Марыська взглянула сперва на Вогяного, потом на Болотника. Оба толстопузых старика показались ей одинаково гадкими и даже несколько похожими друг на друга. Трясинник был пожелтее лицом, темнее и грязнее телом. Вогяник — светлее и толще, без рог, с перепонками между пальцев не только задних, но и передних конечностей. У Болотника, так же как и у Марыськи, пальцы на руках были человеческие, с короткими, но острыми ногтями.

Поймав в редкой короткой своей бороде какое-то вогное насекомое, он звонко раздавил его на одном из этих ногтей, затем надулся, явно стараясь придать себе еще более важности. Выпученные жабыи глаза его исполнены были торжественного величия.

— Марыська, — начал он, — связанный гавнею дружбаю и кровным родством с донным властелином Ярыни, я отгаю тебя ему в жены, чтобы еще более скрепить это родство и запечатлеть нашу дружку. Будь верна и повинуйся ему. Ласкай и забавляй нового господина, как ласкала бы и забавляла меня, если бы оставалась здесь!

Марыська низко поклонилась и старому, и новому своим повелителям.

Затем Болотник принялся выхвалять достоинства выданной замуж болотницы, а Вогяной радостно слушал его, щуря на будущую супругу круглые, как у рыбы, глаза.

— Нравится ли тебе она? — спросил наконец гостя трясинный владыка.

— На вид хороша; на ощупь тоже упруга... гладкая... А об остальном после узнаю, — отвечал повелитель Ярыни.

— Если ты здесь хочешь праздновать свадьбу — озаботься прислать сюда несколько корзин крупной и мелкой рыбы и... как их там... еще больно, говорят, щиплются твердыми лапками и с усами...

— Раков, верно? Хорошо! Будут и раки... Только я думаю отпраздновать свадьбу в реке, куда и прошу тебя пожаловать, братец, со всеми твоими женами, племянницами и дочерьми. Невесту же мою ты отпусти вместе со

мною теперь же, чтоб она могла мне помочь в приготовлениях к брачному пиру. Через четыре ночи вовсе не будет луны. Путь поэтому будет для вас безопасный.

Болотник согласился немедленно отпустить Марыську (чем особенно хотел угодить Куньей Душе), и толстая бесовка отбыла в ту же ночь с нареченным супругом по направлению к Ярыни, в сопровождении нескольких, старшего возраста, болотных бесенят.

Следуя вдоль того же ручья, ни на кого не натываясь и не превращаясь даже в птиц или лягушек, благополучно добрались они до реки, куда и сошли как раз в то время, когда стал редеть предутренний туман, обволакивавший ее берега.

Провожавшие их до Ярыни пять бесенят пустились бежать обратно по направлению к болоту. В лесу они наткнулись на Зеленого Козла, который погнался за ними, но не мог поймать ни одного. Двое принуждены были, однако, вернуться в Ярынь, к Марыське, а трое благополучно достигли трясины.



Когда в условленный срок Болотник в сопровождении семи или восьми старых и молодых своих племянниц и жен и дюжины старших бесенят явился в назначенное ему место реки, никто не встретил почетного гостя; никто даже не выглянул ни из воды, ни из прибрежных кустов.

Без провожатого Болотник опасался почему-то лезть в реку и после безуспешного кряканья и окликаний водяного решился наконец попробовать вызвать хотя бы Марыську.

Однако та долго не появлялась на зов и лишь на знакомое хлопанье сильной ладоной по поверхности воды высунула наконец на поверхность заспанное недовольное лицо.

— Чего наготь? — спросила она сердито, как бы не узнавая своего прежнего хозяина и господина.

— Как чего наготь?! На свадьбу к тебе пришли!

— Отпраздновали уже! Я его, плешивца толстопузого, так изуродовала, что он еще со вчерашнего дня как убежал, так и назад не ворочался... Смеху-то было! На берег выскочил, а в лес бежать боится. Ну и пошел чесать вдоль реки. Так все по берегу и бежал, пока из глаз не скрылся... Не бойся, не вернется!..

— Когда так, то пойдем обратно с нами, в трясины, — предложил Болотник.

— Сами в трясины проваливайте. А мне и в реке хорошо. Я теперь здесь полная хозяйка. Коли хошь, так лезь сюда. Верное слово, не трону. Я только этого старика своего здесь и там исцарапала, а тебя, так и быть, не обижу... Не хочешь... Ну, как хочешь... Оставь мне своих бесенят парочку, чтоб не так скучно было, — закончила Марыська, видя, что ее нахмуренный бывший господин и его свита собираются восвояси.

Трясинник бесенят не дал и, недовольно урча, пошлепал обратно по мокрому прибрежному лугу. Бесовки, шепчась меж собой и с завистью оглядываясь на реку, следовали за своим повелителем. Им предстоял еще трудный и опасный переход до родимой трясины. Идущий впереди Болотник то и дело оглядывался, не позволяя отставать бесенятам. Он не был уверен, что те, узнав о привольной Марыськиной жизни в освободившемся от хозяина омуте, не перебегут туда самовольно...

Перемена власти во всегда спокойном илистом омуте и прилегающих к нему донных пространствах многоводной Ярыни случилась вот при каких обстоятельствах. Разочаровавшись в старом Водянике как в супруге, Марыська пожелала утешиться материнскими радостями и начала через вернувшихся к ней и оставшихся в Ярыни двух бесенят наводить подробные справки о чернобородом утопленнике Анкудинныче и о младенце, с которым он должен был вместе прийти в ту ночь, когда пропал. То и дело шепталась она с этими бесенятами и посылала их с поручениями в разные стороны.

Новые слуги новой жены брали пример со своей госпожи и склонны были признавать только ее. Повелителю Ярыни, привыкшему к рабской покорности утопленников и русалок, не нравилась такая независимость, которая могла явиться дурным примером для других обитателей дна. Недовольный тем, что один из бесенят недостаточно низко ему поклонился, Водяник закатил несчастливцу такую пощечину, что маленький лозовичок упал и долго не мог подняться на задние лапки.

Марыська воспользовалась наказанием бесенка как поводом для того, чтобы излить всю желчь, которая у нее накопилась на сердце.

— Не смей трогать моих слуг, толстобрюхий жабий самец! — взвизгнула она. — Это тебе не утопленники! Что глаза-то выпучил, урод старый?.. Морда твоя лягушечья! Нечего рожки страшные делать! Не боюсь! — продолжала бесовка, наседая на Водяного.

Тот действительно, угрожающе пыхтя, оскалил щучьи зубы свои и хотел было ухватиться сильными перепончатыми пальцами за пышные черные косы Марыськи.

Но та предупредила супруга и с новым визгом вцепилась ему в раздутую, сразу утратившую грозное выражение морду острыми своими когтями, явно при этом добираясь до выпученных глаз. Одну из ее рук Водяному удалось оторвать от разогранных ноздрей, но не на радость: бесовские когти скользнули вниз по животу, едва при этом не выпустив внутренностей. Вторая рука опустилась вслед за первой, царапая и вцепляясь во все, во что только можно вцепиться.

Острые когти болотной красавицы так сильно и жестоко исполосовали в разных местах толстое тело донного владыки, что тот, не помня себя от боли, выскочил из реки и долго бежал вдоль берегов, не смея опуститься в прежде всецело ему принадлежавшие струи. Лишь когда стало почти вообще светло, бултыхнулся он в свежую воду, приятно охладившую его бегом разгоряченное тело. Там отдохнул изгнанник на илистом дне под высоким обрывистым берегом. Выпуклые глаза его вновь освежала желто-зеленая

муть, в которой грожали, искрясь, частицы проникшей на дно солнечной пыли.

Тут понял он, что вернуться обратно — значит обречь себя на постоянную пытку беспокойства и унижений. Водяной решил поэтому не возвращаться, но перекочевать как можно дальше, вниз по течению Ярыни, поселиться где-нибудь возле заброшенной мельницы и там скрываться, пока не зарастут оскорблявшие его достоинства раны. Утопленники и русалки найдутся везде, и старик рассчитывал, что ему вновь удастся обзавестись хозяйством и женами. Водяному было грустно лишь при мысли о том, что он лишился такого верного друга и собеседника, как дубовый игол Перуна, деливший с ним зимнюю скуку и терпеливо переносивший дурное расположение духа властелина Ярыни.

Старый Водяной не знал, что изуродовавшая его коварная бесовка не только провозгласила себя госпожою и подчинила себе всех окрестных утопленников и русалок, но посягнула даже на спокойствие его дубового друга. Узнав, что тот был некогда богом, Марыська приказала откопать полузасыпанного илом деревянного игола. Воздав затем последнему божеские почести, бесовка провозгласила Перунов истукан своим мужем и новым повелителем Ярыни.

И тот, кто некогда раскатывал, грохоча, среди грозовых темных туч на сверкающей синим пламенем колеснице и метал раскаленные стрелы в испуганных демонов, тот, кто властной рукой обнимал когда-то небесных богинь, сам стал теперь подневольной забавой насильно сделавшей его супругом своим болотной бесовки.

Марыська довольно быстро освоилась с новым своим положением повелительницы Ярыни. Из русалок никто на столь высокий сан не посягал, и соперниц в этом отношении у нее не было. На утопленников новая госпожа навела должные страх и уважение своими звериными когтями. Все они видели, что от сердитой бесовки убежал сам Водяной. Приказания свои Марыська отдавала по большей части чрез преданных ей болотных бесенят, от

имени деревянного бога, женою которого себя объявила. На глазах всех обитателей гна обнимала она губовое тело истукана, прижималась к старику и шептала ему на ухо (так, чтобы слышно было) полные самой бесовской страсти слова. А иногда и сама прикладывала ухо к украшенным некогда золотыми усами губам игола, как бы выслушивая его беззвучную речь, и сама тут же передавала испуганным подданным распоряжения нового властелина Ярыни.

Но все это было только для подвластного ей подневольного народа утопленников и русалок.

В настоящем же, неподдельном общении со своим новым мужем, у Марыськи были совсем иные с ним речи.

Бесовка была недовольна тем, что лишенный золотых усов и драгоценных камней на поясе истукан, безропотно воспринимающий ее супружеские ласки, не только со своей стороны не отвечает на них, но не желает или не может, хотя бы ради населения гна, погаты какой бы то ни было знак, что он не просто искусно составленный из больших и малых кусков окаменевшего дерева неприличный и неподвижный болван, но имеет нечто вроде жизни и в состоянии даже порой проявлять свое существование. О том, что у игола есть мысли, настроения, чувства и некое подобие двойника или тени, Марыська знала уже с первого часа супружества с ним. Потому-то она и приставала денно и ночью к молчаливому мужу:

— Выйди из своего деревянного обрубка и хоть на миг покажись этой лупоглазой толпе царем и богом,— просила она, прижимаясь к супругу.

— Я не в силах сделать этого,— отвечал обычно тот.— Я слишком ослабел за последние века, в которые мне никто не молился, не любил меня и не приносил мне жертв.

— А я разве недостаточно люблю тебя? — спросила Марыська.

— Твоя любовь только разжигает мои желанья, но не может утолить их. Она не в состоянии вернуть мне силы двигаться, быть осязаемым и зримым вне моего деревянного дома. Ты сама нуждаешься время от времени в страсти живых существ: людей или животных. Мне хорошо

известно, зачем выбегаешь ты из реки по ночам и возвращаешься лишь поутру. Мысленным взором моим я сопровождаю тебя и, зная, кто ты, не могу тебя осудить... Пойми же и ты, что для меня тоже нужны, если не вполне живые тела, то хотя бы такие, в которых есть частица своей или чужой жизненной силы... В давние времена я вдыхал эту силу вместе с испарениями крови зарезанных для меня отроков. Удовлетворенный этими жертвами, я грохотал среди темных туч, рассекал их сине-белою молнией, и обильное семя мое, проливаясь вместе с весенним дождем, оплодотворяло ненасытную Землю... Достань же для меня жизненной силы, чтобы снова я мог стать могучим и богрым.

— Хотя и теперь неутомимо крепкие губовые члены твои, но, раз это нужно, я буду впредь делиться с тобою той силой, которой набираюсь на берегу,— обещала Марыська.— Постараюсь впредь запасаться этой силой от людей и животных для нас обоих.

И, то в виде кошки, то собаки, то купающейся женщины, Марыська стала чаще и чаще пропадать по ночам...

Благодаря стараниям бесовки-супруги, жизненной силы в иголе накопилось мало-помалу настолько, что он мог однажды в грозовую ночь отделить от себя слабо светящийся синебато-стальным блеском двойник. Двойник этот, к ужасу утопленников, русалок и даже самой царицы речного дна, прошел медленно по дну реки и выбрался на берег, куда, ввиду блеска молний и частого грохота грома, не осмелилась за ним последовать Марыська. В украшенном тесно прилегающими друг к другу перьями, полупрозрачном, слабо светящемся одеянии, двойник деревянного бога стоял на плотине и, скрестив на груди мощные некогда руки, внимательно следил за пыловатыми вспышками, порезавшими грозное, черное небо. Лицо божественного призрака странно преобразилось. При каждой новой молнии все ярче загорались блеском светлые золотые усы, которых давно уже не было на губовом иголе. Грознее и грознее супились густые, как бы из почерневшего серебра, темные мохнатые брови. Ему хотелось крикнуть приводившим

Деревенские девочки не любили угрюмого “ведьменыша”, как они называли промеж себя Ксеньку, и почти не приглашали ее играть вместе с ними.

Родимое пятно на бегре, в форме лягушки, подмеченное ими как-то во время купанья, послужило источником всевозможных насмешек над бедным приемышем. “Да и ноги у нее в стопе широкие, словно у лягушки или утки,— говорили девчата.— Ее мать — лягуха из болота, а отец — утопленник или сам Болотный Дедко”.

Обращаемые сверстницами к Аксютке насмешливые вопросы о ее родителях послужили причиной того, что и так нелюдимая девочка вовсе перестала принимать участие в их играх и развлекалась, как умела, одна.

Иногда ее видели разговаривающей с Праскухиным котом, почти таким же старым, как сама знахарка.

Кот, положим, нечего не говорил и лишь изредка мурлыкал в ответ на Ксанькины речи. Видевшие это односельчане не преминули объяснить такую близость прирожденным ведовством подкидыша.

Ксенька никогда не расспрашивала бабушку Праскуху о своем происхождении, интересуясь главным образом ее ремеслом знахарки, в каковом действительно проявляла не по возрасту быстрые успехи.

Иной раз им дивилась сама старая ведунья.

— Кто тебя этому научил? — строго спрашивала та, видя, как девочка била, во время засухи, прутом по какой-то подозрительного цвета луже, так что на жидкости появлялись пузыри.— Для чего ты делаешь это?

— Никто не учил. Просто мне хочется, чтобы пошел проливной дождь и такие же точно пузыри вскакивали бы посреди улицы на настоящих водяных лужах.

— Так-таки никто и не учил? — настаивала Праскуха.

— Никто,— был краткий ответ.

— Ой, девонька, да ты никак и впрямь прирожденная...

— Прирожденная ведьма, бабушка, ты сама говорила, только зло все делает. А вспомни-ка, кто когда от меня какую обиду видел? Одного только Ваньку Хромого в жизни

моей, кажись, поколотила... Да и то — зачем он котенка мучил!..

— Правду ты говоришь, а все-таки чудно как-то замечать все это,— покачивая головою, сказала старуха.

— Не сомневайся, бабушка: зла от меня не будет. Хотя меня, почитай, каждый вечер, как я спать ложусь, нечистый мучает и на худое соблазняет, но я ему не поддаюсь. Уж он и так и этак старается, только бы я вредить начала. “Наложи, говорит, рыжей короле Танькиной на спину руку и пожелай, чтобы молоко пропало”. Да я не поддаюсь... Ну, он тогда и начинает меня мучить...

— А как же он тебя мучит?

— Да все внутри меня твердит: отдай да отдай ему душу. Все равно, говорит, моя будет. И так он, бабушка ты моя, ко мне пристаёт, словно эту самую душу, как нитку, на лапы свои поганые выматывает... Места себе тогда нигде не нахожу. Хоть руки на себя накладывай!

Снова покачала головою Праскуха и одно только слово вымолвила:

— Нехорошо!

Утверждая, что от нее никто никогда зла не видел, девочка говорила правду. Она не проявляла склонности мстить гразнившим ее сверстницам и не интересовалась ни выгаиваньем молока, ни порчей скота, ни иными способами причинения вреда. Зато она любила расспрашивать Праскуху о различных гаданьях, толкованиях снов и порой даже подговаривалась, чтобы та ее поучила вызываньям и заклинаниям нечистой и небедомой силы.

Понимавшая кое-что по этой части старуха не хотела, однако, почему-то делиться с девочкой своими познаниями, оттого ли, что считала это для нее преждевременным, или просто потому, что сама не слишком любила вступать в сношения с нечистой силой. У себя в избе она ни под каким видом не позволяла произносить никаких, с упоминанием подозрительных имен, заговоров и заклинаний.

— Назовешь ненароком имя какое-нибудь неподходящее, а он, некошный, и легок на помине. Темная сила, говорят, всенепременно на свои имена идет, а

выгонять ее потом ой как трудно! — говорила старая знахарка...

Когда однажды девочка стала несколько настойчивее обыкновенного приставать к Праскухе, чтобы та научила ее, как нужно обращаться с нечистым, старая знахарка повела Ксеньку к небольшому лесному ручью, вытекавшему из болота и, кинув туда кусочек творогу, над которым предварительно что-то пошептала, приказала своей воспитаннице внимательно смотреть в воду.

— Что ты видишь? — строго спросила она, держа правую руку на темени девочки.

— Со дна вышли какие-то маленькие, почитай прозрачные, не то жуки, не то пауки хвостатые и рвут на части творог.

— Так же и бесы разорвут твою душу на том свете, если ты на этом будешь с ними водиться.

— Моей не разорвут, — упрямо и убежденно сказала Ксения.

— Все вы так думаете: других разорвут, а меня не тронут. Смотри, Аксютка, не доведи себя до беды. И к чему тебе с ними спознаться хочется?

— Про отца и про мать узнать надо, — деловито отвечала девочка.

— Так это на кладбище узнавать надо.

— Была уже. Узнавала. Нет их там, — был тихий ответ.

— Так, может, на другом кладбище, или в лесу, или в реке, или при дороге где-нибудь зарыты... А может быть, и живы они, — возражала Праскуха.

— Нет, бабуся. Знает мое сердце, что не найду их среди живых людей и что на болото мне идти надо... Снится оно мне, — призналась Аксютка.

— Так вот ты какая бесстрашная, — только и могла ответить старуха.

— Совсем не бесстрашная. Я вот на это болото ночью никак не могу решиться пойти. Если туда с молитвою — ни один бес к тебе не выйдет, а если без молитвы да без заклęcia пойдешь, так и назад можно не вернуться, — продолжала задумчиво Ксения. — Ты уж, бабуся, уважь, научи

такому слову, чтобы не тронули. Ты, наверно, знаешь и поможешь; а то к Степке игти не хочется.

— Ох, милая моя, да откуда мне их знать-то?! Так, вроде молитвы что-то твержу, чтобы от них огородиться, когда ночью при болоте травы собираю. Позовики эти самые близко, положим, не подходят. Издали кричат, ругаются, на смех меня, старую, подымают, а вплотную все-таки подойти не смеют. Да и перевертни не подходят. Знают, верно, что у меня при себе тирлич-трава да тоя есть, которыми нечистую силу отгоняют...

— Так что с тирlichem да с тоей тронуть не могут? — спросила Ксанька.

— Вестимо, не могут. Если на тебе тирлич-трава защита, особливо если в церкви освященная, да венок из той на голове, да освященного мака с пригоршню в кармане, ни черти, ни упыри тронуть тебя не смеют. Сама только их с себя не снимай. Иной раз случается, нечистый таким раскрасавцем парнем явится, что только держись! И ласковые речи говорит, и жениться обещает, и всего только просит, чтобы венок с головы сняла. А чуть ты этот венок снимешь, он тебя и схватит, как кот мышку... Больно уж они, хвостатые, до девок охочи... Парням, тем легче. Иные, которые знают, как поступать надо, те сухи из воды и из болота выходят. В мое время даже такие бывали, что кумиться к болотным бесовкам в трясину лазили да еще подарки от них за то получали. Теперь, конечно, не то. Народ пошел неученый. Немного нас, знающих-то, осталось, — закончила старуха.

Девочка приняла все услышанное от Праскухи к сведению и решила при первом же удобном случае применить ее наставления на деле.

В числе обстоятельств, смущавших Аксюткину душу, был один тревожный и время от времени повторявшийся сон. Во время этого сна девочка представлялась сама себе сидящей на кочке среди незнакомого болота с опущенными в воду ногами и распущенными по нагим плечам и спине волосами. Иногда она расчесывала при этом мокрые косы роговым гребешком, совершенно не похожим на те,

которые были у нее в действительной жизни. Но гребешок этот с наполовину обломанными зубьями казался ей во сне странно знакомым. Казалась ей знакомой и полная луна со всеми ее пятнышками, которую она наяву не только не интересовалась, но ее и не любила. Порой в этом сне девочка пела и кого-то ждала, поглядывая на поросшую низкими редкими сосенками болотную равнину. И когда вдали, среди этих сосенок, показывалась в лунном сиянии приближавшаяся торопливыми шагами мужская фигура, сердце Аксютки начинало во сне сжиматься и биться. Она знала, что приближавшийся к ней человек, хотя и останавливается по временам, но все-таки должен прийти к ней и попытаться унести ее прочь из болота. И это доставляло ей не то страх, не то радость. В то же время сонную душу девочки охватывало желание не только не быть унесенной этим мужчиной, но самой, охватив его крепко руками, затащить на вязкое дно болотного омута. И эта жажда борьбы, жажда помериться силой с мужчиной смущала душу Аксютки в тревожном, изредка повторявшем сне.

Иногда сонная греза эта прерывалась, особенно если приближавшийся человек останавливался на берегу, и Ксанька пробуждалась от звуков собственного пения. Порою же девичий сон оканчивался на том, что оба они, и Аксютка и добравшийся до нее мужчина, тесно охватив друг друга в молчаливой, но полной сладкого ужаса борьбе, опускались вглубь в темную воду...

— Какие странные песни поешь ты в бреду, — говорила иногда по утрам приемной дочери своей старая Праскуха. — Откуда ты им научилась?

— Какие песни, бабушка? Вот уж не помню, — отвечала обычно Аксютка, ни за что не хотевшая выдать тайны своей. — Я и снов-то никаких не видела.

— Ну вот, не видела! Рассказывай, скрытница!

— Право, не видела, бабушка, — обычно запиралась девочка.

Тем не менее она твердо решила пройти как-нибудь ночью на болото, чтобы отыскать те места, которые ей снились.

“Может быть, и увижу кого, кто мне про мать мою или об отце мне расскажет”, — старалась оправдать сама перед собой желанье свое юная мечтательница.



Начиналась весна. Обзабедшийся в предыдущем году охотничьим ружьем Сеня Волошкевич жаждал возможности сходить на глухарей.

Стояла ранняя Пасха. Снег сошел уже с полей и лишь кое-где виднелся еще бледными пятнами в сумраке леса. В небе слышалось бляенье “барашка”-бекаса, на разлившихся по полянам лужах крякали от удовольствия утки. Звонко перекликались на болоте вернувшиеся из-за моря длинноногие журавли. Неловко себя чувствовали на желто-серо-зеленой окраске мха и прошлогодней травы не успевшие переменить цвета своего зимнего меха робкие зайцы. Они боязливо жались к лесу, поближе к пятнам еще сохранившегося в его тени снега.

За бутылку водки “баловавшийся” ружьишком и знавший место глухариного тока старый Федот согласился взять с собою Сеню, и оба охотника еще до заката солнца вышли из деревни, так как до места тока было недалеко.

Федоту хотелось попасть на вечерний налет, и он торопливо шагал по тропинке, нисколько не обращая внимания, поспевают ли за ним обвешанный сумкой, ружьем и прочими охотничьими припасами Сеня.

Они уже давно оставили за собою ветхий мост чрез Ярынь и прибрежные луга и, следуя вдоль опушки леса, добрались до болота. Там, где было очень топко, обладавший хорошей памятью Федот довольно быстро находил настланные по мху, попарно и по три в ряд лежащие, связанные вместе ивняком глинные жерди.

Как ни торопились Сеня с Федотом, но к началу вечернего налета не успели. Когда охотники подходили к

подымающемся из болота невысокому песчаному холму, солнце уже село. Раза два по пути они слышали хлопанье крыльев перелетающих глухарей.

Взобравшись на пригорок, путники остановились. Сперва Федот, а за ним и погражавший старому охотнику Сеня сняли с плеч ружья, повесили на высоте человеческого роста свои сумки и, тяжело дыша от быстрой ходьбы, присели на песок. Сердца их сильно стучали...

Где-то далеко пролетел, фитькая и похоркивая, вальдшнеп. Какая-то бессонная птичка вывела несколько раз свою песенку. Совсем близко кружился, жужжа, пагал и снова начинал кружиться большой жук-навозник. Опять захолопал неподалеку, ломая сухие тонкие сучья, взлетающий на дерево глухарь...

Кругом быстро темнело. Сидя под старой сосной, среди зарослей вереска, охотники вслушивались в голоса леса.

Федот соображал, будут или нет токовать с вечера глухари, а Сеня, позабыв все на свете, погрузился в созерцание засыпающей природы...

— Мы здесь и заночуем? — спросил он некоторое время спустя у Федота.

Но старик только махнул ему рукою в ответ, а сам стал еще внимательнее прислушиваться.

Вдали раздалось что-то похожее на тихое щелканье, перемежавшееся с чем-то похожим на жужжание мухи в паутине или на прерывистый звук точильного камня о нож.

Сеня увидел, как прислушивавшийся к этому звуку Федот поднялся вдруг на ноги и, взяв ружье, сделал ему знак оставаться на месте и ждать, а сам осторожно стал красться в ту сторону, откуда доносились эти звуки.

Скоро полушубок Федота слился с темнеющим лесом. Хрустнул несколько раз там, где он шел, валежник, а затем и этого не стало слышно. Доносилось лишь далекое и редкое щелканье глухаря...

Стало совсем темно. Сеня, ждавший уже довольно долго, начал было беспокоиться, как снова услышал треск сухой хворостинки. Небольно он потянулся к ружью. Хруст повторился уже ближе, значительно правее того места, откуда должен был, по его мнению, показаться Федот.

И кто-то совсем близко отвечает: “Мне нельзя: у меня гость”. Так до утра потом спокойно и проспал.

— Кто же это говорил? — спросил Сеня.

— А кто ж его знает! Дерево говорило. Дерево, оно ведь тоже понимает. Не у нас с тобой только душа есть. Оно иной раз и защитить может. Дядя Левон мне вот рассказывал. Он в свое время по лесам много ночевывал. Спросил раз тоже как следует у елки и залег. Ночью, слышит, приходит кто-то и говорит: “У тебя чужой есть. Давай его сюда. Я его задавлю!” А с дерева другой голос отвечает: “Не дам. Он ко мне в гости пришел и честью просился”. Тот, который задавить хотел, не отходит, ругается и под сучья к дяде лезть хочет. Дядя — ни жив ни мертв. Слышит, вдруг с елки соскочил кто-то тяжелый, вроде не то собаки большой, не то медведя, и прямо на пришлого угодил, что озорничать собрался. И начали они тут бороться и по земле кататься. Фыркают, как коты, пыхтят и сопят... Потом чужому, верно, плохо пришлось. Вырвался он и прочь побежал, а другой к своему дереву подошел да как прыгнет, ровно кошка, на ствол сажени на полторы от земли и полез, слышно, кверху. А дядя до самого рассвета из-под елки вылезти не смел, чтобы не нарваться, грехом, на того, кто задавить его собирался. А как вылез утром, видит — мох примят и даже разворочен местами около елки... Здорово, верно, дрались, — закончил Федот свой рассказ, погбрасывая сухую ветку в костер.

Расправив затем свои рыжие усы и седеющую бороду, охотник потянулся к висевшей возле котомке, достал оттуда краюху хлеба, завязанную в тряпочку соль и несколько сваренных вкрутую яиц. Еда, как известно, помогает коротать скучные ночные часы.

Глядя на него, Сеня быстро достал свою сумку и вынул оттуда полную, красным сургучом запечатанную бутылку водки.

— Обещанное, — сказал он, протягивая бутылку Федоту. — За то, что на ток с собою взял, — прибавил он.

— Вот это хорошо, — одобрил старый охотник. — Оно, конечно, можно бы и без этого. Я тебя и так бы сводил...

А водка все-таки дело доброе, — продолжал он, отковыривая ножом кусочки сургуча от горлышка и пробки.

— На-ка, глотни, — протянул Федот, закончив свою работу, бутылку младшему товарищу.

— Я ведь, дядя Федот, не пью.

— А не пьешь — и лучше: расходу меньше, — согласился старый охотник и со вкусом снова приложился к стеклянному горлышку, переливая в себя прохладную и вместе с тем согревающую внутренность влагу. Половину он решил все-таки сохранить на утро.

— А боятся, дядя Федот, лешие огня? — спросил Сеня, проглотив кусок вынутого им из сумы пирога с бужениной.

Медленно жуя своими еще крепкими зубами закуску, Федот подумал немного и затем стал говорить:

— Оно конечно. Леший огня не любит и в него охотой не полезет, но что к самому костру Остроголовый подходил — случаи бывали. Рассказывал еще моему отцу Андрею Савостьянов, старик такой в Заполье жил, я его, еще ребенком будучи, видел. Охотник был и многое на своем веку видел и слышал. И был у этого Андрея брат, Савва. Так вот улегся раз весной тот Савва в лесу у костра и задремал. Слышит вдруг чьи-то шаги неподалеку. Савва голову поднял и смотрит. Подходит к нему кто-то вроде человека. В кафтан черный, как бы суконный, одет и штаны серые, и сапоги, и картуз на голове, — а лица вовсе нет. И раньше, чем Савва за ружье успел взяться, тот к нему подбежал и душить начал. Савва вырвался и стал от нечистого вокруг костра бегать. И как обежал три раза, так тот и пропал...

Андрей потом отцу моему рассказывал, что сам видел синяки у брата на горле...

С тех пор этот Савва в лес больше ни ногой. Хворать стал и через три года помер.

— Кто это? — спросил вдруг Сеня, услышав чей-то резкий, прерывистый, длительный, похожий отчасти на кудахтанье крик, заставивший его даже вздрогнуть от неожиданности.

— Белая куропатка... А ты вздремнул бы. Время еще есть.

Однако Сене не спалось. Он погбрасывал сухие ветви в костер, любуясь пляской взмывающих кверху огненных языков и бессознательно радуясь исходящей от них теплоте. Юноше казалось, что он давно-давно живет в этом лесу, сидит у огня, слушает треск и шипение сгорающих сучьев, жует по временам белый хлеб и смотрит, как взлетают, кружась, в темное небо яркие искры.

Треск чьих-то осторожных шагов по валежнику оторвал Сеню от мечтательности и заставил насторожиться. Загремавший было после вогки Федот тоже встрепенулся и потянулся к ружью, напряженно вслушиваясь в шорохи леса. Треск валежника повторился в другом месте, в нескольких десятках шагов от костра, потом в третьем. Ясно, кто-то ходил вокруг охотников, опасаясь показываться в освещенном пространстве.

— Кто бы это мог быть? — не без тревоги в голосе спросил Сеня, держась за ружье.

— Кто его знает, — ответил Федот. Он взвел курок на своей одностволке, поднялся на ноги и, повернувшись спиной к костру, чтобы огонь не слепил глаза, стал вглядываться в темноту ночи.

Хруст валежника продолжался. Охотники слушали с напряженным вниманием.

Некоторое время спустя донесся до них громкий, но вместе с тем глухой, не похожий на человеческий, кашель. Через несколько мгновений кашель повторился.

— Лось, — облегченно вздохнув, проговорил Федот. Осторожно опустив курок, он прислонил ружье к дереву и сел на прежнее место. Сеня последовал его примеру.

— А я было думал, что сам гедко, — поделился с юношей сомнениями своим старый охотник.

Лось походил, походил вокруг костра да, так и не показавшись людям, ушел. Слышно лишь было, как трещал все слабее и дальше хворост у него под ногами.

Перекликнулись журавли на болоте. За ними, не первый уже раз, кулики у ручья.

— Скоро теперь и тетерев зашипит, а за ним следом и глухарь затокует. Ночь уже на исходе. Нынче рано светает, — молвил Федот.

Сеня взглянул на небо. Оно было совсем еще сине-черного цвета с ярко горящими на нем знаками созвездий. Юноша глумал о том, кого погразумевал его спутник под словом “дедко”: лешего или медведя, но почему-то не спросил.

Время текло.

Вот наконец где-то далеко на лесной поляне нарушил тишину ночи протяжным шипением тетерев; немного погодя раздалось его вторичное “чу-фы-ы-ы-шь”.

— Теперь пора,— сказал Федот.— Ты, так и быть, иги к первому глухарю, который затокует... Помни: погходи сперва полегоньку, а когда погберешься так, чтобы ясно было слышно, как он жужжит, то погскакивать начинай. Старайся с такой стороны к нему погобратиться, чтобы он у тебя на востоке был, где небо светлее, целить тебе способнее будет... Теперь станем слушать. Когда защелкает, разговаривать уже будет поздно.

Охотники отошли от костра и стали прислушиваться. Скоро с болота донесся до них отдаленный звук, похожий на щелканье или стук, словно кто-то просунул палочку между жердей забора и поколачивал ею в ту и другую сторону.

— Иги потихоньку,— шепнул Сене Федот,— да, смотри, цель хорошенько.

Подумавав затем, что у костра остались на земле котомки, старый охотник вернулся снова повесить их на дерево. Федот вспомнил, что в одной из них есть початая бутылка, вынул ее, сел (он не любил пить стоя) и, откупорив, запрокинул горлышко в рот.

Приятная истома одолела старого охотника. Он решил, что отлично может услышать второго глухаря и сидя у костра, разливавшего приятную теплоту, с которой так неохота было расставаться.

“Должон где-нибудь близко затоковать... Небойсь услышу, не засну”,— глумал он, пряча бутылку за пазуху и закрывая глаза, которые утомились смотреть на огонь.

Федот силился некоторое время припомнить, сколько он должен в лавку за сапожный товар, но мысли как-то странно путались, вытесняясь картиной натопленной жарко печи и хлебов, которые туда ставит его хозяйка...

Голова охотника, непроизвольно кивнув, склонилась к груди. Федот вздрогнул и, открыв глаза, осмотрелся вокруг. Ему вдруг стало страшно. На месте, покинутом Сеней, сидел теперь кто-то мохнатый и незнакомый. Красноватый свет углей потухающего костра освещал полузвериную, как будто на медвежью или на козлиную похожую морду, которая вдруг заговорила:

— А чем это от тебя так пахнет хорошо, человеке? Давно уже около сижу и нюхаю пар, которым ты дышишь. Что такое ты лил себе в глотку недавно? Угости-ка и меня!

И мохнатый пришелец протянул к охотнику корявую глинную папу.

Грустно вздохнув, достал из-за пазухи более чем наполовину-опорожненную бутылку Федот и, грожа, передал ее странному гостю... Тот попробовал было, не вынимая пробки, засунул горлышко в рот и, видимо, рассердился, когда ничего оттуда не потекло.

— Да ты пробку-то вынь,— сказал Федот, которому даже смешно стало при виде несуразности Лешего.

И знаками он показал, как следует откупоривать бутылки.

Миг спустя водка полилась в глотку лесного хозяина, и мохнатый лик последнего прояснился.

Федот, несмотря на весь свой страх, с грустью следил, как убывает в бутылке драгоценная влага.

Немного не допив, Леший великодушно вернул бутылку охотнику.

— Пей и ты,— сказал он.

Однако Федот, боясь опоганиться горлышком, к которому прикасались губы как-никак, а все-таки нечисти, в свою очередь решил показать великодушие и отказался.

Леший не заставил себя долго просить и быстро опрокинул в глотку свою оставшее содержимое бутылки. Попробовав затем неудачно засунуть в горлышко свой глинный язык, мохнатый гость вздохнул и отдал пустую склянку Федоту.

— Хорошо вам, людам,— сказал он немного спустя, снова вздыхая,— все-то у вас есть: и избы, и бабы, и коровы с телушками, и водка...

— Зачем хлеба не принес?! — громко, неожиданно и сердито прибавил мохнатый пришелец.

Федот торопливо отдал ему остатки еды из обеих сумок: недоеденный пирог, обрезок краюшки хлеба и соли в тряпке.

Пеший зачавкал, как зверь, уничтожая хлеб и пирог, но не трогая соли. Кончив, он отряхнул просыпавшиеся ему на глинную зеленоватую бородку крошки и уже менее недовольным, но все-таки властным голосом сказал:

— Всегда, как в лес идешь, угощение для меня приноси, и не на пень кладь, а вешай в тряпке, да повыше, на сухую сосну, а то ваши деревенские дураки так низко всегда кладут хлеб, что либо лиса, либо медведь непременно утянут.

Недовольный тем, что пришлось отдать нечистому вогку, Федот молчал, думая: “А ты что для меня такое сделал, что я тебе хлеб носить стану?”

— Я тебе птицу или зверя погоню. Завсегда погоняю тем, кто меня уважит, — как бы в ответ на мысли охотника, не то ворчливым, не то скрипящим, словно сухое дерево, голосом произнес Зеленый Козел. — Хорошо вам, людам! И бабы у вас есть гладкие, пухлые, совсем почитай без шерсти. И пироги они вам пекут... Сама мне раз одно говорила: “Пусти, мол! Мне мужу дома пирог надо печь”... Обещала принести, да не принесла...

— А может, и принесла, — попробовал заступиться за неизвестную ему бабу Федот, — да тебя найти не могла. Разве ты ей свое жилье показывал?

— Покажешь тут, коли у меня в ем Пешачиха. Она узнает, так никому не поздоровится... Нет, я той бабе сказал, что буду ее на другой день в обраге ждать, чтобы туда о полудни приходила и пирога принесла... И ведь как она мне обещала! Со слезами на глазах сулила: только, мол, ты меня, Пешанька, отпусти, — и водки, и пирога тебе принесу!.. Это не твоя жена, часом, была?

— Моя жена уж старуха.

— Это ничего, что старуха! Такие они, эти старухи, бывают, что — ах! — крикнул, заканчивая свою речь, Зеленый Козел.

— А разве вам ваши лешачихи пирогов не пекут?.. Какая же у вас, скажем, тогда пицца?

— Вас едим! — внезапно рассердясь, рявкнул Леший, и его звериная голова с разинутой пастью потянулась к Феготу.

Не помня себя от испуга, тот быстро поднялся на ноги, схватил ружье и, отскочив на три шага, пальнул в мохнатого властелина лесов.

Грянул выстрел. Зажмурившийся было от страха глаза охотник вновь раскрыл их и оглянулся. Лешего нигде не было видно. Треска в лесу не было... Лишь вдалеке, в той стороне, куда ушел Сеня, трахнул, как бы в ответ, другой выстрел...

Небо на востоке серело.

Взволнованный тем, что случилось, Фегот не знал, уходить ли ему по добру-поздорову от могущего каждую минуту вернуться разъяренного лесовика, или же последний ему лишь привиделся спросонья.

Заслышав вдруг треск приближающихся шагов, старый охотник начал было грожащими руками заряжать свою одностволку, но успокоился, когда до него долетел оклик знакомого Сениного голоса.

Юноша вернулся, радостно взволнованный и гордый первым своим глухарем, которого успел уже привязать к поясу и то и дело гладил рукою. Он вполне поверил словам старшего товарища своего, что тот стрелял навскидку в пролетавшего неподалеку от костра, спугнутого чем-то глухаря и что последний опустился в вереск, но где-то там притаился.

— Убежал, верно, с побитым крылом... А других словно бы и не слышно,— закончил рассказ свой Фегот.

Охотники прислушались. Напуганные, вероятно, выстрелами глухари примолкли. Одно лишь чуфырканье да бормотанье токующих тетеревов несло и с болота, и от лугов, прилегающих к реке, и даже со стороны деревенских полей.

— Пора и до дому,— сказал Фегот, подбирая валявшуюся около догоревшего костра пустую бутылку.

Он не знал еще, впрочем, можно ли пить даже из обмытого горлышка, которого касался губами хотя и не черт, а все же нечистый...

Старый охотник не вернулся, однако, с пустыми руками. Когда совсем уже было светло, путники наткнулись, проходя лесною поляной, на двух увлекшихся дракой косачей. Быстро взяв одного из них на мушку, Федот убил его метким выстрелом шагах в тридцати. Другой тетерев, увидев, что противник его лежит неподвижно, посидел несколько мгновений рядом, затем сорвался и полетел, раньше чем Сеня успел прицелиться и выстрелить.

Простреленный несколькими дробинами Федотовой огностволки, Зеленый Козел быстро удирал от костра. Промчавшись с полверсты, он остановился, оправился немного от испуга и, чувствуя в то же время непонятную слабость, прислонился к старой сосне. В тех местах, где его продырявила дробь, Пеший испытывал ощущение непривычного томленья и холода, как будто от пронизывающего его существо холодного ветра.

Зеленый Козел опустился на торчащие из земли толстые корни какого-то старого дерева. Простреленное тело его дрожало и ныло. Хозяин леса понял, что случилось какое-то нехорошее дело и нужно скорее бежать к Пешачихе, чтобы та нарвала каких-либо исцеляющих трав и, разжевав их, залепила бы этою жвачкой маленькие, противно ноющие дырки на животе и груди... Надо только отомстить сначала обжегшему его огнем из черной палки своей человеку. Тот, вероятно, снова заснул и не ждет нападения...

Через силу поднялся Пеший на ноги и потихоньку побрел обратно к костру, стараясь ступать бесшумно и осторожно, чтобы застать врасплох неприятеля.

— Вот схвачу его и посажу на вершину самой высокой ели. Да наперед обломаю с нее верхние сучья, чтобы слезть не мог. Запоем тогда этот бездельник, — мечтал, охая на каждом шагу и останавливаясь переbreсти дух, Зеленый Козел.

Но когда раненый Пеший подошел наконец к красным угольям потухавшего в предрассветном сумраке костра, там уже не было никого. Она лишь лисица, нюхая землю,

бежала неподалеку чуть заметной лесною тропинкой по тому направлению, откуда несло бормотанье тетеревов.

— Ушел,— прошептал с обидой Зеленый Козел.

Его мучил сильный озноб. Ледяной холод, как зимний ветер сквозь щели берлоги, проникал в его тело, ослабляя теплоту жизни, обессиливая члены и клоня ко сну умиравшего полубога.

Леший утратил уже обычно присущий своему племени бессознательный страх перед огнем.

— Согреться бы,— хрипло проскрипел он и свалился на кучу потухавших огней.

Неприятно обжегшись, Леший не имел уже, однако, силы подняться, поворочался немного и вытянулся, вздохнув, поперек костра.

Зашипела на горячих угольях его мокрая шерсть. Потом она высохла, затлела и, наконец, вспыхнула, треща, ярким огнем, от которого занялось и остальное тело Зеленого Козла.

Горел он довольно быстро, давая густой беловатый дым (принявший на миг очертания Лешего), приятный запах, вроде хвои с земляникой, и испуская похожий на жалобу свист. Через короткое время от полного некогда сил властелина лесов осталось лишь немного золы и нечто напоминавшее обуглившиеся и почерневшие корни сожженного пня...

Пробежавшая обратно той же дорогой, сытая после удачной охоты лиса остановилась на мгновение, понюхала подозрительно воздух и одним скачком скрылась в кустах...



Надев венок из той с мареной, обтыкавшись вокруг пояса тирлич-травой и набрав на всякий случай в карман пригоршни две “свяченого” мака, отправилась Аксютка лунной ночью на лесное болото.

Лето было влажное, и ноги охватывала приятная прохлада здесь и там заливавших дорогу лесных мочебин. Благодаря лунному свету можно было обходить кучи колкого хвороста и не спотыкаться о корни и камни. С палкой в руках (этою палкой она разняла однажды лягушку и вцепившуюся в последнюю ужа, почему такая трость должна была обладать кое-какими волшебными свойствами) пробиралась девочка чуть заметной тропинкой, протоптанной скотиною между кустов олешника, молодых осин и березок. На небольшой полянке попался навстречу бурый медведь, друг Лешачихи Бородавки. Зверь остановился, ощетинился и зафыркал.

Нимало не испугавшаяся Ксанька замахала на него палкой и пошла навстречу зверю, подняв, впрочем, для верности подол, что должно было подействовать на предполагаемую стыдливость противника.

Потому ли, что тот действительно отличался застенчивостью, потому ли, что на него подействовала Ксанькина неустрашимость, но медведь, не слушая даже ее заклинаний, не стал ожидать прикосновения ее волшебной дубинки, повернулся и не спеша побежал в обратную сторону, громко фыркая и старательно отплеываясь.

Девочка победоносно продолжала свой путь.

Миновав заросль кустарников, выросших на месте прежней вырубki, вступила она в чащу высоких, переплетшихся высоко над головою колючими ветками сосен и елей. Здесь было совсем темно, и лишь тропинка под ногами слабо светилась. Тропинка эта вывела путницу на большую поляну, посредине которой сидела на пне почти незаметная на темной листве росшего рядом куста и как бы сливавшаяся с лунною тенью от него суровая Бородавка.

Уткнув слегка волосатый подбородок в мозоли коленей и обхватив узловатыми пальцами рук тощие, бурою шерстью поросшие ноги, задумчиво вспоминала Лешачиха своего пропавшего мужа. Она особенно любила представлять его сидящим на таком же древесном пне и ковыряющим при лунном свете дырявые лапти... "Где-то он?" — думала она.

Бородавка совершенно не знала об участи, постигшей Зеленого Козла, и думала лишь, что супруг, убедившись в ее неверности, переселился в какой-нибудь другой лес. И Пешачиха мечтала, как она отыщет беглого мужа и докажет ему, что подозрения его неосновательны и убегать от нее бесполезно...

Шорох чьих-то чуть слышных шагов заставил Бородавку насторожиться. Она наострила свои мохнатые уши... Шаги приближались... На залитую лунным светом поляну вышло одетое в белую рубаху и темную короткую юбочку юное человеческое существо женского пола (как немедленно определила чутьем Бородавка), с венком из каких-то очень неприятно пахнущих трав на голове.

Когда девочка поравнялась с пнем, Пешачиха, не меняя положения (она только чуть повернула голову, упертую подбородком в колени), хриплым и скрипучим голосом повелительно спросила:

— Куда идешь?

Вздрогнув от неожиданности, Аксютка остановилась как вкопанная. Разглядев затем вопрошавшую, девочка хотя и струсилась, но быстро оправилась и, стараясь не обнаружить смущения, приняла независимый вид и в свою очередь задала дерзкий вопрос:

— А ты что тут делаешь, старая хрычовка?

— Да вот сижу здесь и лес свой караулю, чтобы всякая дрянь, вроде тебя, по ночам тут не таскалась,— злобеще проскрипела Бородавка, как бы вырастая из пня и протягивая вперед глинные темные лапы с крючковатыми, неровными пальцами. Одна почти дотянулась до Аксютки, которая, застыв на месте и не помня себя от ужаса, сунула бессознательно в близкую корявую ладонь один из полузасохших цветов тирлича.

Пешачихина рука, схватившая было этот цветок, вздрогнула, словно обжегшись, и отдернулась назад, а сама Бородавка, зафыркав лесною кошкой, стала вдруг кривляться и уменьшаться в размерах.

— Ученая! — прошипела она злобно, скатываясь на землю и как бы растворяясь в лунной черной тени куста...

Ксанька видела, как всколыхнулась змейкою, словно от убегавшего ветра, трава, и снова все стало тихо, как будто никакой Лешачихи и не сидело сейчас на сыром пне, в лунной тени от росшего рядом ольхового куста.

Девочка вздохнула, оглянулась по сторонам и продолжала свой путь. Через полчаса, следуя изгибам вившегося то по полянкам, то в зарослях ивы ручейка, она подошла к Большому болоту.

Идти там было не легче, чем по лесу. Босые ноги увязали порой по колено и даже выше в ржавой грязной трясине. Луна, словно нарочно, пряталась в проносившиеся по небу рваные тучи. Предутренный ветер шумел в высокой болотной траве и кустах ивняка... С небольшой сосенки ухнула и сорвалась, завидев Ксаньку, крупная сова. Вдали перебивались из глубоких окон, казавшихся лужами, болотные бесенята...

Подобрав чуть не по пояс подол своей юбки, пробиралась между этими лужами по зыбкому покрову трясины к срединному главному озерку неустрашимая девочка. Ей хотелось подойти к самому краю этого озера и начать вызывать оттуда бесов или перевертней, а когда те появятся, расспросить их, нет ли среди заключенных в болотной топи погибших там человеческих душ ее никому из людей не известных родителей.

Вспоминая виденные ею во сне местность, кусты, расположение блестящих вокруг, как черная сталь, омутов и изгибы промятой кем-то тропинки в осоке, стояла Ксанька почти по колено в ржавой трясине. Она чувствовала, как вдоль коленей скользят, булькая, кверху пузырьки воздуха, и смотрела то по сторонам, то на темное с быстро бегущими тучами небо...

“Во сне светила тогда полная луна и было гораздо больше деревьев,— соображала Аксютка,— где же они?”

Выглянувшее ненадолго из-за туч ночное светило облило серебром темные круглые окна, шуршавшую под ветром осоку, пни от спиленных несколько лет тому назад сосен на ближнем пригорке и неподвижно стоявшую девочку с высоко поднятым мокрым подолом. Голова Марыськиной дочери медленно поворачивалась из

стороны в сторону. Непонятная тоска копошилась в ее груди...

— Кто ты, девочка? И откуда у тебя на беге такое пятно? — слышался вдруг откуда-то снизу шелестящий, с хрипотою, как у надорвавшейся жабы, нечеловеческий голос.

Зная, что без особой нужды не следует никакой нечисти открывать свое имя, Аксютка молча посмотрела в ту сторону, откуда раздалась эти слова.

Из темного зеркала блиставшего теперь под луною окна, под ветвями склонившейся над окном этим ивы, выдвинулась голова старой болотной бесовки. Ржавая вода текла с покрытых тиной и грязью седых редких волос по пересеченному складками раздутому лицу с выпученными старческими глазами...

— Кто ты, красавочка? И зачем ты к нам сюда пожаловала? — продолжала задавать вопросы торчащая из воды толстая морщинистая морга.

— С вашей братией повидаться да покалякать пришла, — стараясь быть смелой, ответила девочка.

— Что ж, покалякаем. Кто твои отец и мать, милая?

— Не знаю. Меня в лесу под елью нашли, — был мрачным голосом произнесенный ответ.

— Приподними-ка чуть-чуть юбку на левом боку... Так! Ты говоришь, что у тебя родителей нет?.. В лесу нашли?.. Гм!.. Я так и знала, что у тебя не должно быть родителей... А пятнышко твое на ноге я помню... Когда ты родилась у нас на болоте, я тебя, милая моя, сама повивала и на пятно твое еще тогда дивилась.

— Ты и мою мать знала?! Скажи мне, кто она? Как она попала в ваше болото?! — взволнованно спросила Аксютка.

— Так же, как и я, так же, как и ты. Звали твою мать Толстой Марыськой, и была она, как все мы, болотной бесовкой.

— Стало быть, и я бесовка? — последовал растерянный вопрос.

— Кто тебя знает. Я никогда не видела твоего отца. Кажется, он был тогда человеком. Кто он теперь, мне

неизвестно. А вот твоя мать была подлинной бесовкой, и ежели бы она не вышла двенадцать, а то и больше лет назад за вояного с Ярыни, то я бы позвала ее сюда, полюбоваться на дочку... Да ты не обижайся, что твоя мать бесовка. Марыська всегда была ладная и гладкая девка. Мы с ней дружили, хоть она и много моложе. Бывало, она на всю ночь убежит в лес и только поутру вернется, после какой-нибудь драки. Я ей всегда лягушечьей икрой синяки да царапины затираала... А от кого она тебя пригуляла, этого она мне толком не говорила, а может, и говорила, да я запамятовала. На старости лет, что когда и с кем случилось, путать стала. Не то охотник, не то бродяга он был... Кажись, затонул после где-то. Мало ли их тонет! — задумчиво бормотала старуха. — А тебя я помню, красавочка... На руках держала... Так вот, ежели ты к нам не навсегда пожаловала, то лучше ступай назад, откуда пришла. А то житье у нас не ахти сладкое. Твоя мать сколько, бывало, слез проливала из-за Толстопуза нашего. Он ведь, коли ему уважения не окажешь, так нашу сестру бьет, пока молоды мы и смазливый, что жизнь не мила... Уходи-ка ты лучше, покамест цела!.. — советовала бесовка.

— Не боюсь я вашего Толстопуза! Сама видишь, что такое у меня на голове да за поясом.

— Травки твои, моя милая, только для земли хороши, а в воде, хотя бы и болотной, они не действуют. Слова еще кое-какие, ежели кто знает, могут иной раз пригодиться, а травка — нет. А потому, лягушонок ты мой глазастый, коли ты слов этих не знаешь, поворочивай, откуда пришла, чтобы слез потом не лить!

— А за какого-такого Вояника вы мою мать выгнали? — продолжала выпрашивать Аксютка.

— Сказано тебе, что с вашей же Ярыни! На дне там около мельницы, говорят, живет. Вроде нашего хозяина. Тоже очень толстый, рожа красная и седые волосы на груди. Он ее и увел... Да еще с полдюжины бесенят наших в разное время сманили... Так что ты и к ней, к матери то есть своей, тоже без слова не суйся. Ее Вояник не лучше, говорят, нашего Болотника.

Аксютка вздохнула и, показав старой бесовке, с поклоном, почтительно кукиш, грустно зашлепала по болотной трясине обратно.

Тяжелое сознание, что она, если и не целиком, то, во всяком случае, наполовину бесовка, не давало ей покоя.



Смеркалось. Деревенская ведьма Степка только что кончила уборку своей хаты. Она была задумчива. Колдунью беспокоил вопрос, насколько здоров приглянувшийся ей младенец в дальнем конце их села. Ведьма придерживалась правила сосать кровь лишь у вполне здоровых детей.

“Надо будет проведать, не кашляет ли ребеночек”, — решила она и вышла из хаты, чтобы удостовериться, нет ли где около любопытных баб или озорных мальчишек.

Стоя около крыльца, Степка стала осматриваться и прислушиваться. Издали доносились девичьи голоса, звуки гармоники и прерываемые хохотом обрывки песни какого-то парня, но вблизи не было никого.

Ведьма вернулась в хату, заперла за собой на крюк дверь, подошла к окошку и приоткрыла крохотную в нем форточку. После того как ее подшиб камнем какой-то мальчишка, Степка не любила раньше наступления ночи вылетать в трубу в виде сороки.

Сегодня она решила попробовать счастья, перекинувшись в черную кошку.

Ребятишки, набегавшись за день, теперь ужинают. Огни потом улягутся спать, а другие поедут в ночное. “Кошкой я незаметно добегу по огородам, а назад идти будет уже совсем безопасно”, — гумала Степка, сбрасывая с себя кофту и юбки с сорочкой.

Затем она достала из-под печи небольшую дощечку со вбитыми в нее насквозь железными гвоздиками, положила

Принявшая кошачий вид Степка бежала, размышляя о болезнях, портящих кровь у младенцев. “Много их наша же сестра-ведьма сглазит, а потом сама же ту самую кровь и сосет. Всегда перед тем, как гитя приспособишь под красный поясок, осмотреть его наго и в трубу послушать хорошенько: не кашляет ли; крысой потом к нему проскользнуть и все высмотреть, нет ли на нем сыпи или коросты какой... Нашей сестре только чистые младенцы потребны... Ай!.. Что это?” — мелькнуло в Степкиной голове, когда Рыжий Федька чуть-чуть не накрыл своею ладонью ей спину.

Легко и гибко прыгая через гряды, помчалась Степка от Федьки к Ипатову сараю. Тут пришла ей в голову вполне естественная мысль завернуть за угол и скрыться из глаз преследователя. Но едва успела она прошмыгнуть за дощатую, молодыми зарослями крапивы окаймленную стенку, как на шею ее опустилась чья-то сильная рука и прижала ведьму к земле.

Степка пробовала царапаться и передними, и задними лапами, но Макар, не выпуская кошачьей шеи, прижал коленом ей спину, левой рукой доставая в то же время мешок из-за пазухи.

Еще немного, и Степка оказалась в мешке.

Положение было не из завидных. Обратившись в зверя или в птицу, ведьма может, как известно, принять прежний свой человеческий вид, перекувырнувшись трижды через кожи, гвозди, иглы и даже через деревянные колышки. Лишь очень немногие умеют обходиться без этих принадлежностей. Степка же была вообще лишена возможности кувыркаться, ибо Макар завернул и обмотал тем же мешком заключенную там пленницу свою и перевязал ее сверх того для верности обрывком бечевки.

Оба парня порешили тут же немедленно отправиться в лес или в поле, на перекресток дорог, и, дождавшись там полночи, сварить в котелке тело предполагаемого кота.

Федька довольно быстро раздобыл где-то по соседству (едва ли не при содействии Феклы) котелок с крышкой. У Макара оказалась почти полная коробка спичек. Прихватив

затем про запас хлеба с солью, приятели быстро собрались в дорогу.

Оставалось только избрать, в какую сторону и куда идти.

В поле, конечно, не так страшно, но зато опасно в том отношении, что могут заметить и долго будут после гразнить знакомые ребятишки, что стали уже ездить в ночное. А в лесу, хотя и безопасно от людей, да уж слишком страшно.

Решено было отправиться версты за три от села, в то место около леса, где пересекаются две полевые дороги. По сторонам их, у перекрестка, росли кусты олешиника. Среди них можно было с успехом спрятаться, развести огонь и даже нарезать жердочек для подвески котла.

Запасливый Макар захватил с собой сырой картошки и даже лучин для растопки.

Часа через два оба они уже сидели в олешинике, в ожидании того срока, когда можно будет приступить к варке котла. Подвешенный на проволоке, под ольховой перекладиной над огнем, начинал закипать котел с водою из ближней канавы. В лежавшем тут же свертке что-то слабо порой шевелилось, издавая изредка глухие, похожие на сдвинутое забывание звуки. Какая-то птица, вроде вальдшнепа, налетев на огонь, описала довольно низкий круг над ним, давая заметить свою светло-серую грудь, свистнула и, взмыв над костром, исчезла в ночной темноте.

— Уж не нечистая ли сила проверять нас явилась? — мрачно промолвил Макар, пробуя, спеклась ли картошка.

В деревне запел петух. За ним — второй... третий...

— Пора уже. Это полуночные, — решил Федька. — Доставай котла, Макар!

Приятель его молча наклонился над свертком и начал развязывать бечевку.

— Ты только посмотри сначала, — прибавил Рыжий, — кот ли это, а то, если кошка, так, пожалуй, с нее пользы не будет.

— А я думаю, можно сварить, даже ежели и кошка окажется. Почем знать: может, и в ей какая-нибудь костка найдется.

Слышавшая эти слова и прочитавшая в них свою судьбу Степка решилась, если не удастся спастись, возможно дорожке прогнать свою жизнь.

Едва Макар вытянул ее из мешка и принялся определять при свете костра ее пол, ведьма запустила все свои когти в руку державшего ее парня и, вырвавшись, прыгнула ему на лицо... Но едва успела она соскочить оттуда на землю, как ее больно ударил в спину и тяжело придавил сапог Федьки Рыжего. Этот новый враг схватил ее сильными руками за задние ноги, снова ударил по вытянутой спине сапогом и сломал позвонки около шеи. Послышался полужверинный, постепенно переходящий в человеческий, полный боли и ужаса крик, и оба испуганных парня увидели на миг, на один только миг, что под ногами у Федьки извивается что-то порою мерцающее, порою темнеющее и похожее вместе с тем на нагое женское тело.

Щелкнув зубами, закрыл в страхе глаза и отпрянул назад Федька Рыжий. А когда он вновь посмотрел, все кругом было темно и лишь шипели угли костра, на который выплился котел с закипавшей водою. Стремившийся спрятаться, исцарапанный Макар задел, убегая, за один из вилок, на которых укреплена была жердочка с котлом, и опрокинул последний.

— Макар! — крикнул, оглядевшись кругом и убедившись, что возле нет никого, пришедший немного в себя Федька Рыжий.

Но засевший неподалеку, чуть не по пояс в холодную воду канава, ничего не отвечал ему перепуганный друг. Слобно кто приказал ему притаяться и молчать.

Лишь после того, как холодная вода привела его несколько в чувство, Макар отозвался наконец на повторные Федькины зовы и вылез на сушу.

— Федька, ты один? — спросил он из-за кустов.

— Один. А тебе кого надо?

— А та самая, которая из кошки перекинулась?

— Эвона! Была и нет! — храбрился Рыжий. — Надо быть, сгинула, коли я ей, кажись, шею сломил... Хоть и нечисть, а не любит!

— Стало быть, это не черт был и не нежить,— задумчиво промолвил Макар, зализывая текущую кровь на руке.— У тех позвонков и хребта нет... А эта была живая. Ишь, как исполосовала, хвостатая тварь! Не иначе как ведьма. Я разглядел: не кот, а кошка. Черт если бы был или ведун, так он котом бы явился, а это ведьма,— убежденно повторял Макар.— Нам тут делать нечего,— продолжал он, подбирая откатившийся котелок.— Помоги отыскать крышку, Федя... Ну и измок же я с этой нечистью! Никогда больше этими делами заниматься не стану!..

— Вот она! Нашел! — нагибаясь и подымая крышку, сказал Федька.— А сушиться не станешь?

— Не стоит. На ходу высохну,— было ответом.

Рыжий еще раз наклонился, вынул из золы несколько горячих картофелин и, завернув их в лист попуха, зашагал вслеп за Макаром обратно в село.

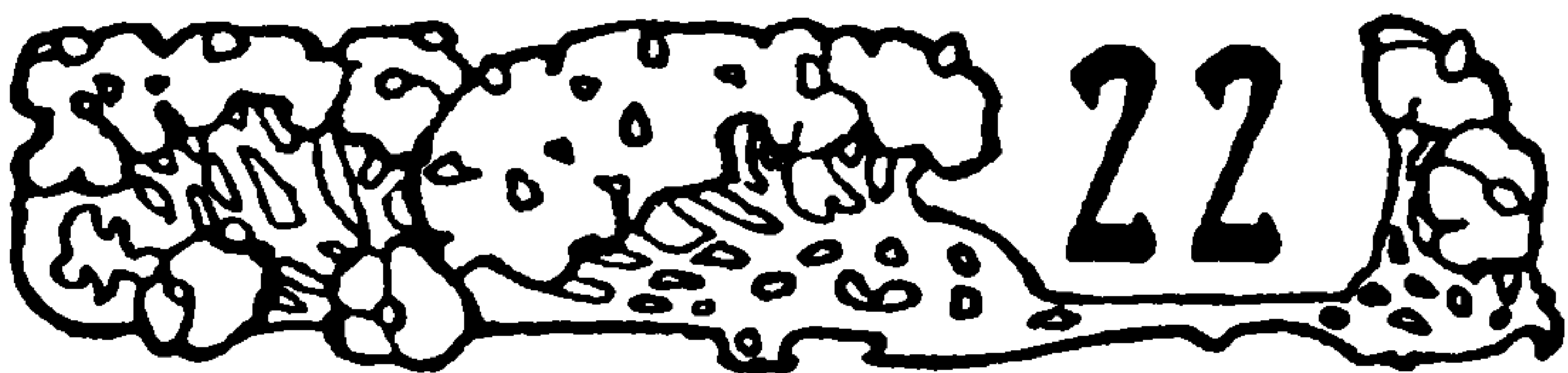
Когда односельчане взломали дня через два запертые изнутри двери Степкиной избы, они увидели скорченный труп нагой ведьмы с почерневшим лицом и переломленной шеей. Дощечка с тринадцатью гвоздями воткнулась ей в спину, но крови не было видно. Единогласно решено было, что Степку задавила нечистая сила.

Так как в церковь она вовсе не ходила и священник отказался ее отпевать, то Степку похоронили за оградой кладбища. Крест над могилой мужики, на всякий случай, все же поставили.

Однако и после смерти продолжала она пугать по ночам проходивших и проезжавших возле кладбища людей, выбегая в виде белой собаки, черной свиньи или овцы. Поэтому решено было прекратить загробные похождения ведьмы.

Могилу раскопали. Степке отрезали голову и положили ее в ногах мертвой, но не разложившейся старухи. Затем у трупа были отрублены руки и ступни ног, которые были положены в гроб, но в обратном порядке. Туловище пробили насквозь острым колом из осинового дерева. Кол этот так и оставили в трупе и лишь отпилили верхнюю часть его, чтобы она не мешала закрыть крышкой гроб. После

всего этого Степкино тело вновь предано было земле, и мертвая ведьма никому больше не мешала ходить по ночам возле кладбища.



Опять пылали костры на заклятой Осиянской горе. Опять с визгом, воем и хохотом слетались туда отовсюду на призывный гром бубна молодые и старые ведьмы. Их было много, так много, что собравшиеся там же в разных образах бесы стали беспокоиться, как бы не удовлетворенные пылом их нечеловеческой, но все-таки ограниченной страсти, похотливые бабы не разорвали их в конце концов на клочки. Такие случаи раньше бывали... Весьма пострадавший в последний раз Огненный Змей вообще теперь не явился на сборище. Ведьмы, понимая все это, вели себя независимо, важно, хотя и без явного нарушения тысячелетних обычаев...

Совершив, подобно другим, коленопреклонение перед Черным Козлом, облобызав его, где следует, и положив к ногам Ночного Владыки обычный дар свой — большую бутылку с хорошо очищенной водкой, Аниска собралась было удалиться к столам, когда глухой и низкий голос Сидящего, совершенно неожиданно для нее, властно сказал:

— Подожди.

Ведьма остановилась как вкопанная. Этот хриповатый голос прозвучал не только в ушах у нее, но как бы во всем существе, подчиняя себе каждую жилку, каждую кровинку, биение сердца и течение мыслей.

— Слушай, Аниска. Ты исполнила завет мой о мщении. Ты сумела быть злой, жестокой и отдала в руки мои душу того, кому, по своей бабьей слабости, разболтала некогда наши общие тайны. Смертью его ты не искупила еще, однако, вины, которая давно была мне известна, хотя я и не показывал вида, что знаю все, что ты делала с ним и о чем говорила... Нет темноты, непроницаемой для взоров моих,

шепота, которого бы я не слышал, и тайных мыслей, мне не известных... Ты хочешь сказать, что имела в виду обратить любовника своего в колдуна? Напрасно твое оправдание. Максим был слишком труслив и в колдуны не годился. Ты сама это знаешь... Но учить других колдовству ты умеешь... И вот что скажу я тебе. А ты внимай и исполни. К тебе скоро придет девочка и будет просить, чтобы ты научила ее сделаться ведьмой. Не отказывай ей. Обучи постепенно всему, что знаешь сама. Будь с нею хитрой и ласковой; не пугай своей будущей ученицы и не затрудняй ее тяжелыми испытаниями, от которых могла бы поколебаться ее душа. А когда девочка будет готова, то приведи ее добровольно сперва на распутье дорог, а потом и сюда. Тогда только ты получишь прощение, а кроме того, и награду... А теперь игри. Не бойся оставаться до конца нашего празднества. Я знаю: тебя пугает мука стать невестой моей. Но на эту муку игдут добровольно. У меня и без тебя слишком много невест... А за то, что ты принесла мне добрую водку (не забывай и впредь делать это!), я помогу тебе приворожить нового любовника покрасивее и помоложе Максима...

Обещание Дьявола сладостно запало в сердце Аниски и заняло думы. Полная этими думами, созерцала она кощунственно подражавший крещению обряд принятия и посвящения в невесты Козла какой-то высокой, худощавой красавицы с курчавыми и пышными, закрученными на затылке косами. Безучастно слушала Аниска проповедь Ночного Владыки, без любопытства созерцала страшные облики явившихся на Осиянскую гору нечистых, без трепета ощущала холодную бледность прикасавшихся к ней рук оживленных на краткий миг мертвецов. За ужином ведьма почти не ела, стараясь отгадать, кто будет послан ей в любовники Властелином Мрака. Сосед Аниски слева, вылезший для праздника, наполовину седой, наполовину рыжий колдун, то и дело крал с ее тарелки куски творога, сала и колбасы.

Куски эти любезно подкладывал ведьме, с томным ворчаньем, сидевший от нее справа с полумедвежьим лицом коренастый на вид и мохнатый нечистый.

Аниска не замечала ни воровства своего товарища слева, ни настойчивой услужливости правого соседа по пиру.

— О чем задумалась, молодуха? — спросил ее рыжий колдун, выбирая крошки творогу из густой бороды.— Не для того ты сюда прилетела, чтоб думать. От дум приходят раньше времени неприятные для баб морщины... Надумаешься еще, лежа в могиле... А пока молода и сильна, думай поменьше и веселись, как умеешь. Если ты неопытна, то я тебя после ужина кой-чему научу. Не смотри, что я старый. Отдыхая в гробу, накопил я достаточно сил, чтобы утомить бабу и покрепче тебя...

— Отстань! Не до тебя! — сурово отрезала Аниска.

После ужина, вместо того чтобы плясать заодно с другими, она отошла скромно в сторону, к потухавшему костру, над которым незадолго перед тем склонялось второе лицо Ночного Козла.

От угольев костра расстилался по земле густой белый дым, который жадно вдыхала лежащая тут же на правом боку толстая нагая старуха. Аниска перешагнула через ее короткие ноги, улеглась тут же неподалеку сама и тоже стала усердно вдыхать сладковато-приторный дым. Она и раньше знала, что курево это дает возможность видеть при закрытых глазах все, что делается в том или ином, смотря по желанию, городе или селе.

Зажмурив глаза, Аниска напрягла волю, чтобы вызвать облик того, кто был ей обещан Хозяином Мрака.

В воображении ведьмы неожиданно всплыло юношеское смеющееся лицо дьяконицына племянника, Сени. Очертания его красивых, улыбочатых, с небольшими усиками розовых губ и ясные голубые глаза сразу же полюбились Аниске, и она, как бы в ответ видению, улыбнулась сама заманчивою многообещающею улыбкой.

Почти до самого конца шабаша, никем не беспокоимая, лежа у потухавшего костра, ведьма не отпускала от себя этот сладко привороживший все ее существо юный, привлекательный образ...

Спокоен и радостен был обратный Анискин полет, под крик петухов, в предрассветной тающей мгле, к родному селу, где ее ждала, по обещанию Хозяина Праздника, радость новой, доселе не испытанной страсти.

Сознание того, что за нею все время неустанно следят глаза незримого Ночного Козла и каждое деяние ее безразлично воспринимается и запоминается им, заставило Аниску приноравливать свою жизнь и поступки к желанию и воле своего Господина. Зная, что последний вменяет ведьмам в обязанность творить вред, зарецкая чародейка начала усердно и осторожно портить не только скот (что случалось порою и раньше), но трогать и людей, — то, чего прежде она избегала. Ночью, в виде черной собаки, унесла и загрызла поповского гуся; пустила по ветру пыль с пожеланием раздутья и корчей в сторону, где играли дети соседки; на граничащий с нею двор, по другую сторону дома, вылила наговоренные, с собачьим пометом в поганом котле вскипаченные помои...

Страх перед Господином заставлял чаровницу все время думать о том, как ему угодить и избавиться таким образом от неприятностей за доверчивость к Максиму.

В свою очередь нечистая сила стала заметно ей помогать. Каждую ночь видела Аниска во сне всех тех, кто должен будет в течение дня прийти к ней ворожить и гадать. Во сне же она получала и указания, что каждому посетителю следует дать в качестве снадобья или предсказать. Ведьме удалось между прочим открыть, где находятся кони, украденные у Гордеевых и Степанчука, и сообщить Феоклисте Седых, что к ней вернется скоро муж, пропавший без вести на войне.



Лето стояло очень жаркое. Ливней давно уже не было. Можно было подумать, что богини дождя и росы, рассердясь за что-то на темную, пылью покрытую Землю, решили оставить ее на долгое время без влаги. Обмелели реки, почти иссякли ручьи, пересохли непроходимые прежде трясины.

Болотная и водяная нечисть и нежить весьма страдали от этой вражды невидимых, но могучих бессмертных богинь. Ввиду недостатка росы русалки остерегались выходить на

поля по ночам. Совсем почти смолкли их песни, прекратились игры, и не слышался более на заливных прежде пугах серебристый разливчатый хохот водных красавиц.

Болотные бесовки и бесы прятались днем в глубине покрытых сверху подсохшим мшаным покровом озер и лишь при свете луны осмеливались выглядывать из немногих осунувшихся, загрязненных и суженных окон. Но и на дне мутных и грязных трясин не чувствовал себя вполне в безопасности когда-то толстый, теперь похудевший от беспокойства Болотник. Мудрый старик знал, что несчастье грозит не от одних только жгучих солнечных стрел: он догадывался о возможности и другой, быть может близкой, беды. По ночам, когда в лесу и на тинистых топях стояла полная тишина, ибо лягушки не квакали и не трещал козодой, Болотник ложился на дно своего трясинного озера и чутко прислушивался к долетавшим откуда-то снизу глухим и далеким шагам. По учащенности этих шагов старик догадывался, что Владыка Огня, чем-то недовольный, ходит сердито по своему подземному царству и, того и гляди, выйдет наружу. Трясинник знал, что вместе с ним вырвутся на поверхность земли жадные демоны пламени — всепожирающие пожары.

И они вырвались.

В одну из ночей, высунувшись по плечи из ржавой воды черного окна, Болотник потянул, посапывая, приплюснутым носом своим чуть-чуть посвежевший с вечера воздух, и на покрывшейся морщинами морге его изобразилась тревога. В воздухе чувствовался тонкий, едва уловимый запах дыма. На следующую ночь запах был уже вполне ощутителен. Чуткое обоняние владыки трясин быстро определило, что горят дальние торфяные болота. Подняв вверх мокрый и грязный когтистый свой палец, Трясинник пытался определить силу и направление ветра. Последний, едва ощутительно, но все-таки дул от горящих торфяников к поросшим лесом берегам Ярыни.

“Скверно будет,— подумал, насупившись, Болотник.— Я, конечно, отлежусь вместе с женами, закопавшись в ил моего озера. Но вот для всех там места, пожалуй, не хватит, и лозовые бесенята, что живут под кустами, около

высоких теперь луж и грязей, и те, что гнездятся в осоке, могут пропасть”.

Через тех болотных бесов, что служили ему, властелин трясины отдал приказ, чтобы при приближении огня все бесовки и бесенята отнюдь не убегали бы вместе с крысами и зайцами вслед улетающим птицам, а ныряли бы на дно подземного озера и не выходили оттуда впредь до его, владыки, приказа.

Медленно, но верно навигалась беда. Пожар все приближался. С каждым днем все гуще и гуще становилась между землею и небом почти скрывававшая солнце туманная завеса. При дыхании явственно чувствовался горьковатый, раздражающий горло и нос запах едкого дыма. Скоро дым этот стал стлаться почти над самой землей, заставляя взлетать и уноситься вдаль стаи тетеревов, куропаток и одиночных, жалобно свистящих куликов и бекасов. Жившие на болоте зверьки погбирались к не высохшим еще, благодаря ключам, мокрым местам и испуганно-жалобными голосами изредка перекликались друг с другом...

Вот пожар, посылая перед собою густую стену беловато-желтого дыма, приполз и к тому лесу, что окружал бесовское болото.

Маленькие огоньки пробегали, извиваясь, по сухому мху от дерева к дереву. Огня за другою вспыхивали, как факелы, и пели, объятые пламенем, высокие розово-желтые сосны; чернели, обугливаясь, ели; свертывали, шипя, свои листья сравнительно более сырые кусты олешника и ивняка. Вместе с деревьями гibli, заламывая руки в огне, древяницы. Трещал пылающий хворост. Выскакивая из-под него, мчались, ни на кого не обращая внимания, прячущиеся обычно при свете дня лесные полууродцы-полудухи. Огненные искры, как птицы, кружились, летали над пожарищем.

Впервые увидевшая это зрелище Лешачиха Бородавка совершенно оторопела и не знала, что делать. Ее любимец, Бурый Мишка, почувствовав дым, тоже растерялся и стал, делая круги, носиться по лесу. Лешачиха испуганно бегала вслед за ним, уговаривая его остановиться. Но медведь не слушал ее и метался среди горевших кустов, как будто его преследовали пчелы и осы.

Дело кончилось тем, что оба они очутились на пригорке, окруженном со всех сторон пылающим мхом. Мишка с перепугу взобрался на высокую сосну и, сидя в верхних ветвях, где дыма почти не было, понемногу успокоился и огляделся. Огненное море, над которым стоял мглистый туман буровато-белого дыма, бушевало вокруг их островка. Рыжая белка зацокала тревожно около Мишки, но медведю было не до нее.

Треск пожара раздавался все громче и ближе; искры летали уже вокруг той сосны, где укрылся топтыга. Становилось нестерпимо жарко. Едкий горячий дым скрыл уже из Мишкиных глаз все, что находилось внизу.

На мгновение мелькнуло в этом дыму испуганно вытянутое лицо Бородавки. Мелькнуло и скрылось. В тот же миг пламя, взлизнув по сосне, жадно охватило смолистые сучья ее, а заодно опалило и мохнатую шкуру медведя.

Мишка взревел и, не помня себя, ринулся на землю. Больно ушибшись, он вскочил тем не менее на ноги и помчался, обжигая лапы и сам не помня куда, по горящему лесному болоту...

Бородавка совсем растерялась.

Вместо того, чтобы убежать по направлению к озеру, около которого она наткнулась некогда на Баранью Морду, Лешачиха стала метаться по поросшему пылающими теперь соснами пригорку, пока и ее вместе с деревьями не охватило пламя. Смолистый сок, текущий у лесовиков вместо крови, вспыхнул на ней вместе с твердым, похожим на дерево телом. Быстро занялась вместе с ними и лохматая, гребесному мху подобная шерсть. Испуганно махая длинными дымящимися конечностями, Бородавка стала кататься по земле, слыша, как трещит и шипит ее тело. Один из бесов огня обнял Лешачиху и обжег горячим своим поцелуем все ее объятые ужасом существо...

Конец наступил довольно быстро. Покатавшись в дыму среди обугленных пней и горящих, как огненные столбы, кустов и деревьев, Бородавка внезапно застыла неподвижно. Ее скорченное тело стало похоже на большую, местами обратившуюся в раскаленный уголь, местами еще черную гребесную корягу.

Бурый Мишка, весь опаленный, дымясь, с обжаренными подошвами, домчался-таки до небольшого лесного озерка и, рывкнув от безумного счастья, прыгнул в раздавшуюся под его тяжестью теплую ржавую воду.

Он очутился в обществе болотных бесовок, гнавших из своих владений не менее, чем Мишка, перепуганного и местами тоже обожженного Баранью Моргу. Тот, не обращая внимания на взволнованных его появлением болотниц и, вероятно, даже вовсе их не замечая, вцепился в росший на одной из кочек ивовый куст и ни за что не хотел уходить из озерка, как ни шипали, ни били и ни щекотали его прекрасные бесовки.

В этой трясине Леший просидел три дня и три ночи, пока упавший с неба дождь не залил пожарища. На четвертый день он вылез и ушел неизвестно куда. Никто никогда не видел больше Бараньей Морги в тех местах, где он прежде обитал, ссорился с рыжебородым соседом, качался на гревесных ветвях, пас зайцев и, ковыряя лапти, пел в лунные ночи несложные, заунывные песни.



— Так ты пришла просить, чтоб я приняла тебя в науку? — обратилась Аниска к стоявшей перед нею с мрачным, но решительным лицом Оксане-Аксютке. — Но ведь ты живешь у старой Праскухи? Почему же ты у нее самой не хочешь учиться? — продолжала ведьма, выкладывая на тарелку мед из стакана, принесенный в дар этим молчаливым подростком.

— Я уж переняла у нее все, что могла, тетенька Анисья. Дальше она меня не учит. Я хотела раньше идти в науку к Степке, но ту недавно, ты сама знаешь, удавила нечистая сила. Иначе, как к тебе, не к кому мне теперь сунуться, тетенька. Праскуха о том, что я к тебе пошла, не знает, да я и не хочу, чтобы знала, — голосом, в котором звучала недетская воля, закончила Аксютка.

— А чтобы не узнала, бери обратно стакан и перед тем, как поставить на место, не забудь вымыть его хорошенько с золой.

Желание втайне от Праскухи покорить и подчинить себе волю ее воспитанницы и тем насолить старой знахарке, очень улыбалось Аниске. Кроме того, в ушах ведьмы звучало еще приказание Ночного Козла: “Обучи ее всему, что знаешь сама... Не пугай будущей своей ученицы и не затрудняй тяжелыми испытаниями...”

Все-таки ведьма не устояла от искушения слегка поломаться и повеличаться перед Аксюткой, чтобы показать девочке свое неизмеримое превосходство над нею.

— Принять в ученье тебя, конечно, можно... Да только справишься ли? Наше дело сурьезное. Это не травку варить, что от ломоты помогает, и не бородавки сводить. Это наука такая, что не всякий ее выдержать может... Чертей не боишься?

— Чего мне их бояться, коли я сама — бесовкина дочь? — коротко отрезала девочка.

— Вот как?! — И Аниска поглядела на гостью. — А я думала, брешут... Чего ж у матери-то не учишься?

— А кабы я знала, где она, мать эта самая!

— Ну что ж. Если хочешь, то как-нибудь узнаем, выведаем. А то и Самого Главного спросим... Только это потом. А сначала еще науку пройти надо.

— Я за наукой и пришла.

— Так вот с чего тогда начнем. Эта ночь месячная. Время самое подходящее... Как только бабка твоя уляжется и заснет, прибегай сюда; пойдем с тобою в хлеба: пережигать да закрутки с завязками делать учиться.

— Завязку-то я сделать сумею, только слов вот не знаю.

— Я научу, — был ответ...

В ту же ночь Аксютка, сбросив рубаху и юбчонку, рядом с такой же голой Аниской, делала уже закрутки, произнося вслеп за своей учительницей слова заговора:

Светит месяц, острые рожки.

Иду я из поля в поле;

Семь бесов следом за мною,

А восьмая с нами сатаница.
 Никто нас здесь не заметит:
 Ни черный, ни белобрысый,
 Ни сегой, ни плешивый, ни рыжий,
 Ни первач-собака, ни Дег Житень.
 Забиваем мы жито Фегота.
 Я кручу, нечистые вяжут,
 Сатаница узлы считает
 (По пяти узлов на закрутку),
 Заговаривает каждый узел.
 Первый узел — чтобы не дозрело;
 Второй — чтоб дождем промочило;
 Третий — чтоб градом побило,
 Четвертый — чтобы сопрело,
 Пятый — чтобы черви его съели.
 Кто наш первый узел снимет—
 тому руки скрючит;
 Кто второй развяжет—
 ломота накажет;
 А кто третий тронет —
 сухота замучит;
 Кто четвертый узел наш развяжет —
 слепота по гроб его накажет;
 А наш пятый тронуть кто решится—
 тот с родными должен распроститься;
 Кто же всю закрутку выдернет да кинет—
 верной смерти в тот же год не минет.
 Мое слово крепче, чем железо.
 На закрутку нет переговору,
 Ни мудрец, ни знахарь, ни знахарка,
 Ни сам Житный Дег его не снимет...

Струсившая сначала при упоминании о сатанице и озиравшаяся украдкой по сторонам Аксютка, убедившись, что рядом с ней и Аниской никого третьего нет, быстро пришла в себя и по окончании обряда решила даже спросить у наставницы:

— А кто такой этой Житень, которого мы поминали в заговоре, тетенька Аксинья? — спросила девочка, когда

обе они, уже одевшись, шли по мокрой росистой траве, холодившей их ноги, обратно в село.

Довольная способностью своей ученицы быстро схватывать и верно запоминать слова заклинания, ведьма охотно удовлетворила Аксюткино любопытство:

— А это дед такой, что на нивах живет. Его не всякому видеть дано... Я хотя и встречала этого Житня раза два, да боялась близко подходить. Потому и не знаю, верно или нет, что у него три глаза во лбу... Иные называют его Житным Козлом, потому что у него козлиная борода и рога будто есть... Но я рог не заметила. С виду он дряхлый и зарос седыми волосами, а ходит хотя и с дубинкой, но бодро и зорко следит за ростом. Осенью, когда сеют, Житень невидимкой ходит по пашне и втаптывает ногою семена в сырую землю, чтобы птицы не склевали. Бережет он будто не всякую ниву, а только у тех хозяев, кто хорошо пашет и боронит. Но я этому не верю. Степка, когда я еще сама у нее училась, мне сказывала, что Житный Дед отогнал ее раз с десятины очень плохого хозяина. Тот сумел ему угодить: зарыл после Велика дня на меже косточки от пасхального поросенка. Этот Дед показывается не только по ночам, но и среди бела дня, как и полудница. Является Житный людям обычно в виде нищего странника, где-нибудь возле хлебов. Ежели погрозить встречному пальцем, то, значит, быть беде — урожая не жди!.. Но ты ни днем ни ночью, когда бы ни завидела, близко к нему не подходи. Не любит он нашей сестры и дубинкой своей крепко побить может, особливо если за делом застанет, — закончила свою речь ведьма.

— Тетенька Анисья, а что нам могут полудницы сделать?

— А то, что хотя они и не нашего стада овцы, а тоже проказить умеют. К примеру, детей малых, которые по хлебам ходят, полудница с пути сбивает и так завести может, что до вечера домой не попадешь. Да и взрослым повредить может... Я, когда еще девчонкой была, видела раз во время жнив полудницу, но подходить к ней близко забоялась... Вся в белом, высокая-высокая, идет между бабами, останавливается, смотрит, как жнут, а те ее не замечают. Ходила, ходила, остановилась около одной и до

темечка ей рукою коснулась. Баба сперва села, а потом еле до воза дотащилась и начала себе голову из кувшина мочить... Все потом говорила, будто солнцем напекло. А полудницы этой никто, кроме меня, тогда не вигал. Старые люди рассказывают, что она не дозволяет бабам жать в полдень и голову будто даже открутить может... Я в это не верю. Но ты, ежели когда-либо ее встретишь, вежливо посторонись и дорогу дай. Можешь не кланяться, но и кукиша не показывай. Это не бесовка... Теперь нам в разные стороны. Тебе — направо. Огородами ты до своей Праскухи скорей доберешься... А ко мне завтра после полудня приходи; да и медку не забывай, — закончила свою речь Аниска.

На ночном синевато-мглистом небе уже чернели очертания деревенских построек.

Аксютка побежала по тропинке, ведущей вдоль огорогов, и скоро скрылась во мраке. Слышно было только, как топчут вдаль ее быстрые полудетские ноги...

Всю ночь не могла заснуть Анискина ученица. Так беспокоил ее вред, причиненный ими Федотовой ниве. Посмотревшая на нее утром Праскуха даже ахнула, увидя тревожно осунувшееся лицо своего приемыша.

— Что с тобою, девонька? Никак захворала?! Не сглазил ли кто тебя?

— Нет, бабушка. Я здорова, и сглазить меня пока некому. А в лице я изменилась потому, что на сердце у меня беспокойно. Этой ночью я вместе с Аниской на Федотовой ниве закрутки делала.

— Что с тобой, дитятко?! Да как же ты с ней спозналась?! Чем она тебя соблазнила? И что за сласть вред людам делать?!

— Аниска меня не соблазняла. Я сама к ней пришла. И хоть сласти никакой нет людам вредить, а тянет меня к себе ведовство, как мотылька на огонь. Видно, я и вправду прирожденная... А в науку ведьмовскую к Аниске я напросилась потому, что ты, бабушка, мне в том отказала, научить меня нечистых вызывать и власть над ними иметь.

— Да ведь, Аксюточка ты моя бедненькая, ничего тебе нечистые даром не сделают. За все им платить надо, и ох как платить, злыми делами. Ты вот вчера Федоту какой вред причинила!

— А зачем же я тебе, бабушка, это и рассказываю, как не затем, чтобы ты сделанное разделала?.. Ведь не к кому сегодня, как к тебе, Федот или жена его прибегут...

— Так-то оно так... А какой заговор был?

— С отворотом. На семь бесов с сатаницей.

— Ага... Знаю. Спасибо, что сказала... Не могу я тебя понять, однако. Может быть, ты и впрямь прирожденная, что тебя на ведовство тянет... Однако совесть у тебя есть. Ни у бесовок, ни у прирожденных совести не бывает. Жаль мне только тебя, Аксюточка. Ни за что пропадешь. Погубит тебя нечистая сила!

— Мне бы только, бабушка, про родителей узнать. Увидеть, какие они были, как звались и чем согрешили. А там я и в монастырь пойду свои да ихние грехи замаливать.

— Хорошо, кабы так, а только "они" не допустят тебя до монастыря, девонька. Не любят "они", когда добыча из рук у них уплывает... Вижу, что ты на гибель идешь... Неужто это на рогу у тебя написано?

— Сама не понимаю, бабушка. Тянет и тянет. А пуще всего мать повигать хочется.

— Так вот что я тебе скажу, Ксаня. Ты, ежели кому какой вред вместе с Аниской причинишь, всегда мне про то говори. Я буду выправлять, как могу. Ты же ни на что самое страшное или грешное не решайся и согласия своего не давай. И нечистых, какими бы господами разодетыми они ни были, до себя не допускай. Говори, что боишься, и все тут. Они, гляди, и отстанут, а ты от них, может, и впрямь что-нибудь тем временем про родителей выведаешь. А там что Бог даст.

— Бабушка, я вчера у тебя стакан меду взяла и сегодня возьму. Обещала я ей...

— Сегодня возьми, а больше ей не носи. Скажи, что я догадалась и от тебя запираю. Не за что ей носить-то!.. Кабы за хорошее дело благодарность была, а то, прости Господи, за блуд бесовский...

Видя, что Аксютка охотно учится колдовству и, не колеблясь, помогает не только в ворожке, но и в личных делах своей наставнице, Аниска вовсе перестала с нею стесняться. Она не только обучала ее заговорам и приворотам, но и показала девочке, как доить чужих коров, не выходя со двора. Кроме того, ведьма обещала своей ученице научить ее летать на помеле и оборачиваться совой, лягушкой и кошкой.

— Только в этих делах, милая, без нечистой силы уже не обойдешься. А силе этой угодить надо,— говорила Аниска внимательно ее слушающей девочке.

— А как угодить-то?

— Так делать, чтобы та довольна была. Первым делом — от креста отказаться и от Того, кому попы молятся, и от всего, чему в церкви поклоняются.

— Креста у меня нет. Был, да я его еще с малолетства потеряла, а как мать у меня бесовка болотная, то мне, значит, и отречься не от чего,— возразила Аксютка.

— Ты уже это мне говорила. А все-таки, хоть на словах, отречься придется. Да и поклониться новому господину тоже надо будет.

— Какому-такому еще господину?

— Да такому, от которого ты власть над нечистыми получишь.

— Мне и власти никакой не надо... Мне бы только с матерью побигаться.

— Если ты власти над водяной или болотной нечистью не получишь, лучше туда и не суйся. Не допустят.

— Ну, если без этого нельзя, можно будет и поклониться,— задумчиво произнесла девочка, вспоминая свой неудачный поход на болото.— А где же и когда ему кланяться-то надо будет, чтобы власть получить?

— Это уже ночью, милая. Вот как случится в четверг новолуние, мы и пойдем с тобою за село, на перекресток, с ним побигаться... А пока надо заранее его загаб-ривать...

В эту минуту в хату постучалась, а затем и вошла баба из другого села и, отведя Аниску в сторону, начала с нею шептаться.

Аксютка отошла поодаль.

Видно было, как ее руководительница, слушая страстный шепот вошедшей бабы, кивала время от времени сочувственно головою и произносила задумчиво: “Так... так...”

— Отчего же... Можно,— спокойно и уверенно произнесла наконец Аниска, когда ее гостя закончила свой рассказ.

С этими словами ведьма встала с лавки и пошла к сундуку.

Порывшись там, колдунья достала жестянку, вынула бумажку и отсыпала оттуда три столовых ложки.

— Давай вместе с квасом или во шах,— сказала она.— А если в случае чего найдут и спросят, скажи, что от крыс, мол, это.

Баба, получив желаемое средство, вынула и дала Аниске старинный серебряный рубль. Когда она ушла, ведьма объяснила ученице:

— От свекра отделаться хочет. Нагоял он ей приставаньем своим, хрыч старый... Вот, глядишь, я хозяину своему и угодила... Учись, Ксанька! Много в этой жестянке ему угождения.

— А сколько давать-то наго? — спросила девочка.

— Да по понюшке в раз, чтобы не очень заметно было.

— А чтобы уже сразу?

— Ну, с пол-ложки положи...

Ни о чем больше неспрашивая, Аксютка сосредоточенно смотрела, как тетка Анисья прячет в сундук свою жестянку.



Подходящее новолуние на четверг выпало только через год, в августе месяце. Выпадало оно, впрочем, и зимою, но погода стояла очень студеная, и Аниска не решилась в такое время вести свою ученицу на поклон Господину.

“Еще руки или ноги отморозит, да и Праскуха, не робен час, гознается”, — думала она.

За этот промежуток времени Ксанька стала своим человеком в избе у Аниски. Она умела уже помогать ведьме составлять приворотные снагобья, знала состав почти всех ее лекарственных средств и хорошо помнила, где какие лежат корешки, травы и порошки.

Однако, несмотря на всю понятливость и смышленность своей ученицы, Аниска не решилась ни сообщить ей тайны приготовления летучей мази, ни взять с собой девочку на Осиянскую гору. Ксанька была еще не причислена к сонму колдуний и не отмечена когтем Ночного Козла, а непосвященные лица всегда могут наткнуться на неприятности при своем появлении на празднике ведьм...

Обе они не без волнения ожидали приближения новолуния. Аниска — в надежде выслужиться перед своим Господином, Ксанька же — с беспокойством думая об испытаниях, которые ее ожидают...

Вот наконец настала эта торжественно-страшная ночь, в которую должно было состояться ведьмовское посвящение девочки.

Придорожный крест, к которому Аниска велела прийти своей ученице, стоял на распутьи, за кладбищем, в полуверсте от села. Молодой месяц уже спрятался за тучи; было довольно темно и сравнительно свежо.

Прохладная ли осенняя ночь была тому причиной или страх и волнение, но, придя перед полночью на назначенное ей место и присев неподалеку от креста, возле канавы, Аксютка чувствовала нечто вроде озноба. Даже нижняя челюсть заметно тряслась; зубы — нет-нет и стучали, а про сердце и говорить нечего...

Аниски еще не было. Ветер шумел в вершинах деревьев. Небо было темное. В кустах что-то шуршало. Не побоявшаяся ни лесной, ни болотной нечисти девочка трусила теперь Дьявола, который представлялся ей особою более высокого сана. Хотя она и рассчитывала ранее непременно с ним поторговаться, но теперь страх перед неизвестностью едва не заставил Ксаньку убежать.

Внезапно неподалеку раздался голос неслышно, босыми ногами подошедшей Аниски:

— Оксанька, ты здесь?

— Здесь, тетенька Анисья! Наконец-то вы! А я уже забоялась, чуть домой не ушла.

— Чего бояться, гурочка?! Никто тебя не обидит. Запозднилась я малость. Скоро полночь. Надо торопиться!.. Так вот что, девонька. Первым делом надо крест снять и ногой на него наступить.

— Нет у меня креста. Сказано тебе, что я бесовкина дочь!

— Как же так?.. Ведь и у меня нет... Ну, если так, то и без шейного креста обойдемся. Вот тебе крест! Видишь? — И ведьма показала на возвышавшийся возле них деревянный придорожный крест, к которому были приделаны деревянные же орудия “страстей”: молоток, клещи, маленькая, словно игрушечная, лесенка, трость с рукояткой и копье.— Приложи к столбу левую твою пятку, повыше... А теперь раздевайся и полезай на этот крест вверх ногами.

— Да я, пожалуй, не сумею,— нерешительно вымолвила Аксютка.

— Как не сумеешь?! Смотри, как я! Я уже не девчонка, как ты, и потяжеле тебя буду, и живот у меня побольше твоего, а как я туда влезаю!

Ведьма поправила свои закрученные на затылке косы и быстро скинула платье. Вскочив затем на приступок креста, Аниска схватилась за нижнюю его перекладину и повисла на ней вниз головою. Ноги свои она вскинула вверх и продела их между средним столбом и упирающимися в него палками жезла и копья. Перебирая руками, схватилась Аниска за поперечную лесенку, потом за те же трость и копье и подтянулась еще выше. Ноги ведьмы перекинулись уже за главную перекладину креста. С минуту провисела там Аниска, смотря то на бездонное звездное небо, то на казавшуюся темною низкою кровлей с висящими на ней кустами и деревьями землю... Никакой нечисти ни даже нежити кругом пока не было видно...

Странно белело, как бы мерцая в ночной темноте, нагое, непривычно для глаза вознесенное тело. Вспомнив,

село дорогу. Когда показались огороды, ведьма отпустила девочку домой, а сама, не торопясь, вошла в село и, ни с кем не встретившись, добралась до своей избы.

“Этакая досада,— думала она, входя в сени,— придется теперь до следующего новолунного четверга отложить. А там, пожалуй, и холодно будет нагишом распинаться... Ну, да как-нибудь устроим...”

Заперев за собою двери, Аниска зажгла ненадолго маленькую свечу, чтоб соседи видели, что она дома, потом вновь ее потушила, улеглась в постель и, накрывшись тулупом, заснула.

Видевшие ее с Аксюткой у придорожного креста парни рассказывали на другой день приятелям, как напугала их около села нечистая сила.

— Шли мы, значит, из Курковиц. Поздно и темно уже было. Подходим к кресту, а там, на перекладинах, ведьмы голые, как вороны, сидят. Да две-три под крестом бродят. А как нас увидели, замахали белыми крыльями и спорхнули в траву, да к нам! Мы от них, а они за нами... Ели ноги унесли! Так треклятые гнались, что вот-вот догонят... Отстали, однако. А мы уже так и думали, что разорвут...



Вечерело. Аниска рассказывала сидевшей у нее в хате Ксаньке-Аксютке, как следует привораживать парней. В окно она увидела, как по улице шел мимо, направляясь домой после охоты, с ружьем за спиной и сумкою через плечо, обещанный ей Ночным Козлом на шабаше Сеня.

Ведьма почувствовала, будто ей что-то ударило в сердце. Запылало от прилива крови лицо. “Он!” — пронеслось в голове. Но чародейка быстро справилась с охватившим ее волнением и деланно-равнодушным голосом произнесла:

— Видишь вот хотя бы этого молодца? Хочешь, он завтра же будет здесь? — И, немного помолчав, прибавила: — Выбеги из избы и принеси его след. Этот хлопец — в сапогах, и след его ты отыщешь легко. Собери землю с него в ту чистую тряпочку, что лежит на лавке около сундука, и принеси сюда. Я научу тебя, как надо это делать. Когда-нибудь и тебе пригодится. Нож возьми со стола...

Поспешно схватив указанную тряпку со скамьи и нож, Аксютка помчалась вон из избы. Вдалеке еще видна была белая рубаха удалявшегося молодого человека. Ученица ведьмы быстро отыскала след охотничьих Сениных сапогов, осмотрелась по сторонам и поспешно частью вырезала, частью выскребла землю с одного из оттисков ног на полузасохшей грязи. Несколько минут спустя она с торжеством принесла в тряпице эту землю Аниске.

— Принесла?.. Эх, девонька, надо было целиком его вырезать, чтобы весь отпечаток был виден...

— Так я, тетенька Анисья, еще раз сбегаю и второй след, как вы велите, вырежу и принесу.

— Поздно, пожалуй; след брать нужно, пока он еще горяченький, а теперь те, что остались на улице, поостыли, пожалуй. Да и дети неподалеку уже играют. Еще заметят, пожалуй... Для начала и такой, как ты принесла, сойдет. Я его повешу в той же тряпице в печную трубу, с наговором, чтобы Сенька этот самый завтра же вечером сюда явился.

Развязав тряпочку, Аниска начала шептать наговор, где юноше предлагалось “сохнуть” по ней, думать о колдунье генно и ночью и стремиться к свиданию с нею.

Тряпочку же с землею Аниска начала было вешать в трубу, но потом передумала и просто положила в печь.

— Великое дело — след,— говорила она ученице,— ежели его вскорости да в сохранности вырезать да положить в печь носком к себе от того места, куда человек шел или где живет, то беспрременно придет. Если же ты погубить кого хочешь, то можешь вместо того, чтобы у себя в печке сушить, на кладбище закопать. Только опять смотри, чтобы носком от его дома к могиле пришлось...

Хочешь, чтобы захворал, то забей в след свеженький гвоздь или стекло острое. Будут тогда тому человеку ломота и колотье во всем теле. А если в конский след гвоздь забьешь — конь захворает.. Иные вместо следа в тень втыкают, но это уже потруднее будет... Одно только помни: пока ты такое дело делаешь, все время изо всех сил, всем нутром своим хоти, чтобы сбылось о чем говоришь. В этом вся и загвоздка... Слова же наговорные — особь статья. Их тоже твердо знать надо. И какое бы нелепое или непонятное слово там ни встретилось, ты пропускать его не моги!

— А какие же это слова, тетенька?

— Потом все узнаешь...— И ведьма стала шептать вступительную часть наговора.

Аксютка внимательно наблюдала за каждым движением учительницы, стараясь запомнить каждое уловленное ею слово.

По выражению Анискина лица во время чтения наговора она догадалась, что ведьма не на шутку увлечена Семеном Волошкевичем и не успокоится до тех пор, пока тот не окажется вполне в ее власти.

На другой день, перед закатом солнца, хотя ведьма и не звала к себе своей ученицы, девочка явилась под каким-то предлогом и заметила, что принаряженная, со слегка погвеженными глазами и чуть-чуть погдумяненная Аниска явно дожидается Сениного прихода. Когда Ксанька явилась, ведьма поручила ей караулить и немедленно сообщить, когда молодой охотник покажется где-нибудь поблизости.

— Хорошо бы еще, для верности, подбросить березовый прутик ему под ноги, чтобы перешагнул, и потом этот прут в печь положить, с приговором. “Сохни ты, Семен Волошкевич, от любви ко мне, Анисье Онопреевой, как прут этот сохнет” Да такой приговор только по пятницам делать можно, а сегодня среда,— задумчиво вымолвила Аниска,— так ты уже, Оксаничка милая, покарауль для меня этого паренька.

Аксютка стала караулить.

Пустынная днем улица к вечеру стала оживленной. Одна за другой промелькнули две бабы с напелотою травой в

холщовых сероватых рядах. Мало-помалу возвращались, скрипя возами, домой работавшие в поле мужики. У ворот появились ребятишки и девчонки с прутьями в руках — встречать и перенимать возвращавшихся с пастбища коров, свиней и овец.

Появился и запоздавший сегодня несколько Сеня, шедший на этот раз почему-то не в сапогах, а в поршнях.

По походке охотника было заметно, что он совершил сегодня большую прогулку. С левого бока на поясе висела убитая дичь.

— Тетенька Анисья!.. Идет! — задыхающимся от волнения голосом произнесла, появляясь в избе у ведьмы, Аксютка.

Аниска вливала тем временем из маленького стеклянного пузырька что-то темное в большой горшок с квасом, только что принесенный из погреба.

Взглянув на себя в висевший на стене осколок зеркала и, видимо, оставшись довольной осмотром, ведьма обдернула на себе платье и вслед за Аксюткою вышла на крыльцо.

Волошкевич был уже у самого Анискина дома. Видно было, что он недаром промотался весь день. Кроме нескольких молодых уток, куропатки, бекаса и пары тетеревят, поверх всей этой серовато-коричневой дичи ярким пятном выделялся подстреленный юным охотником пестрый дятел.

— Здравствуйте, Сеничка, — сладким голосом скорее запела, чем заговорила, Аниска, — сколько птицы настреляли! А дятла-то зачем убили? Есть ведь не будете? Кончил он свою горемычную жизнь от вашей руки!..

— Почему же у него жизнь горемычная? — не удержался, чтобы не спросить, Сеня.

— А вы сами разве не знаете? А еще ученый! Дятел ведь носом деревья долбит. Так за день намучается, что ночью от головной боли спать не может. Ежели не верите, то подойдите как-нибудь к дуплу, где он ночует, и услышите, как он, бедняга, стонет... Подарите мне, Сеничка, эту птичку.

— Не могу. Я для того ее и убил, что мне крылья нужны. В город хочу свезти и отдать там, кому обещал...

— А вы, Сеничка, крылья-то себе возьмите, а мне остальное отдайте. Крылья-то дятловы мне как раз и не нужны... Загляните ко мне в хату; там и отрежете. А я вас молоком или квасом попотчую. Чего хотите?

— Молока я что-то не хочу; а вот если квас есть холодный, то можно выпить. А дятла, если без крыльев, я тебе, Анисья, отдам. Сейчас их только отрежу.

Сеня отвязал погвешенного за лапки к поясу дятла, отделил на ступеньке крыльца при помощи ножа пестрые красивые крылышки, спрятал их за пазуху, а ставшее от этого маленьким туловище с мотавшейся глинноносою головою передал приятно ему улыбавшейся ведьме.

— Зайдите, Сеничка, в хату. Отведайте кваску,— говорила она.

Волошкевич поправил ружье за плечами и взошел на крыльцо. Пройдя затем через темные сени, он очутился в хате у ведьмы. Там было чисто прибрано; пол подметен. На столе стояла пара белых глиняных кружек и накрытый деревянной дощечкой горшок. Анисья сняла крышку и налила в одну из кружек густой темной влаги.

— Пейте на здоровье, Сеничка,— сказала она и, когда тот осушил кружку, спросила: — Еще не хотите ли?

— Нет, спасибо.

— Али не вкусен либо не холоден? Сейчас его только со льду сняла...

— Холодный-то он холодный. Да только вкусу в нем не разберешь, и кислоты мало. Переслащен очень.

— Это я в него медку погбавила,— пояснила ведьма.

— А что ты будешь делать с этим дятлом? — спросил Волошкевич.

— Да уж для чего-нибудь приспособлю,— был уклончивый ответ.— Мало ли для чего птицы годны бывают. Не за одни крылышки или мясо знающие люди их ценят... Вот, например, если вы грозда черного сердце в тряпочку завернете да под изголовье себе положите, вам какая ни есть тайна откроется... Или вот жаворонка если вы подстрелите как-нибудь да лапки его сюда принесете — и мне хорошо будет: от напраслины терпеть не буду и вас за то

поблагодарю. Я такой заговор знаю, что ружье ваше без промаха бить будет... Принесите только, а за мной дело не станет...

— А ты и это умеешь?

— Я для вас все сумею. Вы только меня не забывайте. Приносите мне показать птиц, которых набьете, а я вам и ружье заговорю, и слову научу, чтобы зверь к вам в лесу шел и птица летела или чтобы рыба клевала, когда удить будете. За мною дело не станет.

— Ну ладно. Принесу тебе и грозда, и жаворонка, когда попадутся. А пока прощай!

Анискин гость взял из угла поставленное им там ружье, перекинул его за плечо и вышел из избы.

— Да вы и так заходите,— певуче говорила ему вслеп чародейка.— Я вас квасом или молоком угощу...

Но Сеня уже шагал по улице, не чувствуя, как ему вслеп смотрят четыре женских глаза.

“Молоко-то у нее пить, пожалуй, не стоит. Его ей черти, говорят, от чужих коров доить помогают... А квас — ничего... квас холодный и сладкий... Приторно даже”, — думал молодой охотник, приближаясь к дому, где старая дьяконица давно уже подогревала племяннику остатки обеда.



Колдовские средства Аниски оказались, вероятно, действительными. Сеня чаще и чаще стал заглядывать в ее чисто выбеленную, пахнущую целебными и приворотными травами хату.

Сперва он делал это, возвращаясь с охоты, а потом заходил и без всякой охоты, то для того, чтобы заговорить ружье, то для того, чтобы посоветоваться по поводу какого-нибудь сна, охотничьей приметы, а то и просто поболтать с красивой и угодливой ведьмой.

При этом он часто встречался у нее с Аксюткой, про которую сперва Аниска забывала, а потом стала по большей части тотчас по приходе юноши отсылать ее домой.

Девочке казалось это обидным, но она не обнаруживала своего недовольства и безропотно исчезала при первом приказании наставницы.

“Знаю я, чего ты от него добиваешься! Думаешь, не понимаю, для чего ты ему своей крови в квас подливаешь да меду потом подбавляешь, чтобы незаметно было? Для своего Господина или для себя самой стараешься”, — думала девочка, сердито шагая домой узкой тропинкой, мимо огородных гряд с капустою, луком и горохом.

В душе Ксени давно уже назревало недоброжелательство к ведьме; колдовством и обманом привораживающей к себе молодого человека, — чувство, соединенное не то с состраданием, не то с нежностью к последнему.

Аксютка много думала о Сене и порою даже видела его во сне. Но наяву она и вида не подавала, что тот для нее не безразличен, и даже избегала, особенно при Аниске, смотреть на него.

В душе Аксютка уже твердо решила какою бы то ни было ценою не допустить, чтобы понравившийся ей молодой человек стал игрушкой любовных утех и прихотей Анисьи.

С трепетом сердца старалась догадаться ученица ведьмы, когда наставница ее пожелает наконец использовать действие приворотных средств, которые подливались и подсыпались юноше сперва в квас, а потом, когда Сеня стал заглядывать чаще, то и в чай.

Однако Аниска не торопилась. Ей хотелось, чтобы обещанный Господином любовник стал не случайной жертвой ее прихоти и не сбежал в ужасе после первых же полуневольных обьятий.

Ведьма старалась разжечь в Сене неодолимую и неутолимую страсть, чтобы он прилип к ней, как выражалась она, “аж до смерти”.

Когда действие почти ежедневно вливаемых в юношу снадобий показалось ей достаточным, Аниска пригласила ставшего уже заглядываться на нее Сеню прийти провести вместе вечерок, обещая наконец открыть ему заговор.

которым знающие охотники заставляют Лешего погонять к ним всякую дичь.

— А кроме того, я тебя научу, какими словами укротить его самого, ежели он тебе встретится ненароком в лесу.

— А если я вместо Лешего Лешачиху увижу? Тогда как? То ли же самое слово говорить или по-другому? — шутливо спросил у ведуньи Сеня.

— Об Лешачихе, Сеничка, я и не подумала. От Лешачихи, Сеничка, только травка одна помогает... Однако я травки этой даром вам не дам...

— А чего же ты за травку хочешь?

— Вот как придете сегодня ко мне вечерком, то и потолкуем и поторгуюсь. Дорого не запрошу, не бойтесь! — ласковым, певучим голосом с медовою улыбкой говорила ведьма.

Сеня охотно дал обещание прийти, а пока отправился купаться, после чего ему надо было еще забежать по какому-то делу к сельскому попу.

Слушавшая весь разговор их девочка осталась в избе, Аниска же пошла проводить гостя до крыльца. Чуткий слух Аксютки уловил в сенях шепот, чмоканье, возню и счастливый, слегка сдвоенный смех обнимавшейся пары. Ведьмина ученица насторожилась и сразу изменилась в лице, на котором незаметно для самой девочки появилась та самая улыбка, с которою ее мать, Марыська, уносила некогда на дно трясины попавших в ее объятия неосторожных охотников. В душе бесовкиной дочери сразу созрело роковое решение...

Вернувшись в хату Аниска принялась при помощи ученицы за приготовления к приходу вечернего гостя. Ведьма так размечталась, что ей не хотелось даже хлопотать самой ни около самовара, ни над приготовлением возбуждающего снадобья, которое она собиралась подлить гостю в графинчик с темною, сладкой наливкой. Аксютка усердно помогала ей в том и в другом. Марыська гость успела даже, о чем ее вовсе не просила Аниска, отсыпать незаметно в бумажку белого порошка, употреблявшегося ведьмой не только от крыс, но иногда и для людей.

— Наливай графинчик полнее,— командовала Аниска,— чтобы для обоих нас хватило. Хочу и сама утомиться, но и его заморить...

— Оба не уморитесь, смотрите,— загадочно улыбаясь, шутила Аксютка.

Видя, что Сеня сам стремится облагать пригожею ведьмой и как будто даже не замечает ее самой, девочка решила наказать их обоих. Воспользовавшись тем, что Аниска отлучилась на ледник, Марыськина дочь всыпала быстро в графин украденный ею порошок и несколько раз взболтнула сосуд, чтобы снадобье распустилось. Аниска, вернувшись, в свою очередь подмешала туда меду, отвара одолень-травы и еще какого-то возбуждающего средства. Затем обе они стали резать ломтиками принесенную с ледника колбасу, поставили на стол ситный хлеб, коровье масло и селедку с луком на конопляном масле.

Когда все было готово, ведьма отпустила свою помощницу и ученицу, сказав ей, чтобы наутро та не приходила слишком рано.

Закрыв за девочкой двери, колдунья вынула из сундука приворотный корень обратим, положила его на большой осколок зеркала и долго смотрелась в последнее, шепча: “Как смотрюсь в зеркало, да не насмотрюсь, так бы мой Сеня на меня не насмотрелся...”

Ужин, предложенный Аниской своему гостю, кончился совсем не так, как хотелось размечтавшейся ведьме. Осушив довольно быстро вместе с Сеней заветный графинчик, она с нетерпением стала ожидать действия подмешанного туда ею снадобья, но действие оказалось совершенно не тем, на которое возлагались надежды. Вместо того, чтобы воспламениться к ней страстью, молодой человек стал вдруг задумчивым, начал как-то странно вздыхать, а внезапно побледневшее лицо его приняло страдальческий вид. Покрытый холодным потом, испытывая озноб, поднялся он наконец с табуретки и, сказав, что чувствует себя дурно, наскоро простился и стал искать свою шапку.

Аниска (пившая меньше) заметила, что он раза два качнулся, как пьяный.

“С непривычки, верно”, — подумала она и попробовала было удержать его:

— Сеничка, останьтесь! Это пройдет. Это наливка вам в голову ударила. Отдохните здесь! На моей постели прилягте... Вот увидите, что все пройдет!

Но Сеня, пробормотав в ответ что-то невнятное, уже перешагнул за порог, захлопнул дверь за собою и, шатаясь, спустился с крыльца. Он испытывал головокружение, тошноту и порою жгучую боль в животе.

Не успел молодой человек дойти до дому, как почувствовал еще бóльшую слабость, рвоту и свалился, как пьяный, среди темной улицы...

Шедшие мимо парни, подумав, что он выпил лишнее, пробовали, со смехом, его растолкать, но Сеня ничего не отвечал и не шевелился, как мертвый. Оставив его лежать, парни пошли дальше. Однако один из них, проходя мимо домика дьякона, постучал в окошко и сказал высунувшейся оттуда дьяконице, чтобы та шла подбирать своего племянника, который напился и валяется среди улицы против избы Ипата Савельева.

Дьяконица, опасаясь сказать что-либо улегшемуся уже спать мужу, разбудила работницу и с нею вместе отправилась на поиски Сени. Хотя ночь была темная, они довольно скоро отыскали неподвижно лежавшего молодого человека. Дотронувшись случайно до его головы, дьяконица ахнула и отдернула испуганно руку. Влажный от пота лоб Сени был уже холоден, как у мертвеца.

Обе женщины попробовали было поднять лежавшего, но это было им трудно. Дьяконица послала тогда работницу попросить Ипата помочь им перенести захворавшего племянника. Ипат, хотя и вернулся недавно из леса и еще ужинал, но быстро закончил еду и пошел помогать. Втроем перетаскили они не подававшего признаков жизни Сеню в боковую клетушку дьяконова домика и уложили его на постель. Дьяконица и ее разбуженный муж долго и безуспешно пытались привести в чувство племянника.

Только к утру они окончательно убедились, что Сеня больше не дышит...

Аниска, после того как ее юный гость так неожиданно вышел из-за стола и из избы, долго не могла опомниться.

“Верно, уже ему очень не по себе стало. Надо быть, Аксютка треклятая переборщила со снагобьем... Ишь ты, даже у меня голова закружилась!.. Да и тошнота тоже под сердце подкатывает... Так и есть: переложила девчонка!.. Вот я ей завтра задам! Будет меня знать!..”

Шатаясь, подобно Сене, дотащилась до кровати Аниска и улеглась. В животе у ведьмы скоро начались жгучие боли. Холодный пот выступил по всему ослабевшему, как в лихорадке дрожавшему телу. В глазах темнело и кружилось; в ушах слышался шум, подобный призывному гулу бесовского бубна... Еще немного, и теряющей сознание Аниске уже казалось, что она нагая, верхом на метле, несется на шабаш... “Почему не в четверг, а во вторник?” — пронесся вопрос в ее голове... Кругом была сырая, холодная мгла. В ушах не прекращался шум от кричавших наперебой вблизи и вдаль от нее голосов. Но, заглушая их всех, пронзительно зазвенел призывный рожок Сатаны...

— А вот и Невеста! — провозгласил кто-то из темноты (ибо свеча в комнате Аниски успела догореть). Голос был хриповатый и как будто знакомый. В сумраке ночи обрисовалась сперва далеко, потом все ближе и ближе, красная точка, обратившаяся постепенно в пятно. В пятне показалось, озаренное огнями шабаша, полное ожидания лицо Ночного Козла. Лицо не парадное — не с третьим рогом, в виде небольшого факела, на лбу, между других двух рогов, а второе лицо — то, которое почитатели Ночного Владыки целуют, склоняясь, под треном. Этот таинственный лик, как ведьма уже заметила раньше, чертами своими был поразительно схож с ее собственным лицом. В отблесках пламени очертания этого лика казались даже значительно моложе, правильнее и красивее, чем у Аниски. Со странной улыбкой он приближался, склоняясь, к лежащей без движения, с широко открытыми глазами колдунье...

Ведьме почему-то стало страшно. Она чувствовала, что ей надо вскочить с постели, спрятаться или убежать, но она не имела сил даже пошевелиться... Лик все наклонялся.

гребесную сень и узкой тропинкой хотела перебраться к болоту. Но на тропинке вскоре показался кто-то темный и неприятный, загородивший ей путь. Девочка побежала обратно. У нее мелькнула мысль, что узнать о местонахождении матери можно только на том самом придорожном кресте, влезать на который ее заставляла Аниска... Вот Аксютка уже за кладбищем. Небо сделалось темным. Около креста нет никого. Можно, значит, снять платье с сорочкой и сунуть их в кусты возле канавы... Влезать на крест вовсе не так трудно, как это казалось впервые. Даже очень легко. Спина скользит без труда по сыроватому дереву, задевает за лесенку, трость и копье, ноги перекидываются одна за другою чрез перекладину. Запрокинутая голова смотрит сперва на звездное небо, затем озирает окрестность... Кто-то темный вырастает, совсем близко, из-под земли.

— Слезай, девочка,— слышался голос, знакомый, но вовсе не страшный.

Аксютка послушно слезла с креста. Вглядевшись в пошедшего, она увидела, что это бородатый, с заросшим рыжими волосами лицом человек, очень похожий на кого-то из окрестных мужиков. Вместе с тем девочка поняла, что под этою совсем обыденною с виду деревенской внешностью кроется не кто иной, как сам черт.

— Одевайся, девочка,— сказал властно последний.

Аксютка быстро оделась. Ее мучил вопрос, чего от нее нужно этому волосатому собеседнику, в голосе которого чувствуется какая-то неприязненная сила.

— Пойдем,— зазвучал вновь этот знакомый и решительный голос.

— Куда? Зачем? — робко попробовала спросить Аксютка.

— Начальство тебя требует! — И черт во образе мужика повел девочку по темной дороге.

— Куда же ты меня ведешь, дяденька? — продолжала спрашивать Ксенька, шагая с ним рядом.

— Увидишь,— мрачно ответил вожатый.

Девочка догадалась, что мохнатый спутник хочет увести ее куда-то, как можно дальше от воды, где, по словам

ней больше, Ксенька! — заключила свою речь старая знахарка.

— Хорошо. Не пойду больше, бабушка, — последовал несколько удививший Праскуху ответ приемыша.

— Давно бы так. А теперь спи, Христос с тобой! Помолись хорошенько, и сон увидишь хороший. А то и сама стонешь, и мне спать не даешь.

Скоро и старуха, и ее приемная дочь снова спали, и черт больше не снился Аксютке.

Неожиданная смерть Аниски и Сени взбудоражила тихое Зарецкое.

Про смерть Аниски узнали не сразу. Около домика дьякона с утра толпились мужики и бабы. Некоторые видели, как молодой человек шел в вечернем сумраке к ведьминой хате, и решили потребовать у колдуньи объяснений по поводу случившегося.

Когда после бесплодных стуков в окно сотский с десятским высадили дверь и, стуча сапогами, вошли в жилище ведьмы, та давно уже окоченела. По широко раскрытым глазам и потемневшим губам ползали мухи. Лицо Аниски сохранило страдальчески удивленное выражение.

Столь подозрительно внезапную, одновременную смерть юноши с женщиной нельзя было утаить от властей, которым и дано было знать. На другой день приехали в село становой пристав и врач. Последний произвел вскрытие умерших и признал отравление. Становой занялся опросом жителей. Узнав, что в день смерти Аниски у нее была, между прочим, Аксютка, пристав распорядился позвать к нему девочку.

Та, с тех пор как ей стало известно о смерти наставницы своей в ведьмовском искусстве, а кроме нее и Сени, была сама не своя от волнения и страха. Юной отравительнице даже не верилось, что она была причиной этих смертей. Но страх наказания все более и более овладевал сердцем Аксютки.

Почувывая недоброе Праскуха пробовала выпытать от своего приемыша, как было дело, но ничего не могла добиться от девочки.

Аксютка была все время как в тумане; ничего не отвечая старой знахарке на ее расспросы, она то молча сидела в углу, то вдруг вскрикивала и, срываясь с лавки, не могла найти себе места в избе и пыталась убежать на улицу.

Но старая Праскуха не пускала ее.

— Перекрестись, Оксаня! Успокойся! Да скажи, что такое случилось с тобою?! — говорила знахарка, тщетно пытаясь добиться от девочки ответа.

Она и прыскала на своего приемыша с уголька, и предлагала испить наговорной водицы, и пробовала даже отчитывать Аксютку какими-то полухристианскими, полужыческими молитвами, — ничего не помогало. Праскуха совсем приуныла и была близка к отчаянию.

На второй день болезни ее приемной дочери, пог вечер, в двери хаты постучались. Праскуха открыла, и на пороге показался украшенный медною бляхою, заросший рыжею густой бородою сотский.

— Чего тебе, Трофим? — спросила старуха.

— Да за дочкой твоей богоданной пришел. Начальство требует... Одевайся, девочка, — сказал Трофим тем же голосом, что и виденный ею во сне у придорожного креста черт.

Аксютка взглянула на его лицо и побледнела, до такой степени они были схожи.

— Да что с ней такое случилось?.. Ишь испугалась! Разве тебе что известно? Зачем тебя требуют? — осторожно спросила Праскуха.

Не отвечая старухе и желая в то же время показать сотскому, что она его не боится, Аксютка сама обратилась к Трофиму:

— А куда же ты меня, дяденька, поведешь?

— Увидишь, — мрачно и значительно ответил тот.

— А если я с тобой не пойду?

— Поведу.

Девочка молча накинула платок и молча вышла вместе с сотским на крыльцо.

На пороге она полуобернулась и словно обронила Праскухе:

— Прощай, бабушка!

Вдруг, вместо того чтобы войти со своим спутником в Анискину хату, где производилось дознание, Аксютка неожиданно кинулась бежать через все село по направлению к реке.

— Не смей убегать! — кричал сзади пытавшийся догнать ее Трофим.

Быстро мелькая босыми пятками, пронеслась беглянка мимо мельницы, перебежала по мостику на плотину и молча кинулась вниз головой в Ярынь.

Бежавший вслеп за нею сотский выгел издали, как показалось на миг из реки полузакрытое мокрыми волосами лицо и снова скрылось под водою.

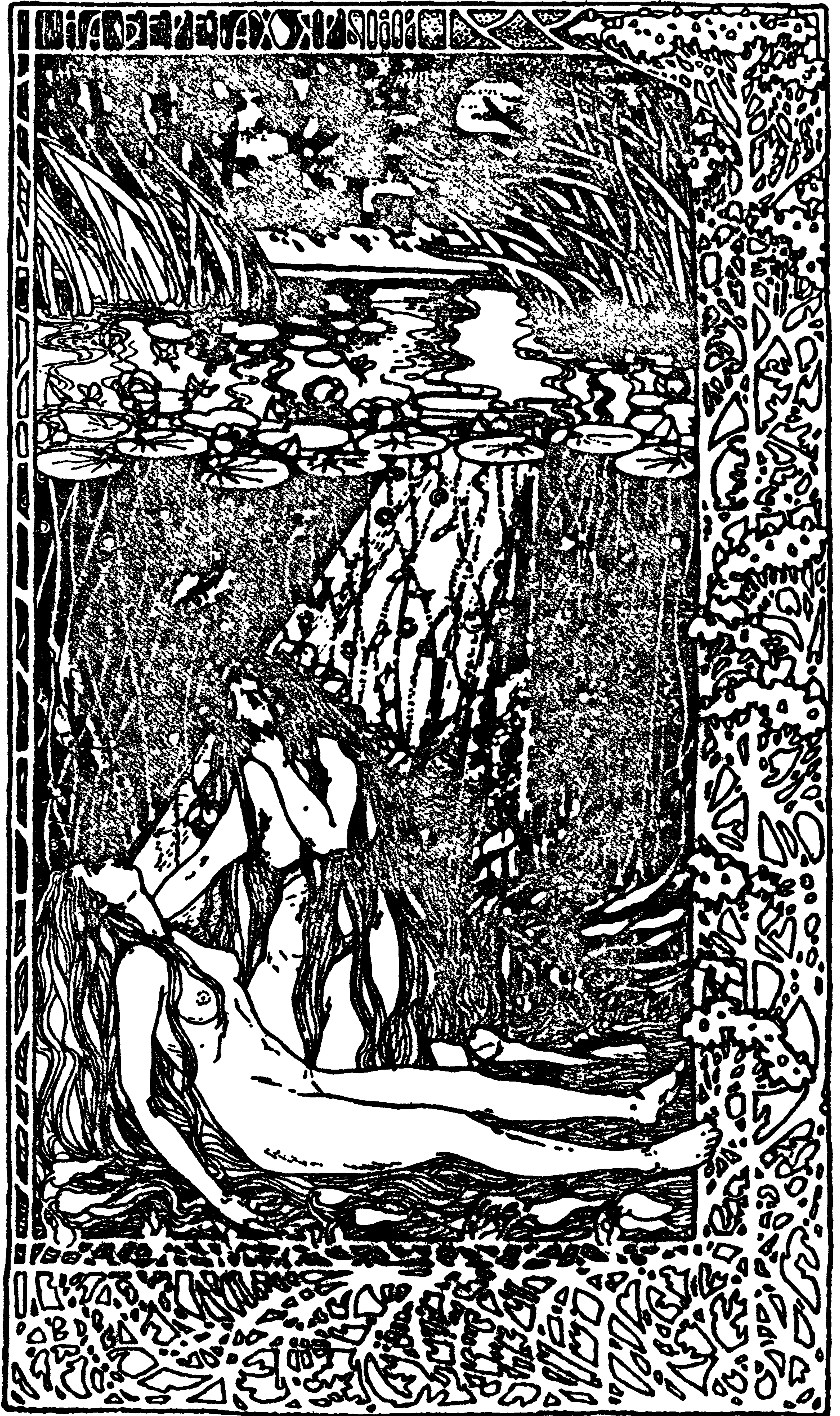
Когда Трофим подбежал к краю плотины, круги от падения уже широко разошлись по поверхности быстро текущей Ярыни...

Посмотрев некоторое время на эти круги, озадаченный, запыхавшийся мужик неожиданно для самого себя плюнул, потом, спохватившись, снял шапку, перекрестился и торопливыми шагами деловито пошел доложить о происшествии по начальству.

Попытки выудить баграми с глубокого дна тело утопленницы не увенчались успехом. Предположено было, что Аксюткин труп унесло теченьем Ярыни.



Тишина царила на темноватом, прохладном и вязком дне Ярыни. На скользкой, покрытой мягкой темно-зеленой плесенью коряге, заменявшей ей трон, опершись локтями в колени и положив лицо на ладони рук, задумчиво сидела Марыська. Взор неподвижной, как истукан за ее спиной, донной царицы был устремлен на распростертое в ногах у нее, белое, обнаженное (русалки сняли с утонувшей одежду) тело Аксютки. Марыська ждала, когда круглое пятно от скользившего по дну лунного света пройдет, начиная



от вытянутых в предсмертном борении ног, по всему девичьему телу и, остановившись на мертвом лице, даст утопленнице подобие земной, хотя бы и призрачной, жизни.

“Вот и еще одной русалкой прибавится. Будет сперва вздыхать и грустить, потом понемногу утешится, станет петь и бегать по житам, смеяться разливчатым смехом и резвиться с подругами, научится заманивать в воду детей и ловить в летние лунные ночи загулявших парней на полях. Каждой из них хочется ведь продлить за чужой счет свою, хотя и небеселую, здешнюю жизнь, прежде чем улететь навсегда, как пар, в безвестный небесный простор”, — думала Марыська.


Безобразный игол Перуна смотрел на ставшую владицей Ярыни бесовку и тоже думал:

“Девушек в жертву мне не приносили... А почему? Одинаково приятно, должно быть, вдыхать испарения молодой, как юношеской, так и девичьей крови свежезарезанных жертв... Подобные пятнам слабого лунного света излучения из тел утонувших девиц доставались раньше водяному владыке. А теперь, когда его больше здесь нет, кто будет их поглощать? Я — не умею, как ни хлопотала об этом Марыська. Мне приятны лишь испарения крови...”

Между тем круглое пятно проникавшего на дно света серебряной полной луны коснулось уже Аксюткиных ног. Тонкие и стройные, они казались удивительно белыми. Игол Перуна невольно залюбовался.

“Когда-то давно, еще в те времена, когда я был повелителем неба, у одной из моих жен была с такими же ногами девица-подросток. Как ее звали? Не помню. Мать ее звалась Лето... А, вспомнил! Летница или Дзевана. Девочка хорошо стреляла из лука... Что с нею случилось? Какая судьба постигла ее? Она была, под разными именами, богиней у разных племен. Ей посвящались, так же как мне, дубравы и рощи... Что, однако, случилось с Марыской?!”

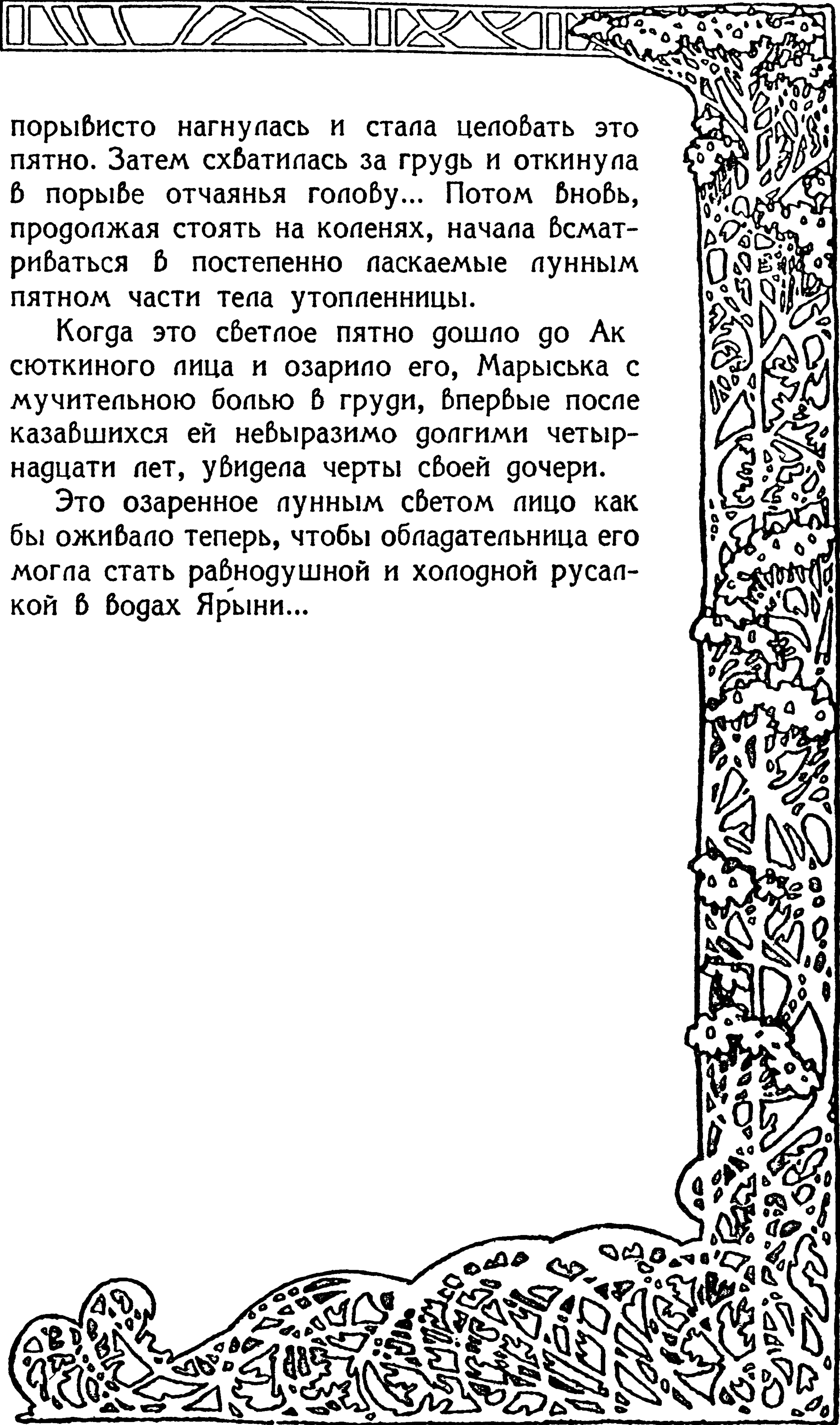
Повелительница Ярыни уже не сидела на окаменевшей коряге, но стояла на коленях около освещенного лунным сиянием тела и внимательно вглядывалась в темное пятно на голубовато-белом левом бедре. Внезапно гонная царица



порывисто нагнулась и стала целовать это пятно. Затем схватилась за грудь и откинула в порыве отчаянья голову... Потом вновь, продолжая стоять на коленях, начала всматриваться в постепенно ласкаемые лунным пятном части тела утопленницы.

Когда это светлое пятно дошло до Аксюткиного лица и озарило его, Марыська с мучительной болью в груди, впервые после казавшихся ей невыразимо долгими четырнадцать лет, увидела черты своей дочери.

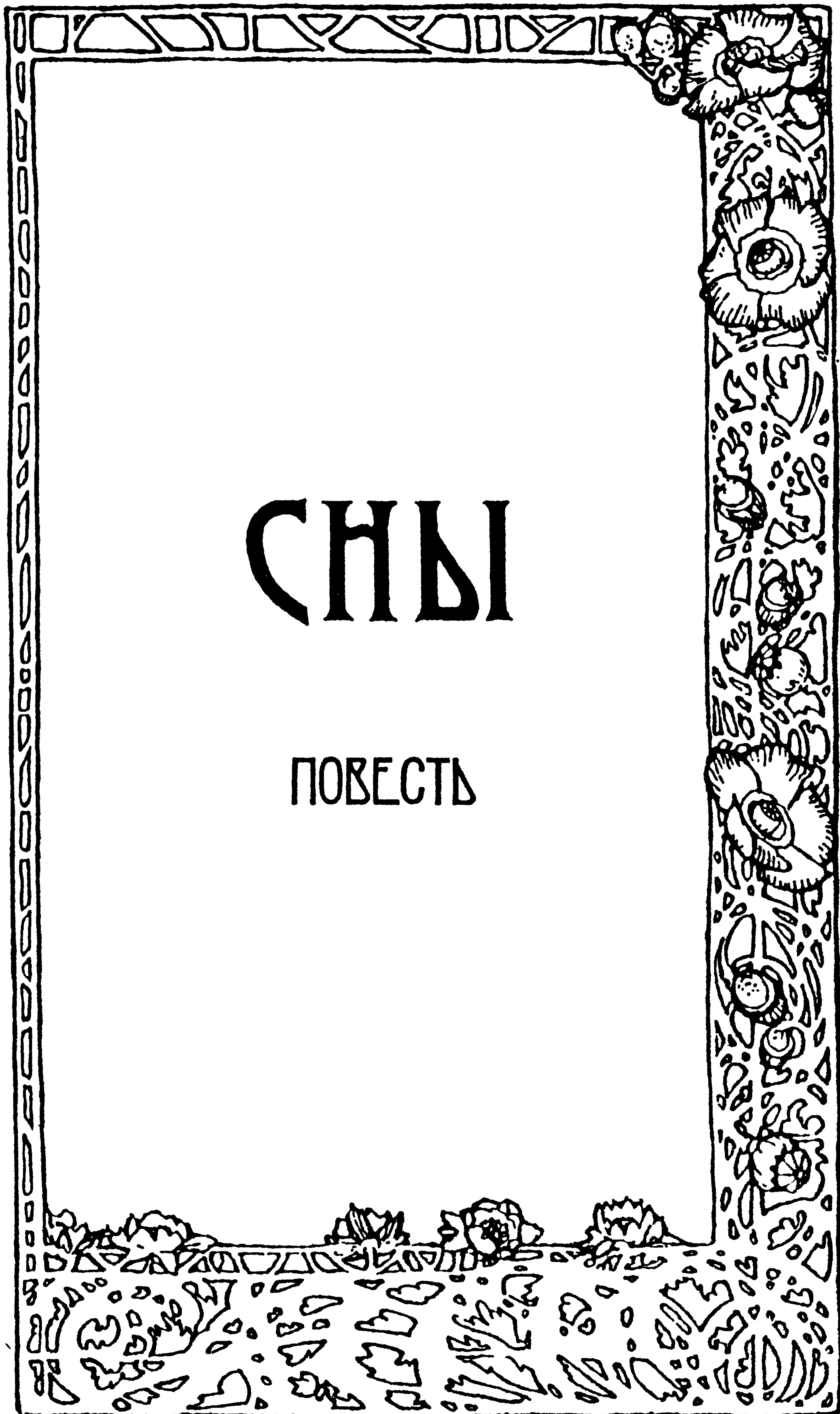
Это озаренное лунным светом лицо как бы оживало теперь, чтобы обладательница его могла стать равнодушной и холодной русалкой в водах Ярыни...





СНЫ

ПОВЕСТЬ





Когда я был молод и служил в одном из существовавших в до-революционной России “управлений”, учреждении, мало имевшем общего с моими поэтическими склонностями, случилось мне порою бывать у одного сослуживца, Федора Николаевича Гоша, человека, с которым у меня было много одинаковых интересов. Правда, он не писал стихов, но, владея несколькими языками, с большим вниманием следил за всеми вновь появлявшимися произведениями европейской литературы. Гош не пропускал ни одной картинной выставки, выписывал два-три иностранных художественных журнала, сочинял небольшие вещи для фортепиано и в довершение всего интересовался оккультными науками. В то время на последние была мода, и каждый уважающий себя “декагент”

обязательно имел у себя на видном месте том Элифаса Леви или Станислава Гэта.

Я любил навещать Федора Николаевича. Мне интересно и приятно было слышать его негромкий, но живой разговор о новом в искусстве. Интересовали гостившие у него иногда редкие книги в красном сафьяне с золотой коронованной буквой на переплете. Эти книги сослуживец мой доставал одно время на прочтение каким-то таинственным путем едва ли не из царской библиотеки.

Гошу я обязан был также знакомством с мало в то время еще известными французскими писателями вроде Барбе д'Оревильи и Вилье де Лиль-Агана. Как теперь, помню миниатюрные томики эльзевировской печати, которыми он снабжал меня из своего книжного шкафа.

Федор Николаевич был женат, но я никогда не видел его жены, так как она постоянно проживала где-то за границей. Отсутствие хозяйки не сказывалось, впрочем, на обстановке квартиры. Не видно было пыли на шкафах красного дерева или на этажерках с японскими и итальянскими вазочками. Книги на полках стояли в строгом порядке; нигде не валялось окурков, а письменный стол всегда имел вид только что прибранного. Последнее обстоятельство зависело, быть может, от того, что Гошу ввиду его общительности некогда было писать. Поддержанием же чистоты и порядка заведовала пожилая, сурового вида особа, игравшая роль экономки в хозяйстве моего сослуживца.

Все в квартире Гоша занимало раз навсегда определенное место: новые журналы и книги на круглом столе, покрытом какой-то старинной скатертью; альбомы — на средних и нижних полках этажерок; небольшая коллекция итальянских гравюр — по стенам.

А потому меня очень удивило однажды, когда я увидел некоторое перемещение этих гравюр — с целью дать место акварельному пейзажу в красно-коричневой рамке.

— Не мог найти лучшего помещения для своего музыкального заработка. Давингоф недавно заплатил мне сразу за четыре вещицы. Ну вот, раскрутился и приобрел... Впрочем, если бы эскиз стоил в пять раз дороже, то и тогда, как-нибудь извернувшись, купил бы его, — сказал

непривычно взволнованным тоном заметивший удивление на моем лице Федор Николаевич.

Я подошел ближе к висевшему на стене пейзажу и стал его разглядывать. Там изображена была каменная терраса, белые ступени которой сходили к воде, по направлению к зрителю. Зеленоватые бронзовые курильницы стояли по углам мраморной балюстрады. Два такого же цвета филина глядели из ниш в стене по обе стороны лестницы. Дальше был старый разросшийся парк, из-за деревьев которого были заметны верхняя часть фасада и островерхие башни дворца или замка.

Пейзаж этот показался мне знакомым. Я вспомнил, что видел его за несколько недель перед тем на выставке, в комнате, посвященной работам недавно скончавшегося художника. Но не было ничего особенно выдающегося в этой акварели ни по замыслу, ни по исполнению в сравнении с десятками таких же посмертных этюдов, выставляемых обычно на продажу с целью обеспечить семье умершего в постигшей беде небольшую на первых порах денежную сумму.

— Вы, вероятно, знали, Федор Николаевич, этого бегуня Степанова,— назвал я прочтенную мною в правом углу картины фамилию художника,— хотя я от вас ни разу ничего о нем не слышал.

— Я впервые услышал его фамилию, лишь заинтересовавшись этой картиной. При мысли, что Степанов уже умер, я не помнил себя от досады. Недавно я бегал справляться, есть ли у него семья, и узнал лишь, что покойный был холост, деньги же за проданные полотна и наброски пойдут его малолетней сестре, проживающей где-то в провинции... И никто мне не мог сказать, где и когда был написан этот этюд!

— Почему же вы им так заинтересовались?

— Ах, Господи, да потому, что я с рогами на голове подплыл к этим ступеням, взбежал по ним на террасу и имел даже время оглядеться по сторонам. И все тогда было так, как здесь нарисовано!

Я внимательно посмотрел на говорившего. Федор Николаевич, заметив мой взгляд, продолжал несколько более

спокойным тоном, хотя по всей его оживленной тонкой фигуре видно было, что он очень волнуется.

— Конечно, это был только сон, но сон не вполне обыкновенный, а по своим последствиям даже трагический. Помните вы Арбузова? Вы его у меня неоднократно встречали.

— Арбузов? Очень полный веселый блондин? Любитель музыки и композитор? Кажется, отличался предосудительным образом жизни? Умер около года тому назад? — старался я вспомнить.

— Все, что вы говорите, верно. Арбузов скончался в ту же ночь, когда я его видел во сне в парке, который изображен на этом самом эскизе.

Федор Николаевич был неузнаваем. Он стоял, выпрямившись во весь свой высокий рост. Обычная сутулость, происходящая от постоянного сидения над гравюрами и книгами, куда-то исчезла. Черные глаза на порозовевшем лице блестели сквозь стекла пенсне. Гош был даже красив в это мгновение.

Он продолжал:

— Я вас давно знаю и надеюсь, что вы не станете делать соблазнительных аналогий между сном и его нелепыми превращениями и семейной моей жизнью. Поэтому и считаю, что могу быть с вами вполне откровенным. Незадолго до сна, о котором я хочу рассказать, мною получено было из-за границы одно неприятное, довольно важное для меня письмо. Желая отогнать от себя грустные мысли, попал я в компанию милого, но беспутного Арбузова. Покойный считал себя когда-то ницшеанцем, потом сатанистом и старался во всем быть эксцентриком. Но это плохо ему удавалось. Компания, в которой я с ним очутился, не вполне соответствовала моим вкусам и привычкам, почему я под предлогом головной боли пил мало и уехал домой раньше, чем в таких случаях полагается. Но когда я уже был дома, то на самом деле почувствовал некоторую тяжесть в голове и ногах, происшедшую, как я подозреваю, от того, что Арбузов, по всей вероятности, что-то коварно подмешал в вино или кофе. Помню разочарованный вид моего приятеля, когда я, несмотря на все его уговоры и просьбы, поехал домой.

Дома я улегся в постель, скоро уснул и во сне увидел того же Арбузова. Мы шли с ним краем заросшей местами травой очень широкой дороги, окаймленной по сторонам высоким старым лесом. Как теперь, помню маленькую погробность: влево от нас на широкой просеке лежало, дымясь, несколько поваленных гревесных стволов, очищенных от ветвей и местами тлеющих. В то же время мы заметили одиноких волков, перебегавших порой дорогу то позади нас, то перед нами.

Желая, может быть, уйти от этих животных, мы свернули с большой главной дороги на дорогу не столь широкую, пробитую в песчаном лесном косогоре. По сторонам тоже стояли высокие толстые деревья, несколько напоминая собой старый, запущенный парк. В обрывах косогора по краям дороги виднелись верхушки каменных арок, засыпанных почти доверху песком и землей. В отверстия этих арок, как в поры, прятались волки, встречавшиеся нам по пути. Некоторые из них снова выползали оттуда и глядели нам вслед.

Не помню, как очутились мы уже в несомненном парке, с аллеями, лужками и красиво расположенными группами малознакомых деревьев. Встретившиеся нам слуги, лиц которых, как это часто бывает во сне, я не помню, окружили нас, разделили и повели по направлению к находившемуся поблизости замку, тому самому, что виден и на этюде.

Тут кто-то незримый сказал мне, что хозяин замка — волшебник и чародей. Арбузова провели к нему раньше меня и вывели, вероятно, в другие двери, так как я его там больше уже не видел, а лишь потом слышал, что он был превращен волшебником в борова, заколот, зажарен и отдан кому-то на съедение. Порою мне даже кажется, что я слышал издали его отчаянный крик, напоминающий предсмертный визг убиваемой свиньи.

Наступил и мой черед. Меня ввели в небольшую комнату второго этажа, где сидел кто-то старый, седоватый, небольшого роста, одетый в серый расшитый халат и цветной колпак или ермолку. У него было, помню, некоторое сходство с поэтом Сологубом. Но долго рассматривать его мне не пришлось. В комнату внесли зеркало в серебряной затейливой оправе, и старик предложил мне в него поглядеть.

Хотя тайный внутренний голос и предостерегал меня от того, чтобы я смотрел в это зеркало, я почему-то не удержался и поглядел. В тот же миг кто-то возле меня сказал: "Будь оленем!" И ясно взглянула на меня с полированной блестящей поверхности оленья рогатая морга. После этого меня выгнали или вывели в парк, где я стал покорно пастись на ярко-зеленой травке лужаек.

Не помню, сколько времени бродил я по парку. Мне казалось, что я был там уже давно и хорошо освоился с расположением всех его уголков, рощ, холмов и аллей, когда услышал однажды лай собак и забывание рога. И опять тайный голос во мне сказал, что это выехала на охоту дочь колдуна, владельца изображенного Степановым замка. Тявканье псов слышалось все громче и ближе. Я понял, что собаки напали на мой след, и, закинув голову, побежал от них прочь. Мелькали одна за другой мимо меня поляны и купы деревьев, я делал большие прыжки, стараясь уйти от преследования, но лай псов и звуки рога все приближались.

Когда собаки находились уже совсем близко и стали, стараясь меня окружить, заскакивать с обеих сторон, я бросился в озеро, изображенное на этом этюде, и поплыл мимо островка с беседкой, на картину не попавшего, по направлению к белой террасе. Помню, как становились все ближе ко мне вот эти филины в нишах. Под нишами же находились железные кольца для привязывания лодок. Видите, они тоже здесь нарисованы. Помню, как застучали под копытами моими мраморные ступени белой террасы, куда я взобрался, выйдя из воды. Отряхиваясь, я увидел каменную скамью по ту сторону перил. Вот в том углу она была слегка расколота и покрыта зеленым бархатным мхом. Это отсюда не видно. По ту сторону террасы и вокруг нее росли какие-то странные розы с темноватыми ободками на лепестках.

Но времени разглядывать все подробно у меня не было, так как собаки, плывшие следом за мною, были уже недалеко. Я снова поскакал вот по этой аллее, потом свернул с нее вправо, где местность была холмистой. Собаки снова настигли меня и старались задержать. Помню, как я ударил

одну из них задним копытом, так что она, едва успев взвизгнуть, взлетела в воздух и упала где-то сзади. Но тут я снова услышал звук рога, и справа подскочила ко мне, вероятно, обогнувшая озеро, дочь чародея. Насколько помню, это была красивая брюнетка в черном платье с пристегнутым крепом. К левому боку у нее был прикреплен небольшой блестящий металлический щит, а в правой руке было копье. Приблизившись ко мне, охотница замахнулась было этим копьем, но в то же мгновение какая-то тайная сила заставила меня взглянуть в ее сверкающий, как зеркало, щит.

Едва я туда взглянул, как зеленые холмы, небо и лес заплясали у меня в голове. Я почувствовал что-то, похожее на электрический удар, и упал без сознания. Последней моей мыслью было то, что прекрасная дочь колдуна не пожелала меня убить и отпускает на волю.

Очнулся я у себя на кровати с головной болью и тяжестью во всех членах.

Болезнь, которую я сам да и доктор мой приписали простуде, продержала меня в постели четыре-пять дней. Я не выходил еще из дому, когда узнал, что Арбузов в ночь после того, как мы вместе с ним поужинали, умер у себя дома от паралича сердца. Возможно, что его смерти способствовало злоупотребление наркотиками.

Кончина Арбузова, который в дни моей юности был довольно мне близок, весьма на меня подействовала, и я долго ничем не мог развлечься. Вы в это время,— прибавил Гош,— только что уехали в заграничный отпуск. Я старался рассеяться, усиленно занимался музыкой, съездил недели на две к родным. Пытался даже учиться древнееврейскому языку и познакомиться с кабалой. Но все это плохо помогало. Тут подошел сезон осенних выставок, и я стал усиленно их посещать. Представьте же себе мое удивление, когда в комнате, посвященной посмертному собранию произведений Степанова, я увидел наряду с другими пейзажами вот эту террасу с филинами в нишах и аллею, ведущую к замку с остроконечными башенками. Помню, как мне захотелось тогда вновь посмотреть в лицо волшебнице,

которое не успело как следует запечатлеться у меня в памяти. Знаю лишь то, что она была прекрасна,— закончил Гош, печально вздохнув.

— Может быть, поглядеть в ее щит было вашим спасением,— сказал я.— Иначе, вероятно, вы подверглись бы участи, постигшей Арбузова.

— Не гумаю,— ответил Федор Николаевич серьезным тоном,— я отлично помню, что она меня пожалела. Как вы думаете, что надо сделать, чтобы вновь попасть в этот парк и посмотреть на его обладательницу?

— Вы, вероятно, не хуже меня знаете, что по большей части делают в таких случаях. Картина, изображающая один из уголков парка, у вас есть. Это очень облегчает дело. Остается лишь, выбрав благоприятное время, привести себя в надлежащее настроение и мысленно перенестись на террасу. Остальное — результат вашей подготовки и силы ваших способностей. Вы сами, конечно, знаете, какому риску вы при этом подвергнетесь. Я решительно не могу представить, кто такой виденный вами во сне хозяин замка, но не советую вторично попадаться ему на глаза. Участь Арбузова должна явиться для вас хорошим предостережением. С такой прогулки очень легко можно и не вернуться обратно, по крайней мере без повреждения умственных способностей.

— Я все это знаю, но желание увидеть волшебную охотницу более чем соблазнительно. При наличии же подходящего талисмана опасность не так уж велика. Но об этом мы поговорим более подробно когда-нибудь после. А пока послушайте вот эту маленькую фантазию моего сочинения.

И Гош сыграл на фортепиано небольшую пьесу, где при желании можно было почувствовать и страх погони, и тывканье псов, и торжествующее забывание рога.

— На фортепиано трудно передать охотничий рог,— сказал Федор Николаевич,— но мотив его до сих пор не выходит у меня из головы.

Расставаясь, я просил Гоша не предпринимать опыта, о котором мы говорили, не сказав об этом мне. Он согласился.

Несколько раз после этого мой приятель опять заговаривал о желании попасть в очарованный парк, но я посоветовал ему прежде попытаться разузнать что-нибудь о художнике и расспросить его знакомых о том, где написан был этюд. Если последний был написан с натуры, по-моему, следовало отыскать изображенные замок и парк и поинтересоваться, кто там живет. Пускаться же в опыты раздвоения личности я считал делом опасным, тем более что опыты эти требуют от новичков большой затраты энергии, а Гош не отличался физическим здоровьем и был склонен к туберкулезу.

Политические события 1905 года помешали мне часто видеться с Федором Николаевичем. Но время от времени нам удавалось встречаться в библиотеке нашего учреждения, где он был членом комитета, заведующим приобретением книг на иностранных языках. В одну из таких кратковременных встреч Гош сообщил мне, что узнать, когда был написан Степановым этот этюд, ему пока не удалось, но умерший художник, по словам товарищей, года два-три тому назад был за границей, между прочим, на северном побережье, откуда им привезено было несколько картин, в настоящее время распроданных. Последние же два лета своей жизни покойный акварелист проводил не то в Волынской, не то в Подольской губернии.

Навестив как-то Гоша, я заметил, что этюд Степанова исчез со стены гостиной. Я подумал, что Федор Николаевич перестал им интересоваться, и был, признаться, этим очень доволен, так как здоровье его к весне несколько ухудшилось. Несмотря на кашель, он продолжал, однако, курить папиросы, густой белесоватый дым которых заставлял предполагать, что содержимое их — не один только табак.

— Летом гумаю съездить за границу, — сказал он, — но сам еще не знаю куда. Хочется в Италию, да, вероятно, придется побывать и во Франции.

Я знал, что во Франции живет жена Федора Николаевича, и думал, что он желает ее навестить, но дальнейшие слова моего собеседника разрушили мое предположение.

— Я все время теперь надеюсь,— сообщил он несколько смущенным тоном,— увидеть во сне художника Степанова и выведать у него, где находится изображенный им замок.

— Вам удалось достать его фотографию или что-нибудь из носильных вещей? — спросил я, зная, как облегчает наличие таких предметов общение с умершими.

Гош молча кивнул головою и немного погодя прибавил:

— Хотите взглянуть? Пойдемте тогда в мою спальню.

Кровати, однако, в комнате, куда мы вошли, не было. Ее заменял широкий, обитый кожей диван. У дверей, над перенесенным сюда из гостиной хорошо мне знакомым пейзажем, висела увеличенная фотография-портрет художника Степанова. Лицо последнего не представляло ничего особенного. Глядевший на нас из багетной рамы подстриженный бобриком, с подбитыми усами, при очень высоком воротничке и небольшим бантом завязанном галстукe блондин лет тридцати одинаково мог быть и приказчиком из модного магазина, и конторщиком банка, и артистом-художником.

— С товарищеской группы переснял и увеличил,— сказал Гош, указывая на портрет.

— Ну и что, удачны ваши опыты? — спросил я.

— Пока нет. Мне нужно было добыть что-либо из носильного белья или платья покойного, но пока удалось достать только перчатки. Я взял их из магазина, куда они были отданы в чистку. Боюсь, что в упорядоченном виде перчатки эти не имеют той цены, как если бы они были только что сняты с руки.

— Пожалуй что так,— ответил я.

— Вместо Степанова мне раз приснился Арбузов,— продолжал Гош.

— Говорил он вам что-нибудь?

— Как вам сказать... И да и нет. Пришел во сне ко мне в гости такой же толстый и неунывающий, каким и вы его здесь когда-то встречали, подошел к фортепиано и начал играть одной рукой "Жил-был у бабушки серенький козлик", а потом улыбнулся, погрозил пальцем и ушел.

— По-моему, он сообщил вам более чем достаточно, — сказал я. — Не следует ходить в лес, в котором от вас могут остаться, как от козлика, лишь рожки да ножки. К тому же, помнится, вы что-то говорили в начале вашего фатального сна о волках?

— Совершенно верно. Припоминаю. Я упустил было это из виду... Впрочем, что ж?! “Волков бояться — в лес не ходить”, — говорит пословица.

— Судя по тому, что вы перенесли этот пейзаж в вашу комнату, вы, надо думать, их не боитесь. Признайтесь, делали ли вы уже попытки вновь побывать в этом парке?

— Конечно, делал, но осторожно, оставляя за собою возможность каждый момент прекратить этот опыт.

— При тех дилетантских способах, которыми вы, вероятно, пользуетесь, вы легко можете быть обмануты собственной фантазией и не получить тех результатов, каких вы достигли бы при соблюдении всех правил, рекомендуемых оккультной наукой.

— Ну вас с вашими правилами и методами! Это глинно и скучно. У меня путем практики выработались собственные правила. Когда вы хотите, например, перенестись на ту или другую картину и вам трудно сразу это сделать, то вы выбираете в ней пункт наиболее для вас знакомый и доступный. Скажем, вы не можете попасть прямо в желаемую комнату: мысленно встаньте у наружных дверей дома и попробуйте в них войти. Если и это трудно, то, постояв перед этими дверями, попробуйте вообразить себя перед ними же, но с внутренней стороны, и тогда вам уже будет легче проникнуть дальше внутрь дома. Везде, где вы не можете идти прямо, смотрите с той точки, где вы остановились, назад на пройденный путь, идите затылком вперед, и вам легче будет представить себя в желаемом месте. Особенно хорошо это удастся с помещениями, вам знакомыми.

— Вот именно, знакомыми. Но в местностях незнакомых, Федор Николаевич, наша фантазия может нас обмануть, — сказал я.

— Что ж мне делать, если мое воображение, быть может, против воли, переносит меня в этот заколдованный

парк? Стоит мне только закрыть глаза, как я мысленно переплываю пруд и, дрожа от холода, вхожу по мраморным ступеням на большую террасу. Медленным шагом я иду по гравию, сперва вдоль окаймляющих дорожку кустов, затем — широкой аллеей к самому парку. Перед ним опять площадка или полянка, которую я огибаю, и, наконец, фасад здания. Почему-то боясь войти с главного хода, я останавливаюсь перед угловой желтой дверью и колеблюсь: войти мне сюда или же в другую дверь, выходящую в маленький переулок против белой каменной стены соседнего флигеля. Пробую, проникнув сквозь входные двери по переданному вами рецепту, пробраться на второй этаж, но дальше первой площадки лестницы с камином в левом углу около ведущей в комнаты двери пройти не могу. Какая-то сила выталкивает меня вон. И я вновь брожу вокруг этого дома, стараясь не быть замеченным из окон. Брожу, охваченный желанием увидеть ту, которая с копьем в руке верхом на черном коне гонялась за мною.

— Я думаю,— прибавил Гош,— что смерть Арбузова представляет собою одну лишь случайность и, может быть, совпадение. Этой чародейке не было никакой необходимости меня убивать. А кроме того, насколько мне известно, сонное видение, кем бы последнее ни было, убить не может. Я видел человека, которому пришлось испытать при аналогичных обстоятельствах удар, нанесенный ему во сне падавшим архангелом, и человек этот все-таки остался жив, отделавшись лишь небольшим нервным потрясением.

— Это очень любопытно. Расскажите, если не секрет.

— Случай этот произошел с моим знакомым художником. Он живет теперь в Сицилии, где будто бы изучает сочетание красок на цветных окнах местных церквей и ленится писать. Последних двух писем моих он, очевидно, не получил. Иначе он научил бы меня, как поступить.

— Думаю, что я прежде встречал этого вашего знакомого, который живет теперь в Сицилии. Мы оба бывали в редакции “Девы”,— внезапно, сам не знаю почему, перебил я Гоша.— Его зовут не Остроумов?

— Предположим, что Остроумов. Так вот, этот мой знакомый художник начитался в свое время описаний полета на шабаш и служения дьяволу. Начитался до того, что ему и самому стало сниться, будто он летает, но только не на Брокен и не на Лысую Гору, а в иное место общения с нечистой силой, в какой-то храм с колоннами из черного камня, капители которых исчезали в сумраке сводов. По карнизам светился, по его словам, бледно-зеленоватый орнамент из каких-то странных иероглифов и арабесок. Так как сон несколько раз повторялся, мой художник имел возможность довольно подробно ознакомиться с обстановкой этого таинственного храма и сообщил мне потом интересные детали. Так, например, над обделанной красным камнем и золотом дырой в полу этого храма было воздвигнуто что-то вроде сени на семи колонках, представляющих собою перебившихся змей, причем одни змеи были медно-красные, другие — темно-серебряные. Председатель собрания первоначально появлялся в виде едкого и довольно противного зеленоватого или серо-белого дыма из упомянутой мною дыры. Но это к делу не относится... Так вот, на таких-то предосудительных праздниках, где было много всякого, по большей части неинтересного народа, мой художник стал встречаться с одной очень милой барышней. Как-то само собою случилось, что они стали уединяться в укромных уголках, где им не мешали своими представлениями и подглядываниями разные противные старики и безобразно разряженные, а то и вовсе нагие старухи. Барышня сообщила моему другу, что она тоже прилетает сюда во сне, не прибегая ни к каким снадобьям и мазям. Она дала понять моему собеседнику, что он ей нравится, но упорно не желала сказать, кто она, откуда и где живет. Может быть, эта девица и сказала бы наконец что-нибудь о себе, но тут помешал случай, ради которого я сообщаю вам всю эту историю.

То был четвертый, кажется, сон моего знакомого с пребыванием в черном храме. “Я подробно осмотрел,— рассказал художник,— пустой еще трон, на котором обычно

воссегал Hircus Nocturnus*, и постарался запомнить очень интересные горельефы, украшавшие это сеголице. Поглядел и на слугителя в золотых сандалиях и в медной, как он, маске, изображавшей голову тигра. Этот прислужник делал вид, что не замечает меня и всецело занят подливанием чего-то в коричневатые, коринфской бронзы, светильники, пылавшие белым, бесцветным огнем. При их колыхавшемся свете, казалось, оживали бесстыдные горельефные изваяния трона. Некоторые вновь прибывавшие гости считали своим долгом к ним приложиться.

Но я все отвлекаюсь от темы... Мой знакомый почувствовал вдруг, что понравившаяся ему девица где-то неподалеку. Оглядевшись вокруг, он ее вскоре нашел. Девушка была в ночном костюме и, по словам рассказчика, несколько стеснялась этого обстоятельства, хотя большинство присутствующих как будто не замечали друг друга, а если и замечали, то как бы по взаимному соглашению. Тем не менее знакомая незнакомка моего художника пожелала с ним уединиться подалее от толпы под тем предлогом, что ей стало почему-то страшно. Они прошли по неровному, местами протертому полу в довольно далекий угол храма, где время от времени вспыхивали зеленые перебегающие огоньки. Когда последние загорались под потолком, то можно было разглядеть неподвижные каменные улыбки полузверинных-полуангельских лиц на капителях колонн. Сидевшая неподалеку компания стариков не обращала на уединившуюся парочку никакого внимания. Старики эти всецело, казалось, поглощены были нюханьем чего-то из передававшейся от одного к другому коробочки. Понюхав, они застывали на некоторое время неподвижно, как статуи. Художник начал, по обыкновению, уговаривать свою подругу дать ему возможность познакомиться с нею и в действительной жизни, но та лишь мотала отрицательно головой и твердила: "Только не сегодня, только не сегодня. Сегодня мне не до того. Я чего-то жду и боюсь".

* Сатана, председательствующий на шабаше в образе козла. (Примеч. ред.)

Должен сказать, что эта особа, по словам художника, вела себя скромно и между ними ничего особо предосудительного не происходило. Собеседница моего знакомого успела ему рассказать, что ей восемнадцать лет и что она лишь недавно стала бывать тут во сне. Упершись подбородком в колени и охватив свои ноги руками, девушка эта издали смотрела на происходившее около трона и по временам грожала. Особенно ее пугали световые явления, когда последние имели место поблизости. К великой радости своей собеседницы, мой приятель прогнал подползшую было к ним слишком близко очень любопытную большую змею. Поблескивая зелено-синим тусклым огнем и обиженно шипя, змея уползла обратно.

Но вскоре из вделанного неподалеку в стену серого пилона в египетском стиле появилась и поплыла по воздуху огненно-красная, с какими-то иероглифами посередине, пентаграмма. Поднявшись сперва вверх, пентаграмма остановилась ненадолго на высоте приблизительно трех сажен и начала опускаться. Затем очертания ее стали расплываться, и она как бы пролилась до земли, преобразившись в ангела, одетого в багряное пламя. Ангел был замечательно красив и отличался гордым и, по словам художника, даже неприлично надменным лицом. На черных кудрях его была диадема с цветными блестящими камнями, а на устах — лиловатый светящийся пар. Медленными плавными шагами пурпурно-огненный пришелец приближался к сидящим.

“Это он!” — внезапно воскликнула девушка и стала прижиматься к художнику. Последний хотя и сознавал, что силы совершенно неравны, сделал, по его словам, то, что должен был сделать на его месте порядочный человек — встал и заслонил собою свою подругу. Полным презрения жестом ангел дал моему знакомому понять, чтобы тот отошел в сторону. Но художник (он незадолго до того получил золотую медаль Академии и начитался хвалебных рецензий по поводу выставленной им картины) почувствовал себя гордым и самоуверенным не менее своего противника. Поэтому он не только не посторонился, но даже сделал шаг или два навстречу своему сопернику.

Тогда ангел поднял руку и пошевелил губами, как бы что-то произнося. Нечто вроде лилового шарика отделилось от его пламенных уст, и в то же мгновение художник почувствовал нервный удар, пронзивший все его тело, вероятно, вроде того, что испытал в свое время и я. Удар этот, однако, был так силен, что у бедняги закружилась голова и тьма объяла его сознание.

Очнувшись у себя в постели, мой знакомый ни разу с тех пор не видел во сне ни черного храма, ни отнятой у него падшим ангелом дебушки. Он даже и не пытался ее отыскать.

Не знаю, был ли причиной тому страх перед соперником или что другое, но на мои вопросы, почему он не желает справиться о судьбе незнакомки, художник всякий раз отвечал, что женщины, виденные во сне, всегда гораздо интереснее, чем наяву, и он не хочет действительностью портить оставшегося в памяти красивого образа. Словом, вел он себя как-то странно. Он показывал мне зарисованные им по памяти архитектурные и художественные подробности виденного им во сне черного храма. Некоторые из них были очень интересны, и мой приятель собирался их со временем где-нибудь применить. В бытность его в Англии ему предложили расписать в стиле модерн внутренность церкви. Боюсь, что мой художник поместил там на оконных стеклах не только своего красного ангела, но и еще что-нибудь позамысловатее. С него станет.

— А по вашему мнению,— спросил я Гоша,— дебушка, которую ваш знакомый видел во сне, если сон этот им не сочинен, существовала в действительности?

— Отчего бы и нет! Разве вам никогда не приходилось видеть снов коллективных, то есть виденных одновременно с кем-нибудь другим?

— Случалось,— ответил я Гошу,— и даже раза два, пожалуй, случалось. Однажды это было на первом курсе университета в 1898 году. В гимназии нас совершенно не подготавливали к отвлеченному мышлению, и поэтому мне пришлось вначале довольно трудно. Литографированные записки по курсу догмы римского права готовы были

меньше чем за две недели до экзамена по этому предмету. Я был уже достаточно с непривычки переутомлен предшествовавшими экзаменами, и у меня сделалась невралгия. Болела правая сторона головы и всего тела. При попытках читать курс боль усиливалась до того, что я принужден бывал бросаться на постель и лежать неподвижно, уткнувшись в подушку и стараясь ни о чем не думать. Тогда боль понемногу стихала. Но до экзамена оставалось мало времени, и я должен был вновь приниматься за лекции. Чтобы не очень затрудняться обдумыванием, а главное, запоминанием тех или других казавшихся мне тогда трудными понятий, я решился прибегнуть к весьма принятому в гимназиях средству — смошенничать и написать незаметно карандашом на экзаменационной программе ответы на поставленные там вопросы. Сначала дело шло как будто ничего, но вскоре я вновь почувствовал ломоту в виске, заставившую меня лечь на кровать, где я мало-помалу и уснул.

Во сне увидел я десятую аудиторию Петербургского университета, экзаменационный стол и профессора Гримма, к которому я будто бы подошел. Глядя на меня в упор, экзаменатор обратился ко мне со словами: «Дайте-ка сюда вашу программу». И когда я подал ему свои исписанные листки, Давид Давидович начал меня стыдить, говоря, что я не мальчишка-гимназист и что пора бы, кажется, научиться честно относиться к своим обязанностям, и тому подобные вещи, которые в таких случаях принято говорить. После этого профессор стал меня во сне спрашивать по курсу. Я долго ему что-то отвечал, а потом запнулся. «Нет, вы этого билета не знаете, — сказал Гримм, — отвечайте мне вот этот». И он протянул мне свою программу, указывая пальцем номер билета.

В этот момент я проснулся. Было светлое майское петербургское утро. Подбежав к столу, я развернул лежавшую там программу, нашел на одной из страниц место, указанное мне во сне, и отчеркнул его находившимся тут же синим карандашом. Я дал себе затем отдохнуть в течение целого дня, а в остальные дни, оставшиеся мне до экзамена, успел прочесть курс еще два раза. Виденное во сне место

я прочел много раз. Списывание программы было мною оставлено тотчас же после сновидения. На экзамен я программу не взял. И тем не менее, когда я пришел в десятую аудиторию и был вызван к ответу, первым вопросом профессора, внимательно на меня посмотревшего, было: “А где ваша программа? Покажите мне вашу программу”. — “Я забыл ее дома, господин профессор, — ответил я. — Может быть, вы одолжите мне свою? У вас на столе лежит их несколько”.

Посмотрев на меня испытующим и, как мне показалось тогда, несколько разочарованным взором, Давид Давидович произнес: “Ну, тяните билет”. Я вытянул. Не помню теперь, какой именно номер. Помню лишь, что он был для меня, как, впрочем, и другие (лекций я старался не пропускать), более или менее знакомым. Я начал готовиться к ответу по программе, данной мне Гриммом. В середине билета оказался, однако, к моему неудовольствию и удивлению, вопрос, который я совершенно забыл. Словно кто-то мокрой губкой стер с доски моей памяти то, что надо было отвечать.

Так как билет этот я все-таки читал по крайней мере два два, я стал отвечать, входя в мельчайшие подробности, сохранившиеся в моей памяти, гудая таким образом утомить моего слушателя и внушить ему, что билет мне хорошо знаком. Но профессор впери в меня свои неподвижные, как у сонной рыбы, глаза и молча терпеливо слушал, как бы ожидая, когда я наконец дойду до незнакомого мне места. Я подошел-таки к роковому вопросу и... замолчал. “Что же, отвечайте”, — предложил мне экзаменатор. Я попробовал симпривизировать и — неудачно. “Нет, вы своего билета не знаете, — сказал Гримм совершенно как во сне. — Отвечайте мне вот этот”.

И жестом, уже виденным мною ночью, он показал мне на программе то место, которого я так ждал. Боже, как я забарабанил, приводя не только то, что было в литографированных записках, но и те подробности, которых там не было! Экзаменатор остановил меня и отпустил, поставив четверку.

— Почему же вы считаете ваш сон коллективным? — спросил меня Гош.— Страстно желая ответить определенный билет и думая о нем, вы могли внушить профессору, чтобы он спросил вас этот билет.

— А почему в таком случае он потребовал от меня показать ему программу, чего в тот день не требовал от других и чего я отнюдь ему не внушал?

— Очень просто: вы подошли без программы, и профессор заинтересовался, где она.

— Не я один подошел без программы, почему у него и лежало их на столе не менее полдюжины,— не ссавался я.— А кроме того, вместо того чтобы меня отпустить, слыша мой обстоятельный ответ, Гримм дождался-таки, пока я не дойду до находившегося во второй половине программного билета вопроса.

— Я согласен, что ваш сон принадлежит к числу так называемых вещей, но назвать его коллективным я не решаюсь,— ответил Федор Николаевич.

— В таком случае я расскажу вам другой мой сон, уже, без сомнения, коллективный. В бытность мою на том же первом курсе университета, осенью 1897 года, приснился мне однажды целый ряд картин войны в Петербурге, причем я был и в разных зданиях, и на улице. Здания эти были мне тогда внутри незнакомы, но в последние годы часто приходится бывать в одном из них. В остальных же, я уверен, еще побываю. В одном из этих зданий, где мне предстоит еще побывать, меня поразила внутренность очень высокой круглой залы с окнами под куполом, похожей на церковь и вместе с тем не бывшей церковью. Я помню пустые гипсовые (а может быть, и мраморные) кронштейны на расписанных бледно-коричневой краской стенах и какие-то высокие, ничем сверху не занятые постаменты с горельефами по бокам. На полу неподалеку от входа лежало четыре, кажется, трупа.

Рядом с этой круглой залой была вторая, огромная, с длинным рядом белых колонн. В первом из упомянутых мною зданий я стоял у окна, выходящего на Фонтанку, смотрел на бежавших мимо окон и порою падавших людей, слышал ружейную пальбу и треск пулеметов, не

существовавших тогда, кажется, в русской армии. Помню, как одна из пуль, разбив стекло, ударила в подоконник, у которого я стоял. Это мне не понравилось, и я, пройдя через вестибюль, подошел к ведущей наверх лестнице. Под этой лестницей находилась дверь, и через нее я вышел в маленький круглый двор. Пули туда не долетали. Там между булыжников, которыми был вымощен двор, пробивалась молодая зеленая трава. Небо было ясное и синее. В воздухе носились с щебетанием ласточки. Очевидно, была весна. Из этого здания, где мы с вами теперь постоянно бываем, так как там помещается наше управление, я вышел на улицу, добрался до Забалканского проспекта и увидел там издали солдат, одетых в сероватую летнюю форму с сероватыми же головными уборами, вроде пилоток. Они шли к Фонтанке со стороны Балтийского и Варшавского вокзалов. —

Затем сон перенес меня еще в какое-то здание. Большая комната, в которой я очутился, была полна мечущимися в отчаянии и испуге людьми. На полу разбросаны были бумаги. Я подошел к одному старому, невысокого роста человеку, положил правую руку ему на плечо и сказал: “Полно, не пытайся бежать! Тебе не спастись”. Тотчас после этого я пробудился.

Когда я пришел в университет и собирался рассказать виденный мною сон моему товарищу по гимназии Попаткину, последний предупредил меня словами: “Послушай, какая странная вещь со мною случилась! Никогда я, кажется, не вижу снов, а нынче ночью мне приснилась революция, и даже на войне как будто побывал”. И он стал рассказывать картины, виденные им во сне. Некоторые из этих картин не совпадали с моими, так как происходили в других местностях, некоторые же были сходны до мельчайших, порою поразительных, подробностей. В заключение последней из виденных им сцен он сказал: “Ты подошел ко мне, хлопнул меня по плечу и произнес: ”Полно, не пытайся бежать. Тебе не спастись!” Помню, что, разговаривая потом с Попаткиным о наших снах, мы с ним решили, что он, вероятно, увидит мой призрак перед своей гибелью.

— А сон этот не мог служить продолжением и следствием разговоров, которые вы, быть может, вели с вашим приятелем о революции? — спросил Гош.

— Отнюдь нет. Мы с ним не разговаривали в то время о революции и ничего непосредственно перед тем о революции не читали.

Затем я рассказал Гошу и прочие уцелевшие в моей памяти перипетии и картины этого сна.

Федор Николаевич делал вид, что внимательно меня слушает, но мне казалось, что он мало доверяет моему рассказу, приписывая, вероятно, большую часть того, что я говорил, моему литературному воображению.

Я посмотрел на часы. Было уже поздно, и мы простились.

Встретив меня потом в управлении, Гош обронил, что он не прекращает попыток проникнуть в заколдованный замок страны снов, но теперь запасся талисманом и принимает все необходимые меры предосторожности, предписываемые оккультной наукой. Федор Николаевич присовокупил, что пользуется советами “одного опытного мага”, но фамилии последнего назвать почему-то не пожелал. Впрочем, в отношении своих разнообразных знакомств он и раньше проявлял некоторую таинственность.

— При помощи этого мага, — продолжал Гош, — я раз побывал даже на террасе со ступеньками к пруду. Игти дальше мой наставник на первое время мне не советовал. Это тем более интересно, что я был там не совсем во сне. Во сне наше “я” не управляет своими действиями, как будто последние зависят от воли какого-то другого лица. Во сне вы не знаете наперед, куда пойдете и что будете делать, а я знал.

Острым глиняным кинжалом с двумя полумесяцами на рукоятке я начертил круг на мраморных плитах террасы, встал в середине и долго звал амазонку-охотницу. К сожалению, должен признаться, — напрасно. Может быть, я недостаточно твердо знал заклинания, может быть, последние были недостаточно сильны, вернее же оттого, что мне неизвестно было имя вызываемой, но она не пришла. В парке стояла ночная мертвая тишина. Даже листья не шелестели.

Луна обливала своим светом пустую террасу и кусты белых роз. И, пользуясь лунным сиянием, перед тем как возвращаться в свою повседневную жизнь, я нацарапал на перилах террасы у верхней ступеньки каменной лестницы, направо от входа, круг, а в нем мою монограмму из инициалов Ф и Г. Я знаю, что монограмма эта останется там в действительности и на долгие времена,— закончил свой рассказ Гош.

Вскоре мы навсегда потеряли друг друга из виду. Я женился, переменил место службы и, войдя впервые в Таврический дворец, в канцелярию которого поступил, был поражен сходством его Круглой залы с виденной мною во сне. Та же коричневая живопись в верхней части стены, те же, что и во сне, пустые белые кронштейны на ней; такой же свет сверху, какой бывает в церквях; те же большие белые колонны в соседнем Екатерининском зале, где должны были потом разыгаться политические события. Увидев наяву эти залы и другие помещения дворца, где я когда-то проходил во сне, я почувствовал, что, по всей вероятности, сбудутся все подробности моего отрывочного длительного сновидения вплоть до появления на улицах обреченной столицы солдат в незнакомой мне тогда форме, с сероватыми пилотками на головах.

Но поделиться своими впечатлениями и соображениями с Гошем мне не пришлось. В ту же весну, когда я переменил место службы, он захворал и уехал в отпуск на юг. Там он вскоре и умер, оставив меня в неизвестности относительно того, удалось ему или нет увидеть свою волшебницу-амазонку.

Время шло своим чередом. Наступила война. Совершился со всеми своими последствиями государственный переворот. Помня из своего опыта с надписанной программой на экзамене по догме римского права, что сны не всегда бывают тем, что обязательно должно случиться во всех подробностях, и являются иногда предостережением, я воздерживался от посещения тех уголков Петрограда, в которых согласно одному из моих сновидений мне угрожала опасность. К числу таких мест принадлежали, например, окрестности Петропавловской крепости. Во сне, виденном мною задолго до революции, я шел там, стуча

сапогами по замерзшей грязи и по трещавшей ледяной коре лужиц. В парке были изредка слышны одиночные выстрелы. Шел я там в темное время суток. Обычные в то время фонари почему-то не горели. Во сне я был совершенно один и неожиданно подвергся нападению вооруженных людей, одетых в русские серые солдатские шинели. Помню, что пробудился я, перелезая во сне через какой-то высокий забор, чтобы спастись от угрожавших мне снизу штыков, появившихся следом за мной. Вспоминая этот сон, казавшийся мне некогда нелепым и странным, я всегда остерегался во время революции бывать в позднее время около Петропавловской крепости.

Многое из виденного мною во сне в 1897 году, например трупы убитых в Круглой зале Таврического дворца или войска в иностранной форме на Забалканском проспекте, оказалось несбывшимся, но из этого еще не следует, что события эти никогда не случатся.

Благополучно выбравшись в январе 1918 года в Крым, куда во время войны переведена была мною семья, и прожив там до осени, я очутился затем волею судьбы во время немецкой оккупации на Волыни, неподалеку от австрийской границы, в небольшом имении у тещи. В соседнем еврейском городке с узловой железнодорожной станцией случилось мне встретиться в двадцатом, кажется, году с приятелем покойного Гоша, Остроумовым. Последний шел медленным шагом прогуливающегося человека с дорожной котомкой за плечами. На щеголявшем когда-то в особенно модных жакетах и визитках художнике была теперь потертая военная форма, но без погон.

— Георгий Сергеевич,— окликнул я его по имени и отчеству.

Сначала Остроумов меня не узнал, но потом, когда я назвал себя и редакцию журнала, где мы в былые годы встречались, обрадовался и разговорился. Мы вспомнили с ним старину, поделились впечатлениями последних пережитых лет. В разговоре я упомянул, между прочим, о смерти Гоша.

— А вы его разве знали? — спросил Остроумов.

— Да. И он очень много о вас рассказывал.

— Что же? — не без некоторого беспокойства спросил художник.

— Да вот хотя бы о ваших повторных снах с полетами в черный храм. Скажите, Георгий Сергеевич, после столкновения с вашим ангелом-соперником вы никогда ни наяву, ни во сне не встречали больше девицу, послужившую яблоком раздора между вами?

— Видите ли, — ответил Остроумов, — из нас двоих художником следовало быть не мне, а моему другу Гошу. Действительно, я пробовал некогда купить опиум, просматривая предварительно Фелисьена Ропса, Фердинанда Кнопфа, Гойю и прочих графиков с уклоном в демонизм. После этого у меня несколько раз бывали кошмарные, хотя и бессвязные, сновидения. Внутренность черного храма, ангел в огненно-красной одежде и девица с милосивным лицом действительно там порой повторялись, но все это было довольно хаотично, и лишь после того, как я передавал свои впечатления Гошу, а он потом вновь излагал их мне в разговоре, сны мои в его передаче приобретали уже некоторую обработку по части преемственности событий и подробностей обстановки. Черный храм он описывал так, будто бывал там чаще меня. Я же после столкновения с красным ангелом совершенно прекратил свои полеты.

— А девицу вы никогда потом не встречали? — повторил я вопрос.

— Нет, не встречал. У нее было очень интересное и симпатичное лицо, которое действительно приснилось мне несколько раз. Я его даже потом пытался, как и некоторые другие образы сновидений, зарисовать по памяти, но вполне, впрочем, неудачно.

— Может быть, вы ее еще где-нибудь увидите и будете иметь возможность срисовать это лицо с натуры. Иногда мы видим во сне лица, обстановку и местность, где нам придется со временем еще побывать. Вы читали когда-нибудь стихотворения Алексея Константиновича Толстого?

— Читал. Некоторые из них, признаться, очень даже люблю.

— У него есть “Крымские очерки”. Там целый цикл стихотворений, написанных тотчас же после войны 1854—1855 годов, когда только что оправившийся после тифа поэт совершал прогулки по южному берегу Крыма с любимой женщиной. Никогда, кажется, ему так не писалось, как в то время.

— Как же не помнить! — перебил меня Остроумов и даже запел вполголоса:

Ты помнишь ли вечер, как море шумело,
В шиповнике пел соловей.
Душистые ветки акации белой
Качались на шляпе твоей?

— Это, конечно, прелестное стихотворение,— сказал я,— но не его имел я в виду, когда хотел рассказать вам, Георгий Сергеевич, нечто о снах, в которых мы видим порой местность и обстановку, где нам придется потом бывать.

Я начал рассказывать Остроумову о том, как поэт и его возлюбленная прибыли в Мелас, расположенный недалеко от Байдарских ворот, имение дяди Толстого Перовского. Росшие по спускавшимся к морю склонам Яйлы вековые деревья были срублены занимавшими эту местность французами. Дом Перовского был разграблен стоявшими там неприятельскими солдатами. На стенах были упомянутые в стихах Толстого “рисунки грубые и шутки площадные”, на украшающих комнаты статуях — следы сабельных ударов. Разбитые зеркала, выбитые стекла, переломанная мебель, ютящиеся в комнатах совы и прочие следы разрушения и запустения наполнили печалью сердце поэта и вдохновили его на создание стихотворения “Приветствую тебя, опустошенный дом, завядшие губы, лежащие кругом, и море синее, и вас, крутые скалы, и пышный прежде сад — глухой и одичалый”.

— Будучи художником, вы, вероятно, помните великолепный образ ползучих роз, цепляющихся за мраморный карниз окна. Но не в этом дело. Мне случилось как-то

видеть записную книжку поэта, которую он имел при себе во время этой поездки. Книжка, хотя из нее и было вырвано довольно много страниц, сохранила в себе, однако, интересные авторские заметки и первоначальные наброски “Крымских очерков”. И против черновика упомянутого стихотворения стояла сделанная рукою поэта приписка: “Так вот что столько раз представлял мне сон упорный!” Я полагаю, что Толстой видел во сне обстановку опустошенного дома, в котором ему впоследствии пришлось побывать.

— Очень возможно, что так,— ответил Остроумов.— И вы полагаете, что мне еще придется встретить в действительной жизни ту милую барышню, вместе с которой мы так хорошо проводили время среди окружавшего нас демонского и бесновавшегося общества? Помню, что ей было страшно. Она прижималась ко мне плечом и слегка дрожала... Нет, вряд ли! Там, куда я иду и откуда, вероятно, не вернусь, барышень, кажется, нет.

— Я не настаиваю на том, что вы непременно увидите эту особу, но ваша встреча возможна. Кто-то уподобил так называемые вещие сны отражениям в нашем мозгу надвигающихся событий. Это все равно, как если бы вы сидели у окна и смотрели в прикрепленное снаружи к раме зеркало, в котором отражаются по мере своего приближения движущиеся по улице люди и предметы. Вы видите в зеркале идущего по направлению к вам человека ранее, нежели он поравнялся с вашим окном. Он, по всей вероятности, пройдет мимо, так что вы сможете его увидеть и непосредственно в окно, но он может, не доходя до вашего окна, свернуть в ближайшие ворота, и тогда в действительности вы его не увидите.

— Да я и не желал бы встретить наяву ту, которая мне так понравилась во сне,— сказал Остроумов.— О, насколько грезы прекраснее действительности! В благодарность за комментарий к Алексею Константиновичу Толстому я, в свою очередь, для пояснения моей мысли прокомментирую вам писателя, к которому вы, кажется, равнодушны. Вы ведь читали “Афродиту” Пьера Луиса?

— Не без удовольствия,— ответил я.

— Так вот, оный Луис в этом своем романе развил тему, заключающуюся в одном антологическом стихотворении, вероятно, александрийского периода. Я, конечно, не помню его по-гречески, по-русски же, если останусь жив, прочту, может быть, в вашем поэтическом изложении. Смысл этого стихотворения приблизительно такой: “Свенеланс, ради удовольствия которой пылают столицы, та, которая продает себя за баснословную цену и собирает сокровища лиц, в нее влюбленных,— целую ночь до утра, благодаря сновидению, провела рядом со мной вся обнаженная и не требуя платы за свои ласки. Я не буду больше на коленях умолять эту жестокую деву и не стану больше оплакивать свою участь после такого сна, подарившего мне, безо всяких издержек, столько блаженства”.

— Развивая далее проводимую мысль,— продолжал Остроумов,— Пьер Луис заставил своего героя, видевшего подобный сон, художника Деметрия, отказаться от ласк, предлагаемых ему красавицей, любви которой он ранее помогался. И он поступил правильно. Иначе ему пришлось бы раскаиваться, как некогда Апеллесу, которому Александр Великий подарил свою фаворитку, заметив, что художнику, писавшему ее портрет, нравится оригинал. Великодушный жест властелина доставил потом живописцу много хлопот и беспокойства... И вслед за героем Пьера Луиса я повторяю, что девица, виденная мною во сне, вряд ли станет милее и интереснее, если я познакомлюсь с ней в действительной жизни. Помню, она раз подошла ко мне в сновидении и коснулась моей ноги. Я встал, и мы, обнявшись, полетели по воздуху. На ней был черный плащ с откинутым капюшоном. Голову свою она клала мне на плечо, и я до сих пор помню ласковое прикосновение ее нежных волос... Нет! Действительность может только испортить прекрасную грезу. Кем теперь может быть моя знакомая незнакомка спустя почти двадцать лет после разлуки? Постаревшей истеричной беженкой с истерзанными нервами, авантюристкой, шпионкой, содержанкой разбогатевшего спекулянта, большевицкой сестрой милосердия,

проституткой, предлагающей себя за кусок хлеба иностранным солдатам? Нет, я не хочу действительности! С меня довольно моего блаженного сна!

Разговор перешел мало-помалу на политические события. Мы проговорили еще около часа, расстались, по всей вероятности, навсегда.

Года два спустя после встречи с Остроумовым мне понадобилось съездить по какому-то делу из имения, где я жил, верст за семьдесят. Путешествовать пришлось и на возу, и по железной дороге, и даже пешком. Отчасти поручение знакомого, отчасти случай занесли меня несколько в сторону от прямого пути к одному сельскому священнику. Давно не видевший никого, кроме своих прихожан, местного еврея и разных властей, приезжавших с целью реквизиции, батюшка принял меня очень любезно, весьма обрадовался привезенному мною письму и предложил мне отдохнуть у него хотя бы до следующего утра. Предложение было столь радушным, что я не мог отказаться, тем более что мне хотелось посмотреть славившиеся в том месте своею красотой крутые берега реки и остатки большой разрушенной помещичьей усадьбы.

— До тридцати комнат в палате было, не считая флигелей. Картины итальянские, стены и потолки расписные. А имущества-то: посуды, белья и платья! В таких кружевах и шелках наши бабы теперь в церковь ходят, что даже смотреть неловко. Штоф, атлас и бархат с мебели посрезали да себе кофты с юбками пошили. Зеркал одних сколько побито! Целиком-то в хатах не помещались. Один мужик, впрочем, трюмо у себя в клуне поставил. Зашел туда бугай, увидел свое отражение да как хватит рогами. Ну, ничего, осколки подобрал. Все в дело пошли. Мебель, конечно, растащили. Частью евреям из соседнего местечка продали, частью пожгли. За год до войны новые трубы водосточные, цинковые, пан граф к палацу поставил. Так из этих труб, маленьких трубок и посуды для перегона горилки видимо-невидимо теперь понаделали. А книг сколько было! Две большие комнаты по стенам были заставлены до самого потолка.

Я видел потом, как обгоревшие погранные лоскутья от них по всему парку носило. Не то по-итальянски, не то по-английски напечатаны были, трудно разобрать. Я, признаться, здесь живя, семинарскую-то премудрость, что в Кременце приобрел, уже позабыл. Так когда после солдатского погрома крестьяне палац грабили, они ночью вместо факелов эти книги зажигали да с ними и ходили.

— А сам помещик успел убежать?

— Пан граф-то? А вы разве не слышали? Нет, и его самого, и падчерицу его солдаты, шедшие с фронта, убили. Фронт-то ведь рядом был. Пока штаб тут стоял, жить еще можно было, а как начальство свое наши солдаты поскидали, совсем скверно стало. А пан граф в то время болен был и выехать не мог. Так его в постели и застрелили. Падчерица же его девица самолюбивая была и бежать не пожелала. Ну, ее и замучили, а то, говорят, сама застрелилась. С большими странностями была особа, весьма ученая и гордая. Не только меня, но и ксендза на порог палаца не пускала. Разное про это и на селе болтали, и в местечке. Бог им, конечно, судья. Одно только верно было, что и она, и старый граф вольнодумцы были и ни на кого обращать внимания не желали.

После обеда хозяин мой, надев свою порыжевшую от времени и потемневшую поповскую шляпу с полями, любезно взялся мне показать то, что осталось от графской усадьбы. По дороге он продолжал рассказывать.

— Странно, конечно,— говорил он,— что девица, еще не в старом сравнительно возрасте, замуж идти не хотела, жила со стариком, который ей ни муж, ни отец; в покоях у себя ручных волков держала, гостей не принимала и сама в гости не ездила. Знай себе, читает толстые книги днем и ночью или верхом катается. Конь у нее огромный был, черный и злой. Крестьяне его даже за нечистую силу считали. Я раз поздним вечером с напутствия возвращался, едва-едва с ней не столкнулся. Как вихрь, пролетела. Вся в черном, на скаку не шелокнется, разве только шляпу порой поправит. Конь под ней

весь в пене и храпит. А рядом с ее конем эти волки проклятые. От этих волков, хоть они и ручные были, моя кобылица чуть было меня из тарантаса не выворотила. Когда потом солдаты палац грабили и стали из конюшни коней выводить, конь этот черный одного из них передними ногами сшиб и затоптал. Другие солдаты его тут же и застрелили. Да и волкам та же участь была. Они грабителей в комнату к пагчерице графской пускать не хотели.

Два каменных столба со следами обколоченных гербов на них соединялись некогда железной решеткой отсутствующих теперь ворот. Несколько лет не стриженная, отросшая живая изгородь тянулась кверху своими еще не зеленеющими, но с налитыми уже почками гибкими ветвями. Стояла чудная погода начала апреля. Кое-где в молодой траве виднелись маленькие цветочки. Шагая по хворосту и щепкам от вырубленных еще недавно аллей и пройдя мимо лишенных крыш и окон двух флигелей сравнительно новой постройки, мы добрались до того места, где стоял дворец.

— Еще с семнадцатого года стали парк рубить, всего уничтожить не успели, а теперь не смеют,— продолжал говорить батюшка.— Да и по ту сторону усадьбы какой парк был! — Он показал в сторону, где между пней паслись крестьянские коровы и кое-где торчали почему-то не спиленные каштаны или клен. Напоминавшая высокую ламповую щетку своими коротко, почти доверху обстриженными ветками, высилась там и сям американская ель или кедр с отхваченной безжалостно верхушкой. Из груды обломков переднего фасада дворца виднелась обезглавленная, начала XVIII столетия, каменная статуя, изображавшая средневекового воина, державшего щит с графской короной на гербе. Тот же герб случайно уцелел на фронтоне. Здание было двухэтажное, сильно закопченное пожаром, без крыши и окон, с небольшими полуразрушенными башенками с обеих сторон. Вокруг валялись кирпичи, разбитые стекла, куски проржавевшего кровельного железа и осколки кафельной облицовки каминов. Высохшее персиковое деревце сиротливо жалось к стене между больших окон с

выломанными рамами. В окнах верхнего этажа сквозь снятую крышу виднелось синее небо. Закоптелые стены комнат еще хранили следы зеленой и синей облупившейся краски. Деревянные полы были сняты, каминны и печи разбиты. Дверей нигде не было видно.

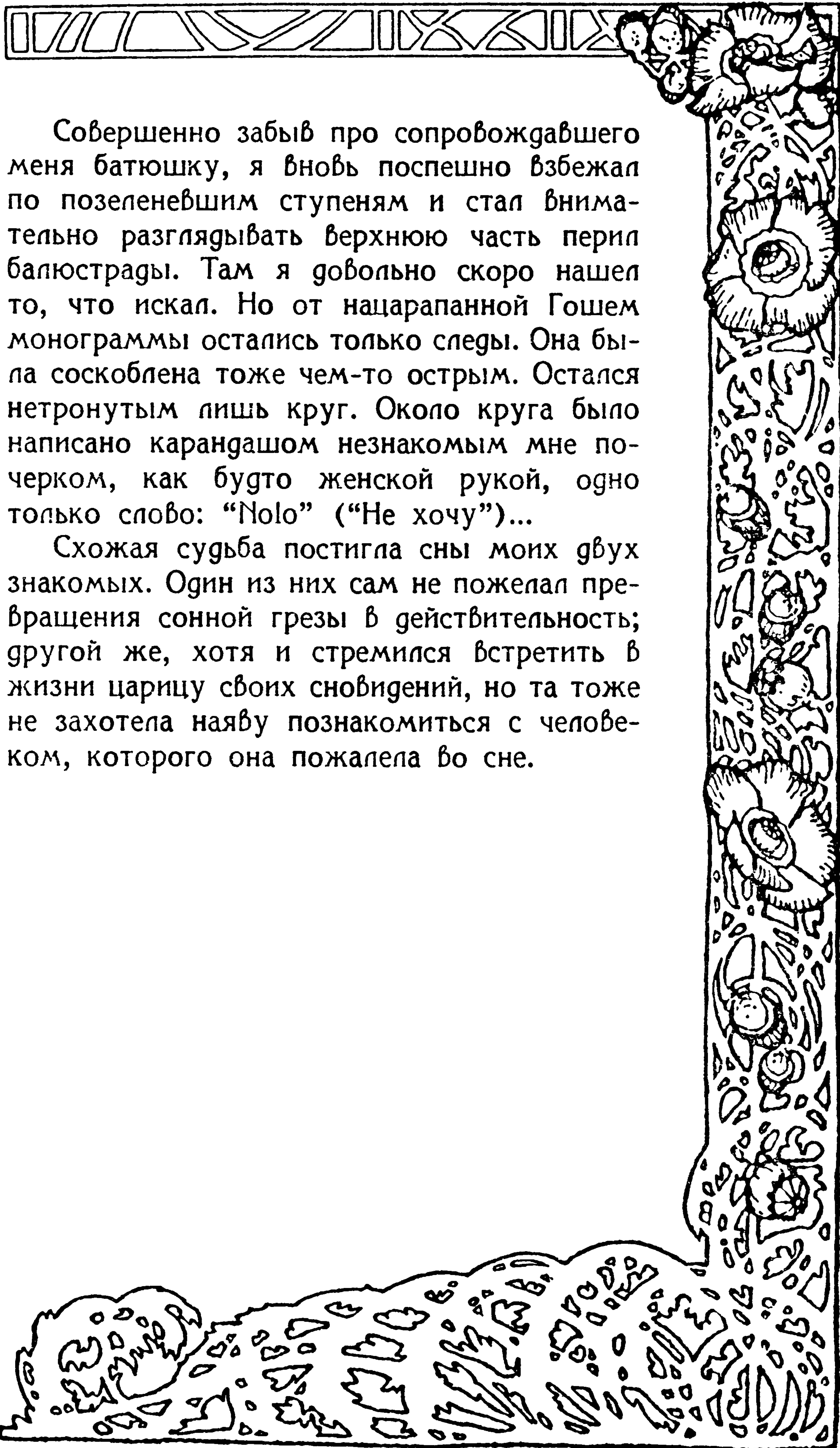
— Половицы, балки и прочее дерево на самогон пошло,— сказал мой спутник.— Шибко теперь крестьяне самогоном занимаются. Недавно новые хозяева, поляки, шесть кубов перегонных арестовали, а тридцать шесть, говорят, не найдены, остались и работают. И не то чтобы богатые только гнали, а и бедняки. У иного всего пудов пять жита осталось, а он их на горилку изводит.

Мы обошли кругом некогда, вероятно, красивый и стильный дворец. Полюбовались с полуразвалившейся террасы на открывавшийся вид, который несколько портили следы порубки и пасшиися коровы. Потом по одной из уцелевших аллей, шурша по гравию, пошли к небольшому озеру. Оно было обложено плитами из серого камня, покрывшегося мхом и местами заросшего травой.

— Крепостной труд,— счел нужным заметить по поводу облицовки батюшка, и мы пошли, спускаясь слегка вниз мимо не зеленевших еще кустов.

— Все розы. Еще при деде последнего владельца были насажены. Специальные сорта в оранжереях выводили. Теперь и от оранжерей ничего не осталось. Стекла в них сперва повывивали, а нынче куски подбирают, чтобы в собственных хатах окна чинить. Часто ведь их бьют-то. Перепьются и пойдут друг дружке “шишки” выколачивать. Только звон стоит.

Мы подошли к террасе над озерной пристанью. Она вся была обложена белым мрамором. Местами плиты были расколоты, местами даже вынуты, и из-под них виднелся кирпич. Перила в одном месте были обвалены в воду. Рисунок их показался мне странно знакомым. Я спустился по ступенькам, ведущим к воде, и увидел в нишах по обе стороны лестницы каменных филинов. У одного из них была отбита голова, а у другого лишь клюв. Под нишами, как и на картине художника Степанова, были большие железные кольца.



Совершенно забыв про сопровождавшего меня батюшку, я вновь поспешно взбежал по позеленевшим ступеням и стал внимательно разглядывать верхнюю часть перил балюстрады. Там я довольно скоро нашел то, что искал. Но от нацарапанной Гошем монограммы остались только следы. Она была соскоблена тоже чем-то острым. Остался нетронутым лишь круг. Около круга было написано карандашом незнакомым мне почерком, как будто женской рукой, одно только слово: "Nolo" ("Не хочу")...

Схожая судьба постигла сны моих двух знакомых. Один из них сам не пожелал превращения сонной грезы в действительность; другой же, хотя и стремился встретить в жизни царицу своих сновидений, но та тоже не захотела наяву познакомиться с человеком, которого она пожалела во сне.



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. А. КОНДРАТЬЕВА

- 1876 — 11 мая (ст. ст.) в Петербурге в семье директора Государственной типографии родился Александр Алексеевич Кондратьев.
- 1897 — после окончания 8-й петербургской гимназии, где директором и учителем был И. Ф. Анненский, Кондратьев поступает на юридический факультет Императорского петербургского университета.
- 1898, осень — знакомство с А. А. Блоком, поступившим на тот же факультет.
- 1901 — первая публикация прозы: рассказ “Домовой” из славянской демонологии, газета “Россия”.
- 1902 — окончание университета и поступление на службу в Министерство путей сообщения в качестве помощника делопроизводителя.
- 1903 — участие в поэтическом сборнике, подготовленном к печати студентами университета и Академии художеств.
- 1903, весна — знакомство с З. Гиппиус и Д. Мережковским.
- 1905 — в типографии отца напечатана первая книга Кондратьева: “Стихи А. К. ”, СПб., 1905.
- 1905—1907 — поэтические вечера в доме Кондратьевых.
- 1907 — перевод и публикация “Песен Билитис” французского поэта Пьера Луиса: Луис П. Песни Билитис/Пер. Ал. Кондратьева. — СПб., 1907; книга была объявлена критикой порнографией.
- публикация “мифологического” романа “Сатиресса”, Москва, 1907.
- 1908 — переход на службу в комиссию по запросам канцелярии Государственной думы на должность делопроизводителя.
- публикация первого сборника “мифологических” рассказов — “Белый козел”, СПб., 1908.
- 1909 — выход второй книги стихов — “Черная Венера”, СПб., 1909.
- 1911 — публикация второго сборника рассказов — “Улыбка Ашеры”, СПб., 1911.



- 1912 — публикация историко-литературного исследования “Граф А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества”, СПб., 1912.
- 1914 — работа в Комитете по раненым при Государственной думе.
- 1917 — последняя вышедшая в России отдельным изданием книга: “Елена. Драматический эпизод из эпохи Троянской войны”, Петроград, 1917.
- 1918, январь — с разрешения начальства Кондратьев покидает Петроград и уезжает к семье в Крым.
- 1919 — переезд в небольшую усадьбу Дорогобуж под Ровно.
- 1930 — выход “демонологического” романа “На берегах Ярыни”, Берлин, 1930.
- 1936 — издание на собственные средства сборника стихотворений на мифологические темы “Славянские Боги”, Ровно, 1936.
- 1939, декабрь — переезд в Варшаву.
- 1941 — Кондратьев в Краковской области; от рака умирает его жена.
- 1945, апрель — Кондратьев попадает в осажденный Берлин.
- 1945—1950 — жизнь в Белграде с семьей (дочерью и ее детьми).
- 1950 — Кондратьев с семьей, как и многие русские, выслан правительством Тито и помещен в лагерь около Триеста.
- 1952 — дочь и внуки Кондратьева при содействии Толстовского фонда выезжают в США.
— Кондратьев поселяется в Швейцарии в маленьком местечке Везен в доме для престарелых (Altersheim Relikan).
- 1957 — по вызову дочери Кондратьев переезжает в США, где сначала живет на Толстовской ферме, а потом в санатории “Nursing Home”.
- 1967, 26 мая — смерть от уремии в одной из больниц штата Нью-Йорк. Могила в Ново-Диеве на монастырском кладбище.

A decorative border with intricate floral and vine patterns surrounds the text. The top border is a horizontal strip with repeating floral motifs. The left border is a vertical strip with a dense, overlapping floral design. The bottom border is a wide horizontal strip with a complex, interlocking floral pattern.

СОДЕРЖАНИЕ

Олег Сегов. Мир прозы А. А. Кондратьева: Мифология и Демонология	5
Сатиресса. Мифологический роман	29
Рассказы	111
Из сборника "Белый Козел"	
Белый Козел	112
Орфей	119
Последнее искушение (Рассказ духа)	124
Сапфо у Гадеса	130
Афродита заступница	135
В объятиях тумана. Миф	140
Победи Аполлона. Осенняя сказка	146

Что случилось потом (Из сказок древнего Египта)	151
Слезы Селемна	155
Пирифой	159
Сборник "Улыбка Ашеры"	
Улыбка Ашеры (Фрагменты)	191
Тоскующий Ангел	207
Из преданий Тартара	212
На неведомом острове	217
Семь бесовок	234
Царь Шедома	242
Надпись на саркофаге	249
В пещере	253
Фамириг	271
На берегах Ярыни.	
Демонологический роман	305
СНЫ. Повесть	507
Олег Седоб. Основные даты жизни и творчества А. А. Кондратьева	540